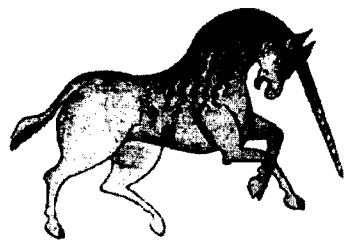


М.А. Робинсон

Судьбы  
академической элиты:  
отечественное славяноведение  
(1917 – начало 1930-х годов)





Российская Академия наук  
Институт славяноведения

М. А. Робинсон



СУДЬБЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ:  
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ  
(1917 – начало 1930-х годов)

 ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИНДРИК»  
Москва 2004

УДК 94(470)  
ББК 63.3(2)71  
Р 58

*Исследование выполнено при финансовом содействии  
Российского гуманитарного научного фонда  
(проект № 03-03-00075)*

**Ответственный редактор**  
доктор исторических наук *Л. Е. Горизонтов*

**Рецензенты:**  
доктор филологических наук *Г. К. Венедиктов*  
кандидат исторических наук *С. В. Чирков*

**Робинсон М. А.**

Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). — М.: Издательство «Индрик», 2004. — 432 с.

**ISBN 5-85759-294-1**

В монографии освещается положение славяноведения и его академической элиты в период советизации науки в условиях установления тоталитарного режима. Обращение к обширному эпистолярному наследию таких ученых, как В. П. Бузескул, К. Я. Гrot, Н. С. Державин, Н. Н. Дурново, Д. К. Зеленин, Г. А. Ильинский, В. М. Истрин, Н. М. Каринский, Е. Ф. Карский, Н. П. Кондаков, П. А. Лавров, Н. П. Лихачев, Б. М. Ляпунов, Н. К. Никольский, В. Н. Перетц, А. М. Селищев, М. Н. Сперанский, А. И. Соболевский, А. И. Томсон, М. Р. Фасмер, В. А. Францев, К. В. Харлампович, А. А. Шахматов, Р. О. Якобсон, а также их ближайших коллег и их учеников предоставляет возможность выяснить действительное отношение ученых к политической власти, идеологизированным методологическим новациям в гуманитарных науках (марксизм, социология и т. д.), ликвидации самостоятельности Отделения русского языка и словесности, проблеме эмиграции, новым материальным условиям жизни. Переписка позволяет представить морально-психологическое состояние виднейших гуманитариев-славистов, осветить проблемы научного и морального сопротивления, компромисса и конформизма, борьбу за сохранение академических традиций.

© Робинсон М. А., текст, 2004  
© Институт славяноведения РАН, 2004  
© Издательство «Индрик», 2004

**ISBN 5-85759-294-1**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |            |
|--|------------|
| ПРЕДИСЛОВИЕ .....  | 9          |
| <b>Глава I. ПОЛИТИКА, НАУКА, ИДЕОЛОГИЯ.....</b>  | <b>19</b>  |
| От Февраля к Октябрю: умонастроения и предчувствия.....  | 19         |
| «Мы задыхаемся от насилия» .....   | 22         |
| Аресты: «Из глубин киргизских степей взываю к Вам» .....   | 26         |
| «Наблюдается сейчас маленькое оживление<br>в области славянских изучений».....                                       | 38         |
| Идеологово-политическая цензура: «перестраиваться по-новому...<br>как-то внутренне гнусно».....                      | 45         |
| <b>Глава II. УЧЕНЫЕ В УСЛОВИЯХ ВЫЖИВАНИЯ .....</b>   | <b>65</b>  |
| «Такова жизнь русского несчастного профессора» .....   | 65         |
| «Можно посыпать: сухари, лапшу. Сало, крупы и муки -- нельзя».....   | 90         |
| «Мы, старики, спешили убраться из этой горькой юдоли нужды и горя» .....   | 93         |
| «Академия влечит существование подобно „бедной, но благородной“<br>родственнице или приживалке» .....                | 102        |
| «В скромной обстановке наладилось некоторое благополучие».....   | 121        |
| «Возвращение к предыдущему. Ничто под луною не ново» .....   | 129        |
| <b>Глава III. «НОВАЯ РЕЛИГИЯ» ВМЕСТО НАУКИ:<br/>    ПРОТИВНИКИ И СТОРОННИКИ.....</b>                                 | <b>145</b> |
| «Беда да и только с этими яфетидами» .....   | 145        |
| «Своего рода лингвистическое православие» .....  | 153        |
| «„Вера“ — плохой вождь в на<br>учных изысканиях!».....   | 178        |
| <b>Глава IV. УЧЕНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ И РОССИЙСКАЯ СЛАВИСТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ...</b>  | <b>191</b> |
| <b>Глава V. В. Н. ПЕРЕТЦ И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА .....</b>   | <b>229</b> |
| <b>Глава VI. К. Я. ГРОТ И ОТНОШЕНИЕ НОВОГО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ<br/>    К ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ.....</b>                        | <b>286</b> |
| «Вообще странное отношение к нашему брату, старым ученым».....   | 286        |
| Ламанский — «на службе самодержавия» или крупнейший представитель<br>«русской демократической общественности»? ..... | 298        |

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>Глава VII. РЕФОРМИРОВАНИЕ «ОТДЕЛЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА» .....</b>   | <b>313</b> |
| <b>Глава VIII. НАЧАЛО КОНЦА «СТАРОЙ» АКАДЕМИИ.....</b>   | <b>345</b> |
| « <i>Finis Akademiae!</i> » .....  | 356        |
| <b>Заключение. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ: ИЗ ОПЫТА<br/>ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛАВИСТИКИ (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГГ.).....</b> | <b>375</b> |

**Приложения**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Приложение № 1.</b>   |            |
| <i>K. Я. Гром.</i> Мой взгляд на переживаемую эпоху .....  | 389        |
| <b>Приложение № 2.</b>   |            |
| <i>B. Н. Кораблев.</i> Славяноведение на службе самодержавия<br>(Из деятельности академика В. И. Ламанского) ..... | 398        |
| <b>СПИСОК АРХИВНЫХ ФОНДОВ .....</b>  | <b>414</b> |
| <b>УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН .....</b>  | <b>416</b> |
| <b>SUMMARY.....</b>  | <b>430</b> |

*Памяти моего отца  
Андрея Николаевича Робинсона*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале XX в. отечественная славистика была развитой и постулатально развивающейся областью гуманитарной науки, имевшей безусловное признание как в самой России, так и за ее пределами. Инициатива созыва международных съездов славистов исходила от русских ученых, идея серии научных трудов в рамках монументальной «Энциклопедии славянской филологии», выдвинутая членом Императорской Петербургской Академии наук В. Ягичем, могла быть реализована прежде всего в России.

Октябрьская революция 1917 г. прервала естественный процесс развития славяноведения в России. Новая государственная идеология, активно и даже агрессивно внедрявшаяся в сферу гуманитарного знания, относилась к науке, основанной на неклассовых идеях этнического родства славянских народов, по меньшей мере с большим подозрением. Идея же славянской взаимности, во многом обосновывавшая необходимость особого внимания общества к истории и культуре славянства, оказалась до конца 1930-х гг. невостребованной новой властью и была признана вредной с точки зрения как внешней, так и внутренней политики. В обращении ученых к проблемам славистики властям виделся призрак «реакционного славянофильства» и, хуже того, «панславизма». К тому же изучение кирилло-мефодиевской традиции, церковнославянского языка и памятников славянского Средневековья представлялось богоchorческой власти «поповщиной».

Во многом названные обстоятельства, несмотря на последовавшую во время Великой Отечественной войны реабилитацию идеи славянской взаимности, долгое время служили препятствием и для изучения истории довоенного славяноведения, в особенности 1920-х гг., когда наличие какого-либо принципиального изменения в области традиционно-филологического славяноведения было совсем не очевидно<sup>1</sup>. Важным положением, оправдывавшим работу ученых дореволюционной формации, стало утверждение об освоении и усвоении ими марксистской идеологии и методологии, что априори считалось важнейшим достижением славяноведения интересующего нас периода<sup>2</sup>. При этом, однако, в общем плане осуждались такие считавшиеся марксистскими и официально поддерживаемые тогда властями направления в языкоzнании, литературovedении и истории, как марксизм, вульгарный социология и «школа Покровского».

Работы, посвященные изучению реального состояния славяноведения послереволюционного периода, в частности, в стенах Академии наук, были достаточно редки и, несмотря даже на обращение к архив-

ным источникам, носили преимущественно обзорный характер<sup>3</sup>. Делались первые попытки определить новые направления в славяноведении, возникавшие вне рамок Академии и отходившие от традиционного филологического понимания предмета<sup>4</sup>.

В статьях, обобщавших достижения в области изучения истории отечественного славяноведения к середине 1980-х гг., констатировались значительные успехи в изучении периода до 1917 г., исследование же советского периода как актуальная тема специально не выделялось<sup>5</sup>. На наш взгляд, постановка ее в такой форме и не была еще возможна. Работы 1980-х гг. касались в основном функционирования славистики в университетах Москвы и Ленинграда как научно-педагогической дисциплины<sup>6</sup>.

Тогда же была предпринята и успешно завершена работа по созданию библиографического словаря «Славяноведение в СССР»<sup>7</sup>, сама подготовка которого отмечалась в печати как важнейшее предприятие в области изучения истории славистики<sup>8</sup>. Словарь фактически зафиксировал состояние отечественного славяноведения в самом конце советской эпохи, в 1987 г. Вступительная статья, предваряющая словарную часть издания, содержит обзор развития славяноведения после революции. В ней можно встретить как традиционное положение о постепенно осваивавших марксистскую методологию дореволюционных специалистах, так и прямые указания на «предвзято негативное отношение» в 1920-е гг. к ученым старой школы со стороны руководителей советской науки. Писалось и о «разгуле» политических репрессий 1930-х, также повлиявшем на развитие славяноведения.

Предлагающаяся в названной статье периодизация истории советского славяноведения ограничивает его первый этап 1917–1941 гг., но реально в разделах, посвященных отдельным дисциплинам славистического комплекса, изложение начинается с 1930-х гг. Исключение составляет раздел «Развитие славянского языкоznания»<sup>9</sup>, что вполне объяснимо, ибо реальные достижения в науке в 1920-е гг., сохранившие свое значение и поныне, были достигнуты в основном филологами. Славянская филология как до революции, так и в 1920-е гг. являлась основой славяноведения, ее представители и по научному уровню, и по своей численности превосходили остальных славяноведов.

После завершения работы над словарем по инициативе его ответственного редактора В. А. Дьякова центр тяжести в работе научного подразделения Института славяноведения и балканистики, готовившего труд, «переносится на изучение славяноведения советского периода»<sup>10</sup>.

Только постепенное ослабление с конца 1980-х, а вскоре и полная ликвидация государственно-идеологического контроля позволили при-

ступить к восстановлению целостной картины советского славяноведения довоенного периода. Появилась возможность изучения таких ранее болезненных вопросов, как репрессии по отношению к ученым-славистам и их науке. Первым опытом обращения к данной теме можно считать статью старейшего филолога-слависта страны С. Б. Бернштейна, бывшего непосредственным свидетелем описанных им событий<sup>11</sup>. Разработка предмета на новом уровне, с привлечением ставших доступными архивных материалов была продолжена другими исследователями<sup>12</sup>. В поле зрения ученых оказался также анализ взаимоотношений славяноведения как области научного знания с государством в плоскости идеологико-методологической<sup>13</sup>. Появились исследования обобщающего характера, как монографические<sup>14</sup>, так и в формате статей<sup>15</sup>, обосновывающие дробную периодизацию славяноведения довоенного периода.

Внимание исследователей привлекли прежде всего отдельные видные представители славистической науки, на жизнь и деятельность которых условия советского периода повлияли самым негативным образом<sup>16</sup>. На основании их эпистолярного наследия были предприняты попытки взглянуть на судьбы славяноведения глазами ученых того времени<sup>17</sup>. Была открыта тема русской славистической эмиграции и ее общения с коллегами, оставшимися на родине<sup>18</sup>. Помялено начало исследованию истории центров славяноведческих исследований 1920-х<sup>19</sup> и начала 1930-х гг.<sup>20</sup>, резких колебаний в оценке советской историографией крупных славистических школ прошлого<sup>21</sup>, судеб школ, продолжавших существование и в новых условиях<sup>22</sup>. Увидело свет научное издание чрезвычайно ценных дневниковых записей и воспоминаний С. Б. Бернштейна<sup>23</sup>.

Принципиальное изменение ситуации в отечественной науке способствовало тому, что на заседаниях Международной комиссии по истории славистики при Международном комитете славистов стали заслушиваться доклады, посвященные истории славяноведения в СССР. Однако весьма показательно, что на трех проведенных Комиссией конференциях «Идея славянской взаимности и ее роль в развитии истории славистики» (Урбино, Италия, 1992), «Наука и идеология в истории славистики» (Стара Лесна, Словакия, 1997), «Роль институций и научных учреждений в мировой славистике» (Париж, 2001) — только пять выступлений касались довоенного периода советской славистики<sup>24</sup>, послевоенному же этапу были посвящены лишь три доклада<sup>25</sup>.

Как известно, Устав Императорской Петербургской Академии наук 1836 г. определял ее членов как «первенствующее ученое сословие в Российской империи». К 1917 г. в Академии действительных членов было всего 41<sup>26</sup>, и представляли они вместе с более многочисленными

членами-корреспондентами научную элиту России. Ученые-гуманистарии составляли тогда два из трех отделений Академии.

Изучение собственно русской, а также широко понимаемой славянской филологии было сосредоточено во Втором отделении — Отделении русского языка и словесности (ОРЯС), ставшем в Академии ведущим. С конца XIX в. оно не только превратилось в центр славистических исследований внутри России, но и занимало ведущее положение «в организации научной работы по славяноведению во всей Европе»<sup>27</sup>.

Судьба именно этой части профессионального сообщества славяноведов, сосредоточенной к моменту прихода новой советской эпохи в стенах Академии наук, остается до настоящего времени наименее исследованной. В задачу книги входит изучение истории отечественного славяноведения 1917 — начала 1930-х гг. — периода, который в силу изложенных выше обстоятельств остался неосвещенным. Вне поля зрения оказались явления и процессы, определившие состояние данной области знания: принципиально изменившиеся взаимоотношения науки и власти, противостояние научных традиций новой идеологии и методологии. Не меньшего внимания заслуживают вопросы, связанные с отношением к ведущим научным школам прошлого и их лидерам: с одной стороны, преемственности научных школ и традиций, с другой — их искоренения, самого существования сложившихся школ в новых условиях. Никогда ранее не рассматривались история ликвидации Второго отделения Академии наук как самостоятельной научной структуры, проблемы, возникавшие в связи с выборами в Академию ученых-славистов, взаимоотношения эмигрировавших ученых с академической элитой СССР. В самом широком плане ставится проблема хранителей академических традиций и их разрушителей, профессиональной этики.

История всякой науки складывается не только из истории идей, концепций, исследований, но также из истории научных институций и судеб отдельных ученых. Последние изучаются в книге на фоне огромных материальных трудностей и террора первого послереволюционного пятилетия, что весьма драматически отразилось на состоянии славяноведения, понесшего большие кадровые потери. В результате постигших Россию потрясений наука была дезорганизована. Славистика оказалась разорванной на оставшуюся на родине и попавшую в эмиграцию.

На рассматриваемый период пришлося радикальное преобразование общества, была провозглашена единая общегосударственная идеология, основанная на принципах классности и интернационализма, в науке взят курс на внедрение единой марксистской методологии. Эти катак-

лизмы самым существенным образом сказались на всей гуманитарной науке страны, учебных заведениях всех уровней и цитадели научного знания — Академии наук, судьбе элиты отечественного славяноведения.

Базовым источником настоящего исследования послужили письма почти 60 отечественных ученых, преимущественно славистов, а также их коллег — представителей других гуманитарных специальностей\*. Вся используемая в книге переписка находится в архивохранилищах. Нами были изучены около 40 фондов в архивах и рукописных отделах библиотек Санкт-Петербурга и Москвы (Санкт-Петербургский филиал архива РАН, Российский государственный архив литературы и искусства, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Архив РАН, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга).

Письма отдельных ученых, как в количественном отношении, так и в плане информативности, очень разнятся. Архивные дела насчитывают от нескольких листов до нескольких их сотен. Датировка писем почти всегда не совсем точна — смешанное употребление старого и нового календарных стилей многие ученые сохраняли до конца рассматриваемого периода. В переписке встречаются лакуны, вызванные как плохой сохранностью документов, так и явным уничтожением их самими учеными или изъятием карательными органами. Не сохранились архивные фонды репрессированных ученых. Работа с перепиской данного времени имеет дополнительные трудности, связанные с материальными носителями информации. Качество бумаги и чернил зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому часть текстов полностью или частично не поддается расшифровке. Употребление цветных, в частности, красных чернил или карандашей также затрудняет понимание текста. Отдельные письма пострадали от влаги, и текст полностью размыт, иногда чернила просачивались сквозь бумагу, делая практически нечитаемой оборотную сторону листа и даже следующую страницу, на которой отпечатывался текст.

Эпистолярное наследие крупных филологов и историков является важнейшим источником для историографических исследований самого разного типа. Уже существуют работы о специфике использования данного источника в историко-научных штудиях, касающихся дореволюционного времени<sup>28</sup>, следует упомянуть и издания, посвященные специально переписке славистов<sup>29</sup>.

\* Академиками и членами-корреспондентами в интересующий нас период являлись 37 человек (15 из них умерли до 1935 г.), остальные 20 или уже состояли, или в будущем стали профессорами ведущих отечественных и зарубежных университетов, а четверо достигли высокого положения в составе АН СССР.

О тех возможностях, которые предоставляет изучение эпистолярного наследия, можно судить на примере выдающегося русского ученого Н. С. Трубецкого. «Именно здесь, — отмечает В. Н. Топоров, — более всего обнаруживаются человеческие качества их автора — через биографические данные, содержание писем, сами слова, интонации, почти нулевые знаки, т. е. через все то, что составляет человеческий стиль личности»<sup>30</sup>.

Переписка ученых избранного нами периода и круга — бесценный источник для раскрытия почти всех сторон их жизни и деятельности — обладает своими, отличными от предшествующего этапа, особенностями. В государстве, где официально провозглашенной формой правления была диктатура, для многих ученых только личная переписка с близкими по убеждениям людьми, а также с коллегами, хотя и не разделявшими их взглядов, но входившими в единое научное сообщество (связанное профессиональными и служебными интересами или отношениями учителя с учениками), оставалась единственным пространством для свободного выражения собственных мыслей.

Только в переписке можно найти откровенные суждения по политическим вопросам, понять действительное отношение ученых к «реформам» в области науки, к новым идеологическим и методологическим фетишам, предписанным властями для обязательного освоения. Письма людей, представлявших элиту русского славяноведения, отличаются широтой мысли, сочетают толерантность и принципиальность, вместе с тем в них проявляется иногда и резкость в суждениях. Высказывавшиеся ими мнения, естественно, несли на себе печать субъективности, но тем полнее и объективнее наши представления об ученых, крайне болезненно воспринимавших деградацию науки, столь славной еще совсем недавно. Как справедливо отметил В. Н. Топоров: «Если о Трубецком-ученом и мыслителе мы судим прежде всего все-таки по его опубликованным трудам, то о Трубецком-человеке теперешние поколения полнее всего могут судить по его письмам»<sup>31</sup>. Именно письма предоставляют возможность показать, какие действия нового политического режима и условия социалистического быта влияли на мироощущение виднейших представителей науки. Введение в оборот большого количества цитат из переписки позволяет услышать голоса самих участников событий со всеми их особенностями, в том числе своеобразием лексики.

К исследованию привлечены, кроме того, дневниковые записи, воспоминания, документы, исходящие из Академии наук (протоколы заседаний, постановления и т. д.), а также материалы, относящиеся к деятельности карательных органов и высших партийных инстанций. Круг используемых источников позволяет представить тему на фоне истории Академии наук в целом.

Жизненному и научному пути академиков и членов-корреспондентов Отделения русского языка и словесности, выдающихся русских филологов-славистов<sup>32</sup>, а также их ближайших коллег-гуманистов и посвящается наша книга.

\* \* \*

Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность за помощь в работе моим коллегам: Е. П. Аксеновой, Н. А. Богаевой, А. Н. Горянину, М. Ю. Досталь, а также сотрудникам Санкт-Петербургского филиала архива РАН.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979.
2. Дьяков В. А. О некоторых аспектах развития славистики в 1918–1939 годах // Советское славяноведение. 1981. № 1. С. 78–92; *Он же*. Важнейшие черты развития славяноведения в 1918–1939 годах // *Slowianoznawstwo w okresie międzywojennym* (1918–1939). Wrocław, 1989. S. 9–28.
3. Логачев К. И. Советское славяноведение до середины 1930-х // Советское славяноведение. 1978. № 5. С. 91–103. К сожалению, осталась неопубликованной значительная часть диссертационного исследования этого автора: Логачев К. И. Первый этап развития советского славяноведения. (Славистические учреждения Академии наук в 1917–1934 гг.) Дис. ... канд. ист. наук. М., 1979.
4. Горянин А. Н. Советская славистика 1920–1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 5–21.
5. Дьяков В. А. О состоянии и перспективах исследований по истории славистики // *Slavia orientalis*. 1987. Т. 36. № 3–4. S. 405–415.
6. Горянин А. Н. О подготовке славистических кадров в Ленинградском университете // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984. С. 261–283; *Он же*. Из истории университетской славистики в первое десятилетие советской власти // Вопросы истории славян. История зарубежных славян в советской историографии. Воронеж, 1986. С. 128–138; Логачев К. И. Славистика в Петроградском–Ленинградском университете в годы советской власти // Славянская филология. К X Международному съезду славистов. Межвузовский сборник. Л., 1988. Вып. VI. С. 51–93; Горянин А. Н. Славяноведение в Московском университете (1917–1927): из истории преподавания славистических дисциплин и организации Цикла южных и западных славян // Советское славяноведение. 1989. № 4. С. 51–61; *Он же*. Цикл южных и западных

- славян МГУ (1927–1930) // Пятьдесят лет исторической славистики в Московском государственном университете. М., 1989. С. 13–33.
7. Славяноведение в СССР. Изучение южных и западных славян. Библиографический словарь. New York, 1993.
  8. Дьяков В. А. О состоянии и перспективах исследований по истории славистики. С. 406.
  9. См.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979.
  10. Горизонтов Л. Е. Путь историка // Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996. С. 22.
  11. Бернштейн С. Б. Трагические страницы из истории славянской филологии (30-е годы XX века) // Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 77–82.
  12. Горяинов А. Н. Славяноведы — жертвы репрессий 1920-х — 1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки // Советское славяноведение. 1990. № 2. С. 78–89; Он же. Еще раз об «Академической истории» // Вопросы истории. 1990. № 1. С. 180–181; Он же. «Ленинградская правда» — коллективный организатор «великого перелома» в Академии наук // Вестник АН СССР. 1991. № 8. С. 107–114; Аксенова Е. П. «Изгнанное из стен Академии»: Н. С. Державин и академическое славяноведение // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69–81; Робинсон М. А., Петровский Л. П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «Дела славистов» (по материалам ОГПУ–НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 68–82; Ашинин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.
  13. Робинсон М. А. Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение 20-х годов // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. С. 111–134; Он же. Перелом в довоенном советском славяноведении. Идеолого-теоретические аспекты // L'idea dell'unita e la reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Идея славянской взаимности и ее роль в развитии истории славистики. Доклады конференции Комиссии по истории славистики МКС. Урбино 28.IX–1.X.1992. Roma, 1994. Р. 93–107; Он же. Влияние идеологии на изучение литературы русского средневековья // Veda a ideológia v dejinách slavistiky. Materiály z konference Stará Lesná, september 1997. Bratislava, 1998. S. 122–135; Он же. Слависты и «новая религия» вместо науки (1920-е — начало 1930-х годов) // Славянский альманах 2003. М., 2004. С. 204–243.
  14. Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
  15. Робинсон М. А. Русская академическая элита: советский опыт (конец 1910-х — 1920-е годы) // Новое литературное обозрение. 2002. № 53. С. 159–198.
  16. Горяинов А. Н., Ратоньельская А. В. Д. Н. Егоров: научная деятельность и славистические исследования // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. С. 80–111; Досталь М. Ю.

- Е. Ф. Карский в годы «советизации» Академии наук // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1995. Т. 54. № 3. С. 77–82; *Робинсон М. А.* К. Я. Гrot — общественные взгляды и судьба в науке (начало 30-х годов) // Славянский альманах 1997. М., 1998. С. 196–210; *Он же.* Академик А. А. Шахматов: последние годы жизни (К биографии ученого) // Славянский альманах 1999. М., 2000. С. 189–203.
17. *Робинсон М. А.* Судьба славянской филологии глазами ученого (По письмам Г. А. Ильинского) // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX века. М., 1992. С. 78–90; *Робинсон М. А., Сазонова Л. И.* О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы по письмам В. Н. Перетца М. Н. Сперанскому // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 458–471; *Аксенова Е. П.* Судьбы советского славяноведения первой половины 1930-х годов в письмах отечественных славистов // Переписка славистов как исторический источник. Сборник научных статей. Тверь, 1995. С. 120–133; *Баранкова Г. С.* К истории создания второго издания «Праславянской грамматики» Г. А. Ильинского // Русский язык в научном освещении. 2002. № 2 (4). С. 211–248.
18. *Досталь М. Ю.* Российские слависты-эмигранты в Братиславе // Славяноведение. 1993. № 4. С. 49–62; *Досталь М. Ю., Робинсон М. А.* Письма Р. О. Якобсона М. Н. Сперанскому и Л. В. Щербе // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1995. Т. 54. № 6. С. 63–71; *Горянин А. Н., Досталь М. Ю.* А. Л. Петров и его научные славистические поездки 1920-х годов. Из писем и документов русских и чешских архивов // Переписка славистов как исторический источник. Сборник научных статей. Тверь, 1995. С. 94–119; *Робинсон М. А.* Письма на родину: ученые эмигранты и российская славистическая элита (20-е годы) // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 211–235; *Он же.* Русские слависты-эмигранты и их контакты 20-х годов с коллегами, оставшимися на родине (по материалам переписки) // Emigracja rosyjska. Losy i idee. Łódź, 2002. S. 135–150.
19. *Робинсон М. А.* Отделение русского языка и словесности в период реформирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славянский альманах 2001. М., 2002. С. 234–262; *Он же.* Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук (конец 1910-х – 1920-е годы) // Histoire de la slavistique. Le rôle des institutions. История славистики. Роль научных учреждений. Paris, 2003. P. 68–87.
20. О судьбе Института славяноведения (1931–1934) см.: *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения...
21. *Робинсон М. А.* В. И. Ламанский и его историософский трактат «Три мира Азийско-Европейского материка» // Славянский альманах 1996. М., 1997. С. 90–106.
22. *Робинсон М. А.* Академик В. Н. Перетц — ученик и учитель // Славянский альманах 2002. М., 2003. С. 178–236.
23. *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти. Воспоминания, дневниковые записи / Публ. М. Ю. Досталь и А. Н. Горянинова. М., 2002. С. 78.

- 
24. Горяинов А. Н. Трактовка славянской взаимности и славяноведения советскими учеными (1920–1930-е годы) // *L’idea dell’unità e reciprocità slava...* Р. 81–92; Робинсон М. А. Перелом в довоенном советском славяноведении... Р. 93–107; *Он же.* Влияние идеологии на изучение литературы русского средневековья... С. 122–136; Цыхун Г. Институт белорусской культуры (Инбелкульт) и начало белорусской славистики // *Histoire de la slavistique. Le rôle des institutions...* Р. 45–55; Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук... Р. 68–87.
  25. Brogi Bercoff G. Some Remarks on the IV International Congress of Slavists held in Moscow in 1958 // *Veda a ideológia v dejinách slavistiky...* S. 22–37; Эгеберг Э. Исключение норвежского слависта Олафа Брука из рядов АН СССР // *Ibid.* S. 136–139; Мыльников А. С. Независимое объединение славистов в советском Ленинграде (1976–1989 гг.) // *Histoire de la slavistique. Le rôle des institutions...* Paris, 2003. Р. 122–128.
  26. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. М., 1974. С. 277.
  27. Лаптева Л. П. Организация славистических исследований в рамках Отделения русского языка и словесности Академии наук // Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 345.
  28. Критский Ю. М. Эпистолярное наследие историков как историографический источник (середина XIX в. – 1917 г.) // История и историки. 1973. М., 1975. С. 85–112.
  29. Переписка славистов как исторический источник. Сборник научных статей. Тверь, 1995
  30. Топоров В. Н. Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения) // Советское славяноведение. 1991. № 1. С. 94.
  31. Там же.
  32. Большинство из этих ученых благодаря своим исследованиям заняли в истории славяноведения достойное место. Оценку их научных трудов и библиографию работ см.: Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь...; Славяноведение в СССР. Изучение южных и западных славян. Биобиблиографический словарь...

## Глава I

### ПОЛИТИКА, НАУКА, ИДЕОЛОГИЯ

#### От Февраля к Октябрю: умонастроения и предчувствия

События Февральской революции были встречены большинством либерального научного сообщества с сочувствием и даже сопровождались выражениями восторга. Такие настроения распространялись особенно в сфере университетской жизни, в которой восстанавливалась справедливость по отношению к уволенным и добровольно ушедшим в отставку в 1911–1912 гг. профессорам и преподавателям\*. В этом смысле характерны письма будущих академиков М. Н. Розанова и М. Н. Сперанского П. Н. Сакулину марта 1917 г. «Сегодня, — писал Розанов второго числа, — в экстренном заседании Совета университета единогласно постановлено ходатайствовать о возвращении А. А. Мануйлова, М. А. Мензбира и П. А. Милюкова. Таким образом, стена, стоящая между Вами и университетом, пала. Всем, ушедшем в 1911 г., вновь раскрываются двери родного университета. [...] Очень приятно, что давно желанный момент нашей академической жизни совпадает с великим днем освобождения России. Пусть едва вспыхнувшая заря свободы обратится скорее в яркий солнечный день»<sup>1</sup>. Вскоре, 14 марта, уже Сперанский не скрывал своих эмоций: «Ждем с распластертыми объятиями, ждем Вашей помощи в общем строительстве новой жизни в нашем родном Университете!»<sup>2</sup>

Некоторым ученым, за которыми в той или иной форме велось политическое наблюдение, стали доступны материалы этого наблюдения. Так, В. Н. Перетц получил перлюстрированную копию письма к нему А. А. Шахматова от 1 марта 1914 г. Письмо касалось опасений Шахматова по поводу возможных сложностей с утверждением избрания академиком Перетца, всегда слывшего «неблагонадежным»<sup>3</sup>. На копии письма в Департаменте полиции было сделано следующее примечание: «А. А. Шахматов — член Импер[аторской] Академии наук — левый. Проф. В. Н. Перетц — левый». Перетц не преминул запечатлеть на этой копии и свое особое мнение: «Интересно, какими письмами интересовались жандармы — и их безграмотность, зачисля меня — в кадеты! Для них „левее“ не было?»<sup>4</sup>.

\* Увольнения и массовые отставки профессоров Московского и Петербургского университетов были следствием жесткой политики министра народного просвещения Л. А. Кассо.

В свою очередь сам Перетц решил, по-видимому, удивить своего учителя, человека весьма консервативных убеждений, недавно даже не избранного, а назначенного в Государственный совет. В официальном уведомлении от 1 января 1917 г., полученным А. И. Соболевским от председателя Государственного совета И. Г. Щегловитова, сообщалось: «...повелено быть членом Государственного Совета, с оставлением Ординарным академиком»<sup>5</sup>. К этому посланию была приложена и официальная копия распоряжения о назначении новых членов Государственного совета за подписью Николая II. Перетц писал Соболевскому 15 мая: «Посылаю вам любопытный документ, доставшийся мне при обозрении помещений [бывшего] Департ[амента] полиции после погрома первых дней революции. Это карточки из каталога неблагонадежных, по мнению Деп[артамента], лиц. Таких карточек много было разбросано по полу. Цифры обозначают папку и дело, где есть и о Вас упоминание. Когда Архив Деп[артамента] пол[иции] будет разобран Щеглевым (это дело поручено ему), можно навести справки, что именно инкриминировалось Вам...»<sup>6</sup>. На прилагавшейся к письму карточке значилось: «А. И. Соболевский. Академик», там же были три каталожных шифра.

Ответ ученого, по шифрам легко определившего то время, когда он попал в поле зрения полиции, был полон язвительных замечаний в ее адрес. Уже 18 мая Соболевский писал Перетцу: «Получил и приношу глубокую благодарность. Разочаровываюсь в Д[епартаменте] п[олиции]. Три указания на меня и все относятся только к 1915 г., когда я [был] выбран в председатели Славянск[ого] о[бщест]ва. Как будто раньше 1915 г. меня не существовало!»<sup>7</sup> Кстати, деятельность возглавлявшегося Соболевским Общества, особенно в провинции, после февраля стала встречать осложнения из-за изменяющихся настроений в обществе. Так, коллега ученого, К. В. Харлампович с горечью сообщал Соболевскому 31 мая из Казани о бесперспективности мероприятия по сбору средств в пользу сербов: «Что нам до славян, когда масса отреклась от собств[енного] славянства и даже от русского имени! Захотелось быть интернационалистами...»<sup>8</sup>

Постепенно к концу весны, летом и в начале осени общее настроение в ученой среде становилось все более и более тревожным. Уже 28 апреля 1917 г. ученик Соболевского Н. М. Каринский с тревогой писал учителю: «Чувствую, что мы переживаем серьезный исторический кризис. Положение России тяжелое: и внешний враг, и внутренняя местами анархия. У нас в Петрограде особенно тяжело вследствие недостатка продовольствия. Работаю, пока есть силы, хотя я совершенно болен. Надеюсь на Бога и на то, что русский народ должен с честью выйти из тяжелого положения, как он вышел в 1612 г. Все лю-

бящие Россию должны отдать силы на служение родине»<sup>9</sup>. Продовольственное положение в столице становилось все сложнее, что вызывало у Каринского сожаления об упущенном возможности обосноваться где-нибудь в более сытой провинции. «Мы последнее время буквально голодали, — писал ученый. — Как я сожалею, что отказался от профессуры в провинциальном университете! В Петроград семью, вероятно, перевезти будет невозможно, т. к. напитать всех — почти невозможная задача. У кого малая семья, легче, но при 6 челов[еках] детей совершенно руки опускаются». «Семья моя, — сообщал Каринский, — поехала вместе с семьею сестры (14 чело[век] детей и старый отец) в Вятскую губ[ернию]»<sup>10</sup>. Надо отметить, что и Соболевского начинали волновать сходные проблемы. Он поделился своими предчувствиями с Перетцем в письме от 18 мая: «Живу углубленный в продовольственное дело. Перспективы грозные и приходится задумываться над вопросами более существенными, чем вопросы так называемой „орфографии свободы“ (кличка пошла в оборот)»<sup>11</sup>.

Радикализация настроений в обществе, неудачи на фронтах всеяли в ученых самые худшие ожидания. Живший летом в своем имении Шахматов, констатируя в письме от 15 июля 1917 г. А. Ф. Кони «добрососедские отношения» с крестьянами, отмечал хрупкость такого положения: «Но я живо сознаю, что все это благополучие может сразу оборваться: стоит докатиться до нас какой-нибудь волне и сбить с толку бедных русских граждан. Но, конечно, несмотря на все эти внешние хорошие условия, мы все страдаем нравственно. Каждая газета приносит ряд ужасных известий о разложении, распадении, разращении России»<sup>12</sup>.

«Как и Вы, — продолжал ученый, — я с особенным ужасом останавливаюсь перед предательством украинцев во главе с Грушевским. Это самый тяжелый удар по России»<sup>13</sup>, — подчеркивал Шахматов. В этом письме впервые проявилось то психологически угнетенное, подавленное состояние, которое после Октябрьской революции стало доминирующим ученого вплоть до его кончины<sup>14</sup>. «Стараюсь заглушить в себе гражд[анско]е чувство, — писал Шахматов, — с усилием занимаюсь своею наукой, а то иначе я попал бы в такой тупик, из которого едва ли увидел бы иной выход, кроме смерти. Ведь даже пойти на фронт, сражаться рядовым, — в настоящее время невозможно»<sup>15</sup>. Тогда же Шахматов писал и Перетцу: «Мы живем здесь хорошо. Страшную тревогу и смущение приносят только газеты. Украина с Грушевским, бегство с фронта, переход власти к социалистам, все это действует подавляющим образом. Забываюсь в работе, но сейчас произошел досадный перерыв, и я нравственно чувствую себя отвратительно». Одной из насущных проблем, вставшей перед Шахмато-

вым, как одним из руководителей Академии, стала угроза продвижения немецких войск в сторону столицы. «Заботит вопрос о том, не надо ли мне быть в Петрограде на случай эвакуации?»<sup>16</sup>

Теми же ощущениями и предчувствиями наполнено и июльское письмо Шахматова В. М. Истрину: «Получил Ваше письмо вчера одновременно с тревожными вестями об отступлении наших войск. Россия пропала – это ясно! Совершенно не вижу выхода и возможности спасения. Отчаяние каждого из нас могло бы быть безграничным, если бы нас не отвлекали злободневные интересы. Неужели можно пережить позор и унижение родины с легким сердцем? Вообще я лишен дара видеть что-нибудь впереди, но теперь события рисуются мне так, что Керенский недели через две-три будет устранен, а Некрасов пойдет на сепаратный мир и позорные условия. А что дальше, трудно себе даже и представить»<sup>17</sup>. Тяжелое моральное состояние усугублялось и ожиданием быстрого ухудшения материального положения. «У нас губительная засуха убила все, – писал Шахматов. – Голод неминуем. А хлеба и теперь уж не достанешь. Держимся благодаря небольшому запасу от прошлого года. Придется продавать скот и лошадей, которых, впрочем, у нас немного». И с Истриным ученый делился тревогами о судьбе столицы: «Все жду тревожной телеграммы из П[етербур]га с сообщением об эвакуации»<sup>18</sup>.

Над городом действительно нависла угроза, шла подготовка к эвакуации Академии наук и ее библиотеки. Так же, как и Шахматов, Н. П. Лихачев очень сомневался в деятельности правительства, возглавлявшегося А. Ф. Керенским. Выдающийся собиратель и коллекционер печатей очень переживал за свое собрание, 12 сентября он писал В. И. Срезневскому: «...я был настроен пессимистически относительно деятельности „товарищей“, но не думал, что Петрограду придется спешно эвакуироваться, что въезд в него будет воспрещен, и т. д. Я вывез семью и необходимые вещи, но оставил мой музей и свою библиотеку. [...] Умоляю Вас, буде Академия будет эвакуировать свои рукописи и библиотеку, не забыть мои четыре сундука. В них много хорошего, что, может быть, со временем в рукописное собрание и поступит. Я слышал, что Академия Наук будет вывозиться в Саратов. Не знаю, правда ли это. Желал бы вам сказать – до свидания, и до свидания при лучших обстоятельствах»<sup>19</sup>.

### «Мы задыхаемся от насилия»

Безусловно, самой влиятельной и уважаемой фигурой гуманитарной академической науки 10-х гг. XX в. был председательствовавший

в Отделении русского языка и словесности академик А. А. Шахматов, занявший этот пост в возрасте 42 лет. Именно благодаря его организаторской деятельности ОРЯС превратилось в центр филологической науки в России. Шахматов возродил «Известия ОРЯС» — лучший филологический журнал первой четверти XX в. Шахматов более 20 лет был директором 1 отделения Библиотеки Академии наук, где при его покровительстве собирались ценнейшие архивные материалы политического характера. Эти архивы привлекали внимание властей и их карающих органов как до<sup>20</sup>, так и после революции<sup>21</sup>. Особой заботой Шахматова всегда была организация помощи молодым ученым — и научным советом, и книгами, и одновременно помочь материальная, особенно после революции<sup>22</sup>. Шахматов всеми силами стремился поддержать деятельность Академии в тяжелейший период Гражданской войны, когда необходимость существования этого учреждения периодически подвергалась сомнению.

Признанный лидер русской филологической науки, как и большинство его коллег, встретил октябрьский переворот без всякого воссторга. Шахматов принадлежал к наиболее либерально настроенной части академиков. Он со временем первой русской революции состоял членом кадетской партии, был принципиальным противником всяких революций, резко осуждал правые и националистические партии, а в социалистах вообще в период между февралем и октябрем 1917 г. видел разрушителей единства государства и людей, ничего не смыслящих в экономических законах.

Свои впечатления о первых шагах новых властей («большевики лишили было нас жалованья») и страхах, с этим связанных, ученый изложил в письме от 3 декабря 1917 г. П. Н. Сакулину, по иронии судьбы, одному из немногих академических ученых-гуманитариев, пошедших позже на сближение и сотрудничество с властями<sup>23</sup>: «Пока перед нами тьма беспроственная. Испытываешь невероятное унижение, читая и слыша про подвиги большевиков. Они еще не добрались до университета и академии, но, конечно, это не замедлит. С ужасом вижу, что учред[ительное] собрание сорвано! А с ним исчезло столько надежд, столько упнований»<sup>24</sup>. Не менее эмоционально и полно безнадежности письмо Шахматова и к А. Ф. Кони середины того же месяца. «В эти ужасные дни, — писал ученый, — я не хотел Вас беспокоить и не добивался свидания; уж очень принужденным и оплеванным себя чувствуешь. Ясно, что мы хороним Россию, а в частности хороним будущее нашего великорусского племени. Нет той силы, которая могла бы спасти нас». После всего сказанного логичен и закономерен был и общий вывод, сделанный ученым: «Если у власти останутся большевики, пропадет и Академия и Университет»<sup>25</sup>.

Несколько раньше, в конце ноября, о почти панических настроениях, охвативших академические круги, свидетельствует письмо Н. П. Лихачева В. И. Срезневскому: «Вы спрашиваете, как я думаю спасать мои книги и музей. Да никак! Думали увозить сокровища культуры и древности от немцев, а теперь вся Россия в руках таких стенько-разинцев и пугачевцев, истребляющих накопленные поколениями блага. Куда и что увозить? У меня девять человек детей и я с ужасом думаю, что с ними будет. И бежать-то некуда». Ученого потрясли события революционных дней, повлекшие за собой гибель бесценных исторических материалов. «В Москве в самом Кремле разбили Патриаршую Ризницу и уничтожили часть древнего Дворцового архива, — ужасался Лихачев, — куда идти дальше». «А что переживаем, что пережили!» — воскликнул ученый, и «вообще положение горькое». А в конце письма Лихачев специально интересовался: «Как поживает Алексей Александрович?»<sup>26</sup> Как мы видели, настроение Шахматова в эти месяцы было куда более мрачным.

Через месяц, 14 января 1918 г., Шахматов вновь делился с профессиональным юристом Кони своими безрадостными наблюдениями над действительностью. «Поразительно особенно попрание юрид[ических] норм народом, — отмечал ученый, — всегда благоговевшим перед законом. „Право“, „полное право“ не сходит с уст народных. Для меня ясно, что народ переживает психоз; отрезвление наступит очень быстро. Но, конечно, будет уже поздно. Разоренная, расчлененная, опозоренная страна уже не будет нашей прежней Россией!»<sup>27</sup>

И тем не менее принципиальное убеждение Шахматова состояло в том, что академические ученые обязаны, не покидая своих постов, сделать все для сохранения Академии наук как центра знаний и пропаганды, необходимого для народа. В тот же день, что и Кони, ученый отправил письмо известному либеральному публицисту и общественному деятелю К. К. Арсеньеву, избранному почетным академиком по Разряду изящной словесности в 1900 г. Шахматов, сам уверенный в трагической будущности России, тем не менее взывал к высоким патриотическим чувствам, уговаривая Арсеньева не прерывать своих связей с Академией. «Усердно Вас прошу, — писал он, — оставить мысль о возможности сложения звания почетного академика. Напротив, мы будем Вам признательны, если Вы сообщите нам свои желания о том, как можно было бы оживить деятельность Разряда. [...] Я уверен, что Вы сохранили веру в русский народ, в будущность России, веру, которую так быстро утрачиваем мы в борьбе с невероятными испытаниями, обрушившимися на нашу родину»<sup>28</sup>.

Уже из письма, написанного через пять дней, 19 января, становится ясно, что Шахматов подразумевал под «невероятными испытания-

ми». Ученый писал академику В. М. Истрину, оказавшемуся в Серпухове: «Пугает вопрос о том, будет ли вообще Академия получать содержание. Он еще не выяснен. Без меня было собрание Академии и других учреждений, на котором решено войти в деловые сношения с правительством нар[одных] комиссаров. Решение еще не осуществлено; боюсь, что кроме потока грязи мы на наши учреждения ничего не получим. Но понимаю, что другого нет выхода после разгона Учр[едительного] Собрания»<sup>29</sup>.

Если ожидания, связанные с Учредительным собранием, рухнули с его разгоном, то острая необходимость надеяться на лучшее будущее порождала все новые и столь же тщетные упования на спасение России, особенно будоражившие провинцию. Так, 22 мая 1918 г. К. В. Харлампович писал А. И. Соболевскому в Москву: «Здесь, в Казани, ходят слухи о совещании в Москве общественных деятелей, о съезде депутатов четырех государственных дум и о других попытках спасти остатки России от окончательного развала, но как будто это только слухи, которыми утешаются исстрадавшиеся за честь и за жизнь России граждане. Я им не верю, так как много уже ожиданий и надежд было обмануто»<sup>30</sup>. Новые власти довольно быстро начали вторгаться в сферу высшего образования, как отмечал в том же письме Харлампович, «судьба самих университетов висит на волоске, и долго ли они проществуют, как таковые, неизвестно». Несмотря на столь сложное положение, старое руководство стремилось смягчить прямые удары, направленные прежде всего на учреждения идеологически чуждые новому строю. «Тем не менее, — писал Харлампович, — на днях предполагается частное совещание историко-филологического факультета с советом академии (Казанской духовной академии. — M.P.) по вопросу о спасении последней, хотя бы под именем богословского факультета. Что-то подобное сделано в Петрограде, но действует ли на власть предержащую совершившееся соглашение»<sup>31</sup>.

В. Н. Перетц, закинутый «судьбою в Самару», смог уже по первым шагам ведомств, отвечавших у новой власти за просвещение и науку, понять, что будущее у русской науки будет не безоблачным. Его взгляд был не менее пессимистическим, что и у его коллеги и друга Шахматова. «А в Ж[урнале] М[инистерства] Н[ародного] Пр[освещения] была набрана моя рец[ензия] на эту книгу \* — писал Перетц Истрину 8 февраля, или 23 февраля 1918 г. по только что введенному новому

\* Речь идет о рецензии Перетца на книгу В. П. Адриановой «Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности» (Пг., 1917). В конце концов эта рецензия появилась почти через четыре года, в 1921 г., в двадцать шестом томе Известий ОРЯС.

стилю, — я прочел корректуру — но в печати в двойном № ноябрь–декабрьском рец[ензия] не появилась. Вероятно, и ее „нарком“ Луначарский нашел „лакейской и ханжеской“, как он выразился о статьях, набранных, но не вошедших в последнюю (увы!) книжку ЖМНПр. Теперь наука взята под сомнение — и что дальше будет — трудно сказать. Разве нужно чему-нибудь учиться, когда можно штыками достать „всё“?»<sup>32</sup>. Перетц 7 марта 1918 г. решил поделиться с Шахматовым впечатлениями о новых порядках: «Я описал все рукописи Гор[одского] Муз[ея]. Хотел приступить к семинарским, но ... семинарию заняла „красная армия“, и я слышал — началось уже разорение библиотеки; нет возможности бороться с темными неграмотными людьми, убежденными, что наука и особ[енно] о старине — есть „буржуазное занятие“. [...] Такой темноты, какая теперь поднялась со дна жизни, — я никогда не видел, хоть и живал в деревне»<sup>33</sup>.

Если Шахматов, человек либеральных взглядов, один из руководителей Академии, для сохранения оной признавал, хотя и без восторга, необходимость контактов с новой властью, то его коллега, будущий академик П. А. Лавров, придерживавшийся и до революции консервативных взглядов, свое отношение к властям выражал весьма эмоционально. Вот фрагмент из его письма лета 1918 г. к академику Н. К. Никольскому: «То униженное положение, в какое мы попали, так удручет человека, что не знаешь, как бы из него выйти. [...] Так велики злодеяния большевиков [...] Ужели и Лавру постигла страшная судьба безнаказанно для злодеев?! Я был в польской церкви и слушал ксендза, говорившего против посягательства на их епископа с горячностью и страстью (он был из храма при Путиловском заводе) и, несмотря на то, что очень любим рабочими, как слышал вчера, был арестован. Мы задыхаемся от насилия»<sup>34</sup>. Лаврову вторил и Истрин, замечавший в письме августа 1918 г. Соболевскому: «Отовсюду только [иrzб.] унижение: умершим теперь лучше»<sup>35</sup>.

### **Аресты: «Из глубин киргизских степейзываю к Вам»**

К общим переживаниям по поводу вынужденного сотрудничества с новыми властями для А. А. Шахматова добавилась и необходимость контактов с ними по такому необходимому делу, как хлопоты за арестованных коллег. Шахматов обращался для пользы дела к своему старому знакомому, управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу. В дореволюционный период Шахматову неоднократно приходилось оказывать Бонч-Бруевичу, посвятившему себя не только профессиональной революционной деятельности, но и изучению русского сектант-

ства, всевозможную помошь. Уже в рекомендательном письме к почетному академику П. И. Вейнбергу ученый просит помочь Бонч-Бруевичу «в деле вопиющем и вместе с тем справедливом», при этом о рекомендуемом пишет: «Он хороший мой знакомый»<sup>36</sup>. В письме от 24 января 1910 г. Бонч-Бруевич просил Отделение русского языка и словесности выделить ему «денежное пособие» для поездки в Закавказье с целью «продолжить исследование сектантских общин», 4 февраля Отделение постановило выдать «из своих сумм двести рублей на означенную поездку»<sup>37</sup>.

Но наиболее существенны были хлопоты Шахматова перед властями за неоднократно арестовывавшегося Бонч-Бруевича. Так, с февраля по июнь 1911 г. Шахматов составил несколько ходатайств поочередно на имя помощника столичного градоначальника, жандармского полковника М. М. Горленко, товарища министра внутренних дел П. Г. Курлова, М. И. Зубовского — чиновника особого совещания, в котором должно было рассматриваться дело Бонч-Бруевича<sup>38</sup>. В последнем обращении Шахматов выражал надежду на то, «чтобы его (Бонч-Бруевича. — M. P.) не постигла административная высылка или какая-нибудь другая кара»<sup>39</sup>. Как правило, ходатайства Шахматова помогали Бонч-Бруевичу, и не одному ему<sup>40</sup>. Ученый искренне радовался, когда в июне 1914 г. Бонч-Бруевич сообщил ему о своем освобождении после очередного заключения. «Все время Вашего заключения, — писал Шахматов 10 апреля 1914 г., — я испытывал сильнейшее беспокойство за Вас, узнав в особенности, что Вы захворали». Ученый выражал надежду, что теперь Бонч-Бруевич сможет продолжить свою научную работу<sup>41</sup>.

Прошло три с половиной года, положение радикально переменилось, и роль просителя перешла к Шахматову. Сразу же после октябрьских событий ученый с рядом коллег интересовался судьбой арестованных министров Временного правительства. Бонч-Бруевич 8 ноября откликнулся на его обращение. На официальном бланке «Управления Делами Крестьянского и Рабочего правительства Республики России» за № 54 управляющий делами сообщал: «Арестованные министры находятся в распоряжении Военно-Революционного Комитета. Прошу Вас и Ваших товарищей приехать сегодня, 8 ноября, в 10-ть часов вечера в Смольный Институт. Я буду в 3-м этаже, в комнате № 63, редакция „Рабочий и Солдат“, и мы тотчас же пройдем в Военно-Революционный Комитет»<sup>42</sup>. Встреча особого успеха не имела. Шахматов был еще полон надежд на недолговечность пребывания большевиков у власти и шел на контакт с ее представителями через силу. Он писал С. Ф. Ольденбургу 28 ноября: «Мне претит обращаться к Бонч-Бруевичу. Кроме того, это и нецелесообразно. Правильнее

всего обратиться к будущему правительству, как только оно образуется Учр[едительным] Собранием»<sup>43</sup>. Но уже в начале следующего года, 14 февраля Шахматов просил Бонч-Бруевича организовать Ольденбургу, непременному секретарю Академии наук, встречу с В. И. Лениным «по совершенно экстренному делу»<sup>44</sup>.

По всей видимости, предполагался разговор о судьбе содержавшихся в Петропавловской крепости бывших министров Временного правительства. Бонч-Бруевич принял Ольденбурга и, очевидно, обещал оказать содействие, как можно понять из фразы Шахматова в новом письме от 20 февраля 1918 г.: «...дело, о котором Вы так любезно с ним говорили, за что я Вам весьма признателен». Но «в категорию оставляемых в заключении» попал товарищ Шахматова и Ольденбурга по кадетской партии Н. М. Кишкин. Ссылаясь на «болезненное состояние Кишкина» и на то, что «в крепости неблагополучно в смысле настроения стражи», Шахматов отмечал, что «эти два обстоятельства заставляют нас усиленно просить Вас замолвить словечко за освобождение Кишкина»<sup>45</sup>.

Очень скоро хлопоты о смягчении положения арестованных коллег по партии сменились просьбами облегчить судьбу коллег по науке. С просьбой похлопотать за арестованного академика А. И. Соболевского к Шахматову обратился его младший брат, также известный ученый, филолог-классик С. И. Соболевский. Шахматов сразу же отреагировал на эту просьбу, о чем и написал 24 мая 1918 г. Соболевскому: «В ответ на Вашу телеграмму я сообщил Вам о том, что С. Ф. Ольденбург и я возбудили ходатайство через секретаря совета народных комиссаров Горбунова о предоставлении Алексея Ивановича нам на поруки. Мне кажется, что с моей телеграммой Вы имеете возможность обратиться к Горбунову и спросить его, будет ли наше ходатайство иметь успех. Во всяком случае, от него Вы можете узнать, что еще можно предпринять. Предоставляю себя в Ваше распоряжение. Если надо, могу еще написать г. Бонч-Бруевичу. Необходимо во что бы то ни стало вырвать Алексея Ивановича из тюремного заключения, и как можно скорей». Надо отметить, что перспектива очередного общения с представителями власти Шахматова не вдохновляла. Так, в постскриптуме он замечал: «Если бы нужно было, я мог бы приехать в Москву. Но разве говоришься с большевиками?!»<sup>46</sup>

Однако хлопоты себя оправдали, Соболевский оказался на свободе. История, с ним случившаяся, нашла живой отклик у самых разных его коллег. Так, в конце августа 1918 г. из Серпухова ученому писал В. М. Истрин, пребывавший в сильнейшем душевном смятении: «Очень рад Вашему избавлению, что не знаю, что сказать в утешение, ибо утешаться решительно нечем: все погибло и погибает»<sup>47</sup>. И. Е. Евсеев

в письме от 2 ноября 1918 г. выражал Соболевскому сочувствие по поводу случившегося от имени коллег по Библейской комиссии Академии наук: «Слышали о ваших страданиях, сочувствуем Вам и просим Бога, чтобы ваши испытания прошли для Вас благополучно, и Вы спокойно могли бы вернуться к науке и вашим друзьям и знакомым»<sup>48</sup>. «Старый год, — писал Соболевскому 3 января 1919 г. К. В. Харлампович, — был не совсем милостив к Вам и ко мне: что Вы потерпели летом, то я перенес зимой, просидев в заключении с 19/XI по 17/XII»<sup>49</sup>. Так что оправдались опасения, которыми Харлампович делился с Соболевским в мае 1918 г.: «Не можем мы, Казанцы, похвалиться и личной безопасностью, хотя наш „Совдеп“ все же лучше многих других, и во главе его стоят люди довольно просвещенные и даже обнаруживающие удивительное внимание к университету»<sup>50</sup>.

О преследованиях научной интеллигенции на юге России Н. П. Кондаков подробно сообщал Шахматову 5 июля 1919 г. из Одессы: «Наконец последние аресты профессоров: Доброклонского, Вилинского, Рененкампфа, Груздева, Вальтера навели на Университет тяжелый кошмар. И. А. Линниченко не был арестован только потому, что не ночевал дома, задержавшись в гостях более положенного осадным положением срока. В ночь со 2 на 3 июля в его квартиру вошли 6 солдат с офицером и должны были ограничиться только протоколом, не найдя И. А. дома, но потребовали от нас сообщить ему записку о явке в Чрезвычайную комиссию на другой день. Это было исполнено, и А. И. на утро принял эту записку и, объявив, что идет туда, ушел. С того времени мы, как и семьи других арестованных, ничего о них не знаем. Ранее арестованный [бывший] проф[ессор] Левашев расстрелян». «Пока мы, — продолжал ученый, — живущие в квартире И. А., еще не были потревожены. Говорят, что профессоров и юристов (теперь) берут как заложников, на случай обмена. Профессора в большом волнении, особенно пожилые, из-за тяжелых условий „эвакуационного лагеря“. Правда, говорят, что старше 70 лет не берут»<sup>51</sup>.

Не только аресты, но и физическая расправа угрожала ученым, в том числе и известным славистам. «Из киевских газет мы узнали, — сообщал в первых числах июня 1919 г. Соболевскому из Харькова Д. К. Зеленин, — что там расстреляны, среди 53-х заложников, проф[ессор] Флоринский и Армашевский. У нас арестованы проф[ессора] Вязигин и Денисов, а также преподаватель Мелихов, не говоря о всех судейских и о целом ряде капиталистов. Настроение тяжелое»<sup>52</sup>. Не мог не откликнуться на случившееся и В. Н. Перетц. «С горечью прочел я в газетах, — писал он 11 июля Н. К. Никольскому, — о судьбе моего Киевского антагониста, Тимофея Дмитриевича. Что он мог сделать теперь? Ярые шовинисты (украинские. — M. P.) — и те на него не

обращали внимания, и тут — ! Ведь он событиями был совершенно обезврежен»<sup>53</sup>. Действительно, ученого, пожалуй, не было более яростного оппонента в украинском вопросе, чем казненный. Интересно, что в дальнейшем коллеги Т. Д. Флоринского, в том числе и Перетц, старались, чем могли, помочь его вдове. Так, 12 апреля 1925 г. Перетц сообщал М. Н. Сперанскому: «От другой — старой вдовы, В. И. Флоринской, я получил грустное письмо: ее лишили пенсии, которую она получала. Просит написать отзыв об учен[ой] деят[ельности] Т[имофея] Дм[итриевича]. Я написал и завтра же С. И. Маслов (который) приезжал в Питер заниматься) свезет ей. Я плохой славист, но постараюсь, как мог, благо все существенное из его работ знаю. Но поможет ли это? В Харькове отлично знают его антиукр[аинскую] позицию и войну с „мазепинством“!»<sup>54</sup>

Хлопоты коллег не смогли преодолеть политических прегрешений Флоринского-ученого перед новой властью. Уже осенью, 17 сентября 1925 г., Сперанский уведомлял Истрину: «Была у меня совершенно неожиданно В. И. Флоринская: несмотря на наши усилия и рекомендации, в пенсии ей отказали ввиду „недочетов (?) политического настроения“ покойного Т[имофея] Дм[итриевича], как, кажется, Крымский написал на ее бумагах, и теперь она при помощи сына (он коммунист и служит в Ком[иссариате] Иностр[анных] дел) получила разрешение на выезд заграницу, где у нее старик отец и сестра, и она туда едет, если уже не уехала»<sup>55</sup>.

С начала сентября 1919 г. Академия наук и Петроградский университет оказались перед лицом новой серьезной проблемы. Многие коллеги и друзья Шахматова были арестованы и среди них — непременный секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург. Е. П. Казанович, сотрудница Пушкинского Дома, и, можно сказать, летописец не только жизни этого учреждения, но во многом и жизни петербургского научного мира, отметила в своем дневнике («Записки о виденном и слышанном»):

«4/IX. Сегодня арестован Ольденбург. [...]】

5/IX. Арестованы: Булич, Д. Гримм, Пергамент. [...] Очевидно, их берут в качестве заложников. Ужасно, ужасно!

8/IX. Арестованные еще не выпущены и вряд ли будут выпущены скоро, хотя за Ольденбурга, например, хлопочет Гринберг, Горький и другие. Все указывает на то, что дела очень плохи, но тем печальнее будущее для несчастных ни в чем не повинных»<sup>56</sup>.

З. Г. Гринберг был ответственным сотрудником Наркомпроса, курировавшим университетские дела. Очевидно, ему для информации и был направлен из Университета 6 сентября 1919 г. «список профессоров и преподавателей, арестованных по ордерам Ч. К.», адресованный в «Правление Объединенного Совета научных учреждений и Высших

учебных заведений». Среди тринадцати перечисленных ученых только один был не гуманитарием<sup>57</sup>. Уже прямо к «Тов. З.Г. Гринбергу» обратился 9 сентября ректор I Петроградского университета, известнейший специалист в области античной истории и классической филологии, будущий академик С. А. Жебелев<sup>58</sup>. О том, как отреагировал на случившееся А. М. Горький, записал 4 сентября в дневнике К. И. Чуковский: «Сейчас видел плачущего Горького. „Арестован Сергей Федорович Ольденбург, вскричал он, вбегая в комнату издательства Гржебина. — Я им сделаю скандал, я уйду совсем из коммунистов. Ну их к черту!“»<sup>59</sup>.

Естественно, что в хлопоты за Ольденбурга сразу же включился и Шахматов. Он вновь должен был обратиться к Бонч-Бруевичу. Ко времени написания цитируемого нами ниже письма от 12 сентября Шахматов и Бонч-Бруевич уже успели вступить в контакт. «От всей души благодарю Вас, — писал Шахматов, — за Ваш отклик на мою просьбу. Но, Вы, конечно, знаете, что распоряжение сов[ета] нар[одных] ком[иссаров] осталось неисполненным, Ольденбург до сих пор не освобожден. Зная деятельность Ольденбурга, его необычайную работоспособность и живость, Вы можете себе представить, как удручающе подействовал его арест на Академию и на ряд ученых учреждений, которых он является или душой, или офиц[иальным] руководителем. Не думаю, чтобы кому-нибудь было выгодно вносить расстройство в дело русского просвещения, между тем изъятие Ольденбурга ведет к нему неминуемо. Мотив политической борьбы недостаточен: нет среди нас другого, который так неутомимо и открыто работал бы с теперешним правительством, решительно никогда не выступая его противником, принципиальным антагонистом, напротив, всегда выискивая пути соглашения. Это подсказываетя его горячей любовью к русскому народу и глубоким демократизмом.

Взвесив все обстоятельства, Вы, быть может, найдете справедливым настоять на исполнении постановления правительства, постановления разумного и целесообразного»<sup>60</sup>.

Но даже решения советского правительства местная администрация не спешila исполнять. Университет 18 сентября 1919 г. составляет «Поручительство» на арестованных, первым значится единственный в списке академик, Ольденбург<sup>61</sup>. Среди прочих можно отметить хотя бы такие имена известных уже в то время ученых, как выдающийся лингвист, будущий академик Л. В. Щерба и будущий член-корреспондент, первая в России «доктор всеобщей истории», историк европейской средневековой культуры О. А. Добиаш-Рождественская<sup>62</sup>.

Общие хлопоты возымели свое действие и большинство арестованных, но не все и не сразу, были освобождены. Казанович фиксиру-

ет в своем дневнике в записи от 22 сентября 1919 г.: «Из окна трамвая видела Ольденбурга; значит, вчера или сегодня выпущен. Походка человека, на 20 лет состарившегося и разбитого. Ужасно!». И далее следует запись, свидетельствующая о том, какой могла оказаться судьба арестованных: «23/IX. Список расстрелянных кадетов. Всего 63 человека. Ужасно!»<sup>63</sup> Нетрудно понять, какое тяжелое впечатление оставляло у представителей академической интеллигенции даже короткое тюремное заключение. Так, Ольденбург сразу после освобождения не скрывал своих впечатлений о проведенных в тюрьме днях. Услышанный от него рассказ Казанович занесла в свой дневник 26 сентября: «С[ергей] Ф[едорови]ча хотели посадить в карцер за то, что в книге, присланной ему Карпинским, оказались 2 открытки, кем-то кому-то писанные; в конце концов матрос, от которого зависела участь С[ергей] Ф[едоровича], смилиостивился и решил простить его. Ольд[енбург] сидел на Шпалерной, в одной камере с Д. Д. Гриммом. В общем, отношение к ним было корректное. Самым ужасным для заключенных было то, когда из камер вызывали ночью несчастных, обреченных на расстрел. Одного товарища по заключению, имевшего жену и несколько маленьких детей, С[ергей] Ф[едорович] особенно жалеет и не может забыть; это был молодой человек, очень добрый, ласковый, деликатный и жизнерадостный; его продержали в заключении около 3-х м[еся]цев и на днях расстреляли, и за что же! За то, что на даче у него нашли 2 винтовки»<sup>64</sup>. Сокамерником Ольденбурга был хороший знакомый и оппонент Шахматова в спорах о взаимоотношениях университета с властями, Д. Д. Гримм<sup>65</sup>, в начале 10-х гг. ректор Петербургского университета. А книгу со злополучными открытками Ольденбургу прислал сам президент Академии наук А. П. Карпинский.

О том, насколько запали эти события в душу Ольденбургу, свидетельствует следующее его признание в 1921 г.: «...обыски (у нас их было 6), аресты, вечные хлопоты в ЧК – слезы и страдания тех, кто остается, часто тщетные, иногда и удававшиеся попытки спасти от расстрела людей, у которых есть близкие – переживания с уводом на расстрел соседей по камере, когда я был в тюрьме (думаю, что умереть самому легче)»<sup>66</sup>.

Пребывание в тюрьме, сопряженное с проводами сокамерников на расстрел, не могло не влиять на людей, это перенесших. Не здесь ли кроется более чем лояльное в будущем отношение Ольденбурга к советской власти и к тем реформам, которые она навязывала Академии наук, вызывавшее у многих его коллег не просто раздражение, но и откровенную неприязнь к ученыму?

Аресты и прочие притеснения становятся вполне обыденным явлением. Через месяц после описанных событий Шахматов уже пост-

фактум узнает об аналогичном несчастье, случившемся с 75-летним А. Ф. Кони, также бывшим тогда профессором Петроградского университета. «Только сегодня узнал, — писал ему Шахматов 27 октября 1919 г., — что вы были арестованы на этих днях. Выражаем Вам всей семьей нашей искреннее наше сочувствие. Надеемся, что арест не отразился на Вашем здоровье. Нам живется очень тревожно. Был ночной обыск сначала во всей библиотеке, потом у нас. А на днях нам объявили о необходимости очистить комнаты, выходящие на Неву. Пришлось большую часть книг перетаскать в задние комнаты»<sup>67</sup>.

В последний день февраля 1920 г. Шахматов получил письмо Соболевского, в очередной раз подтверждавшее полную беззащитность людей интеллигентных профессий перед непредсказуемыми действиями властей. «Только что, — писал Соболевский, — виделся с Бор. М. Соколовым. На днях лишь выпущен из Бутырской тюрьмы. Просидел месяц, а не допрашивали. Очевидно, наказали за какой-то грешок»<sup>68</sup>. Шахматов еще со студенческой скамьи следил за работой братьев-близнецов Бориса и Юрия Соколовых, способствуя опубликованию их работ. За год до описанных Соболевским событий, в конце февраля 1919 г. рекомендация Шахматова стала основанием для получения Б. М. Соколовым места профессора в Саратовском университете<sup>69</sup>.

17 октября 1920 г. Перетц уведомлял нового председательствующего в ОРЯС Истрину: «На всякий случай сообщаю, что здесь в Сам[аре] готовится мне и друг[им] членам Археол[огического] Общ[ества] неприятность — ныне устранивший от заведования Городск[им] Музеем Гинзбург, в прошлом году выставивший Археол[огическое] Общ[ество] из Музея и доведший Музей до полного развала, валит все на нас и в „Чеку“ представил целую кляузу о том, что мы-де виноваты во всем [...] В случае чего-либо Варв[ара] Павл[овна] (Адрианова-Перетц. — M.P.) телеграфирует Отделение, а Вы поддержите. В провинции нравы суровы и люди малограмотны»<sup>70</sup>.

Шли годы, закончилась Гражданская война, но прямые преследования ученых не прекращались. Зеленин писал Соболевскому из Харькова 1 мая 1921 г.: «Живем мы так бурно, как еще никогда не жили [...] профессоров арестуют и судят»<sup>71</sup>. Из Одессы Б. М. Ляпунов сообщал Истрину 20 августа 1922 г.: «Здесь снова начались преследования и аресты профессоров...»<sup>72</sup> Соболевскому он же писал 16 октября: «Утешительного у нас в Одессе мало: многих профессоров арестовывают и высылают из города, и Высшей школе грозит сильное осуждение преподавательских сил»<sup>73</sup>. Постоянно продолжал чувствовать себя неспокойно и Соболевский. В январе 1923 г. он, пересыпая свою рукопись, писал Е. Ф. Карскому: «Полагаю, что у Вас „Скифско]-рус-

ск[ие] этюды“ будут в большей безопасности, чем у меня; надо мною ходят тучки»<sup>74</sup>. Прошло почти два года, но 2 ноября 1924 г. Соболевский, делясь своими рабочими планами с Перетцем, сообщал о тех же ощущениях: «...пишу понемножку продолжение своих „Скифов“. Надеюсь еще в этом году доставить р[уко]пись Карскому, пусть хранится у него в портфеле. Здесь безопасности не чувствую»<sup>75</sup>.

Постоянные преследования интеллигенции стали уже обыденностью. Харлампович писал Соболевскому 12 июля 1924 г.: «Нового у нас почти нет. Если есть многочисленные аресты, то это всегда было и, как всегда, причины их не выясняются ни для самих арестованных, ни для властей»<sup>76</sup>. Осенью то, что «всегда было», в очередной раз настигло Харламповича. Ученый был арестован не кратковременно, как в 1919 г., а с серьезными последствиями. Коллеги ученого по Второму отделению Академии наук считали своим долгом вступиться за Харламповича. Инициатором выступил Соболевский. Вместе с жившими в Москве академиками он обратился к Президенту Академии. О своем ходатайстве ученый сообщил и жене Харламповича. Карпинский очень подробно проинформировал Соболевского о шагах, предпринятых Академией, как до ходатайства группы ученых, так и после его получения.

На официальном бланке 19 февраля 1925 г. А. П. Карпинский уведомлял Соболевского: «Вследствие письма Вашего и академиков М. Н. Розанова и М. Н. Сперанского от 14 февраля с. г. считаю необходимым сообщить, что Академия Наук давно уже озабочена судьбой члена-корреспондента К. В. Харламповича. В соответствии с этим, еще 5 декабря 1924 г. Академия Наук обратилась в Государственное Политическое Управление с ходатайством об изменении принятой в отношении К. В. Харламповича меры пресечения, причем указала на выдающиеся научные заслуги Константина Васильевича». Обращение Академии не произвело на ГПУ никакого впечатления. «Однако, — сетовал президент, — на указанное отношение ответа не последовало. Затем, так как Академии Наук 16 сего февраля сделалось известным о предполагаемой высылке К. В. Харламповича в Киргизский край, Академия Наук в тот же день по телеграфу обратилась в Казанское Государственное Политическое управление и просила, во внимание к крупным научным заслугам ее члена-корреспондента и болезненному его состоянию, оставить его в Казани». Судя по тону ответа Карпинского можно предположить, что письмо Соболевского явно содержало упреки. В ответе чувствуется желание подчеркнуть мысль о том, что к необходимости хлопотать за Харламповича руководство Академии пришло само. «Последствия этого ходатайства пока Академии наук неизвестны, — продолжал Карпинский, — но, как Вы можете заклю-

чить из изложенного, Академия Наук, с своей стороны, делает все возможное для облегчения положения К. В. Харламповича. О содержании настоящего письма прошу Вас не отказать осведомить академиков М. Н. Розанова и М. Н. Сперанского»<sup>77</sup>.

Харлампович писал о своем положении Соболевскому 16 февраля: «Вчера только я вернулся из пятимесячной командировки по казанским тюрьмам, ч[то]б[ы] 22 февраля отправиться в Оренбург»<sup>78</sup>. Судя по всему, Соболевский как мог старался ободрить коллегу. Как писал Харлампович Соболевскому 27 февраля: «...открытка еще более укрепила во мне чувства радости и благодарности Вам: Вы так быстро и так реально восприняли ужас моего положения и так поверили в необоснованность выдвинутых против меня обвинений, так быстро вступились за мою честь, надеюсь, за интересы науки, ибо я еще могу поработать...»<sup>79</sup> Харлампович пострадал как руководитель казанского Общества археологии, истории и этнографии. «Это наиболее деятельное ученое Общество Казани»<sup>80</sup>, — подчеркивал сам Харлампович. Органы госбезопасности проявили к деятельности общества особый интерес. Ученый считал себя политически абсолютно лояльным, и его удивляли претензии к нему. «Но, как видно из допросов, чинимых кое-коему из членов Общества следователями ГПУ, — писал он Соболевскому, — меня считали не совсем чутким и отзывчивым к запросам современности, тогда как я в этом отношении шел впереди моих коллег»<sup>81</sup>.

В Оренбурге Харлампович задержался ненадолго. Судьба ученого была игрушкой в руках ОГПУ. Как писал Харлампович Соболевскому, ему было предписано «ехать в Тургай: в Оренбург объяснили, что такова воля Москвы». «А когда моя жена хлопотала перед ОГПУ, — продолжал ученый, — об оставлении меня в Оренбурже, там ответили, что перевод оттуда — дело Оренбургских властей, в распоряжение которых Москва не находит возможным вмешиваться»<sup>82</sup>.

«Из глубин киргизских степей взываю к Вам, — обращался к Соболевскому Харлампович 4 августа 1925 г., — услышите ли мой голос? Я боюсь, что, в конце концов, его совсем не станет слышно в Европейской России. Две микроскопические вещички, посланные Вам, являются, по-видимому, моей лебединой песнью как ученого. Что „песнь“! — писком. Последний раз я „пищал“ по поводу книжки Вл. Ив. Пичеты, находясь в Казанском Домзаке (вероятно, этого слова нет в Академическом словаре; читай: Доме заключения) в октябре 24 г.»<sup>83</sup>

Надо отметить, что Харлампович был не только членом-корреспондентом РАН, но и академиком Украинской Академии наук. Хлопоты о нем последней также не увенчались успехом. «Неофициально мне сообщили, — информировал ученый Соболевского, — что в Харькове председатель Главнауки отказался дать ход ходатайству Украин-

ской академии по двум мотивам: 1) я будто замешан в утайке церковных ценностей и 2) я не имею отношения к Укр[айнской] Академии, — для нее не работал и, будучи избран ею, пренебрег ею. Относительно последнего слова принадлежит, конечно, самой Академии. Что до первого, то мой следователь в Казани вел по поводу такого доноса на меня следствие так, что было видно, что и сам он не верит ему, и в окончательном приговоре мне эта вина не инкриминируется»<sup>84</sup>.

В другом письме, уже в сентябре того же года, Харлампович вновь возвращался к причинам своего ареста. Он остро отреагировал на фразу из письма Соболевского: «Странной мне кажется фраза: „Боюсь, что хлопотать там, где замешана церковь, только раззадоривать заинтересованных людей“. Как раз обвинение против того лица, на которое Вы намекаете, построено не на церковной почве, а на научной, и только надстройка дела политическая. Не понравилось руководство ученым обществом и ученым изданием, писавшие в котором — все на своих местах. Впрочем, кроме официально предъявленных обвинений, есть, разумеется, и неофициальные, еще менее состоятельные, чем первые, почему и не вошли они в приговор. Ну, а тут можно говорить что угодно!»<sup>85</sup>

Не без сарказма Харлампович отмечал в письме от 4 августа: «Предстоят большие торжества по случаю юбилея Академии Наук, ныне Российской, а через месяц Всесоюзной. Какой насмешкой судьбы явится положение в этот момент одного из членов юбилярной, пусть маленького, но принужденного терпеть высылку с отрешением от научных занятий только потому, что он, будучи председателем научного общества, стоял на стороне интересов науки? — У моей жены явилась мечта, что, б[ыть] м[ожет], этому несчастному члену-корреспонденту будет испрошена амнистия по случаю славного юбилея»<sup>86</sup>. Действительно, подобная мысль у жены ученого была, и она в августе поделилась своими соображениями с Соболевским: «Я узнала, что в Москве существует Комиссия по организации торжеств 200-летия Академии Наук. Так как мой муж находится в ссылке в Тургае, то у меня, конечно, явилась мысль, не могут ли его освободить, как члена-корреспондента Академии Наук, от наказания и вернуть из ссылки, тем более, что, судя по газетам, в СССР и не существует тюрем и высылки для наказания, а только для исправления... Он был арестован 20 сент[ябрь] 24 г. — почти год тому назад. Я думаю, этот срок вполне достаточен для исправления, да к тому же и 200 лет[ний] юбилей. Алексей Иванович, напомните, пожалуйста, кому следует (вроде Ольденбурга) о Константине Васильевиче»<sup>87</sup>.

Надежды были тщетны, власти были заинтересованы в спокойном проведении торжеств. Ольденбург принимал самое активное участие

в превращении юбилейных торжеств в государственное мероприятие. Именно он вместе со В. А. Стекловым и А. Е. Ферсманом обратились к предсновнаркома А. И. Рыкову с предложением организовать и возглавить Правительственную комиссию. Как отмечал Рыков в записке в Политбюро: «Речи и выступления наших академиков будут с нами согласованы. Весь план празднования будет утверждаться нами. При таких условиях, я думаю, мы можем с большой для себя выгодой использовать этот случай»<sup>88</sup>. Приглашение иностранных гостей было не менее «свободным» и находилось под присмотром все тех же органов госбезопасности. Поэтому подготовка к юбилейным торжествам вызывала у ученых не только радостные чувства. Перетц так информировал Сперанского 13 июня 1925 г.: «Слышали ли Вы о порядке приглашения гостей на академический юбилей? Любопытно: приглашают учреждение писать список предполагаемых лиц, этот список рассматривает ГПУ, и в случае, если окажутся нежелательные лица — вычеркивает; затем остальных уже приглашают. Интересно, много ли народа приедет после такого отбора. И не потому, что многих вычеркнут, а потому, что и не вычеркнутые из солидарности могут отказаться»<sup>89</sup>.

Приезд иностранных гостей очень волновал ученых, так как лишь немногие из них самих имели возможность выезжать за границу. Поэтому через две недели Перетц вновь писал Сперанскому: «Скоро едем в Питер, где „шумят“ наши академические олигархи, созывая народ на юбилей. Только судя по опубликованному „Известиями“ 31 июля списку ожидаемых гостей — съезд будет скучный: славянских ученых — как кот наплакал: Мурко, Поливка, Бодуэн (де Куртенэ. — M.P.), да сюда же можно причислить Олафа Ив[ановича] (Брука. — M.P.) — вот и все! целые страны и масса отдельных лиц не прошли сквозь густое сито цензуры»<sup>90</sup>. Перетц писал о том же Соболевскому 7 августа: «Знаете ли Вы, кто из славянских ученых будет на юбилее? Мурко, Поливка и Бодуэн. Прибавьте Брука — и все-таки получится жалкая горсточка! Наши олигархи с ак[адемиком] Ольденбургом решили ориентироваться „на восток“ — и потому разных халатников, хоть и неученых, будет предостаточно»<sup>91</sup>.

Преследования инакомыслящих и чуждых элементов со временем революции не прекращались никогда. Стремительно приближалось время начала массовых репрессий против интеллигенции. Пока же академикам приходилось хлопотать об отдельных своих членах-корреспондентах, в частности, об известном специалисте по древнерусской литературе Д. И. Абрамовиче. Организатором таких ходатайств выступал Перетц, писавший Сперанскому 11 апреля 1928 г.: «Бедный Дм[итрий] Ив[анович] сидит по-прежнему в Соловках. Я собрал подписи, и мы — группа акад[емиков] — ходатайствуем о его возвраще-

нии или хоть бы об облегчении его участи: его сняли с музейн[ой] работы и отправили на черную работу»<sup>92</sup>.

**«Наблюдается сейчас маленькое оживление  
в области славянских изучений»**

Революция и Гражданская война привели к гибели огромного количества книжных собраний не только в сгоревших усадьбах, но и в городах. А. И. Соболевский и через десять лет так характеризовал этот период: «Мы должны принять теперь во внимание то обстоятельство, что целый ряд библиотек за время революции перестал существовать, или распылился, или сгорел, или был употреблен на макулатуру, и что несколько русских университетов (в Ростове, Воронеже, Перми) не имеют совсем или почти совсем никакой библиотеки»<sup>93</sup>.

В связи с национализацией многие организации, прежде всего религиозные, также лишились своих библиотек, которые передавались в различные государственные учреждения. Дальнейшая судьба этих собраний не только очень волновала ученых, но заставляла принимать самое активное участие в их спасении. Так, В. Н. Перетц возмущенно писал Н. К. Никольскому 11 июля 1919 г.: «Казанск[ий] Унив[ерситет] — не берет Казанских Дух[овно]-Академических книг и рукописей, и последние, по моим сведениям, расхищаются. Полезно бы вступиться Акад[емии] наук. Если Соловецк[ое] собрание пропадет — это будет большое горе для науки»<sup>94</sup>. Ученый и в дальнейшем внимательно следил за судьбой последнего и через несколько лет писал М. Н. Сперанскому: «Еще у меня к Вам вопрос: Гриша Ильинский переселился из Саратова в Казань и пишет оттуда, что Соловецкая библ[иотека] вывезена в Москву! Куда? [...] Авось, надеемся — она у Вас?»<sup>95</sup> Надежды Перетца сбылись, знаменитое Соловецкое собрание рукописей и поныне хранится в Государственном Историческом музее в Москве.

Соболевский подробно информировал Б. М. Ляпунова 19 апреля 1920 г. о перемещении известнейших книгохранилищ в Москве: «Итак, мы действуем. М[осковская] Синод[альная] библ[иотека] перемещена в Историч[еский] муз[ей]; там же — Хлуд[овская] библ[иотека]; б[иблиотека] М[осковской] дух[овной] ак[адемии] по-прежнему в Серг[иевом] посаде, но ею заведует М[осковский] Румянц[евский] музей»<sup>96</sup>. «А послезавтра, — продолжал ученый, — будет заседание Слав[янской] Комиссии того же Археол[огического] О[бщества]. Доклад делаю я — о некоторых племенных и местных названиях у балт[ийских] славян. Не жду слушателей в большом числе [...] При отсутствии трамв[айного] движения, в будни трудно ожидать прихода членов бо-

лее 5 человек, живущих поблизости»<sup>97</sup>. Ожидание малого количества слушателей не смущало академика и не снижало его активности. Еще в начале февраля того же года, возобновляя переписку с Перетцем, Соболевский писал: «Я, слава Богу, жив и здоров. Этого мало: 29/II буду читать в здешн[ем] Археол[огическом] О[бщест]ве об истории морды в России. Конечно, не надеюсь, что слушателей соберется много»<sup>98</sup>.

Хорошо известно, сколько усилий для спасения библиотек прилагал А. А. Шахматов; даже незадолго до смерти он лично руководил перевозкой ряда книжных собраний в Библиотеку Академии наук<sup>99</sup>. Перетц не только интересовался судьбой библиотек, но и проводил поистине огромную работу, о чем сообщал В. М. Истрину 14 июня 1920 г.: «В ноябре 1918 года, когда по взятии советскими войсками Самары я организовал спасение от разграбления местных библиотек, общ[ест-венных] и частных, „отдел по охране культурных ценностей“ и спас более 100 тыс[яч] книг»<sup>100</sup>. Продолжал ученый подобную деятельность и в дальнейшем, выезжая специальную из Самары в окрестности, «чтобы вывезти некот[орые] старообр[ядческие] рукописи»<sup>101</sup>. Он не только подарил собранную им коллекцию старообрядческих книг Самаре<sup>102</sup>, но и подготовил к передаче в Академию коллекцию книг, рукописей и икон. При подготовке переезда в Петроград он определял вес коллекции в 40 пудов<sup>103</sup>. В конце концов, коллекция рукописей ученого оказалась в Древлехранилище Пушкинского Дома, где хранится и сейчас.

Следует отметить, что при перемещении книг случались и потери. Об одном из таких казусов, к счастью, закончившихся благополучно, много позже случившихся событий сообщал П. А. Лавров. При перенесении библиотеки Киевской Духовной Академии в помещение, расположенное в Киево-Печерской Лавре, исчез ценнейший памятник письменности X в. — «древнейшая глаголическая рукопись — Киевские листки». «Что она уцелела, — писал Лавров, — это заслуга хранителя рукописей Лаврского Отдела П. Н. Попова. Заметив, что этой рукописи недостает, он отправился для ее отыскания и после долгих поисков случайно нашел ее завалившуюся под шкап. Т[аким] о[разом] удалось сохранить Листки»<sup>104</sup>.

1921 год был еще полон бытовых и организационных трудностей для представителей академической науки, хотя жизнь постепенно и налаживалась, но в начале года часть научного сообщества все еще была поражена апатией. Так, делясь своими впечатлениями об атмосфере северной столицы с Соболевским, И. Е. Евсеев по возвращении в свое село Каменку писал 9 января: «О своем пребывании в Петрограде и заседании Библейской Комиссии 24 дек[абря] я Вам писал из Петрограда (письмо в архиве Соболевского не сохранилось. — M. P.). Внешней обстановкой в П[е]т[ро]гр[аде] я доволен». Однако, как осо-

бо подчеркивал ученый: «Желанного подкрепления духа от общения с петроградцами я не получил: по рукам и по ногам связаны они пайками и учето-переучетами, так что идеалы и полеты пытливого духа все выдохлись»<sup>105</sup>. Кстати, весной прошедшего года о пассивности научного сообщества писал Соболевскому из Казани К. В. Харлампович.

Соболевский был активным пропагандистом дела, предложенного Московским археологическим обществом, — Русского археологического словаря. Его попытка через Харламповича привлечь к работе над словарем казанских ученых успехом не увенчалась. Харлампович в письме от 11 апреля 1920 г. отмечал, что только один человек поддержал проект. Далее он писал: «Другие промолчали [...] А может быть уже и отвыкли от научной работы при нынешних невозможных условиях...»<sup>106</sup> О результатах такого положения дел Соболевский писал Перетцу ровно через год после сообщения Харламповича, 10 апреля 1921 г.: «Поэтому и Р[усский] Археологич[еский] словарь М[осковского] Арх[еологического] О[бщест]ва, и однородные предприятия Академии Матер[иальной] культуры (моск[овского] отдел[ения]) осуждены на жалкое прозябанье. Моск[овский] Этнограф[ический] Музей работает при всевозможных препятствиях. НВ. Я сижу везде, на мне лежат разные обязанности, я готов что-ниб[удь] делать, но не в силах тянуть воз в свою сторону». Весьма критически ученый описывал Перетцу и общее состояние научной жизни в столицах: «И в М[оскве], и в П[етрограде] делают вид, что заняты делом. Проектов, совещаний вдоволь; есть заседания с докладами, публичные лекции и т. д. На самом деле никто ничего не делает»<sup>107</sup>.

Но некоторые из ученых, заброшенных в провинцию, к весне уже больше думали собственно о научной работе, в связи с которой возникали и новые проблемы, связанные с государственно-политическими обстоятельствами. Тот же Перетц информировал 15 марта 1921 г. Истрина о своих вполне успешных занятиях: «У меня подготовлен вчера курс — собств[енно] очерк истории старой украинской литер[атуры] (до нач[ала] XIX в.). Копошусь около взаимодействия польск[их] и украинских писателей XVI–XVII вв. Много вопросов, для решения которых надо поработать в Кракове! А когда туда попадешь!»<sup>108</sup>

Обозначилась тенденция возвращения в Петроград и Москву ученых, по разным причинам покинувших ранее основные центры академической науки. Именно с работой там связывали перспективы своей научной деятельности некоторые слависты. «Ростов покинул бы охотно, — делился своими планами 24 августа 1920 г. А. И. Яцимирский с Перетцем, — но только ради Петрограда, в худшем — Москвы, где можно работать по своей специальности, двинуть, наконец, апокрифы и легенды, к[ото]рые разрослись в десятки томов»<sup>109</sup>. Выдаю-

щийся русский лингвист Н. Н. Дурново живописал в подробнейшем письме Истрину в августе 1921 г. свое незавидное положение в провинции: «Вот уже третий месяц я в Москве. Уехал из Саратова в командировку, но возвращаться обратно в Саратов не намерен. Там я пробыл целый год [...] там чрезвычайно неблагоприятные условия для научных занятий [...] Значительная часть профессоров из Саратова уехала, находя невозможным свое дальнейшее пребывание там; студенты тоже разбегаются».

Единственным местом, где Дурново смог получить работу в Москве, оказался комитет, к созданию которого имел отношение сам В. И. Ленин. Но она не удовлетворяла ученого. «Пока я попал только в одно казенное учреждение, — сообщал Дурново, — в образованный в Москве по личному желанию Ульянова редакционный комитет по составлению общедоступного словаря русского литературного языка. Так как участие в этом комитете дает паек и некоторый заработок, то приходится его держаться, хотя я все-таки думаю при первой возможности выйти из Комитета».

Дурново, рассчитывавшего на серьезную научную работу, раздражал непрофессиональный подход его коллег. Проявился он «с тех пор, как в нашем Комитете появился П. Н. Сакулин, он при поддержке Гливенка, при пассивном отношении Ушакова и практическом понимании дела Грузинского, постарался придать делу совершенно ненаучный характер». И далее Дурново посвятил немало места описанию разрушительной, на его взгляд, деятельности Сакулина. Вследствие этой неблагоприятной ситуации Дурново стремился наладить контакты с Академией: «Если Академия имеет возможность что-ниб[удь] печатать, я бы предложил для акад[емических] изданий еще несколько своих работ, как только немного устроюсь в Москве»<sup>110</sup>. Судьба Дурново в Москве не сложилась, и он решил уехать из страны.

К бытовым проблемам у Н. М. Каринского добавились душевные переживания, все более обострявшиеся вследствие невозможности реализовать в провинции научные амбиции. Он сетовал Соболевскому 22 октября 1921 г.: «Мы не только голодаем, но я лишен возможности вести какое-л[ибо] научное дело вследствие отсутствия какой-л[ибо] материальной поддержки и элементарных удобств для занятий. Кругом совершенное непонимание научных стремлений и тупое равнодушие [...] Если я останусь здесь дольше и продолжатся кошмарные условия жизни, то я должен пропасть для науки и преподавания. Чувствую в себе профессорские способности и здесь теперь делать ничего не могу: столько непреодолимых препятствий. Могу здесь сойти с ума»<sup>111</sup>.

В конце года, 25 декабря Каринский вновь жаловался Соболевскому: «Ученых здесь нет, наука в полном презрении. [...] Поступаю-

щая в высшую школу молодежь до того неподготовленная, что профессору здесь делать нечего: слишком элементарна его работа, слишком скучна и однообразна. Преподавательский персонал, и без того не высокий, заметно падает с ухудшением условий жизни. Почти не с кем поделиться своими научными мыслями. А реферат прочесть положительно негде. Мечтаю о Петрограде или Москве»<sup>112</sup>. Но не только в заброшенной Вятке мечтали о Москве. Д. К. Зеленин с некоторой ironией писал Соболевскому 26 февраля 1922 г.: «А у нас всеобщая тяга в Москву, и все харьковцы в этом отношении мне сильно напоминают Чеховских „трех сестер“»<sup>113</sup>.

В столицах жизнь постепенно налаживалась, появлялись рабочие места, улучшалось материальное положение, о чем Соболевский не преминул сообщить Ляпунову 16 ноября 1921 г.: «Я в „научном и[нститу]те языковедения и истории литературы“, в секц[ии] р[усского] языка и литературы, вместе с Ушаковым, Сакулиным и Сперанским». Заканчивая письмо, Соболевский отмечал: «Возимся с наукой, слушаем рефер[аты] и проч[ее]»<sup>114</sup>.

Несколько иначе обстояло дело в ранее известных провинциальных научных центрах. Харлампович сетовал в письме Соболевскому от 7 января 1923 г.: «Моя ученая карьера закончена. В Киев я едва ли попаду: кроме материальных затруднений, препятствием является уже то, что я никак не могу связаться с Украинской Академией наук даже при помощи тамошнего академика Вотчела, сын которого из Казани ездил в Киев. Я совсем не знаю, существует ли сейчас даже моя кафедра». И тут же добавлял: «С наукой я все же не порвал [...], я занят направлением деятельности Общества археологии, истории и этнографии, собирающегося каждые две недели. Это наиболее деятельное ученое Общество Казани»<sup>115</sup>.

Представители традиционных научных школ продолжали восстанавливать центры, где могла бы продолжить свое развитие академическая наука. В 1922 г. в Москву переезжает А. М. Селищев. О необходимости этого шага ученый так писал в апреле 1923 г. Е. Ф. Карскому:

«Устраиваться на новом месте при условиях нашей жизни весьма хлопотно. Если бы Казань не вымерла, то я не ушел бы оттуда. Но с 1920 г. мне стало там страшно тяжело. Здесь, в Москве, я чувствовал бы себя хорошо, если бы имел побольше времени сидеть за своим письменным столом. Роль двух профессоров и одной прислуги выполнять одновременно затруднительно»<sup>116</sup>. Отметим, что сразу по переезде настроение Селищева было более оптимистичным. Об этом свидетельствует письмо Харлампovichа Соболевскому от 19 июля 1922 г. Ученый сообщал: «В Казани долго прожил приезжавший сюда за книгами А. М. Селищев: ждал удешевления тарифа. Но, по-видимому, не

дождался... Москвой он очень доволен, — потому, между прочим, что приблизился к загранице»<sup>117</sup>.

Тогда же Селищев развел в Москве бурную активность, о чём Сперанский писал Истрину еще в ноябре 1922 г.: «Нового у нас ничего нет интересного, разве только то, что пытаемся возродить совершенно захиревшую Славянскую Комиссию при Археол[огическом] Общ[естве]. Стартается об этом А. М. Селищев, тянет Алексея Ивановича (Соболевского. — M. P.) и меня. Туницкому, может быть, удастся перебраться в Москву. Тогда нашего полку прибудет»<sup>118</sup>. Слухи об оживлении научной деятельности в Москве и о роли в этом Селищева дошли и до провинции. Харлампович 7 января 1923 г. писал Соболевскому, что ему рассказывали, будто «в Москве кипит научная мысль. Оживленно проходят заседания ученых обществ. Хорошее положение создал себе А. М. Селищев». «Правда все это?» — интересовался учёный. Харламповичу трудно было поверить в происходящее в Москве. «Здесь в Казани, — сетовал он, — мы прозябаем. Ученых лекций не бывает почти»<sup>119</sup>. А вот в Одессе, где дело также обстояло неблестяще, ученым все-таки удавалось найти утешение в преподавании. А. И. Томсон писал 18 октября 1923 г. Соболевскому: «Веду теперь здесь своеобразный курс сравнительного языкоznания. [...] Слушатели мало подготовленные, но частично занимаются ревностно и этим поддерживают меня нравственно»<sup>120</sup>.

Надо сказать, что некоторые ученые, такие, например, как Соболевский, уже встречавшиеся с карательными органами новой власти и сразу осознавшие, в каком мире они теперь живут, предпочли деятельное кабинетное затворничество. 67-летний Соболевский писал Петретцу в январе 1924 г.: «Предприятий у меня достаточно, стариких, простых, но полезных, — материалов для словаря ц[ерковно]-сл[авянского] и др[евне]р[усского], дополнений к Микл[ошичу] и Срезн[евскому]. [...] Подобные работы я могу вести и печатать, сидя в М[оскве]»<sup>121</sup>. За столь скромной аттестацией своих занятий, как оказалось, стояли далеко идущие планы. Прошло чуть более полутора лет, и Соболевский стал родоначальником дела, которое продолжается и поныне: он положил начало Картотеке словаря древнерусского языка<sup>122</sup>, которая, в свою очередь, легла в основание издания «Словаря русского языка XI–XVII вв.».

Соболевский, активно продвигавший свое детище — словарь, осознавал, что осуществить этот проект трудно. «Момент неудачный по безденежью, — признавался ученый Ляпунову 9 мая 1925 г., — но желающих работать — так сказать, в кредит, достаточно»<sup>123</sup>. Такой настрой ученый отмечал у коллег старшего поколения. Описания характера предстоящей деятельности и задач, с нею связанных, полны у

Соболевского легкой иронии. Он оповещал Перетца 25 октября 1925 г.: «Я открыл Словарную Комиссию и копию протокола препроводил В. М. И[стри]ну. Теперь иду на Вас. Словарные занятия для нас с Вами очень подходящее дело. Нет спешности, нет волнений, но есть занятие, прекрасно действующее на нервы, вроде грандпасьянса. Оно мешает думать о чем-нибудь другом и дает скромный, но полезный плод. Я хотел бы, чтобы вы взяли на себя заботы о Петербурге, или став во главе петербургского отдела Комиссии, или войдя в ее интересы без фирмы и титулов»<sup>124</sup>.

Перетц был готов лично поучаствовать в предлагаемом проекте, однако он скептически относился к возможности организовать для данной работы значительные научные силы. «А вот насчет сотрудников — у меня надежд нет, — откровенно писал он 11 ноября 1925 г. Соболевскому, — все молодые люди, сколько-нибудь квалифицированные, — в погоне за куском хлеба. Я наводил у Вас[илия] Мих[айловича] (Истрина. — M. P.) справки, будет ли оплачиваться словарная работа по д[ревне]р[усскому] словарю, но ничего утешительного от него не услышал. Могу ли я требовать, чтобы голодная молодежь отдавала свои силы и время на словарь д[ревне]р[усского] языка? Надо бы упрочнить его финансовое положение. Ведь Тимченко, редактор Историч[еского] украинск[ого] словаря, — платит (из средств Киевской Академии) сотрудникам. Почему „Всесоюзная“ не может на сие раскошелиться?»<sup>125</sup>

Накануне юбилея Академии наук, ее 200-летия, начала свою деятельность «Славянская научная комиссия», образованная при ОРЯС в 1923 г.<sup>126</sup> О том интересе, с которым было встречено это событие, сообщал Сперанскому 30 апреля 1925 г. ее фактический руководитель, известный авторитет в области древнеславянской письменности П. А. Лавров: «Вчера состоялось у нас 1-е заседание Славянской Комиссии. Малая конференция-зала собрала, думаю, человек 50. Был и наш председатель А. П. Карпинский и просидел все время. Я читал речь о современном положении славянских народов и славяноведения, а Долобко новые данные о богомильстве. Оба чтения по 1 часу. Начали мы с 8, да после доклада Д[олобко] был обмен мнениями из присутствовавших в заседании. Я написал большой доклад с большими подробностями, но, конечно, его пришлось сокращать, чтобы не задерживать заседание. Да и сокращенный текст читал быстро. Разумеется, не мог я прочесть все, что хотелось. [...] Вероятно, в мае мы устроим еще одно заседание Славянской Комиссии»<sup>127</sup>.

Г. А. Ильинского в этот период жизни от одиночества и окончательного упадка духа спасала, как он сам писал, «только любовь к славистике»<sup>128</sup>. Некоторые надежды на возрождение славяноведения

появились у Ильинского после переезда в Москву. Он сразу же поделился 18 ноября 1927 г. этой новостью с Ляпуновым: «Позавчера у нас состоялось первое деловое заседание Института славяноведения. Из коллективных работ наметили составление хрестоматии из произведений славянских классиков и этнографические и политические карты современного славянства»<sup>129</sup>.

В письме отразилась не столько реальность, сколько мечта многих славистов-филологов о необходимости создания специального научно-исследовательского института славяноведения. Каково было действительное положение дел, мы узнаем из письма Ильинского М. Г. Попруженко от 10 января 1928 г. в Болгарию: «У нас в Москве наблюдается сейчас маленькое оживление в области слав[янских] изучений. Кроме расширения преподавания славистики в университете, кое-что делает в этом отношении Секция славяноведения Исследов[ательского] института языка и литературы]. Председателем ее является А. М. Селищев, прочитавший недавно доклад о болг[арском] поэте Михайловском. Теперь эта Секция приступает к составлению этногр[афической] и политич[еской] карты соврем[енного] славянства»<sup>130</sup>. Ученый явно был очень увлечен возможностью заняться любимым делом, и поэтому через два месяца, 4 марта 1928 г., вновь писал о делах в институте: «Я не помню, писал ли я Вам, что Секция славяноведения здешнего Исследовательского института языка и литературы получит около 1000 р. на издание Этнографической карты славянства»<sup>131</sup>. Но спокойно возрождать и продолжать славистические изыскания ученым, приверженцам традиционного славяноведения, было не дано. Новое поколение их классово зорких коллег внимательно следило за соотношением сил на научном фронте.

### **Идеолого-политическая цензура: «перестраиваться по-новому... как-то внутренне гнусно»**

Давление властей на интеллигенцию и ученых осуществлялось с начала 20-х гг. в попытках прямого вмешательства в сферу научной и особенно преподавательской деятельности. В области высшего образования начали проводиться реформы, сопровождавшиеся увольнениями старой профессуры. Е. П. Казанович отмечала в своем дневнике 23 марта 1920 г.: «Тяжело положение профессоров, любящих свое университетское дело; в нем полный развал, и старикам не видится никакого просвета, на их век, по крайней мере. На Булича, например, нельзя смотреть равнодушно: не столько тревога за семью, находя-

щуюся в Финляндии, сколько духовный мрак в его любимом деле убивает его»<sup>132</sup>. Если внутри Академии еще можно было оставаться нейтральным и даже писать труды «без марксизма», то в преподавании этого уже не допускалось. Основным критерием служила проверка на политическую и марксистскую лояльность. Многим ученым приходилось уже испытывать идеологическое давление властей и их вмешательство в исследовательский и учебный процесс. Так, В. Н. Перетц писал В. М. Истрину 6 мая 1920 г.: «Беда, что в этом деле нельзя надеяться на Луначарского: он сдал все Покровскому, а этот под влиянием интриг ныне смешенного завед[ующего] Сам[арским] отд[елом] нар[одного] образ[ования] Вейса (поистине — Шварца!) вбил в голову себе, что Сам[арский] фак[ультет] соц[иально]-историч[еских] наук — скопище белогвардейцев. И хотя в Москве разрешается быть беспартийным, что естественно для ученого, — от нас требуют, видимо, исповедания офиц[иального] символа веры. Что из этого выйдет — сказать нетрудно. [...] Самара отодвинется в ряд городов 4 калибра. Здесь-то это понимают, а вот в Москве — не очень»<sup>133</sup>.

С окончанием Гражданской войны кадровая политика в университетах стала намного жестче. Это печальное для образования явление сразу же отметил Перетц в письме Истрину 9 февраля 1921 г.: «У нас в Сам[арском] Ун[иверситете] собирается Отдел Нар[комата] Образ[ования] назначить своего ректора — из партии и своих деканов [...] очевидно, думая, что этим привлечет новые силы в Университет!»<sup>134</sup>

В августе 1921 г. Н. Н. Дурново подробно описывал Истрину не-нормальную обстановку в Саратовском университете, заставившую его перебраться в Москву. Но и в Москве у Дурново, по его собственным словам, перспективы были пока весьма неопределенны: «В Университете по кафедре русской литературы уволены все профессора с ученою степенью, кроме полубольшевика Сакулина (Сперанский, Михайлов, Шамбинаго, Орлов). [...] Понятно, что мне в таком Университете места не нашлось»<sup>135</sup>.

Уровень и престиж славяноведения и науки вообще всегда были небезразличны приверженцам академических традиций независимо от их общественной позиции. Так, и в дореволюционное время Лаврова отличал консерватизм, а Перетца — взгляды левее кадетских<sup>136</sup>. Оценка положения науки в новые времена у них оказалась довольно близкой. Размышляя о перспективах славяноведения в Петрограде, П. А. Лавров достаточно определенно указывал на раскол среди ученых, произошедший на политико-научной почве: «Слав[истические] дела тоже плохи. Славистов, — писал он Сперанскому 11 марта 1922 г., — у нас много, но вместе работать трудно с такими, как Держ[авин],

Корабл[ев], которые заодно с-»<sup>137</sup>. Заметим, что Н. С. Державин входил в руководство «Группы левой профессуры»<sup>138</sup>, организованной в Петроградском университете как раз в 1922 г., к которому относится и письмо Лаврова.

В. Н. Кораблев же ощутимо эволюционировал: если до революции он придерживался правых взглядов, то после нее стал быстро леветь. Итоги этой эволюции и отношение к ней очень ярко охарактеризовал через десять лет, в июне 1932 г. Г. А. Ильинский. Он писал Б. М. Ляпунову: «В успехи занятий Кораблева славистикой я не верю. Человек, который еще недавно состоял секретарем ультрамонархич[еского] Славянского Благ[отворительного] общества, а также помощником главного редактора Правит[ельственного] вест[ника], человек, воевавший даже с неославизмом, как со слишком либеральным движением, объявляет теперь себя чуть [ли не] стопроцентным марксистом и собирается в этом диаметрально противоположном своим прежним убеждениям направлении разрабатывать вопросы славистики!! Мне кажется, что с таким прошлым и с такой психологией можно только насиливать науку, а вовсе не двигать ее вперед!!»<sup>139</sup> Нежелание представителей академической науки вступать в необязательные по службе контакты с подобными учеными отмечал в 1924 г. и Перетц. Характеризуя одного из ученых в письме Сперанскому от 2 февраля 1924 г., он с сарказмом замечал: «...в тех кругах, где мы бываем — он незрим, как и вообще вся „левая“ профессура»<sup>140</sup>.

Среди многочисленных оснований для удаления из университета главенствовали политические и идеологические. Осенью 1921 г. был отстранен от чтения лекций в Казанском университете профессор К. В. Харлампович. Причина увольнения лежала в идеологической сфере. Как писал ученый А. И. Соболевскому 27 ноября 1921 г.: «Следом за нами устраниен отсюда еще один преподаватель факультета общественных наук — Фармаковский — человек уже совсем неповинный в духовно-академическом образовании, как трое предыдущих». Ученый еще в 1919 г. был избран академиком Украинской АН, по Кафедре истории украинской церкви. Было естественным, что при сложившихся условиях он предполагал связать свое будущее с Украиной. «Мне придется, конечно, — предполагал Харлампович, — весной держать курс на юго-запад. В Киевскую академию наук меня настойчиво зовут и сердятся, что не еду. О том сообщал один казанский профессор, вернувшийся из Киева съезда, и В. Н. Перетц передавал в Питере одному казанцу»<sup>141</sup>.

Весьма скептически относился ученый к мероприятиям новой власти в экономическом строительстве. «Может быть, удачнее перестройка высшего образования? — спрашивал сам себя ученый. — Тут

тоже заметна энергичная работа правительства... Вот и сейчас у нас на очереди новейшая реформа высшей школы, касающаяся управления». Но энтузиазма и веры в успех последних мер в научной среде Казани явно не было. «А, в общем, — продолжал Харлампович, — публика как-то убита неудачами и голодовкой и доведена до апатии. Но такое настроение замечается и в Москве, по словам приезжающих оттуда казанцев. „Никаких перспектив и никаких ожиданий“, осведомляют они. Или Вы светлее смотрите на будущее?»<sup>142</sup>

Но Соболевский, как всегда, держался бодро, хотя у него были основания опасаться за собственную судьбу, ведь один арест он уже пережил в 1918 г. Ученый уже прекрасно разобрался, что в новых условиях идеолого-методологические схемы и политическая конъюнктура служат критерием оценки научных работ. В начале января 1923 г., озабоченный сохранностью своего труда, он писал Е. Ф. Карскому: «Препровождаю к Вам продолжение моих „Скифско-русских этюдов“. Будет еще нечто. Произведение в современном виде — не „поповское“, как теперь говорят даже о трудах по ц[ерковно]-сл[авянскому] языку и по др[евне]р[усской] литературе, — хотя и без марксизма»<sup>143</sup>.

«Перестройка высшего образования», упоминавшаяся Харламповичем, скоро принесла свои плоды. Он сообщал Соболевскому 7 января 1923 г.: «В Казани успешно борются с наукой — до того, что сами руководители школьного образования с ужасом замечают, что научная почва у них уходит из-под ног. После ист[орико]-фил[огического] факультета покончили с факультетом обществ[енных] наук». Подобные «успехи» сильно повлияли на ученое сообщество. «Кто умирает, — писал ученый, — кто разбегается. Казанцев теперь много и в столицах, и в приволжских городах. Встретить их можно и на дальних окраинах — в Баку и Тифлисе, в Ташкенте, в Иркутске и Чите. Недавно в Самару перебрался наш молодой филолог Емельянов, туда же стремится теснимый в Казани историк искусств Миронов. Турколог Малов на днях перебирается в СПб.»<sup>144</sup>.

С окончательным установлением новой власти в национальных республиках открывались новые университеты, заинтересованные в профессиональных кадрах. Но привлечь туда специалистов было нелегко даже из старых провинциальных научных центров. Так, Ляпунов, проявлявший заботу о своем коллеге и товарище по бывшему Новороссийскому университету, писал в октябре 1923 г. Соболевскому: «В Минск, куда приглашал меня Вознесенский при поддержке Е. Ф. Карского, и где в университете свободна, как писал мне Вознесенский, и кафедра сравн[ительного] языкознания, А. И. (Томсон. — M. P.), конечно, переходить не захочет». Перебраться же в какой-нибудь из столичных центров известному ученому возможности не бы-

ло. Этому не способствовала проводившаяся властями политика, о которой с горечью писал Ляпунов: «А в Петрограде назначают на каф[едру] языковедения малоизвестного Якубинского и увольняют старых заслуженных профессоров»<sup>145</sup>.

Государственная идеология нанесла серьезный удар и по деятельности возглавлявшегося Харламповичем научного Общества. «Письмо начал месяц назад, — писал ученый Соболевскому 21 ноября 1923 г. — „по обстоятельствам“, не кончил. В это время произошли кое-какие события. Областной комитет партии предписал Комбинату издательства и печати „разгрузить“ себя от печатания 5 научных журналов, между прочим „Известий Общ[ест]ва археологии“, в интересах марксистской литературы». Наша «песенка спета», горько сетовал ученый<sup>146</sup>.

Очень показателен в смысле идеологического цензуры случай с В. П. Бузескулом, известным византинистом и историком науки, в том числе и славяноведения, только что, в 1922 г., избранным академиком. Ученый предложил прочитать в Харьковском университете в 1924 г. три курса: «Западноевропейская историография», «История культуры» и «История социальных отношений и идеология». Ознакомление с обстоятельными записками и программами этих курсов говорит о серьезности его намерений. Нельзя не признать, что ученый стремился учесть и обстоятельства момента. Он выделял в пунктах программ и объяснительных записках к ним, например, такие темы, как: «История классов и классовой борьбы»<sup>147</sup>; «Классовая борьба. Отражение ее в литературе. Социалистические и коммунистические идеи»<sup>148</sup>.

Бузескул особо отмечал глубокую древность возникновения коммунистических идей, упоминая их проявление еще в IV в. до н. э.<sup>149</sup>, а в деятельности Перикла усматривал «меры, которые могут быть подведены под понятие государственного социализма»<sup>150</sup>. Что касается эпохи Средневековья, то здесь, подчеркивал ученый, «особый интерес приобретают отношения феодалов и крестьян, феодалов и горожан, и такие явления, как „Английская Пугачевщина“ (Восстание Уата Тайлера в конце XIV столетия по Р.Х.) и еще более — гуситство, — это сложное движение, не только религиозное и национальное, но и социальное. На этом явлении, на идеологии гуситов, преимущественно радикального направления, приходится остановиться подробнее; тут есть точки соприкосновения и с коммунизмом, и с идеями Л. Толстого (недаром Петра Хельчитского называют иногда „чешским Л. Толстым“)»<sup>151</sup>. Не обошел Бузескул вниманием и темы, которые, как мы полагаем, по его мнению, должны были представляться в новых условиях очень выигрышными. В курсе по историографии он предлагал

темы: «К. Маркс. „Исторический материализм“. Его значение в развитии исторической науки, его влияние. Главные представители исторического материализма»<sup>152</sup>, а в курсе «История социальных отношений и идеология» такие, как: «Социалистические теории. Карл Маркс и Энгельс; их последователи»<sup>153</sup>.

И, надо полагать, достаточно неожиданно для ученого методком Укрпрофобра вынес 24 марта 1923 г. следующее решение: «Ввиду того, что представленные программы основных предметов не соответствуют материалистическому пониманию истории — считать их неприемлемыми»<sup>154</sup>. Эта краткость формулировки, кроме очевидной запретительности, оставляет впечатление некоей невнятности, ибо не раскрывается то, в чем же ее авторы усмотрели несоответствие «материалистическому пониманию истории». Можно предполагать, что в период, когда достаточно активно отрицалось все дореволюционное прошлое, вряд ли могли понравиться такие рассуждения Бузескула: «История культуры, как и вообще история, является важным общеобразовательным средством. Она должна научить сознательно относиться к окружающей действительности и современности, научить понимать, почему эта действительность и современность такова, как она есть, как культура создавалась веками труда и усилий человеческих, на какой степени достижений была она в прошлом, как много в этом прошлом иногда такого, что сближает его с современностью, делает его близким и живым для нас; что содействовало росту и развитию культуры, и что вело к ее упадку, к явлениям регресса»<sup>155</sup>.

Более вероятная причина отказа может лежать в области не науки и преподавания, а политики. Намерение Бузескула осветить в лекциях темы, связанные с проблематикой «марксизма», могли вызвать реакцию обратную той, которую ожидал ученый. Методком вряд ли мог позволить «буржуазному» ученому рассуждать перед студенчеством на темы, относящиеся к идеологической сфере, к области коммунистической доктрины, подконтрольной только партии. Весьма неудачной и опасной с идеологической точки зрения могла выглядеть и одна из заявленных ученым тем: «Тирания, как демократическая диктатура»<sup>156</sup>. К тому же в программах нигде не упоминалась особая революционная роль пролетариата.

В том же 1923 г. в Петроградском университете явно по тем же причинам, что и у Бузескула, был отменен один из курсов, который читал Перетц. Об этом ученый упоминал в письме Сперанскому в марте 1925 г.: «А тут еще мне подложили гадость. Я Вам говорил, что в Унив[ерситете] я уже 2-й год лишен права читать Методологию ист[ории] литер[атуры], ибо для этого нужен „спец“ иного покроя. Теперь, вчера в засед[ании] препод[авателей] р[усской] слов[есности],

бывшем у меня на дому, тот же субъект, кот[орый] „завоевал“ у меня методол[огию], некий Назаренко, заявил, что курс Устной р[усской] словесн[ости], (кот[орый] я читаю с 1921 г.) — будет читать специально приглашенный из Харькова Зеленин, — которого, кстати сказать, — мы выбрали в Отдел[ение] яз[ыка] и литер[атуры] для чтения этнографии материальной (сожа, лапти, изба и пр[очее], где он чувствует себя прочно). Т[аким] обр[азом], ясно, что меня выпирают самым откровенным способом с помощью новых лиц»<sup>157</sup>. Здесь следует отметить, что Д. К. Зеленин перебрался в Ленинград не от хорошей жизни. Позднее ученый вспоминал в письме Соболевскому, что «в Харькове украинцы, чтобы убрать меня с крупных должностей, обвиняли меня в газетах в антимарксизме»<sup>158</sup>.

Соболевский уже отмечал, что власти начали отслеживать и чуждую тематику, связанную, по их мнению, с пропагандой религии. В разряд «поповские» попала тема диссертации П. А. Бузука, ученика Ляпунова. Томсон 7 сентября 1924 г. сообщал Ляпунову: «Он не утвержден д[окто]ром ввиду неподходящей темы — Ев[ангелие]»<sup>159</sup>.

Революцию Г. А. Ильинский встретил без особого восторга и даже спустя девять лет, в декабре 1926 г., он в письме Сперанскому мог лишь констатировать — «разразилась октябрьская катастрофа»<sup>160</sup>. И надо сказать, что ученого было много оснований так вспоминать названное событие. Советизация всей жизни в стране, связанное с ней вмешательство властей в область науки и преподавания чрезвычайно раздражали Ильинского еще в бытность его профессором Саратовского университета. В нескольких письмах 1924 г. Ильинский сообщал Ляпунову об усилении гнетущей обстановки в университете: «И у нас в Саратове жизнь становится все тяжелее и тяжелее, — писал ученый в апреле. — [...] К материальным невзгодам присоединяются моральные. Увы! И у нас начинает развиваться научная проституция, которая отплясывает сейчас такой канкан в обоих столичных университетах»<sup>161</sup>. С начала нового учебного года легче не стало: «С осени у нас замечается много симптомов ухудшения политической ситуации. Между прочим, мы получили официальное предписание читать лекции, не исключая и лингвистических, в марксистском духе. Так, мой коллега, А. С. Мальцев должен начать курс „Русского синтаксиса“ „с указания на отражение истории развития процесса труда на формах речи“ (!!); „Физиологии русской речи“ предписано „придать материалистический характер, поставив проблемы звуковой филологии (sic!) в связи с общей психофизиологией и теорией условных рефлексов“. Итак. Все это было бы смешно, если бы не было грустно...»<sup>162</sup>.

В очень мрачных тонах воспринимал положение науки и культуры в новой России Лавров. Он писал Сперанскому в связи с команди-

ровкой Карского на Съезд славянских географов и этнографов, состоявшийся в Праге 4 июня 1924 г.: «В старое время мы бы были все в Праге, а теперь это выпало на долю, вероятно, немногих. Разве от Вас из Москвы больше поехало, быть может, кого-либо из молодых? Все еще так тяжко живется, так невыносимо долго тянется жестокая власть большевиков. Я радуюсь всякой неудаче их за границей, где, судя по всему, их дела неважны. Расскажет ли Карский о всей тяжести нашего положения? Сейчас еду в деревню. Там в лесу хоть отдохнешь, не видя отвратительных советских рож. Вот нажили себе иго, горше всех перенесенных до сих пор. Этот ужасный, злобный натиск на все национальное, на все для нас священное, глумление над стариной, нарушение той бытовой прелести, какая все еще у нас оставалась, углубление розни между социальными классами. Не хочется верить, чтобы остались прочные результаты всей этой адской работы»<sup>163</sup>.

Ильинский 3 декабря того же 1924 г., выражая свое глубокое соболезнование Б. М. Ляпунову по случаю смерти его брата, композитора С. М. Ляпунова, профессора Петербургской консерватории, рассматривал это печальное событие в контексте общего положения культуры в стране: «Но это горе не только Ваше, но и всех, кто следит за развитием русского национального искусства, в частности любителей народной музыки и песни. Случись кончина Вашего брата в нормальное время, без сомнения, она вызвала бы тысячу откликов в русской печати. А теперь? Но что об этом и говорить в момент жестокого похода на русскую культуру»<sup>164</sup>. Здесь же ученый обратил внимание коллеги на новый шаг властей в области, так сказать, правил орфографии: «Кстати, не удивляйтесь, что я не прислал Вам отдельного оттиска этой статьи: по новому закону, в СССР запрещен ввоз изданий, напечатанных старым правописанием; вследствие этого посланные мне отдельные оттиски были возвращены в Прагу обратно, а «Slavia» по той же причине, как пишет мне Murko (Мурко), принуждена отныне печатать русские статьи исключительно новым правописанием»<sup>165</sup>.

Безусловно, смысл нового закона заключался, прежде всего, в том, чтобы дать «объективный» предлог для запрещения ввоза в страну какой-либо эмигрантской литературы, печатавшейся по правилам дореволюционной орфографии. Решение же, принятое чешскими учеными, можно рассматривать как жест солидарности с их советскими коллегами. Они заботились не только о том, чтобы международный славистический журнал попадал в библиотеки Советского Союза, но и стремились дать возможность авторам из России увидеть свои статьи напечатанными и безбоязненно их распространять.

В наступившие времена ученых уже начали посещать опасения относительно возможности выражать искренне свои мнения, причем

не только публично. Так, Зеленин в конце одного из писем Соболевскому, в котором он весьма подробно описывал выборы новой администрации в Ленинградском университете, закончившиеся провалом «подлаживающегося» к властям Державина и победой «правого» кандидата, вдруг вспомнил: «Когда я был у Вас в Москве осенью 1924 г., тогда у нас был разговор о неудобствах откровенной переписки в наше время? [...] Переехав из Харькова, я почувствовал себя много свободнее и нарушаю это правило. Быть может, это еще не благовременно?»<sup>166</sup>

В начале января 1925 г. С. А. Жебелев сетовал в письме к Бузескулу: «Боже мой, сколько интересного и нужного; статей появляется в новых изданиях. [...] А мы ничего этого не имеем. Скоро даже ничего т[ак] называемого научно-популярного нельзя будет написать — так мы отстали и отстаем. Совершенно естественно случилось так, что мы, даже желая работать, становимся ненужными. Все и вся требуют „перестраиваться по-новому“ — [и]рзб.] это не только трудно, но и как-то внутренне гнусно»<sup>167</sup>. Не могло прибавить оптимизма и поступившее из-за границы известие о кончине в Праге 17 февраля 1925 г. Н. П. Кондакова. В марте Жебелев писал в Харьков Бузескулу: «В последнем заседании Совета Акад[емии] мат[ериальной] кул[ьтуры] С. Ф. Ольденбург выступил с предложением устроить совместное заседание Акад[емии] наук и Акад[емии] мат[ериальной] кул[ьтуры], посвященное памяти покойного. Очень бы хотел, чтобы мне в этом заседании не пришлось принимать активного участия, ибо правды в этом заседании я не мог бы сказать по обстоятельствам времени и места, а говорить банальности о Н[икодиме] П[авловиче] как человеке мне было бы тяжело»<sup>168</sup>.

Перетц продолжал работать над проблемами методологии истории литературы, хотя и сомневался, что его «не марксистская Методология найдет себе издателя»<sup>169</sup>. В своих сомнениях ученый оказался прав, его труд издан не был. Весьма скептическое отношение Перетца к внедряемому в гуманитарные науки марксизму сопровождалось откровенным презрением к новоявленным сторонникам и пропагандистам этого учения. Он не мог поверить в искреннюю увлеченность некоторых ученых новомодной идеологизированной методологией и не без оснований полагал, что самыми активными пропагандистами марксизма в филологии становятся или просто бездарные люди, или те, кто хочет побыстрее приспособиться к новым общественным условиям.

Хотя следует отметить, что всегда были исключения. Близкий друг Перетца со студенческих времен, так же как и он ученик Соболевского, А. И. Яцимирский и до революции придерживался левых взглядов. Теперь он совершенно искренне писал Перетцу 24 августа 1920 г.: «Я первый по времени и пока единственный из наших профес-

соров, с приходом советской власти работаю с ней и по-прежнему верю в спасительность одного социализма, работаю искренно, люблю русский народ, верю в его честность, стойкое стремление к правде, талантливость — и это меня спасает. Из наших профессоров я единственный оптимист и поэтому совершенно одинок»<sup>170</sup>. Такие признания в социалистических убеждениях совершенно не изменили отношение Перетца к товарищу.

Описывая методы проведения очередной реорганизации в высшей школе, Перетц отмечал при кажущейся логичности ее явную направленность против старой профессуры. В июне 1925 г. он писал Сперанскому: «У нас с замещением штатов в Унив[ерситете] произошло нечто высоко-комическое: велено было руководствоваться старой классификацией, т[о] е[сть] для профессоров — требуется ст[епень] доктора, или хоть магистра. Начали в Ф[акульте]те судить — и оказалось, что только мы с Сиповским можем претендовать на штатн[ую] профессуру: и из лет еще не вышли, и степень есть — но нас „отвели“: мы-де штатны по другим службам (я в Ак[адемии] н[аук], он — в Морех[одном] учил[ище]). Остались же — „красные“ проф[ессора], но беда — у них нет не только никакой квалификации, но и вообще даже грамотности, как, например, у Назаренка. Решили — оставить кафедру вакантной<sup>171</sup>. Досаждавший Перетцу профессор Я. А. Назаренко был автором популярного учебника «История русской литературы XIX в.», который выдержал в 1925–1931 гг. девять изданий, после чего был объявлен ненаучным и немарксистским, содержащим меньшевистские идеи.

В начале того же года еще более жесткие оценки давал аналогичной ситуации в провинциальному университете известный историк-славист А. Н. Ясинский. Он писал 4 февраля Е. В. Петухову: «Смоленский ун[иверситет] существует, но, по-видимому, плохо, ибо лучшие силы ушли или „их ушли“, а остались оборванцы, старающиеся поддержать жизнь учреждения одной ортодоксальностью»<sup>172</sup>. Кстати, о результатах противостояния с «красной» профессурой Перетц писал 7 августа 1925 г. Соболевскому: «Из Унив[ерситета] я вылетел, как по болезни, так и по воле начальства, не поручившего мне обяз[ательного] курса. Все это скверно»<sup>173</sup>.

Сообщая 30 апреля 1925 г. Сперанскому о своем выступлении на первом заседании Славянской комиссии, Лавров не преминул отметить: «Но и из того, что прочел, было ясно, в каком положении они и мы в области гуманитарных наук»<sup>174</sup>. В докладе ученый, сравнивая положение научной периодики в славянских странах, особенно в Чехословакии, и на родине, указывал: «Что касается чешских журналов, то выходят старые и новые. Опять-таки в противоположность тому,

что есть у нас, где прекратились все журналы и ученых обществ, университетские, филологические, исторические, археологические, этнографические и чисто литературные»<sup>175</sup>. И недаром Лавров отмечал: «Как видно, бодро и деятельно протекает жизнь славянских народов при благоприятных условиях политической свободы и нормальных условиях школьной жизни»<sup>176</sup>. Очевидно, что и то и другое условие ученый считал отсутствующим в собственной стране.

К концу 1925 г. относится и характерная негативная оценка многими членами Академии, особенно филологами-славистами, собственного руководства, приведенная Д. К. Зелениным в письме Соболевскому. Ученый просил у старшего коллеги разрешить ему «закончить письмо новейшим анекдотом из нашей академической жизни. В последнем издании книги А. Е. Ферсмана „Самоцветы России“ пропущены три новых самоцвета из группы аллександрита, которые светят в разное время то белым, то красным светом; это — „ферсманит“, „ольденбургит“ и „маррит“»<sup>177</sup>.

Настроения в кругах русских славистов царили в то время довольно мрачные, и даже такая деятельность натура, как Г. А. Ильинский, часто приходил в уныние, от которого его и его коллег спасала лишь их преданность науке. «В наше смутное время всеобщего шатания, деморализации и бесстыжего карьеризма, — писал он Ляпунову в январе 1926 г., — и я чувствую себя одиноким, и только любовь к славистике да моральная и научная поддержка рыцарских характеров, как Ваш, не позволяет мне окончательно пасть духом»<sup>178</sup>.

Перетца возмущала откровенная и вульгарная идеологизация преподавания, граничащая с невежеством, в частности весьма сомнительные философские пассажи ведущего теоретика партии. Он писал 23 апреля 1927 г. Сперанскому: «Да, трудно молодежи запомнить такие „научные“ истины, как, например] — „философ Платон черносотенец и идеи его вшивые“ — как пишет Бухарин в своем популярном руководстве! И эту чушь должны зубрить... До такого позора и распятия здорового разума мы никогда не доживали при „ненавистном режиме“...»<sup>179</sup>.

Многие учреждения, имевшие отношение к науке, одно за другим подверглись чисткам или закрытию. Об этих событиях Ильинский писал Ляпунову в сентябре 1929 г.: «Мы все очень расстроены здесь итогами проведения рационализации в Ист[орическом] Музее: потеряли свои места М. Н. Сперанский, Ржига, Тарабрин, сын и дочь Корша и мн[огие] др[угие]; всего 34 человека. Ну и времена!»<sup>180</sup> И вскоре: «У нас новая скорбь: закрыто Общество Ист[ории] и Др[евностей] Росс[ийских], со славой послужившее русс[кой] науке около 100 л[ет]!»<sup>181</sup>

За ущемлением свободы науки последовала «революционизация» преподавания, сведенная к его упрощению. Это уже непосредственно ударило по старым профессорским кадрам. Весной того же 1929 г. Иль-

инский, поздравляя Ляпунова с Пасхой, сообщал: «Вообще в здешних академических кругах царит сейчас очень тягостное настроение: предстоящие перевыборы профессуры, слухи о реформе РАНИОНа, новый натиск марковских молодцов, усиление общего политического нажима — все это создает скорее „страстное“ настроение, чем „пасхальное“. Никто не знает, что день грядущий нам готовит»<sup>182</sup>.

Новые реформы больно задели целые отрасли знания, и славяноведение сразу же оказалось в немилости. В декабре 1929 г. Ильинский с грустью писал Ляпунову: «И у нас, в Москве, происходят невеселые вещи. Еще среди осени, на полном ходу занятий, на нашем факультете закрыли „Славянский цикл“, на который я собственно и был приглашен из Казани; но все-таки почти все курсы перевели в Восточнославянское отделение, и мы надеялись просуществовать, по крайней мере, до лета. Но теперь, в связи с немедленной перестройкой четырехгодичного курса на трехгодичный, производится грандиозное сокращение учебного плана. Одной из первых жертв оказалась славистика: из многих курсов оставлен только польский язык, чего, конечно, недостаточно даже для одного штатного слависта. Поэтому, если постановление комиссии будет утверждено деканом и если трехгодичная учеба будет введена уже с 1 января, то до нового года мне придется начать хлопоты о переводе меня на пенсию. Так, наш „Славянский цикл“ отжил, не успевши расцвести...»<sup>183</sup>.

Ильинский на собственной судьбе и на судьбе славяноведения ощутил решительные шаги советской культурной революции. Вслед за перевыборами профессуры вскоре последовали новые акции по выталкиванию профессионалов старой школы, цвета оставшейся в стране профессуры, из высшей школы. О развитии событий в Московском университете Ильинский в марте 1930 г. писал Ляпунову в Ленинград: «Хуже дело обстоит с нами. Как я писал Вам, с введением трехгодичного курса славистика в 1 МГУ подверглась полному разгрому, но все-таки была бы полная возможность дотянуть до осени, если бы не следующее обстоятельство: со второй половины марта здесь начинается великий поход против „нейтральности“ и „аполитичности“ научных работников и вслед [за] этим великая инквизиция их убеждений. Из страха, что на этом „суде“ публично начнут трепать мое имя, чтобы затем лишить меня пенсии, на которую дает мне право моя почти 32-летняя академическая деятельность, и я решил подать в отставку ... в ближайшие недели»<sup>184</sup>.

Через несколько дней, 30 марта, Ильинский вновь писал Ляпунову: «...с 1 июля не только „Славянский цикл“, но и все „Этнографическое отделение“ Историко-философского факультета (а по другим сведениям, даже всего Историко-философского факультета 1 МГУ)

прекращает свое существование, и мне во всяком случае придется перейти в совершенно новые условия жизни...»<sup>185</sup>.

Учитывая складывавшуюся обстановку, Ильинский принял окончательное решение, о чем сообщал Ляпунову 29 апреля 1930 г.: «В пятницу на прошлой неделе я подал прошение об освобождении меня от должности профессора 1 МГУ с 1 июля. Другого выхода не было, т. к. окончательно выяснилось, что в будущем учебном году от славистики останутся только „ножки да рожки“, т. е. [нрэб.] 2 часа польского языка. Ну, а этого мало даже для одного А. М. Селищева. Вместе со мною выходят в тираж преподаватели П. П. Свешников (ученик Щепкина) и А. И. Павлович (ученик Францева), а также лекторы польского языка (Розенталь), чешского (Грулин), сербского (Добровольский) и болгарского (Колинкоева). Все они взяты были в свое время из Интернационала»<sup>186</sup>.

Уйдя из университета, Ильинский даже испытывал определенное облегчение, кроме того, его академическая пенсия превосходила размеры прежнего заработка. «Таким образом, — писал он в августе 1930 г. Ляпунову, — материально я даже выигрываю, но еще более я выигрываю морально. Ведь в последнее время преподавание в вузе стало истинной мукой и, по существу, уже давно превратилось из научной лаборатории, какой оно должно быть в идее, в самое грубое и поверхностное натаскивание. Теперь, пользуясь полным досугом, я получаю возможность всецело отдаваться научной деятельности, которая остается единственным утешением в суровые дни нашей жизни»<sup>187</sup>.

В 1930 г. неожиданно для коллег умер П. Н. Сакулин. Его похороны дали возможность Ильинскому сделать неутешительные наблюдения над моральными качествами представителей победившего научного направления. В сентябре он писал Ляпунову: «И мы крайне поражены и удручены внезапной кончиной П. Н. Сакулина [...] Похороны были очень многолюдны, и многих поразило, что совершенно отсутствовали представители той „общественности“, перед которыми покойный так много делал реверансов...»<sup>188</sup>.

Свое же положение ученый описывал Ляпунову в июле 1932 г. следующим образом: «Не удивляйтесь моей продуктивности: я ведь в настоящее время нигде не служу и весь свой досуг (который остается после стояния в разных очередях, разыскивания продуктов и т. п.) могу всецело отдавать научной деятельности, в которой к тому же нахожу некоторое забвение от тяжелых переживаний нашей жестокой деятельности»<sup>189</sup>. Кстати, заметим, что Ильинский в 1930–1931 гг. на родине смог опубликовать только 5 работ, за границей же – 33, в 1932–1934 гг. в СССР не вышло ни одной его статьи, за рубежом – 20.

Многие коллеги Ильинского в эти годы или были уволены с работы, или вынуждены были хлопотать о выходе на пенсию. Наука несла

невосполнимые потери. Неустроенность жизни, постоянная травля ускорили конец многих выдающихся ученых-славистов. Смерть известнейшего русского лингвиста А. М. Пешковского вызвала горестные размышления Ильинского о судьбе отечественной гуманитарной науки. В письме 31 марта 1933 г. он писал Ляпунову: «Грустно видеть, как ветераны нашей науки уходят один за другим со сцены, оставляя после себя буквально пустое место. Если так будет продолжаться дальше, то скоро наша наука фактически вымрет»<sup>190</sup>.

Письма ученых свидетельствуют о том, что первые же шаги советской власти произвели на представителей академической элиты удручающее впечатление. И вообще они переполнены эмоциями и ощущением катастрофы, постигшей Россию. Между советской властью и гуманитарной научной элитой страны установилось прочное взаимное недоверие. В политическом отношении власть с подозрением относилась к ученым, а те в этом смысле составляли скрытую оппозицию. Научному сообществу пришлось столкнуться с невиданными до того формами репрессий, арестами по классовому принципу, концентрационными лагерями, институтом заложничества, расстрелами заложников. Аресты ученых производили на них сильнейшее психологическое воздействие. Некоторые из тех, кто оказывался в результате военных действий на территориях, занятых белыми армиями, предпочитали более не испытывать судьбу и выбирали эмиграцию. В этом смысле характерен пример одесских профессоров: и А. П. Добролонский, и С. Г. Вилинский эмигрировали. За ними последовал и Кондаков, бывший свидетелем массовых арестов профессоров Новороссийского университета. Можно с уверенностью предположить, что психологическое воздействие арестов выражалось и в подавлении воли, и внушало постоянный страх перед властями. Мы полагаем, что сверхлояльное отношение к властям такого видного деятеля Академии наук, как С. Ф. Ольденбург, может отчасти объясняться и тем шоком, который ученый получил в период своего заложничества. Но другие ученые, проведшие не один месяц в заключении или ссылке, только укреплялись в своем молчаливом неприятии новой политической системы. В столь трагичных обстоятельствах ярко проявилась одна из лучших академических традиций солидарности научного сообщества — ходатайствовать перед властями за гонимых сочленов.

Представители славистической элиты очень серьезно относились к своему долгу хранителей культурных ценностей России, к долгу служения просвещению. Поэтому, не имея иногда возможности продолжать исследования по привычной для себя проблематике, ученые-слависты искали новые темы для занятий, а также и новые формы реализации своих изысканий. Они участвовали в организации высших учебных заведений, возрождали старые научные общества и создавали новые, зани-

мались чтением докладов, невзирая даже на малочисленность аудитории слушателей.

Активная политика властей по внедрению «марксистских» основ в высшую школу и науку вела к резкому размежеванию внутри научного сообщества на приверженцев академических традиций и сторонников новых политико-идеологических концепций. В этом противостоянии представители традиционного славяноведения, безусловно, проигрывали, следовало вытеснение высокопрофессиональных научных кадров из университетов и научно-исследовательских институтов. Однако привлеченные нами источники свидетельствуют и о том, что никакие гонения не могли заставить ученых-славистов отказаться от исследовательской работы, которая для них превратилась в смысл существования.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Д. 737. Л. 7–7 об.
2. Там же. Д. 848. Л. 10–11 об.
3. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 13 об.
4. Там же. Л. 44.
5. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.
6. Там же. Д. 290. Л. 7–7 об.
7. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 72.
8. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 14.
9. Там же. Д. 182. Л. 22.
10. Там же.
11. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 72.
12. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 203.
13. Там же. Л. 203–203 об.
14. См. подробнее: *Робинсон М. А. Академик А. А. Шахматов...* С. 189–203.
15. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 203–203 об.
16. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 30.
17. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 181. Л. 52–52 об.
18. Там же. Л. 52 об.
19. РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 2787. Л. 2.
20. *Робинсон М. А. А. А. Шахматов и обыск в Библиотеке Академии наук в 1910 году // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1974. Т. 33. № 2.*
21. Академическое дело 1929–1931 гг. Документы и материалы следственно-го дела, сфабрикованного ОГПУ. СПб., 1993. Вып. 1.

22. См. подробнее: *Робинсон М.А. А.А. Шахматов и В. В. Виноградов // Русская речь. 1985. № 1; Робинсон М.А. А.А. Шахматов и молодые ученые // Русская речь. 1989. № 5.*
23. *Робинсон М.А., Сазонова Л.И. О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы... С. 460.*
24. РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Д. 984. Л. 32 об.
25. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 207, 207 об.
26. РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 2787. Л. 3, 3 об.
27. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 209–209 об.
28. Там же. Ф. 359. Д. 527. Л. 7.
29. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 181. Л. 55–55 об.
30. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 17.
31. Там же. Л. 16 об.–17.
32. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118 Л. 20 об.
33. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1141. Л. 126 об.–127.
34. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 447. Л. 28–28 об.
35. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 176. Л. 37 об.
36. ИРЛИ. Ф. 62. Оп. 3. Д. 518. Л. 8.
37. ПФА РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 946. Л. 2, 3.
38. Там же. Ф. 134. Оп. 1. Д. 437. Л. 2; Там же. Оп. 3. Д. 165. Л. 1; РГБ. Ф. 369. К. 366. Д. 42. Л. 1; РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 1. Д. 543. Л. 1.
39. РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 1. Д. 543. Л. 1.
40. *Робинсон М.А. А.А. Шахматов и молодые ученые... С. 88, 89.*
41. РГБ. Ф. 369. К. 366. Д. 38. Л. 17.
42. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 166.
43. Там же. Ф. 208. Оп. 3. Д. 652. Л. 233.
44. РГБ. Ф. 369. К. 366. Д. 38. Л. 32.
45. Там же. Л. 34.
46. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 558. Л. 1–1 об.
47. Там же. Д. 176. Л. 37.
48. Там же. Д. 147. Л. 10.
49. Там же. Д. 392. Л. 18.
50. Там же. Л. 16 об.
51. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 705. Л. 51 об.–52.
52. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 22–23.
53. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 63 об.
54. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 61.
55. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 68 об.
56. РНБ. Ф. 326. Д. 20. С. 26.

57. Центральный государственный архив С.-Петербурга (далее – ЦГА СПб). Ф. 7240. Оп. 14. Д. 127.
58. Там же.
59. Новый мир. 1990. № 7. С. 157.
60. РГБ. Ф. 369. К. 366. Д. 38. Л. 36.
61. ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 127.
62. Там же.
63. РНБ. Ф. 326. Д. 20. Л. 28.
64. Там же. Л. 29.
65. Робинсон М. А. А. А. Шахматов и студенческие волнения в Петербургском университете в 1911 году // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1971. Т. 30. Вып. 2. С. 151–157.
66. Цит. по: «Теперь не наша полоса...» (Из архива А. А. Корнилова) // Минувшее. Исторический альманах / Предисл., публ. и comment. М. Ю. Сорокиной. М; СПб., 1994. Т. 16. С. 308.
67. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 240. ·
68. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1429. Л. 58 об.
69. Там же. Д. 1170. Л. 5 об.–6.
70. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 39 об.
71. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 31.
72. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 34 об.
73. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 3 об.
74. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 131 Л. 44.
75. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 74.
76. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 38.
77. Там же. Д. 184. Л. 1–1 об.
78. Там же. Д. 391. Л. 1 об.
79. Там же. Д. 392. Л. 42.
80. Там же. Л. 29 об.
81. Там же. Л. 42 об.–45 (нарушение пагинации).
82. Там же. Л. 48.
83. Там же. Л. 46.
84. Там же. Л. 48–48 об.
85. Там же. Л. 49 об.
86. Там же. Л. 48 об.
87. Там же. Д. 391. Л. 3–3 об.
88. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1952. М., 2000. С. 36.
89. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 64–64 об.

90. Там же. Л. 67.
91. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 52.
92. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 193 об.–194.
93. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 649. Л. 14 об.
94. Там же. Д. 559. Л. 63 об.
95. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 143.
96. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 12 об.
97. Там же. Л. 10, 11, 12.
98. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 59 об.
99. Макаров В. И. А. А. Шахматов. М., 1981. С. 145.
100. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 30.
101. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 63 об.
102. Мартиновская А. И. Академик В. Н. Перетц в Самаре // XX Кирилло-мемфисские чтения. Самара, 1997. С. 24.
103. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 49.
104. Там же. Ф. 1. Оп. 2–1929. Д. 29. Л. 73–73 об.
105. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Ф. 147. Л. 36–36 об.
106. Там же. Д. 392. Л. 19.
107. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 48 об.
108. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 56.
109. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 4 об.
110. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 54. Л. 1–3.
111. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 46.
112. Там же. Л. 47–47 об.
113. Там же. Д. 161. Л. 42.
114. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 17 об.
115. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 29 об.
116. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 127. Л. 3–4.
117. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 27.
118. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 45 об.
119. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 29.
120. Там же. Д. 373. Л. 4 об.–6 (нарушение пагинации).
121. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 50 об.
122. Словарь русского языка XI–XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1975. С. 3.
123. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 22.
124. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 53–53 об.
125. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 54 об.–56 (нарушение пагинации).

126. Логачев К. И. Советское славяноведение до середины 30-х годов // Советское славяноведение. 1978. № 5. С. 97.
127. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 55–55 об.
128. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 120.
129. Там же. Л. 162.
130. Българо-руски научни връзки XIX–XX век. Документи. София, 1968. С. 135.
131. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 171.
132. РНБ. Ф. 326. Д. 18. С. 36.
133. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 26 об.–27.
134. Там же. Л. 53 об.
135. Там же. Д. 54. Л. 1–1 об.
136. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 44.
137. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 50.
138. Аксенова Е. П. «Изгнанное из стен Академии»... С. 73.
139. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 359–359 об.
140. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 28.
141. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 22 об.
142. Там же. Л. 23.
143. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 131. Л. 44.
144. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 28 об.
145. Там же. Д. 238. Л. 8–9.
146. Там же. Д. 392. Л. 33 об.
147. ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 1. Д. 67. Л. 7 об.
148. Там же. Л. 11.
149. Там же. Л. 9 об.
150. Там же. Л. 9.
151. Там же. Л. 9 об.–10.
152. Там же. Л. 8.
153. Там же. Л. 12 об.
154. Там же. Л. 1–1 об.
155. Там же. Л. 2–2 об.
156. Там же. Л. 11.
157. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 57 об.–58.
158. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 136.
159. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 7 об.
160. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 130. Л. 6.
161. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 103–103 об.
162. Там же. Л. 106.

163. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 52–53.
164. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 109.
165. Там же. Л. 110 –110 об.
166. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 71.
167. ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 10.
168. Там же. Л. 18–18 об.
169. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 58 об.
170. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 4–4 об.
171. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 63–63 об.
172. ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 487. Л. 9.
173. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 52.
174. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 55.
175. Там же. Ф. 284. Оп. 1. Д. 21. Л. 44.
176. Там же. Л. 53.
177. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 57 об.
178. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 120.
179. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 140 об.–141.
180. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 218.
181. Там же. Л. 227.
182. Там же. Л. 208 об.
183. Там же. Л. 242–242 об. Об истории «Славянского цикла» см.: *Горяинов А. Н. Цикл южных и западных славян...* С. 13–33. О некоторых моментах, связанных с организацией цикла, вспоминал 20 мая 1949 г. С. Б. Бернштейн, см.: *Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти...* С.137.
184. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 254 об., 253 об.
185. Там же. Л. 261.
186. Там же. Л. 267–267 об.
187. Там же. Л. 279.
188. Там же. Л. 282 об.–283.
189. Там же. Л. 353.
190. Там же. Л. 375.

## ГЛАВА II

### УЧЕНЫЕ В УСЛОВИЯХ ВЫЖИВАНИЯ

#### «Такова жизнь русского несчастного профессора»

Общее ухудшение положения в стране становилось все более определенным, появились бытовые трудности, к которым уже немолодые, обремененные, как правило, заботами о многочисленных родственниках ученые были абсолютно не приспособлены. Все с большей очевидностью стали проявляться признаки приближающегося голода, замечавшиеся и в 1917 г. Так, уже 19 января 1918 г. А. А. Шахматов писал В. М. Истрину: «Здесь голод, и вообще Петроград — город обреченный. В Москве, говорят, условия не лучше»<sup>1</sup>. Из провинции также поступали неутешительные известия. К. В. Харлампович писал А. И. Соболевскому 22 мая 1918 г.: «Не спрашиваю, как Вам живется: и без того ясно, что не весело и даже не сытно, хотя Москва ныне и столица Ленинского правительства. То ли иссякли хлеб и прочие продукты в „житнице Европы“, то ли власть не имеет ни умения, ни возможности наладить подвоз. Голод идет быстрыми шагами и может зараз охватить многие пункты государства. Даже в Казани в последние 2–3 недели хлеб повысился в ценах вдвое и втрой. Нет подвоза муки, крупы. Все пустыннее становится на базаре»<sup>2</sup>.

В конце августа 1918 г. из Серпухова Соболевскому писал Истрин, пребывавший в сильнейшем душевном смятении: «Поедете ли Вы в П[етроград]? Мы в полном отчаянии — что делать! Вести про П[етроград] ужаснейшие: и там голодная смерть. Но и здесь теперь не лучше, по мнению сведущих людей, в ближайшем будущем и здесь начнется формальный голод»<sup>3</sup>. В конце письма он вновь обращался к Соболевскому: «Что бы Вы нам посоветовали — ехать в П[етроград] или не ехать»<sup>4</sup>.

Особые злоключения выпали на долю ученых, оказавшихся в районах боевых действий и частой смены различных властей. Н. П. Кондакову удалось из оккупированного немецкими войсками с середины апреля Крыма переправить Соболевскому 23 мая 1918 г. подробное письмо о своих мытарствах. Ученый очень интересовался судьбой коллег, но как отмечал он в самом начале письма: «О других петербургских знакомых кое-что ранее получал, а теперь, по слухам закрытия почты дальше пределов Украины, теперь тоже ничего не знаю». «Чувствую себя совсем отрезанным, — сетовал Кондаков, — и хочу в ближайшее время тронуться в путь сначала на Харьков, затем на Мо-

скву и Петроград, конечно, если позволят обстоятельства»<sup>5</sup>. Далее ученый сообщал о том, что лето 1917 г. он провел в Одессе «на квартире уехавшего И. А. Линниченко», потом возвращался в Москву и, наконец, с октября 1917 г. обосновался в Ялте. Тут его и застало установление Советской власти. О том, что случилось далее, Кондаков писал: «Здесь за полгода пережили три периода: покоя, военного положения, смуты и осадного положения, затишья, которое кончилось опять разгромом и приходом немцев. Ялта разгромлена так, что не поправить даже и при немцах лет десять. Все лучшие гостиницы были разгромлены, многие разбиты тяжелыми снарядами. Все зеркальные стекла на набережной разбиты и т. д. Миллионы вытащены из банков, с текущих счетов у всех богатых людей списано все бывшее и т. д. Впрочем, что писать об этом, когда и у вас в Москве было то же. Если здесь что уцелело, то лишь потому, что большевики не рассчитывали на приход немцев. Народу перебито тоже довольно, и буржуев, и трудающихся»<sup>6</sup>.

Положение в Ялте к моменту написания письма выглядело следующим образом: «Теперь у нас, при немцах, тихо. Простой народ, не находя заработка, из Крыма бежит, куда пускают, на Украину или к Одессе и т. д. Бегут с награбленным имуществом. Цены пока не падают, рабочий в день 7–8 рублей, мастера от 15 рублей, а покупки и заказы немыслимы»<sup>7</sup>. О результатах деятельности большевиков, отравившихся непосредственно на его жизни, Кондаков сообщал Соболевскому: «Наш дом Петя отдал с осени под лазарет, а теперь он выбрался, не уплатив ничего за помещение и разорив дом вконец. Мраморные вазы в саду разбиты молотами, что можно было украсть, взято и т. д. Теперь поневоле привожу все в порядок, но ремонтировать невозможно и даже почистить сад стоит дорого»<sup>8</sup>.

Наступали времена, когда от кабинетных ученых требовалась совершенно несвойственная для них каждодневная борьба за физическое выживание. Только глубокая преданность науке помогала не впадать в складывающихся обстоятельствах в полное отчаяние и апатию. С лета 1917 г. до поздней осени 1918 г. все разраставшаяся семья Шахматова, включавшая его сестер и теток, проживала вне Петрограда в Аткарске, городе Саратовской губернии, недалеко от бывшего поместья Шахматовых — Губаревки. Лето 1918 г. ученый провел с семьей, стараясь не прекращать научную работу. В июле он писал Ю. В. Петровской: «И здесь в Аткарске цены возросли неимоверно, но жить было бы возможно, если бы не постоянная тревога, вызываемая гражд[анской] войной, и не гнетущая мысль о гибели России. Работать все-таки удается. Собираю материалы по синтаксису. В конце июля ст[арого] стиля, если Петроград не будет от нас ото-

рван, надеюсь побывать там для разрешения вопроса, как устроить семью на зиму»<sup>9</sup>.

Шахматов очень переживал, что не может больше появляться в своем бывшем имении, которое, хотя и не было сожжено, но стало недоступно. О своей утрате ученый сообщил после перерыва, вызванного войной, В. Ягичу, патриарху мирового славяноведения, члену Венской Академии наук, состоявшему к этому времени и русским академиком уже почти 38 лет. О том, как к этому отнесся В. Ягич, можно узнать из письма Б. М. Ляпунова Шахматову от 30 августа 1918 г.: «Ягич просил передать Вам, что он очень обрадовался Вашему письму после долгой разлуки и просит Вас не слишком грустить»<sup>10</sup>. В другом письме он же передавал Шахматову «по просьбе Ягича его соболезнование в понесенной Вами утрате Вашего родового гнезда»<sup>11</sup>.

Судьба, постигшая «родовое гнездо» Ляпуновых, была гораздо хуже, чем у Шахматова. «Нашей Болобоновской усадьбы уже не существует, — писал Ляпунов, — не осталось даже стен, так все сожжено или разграблено еще в ноябре 1917 г.»<sup>12</sup>. Своими мыслями по этому же поводу ученый делился с Шахматовым и в еще одном письме: «...я редкий день не могу вспомнить без чувства горькой обиды о том, что случилось на моей родине: в канун ноября 1917 г. наша усадьба, как почти все усадьбы Курмышск[ого] у[езда] Симбирской губ[ернии], подверглась разгрому, дом и все постройки после грабежа сожжены дотла, а всего возмутительнее то, что сожжена отцовская и дедовская библиотека, заключавшая много редких книг XVIII и XIX стол[етий] на французском, немецком и русском языках] по литературе, истории и естествознанию. Т[аким] образом связь с деревней у меня порвана навсегда»<sup>13</sup>.

Жизнь в провинции была легче, чем в Петрограде, но и там бытовые проблемы угнетали Шахматова. Он сообщал С. Ф. Ольденбургу 1 октября 1918 г.: «...нахожусь в тяжелой житейской переделке. Мы остались без прислуги: одна вышла замуж, другая вызвана отцом, тревожащимся за дочь, ввиду упорно распространяющихся слухов о близости Аткарска к фронту. [...] В ожидании ее прибытия (новой прислуги. — M. P.) на семью легла вся работа по дом[ашнему] хозяйству. Мне приходится принимать значительное участие в этой работе, а кроме того припасать к зиме хлеб и дрова; дров совсем в город не привозят, надо ухитриться закупить их в деревнях, а в крайнем случае застаситься кизяками (может быть). Вы не знаете, что это такое: навозные кирпичи, изготовленные для топки в безлесных местностях»<sup>14</sup>. Опасаясь возможного в условиях гражданской войны разделения семьи, Шахматовы перебираются в Петроград. Решение о переезде было непростым, а сам он был не вполне добровольным. Еще 19 ноября

Шахматов с беспокойством сообщал А. Ф. Кони: «Жена не соглашается ехать в „голодающий“ Петроград. Ее выселили из квартиры, произвели у неё обыск, и меня изводит мысль о том, что еще может статься с нею в Аткарске. Тетя и сестра приехали оттуда ко мне»<sup>15</sup>. В декабре Шахматов так описывал Кони некоторые обстоятельства уже состоявшегося переезда: «В Аткарске жена не только подвергалась обыску, но также выселению, а затем, после того, что она заняла две комнаты, уплотнению и, наконец, дня за три до отъезда, когда посланный за ними человек был уже в Аткарске, жилищная комиссия предписала ей выехать из города»<sup>16</sup>.

Напротив, некоторые ученые, у которых была возможность устроиться в провинции, стремились покинуть Петроград. Так намеревался поступить фактический руководитель Комиссии по изданию славянской Библии И. Е. Евсеев. Он сообщал Соболевскому 2 ноября 1918 г., что приглашен «на родину в Порхов, организовать Народный Университет». Ученый воспринимал эту работу как вынужденную и возлагал надежды на Академию наук: «Если Комиссия создаст условия, способные обеспечить возможность трудиться над Библией, я весь отдамся этому делу; если этого не будет, я поневоле должен бросить это дело и перейти к другой области занятий»<sup>17</sup>. Но создать приемлемые условия для работы Академия была не в силах. В дальнейшем основным занятием Евсеева стало хлебопашество, прерываемое краткими поездками в Петроград.

Поздняя осень в Петрограде создала для Шахматова еще больше проблем, чем жизнь в провинции. Ученый жаловался Кони в письме от 12 ноября 1918 г.: «Ко всем прочим занятиям прибавились домашние хлопоты, прямо-таки меня изнуряющие; приходится топить самому печи, и только недавно нашелся студент, который согласился колоть и таскать дрова»<sup>18</sup>. В ответ на сообщение Д. Н. Ушакова о положении в Москве Шахматов писал ему 4 декабря: «У нас так же тяжело, как у Вас в продовольственном отношении. Работать приходится мало ввиду житейских забот и треволнений»<sup>19</sup>. Тем не менее, как писал ученый 23 декабря Кони: «Чувствую себя теперь гораздо лучше и смелее, благодаря возвращению сюда семьи». «Живу сейчас, — продолжал Шахматов, — сам-сём. Кормиться трудно, но пока терпимо»<sup>20</sup>.

Некоторые ученые, так же, как Шахматов, обремененные большими семьями, сами оставаясь в Петрограде, предпочитали все же отправлять их в провинцию. Так поступил ученик Соболевского Н. М. Каринский, который очень подробно сообщал о состоянии своих дел учителю. «В этом году имею много занятий, — писал он 11 декабря 1918 г., — так как не легко содержать семью в 9 человек. Семья живет

в Вятке, а я в Петрограде, приезжая на лето, на Рождество и на Пасху». Свою жизнь Каринский описывал в самых мрачных тонах: «Терпим и голод и холод. В Петрограде жизнь делается невыносимой: 2 дня назад пропали в продаже капуста и картофель. Сейчас прекращена торговля на улицах, а след[овательно] и на рынках. Достать что-л[ибо] крайне трудно». Удручила ученого и невозможность работать в темное время суток: «Освещение в тех квартирах (как у меня), где нет электричества, отсутствует. Вот догорает последняя свеча, и я остаюсь во тьме. Подал в месте службы заявление, что прекращаю лекции вследствие невозможности к ним подготовляться за неимением осветительных материалов. В квартире у меня холод 7–9°, вчера было даже 5, отчего в руках и ногах ревматизм. Такова жизнь русского несчастного профессора»<sup>21</sup>. Уже на следующий день Каринский вновь жаловался Соболевскому: «Сожалею, что осенью и зимою мне решительно нет времени заниматься, в Петрограде жизнь невыносима; я ослабел и измотан нравственно. Набрал занятий, т. к. тяжело содержать семью из 9 человек»<sup>22</sup>.

Прошло всего две недели с того дня, когда Шахматов полагал продовольственное положение своей семьи «терпимым». Положение настолько изменилось, что ученый прямо писал 7 января 1919 г. В. Н. Перетцу, спасавшемуся от голода в Самаре: «Мы здесь голодаем. Жалованье целиком уходит на еду, но есть-то оказывается нечего. Я покупал уже муку по 20 [рублей] фунт, а теперь уже не могу разрешить себе такого расхода». Но, несмотря на эти трудности, Шахматов не только не прекращал работу, но напротив, именно в ней чувствовал спасение. «Слава Богу, — писал он Перетцу, — стал усиленно работать. Это меня спасает»<sup>23</sup>. Ученый очень надеялся, что переживаемые трудности продлятся недолго. «От всей души надеюсь, — писал он Кони 11 января, — что этот год принесет с собой облегчение всем нам». И в письме Кони Шахматов так же, как и в письме Перетцу, отмечал: «Радуюсь тому, что все-таки нахожу время для работы»<sup>24</sup>.

Но отнюдь не все ученые, подобно Шахматову и, как мы увидим, Соболевскому, искали в науке спасения от переживаемого унижения, холода и голода. У многих опускались руки. Так, весной 1918 г. Харлампович сетовал Соболевскому: «Наука не идет на ум, да и работать не хочется, когда не уверен не только в том, что удастся напечатать написанное, но и в сохранении жизни самого автора»<sup>25</sup>. Эти же настроения, наряду с завистью к активности Соболевского, ученый повторял и в письме 3 января 1919 г.: «Вы в надежде на лучшее продолжаете работать на пользу науки и, по-видимому, немало приготовили для печати. А я забросил писание: когда печатать?»<sup>26</sup> О результатах же деятельности Соболевского мы можем судить по письму к нему

Д. К. Зеленина от 31 марта 1919 г.: «Преклоняюсь перед Вашей энергией, которая позволяет Вам писать блестящие научные исследования при столь тяжелых условиях, в голоде и холода»<sup>27</sup>.

В феврале Шахматов все еще питал надежды на то, что жизнь если и не во всей стране, то хотя бы в центре наладится. «Глубоко убежден, — писал он 9 февраля (28 января по старому стилю) 1919 г. Кони, в день, когда знаменитому юристу исполнилось 75 лет, — что в Новом году настанет перемена в нашем лихолетье, и что в будущем году Вы отпразднуете 28-е января при иных, лучших условиях». Но реальная жизнь, однако, ничего хорошего не предвещала. В этом же письме Шахматов сообщал Кони о смерти жившего при его семье в их квартире сторожа<sup>28</sup>.

Сам, находясь в тяжелейшем материальном положении, Шахматов искренне сочувствовал своим коллегам, оказавшимся в провинции, оторванным от Академии и лишившимся на этом основании академического жалованья. Ученый очень надеялся на скорейшее возвращение всех академиков к работе в Академии наук. Он писал Перетцу 9 февраля: «Очень мне грустно, что так тяжело для Вас складываются материальные обстоятельства. Надеюсь, с приездом Вашим в мае все уладится, и Вы потеряете только 4 месяца». Ученого больше в это время волновали проблемы, связанные с событиями на фронтах Гражданской войны. «Сильно боюсь, — делился он с Перетцем в том же письме, — как бы нас не оторвали от России; в последние дни начали поговаривать об опасности, грозящей П[етрограду], даже большевицкие газеты»<sup>29</sup>.

Ни положение, ни настроение Каринского к концу зимы 1918–1919 гг. не изменились. «Я сижу в квартире один, и должен заботиться о всем сам, — писал он Соболевскому 15 февраля 1919 г., — таскаю и пилю дрова, топлю печи, готовлю обед и, кроме того, с сокращением товарного движения приходится очень много ходить пешком и притом спешить. Это отражается неблагоприятно на сердце». Однако можно отметить, что и Каринский находил возможность как-то приспособиться к новым условиям существования «несчастного профессора». Он некоторых успехах в этом деле он также писал Соболевскому: «Сидел долго в темноте с лампадкой и не мог целый месяц заниматься вечером. Теперь добыл 1½ фунта керосину, но надолго ли? В комнате у меня было очень холодно, даже ниже нуля, но теперь и с этим злом справился»<sup>30</sup>.

К концу зимы и в начале весны все более мрачным становилось настроение Шахматова. 20 февраля 1919 г. ученый писал Зеленину: «Совершенно нравственно я уничтожен всем тем, что вокруг нас совершается. Вы, вероятно, перенесли немало тяжелого. [...] Цены неве-

роятно высоки. Заниматься приходится немного, благодаря отсутствию прислуги и хозяйственным заботам. Сижу над синтакт[ическими] вопросами»<sup>31</sup>. Вскоре само существование в сложившихся условиях и тем более возможность продолжать занятия наукой уже представлялись ученому почти невыносимыми. «Здесь, — сообщал он Перетцу третьего марта 1919 г., — очень тяжело в продовольственном отношении. Работать трудно, иной раз кажется, почти невозможно. Рассчитываю на лето, когда будет тепло и не придется топить печей. В Отделении собираемся редко. Н. К. Никольский перенес сыпной тиф. Сегодня он был в заседании после долгого перерыва». И тем не менее ученый сообщал Перетцу: «Буду сидеть упорно в П[етрограде]»<sup>32</sup>.

Даже большие заработки не могли поколебать общего уныния 46-летнего Каринского, продолжавшего жаловаться своему учителю Соболевскому, достигшему 63-летнего возраста, считавшегося уже в то время очень почтенным, «стариковским». «Жить очень тяжело, — писал 28 февраля 1919 г. Каринский, — хотя, благодаря громадному количеству занятий, получаю много керенок. Впереди трудно ждать какого-нибудь улучшения. Продовольственный вопрос в Петрограде все усложняется. Трамваи почти не ходят»<sup>33</sup>. В отличие от своего ученика сам Соболевский держался весьма бодро. Следует отметить, что жизнь в Москве принципиально от петроградской не отличалась, тем не менее в письмах Соболевского мы никогда не встретим прямых жалоб на жизненные невзгоды и какую-либо психологическую угнетенность. Как всегда с легким оптимизмом он сообщал 5 мая 1919 г. Шахматову: «После святой в М[оскве] питание стало получше. Печенный хлеб появился на разных рынках, особенно на Сухаревском], цену 15–25 р[ублей] ф[унт]. Так же свободно продаются разные масла, сала, селедки. Тяжело, но с керенками в кармане жить можно»<sup>34</sup>.

Но не только старшее поколение страдало от житейских невзгод. Как отмечал тот же Каринский в письме Соболевскому 24 марта: «Молодежь хочет работать, но, к сожалению, условия голодной и холодной жизни этому препятствуют»<sup>35</sup>. Но и условия жизни в провинции стремительно ухудшались, и свое письмо Соболевскому ученый заканчивал на очень тревожной ноте: «Сейчас получил телеграмму из Вятки о болезни детей и отсутствии средств у семьи. Спешно еду в Вятку»<sup>36</sup>.

С переходом той или иной части страны под контроль советской власти возобновлялось и почтовое общение научного сообщества. Но не только это несла с собой новая власть. Она внедряла свои методы управления и хозяйственной жизнью, и высшей школой. Если в начале января 1919 г. немецкие войска покинули Харьков, то уже к концу февраля в университете начались реформы, причем под «реформами»

прежде всего понималось увольнение старой профессуры. Зеленин в подробнейшем письме от 25 февраля Соболевскому описывал все стороны новой жизни. В частности, он сообщал о тех, кто поставлен руководить реформой: «Комиссия „под председательством тов. Наркома просвещения Назарова“; в комиссии этой ч[еловек]к 10 студентов-коммунистов, 3 — ч[еловек]ка профессора из приглашенных лично наркомом (естественники: Синцов, Юр. Корпун и Л. О. Струве) и отдел высшей школы комисариата. В основу положен московский декрет, но будут кое-какие изменения. Перевыборы будут назначены, но пока еще никто не уволен, даже и профессор богословия числится на службе, читая вместо богословия „историю этики“. (На меня декрет об увольнении не должен распространяться, т[ак] к[ак] я служу менее 10 лет)<sup>37</sup>. Новая власть занялась и жилищной политикой, в связи с чем Зеленин сообщал Соболевскому: «...нашему дому — одному из самых больших в Харькове, грозят реквизицией»<sup>38</sup>. Еще одну сторону деятельности властей Зеленин отмечал в следующем письме Соболевскому от 6 марта. Он выражал надежду на улучшение жизни в столице: «Думаю, впрочем, что у Вас в Москве теперь вопросы питания разрешаются легче: от нас все вывозят в Москву»<sup>39</sup>.

Ответные письма Соболевского Зеленину регулярно и внимательно просматривались цензурой, вымарывалось все подозрительное, но качество подобной работы оставляло желать лучшего. Зеленин, информируя Соболевского 31 марта о том, что его письмо «лежало около недели в Московской цензуре», отмечал, что «около трети письма замазано тушью (по сравнению с прежней „икрой“ теперешняя тушь никуда не годится и своей цели не достигает)»<sup>40</sup>. Сообщения ученого в этом же письме о результатах начавшейся реформы в университете свидетельствовали о начале чистки. «А. С. Вязигина, — писал он, — власти удаляют, за прошлое, из всех высших учебных заведений»<sup>41</sup>. Дала себя знать и раскручивавшаяся инфляция, и прежде всего Зеленин писал о том товаре, который был самым важным в зимнее время: «...пуд дров (здесь уже давно дрова продают на вес) стоит 15 рубл[ей], причем в нагорные части города возчики не везут совсем. Дороговизна растет не по дням, а по часам»<sup>42</sup>. Реформа продолжала приносить свои плоды, количество уволенных росло, в их число попал и известный славист Погодин. Как писал 14 апреля Зеленин: «Проф. А. С. Вязигин, А. Л. Погодин и медик Анфимов уволены; первоначально Вязигина уволили из народного у[ниверсите]та, потом — по просьбе студентов — вернули; теперь вновь»<sup>43</sup>. Университетское сообщество еще могло оказывать некоторое сопротивление действиям властей и было способно поддерживать уволенных коллег. Как отмечал Зеленин: «Правда, всех пострадавших у нас спасает профессиональный союз

преподавателей высшей школы („академический“), который взимает на то от 5 до 15% общего содержания каждого»<sup>44</sup>. Тем не менее для некоторых из ученых, в частности для Погодина, эти увольнения были началом пути в эмиграцию.

Зеленин и в мае 1919 г. продолжал сообщать Соболевскому все новости харьковского быта и университетской жизни, а также свежие новости из недавно занятой советскими войсками Одессы. Ученый отмечал 4 мая, что власти установили новые оклады, и «высший оклад 2400 р[ублей] в месяц, жить на этот оклад пока можно, несмотря на всю дороговизну, которая продолжает расти». «В Одессе, — продолжал Зеленин, — комиссаром просвещения, проф[ессором] Евгением Щепкиным, удалено 25 профессоров, из филологов — Добролюбский и Линниченко»<sup>45</sup>. К тому времени известный славист, член-корреспондент И. А. Линниченко уже 11 лет состоял заслуженным ординарным профессором Новороссийского университета.

Письма Соболевского рассеяли надежды Зеленина на улучшение положения в Москве, которые он выражал в марте («от нас все вывозят в Москву»). «Сравнивая указанные Вами московские цены с нашими, харьковскими, — писал ученый 12 мая, — скажу, что у нас продукты, пока что, в два раза дешевле: хлеб 8–11 р[ублей] фунт, сало 35–45, колбаса 30–50 р[ублей]. Большое оскудение у нас на сахар и на все сладкое. Классовый паек обещают ввести на днях». К лету разница между Харьковом и Москвой только увеличилась. «Судя по словам приезжих москвичей, — писал Зеленин Соболевскому 3 июня, — у Вас обстоит дело с продовольствием много хуже нашего»<sup>46</sup>. Установление советской власти обернулось в Харькове и другими напастями для имущих элементов, к которым относились и профессора. «Недавно, — сетовал Зеленин 12 мая, — у нас постановлено: выселять всех из больших и удобных домов в подвалы и лачуги рабочих, а этих последних поселить в прежние жилища буржуев. Приходится жить, ежедневно ожидая выселения; вследствие этого нельзя никуда выехать»<sup>47</sup>.

Наступившая весна принесла некоторое сокращение бытовых проблем для Шахматова, и все же в его письме одному из своих провинциальных корреспондентов, Н. А. Бобровникову, от 19 апреля 1919 г., полному всевозможных научных планов, проскальзывают мрачные нотки: «Конечно, меня поразило и тронуло все то, что Вы сообщили мне о вотяках. Ах, если бы были силы, я бы половину их отдал изучению финского Поволжья. Но силы мои слабы. Вижу, что их надо экономизировать, пока я еще совсем не угас, работаю усиленно над русским синтаксисом и надеюсь в мае подготовить две статьи, посвященные синтакт[ическим] вопросам. Затем хотелось бы окончить свою работу по выяснению литер[атурного] состава нашего летописания

вообще. Нам улыбнулось теперь весеннее солнце; это сократило мои домашние заботы по колке дров и топке печей; у меня стало больше времени»<sup>48</sup>.

Евсеева, крупнейшего библейста, весной 1919 г. волновали совсем не научные проблемы. Он уже жил интересами сельского хозяина. В письме Соболевскому от 19 мая ученый сообщал: «Я занят посевом ярового поля. Необычайно трудно в это время добывать рабочих и орудия. Даже более: нет уверенности, что семена для посева не будут отняты, а дойдут до пашни. Больше половины земли в уезде не запахивается: нет лошадей, семян и нет уверенности в устойчивости порядка»<sup>49</sup>.

Некоторые ученые, такие, например, как Кондаков, весной 1919 г., при исчезновении линии фронта, отделявшей их от центра, мечтали вернуться в Петроград. Кондаков, обращаясь 20 мая к Шахматову, как главе ОРЯС, писал: «Одесса вступила вновь в почтовые сношения с севером вот уже несколько дней, и я решаюсь заявить Вам о некоторых своих нуждах, на тот случай, если мне все же придется приехать еще весною в Петроград, как на то я рассчитывал». Ученый очень беспокоился за сохранность при возможном переезде своих рукописей («пять больших томов in 4°»)<sup>50</sup>. «Я уже писал в прошлом году С. Ф. Ольденбургу, — сообщал Кондаков, — прося его помочь мне через властей вывезти все же материалы, хотя бы исходатайствовав мне разрешение на покупку 3 мест или купе, где таковые имеются. Ответа не получил, — письмо, вероятно, не дошло»<sup>51</sup>. Ученый очень рассчитывал и на скорейшее оформление своего официального положения представителя Академии наук. «Вторая просьба моя, — писал Кондаков, — касается собственно моего заштатного положения. Нельзя ли мне получить от Отделения командировку на юг и в среднюю Россию, хотя бы до сентября месяца, чтобы мне можно было предъявить извещение Отделения или формальную справку, ныне необходимую для проезда куда бы то ни было»<sup>52</sup>. Не пугали ученого и неизбежные при возвращении бытовые и продовольственные трудности. Он еще раз подчеркивал: «Лично я желаю особенно попасть домой в Петроград, но не нахожу к тому никаких способов. Конечно, я знаю все обстоятельства современной жизни там, но и здесь дороговизна растет чрезвычайно и скоро, быть может, сравняется с Петербургом»<sup>53</sup>. Последнее обстоятельство, по-видимому, стало результатом экономической политики новых властей. Отмеченная Кондаковым тенденция лишь набирала силу. В письме Шахматову от 5 июля 1919 г. он с явной теплотой вспоминал свою жизнь в досоветской Одессе: «Здесь нам жилось сравнительно лучше, чем в Крыму: есть библиотека, я читаю здесь в Университете курс иконописи и приватно курс по Ренессансу,

затем по продовольствию было гораздо обильнее и дешевле, чем в Ялте. Но теперь, уже больше месяца, мы находимся здесь в худших условиях, и дороговизна уже подходит к московским размерам»<sup>54</sup>.

Надежда на улучшение условий жизни в Петрограде с наступлением весны и особенно лета не оправдалась, физическое, моральное и материальное положение Шахматова продолжало ухудшаться. «Я в отчаянии от себя самого, оттого, — писал ученый Перетцу 21 июня 1919 г., — что работа у меня не движется, не спорится. Оправдываю себя той тревогой, которая живет во мне, как и в других. Никаких не хватает средств к существованию, помимо общей тревоги за родину»<sup>55</sup>. Уже в разгаре лета Шахматов с отчаянием думал о зиме. На своем примере он обрисовал Перетцу петроградские перспективы: «Совсем не знаю, как даже мне — при казенной квартире — придется перенести в Петрограде будущую зиму. Отсутствие топлива и пищи может поставить нас в безвыходное положение»<sup>56</sup>. Можно отметить, что мысли о том, как пережить следующую зиму, посещали не только Шахматова. И другие академики, особенно те, кто собирался переместиться в Петроград, прежде всего, интересовались дровами. Кондаков в уже упоминавшемся письме от 5 июля прямоставил этот вопрос перед Шахматовым: «Если случится написать, будьте любезны написать, можно ли надеяться на запас дров в здании Ак[адемии] Наук на будущую зиму. У нас самая тяжелая дороговизна дров: за пуд 80 руб. Почти исключительные богачи еще топят у себя плиты и держат хозяйство, а для  $\frac{9}{10}$  это уже немыслимо»<sup>57</sup>. Интересовавшая ученого проблема отпала сама собой через месяц, в августе Одесса была занята войсками Белой армии, а в 1920 г. Кондаков выехал из Одессы в Константинополь. На Перетца письма Шахматова, а также и других коллег, произвели сильное впечатление. Одним из информаторов ученого о жизни в Петрограде был и его ученик С. Д. Балухатый, о чем свидетельствует письмо ученого Никольскому от 11 июля 1919 г. «Читаю, — писал Перетц, — что Вы ухитряетесь во время страшной голодовки — работать! Мой питомец, Балухатый, сбежавший в Самару из Питера, рассказывал, что там все заняты мыслью — получать, числясь номинально в разн[ых] местах — и приобретать за бешеные деньги продукты, и работа — научная — стоит, или только имеет видимость существования»<sup>58</sup>.

Перетц полагал, что проблему дров в Самаре будет решить легче. «Если бы Вы знали, — писал он далее Никольскому, — как мне хочется в Питер, — но даже самый ярый оптимист, мнение которого я всегда ценил и ценю — и тот пишет мне, чтобы я сидел смирно в Самаре, потому что еще неизвестно, что ждет питерцев зимою. У нас — тоже все дорого. Дров — нет. Надеемся на то, что отведена площадь леса, и

мы будем сами ее разделять. Думаю, что все же учреждению дадут хоть сотни две сажень и мы, живущие на казенных квартирах, прокрипим. В Питере я был бы вынужден замерзнуть в моей кв[артире], а академической — не дают». Заканчивая письмо, ученый еще раз подытожил: «Но я не способен к передвиж[ению] при нынешних обстоятельствах и буду сидеть в Самаре»<sup>59</sup>. Подтверждением правильности решения, принятого Перетцем, могут служить два письма к нему Шахматова, написанные в августе. Первое, от 4-го числа, переполненное эмоциями, демонстрировало крайнюю степень отчаяния ученого. «Хорошего у меня мало, — писал Шахматов. — Чувствую, что лечу в пропасть. Наделал долгов, долгов невылазных. Понабрал денег под работу и т. д. Выхода не вижу. О баснословных наших ценах Вы, конечно, знаете. Зиму мы вспоминаем с вожделением»<sup>60</sup>. Второе, от 26 августа, более спокойное, но также констатировавшее невыносимые условия существования большого семейства ученого («...нас в семье восемь человек. Где же возможность мобилизовать такую семью?»<sup>61</sup>) и уверенно подтверждавшее почти безнадежную перспективу. «Здесь очень тяжело в продовольственном отношении, — писал ученый, — мы продаем все, что можем, делаем долги, я забираюсь авансами в одной издательской фирме. Но зато мы у себя, никто не стесняет. Правда, в виду зима без дров, а м[ожет] б[ыть] без света. Но то же грозит и Вам в Самаре»<sup>62</sup>.

Не менее тяжела была жизнь и ученых, пытавшихся прокормиться сельским трудом. Жизнь в провинции грозила возможностью попасть в зону боевых действий. Евсеев сообщал Соболевскому 2 августа 1919 г.: «С июля я был оторван от всего мира. Белые из Пскова вели наступление на Порхов, дошли до самого города, были вер[стах] в 5, но потом почему-то отступили; все это время не было никакой почты, никакого сообщения с миром. [...] Сейчас белые отстоят от города верст на 15–10, слышна постоянная пальба, идет движение на ст[анцию] Дно, а оттуда на Бологое». «Ввиду затяжного характера гражданской войны, — продолжал ученый, — приходится больше, чем следовало бы, заботиться о насущном хлебе. Я это время сеял, косил, возил навоз, пахал — одним словом обеспечивал себе продовольствие натурою. Рабочих нет, какие есть — никуда не годятся — петроградские рабочие, не лучше меня и требуют 150 р[ублей] в сутки, кроме содержания, к[о]т[о]рое тоже стоит 100–150 р[ублей] [...] Очень хотелось бы более нормальной работы, но жизненные условия призывают запросы и привязывают к обыденной суete»<sup>63</sup>.

Если Шахматов и надеялся весной, что члены Отделения и его комиссий будут возвращаться в Петроград и жизнь Отделения оживится, то летом эти надежды полностью развеялись. На содержание

Академии наук выделялись достаточно скромные средства. Как отмечал Шахматов в письме Перетцу 1 октября 1919 г., «бюджет Отделения увеличился не на много, а жизнь в ее стоимости в 100 раз». Отсутствием достаточных финансовых средств объяснялись и некоторые новшества в Академии. «Теперь, — писал Шахматов, — все сметы производятся персонально и Вы в смете на 2-е полугодие 1919 года не были названы в числе академиков. Далеко не согласен со всеми этими новыми порядками, но их завела высшая власть»<sup>64</sup>. Это значило, что Перетц вновь не будет получать академического оклада. Надо отметить, что, уезжая в Самару, ученый оформил себе командировку, которая закончилась в конце 1918 г. Активная деятельность Перетца в Самаре по организации высшего образования и спасению культурных ценностей побудила Самарский отдел народного образования ходатайствовать перед Академией наук о продлении ему командировки. Но, как с чувством обиды писал Перетц Истрину 14 июня 1920 г.: «Ответ был такой: О[бщее] Собр[ание] лишило меня содержания»<sup>65</sup>. В том же письме от 1 октября Шахматов сетовал и на то, что и его материальное положение чрезвычайно сложное. «Чтобы содержать семью, — отмечал ученый, — здесь нужны колоссальные средства. Как продержусь зиму, не предвижу»<sup>66</sup>. Не хватало денег и ученым, имевшим собственное хозяйство, как Евсеев. «Служба моя нужна для поддержания семейства, — писал он Соболевскому 26 октября 1919 г., — и я намереваюсь устроиться в Пскове, в Педагогический Институт; затруднение состоит только в том, что в Пскове голодно, и я не могу переехать туда с семейством: семейство по-прежнему останется в Порхове и частью в деревне». «Но, вместо всех этих возможностей устроиться, — писал он, — я лучше занялся бы работой по Библейской Комиссии, подготовкой к изданию библейских текстов»<sup>67</sup>. Академия не могла финансировать работу своих комиссий, поэтому и о любимой работе Евсеев мог только мечтать.

Новая зима, как и ожидалось, принесла все ту же тягостную проблему дров и в Петрограде, и в провинции. Шахматов жаловался Д. Н. Ушакову в письме от 11 января 1920 г.: «Работаю урывками. Много времени отнимают у меня дрова: мне пришлось доставлять их, пилить и колоть — все это в ущерб научным занятиям»<sup>68</sup>. Перетц в это же самое время, 12 января, писал Истрину: «Страдаем от отсутствия топлива; я совсем истратился на дрова. В продаже — 1 сажень 4800–5000 рублей самые плохие (смесь), а жалов[анье] в месяц у меня 3400 рублей. Вот и кручуся. Все же (утрата текста. — M. P.) работать понемногу, что совершенно, видимо, невозможно в Питере. Здесь — были бы деньги — продукты питания найдутся. Но заработка достать трудно. И хоть некоторые „профессора“ получают по 15 и более ты-

сяч, но это доля умеющих втирать очки безграмотным людям. С совестью на это не всякий пойдет»<sup>69</sup>.

К борьбе с холодом власти добавляли ученым дополнительные хлопоты. О новой напасти Шахматов писал 27 января 1920 г. Зеленину: «Мы одно время жили в большой тревоге; нашу квартиру хотели занять войсками; веци были частью переправлены к соседям. Все это вносило тревогу в нашу жизнь и способствовало разным упущениям и недоделкам»<sup>70</sup>. Необходимость каждодневно бороться за выживание отнимала у Шахматова время, которое он предназначал для выполнения своего любимого дела и высокого долга — научной работы. Такое положение его угнетало, и он даже считал необходимым оправдываться перед коллегами. «Тяжело очень живется — вот мое оправдание, — писал Шахматов 1 февраля 1920 г. Перетцу, — в особенности тяжело теперь, когда приходится уделять много времени домашним заботам, точнее носке, пилке и колке дров. Нам стали отпускать не пиленные дрова — большие клячи, которые приходится дома пилить при помощи всего семейства. Вот это отнимает ежедневно много времени и не дает возможности сколько-нибудь сосредотачиваться на работе; впрочем, теперь и в комнатах температура сильно понизилась и, кажется, не поднимается выше 4°; пальцы холодают, и писать трудно»<sup>71</sup>.

Приближалось окончание зимы, но никаких видимых улучшений не происходило, напротив, холод оставался самой острой проблемой. «Топить комнаты мы не можем, — писал Шахматов Зеленину 21 февраля, — дров хватает только на кухню и на комнату рядом с кухней; в остальных комнатах температура держится на 3–4°. Радуюсь и этому; во многих квартирах температура пала ниже 0°. Теперь все-таки мы ободрились: дело идет к весне. Но что же будет дальше? Неужели опять повторится такая же зима? Заниматься очень трудно; одно время я совсем было отился от работы за ноской, колкой, пилкой дров и другими хозяйственными заботами. Теперь я на положении больного (у меня кашель и насморк), пришлось, или лучше удалось, временно заменить себя — и я несколько вздохнул. Сижу над составлением синтаксиса литературной речи»<sup>72</sup>. Зима 1919–1920 гг. оказалась не только последней, но и самой тяжелой в жизни Шахматова, для семьи ученого она началась трагически. В том же письме от 1 февраля ученый с нескрываемой тревогой извещал Перетца: «В довершение наших бед у нас начались смерти и болезни. В декабре скончалась старушка тетя, заменившая мне мать, словом бабушка, как ее называли дети. С грустью проводили мы ее в могилу. А сейчас больна сестра, младшая сестра: болезнь не определяется, а температура держится между 38 и 40. Мы, все петроградские, так напуганы смертельными исходами, что боимся того, что, не смерть ли стучится к нам опять.

Вот и вся моя повесть»<sup>73</sup>. Очень скоро страхи Шахматова оправдались. Через три недели, 21 февраля он писал Зеленину: «Получил оба Ваши письма. Засиделся с ответом, так как у меня как раз случилось большое горе: скончалась, по-видимому, от сыпного тифа сестра моя. Обе сестры живут в последнее время с нами. Раньше, в декабре, я лишился своей тети-матери, правда, глубокой старушки. Но бодрой и сильной. И тетю, и сестру сломили тяжелые условия, в которых приходится жить»<sup>74</sup>. Об этом новом несчастье Шахматов сообщил и Перетцу 27 февраля: «Я в тревоге за семейство. О смерти бабушки я Вам писал. Две недели тому назад скончалась моя вторая сестра, Ольга Александровна. [...] Очень ослабла жена и младшая дочь. Ждем, не дождемся, наступления тепла, весенней погоды»<sup>75</sup>. Еще через несколько дней, 3 марта, Шахматов разъяснял Кони, до которого дошли сведения о смерти одной из сестер ученого: «Но скончалась не Евгения Алекс[андровна] (Масальская. — M.P.), как Вы думаете, а наша младшая сестра Ольга Алекс[андровна]. Е. А. живет с нами и делит с нами горе и невзгоды нынешнего времени. Страшно думать о том, как безжалостно косит смерть кругом нас людей, когда же будет предел нашим бедствиям и страданиям несчастного русского народа!»<sup>76</sup>

Бедственное положение всего ученого сословия заставило власти предпринять ряд мер к улучшению его материального положения. Еще в конце декабря 1919 г. Совнарком принял декрет «Об улучшении положения научных специалистов»<sup>77</sup>, была создана Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). «В январе 1920 г. постановлением Петроградского Совета была образована подобная комиссия в Петрограде (Петрокубу) и, наконец, в августе 1921 г. была создана Московская комиссия (Москубу)»<sup>78</sup>. Введение специальных продовольственных пайков для научных работников несколько облегчило жизнь ученых. Но с их появлением у Шахматова возникали и новые тревоги, и новые проблемы. В уже упоминавшемся письме Зеленину от 21 февраля 1920 г. он отмечал: «Сильно поддержали нашу братию ученые пайки, о которых Вы, может быть, читали. Но теперь идет агитация против этих пайков, и мы не знаем, уцелеют ли они»<sup>79</sup>. И о том же через неделю, 27 февраля — в письме Перетцу: «Как Вы знаете, наше положение сильно улучшилось благодаря ученому пайку — особенно положение малосемейных; но, с другой стороны, возросли все цены»<sup>80</sup>. О состоянии цен можно судить по очень подробным письмам Соболевского. Ученый, внимательно следивший и тщательно фиксировавший московские цены на основные продукты, сообщал свои наблюдения коллегам в разных городах страны, ожидая с их стороны такой же информации. Итак, 11 февраля Соболевский писал Перетцу: «Дорогов[изна] не по дням, а по часам растет. Хлеб пе-

ч[еный] черн[ый] до 260 р[ублей] — ф[унт]. Масло конопл[яное] — 1500 р[ублей] ф[унт]. Свиное сало до 2500 р[ублей] ф[унт]. Рубаха ситцев[ая] до 2000 р[ублей] шт[ука]. Жалованье растет медленно»<sup>81</sup>. Самому Соболевскому о ситуации на северо-западе 3 марта писал Евсеев: «Цена на хлеб в Порхове — 5 тыс[яч] р[ублей] пуд. На деньги нет охотников продавать: требуют соль, табак, мануфактуру»<sup>82</sup>. Зеленин 4 марта информировал ученого о харьковских ценах: «хлеб черный 40–60 руб[лей] ф[унт], белый 80–100, картофель 20 рубл[ей] фунт и т. д.». В том же письме Зеленин сообщал: «Профессора живут тем, что продают ордена, — и я в первый раз пожалел, что не имею никаких орденов, а многочисленные полученные мною медали продавал в свое время, тотчас по получении. [...] Один раз только профессорам выдали по  $3\frac{1}{2}$  ф[унта] черного хлеба по 4 р[убля] фунт, это был т[ак] называемый „паек“»<sup>83</sup>. Столь наглядная разница цен со всей очевидностью свидетельствует, сколь важно было получение «академического» пайка. Но подобные благодеяния властей случались нечасто. Как писал Соболевскому Зеленин в середине мая 1920 г.: «Ни пайка, ни хлеба не получаем, только выдали по 2 ф[унта] „пасхальной“ муки»<sup>84</sup>. К тому же получение пайка могло быть связано и с особым расположением или нерасположением властей. В связи с такой возможностью Харлампович интересовался у Соболевского 4 июня 1920 г.: «А правда ли, что в М[оск]ве проф[ессорский] паек получают не все профессора, а только наиболее почтенные ... в политич[еском] смысле? Так сказал нашему делегату М. Н. Покровский»<sup>85</sup>.

Вопрос о возможности дополнительных заработков представителями академической науки в сложившихся условиях стоял очень остро. Соболевский поддерживал и пропагандировал идею Московского археологического общества по созданию специального словаря. Вскоре после того, как Одесса была в начале февраля вновь занята советскими войсками, ученый писал Ляпунову: «Момент благоприятный: все крайне нуждаются в заработка и хватаются за всякую работу. Гонорар поднялся так, что даже перешел за 4 т[ысячи] р[ублей] печ[атный] лист; говорят, правительство издаст его уже обещает 7 т[ысяч] р[ублей] за п[ечатный] л[ист] за труды по его заказу (не политич[еского] содержания) с выдачею крупн[ых] авансов. Значит теперь на р[усском] археолог[ическом] словаре можно хорошо заработать. Если правительство удовлетворит ходатайство Арх[еологического] О[бщества] и выдаст ему первый раз миллиона 2 р[ублей]»<sup>86</sup>.

Весьма любопытно, какими критериями некоторые ученые старались пользоваться для определения достойной оплаты за словарную работу. На предложение Соболевского принять участие в этой работе Евсеев отвечал 26 марта 1920 г.: «Русский Археол[огический] Слово

варь — предприятие в[есьма] желательное, но трудно осуществимое. Насколько возможна теперь ученая работа? Ваше предложение воз-высить оплату научной работы как нельзя более справедливо. И пропор-цию ставок можно установить применительно к рабочим ставкам. У меня перед глазами такая пропорция: за пастуха в лето в Каменке за 20 коров уплачивалось ранее 10–15 руб[лей] при готовой одежде и содержании, теперь при таких условиях нужно уплатить (хлебом) 100 тыс[яч]»<sup>87</sup>.

Весной же 1920 г. над почти сельским московским домиком, при-надлежавшим Соболевскому, нависла угроза конфискации. Об этом знал Евсеев и сам как деревенский домохозяин пытался как-то под-держать Соболевского. Он писал 3 марта: «Очень сочувствую Вам в Вашем положении обреченного на выселение домохозяина»<sup>88</sup>. В сле-дующем письме от 26 марта Евсеев вновь обращался к той же пробле-ме: «Надеюсь, что напасть на Ваш дом минует Вас с нынешней вес-ной»<sup>89</sup>. Но сам Соболевский эту угрозу переносил stoически. Ему предсталилась возможность описать и состояние своего дома, и свой быт Ляпунову. «Мы опять граждане одного государства, — писал Со-болевский 19 апреля, — и хотя почта теперь не та, что прежде, но все сношения между нами при ее посредстве возможны: и вот я злоупот-ребляю ею и Вашим терпением, чтобы сказать два слова о Москве и москвичах и о себе»<sup>90</sup>. Замечание о том, что «почта теперь не та», ока-залось на удивление верным. Как свидетельствует пометка, сделанная на письме Ляпуновым: «Получено в Одессе 18/31 июля 1920».

Итак, ученый сообщал о своем доме: «Мои владения без заборов, без ворот и т. п. В саду резвится соседская молодежь, 5–17 лет. У са-раев все замки давно сбиты, и мне приходится хранить все, даже ста-рые доски, в квартире, почему квартира имеет вид скорее склада à la Плюшкин, чем профессорского кабинета». Описывая не без иронии свое здоровье и свои занятия, в том числе и абсолютно несвойствен-ные академику, Соболевский не сетовал на такую жизнь. «Я порядком одряхлел (64-й год идет!), — писал ученый, — ноги работают лениво, уши слабеют, но чувствую себя бодрым и работаю в множестве (вер-но!) направлений: пилю, рублю, копаю, покупаю, продаю, делаю док-лады, пишу, читаю и т. д. Когда был снег, возил на санках всякие тя-жести. Питание обычное для москвичей, в основании которого ржа-ной хлеб и теплая вода, прибавьте жиров, немного сахара, некоторое количество капусты, морковь, свекла. Не все москвичи так питают-ся...»<sup>91</sup> Небезынтересно сопоставить сведения из письма Соболевско-го с фрагментами текста некролога, помещенного в эмигрантской па-рижской газете, описывавшими этот период жизни ученого. Автор некролога сообщал: «Ему приходилось самому ходить на базар с кор-зинкой в поисках припасов, носить книги из дома на далекую Мохово-

вую в университетскую библиотеку, подметать улицу и воевать с беспризорными, которые наводняли его садик, после того, как заборы были расхватаны „на дрова“. Рядом был „детдом“, и дети часто приходили к „дедушке“, влезали к нему на колени и мешали заниматься, зная, что „дедушка“ их обласкает и пожалеет»<sup>92</sup>.

Сам Соболевский живо интересовался судьбой коллег. «Наверное, — спрашивал он Ляпунова, — Вы видитесь с Н. П. Кондаковым]. Прошу передать ему от меня поклон. Если бы Вы мне черкнули несколько строк о себе, Н. П. и вообще об Одессе], я бы был Вам очень благодарен». Будучи очень деятельной натурой с широкими интересами (Соболевский собирал плакаты и афиши<sup>93</sup>, читал лекции по истории моды<sup>94</sup>), ученый предлагал Ляпунову организовать нечто подобное. Кроме чисто научного интереса, предлагаемое дело могло представлять и некоторый материальный интерес. «Прошу иметь в виду, — информировал Соболевский, — что б[иблиоте]ки Публ[ичная] в П[етро]гр[аде], Рум[янцевская] и Ист[орический] Муз[ей] в М[оскве] не имеют почти ничего из Одесской печати за время разделения единой России на части и потому покупают газеты, брошюры, афиши, все. Не имеете ли подходящих в данном случае людей между своих знакомых?»<sup>95</sup>

Соболевский информировал Ляпунова не только о жизни в Москве. «Из П[етро]гр[ада], — писал он, — имею достаточно известий. Живется там хуже, чем в Москве». Касался он и вопроса очень важного для членов Академии, покинувших Петроград: «Недавно б[ыли] в Москве Симони и Н. П. Лихачев, сегодня я получил письмо от А. А. Ш[ахмато]ва. Никто не пеняет мне, что я остаюсь еще в М[оскве], и не приглашают вернуться»<sup>96</sup>. В связи с этим отметим, что у Соболевского в Петрограде формально еще была квартира, хотя ее действительный статус был уже не очень ясен. Еще 1 февраля 1920 г. Шахматов писал Перетцу: «Встревожены за квартиру и библиотеку Соболевского, которым грозит опасность, в нее уже вселили какую-то женщину»<sup>97</sup>. О серьезных потерях, которые понесла его библиотека, Соболевский писал 31 июля Перетцу, интересовавшемуся редкими изданиями: «Я здесь не имею, можно сказать, ничего подходящего. В П[етер]б[урге] есть, но моя п[етер]б[ургская] б[иблиоте]ка очень пострадала: искали в ней неизвестные люди денег или % бумаг и рвали»<sup>98</sup>. И даже Соболевского, который, возможно, мог бы еще отстоять права на квартиру, уже перестали активно приглашать переехать в Петроград. А ведь еще совсем нездолго до этого, 27 февраля, Шахматов все-таки считал, что жизнь в Петрограде улучшится, и писал Перетцу: «Не смею советовать, легко ошибиться. Но мне кажется, что в мае Вам бы следовало вернуться сюда»<sup>99</sup>. В апреле ученый уже не призывал Перетца вернуться. Перечисляя в письме от 22-го числа

всевозможные трудности, он все-таки отмечал: «Но во всяком случае в Петрограде пока очень нетрудно найти хороший заработок, так что кормиться можно»<sup>100</sup>.

Наступившая весна не оправдала тех надежд, которые возлагал на ее наступление Шахматов, его самочувствие не улучшилось. Ему уже не хватало сил для того, чтобы чаще навещать близких ему людей. «Как давно, — писал Шахматов Кони 10 мая 1920 г., — я не был у Вас и не видел Вас! — Чувствую такую физическую и моральную придавленность, что совсем теряю энергию»<sup>101</sup>. У Шахматова уже не было сил принять очень выгодное предложение саратовских коллег Н. К. Пиксанова и Б. М. Соколова, стремившихся ему помочь и приглашавших приехать уже в июне. Пиксанов писал 1 июня 1920 г. от имени всего факультета: «...мы рады были прослушать любой из Ваших курсов (историки наши, например, высказывались за курс по летописям). [...] Нам думалось, что Вы могли бы соединить свой приезд в Саратов с заездом к себе на родину. О Вашем же испомещении с продовольствием в Саратове мы уж позаботились бы»<sup>102</sup>.

Перетц к середине лета 1920 г. полностью определился с тем, где он будет зимовать в следующем году. В письме Истрину от 14 июня он объяснял и причины своего решения и живописал свой быт в Самаре. «Я получил Ваше письмо, — сообщал он Истрину, — пораздумал и вижу, что, пожалуй, в Питере будет слишком тяжело жить. Об этом я уже написал А. А. Шахматову. Без квартиры в 1-м или 2-м этаже я пропаду: с больным сердцем на 5-й этаж таскать дрова я положительно не в силах. Да и будут ли дрова? Придется еще раз перезимовать в Самаре, хоть жизнь здесь и не особенно сладка: барышни (В. П. Адрианова и С. А. Щеглова. — M. P.) стряпают, я — делаю уборку комнат, даже сегодня стирал и совсем не хуже китайцев, кот[орые] этим промышляют и берут громадные деньги, что нам не по средствам»<sup>103</sup>. С правильностью сделанного Перетцем выбора был вынужден согласиться и Шахматов. «Итак, — писал ученый в Самару 24 июля, — нам опять придется прожить год без Вас. Милюсь вполне с Вашим решением, так как действительно условия нашей жизни не улучшаются. Боюсь только, что и Самара не дает Вам элементарных условий покойного существования». В этом же письме Шахматов отмечал: «В Казани условия жизни тяжелее, гораздо тяжелее наших. Хорошо, что Вы туда не поехали»<sup>104</sup>. Это было последнее письмо, написанное Шахматовым Перетцу, ему оставалось жить три недели.

По-видимому, летом возобновились попытки членов ОРЯС побудить Соболевского к возвращению в Петроград. Этот вопрос со всеми связанными с этим академическими проблемами стал предметом переписки Соболевского с Истриным. Возвращение тесно увязывалось с

продолжением получения жалованья академика. На это Соболевский довольно спокойно сообщал Истрину 4 июля: «...так как вопрос об академическом жалованье – вопрос уже старый, то ответ у меня готов. Я могу обойтись теперь без академического жалованья. Я обставляю себя в М[оскве] так, чтобы можно было безопасно просуществовать на моск[овские] доходы. Прошу не заключать из этих слов, что я не хочу бывать в П[етрограде]. Нет, я был бы очень рад наезжать в П[етроград], видеться с Вами и вообще знакомыми; но для порядочного человека хождение за разрешениями и стояние часами в передних так тяжело... Я умалчиваю о многом другом». Ученый предпочитал оставаться в уже знакомой ему обстановке, чтобы легче перенести предполагавшиеся им в будущем неприятности, связанные скорее всего с правами на его дом. «Пока, – писал он, – в М[оскве] живется мне сносно. Жду ударов осенью или раннею зимой. Имею их в виду и принимаю меры, чтобы эти удары не были слишком тяжелы». Не преминул Соболевский путем несложных расчетов продемонстрировать Истрину всю мизерность, по его мнению, той суммы, о которой шла речь. «Рубль у нас так пал, – констатировал ученый, – что – по моему определенно, а la Ключевский – 1 т[ысяча] р[ублей] по покупной способности равна недавним 6 медным копейкам. Значит, 7 т[ысяч] р[ублей] = 42 мед[ным] коп[еекам]. Есть из-за чего рисковать!» К вопросу о стоимости рубля Соболевский возвращался и в письме Ляпунову от 22 августа: «Но теперь беда с рублем, в М[оскве] он упал до силы прежних 5 коп[еек], в П[етрограде] еще ниже»<sup>105</sup>. Тем не менее Соболевского не оставлял присущий ему оптимизм. Завершая письмо, Истрину, он писал: «Надеюсь на лучшее будущее и рассчитываю дожить до возвращения на жительство в П[етроград] и закончить начатые работы»<sup>106</sup>.

В следующем письме Истрину от 21 июля Соболевский более подробно, предельно открыто и по-деловому разъяснял свою позицию как в отношении жалованья, так и в вопросе о Петрограде. «Вы не совсем меня поняли, – объяснял ученый. – Я не интересуюсь академическим жалованьем = бумажками, мне нужна натура, и я уже говорю о валенках и калошах с теми, кому нужна моя работа». Относительно своих перспектив работы в ОРЯС он также прямо и с некоторым сарказмом писал: «Если бы в Академии Н[аук] вообще и в нашем Отделении в частности было дело, я бы охотно приехал в П[етроград], и теперь, в нач[але] сентября, я сделаю попытку приехать, похожу, постою, попрошу и повру». Так как к этому времени его квартирный вопрос был разрешен окончательно, Соболевский прямо объявлял Истрину свои пожелания: «Мне хотелось бы быть командированным из М[осквы] и воспользоваться даровым или дешевым номером в П[ет-

ро]градской гостинице и готовым обедом. На карточки я не могу расчитывать. Моя квартира захвачена, и мне некуда приехать кроме гостиницы. Я не привык злоупотреблять добротою своих знакомых и в хорошее время; а теперь, в период всяких лишений никому не до гостеприимства». «Итак, — примирительно завершал свой пассаж ученый, — я рассчитываю свидеться с Вами и поболтать на какие угодно Вам темы»<sup>107</sup>. Соболевский в постскриптуме добавлял: «Ввиду обстановки нашего времени, я думаю, можно поставить в Ак[адемии] Н[аук] два вопроса». Первый вопрос касался перспектив издательской деятельности Академии, а вот второй был посвящен мерам поддержания жизненных сил академиков ОРЯС. Ученый предлагал: «2) не просить ли продовольствия на заседания Ак[адемии] и ее отдел[ений], по смете вроде следующей: нашему Отд[елению] на 5 членов два раза в месяц по  $\frac{1}{2}$  ф[унта] муки на члена, по  $\frac{1}{4}$  кофе, по  $\frac{1}{4}$  сах[ара] или карамели? В М[оскве] есть нечто подобное. Слушатели рабоч[его] Ф[акультета] в М[осковском] ун[иверсите]те получают после лекций „ужин“». Все эти предложения были очень актуальны, возможности обеспечить себя продовольствием продолжали уменьшаться. «Частн[ая] торгов[ля] в М[оскве], — писал ученый, — сокращена. Охотн[ого] Ряда почти не существует: палатки снесены, лавки заперты, остаются только мальчишки с папиросами и табак»<sup>108</sup>.

Несмотря на такое количество выдвинутых условий и предложений, Соболевский действительно собирался посетить Петроград, о чем он и писал Перетцу в конце того же месяца. Единственной побуждающей причиной к поездке для него был призыв товарищей. «Собираюсь, — сообщал он 31 июля, — в П[етер]б[ург] на 1-ое заседание общ[его] собр[ания] и отделения. Там живется еще хуже, чем в М[оскве], и потому я заживаться не намерен. Но желание Ш[ахмато]ва, П[альмо]ва и И[стри]на (все трое меня заклинают приехать!) я хочу исполнить, если не явится на дороге какая force major»<sup>109</sup>.

О начале колебания государственной политики в деревне и все ухудшившихся условиях жизни в ней Соболевскому летом 1920 г. писал Евсеев. Новые шаги властей явно свидетельствовали о кризисном состоянии всего сельского хозяйства. Так, Евсеев с некоторым удивлением сообщал Соболевскому 7 июля: «В Уземотделе получено распоряжение о восстановлении мелкой собственности — до 60 дес[ятин] в тех хозяйствах, где хозяева не пользовались чужим трудом. Уземотдел не знает, как применить этот закон, столь явно противоречащий всей прежней земельной политике прав[ительст]ва. [...] Ожидают возможных волнений, ожидают и дальнейших шагов в деле восстановления собственности»<sup>110</sup>. Очевидно, что прежде всего Евсеева волновали не вполне ясные виды на урожай. «Если не будет дождей, — с беспокой-

ством писал ученый, — то яровые не удастся, как не удались травы. Все-таки урожаем ржи мы будем обеспечены». Но была и еще одна материальная проблема, относившаяся скорее к сфере духовной жизни. «В церквях мы страдаем от недостачи свечей, ладана, вина и масла. Не будете ли добры узнать, есть ли это в Москве и по какой цене уступается», — интересовался Евсеев. Начинала волновать ученого и национальная политика новой власти. «Брат мой в Казани, — сообщал он Соболевскому. — Пишет, что там теперь новая татарская власть (республика) и неизвестно, что ожидает там русскую интеллигенцию»<sup>111</sup>.

Надо полагать, что возможностью покупки церковных свечей заинтересовался и Соболевский. В следующем письме от 18 июля Евсеев разъяснял ситуацию: «Церк[овных] свечей мы хотели бы добыть из М[осквы], а не снабжать ими М[оскву]. В порядке законном их не добывать, [...] приходится добывать через спекуляцию, фунт св[ечей] продавался по 1 пуду хлеба, теперь фунт стоит  $1\frac{1}{2}$  пуда, или в тыс[ячах] р[ублей] называют уже цену и 10 тыс[яч] р[ублей] за фунт...»<sup>112</sup> В этом же письме ученый вновь обращался к видам на урожай и действиям властей, на этот раз конфискационным: «Я жну рожь и убираю сено. Рожь хороша, урожай травы плохой, яровое ниже среднего. Скот отбирают, оставляют по едокам 1 корову на 3 человека, наша земля останется без удобрения и будет родить все меньше и меньше — будущее не радует»<sup>113</sup>. Прошло менее десяти дней, и вновь Евсеев писал Соболевскому, на этот раз в основном о падении нравов в деревне. «Хочу поделиться с Вами, — сетовал ученый 27 июля, — непосредственными впечатлениями деревенской жизни. Я убираю рожь и сено. Оставлять на ночь в поле бабки \* ржи или копны сена нельзя: за ночь увезут или рожь обмолотят. Не стесняются высказывать принципы звериной этики: „нынче, что урвал у другого, то и твое, то и слава Богу“. У моей знакомой обмолотили за ночь 18 бабок ржи (= 18 пуд[ам]), у меня выкосили покоса возов на пять, увезли из лесу  $\frac{1}{2}$  куб[ических] с[аженей] дров». И все это происходит на фоне неудержимого и нелогичного роста цен на хлеб. «Цена на хлеб не понижается, а повышается, — отмечал Евсеев, — перед урожаем цена пуда хлеба была 4 тыс[ячи], теперь [...] — 7 тыс[яч] — 8 тыс[яч] р[ублей] 1 пуд, это в Порхове, в Пскове 1 п[уд] = 12 тыс[яч] р[ублей]. Переживаем какой-то всеобщий [ирзб.] и разграбление»<sup>114</sup>.

Если цены росли на продовольствие в сельских областях, то в городах инфляция имела галопирующий характер. Торговля как таковая все больше приобретала характер натурального обмена. Как писал

\* Бабка — несколько составленных хлебных снопов на жнивье.

Соболевский Перетцу 8 августа: «Покупка у частных лиц становится все труднее и труднее. Продают лишь те, кому сейчас нужны деньги — бумажки. У кого они есть, тот придерживает товар. Падение рубля идет с феноменальной быстротой. Сегодня на рынке печ[еный] хлеб 500 р[ублей], завтра он уже 550–600; за хлебом сейчас же поднимается все, от свеклы до бумажного конверта»<sup>115</sup>. Но не только забота о пропитании волновала Соболевского, ученый уже порядком поизносился, о чем свидетельствовало и его желание получить вместо денег калоши. В письме Перетцу ученый прямо указывал на эту проблему, которая мешала ему попытаться улучшить свое материальное положение чтением лекций в провинции. Соболевский, как правило, никогда не жаловался, но здесь он откровенно сетовал: «Меня зовут на гастроли. Поехал бы на месяц-другой, но становится передо мной остро и больно вопрос об обуви и вообще об условиях переезда. Теперь все трудно — даже добраться до вокзала...»<sup>116</sup> Кстати, в это же время, 10 августа Зеленин сообщал Соболевскому о ценах харьковских: «Картофель у нас 100 руб[лей] фунт, хлеб доходит до 500 р[ублей] фунт (черн[ый])»<sup>117</sup>. Нетрудно заметить, что цены на хлеб в Харькове, ранее гораздо более благополучном, практически достигли московских, т. е. и там стало так же плохо, как и в центре страны.

В письме Ляпунову от 28 августа Соболевский вновь остановился на возможности получить работу в провинции. В это время в Москве был Е. Ф. Карский, хлопотавший об организации университета в Минске, при этом он приглашал в Белоруссию и ученых из Москвы. «Но, — как отмечал Соболевский, — конкуренция великая, зовут в Воронеж (бывший] Юр[ьевский] ун[иверсите]т) и в Нижний, и в Астрахань». Однако большинство предложений не казались ученому привлекательными. Как вполне достойный ученым оценивался только Воронежский университет, «ну, а все другие многочисленные новые ун[иверситеты] слабы даже по обеспечению провиантом своих профессоров». В этом же письме Соболевский делился с Ляпуновым сведениями о положении дел в той же провинции, в которой «местами не принимают никаких денег нового выпуска, требуя мануфактуры, платья и т. п.»<sup>118</sup>. Но и о положении дел в Московском университете ученого мнение было достаточно пессимистичным. «Впрочем, — констатировал он, — нельзя ждать ничего похожего на нормальную жизнь. Вероятно, опять не будет отопления»<sup>119</sup>.

О трудностях существования профессора в провинции сообщал Перетцу 24 августа его старый друг А. И. Яцимирский, живший в Ростове-на-Дону. Некоторые обстоятельства его жизни были столь очевидны, что он даже не хотел их обсуждать: «О дорожевизне писать не хочется». Однако совсем уйти от этой темы ученый не мог: «...забочусь

о домашнем хозяйстве и распределяю вещи для продажи: иначе нельзя существовать даже при тройном жалованье»<sup>120</sup>.

Вообще же о своем состоянии к лету 1920 г. ученый сообщал Петретцу: «Здоровьем сдал сильно, не столько от скудости питания и необходимости предоставлять все лучшее семье, сколько от потрясений во время перемен власти, а главное — от ужасных бомбардировок города. Снаряды ложились около нашего дома, у меня разбиты окна, мы живем недалеко от Дона на горе. Я буквально не переношу выстрелов и, если, не дай Бог, еще случится подобное, умру от разрыва сердца. Но вообще чувствую себя бодро»<sup>121</sup>. Однако полуголодное состояние хотя и стало привычным, все-таки было для Яцимирского тягостным. Поэтому сообщения о чьей-то сырой жизни вызывали у него особое внимание. «Получил письмо от сестры из бессар[абской] губ[ернии], — писал ученый, — совсем иной мир, роскошно живут, ни в чем недостатка нет. Даже странным показалось»<sup>122</sup>.

Евсеев и в августе снабжал Соболевского информацией о состоянии дел в деревне, и прежде всего о видах на урожай, новой посевной и ценах на сельхозпродукты. «Я убираю рожь, — сообщал ученый 20 августа, — чувствую, что обеспечен хлебом на год. Яровое плохо, выгорело, картофель маска. Все-таки и при моем семействе прожить можно. Цены не прояснились, но рожь называют от 8–10 т[ысяч] пуд, яйца 1200–1500 дес[яток], масло 2500 р[ублей] ф[унт], картошка в Пскове 4000 р[ублей] пуд». Касался Евсеев и проблемы, столь сильно беспокоившей Соболевского: «Кожи нет. Сырые кожи есть в народе, но дубить их нельзя: на сов[етских] заводах они обращаются в казенную собственность, в частных заводах их конфискуют. С обувью дело плохо»<sup>123</sup>. Очень болезненны были для Евсеева потери, которые он терпел от всеобщего внедрения в жизнь тех «принципов звериной этики», о которых он писал Соболевскому 27 июля. «Донимают кражи, — сетовал ученый. — Зимой украли у меня одиночный плуг, 6/VIII — парный. Купить их теперь нельзя. Парный еще зимой стоил 15 пуд[ов] хлеба, теперь потребуют не менее 30 п[удов]...»<sup>124</sup> Но все заботы Евсеева о хлебе насущном не отрывали его полностью от работы в Библейской комиссии Академии наук, для которой он планировал выкроить время. Ученый знал о намерении Соболевского посетить Петроград и к тому же времени старался приурочить и свой приезд. «Я, — сообщал он, — в Вашем присутствии, хочу устроить заседание Библ[ейской] Комиссии, доложить, что сделано в ней за 2 последних года, что можно было бы сделать в будущем, чтобы не прекращать традиций Комиссии». В другом месте письма он вновь возвращался к своему плану и уточнял: «Теперь я занят уборкой ярового и посевом озимого. Как только кончу эти работы, так направлюсь в Петроград на месяц»<sup>125</sup>.

Что касается Петрограда, то Соболевский выполнил свое обещание коллегам по ОРЯС и после очень долгого перерыва в сентябре посетил этот город. Своими впечатлениями он не преминул поделиться с Ляпуновым. Надо отметить, что впечатления эти были тяжелыми. «Нельзя на всем Невском получить стакана воды, — сообщал ученый 18 сентября 1920 г. — овощи, не входящие — кроме картоф[еля] — в состав пайка, — продаются только как контрабанда тайком по квартирам. Приходится их искать; что же говорить о „нормированных продуктах“ как мука, сахар, масло?! Недоедание у большинства; чувствуют себя сносно лишь те, кто один получает и потребляет все сам»<sup>126</sup>. Если раньше Соболевский передавал сведения о петроградской жизни, опираясь на сведения, полученные от коллег, то здесь он увидел все своими глазами. «Говорю как очевидец, — подчеркивал Соболевский. — Я лишь несколько дней назад вернулся из [Петро]града]. Пробыл там больше недели, и хотя имел все данные для достаточного питания и благополучной жизни, все же уехал в некотором страхе за близких. Город порядком опустел, оставшиеся очень часто ставят вопрос: куда уехать? Вопрос праздный, потому что если сейчас можно еще уехать, — завтра будет поздно»<sup>127</sup>.

О положении в Москве Соболевский также не мог сообщить ничего утешительного. Основная характеристика сводилась к короткой фразе — «настроение — унылое». Перспективы продовольственного рынка вызывали беспокойство ученого. Об этом он, как всегда подробно, писал Ляпунову: «Предстоящая зима не обещает ничего хорошего. А угроза потерять совсем свободную торговлю грозит большинству москвичей голодом. Теперь еще действ[ует] три больш[их] рынка и ряд меньших магазинов, но цены высокие, а тогда предстоит разыскивать продукты и платить еще дороже. Теперь картоф[ель] 170–190 ф[унт], кап[уста] 130–140, морк[овь] 130–150, яблоки до 600 р[ублей] ф[унт]. Муки, круп, сахара мало. Рафинад 4500 ф[унт], с[ахарный] песок 3000»<sup>128</sup>. О судьбе одного из своих учеников Соболевский мог сообщить только давно устаревшую информацию. «Н. М. Каринский уже давно в Вятке со всей семьей, — писал ученый, — уехал от голода и холода, больной; я от него уже полгода не имею вестей». Вся действительность наводила Соболевского на безрадостные философские размышления: «Мы присутствуем при интересных событиях для будущего историка, которые, однако, страшны для наблюдающего свидетеля»<sup>129</sup>.

В конце лета и начале осени 1920 г. ОРЯС лишилось нескольких академиков. Поэтому новый председательствующий в Отделении Истриин начал активно хлопотать о возвращении в Петроград Перетца. Но зима была уже слишком близко, и Перетц не переменил своего

решения зимовать в Самаре. «Если бы не предстоящая прелест таскания на 5-й этаж дров (да и будут ли еще они), — откровенно писал он Истрину 17 октября, — я бы немедля вернулся. Но как подумаю, что мне нужно 18 сажень достать, да перетаскать самому — страх берет. Здесь я обойдусь 8-ю, да и таскать всего на 2-й этаж с половиной»<sup>130</sup>. Ученому явно не стало хватать средств для поддержания существования, и он очень рассчитывал на те небольшие гонорары, которые мог получить из академических изданий. Он просил 23 ноября Истрину: «... будьте любезны, вышлите деньги: очень нужно — нет древ»<sup>131</sup>. Вскоре Перетц уже очень настойчиво повторил свою просьбу, для убедительности снабдив письмо подробной информацией не только о цене дров, но и о стоимости продовольствия, не преминул он пожаловаться и на положение с заработной платой. Ученый писал Истрину 2 декабря: «Дрова у нас стоят 30–40 тыс[яч] сажень (хорошие), плохие — 25 тыс[яч], но денег нет. Оч[ень] прошу, устройте мне высылку гонорара за старые работы. Цены: сахар — 7000 р[ублей] ф[унт], молоко 650 р[ублей] бут[ылка], хлеб „белый“ — 450–500 р[ублей] ф[унт], мука пшеничн[ая] серая 20 тыс[яч] пуд, а жалов[анье] — 60% нормы!»<sup>132</sup>

**«Можно посыпать: сухари, лапшу.  
Сало, крупы и муки — нельзя»**

Не было в рассматриваемый нами период никого из представителей научной элиты, кто бы не страдал от голода, холода и болезней. Однако степень жизненных испытаний была различна. Всеобщее обнищание и разорение не сразу стало одинаковым для всей России. Переносить жизненные невзгоды вдали от столиц, в районах сельскохозяйственных, особенно на юге, было легче. Жизнь в центре, особенно в Петрограде, не могла не вызывать у более благополучно устроившихся ученых желания деятельной помощи своим коллегам. Бедствовавшие петроградцы сами вначале обращались за помощью. Так, 20 февраля 1919 г. А. А. Шахматов писал в Харьков Д. К. Зеленину: «В продовольственном отношении здесь очень и очень тяжело. Разумеется, если бы Вы разрешили, я послал бы Вам денег и просил бы выслать или сала, или колбас, или еще чего-нибудь съедобного. Семейство мое составляет семь человек, и мы одно время бедствовали. В последние две недели стало легче. Кое-кто вспомнил нас»<sup>133</sup>. У Зеленина действительно в это время еще были возможности что-либо посыпать коллегам. Советская власть пришла в Харьков в начале января 1919 г. и еще не успела расстроить торговлю. Зеленин 6 марта сообщал А. И. Соболевскому: «На днях (4 марта) мне удалось послать

Вам посыпочку (вес  $14\frac{1}{2}$  ф[унта], страховка 100 р[ублей], немножко сала и порошок сухарный): прошу принять от меня в память наших лучших отношений. В нашей посыпочной конторе творится нечто невообразимое: громадные очереди; к тому же продукты, которые можно посыпать, исчезли из продажи, и вряд ли мне удастся послать Вам еще что-нибудь, тем более что у нас скоро будет введен классовый паек»<sup>134</sup>.

В начале мая Зеленин сообщал Соболевскому об ужесточении правил отправки посылок. Судя по его словам, власти стремились за счет граждан и их посылок решать и собственные продовольственные проблемы. «Главное — то, — объяснял Зеленин в письме от 4 мая, — что содержание посылок будут досматривать на месте получения, причем всё не по правилам посланное конфисковать, с преданием отправителя под суд; а получателю все полученное вносится в продовольственный паспорт, и эта отметка липнет на известное время права получать провизию по карточкам»<sup>135</sup>. Зеленин, отправляя очередную посылку и сообщая о стремительном росте цен на продовольствие, предупреждал 3 июня Соболевского: «...к тому же, завтра предстоит новый декрет о посылках, после коего посыпать уже не придется»<sup>136</sup>. Более полугода Харьков был вновь отрезан от центра страны, только в конце июля 1919 г. он вновь был занят красными войсками. К зиме и Зеленин смог продолжить свою помощь Соболевскому. «Очень рад, — писал он 4 марта 1920 г., — что Вы получили мою посылку. Хорошо я сделал, что поторопился с нею: за последнее время у нас цены на все возросли вдруг неимоверно»<sup>137</sup>.

Большую активность в организации посылок проявил и В. Н. Перетц. К этому делу он привлек и членов своего Семинария. Первым, кому он направил помошь, даже не уведомив о посылке, был Шахматов, который в ответ писал 7 марта 1919 г.: «Ваше внимание очень меня тронуло. Благодарю за первую посылку, я не имел оснований думать, что она послана Вами, и благодарил Е. А. Рыхлика; благодарю теперь за вторую, как дорогое ее содержание для нас, изнуждавшихся в масле и в жирах. Передайте, пожалуйста, мою признательность Варваре Павловне за ее хлопоты по упаковке и отправке». Как человека чрезвычайно деликатного, Шахматова смущало положение только принимающего помошь. Поэтому он обращался к Перетцу с предложением: «Мне было бы очень приятно, если бы Вы сообщили мне, сколько Вам стоили обе посылки; мне не хочется, чтобы Вы тратили на меня деньги, которых у Вас теперь немного; у меня же деньги есть, но беда в том, что здесь на них не купишь того, что нужно. Мы пока держимся и не очень слабеем, но боюсь, что настанет кризис»<sup>138</sup>. Помощь была столь своевременной, что через три дня, 11 марта Шахматов вновь выражал свою глубокую признательность Перетцу: «Еще

раз благодарю за посылку. Содержание, особенно масло для нас было большим подспорьем. Мы собираем укладки и вышлем Вам, но мне очень неловко, что вы на меня тратите деньги. Как узнаю, что установилась опять пересылка (временно прекратилось доставление сюда посылок), позволю себе выслать Вам деньги»<sup>139</sup>.

Не всегда, однако, старания помогавших увенчивались успехом: работа почты оставляла желать лучшего. Так, 4 мая Шахматов извещал Перетца: «Живется нам всем очень тяжело. Но думаю, у вас в Самаре еще тяжелее. Посылка, о которой Вы писали в последнем письме, еще не получена»<sup>140</sup>. Наконец, ближе к середине мая, посылка дошла. «Вчера получил Вашу посылку с куличами. Очень и очень благодарю за доброе внимание и сердечное отношение», — писал Шахматов. Но особой радости она не доставила: «К сожалению, куличи испорчены насквозь плесенью. За последнее время это участь содержания всех вообще посылок вследствие продолжительности нахождения в сырых складах, где они ждут очереди разборки. Очень Вас прошу, не утруждайте более себя. Мы кое-как перебиваемся и перебьемся. Как Вы догадываетесь, положение за последнее время стало еще хуже, подвоз сократился»<sup>141</sup>. Шахматова очень смущало, что жизнь в Самаре тоже нелегка, но уговорить Перетца ему не удавалось. Он вновь обращался к Перетцу 21 июня: «Очень прошу больше не посыпать. У Вас дороговизна страшная, как я отовсюду слышу»<sup>142</sup>.

С наступлением зимы 1919–1920 г. Перетц продолжил свою деятельность. В письме В. М. Истрину 12 января 1920 г. он подробно описывал свои возможности и условия отправки посылок. «Как получил Ваше письмо, — сообщал ученый, — послал Вам, что мог: хлеб. И тогда же уведомил Вас, как и раньше писал Ал[ексею] Ал[ександровичу] (Шахматову. — *M. P.*), что смогу посыпать Вам нечто при условии, если Вы и Е[вгения] С[амсоновна] (Истрине. — *M. P.*) вышлете ящичек со вложением общивки (какой-нибудь материи) и веревки. Здесь этого нет». В Самаре, судя по письму ученого, были установлены еще более драконовские ограничения и запреты, чем те, о которых Зеленин писал Соболевскому. «Можно посыпать: сухари, лапшу, — писал перетц. — Сало, крупы и муки — нельзя, отбирают или выбрасывают на почте из ящика; а если кто пропрет обманом и попадается — того в чрезвычайку»<sup>143</sup>.

Перетц не только сам старался помочь Шахматову, но и организовать помочь другим коллегам по ОРЯС. Так, 26 марта он уведомлял Н. К. Никольского: «Одновременно с этим письмом мои слушатели, поклонники Ваших трудов, Лукин и Пресман, посыпают Вам посыпичку с сухарями. Если на почте спросят, от кого ждете (это у нас залено, м[ожет] быть], и в Питере?), скажите, что от Пресмана из

Сам[ары]»<sup>144</sup>. Несколько позже, во время болезни, он поручил своей ученице С. А. Щегловой вновь организовать посылку Шахматову. Она и сообщала ученому 7 апреля 1920 г.: «Так как наши продовольственные карточки уже использованы для посылок, то по нашей просьбе отправляет Вам сухари студент Владимир Александрович Серафимов»<sup>145</sup>. Заметим попутно, что Соболевский посылки с сухарями считал не очень практичными и сам их получать не любил. Тому же Петретцу он объяснял 3 июля 1920 г.: «Гонорар я принимаю лапшою или кишишием, или — если не грязна — шепталою. Сухарей много гибнет в продолжител[ьном] пути от плесени»<sup>146</sup>. Можно предположить, что апрельская посылка с сухарями из Самары была последней в жизни Шахматова.

**«Мы, старики, спешим убраться  
из этой горькой юдоли нужды и горя»**

Все увеличивающиеся тяготы жизни стали самым губительным образом сказываться на науке: многие ученые, а среди них прежде всего достигшие почтенного возраста, начали болеть и умирать. Еще 30 августа 1918 г. В. М. Истрин делился с А. И. Соболевским слухами о смерти ряда известных ученых: «Ходят слухи о смерти Ник[одима] Павл[овича] (Кондакова. — M. P.) и Радлова. Последнего не жаль. А с Ник[одимом] Павл[овичем] расстаться очень жаль»<sup>147</sup>. Крупнейший языковед-турколог, этнограф В. В. Радлов, старейший член Академии и по возрасту (80 лет), и по стажу (34 года), скончался в мае 1918 г. Относительно же 73-летнего Н. П. Кондакова слухи были неверны.

С наступлением зимы трудности только возросли. Так, 15 февраля 1919 г. Н. М. Каринский сообщал Соболевскому: «Тяжелые обстоятельства жизни в Петрограде многих отправили в могилу, другие — тяжело больны; тяжело больны В. В. Латышев и Г. Э. Зенгер»<sup>148</sup>. Бывший министр народного просвещения в 1902–1904 гг., 66-летний профессор Зенгер состоял в это время на службе в Публичной библиотеке помощником библиотекаря. Самое живое участие в его судьбе принимал Е. В. Тарле, просивший своих коллег устроить Зенгера в Воронежский университет. Но, как отмечал в одном из писем конца еще 1918 г. Тарле: «Старик так изголодался и измучился, что как-то уже не верит, что выдержит переезд и переселение»<sup>149</sup>. В январе положение еще ухудшилось. Дело с местом в Воронеже разрешилось вполне благоприятно. Однако, как писал Тарле 1 января 1919 г.: «Жаль только, что старик совсем расхворался, оголодал, ослабел и ни физически, ни денежно тронуться с места не в состоянии. Его страшит до-

рога в Воронеж, он убежден, что не доедет живым. [...] Он с семьей днями ничего не ест и сидит в нетопленой квартире. Вообще несладко здесь живется. Голод и холод, холод и голод. Умер Фаминцин, Г. А. Лопатин, экономист Воронцов („В. В.“), ежедневно слышишь о новых и новых смертях от истощения. „Зима стоит еретическая“, как выражался покойник протопоп Аввакум»<sup>150</sup>.

19 февраля 1919 г. А. А. Шахматов сообщал своему ближайшему коллеге и товарищу В. Н. Перетцу: «Положение здесь очень тяжелое. Завтра хороним Лаппо-Данилевского. Серьезно захворали Латышев и Рыкачев. Вы правы, что здесь прямо-таки опасно для жизни. Работа идет, конечно, очень неспоро. Все не находишь времени из-за хозяйственных забот. Прислуги у нас нет, и мы только теперь, думаю, понимаем, какую сильную обузу с нас снимали „культурные“ условия прошлого времени»<sup>151</sup>.

С академиком А. С. Лаппо-Данилевским, крупнейшим специалистом по истории средневековой Руси и источникovedом, Шахматова связывали не только научные интересы, но и недолгая совместная политическая деятельность. Ровесники, они почти одновременно стали академиками, а в 1906 г. именно они были избраны членами Государственного совета от академической курии; также вместе, в знак протеста против разгона Думы, они вышли из него в 1907 г.<sup>152</sup>; входили в Центральный Комитет кадетской партии. Один из старейших членов Академии 79-летний геофизик М. А. Рыкачев умер в том же 1919 г. Филолог-классик, академик В. В. Латышев ненамного пережил Шахматова, он умер весной 1921 г.

В письме Шахматова Д. К. Зеленину, написанном на следующий день, 20 февраля, вновь звучит та же скорбная тема: «Едва ли Вы знаете о всех наших утратах. Умерли В. В. Радлов, Я. И. Смирнов, Ал. Лаппо-Данилевский»<sup>153</sup>. Как отмечал Тарле: «А. С. Лаппо-Данилевский умер больше от истощения, чем от нарыва»<sup>154</sup>. О потрясении, которое испытал Кондаков, только через несколько месяцев получивший известие о смерти своего любимого ученика, он писал Шахматову 20 мая 1919 г.: «Только на днях я узнал о кончине Я. И. Смирнова. Известие это столько же поразило, сколько огорчило меня. Итак, все начатые и задуманные им работы останутся неисполненными? Горько донельзя»<sup>155</sup>. Потеря для Кондакова была столь ощутимой, что вскоре он вновь обратился к этой теме. В письме Шахматову от 8 июня он сетовал: «Горько и прискорбно было для меня услышать о смерти Я. И. Смирнова. Это был, прежде всего, единственный мною вполне приготовленный ученик и, главное, настоящий ученый, полюбивший свой предмет и постоянно занимавшийся своим делом до полного выяснения. Увы, некоторые крайности его характера ускорили его смерть,

благодаря его болезненности. Мне понадобится опять читать в Университете, чтобы приготовить ученого археолога, по своему понятию»<sup>156</sup>.

Известия об уходе из жизни товарищей, коллег и знакомых присутствовали практически в каждом письме Шахматова зимы – весны 1919 г. Иногда он забывал о том, что уже ранее сам же извещал адресата о смерти кого-либо из коллег. Так, не прошло и двух недель, как ученый писал о смерти Лаппо-Данилевского Перетцу, но в письме от 3 марта 1919 г. он вновь повторял: «О смерти Лаппо-Данилевского Вы, конечно, знаете. Сегодня узнал о смерти Витберга»<sup>157</sup>. О Лаппо-Данилевском вспоминал Шахматов и в письме от 8 марта 1919 г. академику В. И. Вернадскому, возглавлявшему новосозданную Украинскую Академию наук: «Очень тяжело было провожать в могилу Лаппо-Данилевского»<sup>158</sup>.

Об общем плачевном положении ученых 24 марта Каринский писал Соболевскому: «В Петрограде многие слабеют от условий жизни. Очень постарел Платон Николаевич (Жукович. – *M. P.*). Иван Саввич (Пальмов. – *M. P.*) и Ив[ан] Афанасьевич (Бычков. – *M. P.*) выглядят много лучше. Очень плохой вид у проф. Введенского, Тураев в ужасном настроении и совершенно болен, хворает Н. К. Никольский, был в больнице (не знаю, вышел ли сейчас) Латышев, в больнице Зенгер. Вообще больных профессоров весьма много. Скончался Н. В. Волков»<sup>159</sup>. Зенгер умер летом 1919 г., как писал Тарле в конце июля: «Зенгер, говорят, умер от голода»<sup>160</sup>.

Судя по письму М. Г. Попруженко Соболевскому от 9 мая из Одессы, в провинции, оторванной от центра России военными действиями, возможно, ходили тревожные слухи о болезни или даже смерти Соболевского. В Одессе в апреле в очередной раз сменилась власть, ее вновь заняли советские войска, восстановилась работа почты. Письмо Попруженко явственно передает переполнявшие его чувства. Он благодарил Соболевского «за письмо от 10/24.IV», в котором, как он пишет: «С живейшей радостью я читал в общем благоприятные сведения, которые Вы сообщили о себе. Слава Богу! Письмо Ваше рассеяло слухи, которые доходили о Вас до меня и, конечно, сильно волновали меня. Будем верить и надеяться!» В остальном же положение в Одессе не особенно отличалось от столиц. Как констатировал Попруженко: «Работается плохо. Читаем лекции при незначительном числе студентов»<sup>161</sup>.

С приближением лета и настроение, и самочувствие Шахматова оставались неважными. В десятых числах мая он делился с Перетцем: «У нас все по-прежнему в Академии. Только что скончался Е. С. Федоров, избранный недавно академиком (бывший директор Горного института). Наступает каникулярное время. Я отказался читать лекции в следующем сезоне, несмотря на сопряженный с этим отказом материальный ущерб. Чувствую большую слабость и вместе с тем не-

обходимость закончить в рукописи несколько работ, что невозможно соединить с приготовлением к курсам»<sup>162</sup>. Тем не менее Шахматов не собирался покидать Петроград не только по соображениям материальным, но прежде всего из чувства долга. В письме Перетцу от 26 августа 1919 г., сообщая об очередной потере в рядах академиков — смерти правоведа, историка средневековой Руси М. А. Дьяконова, он писал: «...мне было бы совершенно невозможно оставить теперь Академию; ее учреждения нуждаются в особой заботливости; на мне, так или иначе, лежит библиотека. Знаете ли Вы о кончине Михаила Александровича? Нас здесь убывает, а дело остается ответственным. Вот по всем этим основаниям я решил держаться в П[етрограде] до последней возможности»<sup>163</sup>.

И наступивший 1920 г. не уменьшил смертности среди людей науки. Ученые продолжали обмениваться списками ушедших из жизни коллег. Вскоре после того, как Одесса окончательно перешла в конце зимы под контроль советской власти, Соболевский после длительного перерыва отправил Б. М. Ляпунову 19 апреля подробнейшее письмо о делах в столице. В начале письма он повествовал о потерях: «Прежде всего, о москвичах. Недавно похоронили мы Д. В. Цветаева, несколько раньше — Р. Ф. Брандта, А. И. Асмолова, Иловайского, Л. Лопатина (философа). Смертность в интеллиг[ентских] кругах большая, всего больше от недоедания и сыпного тифа, но — говорят — уменьшается, чему можно верить: вот уже скоро месяц, как у нас тепло. Квартиры обогрелись, и жить в них можно обычной жизнью»<sup>164</sup>.

Судя по письму К. В. Харламповича от 11 апреля 1920 г., даже поздравление с Пасхой Соболевский сопроводил подобной же информацией. Отвечая, Харлампович добавил и новое наблюдение: «С светлым праздником, как ни мрачна окружающая нас обстановка. Ваше последнее письмо полно известий о кончинах профессоров. Вечная им память! Пишите: „мы, старики, спешим убраться из этой горькой юдоли нужды и горя“ — но и молодые умирают». Чтобы отдать долг ушедшим, Харлампович решил посвятить специальный очерк умершему в Петрограде 12 декабря 1919 г. известному специалисту по истории Польши, Украины и Белоруссии П. Н. Жуковичу, который всего за год до этого был избран членом-корреспондентом. «Я лично после большого перерыва, — писал ученый, — засел за работу о П. Н. Ж[уковиче]. Оказывается, Марья Никодимовна никуда не выезжала, и П[латон] Н[иколаевич] умер у нее на руках»<sup>165</sup>. Реализация задуманного очерка затянулась на несколько лет. Только в конце апреля 1924 г. Харлампович сообщал Соболевскому: «Получив из Киева тамошние академ[ические] издания, я вспомнил о своем долге перед памятью моего дорогого учителя Платона Николаевича, некролог которого я

стал было готовить и забросил ввиду невозможности напечатать его в том объеме, который я хотел дать ему. [...] На мое предложение напечатать его в Укр[аинской] Акад[емии] наук последовало предложение прислать его... Вот я сейчас и сижу над ним»<sup>166</sup>. И только 12 июля того же года он сообщал Соболевскому о завершении своей работы: «Я послал недавно биографический очерк Пл. Н. Жуковика листа в 2 печатных. Обещают вскорости напечатать»<sup>167</sup>.

В 1920 г. начали терять интеллектуальную элиту и университеты, расположенные в более благоприятных в продовольственном и климатическом отношениях районах юга России и Украины. «У нас начали умирать профессора»<sup>168</sup>, — сообщал в мае 1920 г. Зеленин Соболевскому. Свое письмо учений сопровождал соответствующим обширным списком профессоров Харькова и Ростова-на-Дону. О некоторых ученых, судьбой которых интересовался Соболевский, Зеленин мог сообщить лишь свои предположения. И предположения эти шли в общем контексте письма: «О проф. Денисове и Вязигине точных сведений нет, но больше данных считать их мертвыми, а не живыми»<sup>169</sup>. Летом того же года вдруг возникли слухи и о смерти в Самаре Перетца<sup>170</sup>. К счастью, эти слухи оказались ложными. Однако во втором полугодии 1920 г. русская славистика понесла самые серьезные потери. С конца лета по начало зимы ОРЯС потеряло двух академиков и члена-корреспондента. За смертью в августе председательствовавшего в Отделении А. А. Шахматова последовали кончины В. Н. Щепкина, директора рукописного отдела Исторического музея, и академика И. С. Пальмова, специалиста по истории церкви.

Соболевский сообщал в одном из своих писем Ляпунову 11 декабря 1920 г.: «Моск[овская] жизнь не из веселых, но в других городах, сколь я могу судить, живут хуже, м[ежду] проч[им] в П[етро]гр[аде] И. С. Пальмов умер от того, что сам колол, пилил и — таскал на 3-ий эт[аж] дрова. Когда я б[ыл] в П[етро]гр[аде] — я останавливался у него. И уже тогда смотрел не без опасений на его заботы об отоплении. Кончилось разрывом сердца. А П[альмо]в б[ыл] человек еще крепкий, хотя и моих же лет»<sup>171</sup>. На Ляпунова эти сообщения произвели сильное впечатление, и 1 января 1921 г. он писал Истрину: «А. И. Соболевский в письмах ко мне опять сообщил скорбные вести: 29/XI в П[е]тр[ограде] скоропостижно скончался Ив[ан] Сав[ич] Пальмов, а 3/XII в М[оскве] В. Н. Щепкин, в Киеве умер С. Т. Голубев. [...] А. И. Соб[олевский] пишет, что со смертью Щепкина Москва совсем осталась без славистов, и что не с кем поговорить о сл[авянских] дел[ах]»<sup>172</sup>. О потерях и злоключениях в ученом сообществе Каринский писал Соболевскому 6 июня 1921 г.: «Из Петрограда мне пишут о смерти Бодуэна и Булича. Платонова помял трамвай, и он был в больнице»<sup>173</sup>.

Передававшаяся ученым информация прошла не через одни руки, наряду с достоверными сведениями она содержала и неподтвержденные слухи. Что касается живших в Петрограде ученых, то сведения соответствовали действительности, но И. А. Бодуэна де Куртенэ, вернувшегося в 1918 г. к себе на родину в Польшу, похоронить погоропились. Ученый еще почти десять лет до своей кончины в 1929 г. в возрасте 84 лет оставался профессором Варшавского университета. Можно лишь отметить, что появление подобных слухов вполне вписывалось в контекст эпохи.

Совершенно неожиданная смерть А. А. Шахматова в конце лета 1920 г. нанесла тяжелейший удар по всей филологической науке. Летом Шахматов лично руководил спасением и перевозкой ряда книжных собраний в Библиотеку Академии наук, а в начале августа консилиум врачей обнаружил ученого заболевание, требующее операции<sup>174</sup>. Через несколько дней после операции Шахматов скончался.

После кончины Шахматова много будет сказано о нем и о его роли в науке и общественной жизни на заседаниях его памяти в разных городах страны, будут и некрологи, и уже упоминавшийся нами специальный выпуск *Известий ОРЯС*. Но нам хотелось бы обратиться к тем документам, которые содержат самую первую, зачастую очень эмоциональную, реакцию на случившееся событие. Далее мы представляем слово дневнику Е. П. Казанович, сотрудницы Пушкинского Дома, «Записки о виденном и слышанном»<sup>175</sup>, ежедневные записи которой, полные опасений, надежд и горьких сетований, посвящены только событиям, связанным с болезнью, операцией и кончиной Шахматова. Итак:

«11/VIII. Сегодня Шахматова свезли в хирургическую клинику; кажется, у него заворот кишок и в 11 часов Оппель должен был делать ему операцию. До 4-х часов результат не был известен; все в тревоге.

12/VIII. Операция сошла благополучно. Н. А. Шахматова уехала в больницу в 9 часов утра и к 4-м еще не вернулась.

14/VIII. Положение Шахматова, по словам Истрина, пока не внушиает серьезных опасений, поскольку так можно говорить обо всех, ныне оперируемых. У него было внедрение кишок, вырезана какая-то опухоль, и, как говорят, вырезана чисто, так что распространения ее дальше можно не ожидать; температура слегка повышена, что доктора объясняют последствием всякой операции, сердце работает правильно. Многих осторожных людей, однако, эта опухоль заставляет сильно тревожиться. Да и сам Оппель не всем внушает доверие, очень хвалят Грекова, делавшего операцию Зиновьеву.

16/VIII. Кончено. Сегодня в 4 часа утра Шахматов скончался. Единственный и лучший представитель современной русской науки в

ее целом и редкий человек ушел из жизни. Это одна из тех смертей, с которой нельзя помириться и которой нельзя простить виновникам ее. Несчастная семья, бедные дети!..

18/VIII. Мысль о покойном ни на минуту не оставляет меня. Даже ночью вижу его во сне.

Шахматов был одним из тех немногих людей, которые стараются и в жизни, и во внимании их окружающих занимать как можно меньше места, и только смерть их раскрывает ту огромную пустоту, которую они после себя оставляют и которая как-то вдруг воспринимается всеми, с ними так или иначе соприкасавшимися. У Шахматова не было внешних друзей, п[отому] ч[то] жизнь его протекала скромно и уединенно от всех в очень несчастно сложившейся семейной обстановке; но зато были люди, его глубоко, почти благоговейно, любившие, и совсем не было таких, которые могли бы сказать об нем дурное слово, испытать в отношении к нему дурное чувство, так велика была нравственная чистота его и душевная глубина, которая невольно влияла на всех. Его скромность, его застенчивость, почти стыдливость, соединенная с сердечной добротой, готовность пойти навстречу вся кому, в нем нуждающемуся, его прямота, вместе с тем, и высокая честность, исключающие всякую фальшь в обращении с кем бы то ни было, пробуждали чувства особенной нежности, бережливости и неподдельного уважения к нему во всех; у него не могло быть, я думаю, врагов ни тайных, ни явных»<sup>176</sup>.

Коллеги и друзья Шахматова, по разным причинам не имевшие возможности почтить память покойного своим присутствием на похоронах, откликнулись на его смерть письмами Истрину, находившемуся, как мы видим, в центре событий. Никольский писал ему 18 августа 1920 г.: «Печальную весть, глубоко взволновавшую меня, я получил поздно вечером 16 августа. Всю ночь я провел без сна, вспоминая о дорогом, так безвременно почившем, Алексее Александровиче и об его беспримерных научных заслугах. Его кончину – в связи с этими заслугами я оцениваю – как безумное убийство, совершенное на глазах у всех. Но не стану усиливать наше горе тяжелыми мыслями. Они не вернут к жизни того, кому и я столь много лично обязан...» И далее: «Температура моя пока еще не понизилась, и я не имею даже утешения в надежде присутствовать при последних проводах Алексея Александровича, назначенных, как я узнал, на завтрашний день (20 августа). Вам, надеюсь, излишне мне описывать то мрачное и угнетенное состояние, в котором я в настоящее время поэтому нахожусь»<sup>177</sup>.

Еще более эмоционально выраженной была реакция Перетца, продолжавшего жить и работать в Самаре. Его письмо Истрину от 6 сентября 1920 г. вполне можно охарактеризовать как крик души. «Вернувшись в город из двухнедельной отлучки, – писал Перетц, – я

застал Вашу открытку и письмо А. Ив. Соболевского о смерти Алексея Александровича. Это известие поразило меня, как неожиданный удар грома. Я знал, как тяжело жилось А[лексею] А[лександровичу], знал, с каким терпением и упорством среди невероятных трудностей жизни он работал весь последний год. Но не ждал, что смерть стоит у его порога: мысль не обращалась к этому печальному исходу; все верилось как-то, что он превозможет житейские невзгоды и выйдет победителем из борьбы с ними. Судьба судила иначе. Отделение осиротело. Кто будет его председателем? [...] На кого падет библиотека? Кто довершит многочисленные и драгоценные работы А[лексея] А[лександровича] по синтаксису, по летописям, по другим вопросам, интересовавшим его? Умереть в разгаре творческой работы, в годы, когда европейский ученый только начинает подводить итоги работ! [...] А бесмысленная смерть сделала свое дело...

Придя в себя от удара, я в буквальном смысле плакал — от сознания бессилия исправить непоправимую потерю и от обиды за гибель такого человека. Шахматов — и „умер от истощения“: это — самый суровый приговор тем, кто допустил такое преступление против культуры и науки. Руки опускаются. Нет сил больше писать и думать. Мы все страшно угнетены.

12 в засед[ании] Истор[ико]-Филол[огического] Общ[ества] будем поминать А[лексея] А[лександровича] — бередить сердце; — но никакими словами не высказать то, что доставила (так в ркп. — *M.P.*) нас, меня и моих учеников, пережить эта ужасная гибель. Ведь мы все жили мыслью — вернуться в Питер и снова быть с ним. Передайте сотоварищам по Отделению, что мы все присоединяемся к общему горю<sup>178</sup>. Одним из существенных положений всех трех документов является прямое осуждение властей. Казанович писала, что смерть Шахматова «нельзя простить виновникам ее», Никольский оценивал этот факт «как безумное убийство, совершенное на глазах у всех», Перетц считал, что одна из основных причин трагического исхода операции — смерть «от истощения» — «самый суровый приговор тем, кто допустил такое преступление против культуры и науки». Можно смело предположить, что подобное мнение разделялось большинством друзей и коллег Шахматова, знавших, в каких экстремальных моральных и физических условиях ученый жил последние годы. Но в то время в печатных изданиях данные выводы появиться не могли.

Известие о смерти Шахматова постепенно достигало коллег, так же, как Перетц, живших в других городах или временно находившихся вне Петрограда. Так, Соболевский сообщал Ляпунову 22 августа: «Мой ответный отклик едва ли произведет на вас хорошее впечатление. 16/VIII в П[етро]гр[а]де, после операции в области кишок умер

А. А. Шахматов. Несколько ранее умер в Петрограде его сверстник академик Б. А. Тураев, только что занявший в Академии наук место В. В. Радлова (история Востока)»<sup>179</sup>.

Откликнулся и И. Е. Евсеев из Порхова. Когда ученый начинал свое письмо Соболевскому от 20 августа, он еще не знал о случившемся, ибо писал: «К сожалению, по-видимому, А. А. Шахматова не придется видеть на заседании [бблейской] К[омиссии] ввиду его болезни». А последней фразой письма было: «Я получил известие о смерти † А. А. Шахматова. Незаменимая потеря для русской науки и житейского положения ученых!..»<sup>180</sup>.

Сильнейшее впечатление кончина Шахматова произвела и на А. И. Яцимирского, который из Ростова-на-Дону 24 августа писал своему старому другу Перетцу: «Пишу Вам под тягостным, до боли, впечатлением кончины Алексея Александровича. Не хочется верить. Телеграмма в „Известиях“ ЦИК. Что за операция, после которой он умер? В последнем письме ко мне А[лексей] А[лександрович] жаловался на жизнь, на недомогание, на то, что он опустился, не увидит, не дождется завершения своих ученых работ, и т. д. В Петербурге, как нарочно, наиболее мне симпатичные люди, и ни с кем не хотел бы я видеться так, как с ним. А теперь там для меня пусто. Очаровательный человек, даже загадка: почему он во всем такой пресветлый, интересный, сотканный из флеров, подобный мечте. Вы знаете, что я всем был ему обязан, и не будь А[лексея] А[лександровича] и Павла Константиновича (Симони. — М.Р.), я ушел бы от науки навсегда. Жалко семью. Если что узнаете о его болезни, смерти, сообщите»<sup>181</sup>.

Узнав некоторые подробности, Соболевский делился ими с Ляпуновым 18 сентября: «Смерть Шахматова последовала от повреждения кишок, после того, как вырезана [большая] часть кишок. По-видимому, Шахматов в „надорвал живот“, таская дрова. Его жизнь в последнее время была нелегкая: он имел один паек при большом семействе, при плохом хозяйстве, и должен был везде — больше или меньше — работать сам. Теперь семья терпит нужду»<sup>182</sup>. Ко времени этого сообщения петроградские коллеги Шахматова уже предприняли ряд шагов для материальной поддержки семьи покойного. Они были вынуждены обратиться к тем, кого считали истинными виновниками смерти ученого. В этих хлопотах главную роль играл В. И. Срезневский, ближайший помощник Шахматова по работе в Библиотеке Академии наук. У Срезневского, как и у Шахматова, были собственные отношения с Бонч-Бруевичем, поставлявшим до 1917 г. на хранение в библиотеку нелегальные материалы РСДРП(б), отчего у обоих ученых возникали неприятности с властями<sup>183</sup>. Для передачи прошения была выбрана Казанович, совершенно естественно, что она описала

все связанное с этим событием в дневнике. Итак, 24 августа 1920 г. у нее появился «Срезневский с письмом к Бонч-Бруевичу о сохранении пайка Шахматовым. Очень рада. Во-первых, косвенно помогут семейству А[лексея] А[лександровича], а во-вторых — увижу Кремль хоть таким путем»<sup>184</sup>. В описании визита к управляющему делами Совнаркома, Бонч-Бруевичу, не могло не оказаться убеждение в том, что именно власти — главные виновники безвременной кончины Шахматова. Запись от 28 августа: «Толстый, разжиревший, с одутловатым лицом, на котором напечатлены интересы чувственной жизни, несмотря на объемистые исследования из области жизни духовной. Принял меня стоя, письма Срезневского почти не прочел, пожелав узнать суть его из моих слов, и затем сказал только быстро, что сделает все, что будет можно»<sup>185</sup>. Положительная реакция действительно последовала незамедлительно, и уже 1 сентября 1920 г. Казанович делает следующую запись в дневнике: «Срезневский говорит, со слов Б[онч]-Б[руевича], что Ленин схватился в ужасе за голову, когда услышал, что Шахматов сам таскал на лестницу и колол дрова»<sup>186</sup>. Именно то, что было самым тяжелым испытанием, лишило его возможности работать, больше всего отравляло его быт, заставляя ученого с ужасом думать о грядущей зиме задолго до ее наступления, произвело и на вождя новой власти сильное впечатление, но это уже были сожаления о безвозвратной утрате.

**«Академия влечит существование  
подобно „бедной, но благородной“ родственнице или приживалке»**

Окончание Гражданской войны не принесло облегчения для тех, кто сумел пережить невзгоды военного времени. Еще весной 1920 г. стало очевидно, что принимавшихся властями мер для поддержания ученых недостаточно, осенью С. Ф. Ольденбург специально обращался к В. Д. Бонч-Бруевичу с просьбой посодействовать в увеличении пайка для 280 сотрудников Академии наук<sup>187</sup>. «Несмотря на то, что академическому руководству с наступлением мирного времени удалось добиться у правительственные органов ряда положительных результатов, способствовавших выживанию науки, общее финансовое положение Академии оставалось крайне неудовлетворительным. Она продолжала финансироваться по расходным сметам Наркомпроса, а на финансирование нужд этого ведомства государство могло выделять лишь самые незначительные бюджетные ассигнования»<sup>188</sup>.

Первые послевоенные годы, напротив, только усугубили общее бедственное положение ученых. В конце 1920 г. руководство Акаде-

мии вновь было вынуждено отправиться на поклон в Москву. Е. П. Казанович сделала в связи с этим следующую запись в своем дневнике 8 декабря: «Вчера Ольденбург, Стеклов и Ферсман уехали в Москву с запиской Академии Наук в Совет Нар[одных] Комиссаров о гибельных для науки условиях нашей современной [действительности] и в частности – об убийственном положении рядовых работников науки. Все сказанное в ней совершенно справедливо, но мне не нравится, как записка составлена: с фактической стороны мало материала, а со стороны лиризма – мало силы и убедительности. В общем, я думаю, что ни к каким реальным результатам, улучшающим положение, она не приведет, и надо только желать, чтобы она не дала обратных результатов...»<sup>189</sup>. О результатах этой поездки 21 декабря Казанович записала следующее: «Академикам, ездившим в Москву с запиской, обещали много, если не все. Приняли их, говорят, очень любезно, выслушали очень внимательно, но к Ленину не допустили. Выйдет ли из этих обещаний что-нибудь, кроме слов, неизвестно»<sup>190</sup>.

Конечно, не все, но кое-что из обещанного все-таки получалось. Иногда система академических пайков была ощущимой даже в провинции. Б. М. Ляпунов писал 1 января 1921 г. В. М. Истрину: «Мы часто думаем, как живете Вы в Петрограде и переносите суровую зиму, и как здоровье ваше после тяжелых лет, проведенных в Серпухове и Петрограде до переезда в академическую квартиру. Надеюсь, что вас обеспечили и дровами, если даже здесь нас стали баловать пайками не только хлебными (по 3 р[убля] за 1 ф[унт]), мясными (по 22 р[убля] 50) и друг[ими], но и дровяными (выдали по 15 ф[унтов] на семью)». Но даже сам процесс получения столь желанного пайка мог оказаться делом, связанным с риском для здоровья особенно для людей немолодых (ученому шел уже шестой десяток), к тому же непривыкших к физическому труду. «Вот при получении пайковых дров, – сообщал Ляпунов, – со мною случилась небольшая беда: упал с подводы и, хотя жив, сломал себе ключицу правой руки, что несколько затрудняет писание, так как рука правая закручена бинтом и не может свободно двигаться»<sup>191</sup>.

О превратностях в распределении пайков, как и во всяком деле, связанном с распределением, Истрину писал в конце января А. И. Соболевский: «Кроме обычного ак[адемического] пайка, начал свое существование новый, усиленный ак[адемический] паек или семейный. Его получили Сакул[ин], упомян[утый] уже Кизев[еттер], Виппер, М. М. Покр[овский], Петруш[евский], люди не обремененные семьями». В этом же письме ученый сообщал и о московских ценах, которые «летят вверх, и фунт картофеля стоит уже 450–500 р[ублей], антон[овских] яблоков 2500 р[ублей] – 3500 р[ублей], ф[унт] сахара до

18000 р[ублей]. Не преминул Соболевский обратиться и к сравнению покупательной стоимости денег новых и прежних. И если еще в августе 1920 г. он полагал соотношение тысяча рублей — 5–6 копеек то теперь, «наша 1000 р[ублей] уже недалека по силе своей от недавней медной копейки»<sup>192</sup>.

Вновь засобиравшийся из Самары В. Н. Перетц пытался прояснить ситуацию у Истриня. «Вчера, — писал он 15 марта, — получил от ак[адемика] И. П. Бородина положительно убийственную характеристику Питерского житья с предупреждением, что я выбрал время для возвращения совсем неудачно [...] Я совершенно растерялся. И хочется и колется [...] Авось через месяц виднее будет. Один из моих товарищ по Унив[ерситету] пишет от 27 II, но совершенно „бодро и молодцевато“. Ничего не пойму»<sup>193</sup>. Прошло около месяца, и 10 апреля ученый, сопоставляя полученную информацию, вновь писал Истрину в надежде добиться ясности и определенности: «Положительно недоумеваю: от ак[адемика] [ирзб.] и от Вас получаю советы вернуться; сестра пишет, что можно жить, хоть пайки и сокращены, и И. П. Бородин и, по его словам, А. П. Карпинский — советуют до осени не трогаться. Видно, надо самому все увидеть и испытать. Да и вообще дело с моим отъездом в Петроград принимает комический характер: какая-то — вампуха — бежим, спешим — и ни с места!»<sup>194</sup> Любопытно, но именно в этот же день, 10 апреля 1921 г., Соболевский самым подробным образом описал Перетцу положение в столичных городах, подытожив письмо следующим образом: «Вот Вам данные. Выводите заключение сами»<sup>195</sup>. «В П[етрограде], — особо подчеркивал ученый, — не лучше, а много хуже, чем в М[оскве]. Я бы там не прожил так, как живу в М[оскве]. Ни ун[иверситет], ни Ак[адемия] Н[аук] не умеют добывать натуру, и их члены в общем бедствуют. Паек уменьшается, выдается неаккуратно (я лишь в конце марта получил в М[оскве] свой акад[емический] паек за февраль); качество невысокое (у меня было получено пшено с песком). Конечно, Ваше положение лучше, чем мое. У меня один паек и 3 едока, у Вас два пайка и два едока»<sup>196</sup>. Соболевский продолжал отмечать тенденцию удешевления денег: «Бумажки все падают и падают. Теперь в М[оскве] 1 т[ысяча] = прежней (царской) 1 медной коп[ейке], а в П[етрограде] — ниже. Через два-три месяца падение дойдет до гроша».

Соболевский видел некоторые преимущества московской жизни в ее статусном статусе. «Увеличение жалованья, — писал ученый, — идет сравнительно с увеличением цен, но отстает, в М[оскве] меньше, в П[етрограде] больше. Зарабатывать, помимо жалованья, в М[оскве] легче, чем в П[етрограде], (М[осква] теперь — правительственный центр, а П[етроград] — захудалый окраинный город)»<sup>197</sup>. Отмечал

ученый и все еще актуальное для коллег стремление покинуть Петроград. Еще во время своего посещения города осенью 1920 г. он заметил, что «оставшиеся часто ставят вопрос: куда уехать?» В письме к Перетцу Соболевский останавливался на возможности реализации подобных стремлений более подробно. «Ввиду положения дел, — сообщал ученый, — петроградцы стремятся переехать в М[оскву], чтобы подкормиться. Но обыкновенно разочаровываются в М[оскве] и мечтают об отъезде к Волге или на Кавказ, Поволжье считается еще сытым и богатым»<sup>198</sup>. Таким образом, Соболевский не только предупреждал Перетца об условиях существования в Петрограде, но и подчеркивал, что места его обитания в сознании изголодавшихся петроградцев полагаются наиболее благоприятными для жизни.

Ученые, жившие как в центре, так и в провинции, кроме проблем с пайками, продолжали испытывать очень схожие трудности. Описывая первую половину зимы 1920–1921 г., Ляпунов назвал и холод, и отсутствие электричества. Он сообщал Истрину 1 января: «Благодаря морозам в университет[ских] зданиях страшно настыло, и слушатели с трудом высиживают двухчасовые лекции»<sup>199</sup>. Но не только холод мешал проводить занятия. «Осенью очень трудно было читать по вечерам при отсутствии электричества, — сетовал ученый, — почему согласно желанию слушателей некоторые лекции я перенес неофициально на утренние часы, но в ноябре электричество стали давать с 4–5 часов». Если учреждения были хоть как-то обеспечены освещением, то «дома мы сидим с лампадами и не можем добиться электричества»<sup>200</sup>, отмечал Ляпунов.

И. Е. Евсеев, делясь с Соболевским своими, в общем, положительными впечатлениями от посещения Петрограда, не мог пройти мимо проблемы холода. Он писал 9 января: «Я жил в общежитии, в доме ученых. Давалось полное обеспечение столом и квартирой. Визы и пропуски сосредоточены в двух шагах от Миллионной, так что затрачивать времени на это приходится совсем мало. Мог бывать в Публич[ной] Б[иблиоте]ке, хотя больше 1½–2-х часов высиживать не мог: коченели руки»<sup>201</sup>.

О тех же проблемах, как всегда с подробностями, Соболевский писал Перетцу 10 апреля: «Я пережил последнюю зиму благополучно, но скучно. Электрическим освещением мой домик не обзавелся, керосину власти мне не дали, хотя и обещали, купить его можно только у шоферов, т. е. краденый, и потому зимние вечера я провел почти в полной темноте, при свете уличного электрического фонаря, не имея возможности ни читать, ни писать, только пилить старые доски. Прошлой осенью был два раза в П[етрограде] [...] я в П[етрограде] жил не в веселии, но вернулся в М[оскву] здоровым»<sup>202</sup>. Описание Соболев-

ским условий его собственной жизни в Москве очень ярко демонстрировали состояние полного развала денежной системы и торговли. «Все смотрят на подачки и ждут не бумажек, — констатировал ученый, — а картофеля, сапог и т. п. Бумажки цену утратили; я получаю их порядочно, но купить нечего, с одной стороны, покупка обходится так дорого, что надо копить бумажки, с другой. Я неделю назад купил пуд черной муки за 90 т[ысяч], а месяц назад купил пуд за 120 т[ысяч]. Что значат наши 20 т[ысяч], 6 т[ысяч] и т. п. в месяц, когда на черный хлеб нужно иметь в год по крайней мере миллион рублей!»

Рынок в М[оскве] был уничтожен, но теперь возродился. Да что в этом! Продовольствия продаётся мало, и что продаётся: кислая капуста, сухие грибы, оттаявшие рязанки»<sup>203</sup>. Вероятно, на возрождение рынка, хотя и в очень скромных формах, повлияло решение Десятого съезда РКП(б) о введении новой экономической политики. Но до декретов от 17 и 24 мая 1921 г., утвердивших принципы нэпа, широко допускавших частную торговлю, оставался еще месяц. А пока, как отмечал Соболевский, собственно научная работа явно замерла. «На самом деле, — с горечью замечал ученый, — никто ничего не делает. Да и трудно делать при налегшей на нас тяжести жизни, при постоянном страхе, тесноте, холоде, голоде, при отсутствии трамвая, обуви, бумаги, чернил»<sup>204</sup>.

Новый курс государственной политики в сфере экономики сулил ей благоприятные перспективы оздоровления, обещал развитие торговли, поощрял частную инициативу. Перспективы же Академии наук как институции были отнюдь не радужные. Как отмечает исследователь: «С введением новой экономической политики положение бюджетных учреждений непроизводительной сферы народного хозяйства резко ухудшилось. Это объяснялось тем, что сократилось государственное волевое распределение, носившее часто натуральный характер»<sup>205</sup>.

Если жизнь ученого сословия в городах по всей стране становилась все труднее, то и в сельской местности она была отнюдь не легче. Евсееву приходилось напрягать все силы, чтобы обеспечить существование своего большого семейства. «К святкам, — писал он Соболевскому 9 января 1921 г., — моя семья собралась почти вся, за исключением брата и дочери (оба в Казани). Оказалось 11 человек. Зарезал корову, заготовил хлеба, но все-таки приходится слышать жалобы. Сыты-то сыты, но нет обуви, обносилось платье. Сын красноармеец явился больной в отпуск без сапог и без шинели: свое приносил, а казенное не дают; учащиеся дети жалуются, что у них обувь плоха. Трагизм моего положения в том, что купить обуви я не в силах, а изготовить

\* Рязань — мороженые яблоки.

кожи дома не позволяют: отбирают в казну и выдают по 50 руб[лей] за кожу»<sup>206</sup>. Зимой и весной ученого продолжали преследовать невзгоды. Он сообщал Соболевскому 22 апреля: «Я перенес немало переживаний и хозяйственных потрясений. Главное — умер старик отец (85 л[ет]) и пала лошадь». Но не только смерть отца и беда сельского труженика заставляли Евсеева ощущать трагизм своего положения. Академия наук также была не способна поддержать своего члена-корреспондента. «Ужасные затруднения чинят Отделению с выплатой денег. И жалованье, и по счетам за работы задерживают по 4–5 месяцев», — сетовал ученый. Положение же бюджетников в деревне было просто катастрофическим. «В уездах, — писал ученый, — та же история: моя сестра — учительница — с августа получала жалованье только один раз; живет на своем хлебе»<sup>207</sup>. Это письмо, которое Соболевский получил от Евсеева, оказалось последним. Не дожив трех дней до своего 53-летия, И. Е. Евсеев скончался 17 августа 1921 г.

Первый год после окончания Гражданской войны был отмечен стремительным ухудшением жизни в провинции. Угроза голода нависла и над относительно благополучными ранее районами. Зеленин уже летом вполне осознал возможность такой перспективы. Если в письме от 1 мая ученый сообщал Соболевскому, что «хлеб — дороже тысячи рубл[ей] фунт (черный)»<sup>208</sup>, то письмо от 23 июля свидетельствует о стремительном росте инфляции: «Жизнь страшно тяжела вследствие дороговизны (фунт черного хлеба 3 т[ы]с[ячи] рублей и выше; картофель упала в цене: 1–1½ т[ы]с[ячи] фунт; огурцы прямо „дешевые“ 800 рубл[ей] десяток; яблоки 1 т[ы]с[яча] десяток; сливы и груши 1–1½ т[ы]с[ячи] фунт)»<sup>209</sup>. Таким образом, менее чем за три месяца цены на хлеб выросли в три раза. И для городских жителей спасением становился труд на земле. В том же письме от 23 июля Зеленин писал: «Урожай овощей средний, а местами и выше среднего, если бы у меня не было огорода, то у меня не было бы теперь уверенности в том, что зимою я не умру от голода; впрочем, огороды ужасно расхищаются»<sup>210</sup>.

Угроза голодной смерти способствовала стремлению ученых, ранее покинувших столицы, вернуться. В начале лета 1921 г. покинул Саратов Н. Н. Дурново. Ставясь обосноваться в Москве, он в письме от 20 августа подробно описывал Истрину ненормальную обстановку в Саратовском университете. Там, отмечал Дурново, «чрезвычайно хулиганский состав всех местных учреждений, и самый большой заработок, которого я там мог добиться, мог прокормить меня с семьей лишь в течение недели за целый месяц»<sup>211</sup>, и далее: «продовольственное положение там критическое: муки нет, мясо и масло дешево только до очень близкого момента, когда его совсем не будет. Отношение местных властей, особенно продовольственных, к Ун[иверсите]ту ху-

лиганско-враждебное»<sup>212</sup>. Н. М. Каринский писал Соболевскому 8 июня 1921 г.: «В Петрограде, говорят, жить стало лучше, у нас же в Вятке, несомненно, стало хуже. Очень бы хотел переехать в Петроград. Но как это сделать. Квартиры нет. Вещей никаких. Сын мобилизован в Вятке. Да и можно ли жить с такой большой семьей в Петрограде? Как жизнь в Москве?»<sup>213</sup> Переписка явно оживилась, и 1 июля он отвечал Соболевскому: «Вчера получил я Ваше письмо и вижу, что в Москве продовольственный вопрос менее остр, чем в Вятке. Здесь мука 180.000 пуд и все дорожает, хлеб на базаре 2500 р[ублей] ф[унт] и выше. При казенных получках в Вятке приходится голодать»<sup>214</sup>.

К концу года письма Каринского Соболевскому становятся все более отчаянными. «В Вятке жизнь переменилась к худшему и очень резко», – сообщал ученый 22 октября. «Сейчас простужен и лежу в постели, – писал он далее, – если можно назвать постелью доску на четырех поленах, без тюфяка. Жена очень похудела, стирает, моет полы. Дети хворают...»<sup>215</sup> Единственной приятной неожиданностью для Каринского стало признание его научных заслуг коллегами-славистами. «Спасибо за известие, – писал он Соболевскому 25 декабря, – за избрание меня чл[еном]-корр[еспондентом] Акад[емии] Наук. Кто меня предложил, и кто теперь заседает в русском отделении? Известие Ваше, которое я получил сегодня, очень меня ободрило». Сообщенная Соболевским новость была как никогда кстати. Как писал далее Каринский: «Настроение у меня становилось отчаянное в связи с целым рядом ужасных условий жизни и голодом в Вятке. Хлеб у нас 10 т[ысяч] р[ублей] фунт, мука 440 т[ысяч] пуд, масло 60 т[ысяч] фунт и т. д. А между тем получка здесь много меньше, чем в центрах. [...] и потому моя жизнь с большой семьей является сплошным адом». Кроме голода, семью ученого стали преследовать болезни: «Недавно только привезли мы из больницы сына Вову после сыпного тифа, которым его заразили в другой больнице, где он лечился от малокровия и ревматизма. Вова едва ходит, ноги и руки у него отекают. Жена лечилась от малокровия: у нее нарыва. Была операция. Рана уже месяц не заживает. Маленький сын недавно встал с постели: 3 месяца болел – было, между прочим, воспаление в легком». Семья полностью обнищала: «Мы прожили почти все необходимое: у нас 4 одеяла старых на 8 человек семьи, нет белья, у меня нет ни летнего, ни осеннего пальто, жена ходит в холодном пальто, т. к. нет шубы. Дети оборванные». Состояние собственного здоровья оставляло желать лучшего и наводило Каринского на печальные размышления: «ноги и руки пухнут, и часто ощущаю одышку. Жить тяжело»<sup>216</sup>.

Можно предположить, что положение Каринского хотя и было чрезвычайно тяжелым, но, по-видимому, не являлось единичным случаем.

Именно в начале декабря 1921 г. Совнарком принял еще один декрет «Об улучшении быта ученых». Он расширял права и возможности ЦЕКУБУ, увеличивал число ученых, имевших право пользоваться пайками<sup>217</sup>.

К. В. Харлампович свое письмо от 27 ноября передал Соболевскому с коллегой: «Он же расскажет, как я живу и какие злоключения меня постигают». А злоключений было достаточно, дело об устранении из университета нескольких профессоров, в том числе и Харламповича, рассматривалось в высших инстанциях: «Пока же отстранили от чтения лекций, и если за октябрь получил еще жалованье, а некоторые еще и паек, то это, вероятно, последняя связь наша с университетом»<sup>218</sup>. При создавшемся положении Харлампович рассматривал возможность переезда весной следующего 1922 г. в Киев, где он был избран в Академию наук. Однако он не торопился с принятием решения: «У меня есть отговорка, они сами писали, что в Киеве жизнь не дешева, паек невелик, жалованье недостаточное и выдается неаккуратно. Правда, и в Казани этим занимаются не очень усердно, и при дорожевизне здешней жизни создаются условия, не очень благоприятствующие ученой работе. И это, тем более, что наше электричество, вообще горящее тускло, на манер лучины, последнее время, недели с две, по вечерам совсем отказывается служить»<sup>219</sup>. На существовании жившего на жалованье человека введение в стране нэпа сказывалось не очень. Харлампович сетовал: «Налаживание экономической жизни нашей родины, несмотря на ряд „сдвигов“ и всяких решительных мер, что-то плохо идет»<sup>220</sup> и подтверждал свой пессимистический взгляд перечнем цен на продовольствие, сопровождая его грустными размышлениями о растущей неконкурентоспособности отечества: «О дорожевизне здешней вот некоторые данные. Мука – 350 т[ысяч] р[ублей], печеньй хлеб 4200–6500 р[ублей] фунт, мясо 6–7 т[ысяч], четверть молока 25 т[ысяч]. И все в этом роде. Появился в продаже чай по 100 т[ысяч] р[ублей] ф[унт], чай польской развески, и думается мне, что с мирового рынка даже Польша может вытеснить Россию»<sup>221</sup>. Упоминалось в письме и о международной поддержке, оказывавшейся населению: «На помошь нашей скудости и беспомощности идут иностранцы. Американцы уж 2–3 месяца подкармливают детей, а на днях явились сюда с большим поездом медикаментов немцы во главе с знаменитым бактериологом Мюленсом». Но общая тенденция к ухудшению положения продолжала быть очень актуальной, и, как отмечал Харлампович, «из Казани бегут профессора. Кто в Москву, кто в Самару, а кто в Баку»<sup>222</sup>.

Соболевский в этот период, несмотря на очевидные трудности, был настроен более оптимистично в связи с кампания по поддержке ученых. Он сообщал Ляпунову 16 ноября 1921 г.: «Жизнь течет среди

всевозможных реформ; цены растут, обещают повысить содержание и всякие милости, вчера получил паек за сент[ябрь] и окт[ябрь], говорят, на будущей неделе выдадут паек за но[ябрь] и дек[абрь]. [...] Я б[ыл] в П[етрограде] в окт[ябре]. Уныния поменьше, подкармливают финляндцы и шведы, а недавно даже чехи (до М[осквы] подачки не доходят)»<sup>223</sup>. Через несколько лет, в феврале 1925 г., после пятимесячного заключения и перед ссылкой, Харлампович вспоминал в письме к Соболевскому о своей встрече с ним в Москве в конце 1921 г. Эти воспоминания ярко характеризуют не только личность Соболевского, но и те условия, в которых существовала научная элита страны. «Ваша заботливость обо мне, — писал ученый, — пред которою среди интересов научных так сильно пробивается Ваша любовь к человеку. Вспоминаю я один вечер у Вас в доме в декабре 1921 г., когда Вы, сидя в темной комнате, освещенной только уличным фонарем, при полярном почти холодае, испытывая все ужасы экономического кризиса государства и своего, предлагали мне финансовую помощь. Такие моменты и такие отношения не забываются...»<sup>224</sup>

Наконец власти определились в своем отношении к Харламповичу. О своем положении в начале 1922 г. ученый сообщает в письме Соболевскому от 1 февраля: «Вам, конечно, известно, что мое дело Государственный ученый совет 30 дек[абря] решил окончательно и опять не в мою пользу». Казанский университет получил из столицы официальное постановление, по которому Харлампович с группой коллег подлежали «исключению из списков преподавателей». Однако, как отмечал ученый, университет «оставляет за всеми нами право на академический паек — „на ближайшее время“. [...] Университет может поручить нам частные курсы (только общие мы не можем читать), — почему за нами и сохраняется паек»<sup>225</sup>. После подобного поворота в своей судьбе Харлампович не пал духом. «Пока что я устраиваюсь секретарем здешнего Центрального музея, — извещал он Соболевского, — что сулит мне почти профессорское жалованье. Впрочем, как бы велик ни был оклад, задержка в выдаче его на целые месяцы страшно обесценивает его, сводя к 20–25 процентам его номинальной стоимости»<sup>226</sup>.

Общее обнищание и дороговизна продовольствия по всей стране порождали слухи и домыслы о безбедной жизни в Москве. В январе и феврале 1922 г. Зеленин решил узнать у Соболевского об основательности таких предположений. «У нас здесь общий голос гласит, — писал он 21 января, — будто бы в Москве много легче жить, чем в Харькове и вообще где бы то ни было на Украине. Будто бы Москва извлекла все возможное из всей страны. Я не особенно верю этому». И все-таки у Зеленина была мысль, что частично слухи могут иметь основание.

«Но, по-видимому, — полагал он, — в Москве чувствуются следы близости к печатному станку, кующему нашу карточную валюту. Чем дальше от Москвы, тем меньше денежных знаков»<sup>227</sup>. Надо полагать, что информация Соболевского развеяла возможные иллюзии. «Из Вашего письмца (от 8/II) узнаю, — отвечал Зеленин 26 февраля, — что и в Москве живется не так-то сладко». Далее следовало описание жизни в Харькове, с проблемами, типичными для всего государства: многомесячными задержками выплаты зарплаты, отключением электричества за неуплату. «За декабрь, — жаловался Зеленин, — еще не получили ни гроша; за январь вчера уплатили одну половину». Что же касается условий преподавательской работы, то, писал ученый: «На днях ИНО был предъявлен счет за электричество на 47 милл[ионов] р[ублей]; нашими зданиями (бывшего ун[иверсите]та) пользуется до пяти высших учебных заведений, но нужных денег ни у кого не оказалось, и мы сидели неделю в темноте (не уплативших в срок станция выключает), пока за нас не уплатил Наркомпрос»<sup>228</sup>.

Не лучше дело обстояло и в другом южном городе. О тамошних проблемах Истрину писал 26 апреля Ляпунов: «У нас в Одессе все идет обратно северным столицам, и дороговизна, кажется, превзошла, если сравнить сообщаемые в письмах из Казани цены со здешними, дороговизну севера (конечно, говорю главным образом о муке и хлебе, так как молоко, дрова и овощи и в прошлом году были в Казани гораздо дешевле): в марте уже цена 1 фунта самого плохого хлеба здесь колебалась между 85–100 тыс[ячами] рублей, к Пасхе цены взвинтились, как водится, еще более, но после Пасхи, если несколько упала цена на молочные продукты, цена на хлеб пошла опять в гору, что, при отсутствии пайков — хлеба по целым неделям (как, например, на этих двух неделях) и при постоянной задержке в выдаче жалованья, которого, впрочем, хватает лишь дня на 2–3 (около 2 миллионов), так чувствительно. Где взять денег, чтобы купить фунта 2 хлеба по 190 или 200, 220 тысяч рублей за 1 фунт?»<sup>229</sup> Отсутствие или приостановление государственной поддержки в виде пайков ввергало ученое сословие в полунищенское существование. «Приходится, — констатировал Ляпунов, — или продавать все самое ценное имущество за бесценок, как делали это мы, или обращаться в Комитет Содействия ученым, оттуда помочь приходит тоже нескоро и в очень ограниченном количестве». И в Одессе была заметна американская помощь. Как отмечал ученый: «Много оказывает поддержки А. Р. А., но ее „посылки“ очень ограничены количеством и в первые очереди достались больным и обремененным семьею. Нам удалось после многих мытарств получить посылку во вторую очередь от Общ[ества] помощи литераторам и ученым, но большинство профессоров еще ждут, голодают и крайне

бедствуют». Заканчивая письмо, Ляпунов нарисовал довольно мрачную картину, вполне сопоставимую с периодом Гражданской войны: «Вообще Одесса бедствует, и много случаев смерти не столько от сыпняка, но прямо от голода, особенно на окраинах, причем трупы валяются на улицах иногда по несколько дней...»<sup>230</sup> Весной 1922 г. и положение петроградцев было весьма незавидным. «Наши обстоят[ельства], — сообщал П. А. Лавров М. Н. Сперанскому 11 марта, — что ка[сается] меня, весьма плачевые. Посл[едний] раз выдали 300 т[ысяч]. А я только в унив[ерситете]»<sup>231</sup>.

К началу лета 1922 г. положение профессуры продолжало осложняться и, несмотря на начало работы властей по финансовому оздоровлению, проявившейся в первых шагах подготовки к денежной реформе\*, инфляция стремительно росла. «Цены у нас таковы, — писал Соболевскому Зеленин 20 мая, — фунт черного хлеба 150–180 т[ысяч] р[ублей], а белого 250 т[ысяч] и выше, картофель 60–75 т[ысяч] фунт, и т. п. Паек нам пока дают. Жалованье получаем с опозданием, по старым ставкам и по расчету 200 т[ысяч] р[ублей] за золотой рубль \*\*»<sup>232</sup>. Вместе с тем, как следует из письма, начали сказываться некоторые послабления, связанные с новой экономической политикой, в частности, стало возможно получить обратно отобранные ранее собственность. Эти новшества могли оказывать влияние и на перемещение представителей научной элиты внутри страны. Зеленин следующим образом описывал внутреннее состояние своего именитого харьковского коллеги: «Избранный в Академию В. П. Бузескул сильно колеблется, ехать ли ему в Петроград, тем более что не знает, велико ли жалованье академикам, думаю, что он не поедет, тем более что ему обещают вернуть часть его дома, из коего он был выселен, а 30 золотых рублей в месяц (нечто вроде пенсии) уже платят»<sup>233</sup>. Нетрудно заметить, сколь несущественную сумму составляли эти 30 золотых, точнее «товарных», рублей при приведенных Зелениным ценах на хлеб. Однако боязнь потерять и эти деньги, а также обещание властей вернуть часть собственности, при неопределенности петроградских бытовых перспектив, явились, по-видимому, решающими причинами того, что академик остался в Харькове.

\* В стране была проведена техническая денежная реформа, деноминация. По декрету от 3.XI.1921 г. 1 рубль выпуска 1922 г. заменял 10 000 рублей прежних выпусков. Декретом от 24.X.1922 г. установлено соотношение 1 рубль выпуска 1923 г. к рублю 1922 г. как 1 к 100.

\*\* Имеется в виду так называемый товарный рубль, условная единица, введенная в первые годы нэпа, приравнившаяся по покупательной способности к одному довоенному (1913 г.) золотому рублю. Так называемый золотой рубль был официально введен денежной реформой 1924 г. Обмен денег осуществлялся из соотношения 1 рубль 1924 г. к 50 000 рублей 1923 г. или 50 000 000 000 рублей более ранних «совзнаков».

Фактором, вносявшим сомнение в душу даже тех ученых, которые мечтали о возвращении в столицы, являлся и академический паек. Сам факт его получения или задержки с его выдачей влиял на жизнь и настроение ученых. В этом смысле весьма характерны письма Каринского своему учителю весны и лета 1922 г. Так он писал Соболевскому 22 апреля: «Сейчас в материальном отношении мы живем немного лучше ввиду получения академического пайка — так не голодаем»<sup>234</sup>. После тех поистине ужасающих условий, в которых жила в Вятке семья ученого, отсутствие голода было великим благом. По-видимому, поэтому Каринский не решался рисковать даже таким относительным улучшением. Он сообщал 1 июня: «...мне не придется переехать в Петроград или Москву. Семейные пишут, что мне не прожить. Одышка и слабость. [...] Напишите, можно ли хоть мечтать переехать в столицу»<sup>235</sup>.

Системе распределения пайков было посвящено и письмо Соболевского Истрину, в котором он благодарил коллегу, взявшего на себя заботу о пересылке академического оклада ученым, жившим в Москве, за «новые 10 м[илионов]», и сообщал невеселые известия об ограничительных мероприятиях Московской комиссии по улучшению быта ученых. Он писал 19 июля 1922 г.: «Центр[альная] Кубу переделала распределение на категории Моск[овской] Кубу. Я остался в 5-й категории, но Р[озанов] и Сп[еранский] переведены в 4-ю, все профессора поможе низведены из 4-й — в 3-ю (Готье, Орлов, Шамбина) и т. п.»<sup>236</sup>. Подтверждение своего положения Соболевский получил 28 июля. В этот день управлением делами КУБУ была выпisана официальная справка за № 1948 в том, «что он при квалификации зарегистрированных Москвы научных работников отнесен к пятой категории»<sup>237</sup>.

Соболевский, иронизируя по поводу наивных представлений о Москве приехавшего из Одессы П. А. Бузука, ученика Ляпунова, писал последнему 24 октября 1922 г.: «Кажется, он поехал в М[оскву] в ожидании увидеть у нас что-то вроде земного рая. Но наши власти — отличные мастера все уравнивать; у них получается везде одинаково». И все-таки на общем фоне галопирующей инфляции Соболевский отмечал два важнейших достижения московских властей: отсутствие угрозы голода и успешную подготовку к зиме. «Корма у нас стали лучше, — констатировал ученый, — бумажек дают по числу больше; но по-прежнему нельзя скопить нужной суммы, чтобы сшить новые штаны и т. п. Рубль так быстро приближается к 0, что едва бумажка полежала у Вас в кармане неделю, как сила ее ослабла. По-видимому, мы будем зимою себя отапливать; дрова привезли с запада достаточно и цена не страшно высокая»<sup>238</sup>.

Летом 1922 г. Соболевскому о своем положении писал Харлампovich, также отмечавший важное значение пайков для физического вы-

живания. Почти после полугодового перерыва ученый сообщал коллеге о своей тяжелой болезни и смерти известного казанского профессора-востоковеда. «Под самую Пасху, — писал Харлампович 19 июля, — я захворал сыпным тифом в тяжелой форме, и был день, когда мои врачи собирались хоронить меня... [...] Вы уже знаете, конечно, о смерти в марте Н. Ф. Катанова. После него осталось большое литературное наследие в виде нескольких тысяч листов лингвистических материалов, завещанное проф. С. Е. Малову, тоже тюркологу»<sup>239</sup>. Далее ученый с удовлетворением и легкой ironией отметил проявление заботы о себе и удаленных вместе с ним из университета коллегах. «Меня, — писал он, — тоже утешили к концу моей болезни присуждением академ[ического] пайка, начиная с апреля (как и И. Мих. Покровского и В. А. Керенского). Другим утешением и подспорьем явилась американская посылка»<sup>240</sup>. В конце письма ученый вновь останавливался на продовольственной проблеме. В общем, его вывод сводился к следующему: «Но, оставляя пока в стороне научные возможности, могу сказать, что и в Казани можно жить, несмотря на голод. Нас подкармливают и академич[еским] пайком, и иностранными продуктами. Цекубу, действительно, прилагает меры к улучшению положения ученых»<sup>241</sup>. Однако одной из сторон своей научной деятельности в это время ученый считал «писanie маленьких статей, преимущественно — увы! — некрологов ученых»<sup>242</sup>.

Летом же с Ляпуновым в Одессе приключилась беда: он пострадал в столкновении с представителем низшего звена коммунальной службы, предположительно с дворником. Вся эта ситуация, несущая признаки нового времени, могла бы до 1917 г. показаться 60-летнему профессору полным абсурдом. «Пишу, лежа в постели, — сообщал ученый Истрину 20 августа 1922 г., — к которой врач приковал меня на 2 месяца после перелома ноги выше колена во время хождения за водой в прошлое воскресенье, когда я во время спора с блюстителем двора, где хотел набрать воды, был отброшен и упал на каменные плиты двора (на Моск[овской] ул[ице]), после чего не мог встать и был привезен домой на лошади»<sup>243</sup>. Нанесенная травма заставила Ляпунова очень беспокоиться о будущем. «Как-то удастся пережить вновь надвигающуюся зиму?»<sup>244</sup> — задавался вопросом ученый. К середине осени Ляпунов хотя и оправился от полученной травмы, но все же предпочитал из дома не выходить. В письме Соболевскому от 16 октября он так описывал свое состояние: «...8 недель пролежал с привязанной к деревянной шине ногой после перелома выше колена в начале августа. [...] Ходить по лестнице и по улице пока еще боюсь и думать, вследствие чего до сих пор еще не мог начать свои осенние лекции в И[нституте] Нар[одного] Образ[ования]»<sup>245</sup>. Соболевскому же Ляпунов писал в конце года, 23 декабря, о злоключениях и безденежье

молодых преподавателей, задаваясь вопросом о том, как те вообще могут существовать, «когда даже старым профессорам едва хватает на уплату за электричество и квартиру ежемесячно?»<sup>246</sup>

Итоги 1922 г., характеризовавшие отношение властей к Академии наук, в письме Соболевскому от 23 ноября подвел Перетц: «Академия влечит существование подобно „бедной, но благородной“ родственницы или приживалки (так. — *M. P.*) (судите сами — мой сын, младший библиотекарь в дивизии, получает и паек, и сверх 100 м[и]л[лионов], а академик — 95 м[и]л[лионов] и т. п.)»<sup>247</sup>.

Введение властями новых экономических принципов принесло наряду с некоторыми изменениями к лучшему в жизни ученых и новые проблемы. В сердцах Ляпунов писал Истрину 11 апреля 1923 г.: «Советские власти чуть не каждый день объявляют какие-нибудь новые налоги, не дают даже письма окончить. Вот и сейчас явились и требуют»<sup>248</sup>. Коллега Ляпунова по Новороссийскому университету А. И. Томсон отмечал те же новшества плюс усиление давления властей в квартирном вопросе. «Здесь условия жизни таковы, — писал Томсон Соболевскому 9 августа 1923 г., — что нет возможности работать. Не дают покоя. После всевозможного обирательства теперь выселяют из квартиры. Десятки раз в течение последних лет принимался за работу, и всякий раз обстоятельства заставляли бросать все». Все это, а также уже привычные проблемы заставляли ученого думать о перемене места жительства. Он интересовался у Соболевского: «Не найдете ли возможности сообщить, нет ли в Москве или Петербурге профессуры для меня и можно ли устроиться там. Правда, жизнь там дороже, но я получаю здесь  $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$  того, что полагается в товарн[ых] рублях вследствие запоздалой выдачи жалованья, начисленного по курсу давно прошедших месяцев. Академич[еский] паек ничтожный»<sup>249</sup>. Однако ситуация к октябрю стала постепенно изменяться к лучшему. Так, Ляпунов сообщал Соболевскому 14 октября: «В прочности положения А. И. Томсона в Одессе, мне кажется, сомневаться не следует после заявления приезжавшего из Харькова пом[ощника] ком[иссара] нар[одного] просв[ещения] Машкина». «Но, — продолжал ученый, — в общем, положение А. И. Томсона с семьей очень затруднительно, так как их выживает из квартиры „Кожтрест“, а подходящих квартир сейчас в Одессе нет»<sup>250</sup>.

Однако через несколько дней и перспектива оказаться выселенным из квартиры отпала, хотя очевидно, что окончательно она не исчезла. Настроение Томсона радикально изменилось. «Кончилось тем, — информировал он Соболевского 18 октября, — что остался в старой квартире и надеюсь, что не выкинут на улицу. У нас надвигается тоже постепенно квартирный кризис и хорошую квартиру, или 2 комнаты,

может нанять только „нетрудовой элемент“, могущий платить по 1 товарн[ому] рублю в сутки»<sup>251</sup>.

Взвесив все за и против, Томсон отказался от идеи покидать Одесу в поисках лучшей доли, хотя к этому времени имел выгодное предложение из Минска. Хотя, как отмечал ученый: «По рассказам путешественников можно было бы думать, что в других местах нашему брату можно спокойно заниматься своими работами». Но, продолжал он далее: «По более серьезным справкам оказалось, что славны бубны за горами, а надежнее в насиженном месте»<sup>252</sup>. С полной уверенностью можно предположить, что Соболевский со своей стороны снабдил Томсона подробнейшей информацией об условиях жизни и работы в столицах. Кстати, настроение у Соболевского было в преддверии осени неважное. «На днях встречался с А. И. Соболевским, — писал Сперанский Истрину 20 августа, — жалуется на слабость и скучность, в Питер ехать не хочет, нечего-де там делать»<sup>253</sup>. Надо полагать, что полученная от него информация особого восторга у его коллеги не вызвала. «Ваше письмо, — писал Томсон Соболевскому, — основанное на более широком кругозоре, окончательно укрепило меня в этой мысли. Главная причина в том, что приходится тратить на пустяки целые годы, которых уже немного осталось»<sup>254</sup>. От Минска отказался и Каринский, наконец перебравшийся в Москву. Узнав о его решении и зная те условия, на которых устроился ученый, Перетц с сожалением писал Соболевскому 18 октября: «Ведь в Москве ему придется ютиться в 2-х комн[атах] — да еще с семьей, при весьма проблематическом заработке! А я вижу, что при состоянии его здоровья ему надрываться нельзя: нельзя же каждую зиму выпиливать себе ребра, а гарантии, что он не захворает в Москве, нет никаких: климат суровый»<sup>255</sup>.

Поздней осенью, после долгого перерыва в переписке, о своем новом положении и заботах Соболевскому сообщал Харлампович. Основной его работой стала область, ранее не привлекавшая ученого. «Я служу в Статистич[еском] управлении, — писал он 21 ноября 1923 г., — в качестве заведующего Отделом демогр[афической] статистики. Попал туда как раз к переписи 15 марта и сейчас руковожу разработкой ее материала, занимаясь так почти ежедневно по 9 ч[асов]. Но все же нахожу время заниматься и в других местах, где не требуется просиживать подряд несколько часов. Ввиду этого много приходится бегать (трамвайное движение в Казани не развито)»<sup>256</sup>.

В 1924 г. условия жизни ученых складывались по-разному: одни были вполне удовлетворены своим материальным положением, другие, напротив, испытывали тяжелейшую нужду. Но, в общем, практически все представители научной элиты испытывали большие трудности, если не материальные, то иного характера, также связанные с

укреплением советской власти. Почти после годового перерыва Зеленин сообщал 8 января 1924 г. Соболевскому о своем положении: «В материальном отношении нам в Харькове живется теперь не так-то уж плохо, но морально тяжело: вечные сокращения, украинизация...»<sup>257</sup> В это же время сам Соболевский объяснял в письме Перетцу от 17 января причины, по которым он окончательно решил обосноваться в Москве. «В П[етербурге], — писал он, — никакой обстановки у меня нет, нужно все заводить вновь. Для этого необходимы порядочные деньги, я же нищ как Иов. Да и энергии на хлопоты о мебели, посуде и т. д. нет». Перспективу же жизни в Москве ученый представлял с присущим ему оптимизмом: «А в М[оскве] у меня свой домишко, который теперь перешел опять в нашу собственность. Его можно заложить и из полученных денег поставить забор и отремонтировать здание. Остальное придет само собою»<sup>258</sup>.

Продолжало испытывать нужду большинство ученых, живших как в провинции, так и в столицах. Следует отметить при этом, что все, кто имел хотя бы какую-либо возможность продолжать научную работу, не бросали этого занятия. Так, Н. Л. Туницкий писал 24 марта 1924 г. Лаврову: «Живется мне с семьей нелегко, но рук не опускаю, борюсь с страшными трудностями материального существования и не оставляю научных работ»<sup>259</sup>. В свою очередь П. А. Лавров сетовал в письме Сперанскому в начале лета: «Трудно накопить хотя немного денег. Одно время, когда я получал пенсию, стало, было полегче. Но с марта ее перестали мне выдавать, как находящемуся на службе в Акад[емии]. А теперь квартиры будут дороже. Мы живем сносно благодаря искусству хозяйки. В деревне нас, как и следует, в [нрзб.] владениях, обокрали. Насколько мы от этого пострадали, узнаем по приезде»<sup>260</sup>. Не видел никакого улучшения и Г. А. Ильинский. Отвечая на письмо Ляпунова, по-видимому, не в радужных красках описывавшего жизнь в Одессе, он писал 23 марта 1924 г.: «И у нас в Саратове жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Жалованье не только не увеличивают, но даже кое в чем урезывают. К материальным невзгодам присоединяются моральные»<sup>261</sup>.

Жизнь ученых в столице не особенно отличалась от провинции, безденежье стало повсеместной составляющей всякой работы в учреждениях культуры. «Не знаю, когда соберусь в Питер, — сообщал Истрину Сперанский 2 мая, — хотелось бы попасть в мае, но боюсь, что будут финансовые затруднения, так как у нас всюду идет урезка наших жалких грошей; так в Институте кое-кого совсем лишили жалованья, а меня перевели на 1½ червонца, вычтя, кроме того, 20% на общем основании. В Музее также задержка и тот же вычет». Письмо ученый завершал довольно безнадежно: «Если сведу концы с концами, постара-

юсь посмотреть Питер весной, а то придется отложить дело до осени. Обидно, да ничего не попишешь»<sup>262</sup>. Летом Сперанский вновь писал Истрину, но уже не о собственных финансовых затруднениях, а о катастрофическом положении своих московских коллег-славистов. «В ответ на Ваш запрос, — писал он 29 июня, — как летом пересыпать деньги, могу после разговора с И. М. Тарабриным сказать: пересылайте по-прежнему ему, на Музей (Исторический музей. — *M. P.*). Кстати — об Ив[ане] Мелен[тьевиче]: нельзя ли чем-нибудь ему помочь материально? Очень он оскудел и, чего никогда прежде не делал, жалуется на недостаток средств к существованию. Нельзя ли дать ему какую-либо платную работу в Академии (напр[имер], по Словарю или по библиографии у Перетца?) или добыть ему какое-либо пособие, напр[имер], на окончание имеющихся у него работ [...] К тому же, помнится, он, несмотря на упразднение окладов по Библейской Комиссии, не исключен из числа сотрудников Академии, хотя более ничего и не получает. Кажется, так обстоит дело. Очень бы хотелось ему чем-нибудь помочь: кроме музеиного жалованья и грошей из „Кубу“ у него ничего нет. Вообще у нас насчет доходов на прожиток час от часу становится все хуже»<sup>263</sup>.

Но были ученые, финансовая ситуация у которых была абсолютно невыносимой. «В очень тяжелом положении и Н. Н. Дурново, — сообщал Сперанский, — кроме 20 рублей из „Кубу“ — ни копейки, так как словарь (совр[еменного] русск[ого] языка — „Ленинский“), которым он существовал до сих пор, погиб, а службы никакой у него нет. Его, впрочем, м[ожет] б[ыть], удастся пристроить с грехом пополам в библиотеке в Музее»<sup>264</sup>. Устроить Дурново на постоянную работу так и не удалось, и в этом же году ученый принял приглашение на работу в Чехословакию, которая обернулась несколькими годами «полуэмиграции».

На фоне столь очевидного бедственного положения даже элиты научного сообщества, ее академиков и членов-корреспондентов, оптимистические заявления официальных представителей Академии наук, которые они делали за рубежом, вызывали чрезвычайно острую реакцию внутри этого сообщества. Перетц 21 апреля 1924 г. сообщал о сокращении зарплаты академическим работникам. «С апреля — выдают лишь 80% жалованья, которое, — подчеркивал ученый, — по признанию компетентных лиц и само по себе — 60% нормы»<sup>265</sup>. Именно с таким состоянием дел Перетц связывал самоубийство одного сотрудника Академии наук в Киеве. Писал он и о бедствующем ученом в Петрограде, обремененном огромной семьей — «сам девяты!» «А гг. Ольденбурги уверяют заграницу, — с возмущением воскликнул Перетц, — что русские ученые ни в чем не нуждаются! Оле подлость человеческая!»<sup>266</sup>

Избежать подобных заявлений во время официальных заграничных командировок, надо полагать, было трудно. Власти в пропагандист-

ских целях использовали любые возможности. В этом контексте выступления Ольденбурга не были единичными. Еще в 1921–1922 гг. по заданию В. И. Ленина «в заграничной командировке в качестве научного консультанта наркома внешней торговли РСФСР Л. Б. Красина» находился академик В. Н. Ипатьев<sup>267</sup>. За его пребыванием и поведением внимательно следили эмигрантские круги. Давний друг семьи Вернадских, еще с конца XIX в. проживавшая за границей А. В. Герштейн писала 18 марта 1922 г. Г. В. Вернадскому: «Был здесь их агент Ипатьев. Он заявил в разговоре с одним крупным франц[узским] промышленником и ученым, моим знакомым, что если России не помогут, то она через небольшое число лет окончательно одичает и перейдет в первобытное состояние. Это не мешало ему говорить russ[ким], что в Совдепии живется хорошо: ему, Ипатьеву, большевики отдали имение, и у него два автомобиля!»<sup>268</sup> Заметим, что Ипатьев вряд ли сильно кривил душой в том, что касалось его собственного положения. Власти умели ценить необходимых для нее людей, а ученый, проводивший важнейшую для государства работу, пользовался ее доверием. Не удивительно, что такая активность Ипатьева послужила причиной характеристики его за границей как человека, «продавшегося большевикам», и, возможно, стала одной из причин, стоявшей выдающемуся химику Нобелевской премии<sup>269</sup>. И никто не мог тогда предположить, что в начале 1930-х годов Ипатьев станет невозвращенцем. Но стоит отметить, что к Ипатьеву, в отличие от Ольденбурга, сохранилось уважение в среде академиков-гуманитариев.

Улучшению общего безрадостного настроения ученых не способствовали и приемы, которыми власти решали вопросы идеологического характера. Харлампович с грустью писал 27 апреля 1924 г. Соболевскому: «Но в моем настроении сейчас мало светлых тонов. [...] Перед Пасхой же, я получил письмо от своего стипендиата по университету А. Широкова, ныне иеромонаха Иоанна, за противление „живой церкви“ сосланного в Кемь, где он томится в концентрационном лагере, работая то в лесу, то на жел[езнодорожной] дороге. Хотя письмо написано так, что цензура ни одного слова не зачеркнула, оно многое сказала. [...] Невеселая Пасха!»<sup>270</sup>

Положение ученых на Украине стало более дифференцированным, жизнь в «столичных» городах Харькове и Киеве в материальном отношении явно улучшалась. На Перетца снабжение Киева произвело впечатление. Он делился им в письме Истрину от 21 августа: «Академики (украинские. — M.P.) получают столько же, сколько и мы грехиные [...] Зато жизнь — дешева. Мясо — 16 к[опеек] ф[унт] самое лучшее, яйца 22 к[опейки] дес[яток], яблоки 10 к[опеек] ф[унт] оч[ень] хорошие и т. п.»<sup>271</sup>. Однако, скромное академическое жалованье даже при отмеченной дешев-

визне не могло подвигнуть Харламповича к переезду в Киев. Так, 12 июля он писал Соболевскому: «Я завел отношения с Украинской академией, собираясь туда на жительство. Но материальные условия там чуть не вдвое хуже против здешних, и я остался здесь. Жалованье академика там 41–42 р[убля]»<sup>272</sup>. Весьма нерадужно представлялась жизнь профессору в Одессе. Томсон 7 сентября («вересня») сообщал Ляпунову, перебравшемуся в Петроград после избрания академиком: «Фруктов много, хлеб вздорожал. Обеды в столовой по 30 к[опеек] и будут дороже, если не возьмовится американская помощь. Живу в долг»<sup>273</sup>.

Наиболее актуальной жизненной проблемой конца 1924 г. для славистов-москвичей стала угроза уплотнения и противоречивая роль в этом деле КУБУ. С этими обстоятельствами Сперанский связывал даже такой вопрос, как поездка на заседание ОРЯС, которое должно было состояться 28 октября в Петрограде. Он откровенно писал Истрину 4 октября: «Конечно, все это зависит будет от обстоятельств, отчасти здешних „квартирных“, у нас идет новый период уплотнений, и на мою квартиру есть уже поручение: если „Кубу“ поддержит, может быть, удастся отстоять *status quo*, а это решится после 10 октября»<sup>274</sup>. Эта же проблема портила в общем благодушное настроение Соболевского, который так описывал свои занятия Перетцу 2 ноября 1924 г.: «Я копаюсь у себя в саду, погода теплая! Вожусь с разными налогами, анкетами, фонарями и пишу понемножку продолжение своих Скифов». Далее ученый обращался к животрепещущей теме: «О моск[овских] делах Вы, чай, узнали уже все скучные моск[овские] новости. Москвичи до сих пор еще не опомнились от последнего (весеннего) уплотнения. Почти каждый мой гость говорит по преимуществу на эту тему. Пет[роград], говорят, свободен от уплотнения; в этом отношении он счастливее М[осквы]». Но склонность к иронии в любых обстоятельствах не оставляла Соболевского, и он заканчивал письмо следующими словами: «...поклоны и пожелания доброго здоровья и благополучия, насколько они возможны в нашем лучшем из миров»<sup>275</sup>.

Уже в начале года Соболевский был восстановлен в правах владельца дома, в котором он жил, но эта собственность подлежала налогообложению. Перетц, узнав о некоторых послаблениях в сфере налогообложения, поспешил 7 ноября поделиться новостью с Соболевским: «Читали Вы — в газетах было известие, что дома служащих, в которых нет квартир, сдаваемых за плату, (напр[имер], — у Вас) — налогам не подлежат. Т[аким] обр[азом] Ваше дело с домом стало на настоящую почву и Вы не будете теперь от „Жил-отдела“»<sup>276</sup>. Почти сразу Соболевский ответил Перетцу, обратившись вновь и к деятельности КУБУ, и к квартирному вопросу. Что касается описания работы организации, предназначенной для помощи ученым, то оно исполнено у Соболевского и иронии, и сарказма. Он следующим

образом сообщал о положении дел 14 ноября 1924 г. Перетцу: «КУБУ продолжает думать о поддержке нашего брата, ученого старика. Первые три „категории“ оно упразднило, иначе – освободило от своей поддержки, но обещало 4-й и 5-й категории увеличение сумм, 5-й до 100 р[ублей]!! (всего в 5-й категории по Москве около 20 человек). Затем оно слило 4-ю и 5-ю категории, оказалось у него на руках штук 300 ученых стариков; обещали давать по 70 р[ублей]. А теперь говорят, что сумма выходит тяжкая, и ученым придется удовольствоваться 30–40 р[ублями]. Но вот, по новому счету, 14 ноября; а срок выдачи за окт[ябрь] еще не назначен»<sup>277</sup>. Когда письмо было уже закончено, ученый сделал к нему приписку: «Дали -- по 60 р[ублей] – и то хорошо!»<sup>278</sup> Далее Соболевский останавливался на описании чрезмерной активности КУБУ в деле его «уплотнения». Эта деятельность доставляла ученому явное беспокойство, хотя, судя по всему, он старался относиться к происходящим событиям философски. «Я задал КУБУ задачу, – писал Соболевский. – Оно вот уже несколько месяцев думает: сохранить за мною право на дополнительную комнату или отнять. А никто не претендует на эту комнату, и вопрос поднимает само КУБУ. Предлагает ждать решительного ответа через неделю»<sup>279</sup>. Это сообщение должно было показать Перетцу, что его уверенность в завершении всех проблем с домовладением Соболевского, вставшим, по его мнению, на «настоящую почву», чрезмерно оптимистична.

### «В скромной обстановке наладилось некоторое благополучие»

Начиная с 1925 г. тема материальных трудностей постепенно начинает уходить из переписки. Письма свидетельствуют, что материальное положение академической элиты хоть и оставалось неудовлетворительным, но все-таки стабилизировалось на терпимом уровне. Совершенно исчезают из писем перечни цен на продовольственные товары, уходит столь актуальная для предшествующего периода тема холода в квартирах, но все еще оставалась угроза уплотнений, кроме того, оплата квартиры превращалась в тяжкое финансовое бремя. Деньги, наконец, приобрели реальную стоимость, и основной и достаточно острой проблемой стала возможность их зарабатывания, а при отсутствии таких возможностей была актуальна поддержка по линии КУБУ, так называемое академическое обеспечение. От случая к случаю ученые делились друг с другом своими житейскими проблемами.

В начале 1925 г. А. И. Томсон временно разрешил свои квартирные проблемы, стало несколько легче и с деньгами, появилось ощу-

щение стабильности. «Квартиroy я, конечно, доволен, — сообщал он Б. М. Ляпунову 22 января 1925 г., — на старой погибал бы. И со средствами кое-какправляюсь». О своей жизни и финансовых возможностях ученый писал и более подробно: «Обедаем по 8 руб[лей] с души в месяц, будет 7 р[ублей] 50 к[опеек] благодаря американской помощи. Академ[ическое] обеспеч[ение] стали выдавать — 12–13 руб. Конечно, служащие при исследов[ательских] кафедрах получают лишних 20–15 р[ублей]». Переезд старого товарища в Ленинград вызывал у Томсона ностальгические чувства по прежним временам, он радовался возможностям своих коллег как-то улучшить свою жизнь, сочувствовал нездоровью некоторых из них. «Очень рад, — писал он Ляпунову, — что Вы устроились в Университет[е]. Это подспорье Вам нужно [...] Истрина мне крайне жаль: такой молодчина — и быть привязанным к своей квартире. Интересно взглянуть бы на Лаврова. Думаю, что он, в общем, такой же. Хорошо бы, конечно, повидаться со всеми Вами, но о переезде туда я никогда не думал»<sup>280</sup>. Заключительная часть последней фразы не может не вызывать некоторого удивления, ведь ученый мечтал одно время о переезде или в Москву, или в Петроград. Возможным объяснением его высказывания может быть то, что в действительности ученый реально никогда не рассматривал такой возможности ввиду слишком радикального изменения сложившегося жизненного уклада.

Очень непросто складывались в это время условия существования известного историка-слависта А. Н. Ясинского, пользовавшегося заслуженным авторитетом в академических кругах. Еще в 1920 г. Соболевский считал его достойной кандидатурой для избрания академиком по ОРЯС, поставив его на второе место после Н. П. Лихачева<sup>281</sup>. Однако реально Ясинский был выдвинут только в члены-корреспонденты АН СССР в 1929 г.<sup>282</sup>, избран он не был<sup>283</sup>. В результате реформирования преподавания в нескольких университетах были закрыты все читавшиеся им курсы. «Оставилсь без всякого заработка, — писал он 4 февраля 1925 г. Е. В. Петухову, — я возбудил дело о переводе меня из третьей в 4-ую категорию, имея в виду не только несправедливость, допущенную по отношению ко мне, но и учитывая, что по 4 и 5 категориям будут давать академич[еское] обеспечение, которое для первых трех прекратилось с сентября»<sup>284</sup>. Но предоставлению желанной категории воспротивился сам М. Н. Покровский, оговоривший возможность получения академического пособия целым рядом условий. «Он заявил, — сообщал Ясинский, — что если я подам прошение об отставке, то он будет не возражать против моего перевода в 4-ую категорию. Не имея [нрзб.] и никакого социального положения, я подал прошение о пенсии, а одновременно возбудил дело о зачислении

меня в Институт»<sup>285</sup>. Активная работа именно в научно-исследовательском институте также входила в условия Покровского.

Даже выполнив все условия, Ясинский все равно наталкивался на недоброжелательное отношение к его проблемам со всех сторон, только КУБУ была готова оказать ему содействие. Итак, он информировал Петухова: «Что касается пенсии, то, когда дело дошло до экспертной комиссии, то там оно [нрзб.] уже три месяца. Вот как идут дела старых ученых, когда на них гневаются боги Олимпа и планеты. Когда так складывались мои дела, то и Жил[ищное] Тов[арищество] [нрзб.] теснить меня, требуя отдать комнату [...] И тут дело было мое правое и Мос[ковская] Кубу обещает поддержать на суде, но пришлось отказаться от борьбы»<sup>286</sup>. О перспективах получения финансовой помощи от КУБУ Ясинский был настроен достаточно пессимистически. «Выдача акад[емического] обесп[ечения], — полагал ученый, — продолжится для 4-ой и 5-ой категорий, но одному Зевсу известно, как долго это будет продолжаться. Я же лично думаю, что не более одного года. [...] Получаю 60 р[ублей] в месяц»<sup>287</sup>.

Весной 1925 г. квартирные проблемы возникли и у В. Н. Перетца. В большом раздражении на поведение непременного секретаря Академии ученый писал М. Н. Сперанскому 12 апреля: «Предстоит решение кварт[ирного] вопроса (с 1 июня!). Ольденград, обещав, что никто не пострадает от обмена домов на Миллионной на дом по Тучковой набер[ежной], теперь пятится и [нрзб.]: видите ли, мы с Ляпун[овым] „не имеем прав на акад[емические] кварт[иры]“. Значит, просто нас надо выкинуть, ничего взамен не давши. А зачем же врать?»<sup>288</sup> В конце лета 1925 г. надежды решить свои квартирные проблемы у Ляпунова и Перетца рухнули окончательно. Теперь оба академика жаловались А. И. Соболевскому на академическое начальство, и если Ляпунов делал это без особых эмоций, то Перетц вновь не стеснялся в оценках уже всего руководства Академии. Ляпунов сообщал о своих перспективах Соболевскому 21 июля: «По-видимому, нам и В. Н. Перетцу придется занимовать здесь на Мойке в доме Губ[ернского] Отд[ела] Ком[мунального] хоз'а, внося довольно высокую плату (27 р[ублей] 50 до 33 р[ублей] в месяц) без дров, так как Правление в лице Вице-президента считает невозможным предоставить нам квартиры в академических зданиях»<sup>289</sup>.

Прошло чуть более двух недель, и Соболевскому написал Перетц. Ученого в этот период очень беспокоила судьба ОРЯС в связи со слухами о возможности лишения Отделения его самостоятельного положения в структуре Академии наук. «Все это, — сообщал Перетц 7 августа, — как и затяжной кризис с квартирой, — меня оч[ень] волнует. За кв[артиру], отошедшую теперь в ведение от[дела] ком[мунального] хоз[яйства], я буду платить (и уже с 1 июня плачу) 33 р[убля] (+ дро-

ва, что зимой будет стоить еще 30 р[ублей]). Т[аким] обр[азом] все мое академическое жалованье — уйдет на оплату стен. А гг. «олигархи» за палаты со всем прочим платят ... по 11 р[ублей] в месяц, при двойном, тройном и более жалованье, по сравнению с нами»<sup>290</sup>. Острый глаз ученого заметил разделение научного сообщества на академиков привилегированных и рядовых. Подобное разделение свидетельствовало о стремлении властей путем фактического подкупа руководства Академии добиться от него более тесного сотрудничества.

И Ляпунов, и Перетц понимали, что у Соболевского они найдут полное понимание. Академик относился к людям, откровенно недолюбливавшим власти, и даже некоторые меры, направленные ими на улучшение положения ученых, воспринимал с большим недоверием, ожидая какого-нибудь подвоха. «Увеличение нам жалованья, — убежденно утверждал он 12 декабря 1925 г. в письме В. М. Истрину, — связано с уничтожением подачек из Цекубу или даже с закрытием Цекубу»<sup>291</sup>. Но КУБУ продолжала действовать, и отлучение от ее помощи болезненно воспринималось учеными. Так, Д. К. Зеленин, поздравляя Соболевского в самом конце декабря с новым 1925 г., замечал: «Москва зачислила меня в третью „категорию ученых“, хотя на Украине я был в 4-й, таким образом, мне улыбнулись „кубические“»<sup>292</sup>.

Несмотря на скептическое отношение к действиям властей, надежды на улучшение все-таки не оставляли ученых. Малейшие сдвиги они отмечали и старались разглядеть в них общую положительную тенденцию. Даже такой резкий неприятель результатов «октябрьской катастрофы», как Г. А. Ильинский, писал Ляпунову 12 января 1926 г.: «У нас, в университете, как будто начинаются новые веяния. Значительно ослабел нажим со стороны студенческих коммунистических ячеек; восстановлена приват-доцентура; по слухам, вводится опять ученая степень; с декабря (а по сведениям других даже с [ирзб.]) увеличивается на небольшой % и содержание»<sup>293</sup>.

У ученых появилась возможность посещать специальные санатории. Подобной возможностью воспользовался Зеленин, передававший 5 июня свои впечатления о царившей там атмосфере Соболевскому: «Давно собираюсь написать Вам из кисловодского Цекубу. Вы, вероятно, никогда не бывали в подобных учреждениях, которые приближаются к комм[унистическому] идеалу — к общему корыту и стойлу»<sup>294</sup>. Писал ученый и о встрече и общении с представителем известной музыкально-педагогической семьи М. Ф. Гнесиным. Общение это Зеленину удовольствия не доставило, ему не понравилось, что Гнесин «„подкоммунивает“ вовсю и открыто». Далее ученый описывал свои наблюдения над городским фольклором и о возникшей в связи с ними дискуссии среди отдыхающих. «На днях я услышал в городе, — писал

Зеленин, — новую народную пословицу: „насильем взяли, враньем живут“, и спросил за обедом: о ком это речь. Химик Розанов из Воронежского Сельскохозяйственного Института сразу же угадал: [советская] власт<sup>ь</sup>. Горячий протест Гнесина постепенно свелся лишь к одному: всякая власть сильна-де жульничеством»<sup>295</sup>. Обсуждение было горячим, но его итог вызывал у ученого двойственное чувство. Он писал: «Спор был мною, конечно, выигран, но я с удовольствием теперь думаю о 18-м июня, когда я еду из Цекубу в Питер»<sup>296</sup>.

В бытовой жизни в 1926 г. возникали некоторые трудности, но они уже не вызывали пространных обсуждений в переписке. Так, осенью Зеленин в письмах Соболевскому отмечал, например, что «древ в Питере нет, и членам кооператива будут давать по карточкам, микроскопическими дозами»<sup>297</sup>. В следующий раз ученый довольно спокойно сообщал: «С маслом, особенно с подсолнечным, у нас неблагополучно, но обедаю в вегетарианской столовой и довольно далек от этого»<sup>298</sup>.

Совершенно неожиданно для Томсона перед ним замаячила вновь перспектива возникновения квартирной проблемы. Еще в 1926 г. члены ОРЯС поддержали предложение Соболевского выдвинуть Томсона в академики. Истрин официально обратился к ученому для получения согласия на баллотировку. И оказалось, что вопрос для Томсона отнюдь не простой. Столкнулись желание «попасть в тот дружеский круг, с которым прошел ряд лет лучшей поры жизни» и достигнутая, наконец, устроенная, размеренная жизнь. Ученый ответил Истрину 19 января 1927 г. и в тот же день написал Ляпунову. В письме Истрину он, естественно, был более сдержан, хотя и здесь высказывал свои сомнения: «Правда, смущает меня несколько предстоящая борьба в налаживании нового житья в мрачном Вашем Ленинграде, прежде всего квартирный вопрос, а потом вообще нелегкие материальные условия. Но надо, конечно, быть на месте службы». Рисовал он и свой идеал существования, правда, тут же подвергая его сомнению. «Лишь бы был хороший, светлый, теплый кабинет, — мечтал Томсон, — и поменьше отвлекающих дел и забот. Правда, при таких условиях измельчаешь. Помните наши встречи во время оно?»<sup>299</sup>

В письме старому другу ученый был более откровенен и эмоционален. Томсон также писал о том, что ему очень хотелось откликнуться на «внимание членов Отделения», «но, с другой стороны, обуял страх перед новым бедствием прискания квартиры и домостроительства, северного холода, мрака и длинных расстояний». «Эти пустяки, — серьезно писал Томсон Ляпунову 19 января 1927 г., — стали после пережитого больным местом. Конечно, отказываться от такого почетного предложения не приходится, и пришлось бы, так или иначе, перебраться туда». Чувствовалось, как Томсону тяжело думать о том, что при-

дется бросить в Одессе. «Как все превратно складывается в жизни, — размышлял ученый. — Бедствовал здесь во всем, думая о выходе отсюда. Теперь сижу в теплой комнате, могу заниматься своим делом, с осени навалили много лекций, так что получаю 242 р. + акад[емическое] обеспеч[ение] 47.50 и ожидаю  $\frac{1}{2}$  пенс[ии] 60 р[ублей], [...] хорошие обеды в двух шагах. Одним словом, в скромной обстановке наладилось некоторое благополучие». Вновь и вновь Томсон возвращался к аргументам, которые должны были бы его самого укрепить в мысли о нежелательности переезда. «Не знаю, — размышлял он, — как мне осилить предстоящие там затруднения, прежде всего с квартирой. Жизнь там дороже, а жалованье меньше. Конечно, и с братом расставаться нелегко, и старость подходит. Об этом всем я пишу Вам, конечно, не для общего сведения, а как другу, которому все эти дела понятны. Жена смотрит на это дело храбрее и деловито»<sup>300</sup>.

И после того, как утверждение выборов в ОРЯС Общим собранием Академии было отложено, Томсон вновь писал Ляпунову в том же духе 5 июня 1927 г.: «Я лично против исхода дела ничего не имею. Тамошние условия квартирные и служебной обстановки невероятно неблагоприятны, что нет ни желания, ни сил для нужной борьбы. Здесь книг нет, и приходится питаться собственными соками. В квартирном отношении неважно, соседи плохонькие, при возможности переберусь. Но все же жизнь легче, отношения у меня со всеми хорошие, в своей работе, даже служебной, вполне независим, насколько это вообще возможно. К тому же — юг»<sup>301</sup>. Очень недолго, однако, Томсон чувствовал себя вполне удовлетворенным жизнью. Тем же летом, продолжая переписку о возможности его избрания, он жаловался Истрину: «После пережитых невзгод телеса наши стали хрупки, ломаются от всяких пустяков. Одно из обстоятельств современной жизни, постоянно отравляющее существование, это совместное жительство в одной квартире со всяким хамьем. Какая-нибудь бывшая кухарка изображает теперь барыню и командиршу и задевает на каждом шагу. 7 лет я из-за квартирных условий совсем не мог работать; и теперь, несмотря на все предосторожности, проходу не дают. Теперь моя мечта — найти квартиру в 3 комнаты, площадью оплачиваемой около 15 саж[ень] как необходимое условие не только для работы, но и просто для жизни»<sup>302</sup>.

В отличие от Томсона, другой заслуженный профессор, член-корреспондент Академии наук Е. В. Петухов, заброшенный судьбой на юг, мечтал перебраться в северную столицу. Ученый оказался в Симферополе после перевода в Воронеж Юрьевского университета, где он долгие годы преподавал. Узнал настроения Петухова старейший русский славяновед К. Я. Грот, обратившийся к ученому за консультацией по вопросам истории славистики. Он писал 23 апреля 1927 г. Пету-

хову: «Я почти не имею о Вас вестей и не знал даже, продолжает ли существовать т[ак] называемый „ВУЗ“, в котором Вы состоите. Теперь узнаю, что существует, но под новым наименованием. И за то спасибо!» Грот полагал, что ученый устроился в Симферополе основательно: «Наш или Ваш юг, к сожалению, уже совсем, кажется, похитил Вас у нашего севера. Ленинград Вас, по-видимому, не привлекает, хотя по-прежнему он продолжает отличаться множеством преимуществ и для работы, и для жизни. Вот только очень тяжел и вреден наш жестокий климат! Но всего не соединилось. Впрочем, в конце концов, Вас что-нибудь да привлечет сюда». В конце Грот осведомлялся у Петухова: «...и расскажите что-нибудь о себе, как поживаете, над чем работаете и довольны ли Симферополем?»<sup>303</sup>

Петухов ответил очень нескоро, только 20 августа, и ответ этот огорчил Грота. «Очень грустно то, — писал ученый 5 сентября, — что Вы сообщаеете об условиях службы, ученой работы и жизни в Симферополе»<sup>304</sup>. Неужели нет у Вас никакой возможности перекочевать и устроиться как-нибудь (пока хоть кое-как) в Ленинграде?»<sup>305</sup> Грот высказал предположение, что основанием для переезда в Ленинград могло бы быть избрание Петухова академиком. «Да и помимо Академии, — продолжал ученый, — сколько в Ленинграде всевозможных „вузов“, затем все растущие библиотеки и прочее. Вероятно, и старых друзей у Вас здесь немало. От всей души желаю исполнения Ваших стремлений на простор и к центрам научной работы»<sup>306</sup>. Но мечтам Петухова не суждено было сбыться, он до самой кончины в 1948 г. продолжал жить в Симферополе.

На фоне проблем Томсона и Петухова жизнь Зеленина должна была бы казаться вполне благополучной. В 1927 г. он вновь посетил санаторий, это был санаторий ЦЕКУБУ «Гаспра» в Крыму. Но, как и в 1926 г., Зеленину не нравилась царившая там «советская» атмосфера. «Первое впечатление от санатория, — язвительно отмечал ученый в письме Соболевскому от 3 мая, — чисто современное: „почетные гости“ в санатории — критики [нрзб.] и Полонский (последний — один из редакторов журнала „Печать и Революция“), „сам“ [нрзб.], словом — большие люди современной «красной Москвы»»<sup>307</sup>. Через две недели Зеленин продолжил делиться впечатлениями с Соболевским. С одной стороны, он отмечал явно симпатичное ему поведение представителя прошлого времени. «Здесь же 65-летний бодрый и моложавый генерал — профессор бывшей военной академии Тюлин, — писал он 16 мая, — теперь он говорит про себя: служу-де в ГПУ, т. е. гуляю до улицам»<sup>308</sup>. С другой стороны, Зеленин выражал крайнее недовольство поведением молодого поколения, которое наводило ученого на мрачные мысли. «Со мной в комнате, — сообщал он Соболевскому, — живет 19-летний

Московский „поэт“ Борис Гульбинский, сын советского библиографа (*Leniniana печатающего etc.*) Владиславлева-Гульбинского. Он пишет много стихов, которые нравятся его отцу и Львову-Рогачевскому. С ужасом вижу я по этому молодому человеку, какое поколение идет нам на смену: невежество, развращенность, хулиганство прямо бьет в нос»<sup>309</sup>. Интересно, что несколько фамилий в письмах Зеленина из санатория были подчеркнуты карандашом, а затем тщательно зачеркнуты; когда это было сделано, в настоящее время определить невозможно. Одна из фамилий легко устанавливается по упоминанию написанных им мемуаров «За живой и мертвый водой»<sup>310</sup>, это известный литературный критик А. К. Воронский. Судя по тому, что в другом письме Зеленина Соболевскому таким же способом зачеркнута фамилия партийного и государственного функционера А. С. Енукидзе<sup>311</sup>, можно предположить, что зачеркивание принадлежит архивным работникам, поскольку и Воронский и Енукидзе были объявлены врагами народа и погибли в ходе репрессий.

Совершенно особо складывалась жизнь Н. Н. Дурново, который собственно ради заработка покинул страну. Отъезд за границу, работа профессором в Чехословакии не решили материальных проблем учёного. Его семья, состоявшая из жены и двух детей, осталась в Москве и могла существовать только на денежные переводы из Чехословакии. Несмотря на все старания, Дурново не мог обеспечить хотя бы сносного существования семьи. Практически каждое из писем его сына содержит просьбу поскорее выслать денег. К началу 1927 г. семья впала в нищенское состояние. «Сейчас наше положение критическое, — писал 1 февраля А. Дурново отцу, — все кредиты исчерпаны, 2 недели мы голодаем, занимая по 20–30 коп[еек] и покупая на это хлеб, [...] мама на старости лет пошла торговать в Моссельпром». Письмо было полно упреков, так что, завершая его, А. Дурново даже извинялся: «Прости за несколько грубый тон письма»<sup>312</sup>. Такие послания с родины сильнейшим образом влияли на моральное состояние Дурново. Он писал 17 мая Ляпунову: «Мое материальное и семейное положение начинают становиться катастрофическими»<sup>313</sup>. Заботами о заработке определялась и работа учёного. Тому же Ляпунову он сообщал 13 октября из Брно: «Я очень спешил поскорее кончить книгу, чтобы получить гонорар и послать поскорее в Москву, чтобы дети не умерли с голоду»<sup>314</sup>. Ученый стремился вернуться и устроиться на достойную работу на родине. Очевидно, что он интересовался материальными условиями у своих коллег. О положении в Москве ему сообщал 17 ноября Ильинский, и сведения эти были неутешительные. «Что касается материальной стороны вопроса, — предупреждал Ильинский, — то без Института и [нрзб.] жить было бы очень трудно. Я, напр[имер], за

8 лекций получаю всего 133 р[ублей] в месяц, и из них 60 р[ублей] должен платить за комнату в Кускове с отоплением. Согласитесь, на 70 р[ублей] в Москве прожить невозможно. Правда, обещают повысить ставку до 140 р[ублей] за 6 ч[асов], но пока реально этот проект не дает ничего»<sup>315</sup>.

### **«Возвращение к предыдущему. Ничто под луною не ново»**

Страна решительно входила в эпоху «великого перелома». В самом конце 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял решение о проведении в стране колLECTIVизации. Летом 1928 г. прогремел первый серьезный политический процесс против «вредительства» — знаменитое «Шахтинское дело». Летом же начались репрессивные меры против крестьянства в ответ на так называемую «хлебную стачку». Весь этот новый курс не мог не отразиться на жизни рядовых граждан, к которым относились и работники науки. И если 12 марта А. И. Соболевский еще просто писал Н. К. Никольскому: «Как здравствуете? Я со своею артелью инвалидов кое-как переносим стоящие в Москве сильные морозы и бодримся»<sup>316</sup>; то письмо в конце года очень напоминает письма начала 20-х гг. «Приходится отвлекаться, — сетовал ученый 3 ноября в письме Никольскому, — то, гоняясь за белой мукою, то, ища соленого масла или яиц. Сколько слышу, и у Вас тоже возвращение к предыдущему. Ничто под луною не ново»<sup>317</sup>.

К. В. Харламповичу в 1929 г. все-таки удалось после ссылки перебраться на Украину. Устроившись там, он возобновил 24 апреля 1929 г. переписку с Соболевским: «Сегодня ровно год, как я имел удовольствие свидеться с Вами в свой проезд через Москву. Хочется потому узнать, как Вы живете или, что то же, с каким успехом работаете над занимающими Вас в последнее время темами. Но и о себе есть желание сообщить Вам, так как знаю, что пользуюсь Вашим расположением». Неоднократно арестовывавшемуся и ссылавшемуся действительному члену Украинской академии Харламповичу пришлось встретиться с многочисленными трудностями. «Прошел год, — писал ученый, — как я в Нежине. В конце мая съездил в Киев, установил отношения с теми учреждениями и людьми, с которыми мне предстояло работать. Ист[орико] — филол[огический] Отдел Академии Наук причислил меня к Педагогической комиссии в качестве „постоянного нештатного руководителя секции“ истории украинской школы. Создавалась новая должность для меня, каковую я должен был занять с октября, после ее утверждения. Пока же решили мне платить по 70 р[ублей] из организационных средств комиссии. До октября я и получал». «Но, — сетовал

Харлампович, — утверждение новых штатов затянулось до марта, когда выяснилось, что занятие утвержденных должностей должно произойти по конкурсу. Подал заявление, но большой надежды на успех не имею».

Начались материальные трудности, ученого пропал постоянный источник дохода. «С октября, — сообщал он Соболевскому, — живу авансами под гонорар за рецензии в „Україні“. Но там не много нарабатываешь при 6 книжках в год...» «Правда, — грустно замечал ученый, — мне теперь одному немного нужно»<sup>318</sup>. В начале года Харлампович овдовел, после чего поселился вместе с Д. И. Абрамовичем, также обосновавшимся на Украине после Соловецкого лагеря. Условия жизни и работы располагали ученого к философским обобщениям. «С Нежином оба мы освоились, — заключал он, — и никуда нас не тянет. Впрочем, теперь потеряла силу поговорка: „Там хорошо, где нас нет“. Судя по всему, и там плохо»<sup>319</sup>. Это письмо стало последним, полученным Соболевским от Харлампова. Ровно через месяц, 24 мая 1929 г., А. И. Соболевский скончался.

Отечественную славистику в 1929 г. постигла еще одна тяжелая потеря: 24 ноября скончался П. А. Лавров. Обе эти кончины, пришедшиеся на тяжелое время открытого давления властей на Академию наук, сопровождавшегося кампаниями ожесточенной травли и арестов, вызывали у коллег покойных академиков грустные размышления. А. И. Томсон писал Б. М. Ляпунову 1 декабря 1929 г.: «Хотя я знал о болезни Петра Алексеевича (Лаврова. — *M. P.*), но никак не ожидал такой скорой развязки. Алексей Иванович (Соболевский. — *M. P.*) открыл шествие *ad patres*\* нашего поколения. Теперь и моя очередь не за горами, хотя не знаю, с какой стороны меня возьмет, т. к. сейчас вполне здоров. Но наступит скоро восьмой десяток, и этого достаточно. Впрочем, большой привязанности к этому сирому существованию нечувствую. Работаешь по привычке — этим убиваешь день за днем»<sup>320</sup>. Тем не менее жизнь продолжалась, и ученый в том же письме интересовался у коллеги: «Кстати, что у Вас получает профессор и что академик? Наша ставка за 7–8 лекций пока 205 р. первому разряду. Говорят о предстоящем увеличении, но этих сложных расчетов не поймешь»<sup>321</sup>. Через месяц, 30 декабря, Томсон сетовал Ляпунову: «Пока все разные беспокойства, то студенты изводят, то комнату хотят отнять»<sup>322</sup>.

Подавив сопротивление Академии наук, лишив ее остатков самостоятельности, власти лишили академиков и некоторых привилегий, возможно, в виде наказания за проявленную ранее строптивость. Это относилось в первую очередь к В. И. Вернадскому, открыто выражавшему недовольство насаждением в Академию партийных функционе-

\* *ad patres* — (*лат.*) отправиться к праотцам, умереть.

ров. Ученый в раздражении писал В. П. Бузескулу 25 марта 1930 г.: «У нас сверх всяких бед сейчас новая — нас обкладывают в 5–6 раз квартирной платой, всех академиков, живущих в академических квартирах! Совершенно невозможная становится жизнь»<sup>323</sup>.

Фактическое вытеснение из преподавания традиционного языкоznания, в том числе и славистики, заставляло ученых покидать ниву преподавания и начинать хлопоты о пенсии. Экономическая политика властей возродила проблемы, которые представители научной элиты уже переживали, — рост цен и безденежье, распределительная система, обострение квартирного вопроса. Перспектива выхода на пенсию при таких условиях не сулила ученым ничего хорошего. Будущее выглядело еще безнадежнее, чем прежде. Г. А. Ильинский сообщал Ляпунову 29 апреля 1930 г.: «С мая и мне придется начать хождение по пенсионным мукам»<sup>324</sup>.

Все, что происходило в стране, заставляло ученого горестно восклиять в новогоднем поздравлении Ляпунову 10 января 1931 г.: «О, если бы он был хоть немного счастливее своего мрачного предшественника!»<sup>325</sup> Жить на пенсию становилось все труднее, но когда 77-летний член-корреспондент Академии наук К. Я. Грот попытался обратиться к влиятельной фигуре в научной сфере Н. С. Державину с просьбой похлопотать об увеличении пенсии, то получил достаточно холодный ответ. «Получаемая Вами персональная пенсия, — писал Державин 23 февраля 1931 г., — исключительно высокая, какую редко кто получает, но само собою разумеется, в условиях сегодняшней дороговизны она гроши»<sup>326</sup>. Государство лишало ученых возможности получать дополнительные средства. Об этом неприятном решении Державин также информировал Грота: «ЦЕКУБУ, по имеющимся у нас сведениям, окончательно ликвидируется, следовательно, тем самым ликвидируются и всякие возможности получения Цекубовского пособия»<sup>327</sup>.

Завершал свою преподавательскую деятельность и Томсон. «Материально будет туго, — писал он Ляпунову 24 марта 1931 г., — но лекций осталось мало после уничтожения курса сравн[ительного] языковедения, так что разница не особенно велика. Хлеба и керосина мало дают, осенью было достаточно. [...] Как здоровье Карского и Истрина?»<sup>328</sup> Через месяц с небольшим Томсон, не получив ответа, с беспокойством писал Ляпунову 2 мая: «Давно не имею известий от Вас. Как здоровье Ваше, что Карский?» Далее он описывал проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться и которые предстояли в будущем. «Я уже месяц тому назад подал заявление об отставке, — сообщал Томсон, — но до сих пор не могу получить увольнения, которое в принципе решено. Конечно, жить будет трудно на 205 р. при дорогоизне нынешней. Особенно разорительна покупка добавочного хлеба. У нас предстоит сокращение жилищной площади, вероятно, по расче-

ту 2 саж[ени] на человека, как и у Вас. Напишите, пожалуйста, сколько к 2 саженям прибавляется Вам на кабинет и библиотеку? [...] Жду скорого ответа относительно квартирного вопроса»<sup>329</sup>.

Проблема сохранения здоровья в условиях материальных трудностей и морального угнетения стала очень актуальной. Беспокойство Томсона оказалось вполне оправданным. Ученый писал свое письмо 2 мая, не зная, что 29 апреля Е. Ф. Карский скончался. Менее чем за месяц до этого, 1 апреля 1931 г., скончался другой академик — В. П. Бузескул. Почти сразу же на кончину Карского отзвались его коллеги-слависты из-за границы. Так, о мероприятиях памяти ученого в Чехословакии Ляпунову 29 мая писал В. А. Францев: «Коллега Мурко передал мне Ваше печальное уведомление о смерти дорогого Евгения Федоровича. Мы узнали о его кончине из газет. Вчера в нашем Историч[еском] Общ[естве] почтили его память особым чтением о его ученой деятельности»<sup>330</sup>. Из письма не следует, из каких газет информацию о кончине Карского почерпнули его коллеги, возможно, что из эмигрантских.

О поведении советской прессы возмущенно писал тому же Ляпунову 13 июня Ильинский. Ученый не мог не откликнуться на оба печальных события и начинал письмо с воспоминаний о Бузескуле: «Смерть В. П. Бузескула произвела на меня удручающее впечатление. Со времени моего Харьк[овского] прив[ат]-доцентства (1907–1909 гг.) я хранил о нем самые лучшие воспоминания как об ученом, в котором глубокая ученость гармонически соединялась с высотой морального характера, — что, как известно, встречается весьма нечасто в мире научных работников». Далее Ильинский писал о том, что его глубоко возмутило: «О смерти Бузескула было в центральных „Известиях“ официальное уведомление от Академии, но странно, что кончина Карского осталась ею не оповещенной, и вообще в здешней прессе она не вызвала ни малейшего отклика!!!»<sup>331</sup> Не исключено, что такое невнимание к фигуре Карского официальной прессы может объясняться травлей «великодержавных ученых», развернувшейся в белорусской прессе, нашедшей отражение в начале 1931 г. и в центральных изданиях. Здесь особо отмечались и Н. Н. Дурново, и Ляпунов, и Карский, который шел в паре с уже находившимся под арестом С. Ф. Платоновым<sup>332</sup>.

Положение вышедшего на пенсию Томсона становилось все более незавидным. «Я пенсии до сих пор не получаю, — сообщал ученый Ляпунову 17 июля 1931 г., — но есть кое-какие прежние заработки. С пишкой скверно + дорогоизна»<sup>333</sup>. К осени ситуация настолько ухудшилась, что даже предложения напечатать свои работы, всегда так интересовавшие Томсона, не привлекли ученого. «Ни в Известия, ни [в] Сб[орник] в пам[ять] Карского писать не собираюсь, — сообщал он Ляпунову.

ву 9 октября. — Не до того. Не хватает хлеба и керосина, а получаю только полпенсии (102 р[убля]), которую получал уже несколько лет. О полной пенсии подал прошение 22 мая, и повторял его, но ответа нет». Условия жизни ученого вновь вплотную приблизились к быту эпохи военного коммунизма. «Живем остатками прошлого заработка и продажей вещей, — сообщал Томсон, — и хочу приобрести большую пилу, чтобы в компании с каким-н[ибудь] бояком заняться более выгодным промыслом — распилкою и рубкою дров, когда они появятся. [...] Живем по-прежнему, с той разницей, что я вм[есто] науки помышляю о насущем хлебе»<sup>334</sup>. Зима 1932 г. принесла с собой, казалось бы, давно забытую проблему — холод в квартире. «Пока из-за холода и хозяйственных хлопот, — писал Томсон Ляпунову 30 января, — работать не удается, т.к. жена и Марита (дочь Томсона. — M.P.) все хворают и мне приходится добывать, дрова рубить и пр[очее]. В большой комнате ок[оло] 7°—9°. Но, в общем, сносно: табаку достаточно, дров при экономии хватает на топку маленькой комнаты, здоров и довolen своим положением»<sup>335</sup>.

Долго без исследовательской работы Томсон уже обойтись не мог и весной стал строить научные планы, хотя условия жизни по-прежнему этому не способствовали. «Писать и работать сейчас еще затруднительно, — информировал ученый Ляпунова 22 марта 1932 г., — т[ак] к[ак] в большой комнате холодно и сидим обыкновенно в маленькой, где сравнительно тепло; но в ней нет мне места для писания, можно только читать. Новых журналов и книг по лингвистике у нас почти нет. Хочу этой весной и летом закончить работу по происхождению славянской письменности, но пока всё 1–4 гр[адуса] мороза с постоянным снегом или грязью. К тому же вопрос о питании не позволяет много уклоняться в сторону». И вновь Томсон повторял: «Очень довolen своим положением пенсионера, хотя, конечно, материально тugo приходится»<sup>336</sup>. Очевидно, что преподавание при постоянном давлении идеологических контролеров так опостылело ученому, что он был готов за освобождение от морального гнета переносить материальные невзгоды.

Даже с уходом на пенсию Томсон продолжал испытывать недоброжелательное отношение властей, болезненно задевавшее его самолюбие. Так, 5 августа 1933 г., он писал Ляпунову: «Я сижу больше дома за работой или на балконе. Только теперь получил извещение, что буду получать 300 р. в месяц пенсии, а то все бывшие преподаватели среди[их] учеб[ных] заведений, преподававшие на Рабфаках и года 2 в Институте, уже давно получают 300 р[ублей], только я 260 за 45 лет службы в Высших». «Впрочем, — не унывал ученый, — имею сносное снабжение, а теперь и у нас открылась продажа хлеба: белого 4 р[убля], темного 2.50 к[ило]гр[амм], кроме пайкового». После более чем недельного перерыва 14 августа ученый, продолжая текст открытки,

сообщал: «Я хожу для разнообразия за пайками»<sup>337</sup>. Томсон сообщал Ляпунову 1 октября о сумме своих необходимых ежемесячных трат. «Мои 2 комнаты с водой, — писал он, — в среднем 70 руб[лей] в месяц, а, в общем, в месяц выходит не менее 400 руб[лей]». Как следует из письма, постепенно Томсон лишился всего, что удавалось заработать, и всего накопленного ранее имущества: «Были сбережения от жалованья, которое иногда выплачивалось с большим опозданием разом. Продавали постепенно пианино, мебель мягкую, столы, ножи, ложки, колечки и пр[очее]»<sup>338</sup>. Вспоминая прошедший год, ученый мог оценить его только в мрачных тонах: «В последний год до лета 1932 г. жилось плохо, пайки ничтожные». «А с прошлой осени, — оптимистично продолжал Томсон, — пользуясь хорошим распределением и — с тех пор сыты. Имеем постоянно молоко и мясо большей частью, и масло даже. Только хлеб с зимы до сентября черный, аржаной, сейчас пока половину дают белым»<sup>339</sup>.

Письмо Томсона является, с одной стороны, ярким свидетельством того, какие трудности вновь пришлось пережить ученым в последние годы его жизни, с другой — до какой степени жизненные невзгоды привыкли человека науки быть непрятязательным в своих потребностях.

Материальные трудности преследовали большинство ученых на протяжении всего послереволюционного пятнадцатилетия. Угроза голодной смерти, перспектива замерзания в собственной квартире, «уплотнение» периодически возвращались, лишь видоизменяя свои формы. Старшее поколение, достигшее к 1917 г. определенного материального благополучия, крайне тяжело переносило сложившееся положение, особенно первого послереволюционного пятилетия. Некоторые ученые, обремененные большими семьями, состоявшими, как правило, не только из детей, но и многочисленных родственников, являлись единственными кормильцами. Организованная властями система пайков, безусловно, способствовала выживанию научной элиты страны. Но помочь была нерегулярной, объем и качество пайков в разных регионах страны были различны. Никакие пайки не спасали от холода зимой и тяжелой физической работы по отапливанию квартир. Именно она чаще становилась конечной причиной смерти ученых. Но общие тяготы способствовали и сплочению научного сообщества. Все, кто мог, стремились помочь своим более нуждавшимся коллегам. Переписка, несмотря на обстоятельства Гражданской войны, была очень активной. Она переполнена информацией прежде всего об условиях жизни, здоровье или об уходе из жизни коллег, об общем положении, а также всевозможными слухами.

Можно констатировать, что личные материальные испытания и более чем скромное финансовое положение Академии наук не добав-

ляли большинству членов научного сообщества уважения к тем руководителям Академии, которые старались быть особенно лояльными по отношению к властям, за что, по-видимому, и пользовались дополнительными благами. Но вполне возможен был и обратный эффект: память о пережитых страданиях могла способствовать проявлению не просто лояльности, но и желанию идти в ногу с вводимыми или одобряемыми властями новшествами.

Зачастую условия существования определяли место жительства многих ученых. С одной стороны, такая ситуация вызывала распыление и без того немногочисленных научных кадров высочайшей квалификации, а с другой — повлияла на возникновение и развитие новых научно-педагогических центров на территории России. Улучшение бытовых условий после Гражданской войны в Петрограде-Ленинграде и Москве вело к концентрации науки в этих городах, иногда отрицательно влияя на жизнь провинциальных университетов<sup>340</sup>.

Отделение русского языка и словесности понесло к началу 1920-х гг., а потом и в их конце тяжелейшие потери. Некоторые из них драматически отразились на дальнейшем существовании классического славяноведения. Со смертью Шахматова русское славяноведение потеряло как своего научного лидера, так и человека, пользовавшегося достаточным весом и авторитетом у новых властей.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 181. Л. 55–55 об.
2. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 16–16 об.
3. Там же. Д. 176. Л. 37.
4. Там же. Л. 37об.
5. Там же. Д. 197. Л. 16–16 об.
6. Там же. Л. 16 об.–18.
7. Там же. Л. 18.
8. Там же. Л. 18–18 об.
9. ИРЛИ. Ф. 226. Д. 25 (номер листа отсутствует).
10. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 883. Л. 179 об.
11. Там же. Л. 180.
12. Там же. Л. 180–180 об.
13. Там же. Л. 179 об.
14. Там же. Ф. 208. Оп. 3. Д. 652 Л. 23.
15. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 216.

16. Там же. Л. 219.
17. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 11, 11 об.
18. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 214.
19. АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Д. 42. Л. 61.
20. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 219.
21. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 26 об.–27.
22. Там же. Л. 28 об.–29.
23. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 31 об.
24. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 221.
25. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 17–17 об.
26. Там же. Л. 18.
27. Там же. Д. 161. Л. 10.
28. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 225.
29. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 32.
30. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 31.
31. ПФА РАН. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457. Л. 7–7 об.
32. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 41.
33. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 33.
34. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1429. Л. 52–52 об.
35. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 36 об.
36. Там же. Л. 38 об.
37. Там же. Д. 161. Л. 6 об.
38. Там же. Л. 5 об.
39. Там же. Л. 7.
40. Там же. Л. 10.
41. Там же. Л. 11.
42. Там же. Л. 10 об.
43. Там же. Л. 13–13 об.
44. Там же. Л. 13 об.
45. Там же. Л. 16, 16 об.
46. Там же. Л. 22.
47. Там же. Л. 19, 19 об.
48. ИРЛИ. Ф. 141. Д. 80. Л. 1.
49. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 21
50. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 705. Л. 49.
51. Там же. Л. 49 об.
52. Там же. Л. 49 об.–50.
53. Там же. Л. 50.

54. Там же. Л. 51–51 об.
55. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 36 об.
56. Там же. Л. 36.
57. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 705. Л. 52 об.
58. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 62.
59. Там же. Л. 62 об.–63.
60. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 39.
61. Там же. Л. 37 об.
62. Там же. Л. 37.
63. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 25.
64. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 38.
65. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 30.
66. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 38.
67. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 26.
68. АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Д. 42. Л. 63. .
69. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 12 об.–13.
70. Там же. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457. Л. 10.
71. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 45.
72. ПФА РАН. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457 Л. 11.
73. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 45–45 об.
74. ПФА РАН. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457 Л. 11.
75. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 46.
76. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 245.
77. Организация науки в первые годы Советской власти (1917–1925). Л., 1968. С. 339.
78. Соболев В. С. Для будущего России. СПб., 1999. С. 66.
79. ПФА РАН. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457. Л. 11.
80. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 46.
81. Там же. Д. 78. Л. 59 об.
82. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 27.
83. Там же. Д. 161. Л. 25–26.
84. Там же. Л. 146.
85. Там же. Д. 392. Л. 21.
86. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 12.
87. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 28–28 об.
88. Там же. Л. 27.
89. Там же. Л. 28 об.
90. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 10.

91. Там же. Л. 11.
92. Кулаковский С. Памяти Алексея Ивановича Соболевского // Россия и славянство. 1929. 15.VI. С. 4. Благодарю А. Н. Горяинова за указание на это издание.
93. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1429. Л. 42.
94. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 59 об.
95. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 12 об.
96. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 12 об.
97. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 45 об.
98. Там же. Д. 78. Л. 41 об.–42.
99. Там же. Д. 91. Л. 46.
100. Там же. Л. 47 об.
101. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 247.
102. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1170. Л. 1-2.
103. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 29–29 об.
104. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 49–49 об.
105. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 13 об.
106. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 8–8 об.
107. Там же. Л. 10–11.
108. Там же. Л. 10 об.
109. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 42.
110. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 31 об.–32.
111. Там же. Д. 147. Л. 32.
112. Там же. Л. 29.
113. Там же. Л. 29 об.
114. Там же. Л. 34.
115. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 44.
116. Там же. Л. 45.
117. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 28.
118. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 13 об.
119. Там же. Л. 13.
120. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 72 об.
121. Там же. Л. 4 (нарушена пагинация, после листов 71–72 об. должны следовать листы 4–5 об.)
122. Там же. Л. 5 об.
123. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 35.
124. Там же. Л. 35 об.
125. Там же. Л. 35, 35 об.

126. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 14.
127. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 14–15.
128. Там же. Л. 14 об.
129. Там же. Л. 15.
130. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 41.
131. Там же. Л. 43 об.
132. Там же. Л. 45 об.
133. Там же. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457. Л. 7.
134. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 7.
135. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 16–16 об.
136. Там же. Л. 22–22 об.
137. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 25.
138. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 42.
139. Там же. Л. 40.
140. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 33. \*
141. Там же. Л. 43.
142. Там же. Л. 36 об.
143. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 12–12 об.
144. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 65.
145. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1725. Л. 3.
146. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 42.
147. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 176. Л. 37об.
148. Там же. Д. 182. Л. 32.
149. Цит. по: Письма Е. В. Тарле к В. Э. Грабарю (1918–1934) / Публ. Б. С. Кагановича // Минувшее: Исторический альманах. СПб., 1998. Т. 23. С. 272.
150. Цит. по: Письма Е. В. Тарле к В. Э. Грабарю... С. 274.
151. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 37.
152. Робинсон М. А. Эпистолярное наследие академика А. А. Шахматова // Ареографический ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 233.
153. ПФА РАН. Ф. 849. Оп. 3. Д. 457. Л. 7 об.
154. Цит. по: Письма Е. В. Тарле к В. Э. Грабарю... С. 280.
155. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 705. Л. 50.
156. Там же. Л. 54.
157. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 41.
158. АРАН. Ф. 518. Оп. 3 Д. 1829. Л. 26.
159. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 38–38 об.
160. Цит. по: Письма Е. В. Тарле к В. Э. Грабарю... С. 284.
161. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 309. Л. 1.

162. Там же. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 43.
163. Там же. Л. 37–37 об.
164. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 10–11.
165. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 19.
166. Там же. Л. 35 об.
167. Там же. Л. 38.
168. Там же. Д. 161. Л. 146.
169. Там же. Л. 146 об.
170. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 11.
171. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 16–16 об.
172. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 28 об.
173. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 42 об.
174. *Макаров В. И. А. А. Шахматов. М., 1981. С. 145.*
175. О Е. П. Казанович и ее дневнике см.: Из дневника Е. П. Казанович / Публ. В. Н. Сажина // Пушкинский Дом. Статьи, документы, библиография. Л., 1982.
176. РНБ. Ф. 326. Д. 18. С. 66–68.
177. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 109. Л. 13.
178. Там же. Д. 118. Л. 32–33 об.
179. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 13 об.
180. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 35, 35 об.
181. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 71–72 об.
182. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 14.
183. *Робинсон М. А. А. А. Шахматов и обыск в библиотеке Академии наук в 1910 году // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1974. Т. 33. № 2. С. 107–113.*
184. РНБ. Ф. 326. Д. 18. С. 72.
185. Там же. С. 74.
186. Там же. С. 75.
187. *Соболев В. С. Для будущего России... С. 67.*
188. Там же. С. 71.
189. РНБ. Ф. 326. Д. 18. С. 94–95.
190. Там же. С. 98.
191. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 27–27 об.
192. Там же. Д. 151. Л. 20.
193. Там же. Д. 118. Л. 55–55 об.
194. Там же. Л. 61.
195. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 49 об.
196. Там же. Л. 49.

197. Там же. Л. 49 об.
198. Там же. Л. 49–49 об.
199. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 27 об.–28.
200. Там же. Л. 28.
201. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 36–36 об.
202. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 48.
203. Там же. Л. 48 об.–49.
204. Там же. Л. 48 об.
205. Соболев В. С. Для будущего России... С. 71.
206. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 147. Л. 37 об.
207. Там же. Л. 40.
208. Там же. Л. 31.
209. Там же. Л. 35 об.
210. Там же. Л. 35 об.
211. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 54. Л. 1.
212. Там же. Л. 3 об.–4.
213. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 182. Л. 42 об.–43.
214. Там же. Л. 41.
215. Там же. Л. 46.
216. Там же. Л. 47–47 об.
217. Соболев В. С. Для будущего России... С. 70.
218. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 22–22 об.
219. Там же. Л. 22 об.
220. Там же. Л. 23.
221. Там же. Л. 22.
222. Там же. Л. 23, 23 об.
223. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 17 об.
224. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 42–42 об.
225. Там же. Л. 24–24 об.
226. Там же. Л. 24 об.
227. Там же. Д. 161. Л. 145.
228. Там же. Л. 42.
229. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 30–30 об.
230. Там же. Л. 30 об.–31.
231. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 50 об.
232. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 45 об.
233. Там же. Л. 45 об.
234. Там же. Д. 182. Л. 50.

235. Там же. Л. 51.
236. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 40.
237. Там же. Л. 42.
238. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 19.
239. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 26.
240. Там же. Л. 26 об.
241. Там же. Л. 27 об.
242. Там же. Л. 29.
243. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 33.
244. Там же. Л. 34 об.
245. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 3 об.
246. Там же. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 7 об.
247. Там же. РГАЛИ. Ф. 443. Оп. 1. Д. 290. Л. 22.
248. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 95. Л. 40 об.
249. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 373. Л. 1–1 об.
250. Там же. Д. 238. Л. 8–8 об.
251. Там же. Д. 373. Л. 4.
252. Там же. Л. 4–4 об.
253. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 49.
254. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 373. Л. 4 об.
255. Там же. Д. 290. Л. 43–43 об.
256. Там же. Д. 392. Л. 34 об.
257. Там же. Д. 161. Л. 54 об.
258. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 50. .
259. ПФА РАН. Ф. 284. Оп. 3. Д. 190. Л. 4 об.
260. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 53–53 об.
261. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 103 об.
262. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 61.
263. Там же. Л. 62–62 об.
264. Там же. Л. 62 об.
265. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 31–31 об.
266. Там же. Л. 31 об.
267. Соловьев Ю. И. Почему академик В. Н. Ипатьев не стал нобелевским лауреатом // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 7. С. 629.
268. Цит. по: История полувековой дружбы / Публ. А. Сергеева и А. Тюрина // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1995. Т. 18. С. 390–391.
269. Соловьев Ю. И. Почему академик В. Н. Ипатьев не стал нобелевским лауреатом... С. 630.
270. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 35.

271. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 64 об.
272. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 38.
273. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 7 об.
274. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 65–65 об.
275. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 74.
276. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 50 об.
277. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 52.
278. Там же. Л. 51 об.
279. Там же. Л. 52.
280. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 11–11 об.
281. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 10.
282. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1929. Д. 253. Л. 57.
283. Там же. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 48.
284. ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 487. Л. 7 об.
285. Там же. Л. 7 об.–8.
286. Там же. Л. 8–8 об.
287. Там же. Л. 8 об.
288. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 60 об.–61 об.
289. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 13 об.
290. Там же. Д. 290. Л. 51–52.
291. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 62–63 об.
292. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 56.
293. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 118.
294. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 81.
295. Там же. Л. 81 об.–82
296. Там же. Л. 82–82 об.
297. Там же. Л. 88 об.
298. Там же. Л. 97 об.
299. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 160. Л. 34–34 об.
300. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 37–37 об.
301. Там же. Л. 53–53 об.
302. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 160. Л. 39–39 об.
303. ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 287. Л. 28 об.–29 об.
304. О подобных же трудностях Петухов писал и до переезда из Воронежа на юг, в частности, в 1919 г. А. И. Соболевскому, см.: *Лаптева Л. П. Профессор Юрьевского университета Е. В. Петухов как славист // Славянский альманах 2003. М., 2004. С. 142–143.*
305. ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 287. Л. 31 об.–32.
306. Там же. Л. 32.

307. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 123.
308. Там же. Л. 129 об.
309. Там же. Л. 130.
310. Там же. Л. 129 об.
311. Там же. Л. 120.
312. Там же. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 12. Л. 8, 8 об.
313. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 55 об.
314. Там же. Л. 58 об.
315. РГАЛИ. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 17. Л. 1 об.
316. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 649. Л. 26 об.–27.
317. Там же. Л. 24.
318. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 61–61 об.
319. Там же. Л. 63.
320. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 126.
321. Там же. Л. 126.
322. Там же. Л. 127 об.
323. Там же. Ф. 825. Оп. 2. Д. 33. Л. 7 об.
324. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 267 об.
325. Там же. Л. 295.
326. Там же. Ф. 281. Оп. 2. Д. 139. Л. 4.
327. Там же. Л. 5.
328. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 139 об.
329. Там же. Л. 140 об.
330. Там же. Д. 338. Л. 3.
331. Там же. Д. 117. Л. 317 об.
332. Вольфсон С. Классовая борьба на научном фронте Белоруссии// ВАРНИТСО. 1931. № 1. С. 42.
333. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 144 об.
334. Там же. Л. 145 об.
335. Там же. Л. 147 об.
336. Там же. Л. 138 об.
337. Там же. Л. 160 об.
338. Там же. Л. 161 об.
339. Там же. Л. 161 об.–162.
340. См., например: *Лебедева Е. В. Профессорско-преподавательский состав Самарского государственного университета. 1918–1925 гг.* // Самарский край в контексте российской истории: II Международная научно-практическая конференция «Самарский край в контексте мировой культуры», 11–14 июня 2002 г. Самара, 2002. С. 230, 237.

## ГЛАВА III

### «НОВАЯ РЕЛИГИЯ» ВМЕСТО НАУКИ: ПРОТИВНИКИ И СТОРОННИКИ

#### **«Беда да и только с этими яфетидами»**

С началом формирования тоталитарного государства новым для профессиональной науки рассматриваемого периода было развитие и внедрение в нее марксизма как «единственно верной» методологической основы для всех отраслей знания. Марксизм и типологически сходные и по сути родственные ему течения, такие как социологизм в литературоведении и так называемая «школа Покровского» в исторической науке, объявляли себя носителями новых истин благодаря освоению новой марксистской методологии и на этом основании открыто претендовали на господствующее место в науке. Отношение представителей академической элиты — славистов к вторжению радикальных политических изменений из общественной жизни в область науки было в основном таким же, как и специалистов-гуманитариев вообще, но имело и свои особенности. Новые веяния политico-методологического характера имели для славистики в широком смысле особенно серьезные негативные последствия. Мы попытаемся в данном разделе охарактеризовать некоторые «прогрессивные» течения, оказавшие существенное воздействие на гуманитарные науки в целом, показать реакцию на складывавшуюся в науке ситуацию наиболее известных славистов, принадлежавших к академической элите.

Для академической славистики, обращенной в основном к общеславянским и национальным древностям, к кирилло-мефодиевской проблематике, к изучению церковнославянского языка и т. п., наступили тяжелые времена. Генетически славистика была связана с идеями «славянской взаимности», возникшими в общественном сознании на заре формирования славяноведения как науки в первой трети XIX в. Обоснованием славяноведения как особой отрасли научного знания служили не только факты исторической и культурной близости славянских народов, но всегда и прежде всего их языковое родство. Изучение этого родства составляло отдельную область славянской филологии и приобретало для последователей традиционного академического славяноведения особое методологическое значение. Так, известный славист-филолог Г. А. Ильинский в специальной статье «Что такое славянская филология?», опубликованной в 1923 г., подчеркивал, что «как ингредиент и главное условие национального самосоз-

нания славянская филология должна составлять необходимый элемент научного мировоззрения всякого работающего среди славянских народов гражданина»<sup>1</sup>. Казалась бы, что ничто не может поколебать основы славянской филологии, науки хорошо развитой и опиравшейся на давно доказанное родство славянских языков.

Однако новые государственные идеологии предпочитали культивировать не национальное, а классовое и интернациональное самосознание. Идея славянской взаимности оказалась совершенно не нужной новой власти и была признана вредной с точки зрения как внешней, так и внутренней политики. Кроме того, на научной ниве у славистики появился принципиальный противник — «яфетидология», или «новое учение о языке», выдвинутое и развитое академиком Н. Я. Марром в начале 1920-х гг. Оно поистине стало «новым словом» в области лингвистики. Таким образом, к внешнему давлению чисто политического свойства на старые академические кадры добавилось и третирование их со стороны представителей новых течений, возникших внутри самой науки.

Нет смысла вдаваться в подробное описание лингвистических изысканий Марра, сейчас его «яфетидология» лишь эпизод в истории языкознания<sup>2</sup>. Отметим только, что «учение» полностью отрицало все предшествующее языкознание. Сам Марр, его последователи и толкователи утверждали, что «яфетическая теория отбрасывает само понятие национального, внесословного, внеклассового языка как понятие ненаучное», провозглашает «классовый характер звуковой речи», что не существует «никаких „праязыков“», и «не существовало никогда „расовых“ языков»<sup>3</sup>. Марр доказывал, что все языки развиваются в результате взаимного скрещивания через революционный взрыв, проходят одни и те же стадии, соответствующие разным ступеням социально-экономического развития общества; кроме того, язык являлся продуктом классового развития.

Столь радикальное учение, оснащенное атрибутами классового подхода, было почти сразу взято на вооружение сторонниками и пропагандистами марксистской методологии. Ибо яфетическая теория пыталась ввести в языкознание один из важнейших методологических принципов исторического материализма, сформулированный при изучении социальной истории — необходимость на определенных этапах развития общества революционных изменений. Такие методологические установки марризма были особенно близки «твердым» последователям марксизма, опиравшимся на понятие «революция» (с явным его абсолютизированием) при изучении социальной истории.

Традиционная лингвистика говорила о постепенном, эволюционном развитии языков. «Эволюционизм», так же как «объективизм» были объявлены принципами так называемой «буржуазной науки» и

подвергались наиболее ожесточенной критике апологетами новой марксистской науки. Прежние методологические школы и традиции в лингвистике ставились в один ряд с другими направлениями в гуманитарных дисциплинах, такими, например, как позитивизм в науке исторической. Таким образом, упрочение «нового учения о языке» в роли марксистского языкознания наносило сильнейший удар по классической индоевропеистике в целом и по славянской филологии в особенности. Эта теория отрицала существование определенных языковых семей и, следовательно, уничтожала важнейший признак родства славянских народов — родство языковое.

Положение славянской филологии отягощалось еще и тем, что Марр прямо называл славистику в письме своему верному стороннику и активному пропагандисту идей марризма слависту Н. С. Державину «убийственной научно»<sup>4</sup>. Марризм был безоговорочно принят на вооружение сторонниками марксизма в их борьбе с академическими традициями отечественной науки. Славянская филология, являвшаяся основой славяноведения, попадала в разряд «немарксистских», а следовательно, чуждых и опасных наук и практически отменялась.

Однако не сразу новая теория смогла утвердиться как главенствующая, профессиональный мир воспринял ее весьма скептически. Полная ненаучность идей Марра была ясна многим специалистам, а учреждения, призванные развивать «новое учение о языке», считались научно бесплодными. Так, В. Н. Перетц, поздравляя А. И. Соболевского с началом публикации его очередного труда, писал 10 января 1924 г.: «Получил новый том Ак[адемических] Известий ОРЯС с началом Ваших скифских этюдов. Очень интересно: живой укор бесплатно, но высасывающему много казенных денег „Яфетическому институту“, где трудятся такие „лингвисты“, как директор его, Дм. К. Петров, Орбели и пр[очие] любители сих дел»<sup>5</sup>. Византинист С. А. Жебелев в письме В. П. Бузескулу в августе 1925 г. сетовал, что недавно он «слушал более чем странный доклад Н. Я. Марра о способах передвижения в эпоху первобытной культуры по лингвистическим данным». Сам Жебелев, как он пишет, «спасовал» перед докладчиком, но его коллега, археолог Б. В. Фармаковский, легко опроверг предположения Марра, сославшись на археологические данные. «Беда да и только с этими яфетидами в прямом и в переносном смысле», — сетовал Жебелев<sup>6</sup>.

Известный ученый воспринимал новую теорию лишь как курьез, но некоторые исследователи уже прекрасно почувствовали, чем грозит она науке. Более внимательные наблюдатели сразу же отметили интерес властей к подобным теориям. В письме, очевидно написанном в марте 1926 г., Д. К. Зеленин сообщал Соболевскому: «Новые теории теперь в особенной моде: уверяют, что Наркомпрос официально выра-

зил свое великое удовлетворение по тому поводу, что у нас, в России, появляются теперь свои собственные научные теории, и указал в качестве примера на теорию Марра, а также на теорию Ф. И. Шмита, о развитии искусства (это того самого Шмита, книгу коего „о законах истории“ когда-то „Вестник Европы“ охарактеризовал Гоголевскими словами: легкость в мыслях необыкновенная...»)<sup>7</sup>.

Особое благоволение властей к «модной» теории быстро реализовалось в придании фигуре Марра начальственного веса. Когда М. Н. Сперанский, обеспокоенный слухами о возможном переезде Марра в Москву, обратился к Перетцу за информацией, тот его успокоил. В письме от 12 апреля 1925 г. он весьма негативно оценил и личные качества Марра: «Относительно великого яфетида — сомневаюсь, чтобы он променял Питер на Москву; здесь он имеет 1) Яфетич[еский] инст[итут], 2) Акад[емию] наук, 3) Исследов[ательский] инст[итут] (член правл[ения]!), 4) Публичн[ую] библ[иотеку], 5) Акад[емию] Матерной\* культуры и еще, и еще, и еще что-то. В Москву изо всего этого он сможет перетянуть только академич[еский] оклад, а прочее? Это человек жадный и потому пойдет к Вам только тогда, когда это будет выгодно»<sup>8</sup>.

Русские слависты как внутри страны, так и за границей не были равнодушны к новшествам в отечественной науке. Еще в ноябре 1924 г. выдающийся русский лингвист Н. С. Трубецкой писал Р. О. Якобсону: «Статья Марра превосходит все, до сих пор написанное им. Но „пригвоздить“ ее рецензией — трудно. Во-первых, негде, а во-вторых, по моему глубокому убеждению, рецензировать ее должен не столько лингвист, сколько психиатр. Правда, к несчастью для науки, Марр еще не настолько спятил, чтобы его можно было бы посадить в желтый дом, но что он сумасшедший, это, по-моему, ясно... Даже и по форме статья типична для умственно расстроенного. Ужасно то, что большинство этого пока еще не замечает...»<sup>9</sup>

Н. Н. Дурново, оказавшийся в полуэмиграции в Чехословакии, в начале октября 1926 г. в письме Б. М. Ляпунову касался собственно «научных» основ «нового учения о языке». Он подчеркивал, что «яфетидологи, по кр[айней] ме[ре] Н. Я. М[арр], с маниакальной решимостью отвергают все достижения лингвистической науки, все ее методы и работают с помощью методов, которые 100 лет тому назад уже были недопустимы»<sup>10</sup>. Марр произвольно конструировал «доиндоевропейскую праоснову» всех европейских языков, привлекая для этого яфетические (кавказские) языки. На это Дурново резонно замечал, что «делить такую праоснову, если она не дала своих непосредственных потомков ни в одном из существующих или засвидетельствованных языков, конечно,

\* Перетц саркастически поименовал так Академию материальной культуры.

нельзя, и всякие старания выяснить ее характер были бы чистейшим психопатизмом», и «наконец, чтобы можно было привлекать кавказские языки к решению таких вопросов, необходимо их сравнительное изучение, а такого еще нет, почему нельзя назвать таким бред Н. Я. Марра»<sup>11</sup>.

Особенности положения Марра в Академии, манеру его поведения и «научность» его теорий отмечал и Н. К. Никольский, называвший Марра в письме Соболевскому от 19 апреля 1927 г. «современным фаворитом», «который следует правилу: моему ндраву не препятствуй, но ученые „достижения“ которого все более и более внушают подозрение в здоровье его нервной системы»<sup>12</sup>. Полуандотическую ситуацию, связанную с перспективой негативной оценки европейской наукой трудов Марра, приводил в письме Соболевскому в апреле того же года Зеленин. «В новом сборнике Н. Я. Марра, „По этапам развития яфетической теории“, — писал ученый, — есть знаменательные строки (стр. 177, примеч.): „действительно искренний бельгийский друг“ Марра (P. Peeters) предупреждает Марра, что опубликование на французском языке лекции Марра грозит ему „неминуемой опасностью погубить всю научную репутацию“ нашего академика. Тут полный параллелизм с местными частушками, припев коих звучит: „Яфети-фети-фети — дальше некуда идти!“»<sup>13</sup>

Крупный специалист в области сравнительного языкознания, специалист по кавказским языкам, славист А. И. Томсон был знаком с трудами Марра еще задолго до появления его теории. Поэтому появление «нового учения о языке» вызвало у него живейший интерес. В письме Ляпунову от 5 июня 1927 г. он подробно разбирал учение Марра с точки зрения собственно «яфетизма». В связи с этим он отмечал, что «Марровские приемы» доказать родственность таких языков как, например, грузинский и немецкий, «не научны, фантастичны», и с подобными «фантастическими сближениями спорить не приходится»<sup>14</sup>.

Необходимо отметить, что еще и сам Марр в это время не очень верил в популярность своей теории. В 1926 г. он писал своему последователю и популяризатору Н. С. Державину: «Меня смущает одно: отсутствие соработников прямых, по этой части вовсе, и начинаю думать, нужна ли кому-либо эта теория»<sup>15</sup>. Получив, очевидно, довольно холодный прием во время своей поездки по Европе, Марр весной 1928 г. вновь сетовал Державину из Парижа: «В U. R. S. S. так же, увы, как везде, [нрзб.] не языковедение, а филология. Если же говорить об яф[етической] теории, да кому она нужна? Кто и где ее поддерживает и развивает. Во всяком случае, я предупреждаю, что и далее сам буду

\* О явной психической ненормальности Марра см.: Аллатов В. М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. С. 76–78. Н. Трубецкой и Р. Якобсон считали Марра «сумасшедшим», см.: Там же. С 77.

читать только это новое учение, и для меня сейчас новое, независимо от названия, пусть называют как хотят»<sup>16</sup>. Тут Марр был явно не прав, 1928–1929 гг. — переломные для советского языкознания, убежденные последователи и пропагандисты марризма утверждали, что именно в этот период происходит «открытие и признание „нового материалистического учения об языке академика Н. Я. Марра“»<sup>17</sup>.

Поднятая на щит как истинно марксистская наука «яфетидология» действительно стала превращаться в единственное направление в лингвистике. Появились активные толкователи и пропагандисты, зачастую оспаривавшие друг у друга верность понимания нового учения. Так, во время обсуждения доклада известного сторонника марризма историка древности С. И. Ковалева<sup>18</sup> «Яфетическая теория», состоявшегося, по-видимому, в конце января — начале февраля 1928 г.<sup>19</sup> в ленинградском Научно-исследовательском институте методологии марксизма, со своими «возражениями на доклад» выступил Державин.

Для истории славяноведения конца 20-х — начала 30-х гг. представляет особый интерес позиция Н. С. Державина<sup>20</sup>, создателя первого Института славяноведения, бывшего при этом и ревностным «марристом», и приверженцем «социологизма». Державин очень рано включился в борьбу за новые методы в науке, считая себя приверженцем марксизма. В целом он похвалил «сintéзирующий доклад» Ковалева, отличавшийся, по его мнению, «исчерпывающей полнотою», однако выражал пожелание добавить доклад материалом, «который иллюстрировал бы его основные схематические положения»<sup>21</sup>. Предлагавшиеся Державиным иллюстрации с точки зрения современной науки не заслуживают особого внимания. Гораздо интереснее взгляды ученого на науку, его размышления об учении Марра, активная защита яфетической теории от ее противников.

Надо отметить, что и Ковалев уже в тезисах доклада проявил себя нисправергателем «буржуазной науки» и назвал «великодержавную» индоевропеистику «типичным продуктом империализма с его угнетением колониальных народов и малых национальностей», в то время как «яфетическая теория имеет еще огромное общественно-политическое значение» как «мощное орудие культурного раскрепощения множества „бесписьменных“ народов»<sup>22</sup>. В подобных откровениях Державин вполне солидаризировался с докладчиком, он также предрекал закат все еще «господствующей у нас индоевропеистики, все больше и больше уходящей в схоластику. Поскольку она все больше и больше замыкается в надуманную схему, отрывая факты языка от его живого носителя — человека и его жизни»<sup>23</sup>.

Верных сторонников Марра очень беспокоило отрицательное отношение к его теориям не только ученых старой школы, что можно

было предвидеть, но и представителей молодого поколения ученых, действительно занимавшихся поисками нового марксистского языкоznания. В этом они составляли для марристов серьезную конкуренцию<sup>24</sup>. «Я считаю просто недоразумением, — возмущался Державин, — ту враждебную атмосферу, которая создалась вокруг этой теории в результате агитации, исходящей из враждебных данному ученому кругов, и считаю еще более печальным недоразумением то враждебное отношение к трудам Н. Я. Марра, которое имеется сейчас в некоторых авторитетных академических кругах. Это положение вещей тем более еще печально, что указанное выше враждебное настроение академических верхов передается молодежи»<sup>25</sup>.

Державин явно присваивал себе роль почтенного ученого мэтра, познавшего последние лингвистические истины, несколько свысока глядящего на «молодежь». «Не далее как сегодня, — продолжал сетовать ученый, — напр[имер], я слышал от участника только что закрывшегося съезда словесников в Москве о том, что на этом съезде выступал, между прочим, какой-то молодой московский ученый, который говорил на серьезнейшую и ответственнейшую тему о перестройке преподавания грамматики на основах марксизма, и когда его спросили, а знаком ли он с трудами Марра, что, казалось бы, совершенно естественно для молодого ученого, собирающегося перестраивать грамматику на основах марксизма, он ответил, что этих трудов он не читал. Пример образцового невежества!»<sup>26</sup>

Далее Державин перешел от безымянной молодежи к ученым, уже достигшим очень заметного положения в науке. В ряды этой молодежи попал Е. Д. Поливанов, возглавлявший в Москве лингвистическую секцию РАНИОН. Поэтому несколько фамильярное отношение 52-летнего Державина к 38-летнему Поливанову при данных обстоятельствах выглядит достаточно неуместно. Итак, продолжал Державин: «О другом молодом московском лингвисте, хорошо всем нам известном по Ленинградскому университету, Поливанове говорят, не знаю, насколько это отвечает действительности, что он с нескрываемым презрением относится к Марру и его теориям»<sup>27</sup>. Сведения у Державина были вполне достоверными, принципиальное неприятие Поливановым претензий Марра на научность и особую марксистскую через год вылилось в открытый конфликт.

Очень не нравилось Державину, что не только в Москве и Ленинграде, но и в других университетских центрах особых восторгов у лингвистов яфетическая теория не вызывала. Возмущение Державина подобным непониманием позволило ему ненавязчиво, но достаточно определенно поставить себя рядом с Марром. «По этому же вопросу я имею специальную переписку с Харьковом, — докладывал ученый, —

где, между прочим, устраиваются специальные публичные диспуты, посвященные яфетической теории, на которых лингвистическая молодежь такими непристойными словами поносит Марра, а попутно и меня (совершенно, конечно, напрасно!), что председательствующий принужден останавливать распоясавшихся „лингвистов“ в кавычках. Я должен сказать, что это печальное явление, к сожалению, в значительной мере парализует успехи развития дела, мешает ему, отпугивает от него молодежь. А между тем, яфетическая теория по своим материалам и достижениям представляет собою колоссальный сдвиг вперед в области всего обществоведческого научного мышления»<sup>28</sup>. Завершал свое выступление Державин гимном Марру и его «новому учению о языке». Ученому нельзя отказать в мастерстве, с которым он представил откровенную лесть в форме научных рассуждений. «Я не хочу, — писал Державин, — называть яфетическую теорию Н. Я. Марра гениальным открытием. Но как иначе квалифицировать совершенно новую систему знания, построенную на совершенно новом, огромнейшем материале, и раскрывающую пред нами совершенно новые, неведомые до сих пор науке, горизонты и возможности, которую дал нам своими трудами Н. Я. Марр, я не знаю»<sup>29</sup>.

Державин весьма преуспел в распространении яфетидологии, о чем свидетельствует отзыв самого Марра на его опубликованную в 1930 г. статью<sup>30</sup>. Письмо Марра прекрасно характеризует не только успехи Державина как толкователя «нового учения о языке», но и довольно оригинальные представления Марра о собственном значении в создании этой теории. Очевидно, он считал такую самооценку марксистским пониманием роли личности ученого. Заметим, что письма Марра достаточно сложны не только по стилю, но и по форме, и по синтаксису, некоторые фразы не закончены, может отсутствовать согласование. Автор мог неоднократно открывать в тексте скобки, а закрывать их только один раз. В цитируемом нами письме есть подобные примеры.

Итак, Марр писал 8 марта 1930 г.: «Я достал Ваше изложение яфетической теории, пока дочитал до 25 стр[аницы] и окончу [в] этот вечер, пока лишь 14.18 (вечера). Если (разрешите быть совершенно откровенным и все в интересах лицемерной скромности, и дела) откинуть „аллилуйный“ характер некоторых мест с культом личности („создателя“), особенно густо в Введении, то думаю, таково мое мнение, убеждение, вынесенное из прочитанных страниц, что это изложение одно из лучших по доступности и наглядности для широкого (cum grano, конечно, salis\*) слоя, широких слоев читателей и по безуокриз-

\* cum grano salis – (*лат.*) поговорка: со щепоткой соли, т. е. с оттенком шутливости, не совсем всерьез.

ненной верности (точности) моментам переживавшимся не мною, я этого не сознавал, а) теориею скажем прямо) — общественностью, создававшей в процессе своих перерождений эту теорию в лице случайно попавшего на нужное место Марра (утверждаю, он ничто) я уже слышу, что у Вас чего-то — мол не хватает: если, говорят, у И. И. Мещанинова недохват одной вещи, то у Вас то-то страдает (не называю это „то-то“, ибо я так и не понял), готов согласиться. Что что-либо у Вас в недохвате (это „то-то“), но нет никакой возможности, кому-либо охватить всю яф[етическую] теорию (это охватить всю жизнь о ее) не столько трудно — объемом, сколько сложностью), взят лингв[истический] фарватер, и Вы плывете глубоко по правильному курсу»<sup>31</sup>.

Уже однажды высказав твердое мнение о фантастичности марровской интерпретации яфетидологии, Томсон, по-видимому, еще не ощущал особой угрозы от нее для основ филологической науки. Его интересовали больше моральные аспекты отношения к Марру. Так, 13 марта 1928 г. он сообщал Ляпунову: «Получил от Директора Института сравнит[ельной] истор[ии] литер[атур] и языков Запада и Востока Державина приглашение прислать статью в юбилейный Сборн[ик] Марру. Хотя я пользуюсь случаями возможности печатать, но здесь едва ли удобно»<sup>32</sup>. Через два месяца, 14 мая Томсон в письме Ляпунову, рассуждая об авторе одного неплохого, на его взгляд, учебника, тем не менее отмечал: «Но недостаток его в том, что он пустился в общее языковедение, не поработав предварительно в фактической истории какого-н[ибудь] языка». Ученый был твердо уверен: «Об общих вопросах имеет право рассуждать только тот, кто сам годами барабатался в разрешении частных вопросов и потому может говорить по опыту, не с чужих слов. Конечно, отсутствие общего языковедения, или вернее лингвистической школы — как противоположность — создает, напротив, практиков-фантазеров, вроде Марра». И тут Томсон ради объективности считал своим долгом отметить: «Но у Марра есть дальние филолог[ические] работы по изданию древнеармянск[их] и, вероятно, грузинских памятников»<sup>33</sup>.

#### «Своего рода лингвистическое православие»

В 1928 г. весьма определенно высказался об учении Н. Я. Марра официально признанный глава общественных наук в СССР М. Н. Покровский. Он безапелляционно утверждал, что «сами факты наталкивают добросовестного исследователя на марксистскую точку зрения». По его мнению, «такова судьба одной лингвистической теории, представляющей собою, вероятно, высшее достижение науки о языке в на-

стоящий момент — яфетиологии. Об этой теории правильно было сказано одним ленинградским товарищем, что ей необходимо открыто признать марксизм, как свою общефилософскую и социологическую базу, марксизму необходимо принять яфетическую теорию как свой лингвистический отдел»<sup>34</sup>.

В свете подобных суждений Г. А. Ильинский 5 ноября 1928 г.\* в письме в Болгарию другому русскому слависту М. Г. Попруженко очень точно отреагировал на складывающуюся ситуацию: «В области филологии у нас задает тон Николай Яковлевич Марр своей яфетической теорией, которая представляет собой (чтобы не сказать худшего) бред сумасшедшего. И, тем не менее, эта сплошная ерунда будет у нас, вероятно, скоро объявлена общеобязательной для всех лингвистов „православной системой языкоznания“, и горе тем, которые позволяют назвать эту „теорию“ ее настоящим именем»<sup>35</sup>. 16 ноября 1928 г. он вновь писал Попруженко: «...почти официальный характер получила „яфетическая теория“ Марра, представляющая своеобразную смесь невежества, святой наивности и самой дикой фантазии»<sup>36</sup>.

И действительно, не только представители старшего поколения не принимали марризма. Именно Е. Д. Поливанов в феврале 1929 г. предпринял отчаянную попытку остановить победное шествие «нового учения о языке». Он выступил с докладом, длившимся почти три часа, «Проблема марксистского языкоznания и яфетическая теория» в Подсекции материалистической лингвистики Коммунистической Академии в Москве, в котором доказал полную несостоятельность притязаний марризма как на лингвистическую ценность, так и на марксистскую его принадлежность<sup>37</sup>. Единственным ученым, поддержавшим Поливанова, оказался Ильинский<sup>38</sup>. Об этом он вскоре после дискуссии 15 марта писал Б. М. Ляпунову: «...а тут я еще недавно имел неосторожность выступить в здешней Коммунистической Академии, вместе с небезызвестным Вам Е. Д. Поливановым на диспуте о пресловутой яфетической теории, причем с полной откровенностью высказал свое мнение об этой фантасмагории...»<sup>39</sup>

Позиция Поливанова не встретила поддержки, да и не могла уже ее встретить, ибо, открывая заседание, его председатель В. М. Фриче, безусловный авторитет того времени в области марксизма, редактор журнала «Литература и марксизм», отметил, что «точка зрения Коммунистической Академии на работы Н. Я. Марра совершенно определенная. Николай Яковлевич является председателем нашей лингвистической подсекции потому, что из всех концепций из этой области в ней содер-

\* В публикации письмо неверно отнесено к ноябрю 1926 г. В письме упоминается собрание памяти Ф. И. Успенского, который скончался 10 сентября 1928 г.

жится наибольшее количество элементов, близких к марксизму»<sup>40</sup>. Было также особо отмечено, что Марр — член Общества историков-марксистов. Через месяц в Ленинградском университете состоялось заочное обсуждение, а точнее — решительное осуждение доклада Поливанова<sup>41</sup>.

Почти безрассудный поступок Ильинского не остался незамеченным его коллегами. Через день после того, как ученый написал письмо Ляпунову, 16 марта Ляпунову написал А. И. Томсон из Одессы. «Кстати, — замечал Томсон, — в нашей газете была напечатана заметка о трехдневном диспуте в Коммунистической академии, где некий Поливанов и даже наш друг Ильинский „травили“ Марра, а мудрый Фриче защищал его; приехали будто бы нарочно Державин, Мещанинов и пр[очие] для защиты его от этих застрельщиков целой коалиции ленинградск[их] и московских профессоров. В результате: „не смогли привести никаких принципиальных доводов против материалистического языковедения“. Но что же материалистическое языковедение имеет общего с фантазиями Марра»<sup>42</sup>.

Томсон, однако, не ограничился этими замечаниями. Его, представителя академического языкоznания, весьма удивляло отнесение работ Марра к марксистскому языкоznанию: «Удивляюсь, какие могли быть дружеские собеседования с Марром на счет работ, который после непризнания лингвистами нашел выход в марксизме, притом наивный. „Язык результат творческой работы трудового человечества“. „Звуковая сторона языка и формальная идет в своем развитии вместе с эволюцией общественно-хозяйственных отношений“? и пр[очее], и пр[очее] — При Коммунизме спряжение „беру“, берешь или дурак — дурака изменится, или мягкие согл[асные] становятся твердыми? Словарь и семантика, как всем известно, изменяются в зависимости от всяких изменений в культурной жизни, не только экономических: (фокстрот, кэквок, клуб и пр[очее]). Iesperson видит начало языка, наоборот, гл[авным] обр[азом] в веселом пении при пляске при ухаживании одного пола за другим! Марр фантазер — полиглот, каких уже было много на свете, но никому из них так не повезло насчет благоприятных условий — темноты окружения (оточения) и потом особых внешних обстоятельств»<sup>43</sup>. И заключал свои рассуждения о марризме Томсон следующим выводом: «Если уж на то пошло, то меня нужно считать представителем материалистического языковедения, а его идеологом-фантазером, примазавшимся к марксизму нелепым образом»<sup>44</sup>.

Открыто выступив против Марра, Ильинский не без оснований стал тревожиться за перспективы издания подготовленной им к печати «Праславянской грамматики»<sup>45</sup>. Так как марризм превратился из лингвистической теории в явление политico-идеологическое, то его сторонники присваивали себе функции научно-политической цензуры.

В уже цитированном выше письме к Ляпунову Ильинский сетовал: «В последнее время я очень волнуюсь, что моя П[раславянская] Г[рамматика] не увидит света совсем. Как я слышал от М. Н. Сперанского, председателем ком[иссии] „Языка и литературы“ Академии наук назначается Н. Я. Марр, и я очень боюсь, чтобы он не стал бросать мне палки в колеса. Он вообще не признает „праязыков“»<sup>46</sup>.

Опасения Ильинского в будущем вполне оправдались, хотя внешне дело с изданием его труда выглядело вполне благополучно. В Протоколе № I Отделения гуманитарных наук от 11 января 1929 г. в § 20 значилось: «Е. Ф. Карский читал: Согласно принятому Отделением плану продолжение издания Славянской Энциклопедии, после заканчивающегося печатанием выпуска, посвященного славянской тайнописи, составленного М. Н. Сперанским, следует Праславянская Грамматика. В настоящее время этот выпуск, согласно заказу, приготовлен к печати профессором 1-го МГУ, членом-корреспондентом АН Ильинским и представлен редакторам Энциклопедии».

Далее Карский указывал, что в основу труда «положено исследование того же автора, напечатанное в Нежине в ограниченном количестве экземпляров в 1916 г. В настоящее время оно переработано, обильно дополнено литературой предмета (кончая 1928 г.) новыми отделами и новейшими выводами науки по разным вопросам славянского языкознания». Ученый просил Отделение: «1) разрешить приступить к печатанию указанного выпуска в текущем 1929 году в объеме отпущенных 7 листов и продолжить печатание в следующем году; 2) в счет подготовки к печати выпуска, за первые 8 листов уплатить из отпущеной по смете на этот предмет суммы автору 380 рубл[ей]». Редакторами издания предполагались Карский и Ляпунов. Отделение приняло решение «разрешить»<sup>47</sup>.

Редакторы сразу же взялись за работу, и уже 1 апреля Ляпунов писал А. И. Соболевскому: «Сейчас я сижу над Праславянской Грамматикой Ильинского, издание которой, как очередного тома Энциклопедии Славянской Филол[огии], уже прошло через ОГН»<sup>48</sup>. Очевидно, что Ляпунов и Ильинскому сообщал о своей работе и появившихся замечаниях. Ученый продолжал ожидать самого худшего. «Последние недели, — писал он Ляпунову 16 апреля, — я очень волновался о судьбе моей книги: мне все мерещилось вмешательство разных злых гениев нашей трагической современности»<sup>49</sup>. Весь остальной текст письма был посвящен прояснению позиции Ильинского по отношению к научным концепциям и личностям предшественников в науке.

Письмо Ильинского свидетельствует о характере отношений ученых, принадлежавших к различным направлениям внутри академической науки. Придерживаясь иногда взаимоисключающих научных

концепций, они могли относиться к взглядам оппонентов с уважением и объективно оценивать положительные стороны и достижения друг друга. «Относительно Фортунатова и Шахматова, — писал Ильинский, — я должен засвидетельствовать, что, как о людях, я храню о них благоговейнейшую память. Я даже многим им лично обязан, и, например, без их „протекции“ я едва ли бы защитил мою [работу] „Сложные местоим[е]ния“ как диссертацию на степень магистра. (Как Вы, вероятно, знаете, Соболевский провалил ее в свое время в Петербургском университете). Тем более мне грустно, что лингвистические рассуждения Фортунатова и особенно Шахматова всегда производили и производят на меня отталкивающее впечатление. Мне глубоко антипатично их ультрафонетическое направление, при котором морфология играет роль загнанной „золушки“. Кроме того, меня всегда шокировало крайнее пристрастие Алексея Александровича к сложным и запутанным построениям. Истина в 90 случаях из ста всегда проста, а, по мнению Шахматова, она должна быть как можно мудрее, для чего он не стесняется строить иногда целые фонетические небоскребы»<sup>50</sup>.

Надо полагать, Ильинский прекрасно знал отношение Ляпунова к концепциям столь критикуемых им предшественников. Но он явно считал, что в истинной науке могут сосуществовать самые разные теории, и потому рассчитывал на понимание. К тому же ученого были и примеры толерантного поведения светил науки в прошлом. «Простите меня великодушно, — продолжал Ильинский, — за эти откровенные строки. Но я знаю Вашу широкую терпимость ко всем инакомыслящим, и я надеюсь, что Вы не истолкуете предшествующие строки как неблагодарность и неуважение к памяти обоих корифеев русской лингвистики. Я и в I издании Праславянской Грамматики нападал на Шахматова, но он не только не обиделся, но даже со свойственным ему благородством выхлопотал мне в Отделении полную толстовскую премию и почетную золотую медаль. (И то и другое, впрочем, из-за революции осталось лишь на бумаге)»<sup>51</sup>.

Следует отметить, что Ильинский в Ляпунове не ошибся. Об этом определенно свидетельствует письмо Ляпунова Соболевскому от 17 апреля. Скорее всего, ученый еще не успел получить письма Ильинского, когда в очень подробном письме сообщал Соболевскому о том, как обстоят дела с подготовкой издания, и делился своими впечатлениями о книге. Судя по содержанию письма, Соболевского весьма интересовало все, что было связано с «Праславянской грамматикой» Ильинского. Ляпунов сообщал ученому и о завершении своей работы, и о ее характере: «На той неделе я закончил просмотр „Праславянской Грамматики“ Ильинского — введение и вокализм —

652 стр. рукописи в лист, снабдив кое-где своими примечаниями, так как с Гр[игорием] А[ндреевичем] ведь нельзя во всем соглашаться, и сдал в Издат[ельство] АН»<sup>52</sup>. Так как книгу было решено издать в очень уважаемой серии «Энциклопедия славянской филологии», Ляпунов излагал историю принятия такого решения. «Относительно „Праславянской Грамматики“ Ильинского, — разъяснял ученый, — решено было, кажется, в конце 1928 г. Я удивляюсь, что М. Н. Сперанский ничего Вам об этом не сказал. Что касается редактирования Энциклопедии, то года два тому было решено в Отд[елении] рус[ского] яз[ыка] и сл[овесности] это дело поручить Карскому и мне, вероятно, потому, что мы живем здесь. Иначе, конечно, во главе редакции должны были бы стоять Вы»<sup>53</sup>.

«Теперь о самом Гр. А. Ильинском, — писал далее Ляпунов. — Я знаю, что Вы не особенно его цените, но среди заграничных ученых он, кажется, пользуется большим авторитетом. Я лично очень часто сержусь на его иногда очень странные этимологии, и при чтении Пр[аславянской] Гр[амматики] особенно на его нападки на Фортунатовскую школу. Но, в общем, я в нем ценю исключительную трудоспособность, громадную эрудицию и знание научной лингвистической литературы... Кроме его лингвистических увлечений и фантазий, за ним приходится признать прочную заслугу перед наукой изданием славянских памятников: оба Макед[онских] листка, Охрид[ские] стр[аницы] Ев[ангельских] чтений, Сверлижские отр[ывки], Слепченск[ий] Апостол, Болгарск[ие] Грамоты и грамота бана босн[ийского] Кулина обязаны своим изданием ему<sup>54</sup>... А в его Праславянской Грамматике большей заслугой является подробное изложение мнений ученых по всем вопросам славянской фонетики»<sup>55</sup>.

О том, что сам Ильинский с большим уважением относился к научным концепциям своих коллег, свидетельствует и его письмо Н. Н. Дурново от 5 мая 1928 г., в котором речь идет и о подготавливаемой им в то время к печати «Праславянской грамматике». «Хотя мы и принадлежим к разным научным направлениям, — писал ученый, — но я умею ценить Ваши заслуги, что и докажу внимательной регистрацией Ваших работ в 2-м изд[ании] моей П[раславянской] Г[рамматики]. А весной я поставлю вопрос о приглашении Вас в исследов[ательский] Инст[итут], точнее в его секцию Славяноведения, — конечно, если меня самого до того времени не выгонят оттуда»<sup>56</sup>.

Коллеги прямо связывали работу Ильинского с борьбой академического языкоznания и, в частности, славистики, с марризмом. Возможность появления такой книги вселяла в них надежды, которым не суждено было оправдаться. Тем не менее появления книги ждали с нетерпением. В конце весны, начале лета 1929 г. (письмо не датировано)

но. — M.P.) Томсон писал Ляпунову: «Очень рад появлению нового издания Праслав[янской] гр[амматики] Ильинского. [...] Надеюсь, что вскоре все поймут научную ценность работ Марра и Ольденбурга, т. к. число лингвистов, прошедших настоящую научную школу, все больше у вас увеличивается. Полиглотов фантазеров было уже не мало на свете. Но никому не удалось так расцвести, как M[ар]пу, благодаря окружающей его лингвистической темноте и пылкости его горной породы»<sup>57</sup>.

Ильинский продолжал внимательно следить за всеми публикациями Марра, свои впечатления он регулярно излагал Ляпунову. В марте того же 1929 г. он весьма образно описывал эффект, произведенный на него одной из статей Марра: «у меня волосы стали дыбом от его новых этимологических упражнений. [...] Если он так легкомысленно работает в области славянских языков, то как же верить его информацием в сфере таких трудных и малоисследованных языков, как чuvашский, берберский, баскский и пр.?!»<sup>58</sup> В апрельском письме учёный почти дословно воспроизвел свою оценку марризма, данную им ранее в письме Попруженко, добавив, однако, существенные детали: «Что касается теории Марра, то я даже не считаю ее теорией, а просто бредом сумасшедшего (чтобы не сказать худшего). В прежнее время над ней все смеялись бы, и только в наше фантастическое время ею могут не только восторгаться, но даже выставлять ее как своего рода лингвистическое православие!»<sup>59</sup>

Не изменил своего мнения о марризме и Дурново после своего возрвращения из Чехословакии и накануне исключения из членов Белорусской Академии наук. Он писал Ляпунову 2 мая 1929 г.: «Ввиду того, что от меня требуют введения яфетидологии в программу для аспиранта, я приобрел курс введения в яфетидологию Мещанинова; судя по этому курсу, Марр выдает за свои откровения, по [большей] ч[асти], мнения, высказывавшиеся лингвистами лет 70–80 тому назад, несостоятельность которых давным-давно доказана, смешивает такие вещи, как классификации генеалогическую и морфологическую и т. д.»<sup>60</sup>.

Ильинский, очевидно, не задумывался специально о закономерностях существования науки в тоталитарном государстве, тем не менее он очень точно и образно показал, в чем разница между теориями, обслуживающими господствующую идеологию, и подлинной наукой. Сами методы распространения марризма, по мнению ученого, подтверждали его ненаучность. «Я не вижу, — писал он в июле 1929 г. Ляпунову, — никакого торжества яфетической теории. Напротив, тот факт, что ее приходится вколачивать палкой и путем какого-то своеобразного террора, показывает, что дела ее плохи. Истина не нуждается для своего распространения в такого рода позорных средствах»<sup>61</sup>. Но ученый прекрасно понимал, что от отсутствия истинно научного

авторитета марризм не перестает влиять на все стороны научной жизни. Его сила только возрастает, «палка» становится все более весомым аргументом в руководстве наукой. И уже 4 августа Ильинский сообщал Попруженко: «У нас по всей линии торжествует новоявленная „наука“ яфетидологии. Б. М. Ляпунов уже не читает лекции в Ленинградском университете. Славистика держится еще только в двух столичных университетах»<sup>62</sup>.

У Ильинского появлялось все больше сомнений относительно перспективы издания его книги. Своим беспокойством он делился в начале сентября 1929 г. с Ляпуновым: «Пишу Вам это письмо, а у самого кошки скребут на сердце, — мрачные предчувствия, что моей работе, стоявшей мне такого огромного труда, не суждено попасть на печатный станок, все более овладевают мной. Если они оправдаются, то для меня это будет тем более ужасным ударом, чем менее он заслужен мной! Смею уверить, что я не связываю с своей работой никаких корыстных соображений: как я уже писал Е. Ф. Карскому, я даже готов отказаться от гонорара за мой труд, принимая во внимание эвентуальную дороговизну его издания»<sup>63</sup>.

После дискуссии в Комакадемии, в которой главной фигурой был Поливанов, старавшийся, в частности, и с позиций марксизма развенчать марризм, Ильинский внимательно следил за лингвистической литературой, которая критиковала Марра именно с этой стороны. В октябре 1929 г. он писал Ляпунову: «Здесь получена новая книга Sköld'a<sup>64</sup> (Scöld. — M.P.), посвященная яфетической теории. Он беспощадно разоблачает эту галиматию, и в заключение заявляет, что теория Марра есть Kein Marxismus, Kein Materialismus, но — Maggasmus. Пикантнее всего то, что Sköld, если не коммунист, то очень близок к коммунизму. Следовательно, отныне уже нельзя будет говорить, что против Марра восстает лишь одна „буржуазная“ лингвистика»<sup>65</sup>.

Окончательное утверждение марризма в качестве официальной методологии совпало с периодом «советизации» Академии наук, сопровождавшейся кампанией по травле старой Академии и академической науки, в которой активно участвовала «общественность». Связь этих явлений была для приверженцев классической славянской филологии очевидна. Так, в конце 1929 г. Томсон писал Ляпунову: «Мне показывали статью в „Известиях“ про АН. Ерунда! С точки зрения рабочих, АН, конечно, производственное заведение по научной части, как другие — для сапог, кож и пр. Задали задачу рабочим, АН и пугают. Ну что ж. Заполняйте ее яфетидологами, а русск[о]-слав[янскую] филологию будем разрабатывать за границей, в Киеве и пр. От этого она не пропадет»<sup>66</sup>.

Приверженцы «нового учения о языке» разворачивали широкое наступление с целью полного подчинения языкоznания своему гос-

подству. Ильинскому сами формы этого наступления казались достаточно странными, но больше всего его огорчало появление в противном лагере ученых, которых он считал перебежчиками, изменившими академическим традициям. С горечью и негодованием он писал 20 февраля 1930 г. Ляпунову: «Здешней Коммун[истической] Академией подготовлен I-й Съезд лингвистов-марксистов (!!). В избранной по этому поводу Комиссии главную роль играют Аптекарь, Данилов и ... Н. М. Каринский. Впрочем, туда скоро будет введен П. А. Бузук, недавно читавший (судя по газетам) доклад о „марксистских“ основах языкоznания. Быстро же он эволюционирует!»<sup>67</sup>

Ильинский не скрывал своего раздражения деятельностью Каинского и позже. Так, он писал Ляпунову 13 апреля 1932 г.: «После того, как „ушли“ Ушакова, во главе Диалектологической Комиссии стал Н. М. Каинский, [ирзб.] лаврами Державина, Орлова et tutti quanti [ирзб.] проституированiem лингвистики [ирзб.] gloria и Маркса и ... Марра»<sup>68</sup>. Следует отметить, что репутация Каинского в академических кругах уже давно была неважной<sup>69</sup>. Так, еще 16 января 1924 г. Сперанский делился своими впечатлениями о нем в письме Истрину: «На днях поехал к Вам в Петербург пронырливый М. Н. Каинский. Зная его прежде мало, я представлял его себе скорее человеком самонадеянным, несколько заносчивым, но не знал, что он такой ловкач. Вижу, имея с ним дело в Музее, что с ним приходится держать себя осторожно. Поэтому я ему никаких поручений в Питере не дал, хотя он и предлагал свои услуги»<sup>70</sup>. Сперанский вновь повторил свое суждение о Каинском и в письме Истрину 4 октября 1924 г.: «У нас в Музее относительно мирно; но пронырливый Каинский что-то юлит»<sup>71</sup>.

Несмотря на явное ухудшение общей ситуации, коллеги Ильинского продолжали предпринимать активные действия для опубликования его книги и для поддержки самого ученого. Так, в «Протоколе заседаний группы Языковедения и Литературы» от 30 января 1930 г. записано: «Слушали: 5. Выписку из протокола заседания Президиума от 22. XII. 29 года (§11) о выплате 600 рубл[ей] проф[ессору] Г. А. Ильинскому за 12 листов Праславянской Грамматики (к серии Энциклоп[едии] Славянской Фил[ологии]). В обсуждении принимали участие ак[адемики] Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, М. Н. Сперанский, и П. Н. Сакулин».

В результате обсуждения было принято решение: «Просить ОГН срочно, ввиду тяжелых материальных условий, в которых находится профессор Г. А. Ильинский, выплатить ему 600 рубл[ей] из сумм, ассигнованных на личные работы академиков Е. Ф. Карского и Б. М. Ляпунова по выраженному ими на то согласию»<sup>72</sup>. В тот же день это решение ГЯЛ было отражено в протоколе № 1 Отделения гуманитарных

наук, вопрос докладывал Сакулин, решение было утверждено<sup>73</sup>. Для Ильинского такая помощь коллег была очень кстати. Ученый писал Ляпунову 5 марта 1930 г.: «...мы крайне рады 600 р[ублям] гонорара (за П[раславянскую] Г[рамматику]), который мы получили вчера от Академии Наук: он даст нам возможность перебиться в переходное время между отставкой и пенсиеей»<sup>74</sup>.

Господство марризма и чрезмерное увлечение властей идеями интернационализма явно не способствовали вниманию к исследованиям по национальной тематике. Создание внутри Академии новых структур, существующих заниматься этими вопросами, отодвигалось на второй и третий план. Об этом положении свидетельствует письмо Ильинского Ляпунову 5 июня 1930 г.: «М. Н. С[перанс]кий привез самые удручающие известия о том, что происходит сейчас у Вас в Академии. Да и то, что Вы сообщаете о судьбе проекта Института Русского языка, прямо ужасно. Для разных фантастических учреждений вроде Яфетического института находятся деньги, а для изучения языка, на котором говорит огромная часть населения Союза, считают достаточной „Комиссию“!!»<sup>75</sup> До создания самостоятельного Института русского языка оставалось еще около пятнадцати лет.

Обостренное внимание Ильинского ко всему, что связано с наступлением марризма и деятельностью Марра, отражавшееся в его письмах, позволяет уточнить и прояснить некоторые высказывавшиеся в исследованиях предположения, связанные с конфликтами внутри Академии наук. Современный исследователь, цитируя письмо Р. Якобсона от мая 1930 г. Н. С. Трубецкому («В Академии наук с Марром сцепился Луначарский и М. Н. Покровский. Последний довел Марра до слез, и инцидент рассматривался в академической комъячайке»), снабжает его следующим комментарием: «...в оригинале М. М. Покровский, что, вероятно, ошибка: академик-филолог М. М. Покровский был беспартийным»<sup>76</sup>. Однако, Якобсон совершенно верно передавал сведения об участниках стычки. Ее героем был не М. Н. Покровский, глава пресловутой школы, а именно филолог-классик М. М. Покровский, что подтверждается Ильинским. «Здесь в Москве, — писал ученый Ляпунову 18 апреля 1930 г., — сильное впечатление произвела мужественная защита М. М. Покровским [нрэб.] языкоznания от притязаний маргариновой лингвистики (на заседании Гуманитарного О[тделения]), лишь по недоразумению называемой яфетической теорией»<sup>77</sup>.

Столкновение произошло на весьма знаменательном заседании Отделения гуманитарных наук, на котором академик-секретарь А. Н. Саймолович докладывал проект по реорганизации всех научных учреждений, подготовленный специальной комиссией. Уже на следующий день Группа языкоznания и литературы (ГЯЛ) выработала свою кон-

солидированную позицию, в которой в специальном пункте это событие нашло отражение. В «заключении» Группы отмечалось: «Признавая важность того научного направления, которое представлено в Яфетическом Институте, Группа находит, что существование названного Института не должно закрывать путей для развития индоевроп[ейского] языкоznания. Мало того, Группа выражает уверенность, что АН примет необходимые в этом отношении меры»<sup>78</sup>.

О позиции второго участника конфликта мы находим сведения в другом письме Ильинского Ляпунову от 18 мая: «Здесь несколько дней пробыл проездом из Москвы (по-видимому, описка. — M. P.) Перетц, кот[орый], между пр[очим], рассказывал, что даже Луначарский понял, что не все благополучно в Марровских фантазиях»<sup>79</sup>. Кстати, и в дальнейшем М. М. Покровский продолжал настаивать на необходимости сохранения научных традиций. На заседании Группы языка и литературы 25 апреля 1931 г. было заслушано «Заявление ак[адемика] М. М. Покровского по вопросу необходимости учета в плане работ О[тделения] О[бщественных] Н[аук] разработки теоретических языковедных проблем в разрезе исследования их на базе как яфетидологии, так и достижений индоевропейской лингвистики»<sup>80</sup>.

Ильинский очень эмоционально переживал появление каждого нового творения Марра: «С ужасом и отвращением прочел я недавно в Известиях статью Марра, — писал он Ляпунову 17 августа 1930 г. — Не говоря уже о том, что она написана (как, впрочем, всегда) невразумительно, она кишит грубейшими фактическими промахами, каких постыдился бы сделать даже толковый студент III курса. И эта quasi ученая болтовня печатается в органе высшего научного учреждения Союза!»<sup>81</sup>

Продолжавшееся наступление на академическую науку выражалось и в отношении к трудам ее классиков. Как писал в начале ноября 1930 г. Ильинский Ляпунову: «На днях я получил от М. М. Покровского печальное известие, что печатание „Лекций“ Фортунатова, как не „актуальных“, откладывается»<sup>82</sup>. Надо полагать, что таким образом ученый выражал свое сочувствие Ляпунову, как человеку, причастному к этому изданию. Действительно Ляпунов еще 1 апреля 1929 г. сообщал Соболевскому: «Одновременно, совместно с М. М. Покровским, я внес предложение об издании курсов Фортунатова по сравни[тельному] склонению и спряжению индоевроп[ейских] языков, на что мы прошли 15 листов»<sup>83</sup>.

В принятом решении Ильинский совершенно справедливо усмотрел опасность и для своей работы. «Но, судя по сведениям, привезенным М. Сперанским с последней сессии АН, — продолжал Ильинский, — та же участь грозит и моей Праславянской Грамматике. Ввиду этой катастрофы я решился на крайнюю меру и написал письма Волгину и

Ольденбургу, в которых я истощил все аргументы в доказательстве необходимости продолжения печатания книги, но до сих пор ни от того, ни от другого ответа не получил, что является, конечно, дурным предзнаменованием»<sup>84</sup>.

Ляпунов, откликаясь на переживания коллеги, прилагал все возможные усилия для продолжения печатания книги. Он находил самые разнообразные причины, оправдывающие необходимость появления этой работы. В протоколе Отделения общественных наук (ОН, так было переименовано в середине 1930 г. ОГН) № 11 от 27 ноября мы находим заявление ученого «с просьбой ходатайствовать перед ООН [...] о продолжении издания академической серии „Энциклопедии Славянской Филологии“, как издания, по обнародованию которого АН взяла на себя обязательство перед иными славянскими академиями, имеющего международное научное значение и не могущего лечь бременем на Академию в финансовом отношении, ввиду, безусловно, широкого спроса заграничного рынка на выпуск данной серии». Ляпунов скромно умалчивал о сути проблемы, которая вполне раскрывалась уточняющим ходатайством ГЯЛ «о соответственном продолжении печатания „Праславянской Грамматики“ Г. А. Ильинского, начатой печатанием в упомянутой серии и затем приостановленной»<sup>85</sup>.

Попытка Ляпунова частично удалась, но руководство Отделения, со своей стороны, воспользовалось тем же ходом, что и Ляпунов, перенеся основной акцент своего решения на вопрос об «Энциклопедии славянской филологии». Это дало ему возможность затянуть и окончательное решение вопроса о «Праславянской грамматике». «Решение вопроса о продолжении издания „Энциклопедии Славянской Филологии“ отложить, — гласило постановление ОН, — впредь до решения вопроса об институте славяноведения в АН СССР. Относительно Праславянской Грамматики Г. А. Ильинского поставить перед РИСО вопрос о срочном выпуске введения к этому труду, как уже вполне законченного печатанием. Обсуждение же вопроса о печатании остальной части труда отложить, поскольку этот вопрос связан с судьбою „Энциклопедии Славянской Филологии“»<sup>86</sup>. Можно предположить, что такое половинчатое решение было принято не случайно, ведь Марр еще не сказал своего слова.

Обращаясь к Непременному секретарю Академии В. П. Волгину, Ильинский явно рассчитывал если не на поддержку, то хотя бы на понимание его проблем. Но то, что он узнал, очевидно, из писем того же Ляпунова, его не порадовало. В письме Ляпунову от 15 февраля 1931 г. он попытался объяснить причину недоброжелательности Волгина. «За время своего деканства в И МГУ Волгин, — писал ученый, — относился ко мне абсолютно корректно и довольно благожелательно.

Если в Ленинграде он стал ко мне относиться совершенно иначе, то без сомнения — под влиянием Марра. Для меня не может быть также никакого сомнения, что и [Праславянскую] Г[рамматику] он топит под диктовку того же злого гения нашей науки»<sup>87</sup>.

В отличие от возвышенных рассуждений Державина о необычайно плодотворных для науки результатах и особенно перспективах освоения марксизма, как воплощенного в гуманитарной науке марксизма, представители традиционного славяноведения оценивали создавшееся положение по-другому. Развитие общей ситуации в области гуманитарных наук, болезненно затрагивавшее славистическую проблематику, еще больше подтверждало высказанные ранее суждения Ильинского о новом типе «православного языкоznания». В письмах Попруженко он продолжал описывать научную действительность в мрачных красках и все с большим основанием вновь повторял свой тезис. Так, 9 января 1931 г. он писал: «...у нас сейчас не только славистика, но и индоевропеистика признаются отжившими, т. к. „яфетидология“ или марристика провозглашаются сейчас как своего рода лингвистическое православие, и горе тому, кто называет этот бред сумасшедшего его настоящим именем»<sup>88</sup>.

Можно предположить, что Марра, человека чрезвычайно высоко ценившего собственные научные достижения, отзывы Ильинского, а ученый особенно своих мнений и не скрывал, не могли не раздражать. Поэтому Марр, принимая решение о судьбе «Праславянской грамматики» Ильинского, руководствовался не только соображениями научной борьбы. «Отзыв» Марра можно скорее назвать приговором. Он писал в феврале 1931 г.: «Указанная работа Г. А. Ильинского, результат его многолетнего труда, не выходит по своему материалу и своим интересам за пределы формально-сравнительной школы языкоznания, а методологически стоит целиком на позициях идеалистической лингвистики. Вследствие этого работу Г. А. Ильинского ни в коем случае нельзя рекомендовать в качестве практического пособия по изучению славянских языков, следовательно, ее незачем и печатать. [...] По этой книге читатель не только со специальным интересом к языку, но даже массовый читатель с совершенной наглядностью убедится в бес силии формально-сравнительного метода разрешить важнейшие проблемы языкоznания и безнадежности того тупика, в который завел этот метод так называемое „славяноведение“»<sup>89</sup>.

Отзыв Марра и последовавшее за ним решение РИСО были для Ильинского тяжелым ударом. Но характер ученого не позволял оставить дело без ответа, и 13 марта 1931 г. он сообщал Ляпунову о принятых им действиях: «Позвольте доставить Вам копию моего заявления в Рис<sup>90</sup> (которое я одновременно с этим письмом посыпало) —

по поводу дикой расправы с моей книгой, учиненной Н. Я. Марром. Посылаю Вам, а не Карскому, потому что я боюсь, что оно может взволновать его в критический момент его болезни. Вы живете в одном с ним доме, и, наверное, угадаете момент, когда его можно будет ему показать»<sup>91</sup>. От необходимости действий Ильинского не отвратила и очевидная для него их бесполезность. «Послал я свое заявление, — продолжал ученый, — но уверен, что оно никаких благих последствий иметь не будет. „У сильного всегда бессильный виноват“, и нет сомнения, что ПГ придется погибнуть если не на костре, то в котле яфетической инквизиции. [...] Я так расстроен всем происходящим, что не могу ни о чем больше писать. Когда успокоятся нервы, напишу Вам более подробное письмо»<sup>92</sup>.

Ильинский продолжал очень остро переживать случившееся и через десять дней вновь писал Ляпунову, объясняя некоторую резкость своего заявления: «Прежде чем послать заявление в Рисо, я прочел его М. Н. Сперанскому. Он содержание его одобрил, возражая только против слова „драконовский“. Но я все-таки оставил его, т. к. оно называет вещь ее настоящим именем»<sup>93</sup>. Ильинский действительно писал в своем заявлении: «Но никто, даже при самом щадительном изучении моей книги, не найдет в ней ничего антисоветского, ничего религиозного, ничего „славянофильского“ в специфическом смысле этого слова, — словом, ничего такого, что делало бы необходимой по отношению к плоду всей моей жизни указанную истинно драконовскую меру»<sup>94</sup>.

Ученого и удивляли, и возмущали решения, принимавшиеся в столь серьезном деле непрофессионалами. «В только что полученном мною Отчете АН, — писал Ильинский Ляпунову, — сообщены сведения о составе Рисо. Оказывается, за исключением Е. Ф. Карского, очевидно, не присутствовавшего по болезни, среди его членов нет ни одного слависта-лингвиста. Т[аким] о[бразом], судьба ПГ решена на основании отзыва не слависта, лица, не имеющего никакого отношения к нашей науке !! О tempora, o mores!»<sup>95</sup> Е. Ф. Карский действительно был очень болен, через месяц, 29 апреля 1931 г., он скончался.

Ильинский хоть и ожидал, что судьбу его книги будет решать Марр, но все-таки несколько сетовал на своих коллег. Он писал Ляпунову в начале апреля: «Но издалека и со стороны мне продолжает казаться крайне странным, что судьбу моей книги отдали в руки моего заведомого врага. Не значило ли это то же самое, что бросить кролика в пасть удава, в надежде, что он его не проглотит, а выбросит назад?» Решение не печатать книгу было принято, как мы видим, тогда, когда часть ее уже была набрана, были готовы и чистые листы «Введения». Появилась угроза уничтожения и набранных корректур. Ильинский просил Ляпунова попытаться спасти хотя бы чистые листы. Виновни-

ком такой угрозы ученый считал Марра. «И я лично ни минуты не сомневаюсь, — писал он, — что проект уничтожить большую часть экземпляров ПГ был инспирирован именно им. Это так похоже на него! Ведь ПГ представляет сплошной гимн сравнительному методу и живое отрицание того хаоса, который вносит в злополучную русскую лингвистику его яфетическая теория, где искать системы или даже просто здравого смысла то же, что ловить ветер в поле»<sup>96</sup>. Но Ляпунов продолжал проявлять несвойственные ему в целом бойцовские качества. Он вновь выступает 27 апреля на очередном заседании ООН «о постановлении РИСО по вопросу об отказе от печатания Праславянской грамматики проф. Ильинского». Имея отрицательный отзыв Марра, Отделение принимает практически невыполнимое решение, не удовлетворяющее обе противоборствующие стороны. Было «постановлено просить РИСО пересмотреть последнее решение о книге Ильинского и издать ее в части введения с предисловием ак[адемика] Н. Я. Марра, указав в предисловии все вызывающие сомнения пункты»<sup>97</sup>.

Сил сопротивляться решению Марра у коллег Ильинского, которых становилось физически все меньше, уже не было, хотя и претворение в жизнь этого решения явно затягивалось. Прошло уже восемь месяцев, а дело так ничем и не закончилось. В безнадежных условиях Ляпунов продолжал хлопотать не только о спасении отпечатанных фрагментов книги, но и пытался организовать поддержку продолжению печатания труда. Отвечая на его обращения, В. Н. Перетц писал 3 октября 1931 г.: «Я догадываюсь, о какой работе Вы пишете: если это работа Григория Андреевича (Ильинского. — M. P.), то при современной установке академического языкоznания, — протащить его нет надежды. Ведь Вы знаете отзыв диктатора языковедных дел»<sup>98</sup>. О своих шагах Ляпунов информировал Ильинского, который пришел к печальному выводу. «Из Вашего последнего письма, — отвечал он Ляпунову 24 октября, — я окончательно убедился, что песенка ПГ спета. В самом деле, в новоиспеченном Институте языка и мышления (какое дикое название!) никто не дерзнет возражать его председателю; Державин в Институте славяноведения, как типичный сервилист, никогда не пойдет против Марра и Волгина; едва ли станет портить из-за меня свои отношения с Державиным и В. Н. Перетц. Следовательно, единственным моим защитником остались Вы, — ну, а один в поле не воин...»<sup>99</sup>

Ученый старался найти хоть какие-нибудь логически обоснованные причины для спасения отпечатанных материалов, но сам же сомневался в действенности здравого смысла в его ситуации. «Может быть], — предполагал он, — чтобы спасти, по кр[айней] м[ере], „Введение“, при окончательном обсуждении дела, оказали бы нек[оторое] действие соображения хозрасчета. Я читал недавно в газетах, что все

предприятия АН переводятся на хозяйственный расчет. Уничтожение „Введения“ причинило бы прямые убытки казне и лишило бы ее нек[оторого] количества столь нужной ей иностранной валюты. Но, вероятно, даже эта мотивировка экономии окажет действие гороха в стену».

Ильинский видел в запрещении своей книги исключительно личные мотивы, неуважение к нему, как члену академического сообщества. Это последнее обстоятельство подталкивало ученого к принятию решительных шагов к разрыву своих отношений с Академией наук. «Ведь главная причина враждебного отношения к ПГ заключается не в „буржуазности“ ее направления, — уверенно утверждал Ильинский в письме Ляпунову от 24 октября, — а в ее авторе. Ведь если бы дело обстояло иначе, то почему же Академия издает столько работ, которые заключают в себе все, кроме марксизма? Чтобы не быть голословным, сошлюсь хотя бы на издание в 1930 г. коллекции Востоковедов огромного тома (в честь Крачковского), в котором „марксизм“ даже не почевал. Следовательно, дело заключается не в содержании ПГ, а в ультра персональном отношении к ее автору. При таких обстоятельствах, я даже серьезно подумываю о сложении с себя звания чл[ена]-корреспондента АН»<sup>100</sup>.

Ляпунову так и не удалось переубедить Ильинского, хотя, судя по всему, он и передал официальные мотивировки решения об отказе в печатании труда. Ученый упорно продолжал придерживаться своего мнения. «Хотя Вы и пишете, что главной причиной гонения на ПГ является отсутствие в ней марксистско-ленинской идеологии, но я не верю в это», — писал Ильинский 23 декабря 1931 г. Далее он вновь обосновывал свое мнение отсылками к работам других коллег-филологов академического направления. «Если бы это было так, — писал ученый, — то почему же будет издаваться 2-я часть работы Обнорского о „склонении“? Ведь в ней также нет ничего марксистского; Державин, которому нельзя отказать в недостатке сочувствия к официальным доктринаам, печатает в I т. Трудов Славянского] ин[ститута три статьи Сперанского, в которых Вы напрасно стали бы искать даже со свечой марксистских или ленинских идей. Следовательно, дело не в идеологии, а в личности автора П. Г., ненавистной Марру и его сателлитам».

Столь явное преследование заставило Ильинского, человека не только резкого в суждениях, но и решительного в поступках, вновь почти дословно повторить заявление об идее отказа от академического звания. «При таких обстоятельствах, — писал ученый, — я серьезно подумываю о том, чтобы сложить с себя даже звание чл[ена]-корреспондента В[сесоюзной] АН, мотивируя свое решение в особой докладной записке»<sup>101</sup>. Ильинский в раздражении не учитывал того, что Марр уже был жрецом чистоты марксистского языкоznания и труд Ильинского был для него опасной идеологической и методологиче-

ской ересью. Как ранее справедливо отмечал Ильинский, само название книги, не могло не вызывать отторжения у Марра, ведь отрицание «праязыков» было одним из важнейших постулатов его теории. Сам Марр и его последователи бдительно следили, чтобы в лингвистике могли оставаться только их твердые приверженцы или ученые, склонные к компромиссам. Приводившиеся Ильинским образцы «немарксистских» работ не могли вызвать у научных цензоров столь негативной реакции. Труд С. П. Обнорского был посвящен очень специальной теме, а статьи Сперанского касались проблем, стоявших вне вопросов теории языкоznания.

Кстати отметим, что Обнорский, по-видимому, относился к тем ученым, которые старались выбрать компромиссную позицию. В письме Соболевскому 1926 г., в котором сообщалось о неравнодушии Наркомпроса к теории Марра, Д. К. Зеленин описывал и свое впечатление от одного из публичных выступлений Обнорского. «В самое последнее время, — писал ученый, — выступил с особой теорией С. П. Обнорский. Я был на его докладе, который произвел на меня странное впечатление. 200 слов общие для славян и для грузин; на основании их докладчик выводит законы соответствия праславянских согласных звуков грузинским; но явно заимствованные слова не отделяются от таких, где можно думать об исконном родстве. [...] По-видимому, докладчик хотел угодить и „марристам“ и индоевропеистам; в заключение он сказал: это сходство слов может объясняться или исконным родством грузин с славянами, или яфетической теорией; или иной какой-либо теорией; а когда Марр, похвалив доклад, все-таки обругал докладчика „индоевропеистом“, Обнорский сказал: я не индоевропеист! — До сих пор все эти слова объяснялись как заимствования грузинами от славян; для меня это мнение Обнорский не разрушил»<sup>102</sup>.

В том же письме Ляпунову от 23 декабря 1931 г. Ильинский сообщал: «На днях совершенно неожиданно я получил от А. И. Томсона отиск его „Ответа“ Марру. Я и не подозревал, что нелепости яфетической теории имеют такие давние корни, и что еще в 1891 г. \* „большинство сопоставлений Марра“, заставляли „только жалеть об испач-

\* Об этом давнем конфликте Томсона с Марром см.: *Ларцев В. Г.* Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М., 1988. С. 197–200. Примечание Д. Ф. Ашнина, подробно излагающего перипетии ожесточенной полемики, в которую со стороны Марра были вовлечены К. Г. Залеман и С. Ф. Ольденбург, а на защиту Томсона встали Ф. Ф. Фортунатов и Вс. Ф. Миллер. Этот конфликт стал через много лет одной из причин, помешавшей Томсону стать академиком, несмотря на единогласное голосование Отделения русского языка и словесности, см.: *Робинсон М. А.* Отделение русского языка и словесности в период реформирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славянский альманах 2001. М., 2002.

канной бумаге» (Томсон, стр. 14)»<sup>103</sup>. Сам Томсон вспоминал об этой истории в письме Ляпунову 10 мая 1934 г. «Характеристика работы Марра, которую я дал в своем «Ответе на рец[ензию]» его (Марра. — M.P.), — писал ученый, — остается верной и приложимой ко всей работе всей жизни этого незастенчивого карьериста, как предвидел страсбург-[ский] проф[ессор] сп[авнительного] яз[ыко]в[едения] Hübschmann». Томсон приводил в письме несколько цитат из письма Г. И. Хюбшмана от 30 июня 1891 г. с весьма нелестными оценками способности Марра к исследовательской работе<sup>104</sup>.

Начало 1932 г. вновь подарило Ильинскому слабую надежду на издание его книги. О новых обстоятельствах дела его извещал Ляпунов, которому Ильинский писал 23 января: «Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою благодарность за то новое участие, которое Вы проявили к судьбе моей злосчастной ПГ. Из Вашего письма я с удивлением вижу, что формально дело об ее печатании пока обстоит благополучно: Рисо решило продолжать издание книги, а Отд[еление] Общ[ественных] наук подтвердило это решение». Однако на практике дело действительно только формально выглядело благополучно. Необходимо было новое подписание труда к печати, а здесь были труднопреодолимые препятствия, связанные с позицией Марра. Весьма нелестно отзываясь об очень осторожной позиции, занятой недавно избранным академиком А. С. Орловым, Ильинский писал далее: «Орлов, очевидно, не решается поставить свое *imprimatur*\* из страха или угодливости перед Марром, воля которого, очевидно, выше не только Рисо, но и самого Отделения. Это не вице-президент, а какой-то турецкий паша в своем пашалыке!»<sup>105</sup>

И Ильинский, и Томсон были людьми острых и резких суждений, поэтому, надо полагать, их так привлекало сравнение марризма с марразмом. Особенно любил взаимозаменяемость этих терминов Томсон, именно это основополагающее сравнение привлекало его внимание в работах других лингвистов. Поэтому он так охотно рекомендовал Ляпунову новое лингвистическое издание, несмотря на название, которое могло вызывать у него только отрицательные эмоции. «При случае, — писал он 17 июля 1931 г., — загляните в книгу Поливанова „За марксистское языкознание“, где *Marrisimus* исправляется в *Marasmus* (стр. 6 сл.)»<sup>106</sup>. Кстати, и Ильинский еще в конце мая спрашивал Ляпунова: «Видели ли Вы новую весьма интересную книгу Поливанова „За марксистское языкознание“? Между прочим, там сказано несколько горьких истин по адресу Марра»<sup>107</sup>. В своем письме Томсон достаточно уверенно предполагал: «Яф[етидо]логия, конечно, исчез-

\* *Imprimatur* — (лат.) в печать.

нет в 2–3 года из ее современной позиции»<sup>108</sup>. В последнем предложении ученый явно был не прав. Он думал только о научном содержании «нового учения о языке». Но должно было еще пройти не два года, а два десятилетия, пока эта теория перестала отвечать возглавившимся на нее идеологическим задачам.

Сам Томсон не стал ждать даже двух лет и решил прекратить преподавание. О своем решении он сообщил Ляпунову 24 марта 1931 г.: «Я кончил свои лекции и тороплю зачеты, чтобы по окончании их уволиться из Института и перейти на пенсию, не из-за здоровья, а – довольно с меня»<sup>109</sup>. Это сообщение противоречит существующему в научной литературе мнению, опирающемуся на воспоминания П. С. Кузнецова, о том, что Томсон как ученый, еще в 90-е гг. XIX в. пострадавший от «нeterпимости Марра, теперь пострадал куда серьезнее: был уволен из Одесского университета за „контрреволюционность“ и до самой смерти в 1935 г. не имел возможности работать в науке»<sup>110</sup>.

Мы считаем необходимым уточнить и прояснить данную ситуацию. Для этого обратимся к информации, которой делился сам Томсон с Ляпуновым. Итак, в письме от 15–16 мая 1931 г. он сообщал: «Я добиваюсь увольнения, и щенки в науке (по выражению покойного Кочубинского) добиваются того же; но высшее начальство не хочет меня отпускать и оттягивает»<sup>111</sup>. И далее 28 мая: «После долгих хождений, наконец, выдали мне увольнительное свидетельство из Института, и бегаю, чтобы поскорее послали в Харьков требование полной пенсии»<sup>112</sup>.

Томсон подробно описывал и обстановку, сопровождавшую его уход: «Не обошлось, конечно, без обвинения меня в враждебном отношении к марксо-ленинской методологии (сиречь яфтидологии) и в устарелости в науке вообще, каковые обвинения щенкам в науке ме-неются (вменяются). – M.P.) в заслугу, и потому они стараются, в том числе и мой ассистент, усердно учившийся у меня и посещавший и записывавший мои лекции до последней. Задерживали увольнение потому, что удовлетворительного заместителя по общему языковедению нет, и потому директору пришлось посоветоваться в Харькове и получить оттуда санкцию, т. к. там меня больше ценят, в среде более просвещенной. Во всяком случае пошел 46-ой год службы „в Вицах“\*, и я рад, что уволен, т. к. невежественные претензии неучей на знание марксистской лингвистики опровергли»<sup>113</sup>.

В октябре того же года Томсон вновь вернулся к этому вопросу и вновь назвал главную причину своего поступка: «Свои лекции я кончил в феврале и ушел, потому, что требовали от меня яфтидологии, а я еще с ума не сошел»<sup>114</sup>. Таким образом, очевидно, что Томсона ни-

\* «в Вицах» — украинский неологизм, имеется в виду работа в высших школах (вузы).

кто не увольнял, но Марр и его учение, безусловно, были виновниками его отказа от преподавания. Ученому в дальнейшем поступали предложения вернуться к преподаванию. В августе 1933 г. он писал Ляпунову: «Открывается здесь Университет, и меня заранее мобилизовали, но Литер[атурно]-лингв[истического] отд[еления] не будет»<sup>115</sup>. Возвращаться в сложившихся условиях Томсон не захотел. Находясь на пенсии, ученый продолжал самым активным образом не только следить за научной жизнью, но и заниматься научными исследованиями. В последнем письме, написанном Ляпунову 26 октября 1934 г., Томсон воскликнул: «Работаю ежедневно все еще над историей ст[аро]славянского письма!»<sup>116</sup>

Томсону не только пришлось выйти на пенсию. Так же, как и у Ильинского, пострадали его научные труды. Ученый был автором классического учебника «Общее языковедение», выходившего дважды еще до революции. В начале 30-х годов был осуществлен перевод книги на украинский язык, но до публикации дело так и не дошло. Как писал Томсон Ляпунову 30 января 1932 г.: «Укр[айнский] перевод 3-го изд[ания] моего Общ[его] яз[ыко]в[едения] не будет напечатан после вторичной цензуры (первый отзыв был очень благоприятный). Этим я также доволен — оставят в покое; хотя мне кажется, что это 3 (3-е издание. — M.P.) было бы лучшее руководство по Общ[ему] яз[ыко]в[едению] в мире, конечно, в моем реалистическом направлении»<sup>117</sup>. За кажущимся спокойствием ученого чувствуется и большая затаённая обида. Томсон продолжал помнить о запрете и писал о нем своим коллегам.

Так, Ильинский, сожалея о собственной неудаче, писал Ляпунову уже в конце года, 22 ноября: «Впрочем, такие же странные fata (судьбы. — M.P.) имеют и другие научные труды. Например, А. И. Томсон жалуется, что его „Общее языкознание“ не может быть выпущено в укр[айнском] переводе только потому, что в нем нет ничего об яфетич[еской] теории. [...] Одним словом, у нас всех старание выстричь под одну умственную гребенку, и при таких обстоятельствах утверждать, подобно Марру, что у нас Прометей мысли сбрасывает свои цепи, значит проявлять верх цинизма или, говоря попросту, — „дурака валять“»<sup>118</sup>.

Если строго научные работы не могли пробиться в печать, то писания сторонников «нового учения о языке» публиковались в таком количестве, что Ильинский не смог заставить себя участвовать в составлении «библиографии советского языкоznания», несмотря на большой опыт библиографической работы и непростое материальное положение. «Я принужден был отказаться от этого поручения, — писал он Ляпунову 13 апреля 1932 г., — уж слишком тешно копаться в яфетическом и [...] марксистском соре, который заполонил нашу злополучную науку»<sup>119</sup>. В это время Томсон продолжал активно работать, занимаясь происхождением «старославянского письма». Однако он и не мечтал публиковать работу на родине.

Он прямо писал 7 августа 1932 г. Ляпунову: «...ее напечатаю только по-немецки, чтобы какой-нибудь шарлатан (вроде Марра по отношению к моим армянским работам на русском языке) не прохаживался по ней. Там много гипотетического, основанного на мелких косвенных указаниях и сложных соображениях, которые в кратком изложении приводить нельзя. Она предназначается только для посвященного в дело добросовестного читателя»<sup>120</sup>.

Мучительно тянувшаяся история с «Праславянской грамматикой», наконец, в октябре уже 1932 г. завершилась, как и следовало этого ожидать. Об этом безрадостном событии автору сообщил Ляпунов, но Ильинский жаждал подробностей. «Хотя и привык к мысли, — писал он 27 октября, — что ПГ рано или поздно будетпущена ко дну торпедами Марра и С°, все-таки, Ваше известие о постановлении Риса меня крайне заинтересовало. К сожалению, Ваше известие очень лаконично, и мне неясно: 1) На основании чьих отзывов Рис вынес свою резолюцию: Марра, Орлова, Державина или всех троих вместе? 2) Какая судьба ожидает „Введение“: будет ли оно издано хотя бы „Für wenige“\* или будет превращено в бумажную массу?» Как видим, позиция коллег, в том числе имевших отношение к славистике, продолжала интересовать ученого. Рукопись работы Ильинский просил взять на хранение своего единственного верного сторонника Ляпунова<sup>121</sup>.

Бодрый рабочий настрой у Томсона иногда сменялся упадком. «Я ведь занимаюсь сейчас только от скучи, — сетовал он в письме Ляпунову от 5 августа 1933 г., — потому что нашей науки никому не нужно, вм[есто] нее культивируется маразм, пока не прозреют»<sup>122</sup>. Но достаточно неожиданно и Ильинского, и Томсона порадовало одно научно-организационное нововведение, в котором особое место должен был занять Ляпунов. Первым, с некоторым сомнением, отреагировал Ильинский 26 июня 1933 г. Он писал: «Порадовался я также известию о предстоящем открытии при ИЯМ кабинета русского и славянских языков. Но я боюсь, что если будущему кабинету не будет обеспечена полная автономия, деятельность его будет постоянно саботироваться главой ИЯМ»<sup>123</sup>. Как не трудно догадаться, главой Института языка и мышления был Марр.

Очень оживился и Томсон, хотя его поначалу и несколько смущала чрезмерно осмотрительная позиция старого друга в критике марризма. Возможно поэтому, написав письмо 1 октября, он не послал его, а вновь продолжил почти через месяц — 26 октября. «Поздравляю Вас, — писал Томсон Ляпунову, — с открытием Вашего кабинета славянских языков»<sup>124</sup>. За ум взялись. А то грозило уже тем, что у нас

\* Für wenige — (нем.) для немногих.

останется только сырье в книгохранилищах, а научная часть переносилась к немцам, чехам, французам, полякам и т. д. Очень правильны, но слишком деликатны Ваши замечания по поводу лингвистич[еской] дребедени маразма. Ведь каждое их суждение свидетельствует о глубоком невежестве в истории языков вообще, а индоевропеистику они знают только как легкомысленные дилетанты. [...] Связывать формальный строй языка с известным строем общества – ребячество. Кто хочет считаться лингвистом в научном смысле, не может иначе смотреть на эту ерунду, чем Вы»<sup>125</sup>. Очевидно, подумав, Томсон понял, что без определенной осторожности Ляпунову не удержаться во главе Кабинета, что будет потерей для перспектив возрождения истинной науки. В продолжении письма от 26 октября можно видеть и ясную поддержку позиции Ляпунова и, одновременно, сочувствие ему.

Итак, Томсон делился своими размышлениями с другом: «Вы теперь сильно заняты, между прочим, делами Вашего кабинета. Мне кажется, что вы взяли в нем очень правильный, выдержаный курс; а я доволен тем, что остался в стороне от свистопляски в лингвистике, в которой всякий совершенно неподготовленный невежда фантазирует беззастенчиво напропалую. Надо выждать. Запутаются между собою, не имея реальной подкладки и работая по указке извне внесенных взглядов и методов и не зная исторически предмета»<sup>126</sup>. С работой Кабинета слависты – коллеги Ляпунова связывали большие надежды. Так, Ильинский очень эмоционально поздравлял Ляпунова 5 января 1934 г.: «...приветствуем Вас и Вашу достоуважаемую супругу с Новым годом! О, если бы он принес хоть один подарок нам, славистам, – принес бы с собой I том Трудов Кабинета славянских языков под Вашей редакцией»<sup>127</sup>. Днем раньше, 4 января, Ильинский спешил уведомить Попруженко: «Есть надежда, что недавно учрежденный при Всесоюзной акад[емии] наук кабинет русск[ого] и слав[янского] языков будет издавать под редакцией Б. М. Ляпунова „Труды“, которые, по кр[айней] мере, отчасти заменят погибшие „Известия“»<sup>128</sup>. Мечты не сбылись, заменить знаменитые «Известия» ОРЯС не удалось. В качестве серийных удалось издать два номера «Slavica» в 1936 и 1937 гг.<sup>129</sup>.

Но и об этих изданиях после Соловецкого лагеря и ссылки в Славгород мечтал Ильинский, оказавшийся в июле 1936 г. в Томске. Ученый восстановил общение с Ляпуновым 5 марта 1937 г. В этом письме он сетовал на то, что, «хотя после Славгородской книжной Сахары здешние книжные пастбища мне кажутся и очень тучными, но все-таки даже в б[иблиоте]ке Томск[ого] у[ниверсите]та я не нахожу многих книг, в том числе даже новейших академических изданий, напр[имер], особенно интересной для меня „Slavica“». В этом же письме Ильинский сообщил другу решение, ставшее трагическим: он про-

сил передать своеи жене рукопись «Праславянской грамматики», хранившуюся у Ляпунова<sup>130</sup>. Очевидно, Ляпунов выполнил просьбу ссыльного коллеги, и дальнейшая судьба рукописи доныне неизвестна. Ильинский был расстрелян 14 декабря 1937 г.

Самым близким учеником, «наиболее связно» изложившим теорию Марра и ставшим его наследником, был И. И. Мещанинов<sup>131</sup>. И его работы не прошли мимо острого языка Томсона. В феврале 1934 г. ученый делился своими впечатлениями с Ляпуновым: «Пишу под впечатлением [...] статьи Мещанинова „Новое учение о языке“. Как ему не стыдно нести такую ахинею с ссылками на Марровский вздор, яфетидология тоже! Ведь он кажется уже ак[адемик] и незачем прислуживаться еще. Марру, как человеку без научной подготовки и школы, способному карьеристу, такое фантазерство как-то к лицу. Своего рода восточная поэтическая неразбериха»<sup>132</sup>.

С достаточной долей скепсиса, а иногда и излишне резко, высказывался Томсон и о других новых, активно развивавшихся лингвистических направлениях. Ученый, однако, не отвергал их с порога, как марризм, но усматривал некоторую, с его точки зрения, легковесность. Так, он отмечал в письме фонологию, которая «культивируется» «в Праге и у кн. Трубецкого (Вена)», упоминал о статье В. Дорошевского, направленной и против фонологии «и против фонем [нрзб.] Бодуэна — Щербы». «Что все это означает? — несколько раздраженно вопрошал Томсон. — Ис坎ье новых путей? Которые, однако, заведомо избегают углубления. По-моему, лишь одно: слабосилие. Не могут большие преодолевать подготовительной работы по изучению накопившихся данных по истории языков, особенно по сравнит[ельному] языкovedению, и потому вместо углубления пускаются или в историческое фантазерство — маразм, или в игру — рассуждения без истории, классификации и пр. [...] Очевидно, силы истощены. Вместо изучения реальных фактов — высокопарное беззастенчивое переливание из пустого в порожнее»<sup>133</sup>.

Интересно, что Томсон заметил в работе Мещанинова 1933 г. начало того процесса, который проявился ученого уже после смерти Марра (20.XII.1934), когда он «смог до какой-то степени освободиться от гнета „нового учения о языке“»<sup>134</sup>. Томсона, однако, интуитивно отмеченное явление даже разочаровало. «Какое невежество сквозит в статье Мещанинова! [...] То ломится в открытую дверь, то фантазирует со своими тотемами», — воскликнул ученый. При этом он сетовал: «Жаль, что полная картина маразма обесцвечена тем, что автор, по-видимому, сам уже стыдится знаменитых сал бер йон рош\*, которые так

\* По «новому учению о языке», «первичная звуковая речь состояла всего из четырех элементов, которые Марр обозначал САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ»; см.: Аллатов В. М.

наглядно характеризуют первобытный взгляд дилетанта на язык"<sup>135</sup>. Резким контрастом с этими оценками звучит мнение ученого о работе Дурново. Из текста письма, кстати, ясно, что Томсон еще не знал об аресте Дурново, случившемся 28 декабря 1933 г. Ученый продолжил свое письмо 5 марта 1934 г. В этой приписке он обращался к Ляпунову: «Дурново, слав[янское] правописание X–XII в. прошу прислать мне при случае, хотя уверен, что мы с ним расходимся не только по взглядам, но и в подходе к вопросам. Но все же он сведущий, не фантазер-яфетидолог»<sup>136</sup>.

В ответе Ляпунова содержались, по-видимому, более мягкие оценки работ Мещанинова. Поэтому Томсон счел своим долгом вновь вернуться и к работе Мещанинова, и к общей оценке и внимательному разбору положений марризма, и вообще к значению истинной науки в развитии человечества. Немало резких слов он посвятил и компромиссной позиции, занятой частью ученых по отношению к Марру, досталось и непосредственно Ляпунову. Со своей стороны, мы напомним, что Кабинет славянских языков, который возглавлял Ляпунов, был структурным подразделением Института языка и мышления, директором которого был Марр. Итак, Томсон весьма резко писал Ляпунову 10 мая 1934 г.: «Конечно, „Новое учение о языке“ Мещанинова осторожнее, чем другие, но все же [работа] невежественная даже в методологическом отношении. Как Вас там одурачил Марр своим маразмом! Вы рады, когда найдете у него или Меш[анинова] приемлемую мысль и беретесь серьезно возражать с ссылками на М. Миллера, Потебню и пр.»<sup>137</sup>.

Далее Томсон очень красочно описывал те методы, при помощи которых строится и утверждается «новое учение о языке». «Но разве можно серьезно разбирать Марровск[ий] вздор, — писал далее ученый. — Все лингвисты с достаточным кругозором, кроме Вашего узкого круга, уже давно подметили приемы М[ар]ра: он частично по невежеству, частично злонамеренно приписывает современному языковедению (в первую голову индоевропеистике, которой он не знает) всякие небылицы, чтобы против них выставить общезвестные истины, которые он выдает за свое учение, потому что они у него затуманены плохим пониманием и цветистым ненаучным языком. Иногда он действительно дает и свои изобретения, которые сплошной вздор и подделывание под вкусы для карьеры». Одним из основных пороков Марра Томсон считал его антиисторизм и поэтому в своей критике был беспощаден. «Не зная никакой сравн[ительной] гр[амматики] или под-

---

История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. С. 36. Р. Якобсон «назвал четыре элемента „белибердой паранонка“»; см.: Там же. С. 77.

линной истории какого-л[ибо] яз[ык]а, — писал Томсон, — а история требуется хотя бы марксизмом, — он нашел для себя выход в том, что историю яз[ык]а перенес в изначальный период его, где все гадательно и он без знаний может фантазировать напропалую с видом знатока и подделываться под все, что ему выгодно. И тут-то он не сумел придумать какую-л[ибо] новую приемлемую теорию. Что же остается делать его ученикам, лишенным всяких реальных знаний и школы? Вы видите поверхностное блуждание Мещ[анино]ва»<sup>138</sup>.

Подвергая работы Марра уничтожающей критике, Томсон, тем не менее, старался проявить объективность и был готов найти и отметить хотя бы что-либо положительное в его деятельности. И найдя иско-мое, писал об этом Ляпунову: «По своей школе это арменист и грузинист старого филологического направления, и потому научное значение имеют только его издания текстов. Он, по-видимому, много со-действовал и разработке кавказской археологии и пр.». Это единст-венное в научном наследии Марра, что Томсон считал достойным хот-я бы некоторого внимания. Поэтому далее ученый не столько крити-ковал Марра, ставя в рассуждениях о нем своеобразную точку, сколь-ко призвал лингвистов «круга» Ляпунова относиться к теориям Мар-ра так, как они того заслуживают. «Во всяком случае, — подытоживал Томсон, — ни один серьезный лингвист, кроме Вашего круга, не ста-нет разбираться в его общелингвистических работах, а при строгой критике сочтет все это шарлатанством, при снисходительной — курье-зом. Да и я Вам больше писать о нем не буду. Противно его скоморо-шеству. А насаженной гениальным Фортунатовым русской лингвис-тике этот негодяй нанес большой вред».

Томсон решительно отводил всякие предположения о том, что его позиция может быть истолкована как месть за действительно нанесенную ему обиду. «Не думайте, — объяснял он, — что я против этих жуликов за то, что они помешали мне попасть в АН. Во-первых, я все-гда презирал их за их нечистоплотный карьеризм. А затем, Вы, веро-ятно, заметили, что я никогда ничего особенно заманчивого в звании и положении академика не видел, тем более теперь. Игра в бессмертные французск[их] академиков, которую стараются прививать и у нас, бы-ла в моих глазах всегда ребячеством»<sup>139</sup>. Осмысление процессов, про-исходивших в отечественной науке, связанных с насильственным внедрением в нее теорий, способных разрушить выдающиеся дости-жения русской науки в целом и славистики в частности, активнейшая поддержка властями этой псевдонауки и продвижение ее адептов в состав академической элиты наводили ученого на грустные мысли и склоняли к философским размышлениям. «Менделеев и „московский проф. Фортунатов“ бессмертны, — констатировал Томсон, — насколь-

ко вообще можно иносказательно употреблять это слово в нашем мире, где все быстро проходит и умирает. А академик Фортунатов ничего не прибавил к своей славе и мало известен. Даль и Шахматов пока еще живы только благодаря своим памятникам-трудам, и то они недолговечны сравнительно с Пушкиным, Байроном, Гёте и пр.»<sup>140</sup>.

Однако ничто не могло подорвать веры ученого в ведущую роль науки не только в развитии всего человечества, но и в развитии самого человека. «Но наука вечна и нужна человечеству не только для материального блага, — утверждал Томсон, — но пусть всего для поднятия нравственного уровня двуногих скотов. Мораль как самоцель? Нет, как средство для облегчения и улучшения тяжелой человеческой доли, в которую мы поставлены природой. Земного рая не было и не будет. Борьба, вредительство друг другу, болезни и пр. всегда будут. Буддизм, христианство и пр. мало помогли. Руководящих нравственных путей можно ожидать только от науки, очищенной от жуликов, имеющих свои эгоистические расчеты. — Ну, довольно философствовать»<sup>141</sup>.

В дальнейшем Томсон уже не писал Ляпунову столь пространных писем, а обменивался краткими письмами, в которых не оставлял темы своих исследований старославянской письменности и продолжал отслеживать несуразности марровских теорий. В одной из последних открыток, 11 августа 1934 г. ученый вновь повторил свой излюбленный и принципиальный тезис: «Пора бы яфтиологам совсем отрезвиться от своего вздора. В языковеден[ии] и всех общественн[ых] науках научное понимание без исторического — невозможно»<sup>142</sup>. Через год, 27 сентября 1935 г. А. И. Томсона не стало.

#### **«„Вера“ — плохой вождь в научных изысканиях!»**

Кроме марризма, активно развивалось и так называемое социологическое направление в литературоведении, также претендовавшее на марксизм как свою методологическую основу. В толкованиях таких признанных марксистских литературоведов 1920-х гг., как В. А. Келтуяла, В. Ф. Переверзев, В. М. Фриче, социологический метод сводился к провозглашению классовой обусловленности идеологии, прямой зависимости литературного творчества от экономических отношений и классовой принадлежности писателя и т. п. Позднейшее марксистское литературоведение предпочло отречься от своего начального периода, присвоив марксистскому литературоведению послереволюционного пятнадцатилетия ярлык вульгарного социализма.

Социологические построения некоторых новообращенных в марксизм известных ученых (надо отметить, что специалистов по средне-

вековым литературам среди них были единицы) находили последователей. На фоне изысканий Н. Я. Марра приверженцы социологического метода, кроме ее радикальных сторонников, вроде того же Н. С. Державина, выглядели гораздо пристойнее. Книгой П. Н. Сакулина «Русская литература и социализм» (1922) заинтересовался коллега М. Н. Сперанского из Нежина, будущий член-корреспондент АН В. И. Резанов: «Сердечное спасибо Вам за передачу книги Сакулина „Соц[иали]зм и р[усская] лит[ерату]ра“; при встрече передайте ему мою искреннюю благодарность»<sup>143</sup>. В августе того же года Резанов вновь просил Сперанского о содействии: «Нельзя ли мне через Вас приобрести „Литературу и социализм“ Сакулина? В Советских „Известиях“ ее разругали, но меня она интересует чрезвычайно. Насколько возможно в Нежине, я и сам подбираю такой же материал и наметил коллективную работу в „исследовательском кружке“ — „Перелом“ — обзор литературы последнего времени перед революцией и литературы 1917 — 1922 годов — [...], с применением объективно-научных методов изучения»<sup>144</sup>. Через год Резанов, специалист в основном по литературе XVII — XVIII веков, признавался Сперанскому: «А теперь сижу над „Этюдами о пролетарском творчестве“»<sup>145</sup>.

Сkeptически к подобному интересу, а тем более к следованию новым веяниям относился В. Н. Перетц. Так, в письме Н. К. Никольскому от 3 июня 1923 г. он весьма нелестно отзывался о новой книге В. В. Сиповского, которого, кстати, сам был расположен еще в 1921 г. рекомендовать в академики<sup>146</sup>, «Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней» (1923): «Вы хотели видеть книжку Сиповского: прилагаю ее при сем. Поучительного мало, интересного тоже. Из этого материала, не спеша и стоя на исторической точке зрения, можно было бы сделать нечто более ценное. Но — он спешил (деньги нужны!), а засим — уверовал слишком в „новую религию“, а „вера“ — плохой вождь в научных изысканиях!..»<sup>147</sup> Однако Перетц был снисходителен к такому увлечению коллеги, и в дальнейшем полагая его достойным избрания в академики.

Резанов продолжал проявлять интерес к сочинениям, предлагавшим новые подходы к литературоведческим исследованиям, и, в частности, к статьям Сакулина, но также и к работам «формалистов». Зная подобный интерес коллеги, Сперанский рекомендовал ему еще ряд работ, в том числе и только что вышедший труд «Теория литературы. Поэтика» Б. В. Томашевского, на что Резанов ответил 15 марта 1925 г.: «...меня очень интересует эта книга»<sup>148</sup>. А через месяц он уже благодарили Сперанского: «Сердечное спасибо за присылку книг Томашевского [...] статью Жирмунского использовал, — указания и взгляды Жирмунского лежат в основе поэтики Томашевского, кото-

рый, по-видимому, на деле осуществлял то, что теоретически наметил Жирмунский»<sup>149</sup>.

Следует отметить, что гораздо раньше на новое направление обратила внимание пристально следившая за научной жизнью сотрудница Пушкинского Дома Е. П. Казанович. Еще в 1921 г. она отмечала в своих «Записках» отрадные для развития науки явления: «Талантливый кружок словесников собрался в Зубовском институте (Государственный институт истории искусств. — M. P.). Жирмунский их объединил, или это объединение идет из первоисточника — из Университетского семинария — не знаю, но только делают они интересную и полезную для науки, хотя, может быть, и слишком узкую, по мнению некоторых старых ученых, работу, делают ее бодро, молодо, талантливо. Они применяют новые ученые методы, стремятся поставить словесность на новый путь, отчасти указанный Веселовским, и научиться у них есть чему. Есть среди них и совсем оригинальные дарования, как Виктор Шкловский, маленький гений; есть и более обычные, как сам Жирмунский; есть и не вполне еще выяснившиеся — как Виноградов. Последний открывает своими этюдами о Гоголе новую страницу в изучении этого крупного, причудливого художника. До сих пор так тщательно изучался в русской словесной науке только Пушкин в кругу многочисленных уже в наши дни пушкинистов; Виноградовым начнется, вероятно, плеяда гоголианцев; во всяком случае, после работ Виноградова изучение Гоголя не может продолжаться по-прежнему»<sup>150</sup>.

Сторонники социологического метода, так же как и марристы, очень внимательно относились к конкурентам на методологическом поле. Проявившееся к концу 20-х годов жесткое административное давление в сфере науки сопровождалось проведением всевозможных научных дискуссий, с очевидным политико-идеологическим уклоном, наподобие той, о которой мы уже писали. И здесь Державин, считавший себя приверженцем марксизма, проявил себя бескомпромиссным борцом за единственно возможные новые методы в науке. Об этом свидетельствует его выступление на диспуте «Марксизм и формальный метод» (у Державина — «Что такое метод в науке»), состоявшемся 6 марта 1927 г. в зале Театра юного зрителя в Ленинграде<sup>151</sup>, где он резко обрушился на знаменитую школу так называемых «формалистов», очень яркое явление в отечественном литературоведении 20-х годов. Державин считал их недостойными носить звание современных ученых. В этом диспуте Державин выступил против выдающегося филолога Б. В. Томашевского.

Полемика вокруг метода в науке со стороны Державина носила отнюдь не академический характер, превалировали идеологические и политические аргументы. Основной упор он сделал на утверждении

«социальности» филологической науки: «Метод изучения литературно-художественного произведения, — писал Державин, — может быть только один, тот же самый, который применяется обычно во всякой социальной науке — социологический; метод, ведущий нас к раскрытию социальной генетики изучаемого явления, к пониманию его социальной сущности, к оценке его социальной значимости и отсюда и к овладению им во имя остальных классовых интересов»<sup>152</sup>.

Державин полагал, что он уже постиг методологическую истину, и это давало ему право заклеймить искания русских формалистов: «Утверждая отрыв художественной формы от социальности, они ведут социальную науку назад, к донаучному ее состоянию, а не вперед, ввиду чего всю огромную работу наших формалистов, которая при другой постановке дела дала бы колоссальные достижения, я считаю реакционной, отсталой наукой, как реакционная астрология при наличии астрономии, знахарство при медицине, как реакционны богословие и идеалистическая философия при марксизме, как реакционно всякое любительство сравнительно с подлинно научной мыслью и методом»<sup>153</sup>.

Наделавший много шума диспут не мог пройти мимо внимания Перетца, поглощенного в это время борьбой с кандидатурой П. Н. Сакулина в академики и удивленного и раздраженного поведением своих коллег по Отделению русского языка и словесности Академии наук, настроенных примиренчески к проникновению в их среду активного сторонника социологического метода. Можно предположить, что именно этим вызвана и характеристика сложившейся ситуации в письме А. И. Соболевскому от 11 марта: «В общ[ественной] жизни — де-прессия; воюют только „формалисты“, пытающиеся воскресить филологию \*, с „марксистами“, отрицающими все, кроме танца от печки»<sup>154</sup>.

Перетц явно не относился к тем «старым ученым», о которых писала Казанович. Его выступления против новомодных методологических изысканий и их наиболее видных представителей отнюдь не означали, что Перетц не интересовался и не принимал ничего нового, что появлялось в науке. Ему, отдавшему много сил воспитанию научной смены, всегда были небезинтересны профессиональные достижения молодых, с его точки зрения, ученых. Конечно, в их число попадали, прежде всего, преподаватели и профессора Петроградского университета и ученые, сотрудничавшие с такими академическими учреждениями,

\* Более чем за десять лет до описываемых событий один из активнейших участников дискуссии, а тогда «оставленный при Университете», Б. М. Эйхенбаум, так определял в письме к А.А.Шахматову круг знаний, необходимых историку литературы: «Историк литературы должен быть филологом в прямом смысле — иначе он не сумеет подойти к самому материалу. Вот почему меня так заботит вопрос о том, как соединить работу историко-литературную с чисто филологической» (ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 740. Л. 2).

как, например, Пушкинский Дом. И сообщение об успешности именно этих исследователей в донесении своих трудов до читателя было единственной положительной новостью в обширном письме Перетца Соболевскому от 6 марта 1922 г.: «Молодежь наша умеет находить издателей: видели вы „Гавриилиаду“, изд[анную] Томашевским, новые книжечки Гофмана, Эйхенбаума, Жирмунского? — и шрифт и бум[ага] отличные. О содержании — скажу — на любителя». Саркастически шутливый тон в оценке научных достоинств работ перечисленных авторов сменяется вполне серьезным выводом: «Но Томашевский] и Гофм[ан] — дельные люди». Да и само определение этой группы — «молодежь наша» — свидетельствует о том, что эти исследователи включались Перетцем в ученое сообщество.

В отличие от Державина, Перетц считал некоторых «формалистов» и близких к ним ученых своими коллегами. Так, размышляя о будущем пополнении Академии талантливыми учеными, которые воспринимались им как прямые наследники академических традиций, Перетц видел одним из них Жирмунского, о чем и писал Сперанскому в январе 1926 г.: «У меня есть на примете молодой кандидат. Скоро о нем, м[ожет] б[ыть], услышите в Москве — поедет к родным, а заодно и где-нибудь докладец прочтет: это В. М. Жирмунский. Но он одной генерации с Варв[арой] Павл[овной] (Адриановой-Перетц. — *M. P.*) и — в своем роде — одного калибра. Его дело — в будущем, когда немного подрастет»<sup>155</sup>.

Представители академической славистики и новых марксистских направлений в филологической науке единодушно отрицательно относились к публикациям противной стороны. Приведем в качестве примера оценки трех появившихся в период 1927–1930 гг. книг, из которых две принадлежали представителям науки академической, третья — науки идеологически ангажированной. В первом случае речь идет об известной работе А. М. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)», появившейся в 1927 г. Эта книга сразу получила самые восторженные оценки. Е. Ф. Карский: «Прекрасный труд. Читал запоем целый день»<sup>156</sup>; А. Мазон: «замечательно передает дух эпохи»<sup>157</sup>. Были, однако, оценки, которые осторожно отмечали и некоторую заданность при постановке темы. В частности, Б. М. Ляпунов писал Соболевскому: «Что же касается только что вышедшей книги А. М. Селищева „Язык революционной эпохи“, то при всем уважении к эрудиции и умению живо и интересно излагать, невольно приходит мысль, что автор, выбирая тему, руководствовался и практическими соображениями, что признает и он сам»<sup>158</sup>. Но «практические соображения» не помогли работе укрыться от внимания критиков. Так, Г. А. Ильинский, кстати, в пись-

ме Ляпунову не только сам очень высоко оценивал научные качества этого труда, но и ярко характеризовал стиль оценки книги приверженцами передовой методологии. «Здешние коммунисты травят книгу А. М. Селищева об Языке революц[ионной] эпохи. Несмотря на поразительную объективность автора, один рецензент даже осмелился обвинить А. М. в „тоске по старому дворянскому языку“ (*sic !!!*)»<sup>159</sup>.

Во втором случае речь идет о последнем третьем томе «Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе» В. М. Истриня. Ильинский 30 апреля 1930 г. писал Истрину: «Вчера я имел огромное удовольствие получить III том Вашего Г. Амартола. Конечно, вместе с двумя предыдущими томами он составил *monumentum aere perennius*»<sup>160</sup>. Другой отзыв относится к тому же времени, но принадлежит противной стороне: «анонимный рецензент писал так: „Появление этой книги... не может не вызывать удивления... Над книгой, имеющей на обложке и титульном листе отметку „1930 год“, носится мертвящий, схоластический духalexандрийской учености“»<sup>161</sup>.

В третьем случае речь шла о «Теории литературных стилей» Сакулина, вышедшей в 1928 г. Перетц был непоколебим в скептической оценке творчества этого ученого. И своим мнением он поспешил поделиться со Сперанским: «Я получил новое издание Сак[улина] — и не обрадован нисколько: очень легкомысленное „нечто обо всем“, а в существе такая же компиляция, что и другие его труды»<sup>162</sup>.

Для Державина марризм и марксизм — синонимы. Пропаганда и приверженность Державина яфтидолгии привели к тому, что в выпущенных Институтом славяноведения в начале 30-х гг. двух томах его трудов практически не оказалось ни одной лингвистической статьи. Это и неудивительно, так как в предисловии к первому тому Державин, утверждая, что «идеологическими и методологическими позициями» участников сборника являются «основные принципиальные положения марксистско-ленинской методологии», особый упор делал именно на теорию Марра. Ученый чрезвычайно самонадеянно заявлял, что «положительные достижения этого учения... в эпоху идеологического кризиса, теоретического разброда и методологической косности, характерных для современной филологической науки на Западе, явились действительно новой наукой». Следование ей открывает «широкайшие перспективы и возможности для новой плодотворной работы на основах марксистско-ленинской методологии»<sup>163</sup>.

И в идеологическом, и в теоретико-методологическом плане велось вытеснение из науки и высшей школы носителей академических

\* *monumentum aere perennius* — (лат.) памятник прочнее меди.

традиций<sup>164</sup>. Им на смену приходили или новые люди, быстро усвоившие некоторые простейшие положения марксистской доктрины, или ученые старой школы, стремившиеся поспеть за новыми «прогрессивными» направлениями, отказывавшиеся от своего прошлого и объявлявшие себя приверженцами марксизма. В истории славяноведения 20-х — начала 30-х гг. имели место обе эти тенденции. Был, однако, еще и третий вариант, наиболее трагический для науки, — на смену так или иначе изгоняемым ученым не приходил никто. Для славянской филологии это было, пожалуй, наиболее характерно.

Но существовал и еще один путь, позволявший сохраниться в новой научной среде. Путь этот — стремление временно отойти в сторону, не поднимать принципиальных методологических вопросов, сокрывая при этом свои убеждения, занять, пользуясь своим высоким академическим статусом, выжидательную позицию. Он вызывал, с одной стороны, острую критику со стороны решительных последователей академических традиций в науке, являвшихся одновременно и не менее радикальными критиками «марксистских» новшеств, но встречал у них же и понимание. К такому типу поведения склонился Ляпунов.

Один из немногих ученых-славистов старшего поколения, он сумел дождаться ослабления диктатуры марксизма. И такая позиция, в конце концов, себя оправдала. Именно Ляпунов выступил внутренним рецензентом книги вернувшегося из заключения Селищева «Славянское языкознание»<sup>165</sup>. Только приверженец традиционной славянской филологии мог пропустить в печать труд, отвергавший методологические приемы марксизма<sup>166</sup>. Надо полагать, что для выполнения этой задачи Ляпунову пришлось приложить немалые усилия, чтобы удовлетворительно ответить на обязательные пункты, требуемые в отзыве для издательства. Сам ученый сетовал в письме Селищеву 3 марта 1939 г.: «Что же касается „рецензии“ или „ отзыва“, то даже короткий отзыв, „где работа должна быть оценена с точки зрения политической, идеологической, научной и стилистической“, потребовал бы не менее месяца»<sup>167</sup>. При этом Ляпунов после выхода книги отмечал, что «„рецензирование“ (до печати) — конечно, совершенно излишний балласт, придуманный советской издательской практикой для задержки печатания», и выражал удивление, что «печатание так затянулось, и книга, готовая к печати уже весною 1939 г., вышла в свет только в 1941 г.»<sup>168</sup>. Следует отметить, что ослабление марксизма к концу 1930-х годов совпало с периодом возникновения совершенно новой политической конъюнктуры, при которой все «славянское» уже не отвергалось.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Ильинский Г. А. Что такое славянская филология? // Ученые записки государственного имени Н. Г. Чернышевского университета. Саратов, 1923. Т. 3. Кн. 1. С. 123–125.
2. См., например: Аллатов В. М. История одного мифа...
3. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 25, 26.
4. Там же. Оп. 4. Д. 345. Л. 15.
5. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 47.
6. ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 37 об., 38.
7. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 74 об.
8. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 61.
9. Цит. по: N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes / Prepared for publication by R. Jakobson with the assistance of H. Baran, O. Ronen and Martha Taylor. The Hague; Paris, 1975. P. 74–75.
10. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 38.
11. Там же. Л. 39, 40.
12. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 267. Л. 3 об.
13. Там же. Д. 161. Л. 121.
14. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 52, 52 об.
15. Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 345. Л. 4.
16. Там же. Л. 12.
17. Аллатов В. М. История одного мифа... С. 84.
18. См.: Аллатов В. М. История одного мифа... С. 54–55.
19. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 1. Л. 22, 23.
20. О деятельности Державина в 30-е годы см. подробнее: Аксенова Е. П. «Изгнанное из стен Академии»... С. 69–81.
21. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 1.
22. Там же. Л. 29.
23. Там же. Л. 14.
24. О длительной борьбе марксистских направлений в языкоznании в конце 1920-х – начале 1930-х гг., закончившейся победой марризма, см.: Аллатов В. М. История одного мифа... См. также воспоминания участника событий: Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти...
25. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 2.
26. Там же. Л. 2–3.
27. Там же. Л. 3.
28. Там же. Л. 3–4.
29. Там же. Л. 21.
30. См.: Державин Н. С. Яфетическая теория академика Н. Я. Марра // Научное слово. 1930. № 1. С. 3–39; № 2. С. 3–37.

31. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 4. Д. 345. Л. 26–26 об.
32. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 74.
33. Там же. Л. 85–86.
34. Покровский М.Н. Общественные науки в СССР за 10 лет // Вестник Коммунистической Академии. 1928. Кн. 26 (2). С. 26–27.
35. Българо-руски научни връзки... С. 133.
36. Там же. С. 142.
37. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 123. Л. 15–39. См. также: Иванов Вяч. Вс. О становлении структурного метода в гуманитарных науках славянских стран и его развитие до 1939 г. // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984. С. 245–246. Подробный анализ доклада и последовавшей дискуссии см.: Аллатов В. М. История одного мифа... С. 87–91.
38. Отрывки из стенограммы выступления Ильинского см.: Аллатов В. М. История одного мифа... С. 90.
39. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 200–200 об.
40. Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 123. Л. 15.
41. Там же. Л. 9–13.
42. Там же. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 116 об.–117.
43. Там же. Л. 116 об.
44. Там же. Л. 117.
45. Материалы о работе Ильинского над «Праславянской грамматикой», а также о сопротивлении Марра изданию этой книги см. в публикациях: Журавлев В. К. Григорий Андреевич Ильинский (1876–1937). М., 1962; Он же. Из неопубликованной «Праславянской грамматики» Г. А. Ильинского // Вопросы языкоznания. 1962. № 5. С. 122–129. Робинсон М. А. Перелом в довоенном советском славяноведении... Р. 93–107; Публикацию писем Ильинского Б. М. Ляпунову см.: Баранкова Г. С. К истории создания второго издания «Праславянской грамматики»... С. 211–248.
46. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 200.
47. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1929. Д. 253. Л. 3.
48. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 43.
49. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 204.
50. Там же. Л. 204–205.
51. Там же. Л. 205 об.
52. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 44.
53. Там же. Л. 46.
54. Перечисленные Ляпуновым работы до настоящего времени включаются в ряды «образцовых изданий». См.: Колесов В. В. Ильинский Григорий Андреевич // Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. С. 117.
55. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 46 об.

56. Там же. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 17. Л. 4–4 об.
57. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 203 об.
58. Там же. Д. 117. Л. 203–203 об.
59. Там же. Л. 208 об.
60. Там же. Д. 90. Л. 75 об.
61. Там же. Д. 117. Л. 214.
62. Българо-руски научни връзки... С. 153.
63. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 218.
64. Об отношении зарубежных лингвистов-марксистов к марризму и о книге *Scöld H. Verwandtschaftslehre: die Kaukasische Mode*. Lund, 1929 см.: Аллатов В.М. История одного мифа... С. 72.
65. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 234.
66. Там же. Д. 319. Л. 204 об.
67. Там же. Д. 117. Л. 250 об.
68. Там же. Л. 340 об.
69. См.: Аллатов В.М. Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 53. С. 205–206 (раздел «Вариант второй: конформисты»).
70. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 59.
71. Там же. Л. 66 об.
72. ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1–1930. Д. 256. Л. 7.
73. Там же. Л. 2.
74. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 253 об.
75. Там же. Л. 271.
76. Аллатов В. М. История одного мифа... С. 83.
77. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 264.
78. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1930. Д. 256. Л. 47 об.
79. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 269.
80. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1931. Д. 259. Л. 39.
81. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 279 об.
82. Там же. Л. 288.
83. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 43.
84. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 288–289.
85. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1930. Д. 256. Л. 83 об., 84.
86. Там же. Л. 84.
87. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 301 об.
88. Българо-руски научни връзки... С. 167.
89. Цит. по: Журавлев В.К. Из неопубликованной «Праславянской грамматики»... С. 123.
90. Тексты двух заявлений Ильинского в РИСО от 13 и 14 марта 1931 г. опубликованы: Баранкова Г.С. К истории создания второго издания «Праславянской грамматики»... С. 219–221.

91. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 305.
92. Там же. Л. 306–306 об.
93. Там же. Л. 307.
94. Цит. по: *Баранкова Г. С. К истории создания второго издания «Праславянской грамматики»...* С. 220.
95. Там же. Л. 308–308 об.
96. Там же. Л. 310, 310 об.
97. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1931. Д. 259. Л. 36.
98. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 32. Л. 14.
99. Там же. Д. 117. Л. 327.
100. Там же. Л. 327–327 об.
101. Там же. Л. 334–334 об.
102. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 76–76 об.
103. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 334 об.
104. Там же. Д. 319. Л. 178–178 об.
105. Там же. Д. 117. Л. 337–336 об. (нарушение пагинации).
106. Там же. Д. 319. Л. 144 об.
107. Там же. Д. 117. Л. 315 об.
108. Там же. Д. 319. Л. 144 об.
109. Там же. Л. 139 об.
110. Аллатов В. М. История одного мифа... С. 87.
111. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 32. Л. 90. (Письмо ошибочно атрибутировано П. А. Бузку и помещено в его письма Б. М. Ляпунову).
112. Там же. Д. 319. Л. 141–141 об.
113. Там же. Л. 141 об.
114. Там же. Л. 145 об.
115. Там же. Л. 160 об.
116. Там же. Л. 186 об.
117. Там же. Л. 147 об.
118. Там же. Д. 117. Л. 368–368 об.
119. Там же. Л. 340 об.
120. Там же. Д. 319. Л. 150 об.
121. Там же. Д. 117. Л. 364–365.
122. Там же. Д. 319. Л. 160 об.
123. Там же. Д. 117. Л. 378.
124. Официально Кабинет славянских языков был создан по решению Президиума АН СССР от 10 июня 1934 г. в Институте языка и мышления, руководимого Марром. См.: Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 99. О деятельности Кабинета на протяжении всего периода 1930-х годов см.: Там же. С. 99–104.

125. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 161–161 об.
126. Там же. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 163.
127. Там же. Д. 117. Л. 392.
128. Българо-руски научни връзки... С. 190.
129. Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 104.
130. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 398.
131. Аллатов В. М. История одного мифа... С. 32, 35.
132. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 206.
133. Там же. Л. 206–206 об.
134. Аллатов В. М. История одного мифа... С. 22.
135. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 207.
136. Там же. Л. 207 об.
137. Там же. Л. 177.
138. Там же. Л. 177 об.
139. Там же. Л. 178.
140. Там же. Л. 178 об.
141. Там же. Л. 178 об.–179.
142. Там же. Л. 185 об.
143. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 257. Л. 200.
144. Там же. Л. 209 об.
145. Там же. Л. 214 об.
146. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 16.
147. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 66–66 об.
148. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 257. Л. 219–220.
149. Там же. Л. 222.
150. РНБ. Ф. 326. Д. 18. С. 177–178.
151. См.: Материалы диспута «Марксизм и формальный метод» 6 марта 1927 г. / Публ., подготовка текста, сопроводительные заметки и примечания Д. Устинова // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. Публикатор отмечает, что «записей докладов Г. Е. Горбачева, Н. С. Державина, М. А. Яковлева и Л. Н. Сейфуллиной обнаружить не удалось» (С. 254). Полный текст доклада Н. С. Державина сохранился в его архиве (ПФА РАН. Ф. 827. Д. 766).
152. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 766. Л. 28, 29.
153. Там же. Л. 25.
154. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 85 об.
155. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 94.
156. РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 96. Л. 7.
157. Там же. Д. 105. Л. 10
158. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 30 об.

159. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 174 об.–173 об. (нарушение пагинации).
160. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 68. Л. 6.
161. Цит. по: Аллатов В. М. История одного мифа... С. 86.
162. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 197–197 об.
163. Труды Института славяноведения АН СССР. Л., 1932. Т. 1. С. 1.
164. См., например: Робинсон М. А. Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение 20-х годов... С. 111–134; Он же. Перелом в довоенном советском славяноведении... С. 93–107.
165. Селищев А. М. Славянское языкознание. Т. 1. Западнославянские языки. М., 1941.
166. Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 110.
167. РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 104. Л. 8.
168. Там же. Л. 21.

## Глава IV

### УЧЕНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ И РОССИЙСКАЯ СЛАВИСТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

В результате всех потрясений, постигших Россию, наука вообще, и славистика в частности, оказалась в начале 20-х гг. разорванной на оставшуюся на родине и попавшую в эмиграцию. Однако академическая элита в основной своей части осталась на родине, эмиграция академиков Н. П. Кондакова, В. А. Францева, а также нескольких членов-корреспондентов — явление скорее исключительное, хотя некоторые из их коллег также серьезно помышляли об отъезде. Так, будущий академик П. А. Лавров в письме академику Н. К. Никольскому летом 1918 г. писал: «То униженное положение, в какое мы попали, так удручет человека, что не знаешь, как бы из него выйти. Я мечтаю удалиться совсем из отечества, когда [нрзб.] откроется граница, если это будет возможно, к славянам»<sup>1</sup>. Нам неизвестно, какие причины заставили Лаврова отказаться от своих планов, но до конца жизни он с крайней неприязнью относился к новому режиму.

Ученые, остававшиеся на родине, старались информировать друг друга о перемещении своих коллег за границу. Этот процесс выдавливания в эмиграцию, как правило, начинался с увольнения неугодных властям ученых с работы. Так, Д. К. Зеленин сообщал А. И. Соболевскому 14 апреля 1919 г. об увольнении А. Л. Погодина из Харьковского университета<sup>2</sup>. Далее, в мае 1920 г. Зеленин поделился с Соболевским слухом о том, что «Погодин, Кульбакин, Анциферов и некоторые другие профессора, кажется, уехали за границу, Кульбакин — будто бы в Чехию»<sup>3</sup>. В августе того же года А. И. Яцимирский писал В. Н. Перетцу: «Погорелов уехал, говорят, в Сербию. Там же проезжавшие через Ростов Погодин и Кульбакин». Факт эмиграции перечисленных ученых не мог не вызвать у Яцимирского горестного замечания: «Осиротела наша славистика»<sup>4</sup>. Летом 1921 г. Зеленин сообщал Соболевскому уже точные данные об устройстве в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев двух упомянутых в письме Яцимирского харьковских славистов: «С. М. Кульбакин в Скоплие, в у[ниверсите]те, Погодин лектором русского языка в Белградском у[ниверсите]те»<sup>5</sup>.

Но большинство ученых, хотя и сетовали на тяжелые материальные и моральные условия существования, мечтали в основном о возможности поездок за границу с научными целями, что удавалось очень немногим, о восстановлении прерванных войной и революцией контактов как с зарубежными коллегами, так и с бывшими соотечественниками.

Только после завершения Гражданской войны и отнюдь не сразу, а очень постепенно начали восстанавливаться связи между частями разорванной русской науки, прежде всего на уровне личной переписки. Нельзя сказать, что переписка носила интенсивный характер с обеих сторон, это зависело от самых различных обстоятельств. В настоящее время мы не можем охватить весь массив этой переписки, в особенности малодоступные для нас архивы в тех странах, где проживали эмигрировавшие из России ученые. С другой стороны, в самой России пропали или сохранились фрагментарно архивы многих ученых, подвергшихся репрессиям, таких, например, как Н. Н. Дурново или Г. А. Ильинский, особенно активно общавшихся с учеными-эмигрантами.

Одной из задач, которую взяли на себя уезжавшие слависты, была помочь в восстановлении личных связей, существовавших между членами мирового славистического сообщества до начала Первой мировой войны. В этом отношении характерна деятельность Р. О. Якобсона, официально выехавшего в Чехословакию в 1920 г. в качестве «сотрудника миссии Красного Креста в Праге»<sup>6</sup>. Сам Якобсон «как славист был приглашен в роли переводчика»<sup>7</sup>. Довольно продолжительная работа Якобсона в составе советского полпредства все же закончилась его эмиграцией. По-видимому, активность его переписки можно объяснить надежным официальным положением. Еще находясь в Таллине, перед выездом в Прагу, Якобсон пересыпает А. А. Шахматову\* письмо эмигрировавшего в Чехословакию историка-слависта Н. В. Ястребова<sup>8</sup>. Молодой ученый сразу же по приезде в Прагу не только погрузился в занятия наукой, но и стал посредником в восстановлении связей между учеными старшего поколения. Так, уже 25 августа 1920 г. Якобсон сообщал М. Н. Сперанскому: «Очень рад, что могу здесь заниматься наукой [...] Я беседовал только с профессором Поливкой, который был со мной очень любезен. Он дал мне для Вас несколько своих книг, которые Вам одновременно с письмом посылаю». Якобсон также отмечал, что «профессор Зубатый, о котором уже несколько лет назад был некролог в „Русском филологическом вестнике“, жив и пишет»<sup>9</sup>. Последнее недоразумение возникло из-за некролога, написанного Ильинским в 1915 г., за что через год после его опубликования ученый принес свои извинения<sup>10</sup>. Досадная ошибка была вызвана отсутствием достоверной информации в военное время. В этом же письме Якобсон поднял очень важную для ученых, оставшихся в России, проблему необходимости пополнения библио-

\* Академик с интересом относился к сообщениям о деятельности Якобсона. Так, в письме Д. Н. Ушакову от 4 декабря 1918 г. он сообщал: «Порадовался оставлению при университете Якобсона» (АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Д. 42. Л. 61).

тек новой славистической литературой: «Если Вам нужны какие-либо чешские книги, — писал он, — я с готовностью могу Вам их послать»<sup>11</sup>. В последовавшие за приездом в Прагу полгода Якобсон развернул бурную деятельность в указанных направлениях, привлекая к ней и ученых-эмигрантов, в частности уже упоминавшегося Ястребова. Из письма Якобсона Сперанскому от 8 февраля 1921 г. мы узнаем, что его вхождение в новую для него обстановку было непростым и что связь с родиной в этот период для него была особенно важна: «...здесь в пражском полуодиночестве так радостно получать вести из дома. Правда, в той пачке писем, которую вчера получил, немало горестных известий, но в Ваших письмах, письмах москвичей, несмотря ни на что, бодрости больше, чем у всех здешних ученых вместе взятых». Из этого же письма следует, что Якобсон действительно стал важным связующим звеном между славистами Чехословакии и России.

Якобсон очень подробно информировал Сперанского о том, что ему удалось узнать и какие действия предпринять: «Вы спрашиваете о Ваших чешских друзьях, подробней напишет Вам на днях профессор Поливка, а я пока отмечу, что знаю. Иречек скончался. Мурко в Пражском университете читает сербский язык, Вондрак назначен профессором в Брно, у Пастрнека был уж после посылки Вам первого письма, он бодр, читает курс по глаголице, очень обрадовался Вашему привету, расспрашивал о Вас. Печатать здесь сейчас очень дорого, поэтому филологических книг не выходит, только журналы, и те не слишком аккуратно. Все же за войну кое-что вышло, и так как в Москве ничего этого нет, прибегнул к следующему средству: в Берлине имеется комиссия профессоров-техников, закупающая книги для России и имеющая на это деньги из Москвы. Я добился от них разрешения накупить книг по славянской филологии (на славянских языках). На днях приступаю совместно с профессором Ястребовым к закупке чешских книг для Академии и Московского университета, которые, полагаю, удастся скоро выслать. Затем, надеюсь, можно будет получить кое-что и из прочих славянских стран. Может быть, у Вас в связи с этой закупкой имеются какие-нибудь *desiderata* или советы, напишите»<sup>12</sup>. О внимании и глубоком уважении Якобсона и его близкого друга П. Г. Богатырева к старшему коллеге свидетельствует и посвящение Сперанскому подготовленной ими библиографии работ по славянской филологии в России за 1914–1922 гг.<sup>13</sup>.

Возникший книжный голод не был односторонним. Книги, опубликованные в новой России, не поступали в Западную Европу, о чем свидетельствует письмо М. Р. Фасмера, выехавшего через Эстонию в Германию в начале 1921 г. Его мы также относим к русским эмигрантам, особенно в рассматриваемый период. На эмоциональную связь

Фасмера с родиной, проявлявшуюся и почти через сорок лет после его эмиграции, указывал О. Н. Трубачев. Он также отмечал, что «по рождению, по культуре, приобретенной в детстве, по образованию он был русским человеком, ученым, сохранившим верность русской теме до конца жизни», и что «русская классическая русистика и славистика имеет право считать М. Р. Фасмера своим»<sup>14</sup>. Ученый ощущал острую нехватку русских книг еще в свою бытность профессором Тартуского университета. В письме В. М. Истрину от 5 ноября 1922 г. он сообщал о своих безуспешных попытках установить связь с Российской Академией наук: «От Ф. А. Брауна узнал, что можно получать книжные посылки из России. Писал с января 1921 года по этому поводу несколько раз С. Ф. Ольденбургу, но ответа не получил. Без русских изданий работать очень трудно. Напечатал библиографию русского языкоznания с резюме в *Indogerm. Jahrbuch VIII* (1914–19 гг.), конечно, с большими пробелами, но около 200 заглавий. [...] Очень бы просил Вас выслать [нрзб.] и, м[ожет] б[ыть], другие издания 1920 и сл[едующих] годов. Очень заинтересован Вашей древнерусской литературой, работой С. Ф. Платонова о Старой Русе и др[угими], но не знаю как получить. Буду Вам очень и очень благодарен, если напишете мне о новых книгах и уговорите Ваших коллег выслать мне кое-что. Усердно рекламирую здесь русскую науку. Работать здесь до сих пор было не трудно»<sup>15</sup>.

В отличие от оказавшихся в Праге и Лейпциге молодых исследователей, у очутившихся в эмиграции представителей старшего поколения в начале 20-х гг. преобладали куда более пессимистические настроения. Прожив в Праге почти три года, Францев писал 15 июля 1923 г. Сперанскому: «Вообще, старая гвардия понемногу сходит со сцены, а с молодыми нет уже у меня связей. И сам все думаю о том, что пора *vela contrahere*\* (как говорил Шаф[арик]): в Россию, очев[идно], не вернусь; с грустью об этом думаю и не нахожу ни в чем утешения; надо работать зд[есь], пока есть силы, но тоска давно уже одолевает, и трудно, тяжело жить без отчизны, без родной почвы под ногами, без родного воздуха. Но — авось — еще встретимся?»<sup>16</sup> Надо отметить, что сразу после избрания Францева академиком его возвращение в Россию выглядело делом хотя и непростым, но не безнадежным. В принципе возвращение из полуэмиграции или эмиграции было в то время еще вполне возможно, что Академия наук и стремилась использовать.

Очевидно, что во время выборов было известно, что ученый выехал за границу. Общее собрание Академии наук состоялось 9 ноября 1921 г.<sup>17</sup>, а уже 11 декабря Истрин сообщал в Москву Соболевскому: «Францев был выбран в ноябрьск[ом] заседании 16-ю против 5. Он

\* *contrahere vela* — (лат.) убирать паруса.

теперь в Праге, и мы не знаем, как его известить и как оттуда вытащить»<sup>18</sup>. Постоянно живший в Москве ученый живо интересовался перспективами пополнения Академии, и Францев фигурировал на третьем месте в обширном перечне кандидатов, предлагавшихся им к избранию в письме Истрину от 21 июля 1921 г.»<sup>19</sup>.

Францев уже в начале следующего года узнал о своем избрании и 28 февраля отправил в Отделение русского языка и словесности и Непременному секретарю Академии наук Ольденбургу официальное благодарственное письмо, в котором, в частности, объяснял причины своего отъезда: «Перенеся в течение 1921 г. брюшной тиф, триждыозвращавшийся, и затем сыпной тиф, я по болезни вынужден был оставить службу и выехать за границу для лечения». На самом деле ученый начал сильно болеть еще раньше, о чем Яцимирский писал Перетцу из Ростова-на-Дону, где размещался переехавший из Варшавы университет, в августе 1920 г.: «Францев болен, сначала был у него тиф настоящий, теперь паратиф»<sup>20</sup>. Но нельзя не согласиться и с предположением о том, что эмиграция ученого была вызвана его антибольшевистскими настроениями<sup>21</sup>. Однако вряд ли эту причину можно считать определяющей. Подобные настроения были свойственны большинству его коллег. «Горячо желаю быть, — писал Францев, — возможно скорей, в достоуважаемой Академической среде, но по состоянию моего здоровья я не могу осуществить моего желания немедленно. Всячески буду стараться исполнить его возможно скорее»<sup>22</sup>.

Из личного письма Истрину от 1 мая следует, что известие о своем избрании ученый получил 30 января одновременно из писем Истрина и Е. Ф. Карского. В нем Францев вновь повторял: «Всею душою стремлюсь быть в вашей достоуважаемой среде, горячо желаю работать вместе с Вами на пользу нашей науки и дорогого отечества, с волнением душевным читаю Ваши с Ев[фимием] Феод[оровичем] призывающие строки, но в настоящий момент никак не могу сняться с места и прибыть немедленно в Петроград»<sup>23</sup>. Но к этому времени ученого появились «сомнения», и он в деликатной форме испрашивал у Истрина совета: «Прошу усерднейше Вас наставить меня, как мне быть на случай, если мое пребывание вне академич[еского] круга признано будет неудобным: я поступлю всегда согласно с велением моей совести и Вашим указанием»<sup>24</sup>. Не получив скорого ответа, Францев, по-видимому в конце весны или начале лета 1922 г., отправляет Истрину еще одно письмо. Его явно беспокоит положение академика, не связанного с работой принявшего его в свой состав ОРЯС. «Меня тревожит постоянно только одна мысль, — писал ученый, — как бы я, пребывая за границей, не оказался излишним в списке членов Отделения, в его планах и предположениях. Не нарушил бы его расчетов. В этом случае

я желал бы услышать определенное решение Отделения, которое я никак не намерен вводить в заблуждение относительно времени прибытия в Петроград»<sup>25</sup>.

Однако решения, которые были приняты Отделением, и форма «указаний», полученных от Истринга, Францеву не понравились. По всей вероятности, характер письма Истринга, полученного в июле, обидел ученого, поэтому его ответ был довольно резок. «Письмо Ваше, — писал Францев 1 августа, — рассматриваю как „ультиматум“, требующий от меня категорического ответа на вопрос о времени моего приезда в Петроград. Я не уклонялся и не уклоняюсь от него. В официальном письме на имя Непрем[енного] Секр[етаря], где я выражают мою благодарность Общему Собранию за высокую честь избрания меня в академики, я совершенно искренне говорил о горячем моем стремлении прибыть в академич[ескую] среду для совместной работы в Отделении»<sup>26</sup>.

Истрин пересыпал в Чехословакию и официальную выписку из протокола заседания Отделения, которую Францев «доставил и Никодиму Павл[овичу]» (Кондакову. — *M. P.*). Ученый вновь перечислил «моменты общие и личного характера», задерживавшие его отъезд в Петроград. Но к ним добавились и другие препятствия, которые ученый описал следующим образом: «Главное, для получения необходимых для выезда в Россию документов мне неизбежно надо исполнить ряд таких формальностей, которые не согласуются решительно с моим достоинством и уважением к себе». На изложение планов Отделения в трактовке его председательствующего Францев отреагировал так, что в его словах нетрудно усмотреть обиду за невнимание к тому сложному положению, в котором он оказался. Ученый повторял аргументы Истринга о том, что его «отсутствие создает для Отд[еления] особенные затруднения осенью, когда неминуемо возникнет вопрос, как быть, что делать», и что «вопрос этот „так или иначе должен быть решен“, и „свободных мест в Отд[елении] уже нет“». Из этого он делал следующий вывод: «Я заключаю, что Отделение, в случае моего не-приезда до осени, предполагало бы заполнить занимаемое мною место другим лицом. Ввиду этого я считаю необходимым заявить, что решение этого „трудного вопроса“ предоставлю всецело усмотрению Отделения, не желая в наименьшей мере быть препятствием и помехой его ученым планам и намерениям»<sup>27</sup>. Через четыре дня, 5 августа, по горячим следам Францев вновь обратился к большой теме в письме Сперанскому. Он сообщал: «Вы поздравляете меня с академичеством. За поздравление дружески благодарю, а относительно лавров — думаю, что они, не расцветши, заявили\*. От Истринга я получил письмо,

\*В оригинале — «увяли».

написанное от имени Отделения (Русского языка и словесности. — Л.), с просьбой дать категорический ответ, когда я предполагаю прибыть в Петроград... Предоставляю Отделению решать „трудный вопрос“ по его усмотрению — пусть избирают другого на мое место. Проживу без „иммортелей“\*\* и дальше, как жил до сих пор»<sup>28</sup>. «Едва ли надо пояснить, — писал Францев, — что я сейчас не могу выехать из Праги, а между тем мне пишут: Вы ставите Отд[еление] в затруднит[ельное] положение, ему нужен славист, мест свободных уже нет, вопрос „так или иначе должен быть решен“. Очевидно, в случае моего неприезда Отд[еление] желало бы избрать иного члена»<sup>29</sup>. Возможно, что Сперанский воспринял это письмо коллеги как окончательный отказ от возвращения в Россию, хотя надежда на то, что Францев может еще передумать и вернуться, ученого все-таки оставалась.

В 1923 г. активные попытки вернуть академиков и членов-корреспондентов, состоявших в ОРЯС, продолжились. О своих усилиях Истрин писал 6 января Сперанскому: «Нест[ор] Ал[ександрович] К[отляревский] прислал просьбу [об] отсрочке до июля, но ему послан ultimatum — вернуться в январе или быть отчисленным от Академии. Как бы он не выбрал последнее»<sup>30</sup>. Интересно, что не только призывающие к возвращению воспринимали послания Истринга как ультиматум, но и сам он считал их таковыми. Н. А. Котляревский, однако, не внял призыву и в январе не вернулся, хотя положение его в Болгарии было двусмысленным. Так, Перетц писал Соболевскому 23 апреля 1923 г.: «Котляр[евский] писал из Софии, что его обляли в тамошних газетах: „советский, мол, ученый почивает на лаврах“; он и вырезку прислал. Видно, не всех хорошо встречают за границей. Францев отказался приехать. Встает вопрос о слависте, Истр[ин] писал Кульбакину, но приедет ли он — Господь знает»<sup>31</sup>. Котляревский все же вернулся. Возможно, этому способствовали не только угрозы изгнания из рядов Академии, но и обстоятельства, упомянутые Перетцем. Но на родине ему оставалось прожить недолго, в мае 1925 г. он умер.

Не исключено, что предложение вернуться было вновь сделано и Францеву, и он выбрал именно это «последнее», судьбу невозвращенца, и цитировавшееся ранее его письмо Сперанскому от 15 июля 1923 г. было тому подтверждением. Возможно, у Сперанского все-таки теплилась еще надежда на иной исход, поэтому через месяц, 20 августа 1923 г. он интересовался у Истринга: «Правда ли, что В. А. Францев прислал заявление о своем отказе от академичества? Из Праги до меня дошли такие слухи»<sup>32</sup>. Но никакого официального отказа от звания

\*\*Immortel — (франц.) бессмертный. Францев обыгрывает официальное название союза «бессмертных» членов Французской Академии.

академика Францев не присыпал, а коллеги ученого так и не решились исполнить свои угрозы. Массовое исключение из числа членов-корреспондентов и академиков из рядов Академии состоялось уже после ее советизации в декабре 1928 г. Тогда, наряду с другими, Францев лишился звания академика, а С. М. Кульбакин — члена-корреспондента, восстановлены в своих званиях они были только в 1990 г.<sup>33</sup>.

Выражая в июле 1923 г. надежду на встречу, Францев писал Сперанскому: «Приезжайте к нам в команд[ировку]. Ведь выбрался же А. Л. Петров! — Странный он тип»<sup>34</sup>. Сперанского и в дальнейшем неоднократно и безуспешно будут приглашать в Чехословакию. В другом письме хлопотал Францев и о молодом слависте, своем ученике: «Андрея Ив[ановича] Павловича горячо поручаю вашему попечению, он стоит того, чтобы ему помочь в научных занятиях». «Пришлите его сюда»,<sup>35</sup> — несколько наивно призывал ученый Сперанского. Что же касается замечания Францева об историке А. Л. Петрове, то его командировка — случай для слависта достаточно исключительный. По-видимому, Петров обладал особым талантом в организации своих командировок. Так, например, академик Перетц, один из инициаторов создания университета в Самаре, отмечал в письме Истрину от 9 февраля 1921 г.: «Я, по крайней мере — совсем не чувствую по себе, чтобы звание члена Академии — вызывало в провинции уважение. А вот был тут в командировке Алексей Леонидович Петров, так его возили в отдельных каютах и пр[очее] — стало быть, умел внушить страх и трепет\*...»<sup>36</sup>. Переbrавшись в 1922 г. в Прагу, Петров, оставаясь советским гражданином<sup>37</sup>, стал получать пособие от Чехословацкого министерства иностранных дел как профессор-эмигрант<sup>38</sup>. Свой выезд из Советской России учений оценивал как выход из тюрьмы<sup>39</sup>, а возможное возвращение на родину воспринимал как путь к смерти<sup>40</sup>. Тем не менее сообщение о его похоронах в Праге 5 января 1932 г. появилось в советской прессе. «Известия» писали: «От имени СССР с надгробной речью выступил полпред СССР тов[арищ] Аросев, подчеркнувший, что Петров был одним из тех ученых, которые помогали строить советскую культуру»<sup>41</sup>.

Но не только вопросы, связанные с избранием и перспективами его дальнейшей жизни за границей, были темами писем Францева. Он

\* Возможно, этому особому положению Петрова в его длительной (май 1920 — осень 1921) командировке «в Поволжье и на северный Кавказ „для изучения племенного состава этих местностей на основе национального самоопределения“», а также будущему выезду в Чехословакию способствовали «какие-то неизвестные нам связи с представителем Наркомпроса в Петрограде М. П. Кристи» (Горянин А. Н., Досталь М. Ю. А. Л. Петров и его научные славистические поездки 1920-х годов. Из писем и документов русских и чешских архивов // Переписка славистов как исторический источник. Сборник научных статей. Тверь, 1995. С. 97).

прекрасно помнил, в каком бедственном положении находились в России его ближайшие коллеги. Уже 8 мая 1922 г. он извещал Сперанского: «Высылаю вам одновременно с настоящим письмом через Миссию Хувера (American Relief Administration) посылку с съестными припасами, которую Вы получите на месте, вероятно, много позже моего письма, если оно дойдет до ваших рук». Завершал ученый свое письмо следующими словами: «Ваши старые друзья шлют Вам привет, с ними и я zaslám vielý slovanský pozdrav z matičky Prahy»<sup>42</sup>. К этой же теме Францев возвратился и в письме Сперанскому от 5 августа: «Когда получу новые ассигнования на помощь russk[им] проф[ессорам], выплю Вам еще посыпочку»<sup>43</sup>. В конце года ученый сообщал Ляпунову: «Вчера, 4.XII.1922, я выслал Вам по адресу: Университет — одну 10 \$ посылку через американцев (ARA). Она придет нескоро, — недель через пять-шесть. Прошу Вас позаботиться, чтобы уведомление ARA своевременно было Вам вручено»<sup>44</sup>. Подобная возможность материально помогать оставшимся на родине друзьям довольно скоро исчезла. Уже 11 апреля 1923 г. Францев с сожалением писал Сперанскому: «23 II через ARA послал прощальные приветствия (ибо ARA преставился с 1 апр[еля])»<sup>45</sup>.

Писал ученый и о трудном положении зарубежных коллег: «Варшавские оклады столь мизерны, что проф[ессора] унив[ерситета] столевались в общественных столовых. Старик Ягич в Вене брал обеды из америк[анской] кухни (YMCA). Я писал Вам, что в начале февраля специально ездил в Вену навестить старика». Францев на примере 84-летнего Ягича («энергия его и трудоспособность изумительные») подчеркивал необходимость восстановления научных связей и книгообмена. «В последнем письме ко мне он, — сообщал ученый, — выражает радость по поводу обращения к нему Отд[еление] р[усского] языка и словесности с предложением продолжать издание Энциклопедии. Думаю, что Отд[еление] оказывает великому старцу слишком мало внимания, а между тем он так дорожит связью с Академией. Особенно бы ему хотелось получить то, что за последние годы Отд[елением] было издано. Свою библиотеку он продал сербам и теперь с горечью чувствует разлуку с нею. Продал [...] и я свою»<sup>46</sup>. Идея привлечь В. Ягича к продолжению работы над Славянской энциклопедией, о чём сам ученый мечтал даже в годы Первой мировой войны, осуществиться было не суждено. Ровно через год, 5 августа 1923 г. ученый скончался.

Ученые, получавшие какую-либо информацию от уехавших, старались поделиться ею с коллегами, оставшимися в России. Казань оказалась городом, откуда добровольно и не по своей воле уехали многие ученые, представлявшие самые разные специальности. Так, К. В. Харлампович писал Соболевскому 7 января 1923 г.: «Есть „наши за границей“. В Берлине месяца два живет уже русский историк Стра-

тонов; туда же высыпается политико-эконом Овчинников и, кажется, психиатр Трошин. Недавно я получил открытку от Н. Н. Глубоковского из Белграда. Там он читает лекции на богословском факультете ун[и-версите]та. Но моральное и материальное положение его настолько тяжело, что он думает о возврате в Россию. В Белграде сейчас проф. Титов из Киева и проф. Доброклонский из Одессы. В Болгарии профессор Шавельский, проф.-прот[оиерей] А. П. Рождественский (которого письма из СПб. выдавали мне за покойника). Отмечал Харлампович и жестокое разочарование некоторых эмигрантов в своих представлениях о славянстве. «Н. Н. пишет, — сообщал ученый, — что обстановка в Белграде антикультурная, лишенная самых примитивных удобств. Народ грубый, недоброжелательный. Пред тем он был в Праге, откуда переехал в Сербию, „увлекшись проклятым славянофильством“. Вероятно, к русским еще долго будут питаться на Западе недобрые чувства, и, б[ыть] м[ожет], у б[ывших] „братушек“ еще острее...»<sup>47</sup>.

Прошел почти год, и 21 ноября 1923 г. Харлампович вновь сообщал Соболевскому о тяжкой эмигрантской доле своих казанских коллег. «Любопытно, — писал он, — как наши ссыльные чувствуют себя там. Один из легально уехавших за границу (Николай Никанорович) готовится вернуться в Россию: так плохо там живется. Вчера получил открытку от Николая Никаноровича (Глубоковского. — M.P.). Он теперь в Болгарии, где открывается богосл[овский] Факультет. Но профессоров пока только 3; он да два болгарина. Четвертый — прот[оиерей] А. П. Рождественский разбит параличом и, по-видимому, безнадежен. Н. Н. чувствует себя лучше, чем в Сербии: отношение к русским получше. Но жизнь дорога и книг нет»<sup>48</sup>.

Выезд из страны ученых вызывался не только причинами политическими, как во время Гражданской войны, но и после ее завершения — экономическими, невозможностью найти какую-либо работу по специальности в пределах Российской Федерации. В этом отношении характерна «полуэмиграция» выдающегося лингвиста Дурново. Так, 29 апреля 1924 г. академик Сперанский сообщал председательствующему в Отделении русского языка и словесности Российской Академии наук, академику Истрину о том, что ученый живет только на помощь, получаемую от «Кубы»<sup>49</sup>. К лету 1924 г. Дурново решил уехать из страны, о своем тогдашнем положении уже при хлопотах о возвращении в СССР, он писал Б. М. Ляпунову: «...я с октября 1923 г. штатного места и постоянного заработка не имел»<sup>50</sup>.

О планах Дурново Сперанский вновь сообщал Истрину 13 июля 1924 г.: «Что касается Н. Н. Дурново, то его намерение поехать за границу он мне объяснял так: деньги на дорогу ему обещал Р. О. Якобсон [...] Цель же поездки у него, по-видимому, не только позаняться, но и по-

пытаться, нельзя ли там где-нибудь пристроиться, да еще с семьей. Стало быть, это — очередная фантазия нашего чудака!»<sup>51</sup> Выехать Дурново все-таки удалось, что сразу же привело к определенным научно-организационным последствиям, о которых писал Соболевский Карскому 9 февраля 1925 г.: «Моск[овский] словарь р[усского] яз[ыка] с отъездом Дурново в Чехию, по-видимому, прекратил свое существование»<sup>52</sup>. План ученого оказался только частично исполненным, он смог получить научную командировку, но так и не получил разрешение на выезд семьи.

Почти с самого начала отъезд Дурново сопровождался неприятностями. Командировка планировалась недолгой, но ученый, исходя из интересов научных исследований, решил задержаться. Уже в начале следующего 1925 г. ему пришлось оправдываться перед руководством ОРЯС. «Мне пишут, — сообщал Дурново Истрину 29 января, — что акад[емик] С. Ф. Ольденбург недоволен, что я просил командировку на 4 месяца, а до сих пор не возвращаюсь. Но я просил командировку на такой короткий срок, потому что рассчитывал, что мне удастся более продуктивно, чем оказалось на самом деле, использовать осенние месяцы, и потому что не знал, в каких я здесь окажусь условиях. [...] Как только явилась возможность, я отправился в Карпатскую Русь»<sup>53</sup>. «После того как я уже приступил к изучению Карпатских говоров, — оправдывался ученый, — бросить эту работу в самом начале было бы более чем обидно». Можно предположить, что столь формальное отношение к его отъезду вызывало у ученого и удивление, и плохо скрытое раздражение. «Мое продолжительное пребывание в командировке никому никакого ущерба причинить не может, — напоминал Дурново, — так как я ни в каком учреждении, кроме Московской Диалектологической Комиссии, не состою. Если бы она меня вытребовала в Москву до выполнения мною моих задач, мне бы пришлось вернуться, оставив свое дело неоконченным, но думаю, что для нее те результаты, которые может дать изучение карпатских говоров, важнее, чем мое пребывание (и притом без работы!) в Москве»<sup>54</sup>.

То обстоятельство, что семья Дурново осталась в Советском Союзе, стало со временем основной причиной его стремления «вернуться из своей просроченной за отсутствием средств заграничной командировки»<sup>55</sup>, и именно поэтому командаировка эта не превратилась в окончательную эмиграцию. Якобсон же полностью сдержал свое слово. Вот как описывал Дурново первое время своего пребывания в Чехословакии в своих показаниях, данных им уже в заключении инспектировавшему Соловецкий лагерь особого назначения прокурору И. А. Акулову: «В 1924 г., когда я после закрытия комитета по составлению словаря русского языка оказался без работы, он (Якобсон. — M.P.)

предложил мне приехать к нему в Чехословакию и обещал денежную поддержку. Когда я туда приехал, он выхлопотал мне пособие от Чешского министерства иностранных дел»<sup>56</sup>.

В это же время некоторые коллеги Дурново также мечтали об эмиграции. Ильинский, бывший в то время профессором Саратовского университета, отмечая усиление идеологического давления на профес-сур, признавался 23 апреля 1924 г. в письме Ляпунову: «Да! Я начинаю мучительно завидовать тем нашим сотоварищам по специальности, которые устроились в южно- и западнославянских университетах!»<sup>57</sup>. Но отнюдь не все ученые предпринимали конкретные шаги к отъезду из страны или только мечтали ее покинуть, некоторые уже были достаточно, и не без оснований, запуганы советской действительностью. Так, Н. Л. Туницкий жаловался в феврале 1924 г. на то, что «с Болгарией общение затруднено и небезопасно»<sup>58</sup>.

В 1924 г. Сперанского вновь безуспешно пытались пригласить в Чехословакию уже в качестве делегата научного съезда, на который удалось поехать, как отмечалось выше, только Карскому. Якобсон и его близкий друг и коллега П. Г. Богатырев обратились с письмом, в котором сообщали о том, что «4-го июня в Праге открывается съезд славянских географов и этнографов. Инициативная группа — Поливка, Мурко и др[угие] не раз выражали горячее желание видеть Вас на этом съезде и уже послали Вам ряд приглашений. Но так как почта теперь ненадежна, извещаем об этом еще раз. Будем рады свидеться с Вами в Праге». В письме они выражали надежду на то, что отправленные ими книги Сперанский уже получил и что при встрече им удастся рассказать ученыму о своей научной работе и посоветоваться с ним. Передавали они и благодарность Н. С. Трубецкого Сперанскому за присланную книгу<sup>59</sup>.

Не только Францев, но и другие выехавшие из страны и более-менее благополучно устроившиеся на новом месте ученые старались по возможности оказывать помощь оставшимся на родине коллегам. Как только Фасмер приступил в Германии к созданию нового славистического журнала, он тут же обратился к своим коллегам в России. 2 апреля 1924 г. он писал Ляпунову: «Сейчас я занят основанием нового журнала *Zeitschrift für slav[ische] Philologie. „Архив“ (Archiv für slavische Philologie. — M. P.)* так редко выходит, да и не дорожит, по-видимому, русскими сотрудниками, что необходимо в Германии создать новый орган при участии русских ученых. Буду очень рад, если пришлете мне статью или рецензию. Хорошо было бы дать обзор новых изданий и исследований памятников древнерусского языка с 1914 года. Надеемся платить в дальнейшем и гонорары. Пишите по-русски! Переведем!»<sup>60</sup>. Как мы видим, ученым руководило не только желание ознакомить западноевропейскую науку с новыми работами из России, но

постараться материально помочь старым друзьям. О том, что Фасмер одновременно обратился с тем же предложением не только к Ляпунову, свидетельствует письмо Ильинского к тому же Ляпунову от 23 апреля. «На днях, — писал Ильинский, — получил от Фасмера письмо с приглашением участвовать во вновь основанном им журнале *Zeitschrift für slav[ische] Philologie*. По его словам, он должен соперничать с *Archiv Bernekera*, который будто бы не намерен приглашать русских сотрудников». И далее ученый не преминул отметить столь разительное отличие положения своей науки в двух странах: «Итак, разбитая и разоренная дотла Германия будет располагать двумя специальными журналами по славистике, а славянская Россия — ни одним! Какой позор!»<sup>61</sup>

Осенью этого же года Фасмер восстанавливает почтовую связь и с Е. Ф. Карским. Как свидетельствует его письмо от 5 сентября, это ему удалось не сразу: «Несколько раз пытался с Вами снестись, но не получил ответа на свои открытки (2–3), посланные Вам за последние 2 года\*. Сегодня надеюсь списаться с Вами заказным письмом. Очень сожалею, что не повидался с Вами, когда Вы были в Праге»<sup>62</sup>. Причина такой настойчивости становится очевидной из содержания письма. Фасмер задумал серьезный научный проект, к участию в котором старался привлечь как можно больше своих прежних коллег из России: «Сейчас обращаюсь к Вам, — писал ученый, — по такого рода делу: совместно с проф[ессором] Trautmann'ом (Königsberg) я приступаю к изданию своего рода энциклопедии *Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte*<sup>63</sup>. Далее Фасмер подробно информировал Карского о том, какие проблемы предполагается осветить в издании и кто из ученых намечен организаторами в авторы разделов: «Обзора русских говоров отдельно мы пока не предполагаем. Он войдет в историю русского языка, которую поручено написать мне. Если удастся включить отдельный очерк диалектологии, то мы предполагаем просить Вас написать белорусскую диал[ектологию]. Но это пока не решено.

Кроме этого очерка, мы уже распределили другие лингв[истические] отделы: Праслав[янская] грамм[атика] — Trautmann, старославянск[ая] — Кульбакин, болг[арская] — Младенов, сербохорв[атская] — Белич, [...] Русскую литературу — новую взялся писать Н. А. Котляревский, древнюю предложили Сперанскому, который еще не ответил. — Русск[ая] полит[ическая] история — Пресняков, Ист[ория] экономич[еская] — Заозерский, Ист[ория] церкви — Приселков. — От имени редакции обращаюсь к Вам с просьбой взять на себя Очерк белорусской народной словесности (5–6 листов по 32 000 букв) и бело-

\* Среди тщательно собранной корреспонденции Карского следов этих открыток не обнаружено. Совершенно очевидно, что ученый их не получал.

русской литературы (тоже 5-6 листов). [...] Русская этнография (в[е]л[ико]р[усская], б[е]л[о]р[усская], м[а]л[о]р[усская]) для нас подготавливается Д. К. Зелениным. Сроков сотрудникам мы не ставим. Очень хорошо было бы, если бы очерки были в рукописи представлены в 2–3 года. Но сроки определяются у нас сотрудниками»<sup>64</sup>.

«Очерки по славянской филологии и истории культуры» Фасмера, имеющие форму отдельных монографических работ, близки по своему типу с фактически закончившей свое существование «Энциклопедией славянской филологии» (последний и единственный в советскую эпоху выпуск появился в 1929 г.), задуманной академиком В. Ягичем и издававшейся в России<sup>65</sup>. Нельзя не заметить и определенной переклички проблематики двух этих изданий.

Не забыл Фасмер и о своем детище: «Еще просьба: в октябре с[е-го] г[ода] выйдет 1 кн[ига] основанного мною журнала *Zeitschrift für slavische Philologie*. Мне было бы очень приятно поместить в нем и статьи, и рецензии из-под Вашего пера. [...] Хорошо, напр[имер], было бы иметь обзор литературы по белорусоведению с 1914–1924 гг.»<sup>66</sup>.

Фасмер стремился привлечь к сотрудничеству в своем издании прежде всего представителей академического славяноведения, но не только. Для этого он прибегал к посредничеству своих молодых коллег. Так, В. М. Жирмунский сообщал П. И. Сакулину, о задуманном Фасмером проекте. Если для филологов-славистов он не нуждался в представлении, то в письме Сакулину от 7 июля 1924 г. ученый разъяснял: «Пишу Вам по поручению моего друга, Максима Романовича Фасмера, бывшего прив[ат]-доц[ента] Петерб[ургского] и профессора Сарат[овского] Университета, который, как Вы может быть знаете, состоит в настоящее время орд[инарным] проф[ессором] славянской филологии в Лейпцигском Унив[ерситете]. С осени текущего года М. Р. Фасмер предполагает издавать на немецком языке журнал по славянской филологии (*Zeitschrift für slavische Philologie*), в котором будет также отдел, посвященный новой русской литературе»<sup>67</sup>. Именно создание данного отдела и являлось причиной обращения к Сакулину. «Не зная, по всей вероятности, Вашего московского адреса, — продолжал Жирмунский, — М. Р. поручил мне просить Вас принять участие в его журнале. Статьи, написанные по-русски, будут переводиться на немецкий яз[ык] уже в Лейпциге»<sup>68</sup>.

Если в апреле 1924 г. Фасмер предполагал, что немецкая сторона будет платить гонорары только в будущем, то к сентябрю этот немаловажный для русских ученых вопрос уже полностью прояснился. В «Очерках» «гонорар за лист 100 зол[отых] герм[анских] марок», а в журнале, «к сожалению, — сообщал Фасмер Карскому, — гонорар за лист только 20 зол[отых] марок»<sup>69</sup>. Жирмунский 9 октября также со-

общал Сакулину: «Гонорар в этом издании очень скромный — 20 золотых марок (=10 зол[отых] рублей) за лист»<sup>70</sup>. Суммы для советских условий 1924 г., особенно для людей старшего поколения, были весьма значительными. В том же письме Жирмунский отмечал живой отклик, который нашел Фасмер на родине. «Петербургские ученые, особенно лингвисты, — писал он Сакулину, — приняли в *Zeitschrift* очень деятельное участие. В № 1 будет моя статья, очень обширная (более 2 листов) с обзором работ по „формальному методу“ и „поэтике“. В № 2 — такой же обзор Пушкинской литературы, написанный Томашевским. Фасмер просит еще раз напомнить Вам о Вашем согласии сотрудничать — хотя бы, на первый раз, отзывом о каких-нибудь книгах»<sup>71</sup>.

Создается впечатление, что Карский был готов к поступившему предложению и ответил немедленно. Уже 21 сентября — прошло всего 16 дней с момента отправки Фасмером первого письма, он сообщал Карскому: «Прежде всего, позвольте Вас поблагодарить за ценную „Диалектологию“<sup>72</sup>, за рукопись и за готовность принять участие в журнале и *Grundriss*. Фасмер благодарил академика за статью, очень интересную «для западного читателя», и даже выражал некоторое удивление тем, что Карский успешно продолжает работать в области науки: «Я и не подозревал, что Ваши „Белорусы“<sup>73</sup> так продвинулись вперед, и думал, что они остановились на III [томе] 1 [выпуске]»<sup>74</sup>.

Работа продвигалась столь быстрыми темпами, что к декабрю того же 1924 г. Фасмер, по-видимому, уже получил от Карского какую-то часть его работы. Как свидетельствует письмо от 28 декабря, он в качестве руководителя проекта стремился внести уточнения в уже имевшийся текст. «По плану *Grundriss*, — писал Фасмер, — в начале каждого очерка предполагается обзор истории изучения данного отдела. Вот почему желательно было бы, чтобы Вашему изложению предшествовал сжатый очерк истории изучения белорусской народной словесности». И далее: «Вы часто ссылаетесь на Ваших „Белорусов“, что вполне естественно, но надо иметь в виду западного читателя, который не всегда имеет их под рукой. Для него эти ссылки не столь красноречивы, как для нас»<sup>75</sup>. Фасмер намеревался как можно подробнеее донести до западноевропейских научных кругов последние достижения русской славистической науки.

Вопросы, связанные с работой над «Очерками», продолжали составлять основное содержание писем Фасмера Карскому, и в 1925 г. ученый отмечал как те проблемы, которые представляли для него личный научный интерес, так и те, которые касались всего издания. В одном из писем (24 февраля) он писал Карскому: «Меня, конечно, больше всего занимает западнорусская письменность, и как раз она у Вас разрабатывается особенно основательно»<sup>76</sup>; в другом (8 ноября)

он обсуждает с Карским правила передачи белорусских фамилий латиницей<sup>77</sup>. Фасмер очень щепетильно относился к научной объективности своего проекта, к возможности отражения в нем какой-либо ангажированности некоторых авторов «Очерков». Характерно в этом смысле письмо Фасмера Карскому от 27 августа 1925 г.: «Несколько озабочен я судьбой старой украинской литературы (XV–XVIII вв.). Ее взял на себя В. Н. Перетц, а затем по болезни просил пригласить другого сотрудника. Мы пока все еще не отказываемся от надежды, что он поправится. М[ожет] б[ыть], Вы сообщите мне свое впечатление. Не хотелось бы приглашать украинца, который бы взял да и включил в украинскую литературу почти всю древнерусскую»<sup>78</sup>.

Ученый, однако, понимал, что только новыми изданиями для поддержания достойного уровня научных исследований обойтись невозможно. Вновь, как и в начале 20-х гг., Фасмер пытался организовать масштабное приобретение русской научной литературы. Теперь он обращался к виднейшим русским славистам уже от лица нового научного учреждения. «Развитию славянской филологии в Берлинском Университете, — писал он Соболевскому 23 октября 1925 г., — до сих пор мешало отсутствие Славянской Семинарии, несмотря на блестящую преподавательскую деятельность профессоров Ягича и Брюкнера. С апреля 1925 удалось добиться учреждения Slavishes Institut, пополнению которого мешает отсутствие денежных средств. Дирекция Института принуждена обратиться к Вам с покорнейшей просьбой способствовать этому важному делу пожертвования Ваших, в Германии почти не доступных научных трудов. Предназначаемые для Института книги просят направлять по адресу Slavishes Institut, Universität Berlin»<sup>79</sup>. Фасмер стремился использовать для получения книг любую возможность. Так, он весной 1926 г. узнал о том, что «Московское Археологическое Общество ликвидировано и что издания его также ликвидируются». «Если это сообщение правильно, — интересовался Фасмер в письме Сперанскому, — то я очень бы просил Вас иметь в виду, что наш вновь основанный Славянский Институт в Берлинском Университете очень нуждается в таких изданиях и охотно принял бы пожертвования ненужных в России книг. Пересылку их могли бы взять на себя Германское посольство в Москве»<sup>80</sup>.

1925 г. был для русской науки особенным: отмечался 200-летний юбилей Академии наук. В ожидании приезда коллег некоторые из ученых пытались активизировать свою переписку с заграницей, как писал Лавров Истрину: «Официальные празднования, конечно, не могут привлекать. Но хочется видеть гостей из Европы и славянских земель, если бы их было и мало». Но, как подчеркивал Лавров: «Я отсюда писал письма, на которые ответа, однако, не получил. Речь идет о заграничных»<sup>81</sup>.

Фасмер неоднократно касался юбилейной темы в своих письмах Карскому, ему, безусловно, хотелось воспользоваться этим поводом, чтобы посетить родину и старых друзей. Ностальгические настроения чувствуются уже в его письме от 24 февраля 1925 г., которое он заканчивает фразой: «Сердечный привет Вам и всем, кто меня еще не забыл!»<sup>82</sup> Практически этими же словами («Шлю Вам сердечный привет, который прошу передать всем, кто меня еще не забыл») заканчивается и письмо Фасмера от 27 августа. Надежды ученого не оправдались: «У Вас, по-видимому, идут приготовления к юбилею Академии. Очень сожалею, что не удастся присутствовать при этом. Наша Саксонская академия отправила своих секретарей Heinze и Le Blanc, а я даже приглашения не получил. Надеюсь, что на будущий год удастся побывать в России. Теперь это нашему брату еще не по карману»<sup>83</sup>. Сожаление о несостоявшейся поездке не покидало Фасмера и в дальнейшем: «Мне очень досадно было, — писал ученый Карскому 8 ноября 1925, — не явиться на юбилей академии, но официально это было невозможно»<sup>84</sup>. Вероятно, Фасмер не знал, что списки приглашаемых ученых предварительно рассматривались ГПУ, о чем было хорошо известно его коллегам на родине, в частности В. Н. Перетцу<sup>85</sup>. Не исключено, что Фасмер, еще относительно недавно бывший петербургским приват-доцентом, относился к тем лицам, которые, как сообщал Перетц Сперанскому, «не прошли сквозь густое сито цензуры»<sup>86</sup>.

С отмечавшимся юбилеем было связано и письмо Якобсона Сперанскому от 31 августа 1925 г. В нем он интересовался мнением академика об одной из своих новых работ, «так как затронутые в этой статье историко-литературные вопросы, — отмечал Якобсон, — занимают первостепенное место в моей книге и Ваши методологические указания были бы мне чрезвычайно полезны при разработке прочих глав, буду Вам весьма признателен, если поделитесь со мной Вашими замечаниями — в письме [...] или через профессоров Мурко и Поливку, которые на днях выехали на празднества Академии». И как всегда, Якобсон осведомлялся у Сперанского: «...не нужно ли Вам что-нибудь из новейших заграничных изданий — с удовольствием вышлю»<sup>87</sup>.

С начала января 1926 г. начинает свою активную переписку Ильинский с обосновавшимся в Болгарии М. Г. Попруженко, она продолжалась до его ареста в 1934 г. Письма Ильинского с тенденциозно сделанными купюрами<sup>\*</sup> опубликованы в Болгарии<sup>88</sup>, их проблематика столь обширна, что требует специального исследования. Ильинский

\* Из текста писем изъяты резкие антисоветские и антимарксистские высказывания Ильинского. См.: Горянин А. Н. Из забытых «мелочей» журнала «Славянский глас» (1919–1933) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 62.

делился полученной информацией с коллегами. Так, 12 января 1926 г. он писал Ляпунову: «Недавно получил письмо из Софии от Попруженко. Он пишет, что материально устроился недурно, читает в 3 уч[ебных] заведениях, состоит членом (действ[ительным] или корр[еспондентом]?) Болг[арской] Акад[емии] наук; под его редакцией вышел сборник russ[ких] статей по случаю 25-летия Болг[арского] Слав[янского] Общества, кроме этого, им приготовлена к печати «История Болгарии»<sup>89</sup>. Ильинский, в отличие от Туницкого, не опасался переписываться с «белоэмигрантом», но проблема элементарной сохранности писем для него была актуальной, он, в частности, писал Попруженко 23 июня 1926 г.: «К великому сожалению, те письма, которые, по Вашим словам, были отправлены мне Вами из Болгарии, до меня не дошли»<sup>90</sup>. Некоторые письма, однако, доходили. Так, в конце 1925 г. Попруженко, работавший над корректурами статей русских ученых, участников сборника, посвященного 30-летию научной деятельности В. Н. Златарского, писал Соболевскому: «Во время этой работы я испытывал как бы наше общение с Вами, то общение, которым я всегда в силу неизменного к Вам почтения дорожил и которого искал... Мне захотелось послать Вам сердечный привет свой и выразить душевную радость по поводу того, что Вы в добром здравии продолжаете работать на благо нашей науки»<sup>91</sup>.

В отличие от писем из Болгарии, корреспонденция из Германии приходила регулярно, и переписка Фасмера с Карским продолжалась; она в основном была посвящена вопросам, связанным с издательскими проектами Фасмера. Через Карского ученый просил других русских коллег о рецензиях на новые книги, вышедшие на родине, для своего журнала<sup>92</sup>. Но не только рецензии, но и возможность получать сами эти книги очень интересовала Фасмера. Он и благодарили Карского за присланные книги, и прилагал к письму новый список. «Простите, — писал Фасмер 4 октября 1926 г., — что беспокою Вас постоянно, но здесь иначе работать по славистике нельзя»<sup>93</sup>. Не прерывались контакты ученых и тогда, когда Карский был в командировке в Праге, Фасмер писал ему и туда. Любопытно отметить, что адресом, по которому Фасмер отправлял Карскому корреспонденцию, был пражский адрес Францева<sup>94</sup>. Возможность встретиться с покинувшими родину коллегами дорого обошлась Карскому. После возвращения ученый старался быть максимально аккуратным в передаче своих впечатлений, о чем свидетельствует письмо Зеленина Соболевскому от 14 сентября 1926 г. «Карский вернулся в сентябре, — сообщал Зеленин, — он больше всего жил в Польше, где поляки относились к нему очень хорошо. В Болгарию ехать побоялся; на заграничном паспорте надпись исключает Болгарию, как и Швейцарию, Румынию etc. Как и

все ездили за границу, он более чем осторожен в своих рассказах, публично выступать с сообщением не думает: что действительно интересно, о том нельзя говорить»<sup>95</sup>.

Ученый в своем отчете о командировке все же не удержался и имел смелость положительно отзоваться о достижениях русской науки в эмиграции. В ответ на публикацию отчета Карского последовал окрик в «Правде» от 13 мая 1927 г., фельетон «И академик, и герой» принадлежал перу уже хорошо известного в то время журналиста Михаила Кольцова<sup>96</sup>. Поводом для нападок послужила, как предполагали коллеги Карского, и другая, очень близкая ученому тема — белорусская. Вернувшись в Ленинград из отпуска Зеленин сообщал Соболевскому 3 июня 1927 г. о разных заинтересовавших его новостях. «Вторая новость — старая, — писал ученый, — но мне оставалась неизвестною. Кольцов посвятил фельетон в Московской «Правде» заграничной командировке Карского; эпиграф: «и академик, и герой». Я, к сожалению, пока не читал. Есть возможность, что поводом послужил белорусский вопрос: белорусские газеты давно уже ругали отчет Карского о заграничной поездке»<sup>97</sup>.

В 1925 г. Зеленин успешно закончил работу над своей первой книгой для серии Фасмера, и у того сразу же возник следующий проект. В феврале 1926 г. Зеленин писал Соболевскому: «Фасмер прислал мне новый контракт, по которому я должен составить для *Grundriss'a d[er] slavischen Philologie* еще одну книгу, *Slavische Myphologie*. Я берусь выполнить это лишь к 1930–31 году: так как мало у меня теперь времени для научной работы. (Книга в 15–20 листов). Предполагалось, что эту книгу напишет Нидерле, который написал славянскую мифологию во 2-ом томе своего *Život starých slovanů* (Praha, 1917), по-чешски; но он отказался. Нидерле исчерпал историко-филологический материал, я надеюсь присоединить к ним этнографические данные»<sup>98</sup>. Русские коллеги Фасмера задавались вопросом, как он так быстро достиг в Германии столь заметного положения в науке, удивлялись его научно-организационной активности и значительным финансовым возможностям. Ответ они не без оснований связывали с внешнеполитической конъюнктурой 1920-х гг.<sup>99</sup>. Так, Зеленин писал 8 января 1926 г. Соболевскому: «Насчет Фасмера: я думаю, что карьера его объясняется глубоким интересом немцев ко всему русскому; как-никак немцы ждут от дружбы с русскими много»<sup>100</sup>. Отношение же со стороны официальных властей к Фасмеру как к недавнему эмигранту в 1926 г. было еще явно настороженное. Это сказывалось на контактах официально выезжавших в Германию представителей Академии наук. В июле Зеленин сообщал Соболевскому: «Фасмер из Берлина жалуется, что ни Ольденбург, ни Платонов, долго жившие в Берлине, у него не

побывали, несмотря на то, что цель их поездки — устроить „смычку“ с заграничными учеными. Очевидно, Фасмера считают больше русским, чем немецким ученым<sup>101</sup>. Заметим, однако, что осенью этого года Фасмер посетил Советский Союз и присутствовал в октябре на Академической конференции в Минске, посвященной обсуждению вопросов реформирования белорусской азбуки и правописания<sup>102</sup>. Пробыл Фасмер в Белоруссии довольно долго, как он писал 25 ноября Соболевскому: «Вернувшись на днях из Минска, я застал здесь Вашу открытку». В ответ на беспокойство Соболевского с задержкой публикации его статьи Фасмер сетовал на проблемы с переводом и писал: «Вы должны быть уверены, что я очень дорожу Вашим сотрудничеством и всегда буду рад получить от Вас еще кое-что»<sup>103</sup>.

Если выезд из страны был связан с большими трудностями, то и возвращение в нее также было весьма непростым мероприятием. Даже для специалистов европейского уровня в СССР не находилось места для работы. Для Дурново невозможность получить на родине гарантированный заработка стала в течение многих месяцев препятствием к возвращению. В середине февраля 1926 г. Зеленин писал Соболевскому: «Карский мне говорил, что Дурново бомбардирует его просьбами устроить на службу в Питере. Дурново профессор в Брно, но семью оставил в Москве, и будто бы семью непускают из России. Кажется, Карский думает представить Дурново в академики»<sup>104</sup>. Действительно, семья не только не могла выехать к Дурново, но даже сын не получил разрешение навестить отца. О том, какие усилия предпринял Карский, мы узнаем из письма Дурново Ляпунову 19 августа 1926 г.: «Карский предлагает мне место в одном из учреждений Академии Наук. Если это удастся, то я, вероятно, осенью вернусь; если не удастся, придется остаться здесь на неопределенное время»<sup>105</sup>. Тему возвращения Дурново поднимал во многих письмах Ляпунову в 1926–1927 гг. Так, 5 октября 1926 г.: «...я совсем было собрался ехать, но предполагавшееся место не освободилось, и я теперь не знаю, когда мне, наконец, удастся увидеться со своей семьей»<sup>106</sup>; 15 мая 1927 г.: «...я совершенно не могу себе представить, когда я буду иметь финансовую возможность вернуться из своей просроченной за отсутствием средств заграничной командировки»<sup>107</sup>.

Но не только один Карский хотел устроить Дурново на родине. Как сообщал Соболевскому тот же Зеленин 17 ноября 1926 г.: «Декан Воронежского Педагогич[еского] ф[акультета] спрашивал в Москве «возможности выписать из Чехии Н. Н. Дурново» (Декан — серб, партиец, фамилии не помню\*). Ему ответили, что это очень трудно сде-

---

\* Речь идет о Г. Т. Чуиче.

лать, что Дурн[ово] в свое время просто-напросто сбежал из Саратова»<sup>108</sup>. Для властей было совершенно не важно, что ученый был вынужден покинуть Саратов в начале лета 1921 г. после годичного там пребывания из-за отсутствия условий для занятий наукой и надвигающегося голода. Кроме того, как писал тогда Дурново Истрину: «Климат Саратова очень нездоровий: большинство переселившихся туда из Петрограда и Москвы больны малярией, против которой даже хинин не действует»<sup>109</sup>.

Осенью 1927 г., 13 октября, все та же проблема: «Не знаю, когда в силах буду вернуться. Ни места, ни заработка в пределах СССР никак добиться не могу, а без этого мне денег даже на обратную дорогу не хватит». Дурново начинает серьезно беспокоить и то, что его затянувшееся пребывание в Чехословакии все больше стало восприниматься на родине как эмиграция: «Почти все, кроме родных, меня забыли и, по-видимому, решили, что я больше и не вернусь»<sup>110</sup>. Но коллеги не забыли ученого, Ильинский сообщал Дурново 17 ноября: «А. М. Селищев, председатель секции Славяноведения Исслед[овательского] Инст[итута], говорил мне, что он при первой возможности постараётся провести Вас в члены ее, хотя по роду Ваших занятий и интересов Вам надлежало бы быть в Институте русск[ого] языка и литературы»<sup>111</sup>. Кстати, из того же письма выясняется, что в Москве думали и о возможности возвращения на родину Якобсона. Ильинский излагал в письме историю одной такой неудачной попытки. «Относительно Якобсона, — писал он, — Вы, по-видимому, недостаточно хорошо информированы. Ю. М. Соколов [нрзб.] отстаивал его кандидатуру в Универс[итете], предостерегая своих коллег, что Селищев и я будем будто бы душить студентов праславянщиной (!!). Но факультет нашел возможным послать Якобсону приглашение занять лишь лектуру чеш[ского] яз[ыка], но он на него даже не ответил»<sup>112</sup>.

Данное письмо проливает дополнительный свет на историю с попыткой приглашения Якобсона в качестве лектора широкого профиля на открывшийся в Московском университете цикл южных и западных славян. В мемуарах С. Б. Бернштейна достаточно подробно изложены перипетии, связанные с этим делом. Инициатором приглашения был Д. Н. Ушаков, а не официальный руководитель «цикла» Селищев. Якобсон отправил в Москву соответствующее заявление, его шаг поддержал Н. С. Трубецкой. Ильинский, чьи лекторские способности Селищев ставил очень невысоко, был другим кандидатом на то же место. «Но, — как отмечает мемуарист в записи от 20 мая 1949 г., — еще отрицательнее Селищев отнесся к кандидатуре Якобсона. Все направление научной деятельности Якобсона было глубоко чуждо Селищеву. Имя Якобсона в это время было тесно связано с Дурново, с Тру-

бецким, с фонологией. Все это для Селищева было неприемлемым»<sup>113</sup>. Он предпочел Ильинского, чье письмо рисует более сложную картину борьбы вокруг кандидатуры Якобсона. Кстати, из письма также очевидно, что мемуарист явно переоценил значение антагонизма научных направлений для делового сотрудничества, в частности, Селищева и Дурново.

К моменту получения письма от Ильинского вопрос о возвращении Дурново в СССР, в Минск, инициатором которого выступал П. А. Бузук, уже фактически был решен<sup>114</sup>. Якобсон информировал Дурново 20 ноября о сведениях, полученных из Белоруссии: «Приехали Папушки, они видели Пичету, и он сообщил им, что Ваше приглашение утверждено, и что Вам об этом послано в срочном порядке извещение. Получили ли?» Со своей стороны ученый конфиденциально сообщал коллеге: «Получил письмо от Скафтымова. Саратовский университет приглашает меня профессором на кафедру общего языкознания и русского языка. Об этом пока никому не говорите и не пишите. Ваше мнение? Меня пугает саратовская глушь, бескнижие и заброшенность саратовского университета. О Минске заботятся. Это как-никак все-таки столица». Якобсон, конечно, знал, что у Дурново был неудачный опыт работы в Саратовском университете. Поэтому не удивительно, что он поинтересовался мнением коллеги: «Напишите Ваши соображения. Я пока ничего не ответил, хотя просят срочного ответа. Очень боюсь опуститься там»<sup>115</sup>. Можно предположить, что информация, полученная от Дурново, Якобсона не вдохновила, но тот факт, что ученый вполне серьезно подумывал о возможности вернуться на родину, заслуживает внимания. Вскоре о решении Дурново узнал и Ильинский, и если Якобсон видел преимущества «столичного» Минска перед Саратовом, то ученый обращал внимание коллеги на весьма специфическую атмосферу в его научном сообществе. «Мне очень обидно за Вас, — писал Ильинский Дурново 25 января 1928 г., — что Вы меняете Brno на Минск, осиное гнездо б[ело]р[усских] шовинистов. Человек с самостоятельным характером едва ли там уживется, — оттуда бегут все, кто только может»<sup>116</sup>.

Некоторые из эмигрировавших ученых, как отмечалось выше, еще в середине 20-х гг. пытались как-то связаться с коллегами в России. К ним можно отнести и осевшего в Чехословакии Ю. А. Яворского. Так, 27 мая 1927 г. он сетовал в письме Сперанскому на то, что его попытки наладить переписку с коллегами ранее не увенчались успехом: «В свое время, кажется — весной 25-го года, — сообщал Яворский, — я имел случай послать через Библиотеку академии наук свои маленькие работы 1921–24 гг. некоторым знакомым ученым, в том числе также и Вам, — но не знаю, получили ли Вы эту посылку?». Неожиданная

присылка Сперанским через В. Ф. Ржигу своих книг и оттисков статей вызвала у Яворского не просто благодарность исследователя за «ценные» книги: «При этом весьма важно и ценно для меня, — особо подчеркивал ученый, — также то обстоятельство, что после стольких тяжелых лет духовного и книжного разрыва опять появилась некоторая возможность прямых отношений и связей с оставшимся на многострадальной родине русским научным миром, в том числе, наконец, и с Вами»<sup>117</sup>.

Появление новых изданий Академии наук в зарубежных библиотеках также способствовало попыткам восстановления старых связей. В ноябре 1927 г. после десятилетнего перерыва, с сентября 1917 г., Соболевский получил открытку от Погодина. Обосновавшийся в Белграде ученый даже не знал того, что Соболевский после революции постоянно проживал в Москве. По старой памяти письмо было отправлено по адресу «Академия Наук Ленинград». «На днях, — писал Погодин, — я читал Ваши статьи в Известиях Акад[емии] Наук и так живо вспомнил старину. Получили ли Вы мой оттиск из Сборника русского археологич[еского] Общ[ества] в СХС. Я — председатель этого общества с его возникновения, и у нас было не мало заседаний и экскурсий. Вероятно, Ваше Отд[еление] имеет эту книгу? В дек[абре] 1926 г. я издал на серб[ском] языке „Историю русской лит[ературы]“, которая была встречена сочувственно критикой. Стараюсь быть полезен России и за границей». Погодин просил передать приветы семье Карского и очень эмоционально заканчивал свое письмо: «Очень скучаю по России. Неужели никогда не удастся вернуться в нее? Напишите мне, как живете?»<sup>118</sup> Нам неизвестно, ответил ли Соболевский Погодину, но цитированная открытка осталась последним известием от ученого.

Еще более эмоциональное, переполненное острым чувством ностальгии письмо получило в конце 1927 г. Лавров от не вернувшегося после научной командировки в Германию в начале 20-х гг. и ставшего профессором Лейпцигского университета филолога-германиста Ф. А. Брауна. Возобновлению переписки, очевидно, способствовало и то, что в этом году Браун был избран членом-корреспондентом АН СССР<sup>119</sup>. «Ваше письмо, — писал 27 ноября 1927 г. Браун, — уже один вид Вашего почерка, так хорошо мне памятного, — перенесло меня мысленно в добрую старую время, о котором я вспоминаю с неизменным чувством любви и благодарности. В этом году у меня тут перебывало не мало старых друзей и коллег. В беседах с ними оживало все старое, и многое узнал я о Вас всех, между проч[им] и про Вас лично, и рад, что вы здравствуете и работаете по-прежнему неустанно»<sup>120</sup>.

Сообщал Браун и о перипетиях своей университетской карьеры, связавшей и его новую научную деятельность с Россией: «Немало работы и у меня. Вы, вероятно, знаете, что я перекочевал на новую ка-

федру — русской истории и истории культуры. В мои годы этот скачок дался не легко. Хотя за последние годы я много занимался и работал в этом направлении, находя в этих занятиях радость и утешение. С увлечением занимаюсь и теперь, вокруг меня создается кружок, специально заинтересованный изучением России в ее прошлом; бодро идут занятия в моем семинарии, в котором в этом семестре участвует уже 10 человек. Сильно не хватает книг, но постепенно создается библиотека; помогла наша (т. е. русская) Академия, Археограф[ическая] Комиссия и т. д. Одним словом, дело налаживается удовлетворительно. Жаль, что надвигается, или, точнее, уже надвинулась старость. Но это — общая судьба и жаловаться не приходится»<sup>121</sup>. Как мы видим, помочь книгами со стороны АН СССР, которую, как наследницу дареволюционной Академии, новый ее член, Браун, по-прежнему считал *своей*, была очень важна для развития славистических исследований в Западной Европе. Об этом же свидетельствует и письмо Фасмера Карскому от 24 октября 1927 г., только помочь русского коллеги помогла ученому преодолеть немецкий формализм. «Очень Вам благодарен, — писал Фасмер, — за устройство дела с Визант[ийским] Временником. Мы получили все обещанные Вами тома, начиная с 19-ого до конца. Смущает меня теперь отсутствие тома 17-ого, приложения которого мне до зареза нужны и который имеется в здешней Публичной Библ[иотеке] только в дефектном экземпляре. Мне стыдно это Вам писать, но, по педантичным правилам наших здешних семинариев, мне трудно купить для Славянского Семинария журнал, который официально не считается славистическим»<sup>122</sup>. В этом же письме Фасмер с гордостью сообщал об успехах «Очерков», о высочайших оценках, которых удостоилась вышедшая в этой серии в 1927 г. работа Зеленина «Russische (Ostslavische) Volkskunde»<sup>123</sup>: «Книгой Зеленина у нас все восторгаются. Проф[ессор] Naumann (Frankfurt) написал издателю, что был бы доволен, если бы немецкая этнография обладала таким прекрасным обзором». Заканчивалось письмо уже знакомой формулой: «Сердечный привет Вам и коллегам, не забывшим меня еще»<sup>124</sup>.

Но коллеги не просто помнили Фасмера, но и высоко ценили его заслуги перед славистической наукой. Чуть ранее цитированного письма, 1 октября, Фасмер сообщал Карскому: «Сейчас получил Вашу открытку. Большое спасибо. Список работ пришлю»<sup>125</sup>. Просьба Карского не была праздным любопытством, а первым шагом в осуществлении определенного плана.

Через неделю, 7 октября, Фасмер не только выполнил просьбу Карского, но и сопроводил явно не полный перечень работ, состоящий из 34 позиций и восьми изданий, в которых он выступал как редактор, очень интересным комментарием. Приводимые Фасмером оценки

собственных достижений свидетельствуют и о чрезвычайной скромности и научной щепетильности ученого, и о его планах на будущее. По мнению ученого, жизненные трудности, сопровождавшие его со студенческой скамьи, явно не способствовали его научной продуктивности. «Вашу просьбу относительно присылки списка моих работ, — писал Фасмер, — я выполняю довольно неохотно, т. к. мало сделал в сравнении с тем, что хотелось. Я прошу иметь в виду, что будучи студентом я принужден был давать немало частных уроков (1903–1907) и что я представитель того поколения, университетские занятия которого очень были затруднены первой революцией 1905 г. При Университете я был оставлен без стипендии и 6 лет приватдоцентствовал, не получая почти ничего от СПб. Университета в смысле денежной поддержки, кроме командировок за границу 1910–12 гг. Когда я попал в Юрьев, там не было библиотеки, и мне 3 года пришлось сидеть без книг. В Лейпциге и Берлине работать мешают длинные семестры и редакционные заботы (*Zeitschrift, Grundriss* и работы моих учеников). Прошу поэтому снискходительнее судить о прилагаемом здесь списке»<sup>126</sup>. Далее, после перечисления части своих работ, Фасмер продолжал: «Своих статей из *Zeitschrift* я не упоминаю. К сожалению, оттисков моих статей у меня не сохранилось: русские остались в России и, вероятно, погибли при переезде моего брата с квартиры, а немецких вообще было совсем мало, т. к. немецкие издательства очень на них скупы».

В настоящее время я готовлю большую работу о Славянских местных названиях в Греции. Доклад о ней я прочел на съезде византистов в Белграде, а также в саксонской Академии наук, когда был избран в действительные члены. Надеюсь ее скоро кончить»<sup>127</sup>. Заключительная часть письма свидетельствовала о том, как важно было для Фасмера мнение о его исследованиях оставшихся на родине старших коллег, составлявших цвет мировой славистики того времени. «Очень Вам благодарен, — писал ученый, — за нравственную поддержку моей работы тем интересом, который был к ней проявлен. Надеюсь, что список работ в ближайшее время увеличится»<sup>128</sup>.

Надо отметить, что у Фасмера было с кого брать пример скромности и требовательного отношения к себе. Один из уроков, который явно произвел сильное впечатление и поэтому запомнился ученому, он получил вскоре после окончания университета от лидера российской филологической науки, председательствующего в ОРЯС, академика А. А. Шахматова. Свидетельство, оставленное в дневнике Е. П. Казанович «Записки о виденном и слышанном», посвящено прежде всего восторженной характеристике Шахматова, но одновременно содержит и оценки молодого Фасмера. Итак, в записи от 4 июля 1912 г., содержащей несколько страниц, описывающих высочайшие научные и

моральные качества Шахматова, есть следующий пассаж: «...когда был диспут Н. М. Каринского и Шахматов был официальным оппонентом, — М. Р. Фасмер рассказал мне т[а]кой эпизод: к[а]к-то перед этим диспутом пришел Фасмер к Шахматову, и разговор, конечно, зашел о диссертации Каринского, о которой Фасм[ер] высказал свое мнение, указав на допущенные Каринским, по его мнению, ошибки и неправильности. Шахматов на это воскликнул: „К[а]к я рад! Значит, Вы тоже заметили это. А я боялся, что, может быть, ошибаюсь сам, упрекая здесь Каринского. Так, по-вашему, можно указать на эти ошибки?“ Так вопрошать могут только „чистые сердцем“!» К данному повествованию Казанович сделала следующее примечание: «М[аксимилиан] Р[оманович] тогда сдавал или только что сдал свои магистерские экзамены, что, к[а]к известно, он сделал в очень юном возрасте, для звания ученого мужа почти даже неприличном»<sup>129</sup>. Действительно, когда Каринский защищал в 1909 г. магистерскую диссертацию, Фасмеру было 23 года.

Получение от ученого списка его трудов имело практическое значение, русские коллеги-слависты посчитали М. Фасмера достойным быть отмеченным избранием в Академию наук СССР в качестве ее иностранного члена-корреспондента. Это избрание в 1928 г. оказалось еще возможным. Преисполненный благодарности Фасмер писал Ляпунову 5 марта 1928 г.: «Избрание членом-корреспондентом Вашей Академии очень меня тронуло, и я буду стараться оказаться достойным той группы славных ученых, в среде которых я встретил столько внимания»<sup>130</sup>. Характерно, что ученый благодарит не Академию вообще, а своих старых коллег и учителей. Следует отметить, что это последнее письмо Фасмера, написанное им Ляпунову по-русски, далее вся его корреспонденция уже была по-немецки. Фасмер 1 мая того же года и Карскому пишет последнее письмо по-русски. Он благодарит и за присылку ему 17-го тома Византийского Временника, отмечает, что «tronut [...] dружбой и добротой»<sup>131</sup> Карского.

Авторитет уходящей русской науки был столь высок, что за фактической поддержкой к ее представителям обращаются и ученые украинской эмиграции, находившиеся в непростых отношениях с эмиграцией русской. В этом отношении представляет особый интерес переписка жившего в Варшаве И. И. Огиенко, Лаврова, Сперанского и Никольского, связанная с проблемой, считающейся одной из основополагающих в славистике, — с кирилломефодианой. Получив благословение от Ильинского, Огиенко в июне 1926 г. решает вступить в переписку с крупнейшими специалистами по древнеславянской письменности. Первому он пишет Сперанскому 19 июня: «По предложению Григория Андреевича (Ильинского. — M. P.) я выслал Вам два

тoma работы моей „Костянтин и Мефодий“. Покорно прошу принять мою убогую „працю“ и не судить меня строго. Взамен прошу Ваши ценные труды, из которых я не имею тут ни одного. Дальнейшие томы моей работы буду высылать Вам своевременно»<sup>132</sup>. К Лаврову Огиенко решился обратиться 26 июня 1928 г., прежде всего он сообщал о себе: «...в Варшавском Университете, кроме курсов Палеографии и Церковно-славянского языка, читаю еще отдельный курс о Кирилле и Мефодии». Далее он коснулся той же вполне традиционной темы того времени: «Из Ваших ценных работ не имею у себя решительно ничего, а потому сердечно прошу Вас в обмен на мои работы прислать Ваши, за что буду Вам глубоко благодарен»<sup>133</sup>. Независимо от обращения Огиенко Лавров сам заинтересовался его работой, и по вполне понятным причинам. В письме Никольскому от 1 июля 1928 г. Лавров прежде всего сообщал о том, что в ближайшее время он должен получить корректуру своей книги, печатавшейся в Киеве («Кирило та Методій в давньослов'янській письменності»: Київ, 1928). Надо заметить, что Лавров достаточно скептически относился к публикациям на украинском языке, и, в частности, об издании Перетца, посвященном «Слову о полку Игореве» (1926), он писал Истрину: «...книга, переведенная на малор[оссийский] яз[ык], едва ли найдет читателей у нас, которые легко бы ею могли пользоваться, по-моему, и среди преподавателей, и среди учащихся. Язык перевода, на мой взгляд, очень нередко искусственный и деланный, едва ли желательный»<sup>134</sup>. Ответ на то, почему вдруг Лавров изменил свою позицию, мы находим в письме Ильинского Попруженко от 2 июня 1928 г.: «П. А. Лавров печатает в Укр[аинской] академии наук (на укр[аинском] языке) большую работу о К[ирилле] и М[ефодии]. Оказывается, что на юге относятся терпимее к науч[но]-религиозным темам, чем на севере»<sup>135</sup>. Тем не менее публикация на украинском все же не совсем удовлетворяла Лаврова, и он продолжал: «...если я проживу еще несколько лет, быть может, и хорошо было бы, увеличив размеры книги, где-нибудь ее напечатать по-русски. Сейчас она выйдет в скромных размерах, чем можно было бы это сделать при иных обстоятельствах». И далее, что для нас особенно важно: «Я взял в Киеве 2 тома книги Огиенка и подготовил о ней отзыв для одного сербского журнала»<sup>136</sup>.

На обращение украинского ученого и Сперанский, и Лавров отреагировали сразу же, что следует из писем им от Огиенко, написанных в июле того же года. И если ответ Сперанскому был довольно краток, в нем Огиенко выражал сердечную благодарность за присланные ему труды академика<sup>137</sup>, то Лаврову он адресовал 20 июля подробнейшее письмо, которое мы приводим почти полностью. Итак, Огиенко сообщал: «Уже три года читаю в Варшавском Университете от-

дельный курс на Богословском Православном Факультете: „Кирилл и Мефодий и их деятельность“; имею постоянно много слушателей. Наши студенты обязаны писать триместровые сочинения, — и они написали их мне более 300 по самым различным вопросам К-М [нрзб.]. При этих работах и выяснилась большая необходимость труда, подобного моему. У нас теперь К-М вопросы очень модны в связи с унией, — везде тычут нам пальцами на К[ирилла] и М[ефодия] как на „первых униатов“, а потому мой труд не бесполезен здесь и в смысле обороны православия. Эта последняя сторона делает мой труд „схизматическим“ в глазах католических ученых и приносит мне не мало различных неприятностей. Католики, по своей привычке, сделают все возможное, чтобы труд мой не получил распространения. А прежде всего постараются везде поместить неблагоприятные рецензии; одна из подобных католических рецензий уже напечатана в „Kwartalnik Historyczny“, ежемесячник Львовский. Рецензент укоряет меня, что я написал работу „по старым русским методам“ (рецензент — греко-католик, но греко-кат[олики] окатоличились более самого папы). Вот почему Ваше сообщение, что Вы собираетесь написать рецензию на мой труд, сильно ободрило меня: как глубокий знаток К-М[нрзб.] Вы сможете объективно оценить то, что я сделал. Ваш голос будет ободряющим для меня и даст мне сил работать на этом поле дальше»<sup>138</sup>.

В том же 1928 г. Перетц попытался принять участие в судьбе своего бывшего ученика, оказавшегося в Чехословакии. Все перипетии этого дела он обсуждал в письмах Сперанскому, имевшему в Праге обширные связи. Итак, 25 июля 1928 г. Перетц писал: «Затем еще одно дело. Вы, кажется, хорошо зна комы с Поливкой, Гораком и, может быть, и с Гупером? Я с ними совсем незнаком! А между тем я должен просить вот о чем. В Праге учреждается Славистич[еский] Инст[итут], будет и украинская секция. В нее намечается в члены О. Колесса, давно переставший работать и — что хуже всего — имеющий тенденцию весьма вредную: душить около себя молодых и вообще младших работников. Там есть между тем дельный человек из моих слушателей — автор иссл[едования] о Меркурии Смолен[ском], а также по вопросам укр[аинской] лит[ературы] и методол[огии], Леонид Тимофеевич Белецкий. Не претендую на руководящую роль, он, как бывший доцент Подольского Укр[аинского] Унив[ерситета] и проф[ессор] Украинс[кого] Педагог[ического] Института в Праге — мог бы в качестве [действительного] члена укр[аинской] секции Нового Инст[итута] быть вполне на месте. Я был бы оч[ень] рад, если бы вы нашли возможным написать ему неб[ольшую] рекомендацию — Поливке и др[угим] названным лицам, с которыми, на беду, я незнаком! Со своей стороны я напишу Мурке, с котор[ым] переписываюсь изредка.

Ручаюсь Вам, что рекомендуемое лицо — человек добродорядочный вполне и не скомпрометирует Вас»<sup>139</sup>.

Достаточно скоро, 12 августа 1928 г., Перетц отправил дополнительные подробности о своем ученике, дав заодно и весьма резкие, свойственные его характеру, оценки некоторым представителям украинской научной эмиграции в Праге. Прежде всего, он указывал, что Белецких двое: «Леонид Тимофеевич Белецкий, мой ученик, автор [...] ряда украинских статей, Введ[ения] в методол[огию] ист[ории] укр[аинской] литер[атуры] (Прага 1925?) и др. — он проф[ессор] сначала Укр[аинского] Ун[иверситета] в Каменце-Подольск[ом] (ныне †), а затем проф[ессор] Укр[аинского] Педагог[ического] Инст[итута] в Праге. Я его просил дать полн[ый] список его работ. Человек около 40 лет. Он-то и является соискателем в Праж[ском] Инст[итуте] Славянов[едения]. Там — узнаю недавно — препрезентирует ист[орию] р[усской] лит[ературы]... Ляцкий! Чудеса! А на спец[иальность] по укр[аинской] лит[ературе] нацеливается Ол. Колесса, котор[ый] читает в Праге... укр[аинский] язык. Думаю, что Белецкий будет побойчее. Когда он мне пришлет свой список работ — я переправлю его Вам: м[ожет] б[ыть], будете любезны замолвить словечко Поливке, с котор[ым] я незнаком. Как это ни странно, не знаю и Вейнгарта. Белецкий не принадлежит к числу „безумных“ украинцев и вообще человек дельный и на авантюры и шовинизм неспособный. Думаю, что и на интриги, столь свойственные галичанам»<sup>140</sup>. Последние замечания Перетца навеяны теми внутренними распрями, которые в это время раздирали Академию наук Украины. Белецкий действительно прислал своему учителю полный список своих трудов, но дальнейшая судьба проектов Перетца нам неизвестна.

Также за содействием обратился в июне 1928 г. к Лаврову проживавший в Братиславе Е. Ю. Перфецкий<sup>141</sup>. Перфецкий просил поддержки в опубликовании на родине одного из своих трудов, не упоминая о своем статусе эмигранта; он объяснял свой отъезд следующим образом: «В конце 1921 года я уехал за границу с целью изучения материалов в тамошних архивах по летописанию немецкому, чешскому и польскому, — а вместе с тем, чтобы издать свой труд по древнейшему русскому летописанию, который и был издан в 1922 г.»<sup>142</sup>. Благожелательный отклик Лаврова вызвал не только самую горячую благодарность, но и приоткрыл далеко идущие планы Перфецкого, которые он связывал с этой публикацией. Так, он писал Лаврову 24 сентября 1928 г.: «...по Вашему предложению в заседании Академии Наук решено в общих Известиях Академии Наук напечатать мою работу: „Общий источник древнейшего чешского и древнейшего польского летописания“. За Ваши старания (дорогие мне) по этому делу сердечно

Вас, глубокоуважаемый Петр Алексеевич, благодарю! Я очень счастлив, что моя научная работа возвращается на родную почву, в Россию.

Я и моя жена (жена моя словачка [...]) грезим о России, ибо только в ней я вижу свою цель. Но каким путем вернуться в Россию, не знаю. Профессор О. И. Брох (так. — *M.P.*) очень советует возвращаться мне в Россию. Здесь за границей посвятил я себя древнейшему чешскому, польскому и немецкому летописанию и собрал по этому вопросу достаточно материала. Были бы только подходящие условия для работы над ними.

Смею спросить Вас, как Вы, Глубокоуважаемый Петр Алексеевич, поживаете. — Ведь столько каждым пережито за это время!»<sup>143</sup>

В этом письме удивляет ссылка на рекомендацию, полученную от известного норвежского слависта О. Брука (Олафа Ивановича, как его величали в русской академической среде<sup>144</sup>), ведь в 1924 г. сам Брок опубликовал книгу, посвященную «пролетарской диктатуре» в СССР<sup>145</sup>.

Несколько восторженное отношение к идею возможного возвращения на родину отразилось и в следующем, последнем письме Перфецкого Лаврову от 28 декабря 1928 г.: «К новому Году и наступающим праздникам Рождества позвольте сердечно пожелать Вам много здоровья и сил для родной Науки и страны. Я Вам очень благодарен за принятие в печать моей статьи о древнейшем чешском и польском летописании для печатания в „Трудах славянской комиссии Академии Наук“, издаваемых под вашей редакцией. Буду очень, очень благодарен Вам, глубокоуважаемый Петр Алексеевич, если названная моя статья, по возможности, в наиболее скорое время будет напечатана там, ибо это будет, конечно, иметь большое значение и для возможного моего возвращения обратно в Россию, о чем хлопочу»<sup>146</sup>. Лавров, считавший власть большевиков «игом»<sup>147</sup>, конечно, не мог порекомендовать Перфецкому вернуться в СССР. Работа Перфецкого появилась все-таки в советской печати, но уже в трудах созданного в 1931 г. Института славяноведения<sup>148</sup>. К счастью для себя, Перфецкий на родину так и не вернулся, избежав тем самым перспективы оказаться привлеченным по «Делу славистов».

Вновь очень рассчитывал на приезд Сперанского в Прагу Францев, сообщавший ему 19 ноября 1928 г. о двух важнейших событиях в научной жизни Чехословакии: учреждении в Праге «Славянского института», устав которого прилагался к письму, и о готовящемся съезде славянских филологов, намеченном на год 100-летнего юбилея со дня кончины Й. Добровского (6 января 1929 г.)<sup>149</sup>. Заканчивал он свое письмо по-чешски: «Těším se, že navštívíte, že bude našim hostem na siezdu»<sup>150</sup>. Но никто из перечисленных выше ученых в Прагу так и не поехал, не смог туда попасть и Карский, имевший даже персональное

приглашение, это, очевидно, было наказанием за его откровения в отчете о поездке в Прагу в 1926 г.<sup>151</sup>.

Очень надеялись повидать своих коллег в Праге на Первом съезде славянских филологов многие русские ученые. Так, 30 апреля 1929 г. Ильинский спрашивал Ляпунова: «Есть ли надежда, что Вы и П. А. Лавров осуществите Ваше намерение съездить в Прагу в этом году? У нас только на днях в Главнауке будет решаться принципиально вопрос о командировках на Съезд, но, конечно, я не смею и мечтать об этом счастье. Поедут, вероятно, А. М. Селищев и кто-нибудь из бр[атьев] Соколовых»<sup>152</sup>. Сам Лавров еще в письме Ляпунову от 27 августа 1929 г. интересовался: «...не получен ли ответ по вопросу об участии русских ученых на съезде в Праге. Я пишу о том же и Е[вфимию] Ф[едоровичу] (Карскому. — M. P.)»<sup>153</sup>. Этот интерес имел вполне реальное основание, ведь еще 11 января на заседании Отделения гуманитарных наук академик секретарь «додожил о желательности командирования на Съезд славянских филологов, имеющий состояться в Праге с 6–13 октября 1929 г., П. А. Лаврова и Б. М. Ляпунова». На заседании было принято решение: «Положено: признать желательным и передать в Президиум»<sup>154</sup>. Никто из названных ученых-славистов на съезд не попал. Через два месяца после прошедшего в Праге съезда П. А. Лавров скончался.

Не имея часто возможности по разным, в том числе и политическим причинам посетить родину, ученые старались направить туда своих новых учеников-славистов. При этом они не без оснований надеялись на благожелательное отношение к молодым ученым со стороны своих старых коллег. По-видимому, к 1928 г. относится недатированное письмо Трубецкого Сперанскому, которое попало в СССР, минуя почту. «Позволяю себе горячо рекомендовать Вам, — писал Трубецкой, — подателя сего письма, г-на Ягодича. Д-р Р. Ягодич — австриец, мой ученик, интересуется специально древней русской письменностью. Для того, чтобы иметь возможность продолжить и углубить свои научные знания в этой области, он поступил чиновником в австрийское посольство в Москве, надеясь, что эта служба не помешает ему в свободное время пользоваться московскими библиотеками, архивами и проч. Я был бы очень признателен Вам, многоуважаемый Михаил Несторович, если бы Вы оказали д-ру Ягодичу содействие»<sup>155</sup>. Ягодич действительно смог воспользоваться консультациями и иной помощью Сперанского, о чем свидетельствует его письмо от 5 июля 1928 г.<sup>156</sup>. Судьба этого молодого ученого хорошо известна, со временем он стал одним из ведущих австрийских славистов.

Ильинский сообщал Ляпунову 11 апреля того же года: «Сейчас здесь пребывает m-lle Вольтнер, ассистентка Фасмера. Она покупает

книги для Славянского Института в Берлине»<sup>157</sup>. В 1928–1929 гг. в СССР проходил стажировку двадцатилетний студент Берлинского университета К. Менгес, судя по всему, он также был снабжен рекомендациями Фасмера. Корифеи русской славистики отнеслись к нему с максимальной внимательностью и продолжали искать способы помочь юному слависту, ученику своего коллеги, даже после его отъезда в Германию. Так, 23 июня 1930 г. Ильинский писал Ляпунову: «Обращаюсь к Вам с маленькой просьбой. Гостивший здесь почти год молодой немецкий ученый Karl Menges, ученик Фасмера, и теперь вернувшийся на родину (Frankfurt a[m] M[ain]), просил меня разыскать и выслать ему несколько книг, в том числе Ваше „Исследов[ание] об языке Н[о]в[городской] л[е]т[о]п[иси]“». К сожалению, в здешних немногих антикварных магазинах я нигде не мог разыскать этой книги. Если у Вас остались лишние экземпляры „Исследов[ания]“ и если отправление одного из них по моему адресу не причинит Вам материального ущерба, то я очень был бы Вам благодарен, если бы Вы дали мне возможность удовлетворить одно из самых горячих желаний молодого немецкого слависта»<sup>158</sup>. Неудивительно, что Ильинскому не удалось обнаружить у «антикваров» издание магистерской диссертации Ляпунова, опубликованное за 40 лет до описываемых событий<sup>159</sup>. По-видимому, Ляпунов сам решил отправить книгу Менгесу, т. к. уже в следующем письме, от 9 июля 1930 г., Ильинский сообщил академику адрес Менгеса, «кандидата на Ваше „Исследование“»<sup>160</sup>.

В конце концов, достаточно быстро книга была отправлена в Германию. Уже «14/1» (так иногда с явной ностальгией вспоминался «старый стиль») сентября того же года Ильинский передавал Ляпунову: «К. Менгес получил Вашу книгу и в восторге от нее»<sup>161</sup>. Став одним из крупнейших специалистов по изучению ориентализмов в славянских языках (в этой связи особенно известна его переведенная на русский язык работа, посвященная «Слову о полку Игореве»<sup>162</sup>), К. Менгес вполне оправдал ту заботу и внимание, которые проявили к нему представители русской славистической элиты.

Особенно оживилась переписка русских ученых по обе стороны границы в 1927 и 1928 гг. Продолжают общаться прежние корреспонденты, старые коллеги пытаются восстановить связи, прерванные еще Гражданской войной. Появляются и новые корреспонденты — уехавшие за границу ученые молодого поколения. И те, и другие стараются привлечь к совместной деятельности русскую академическую элиту. Со своей стороны оставшиеся в СССР ученые проявляют стремление к участию в научных и научно-организационных мероприятиях русской научной эмиграции. Но, по нашим наблюдениям, 1928 год стал всплеском активности, не имевшим, однако, продолжения.

Конец 20-х гг. ознаменовался началом эпохи «великого перелома». Научную интеллигенцию потрясли начавшиеся политические процессы, даже звание академика уже не спасало от перспективы оказаться в заключении. Фактически была ликвидирована какая-либо самостоятельность Академии наук. Многие жившие на Западе русские ученые начали понимать, что, переписываясь с коллегами в СССР, они могут подвергать их опасности, навлекая обвинение в преступных контактах с белоэмигрантами\*. Возможно, по той же причине такие тесно связанные с Россией и русскими учеными слависты, как Фасмер и А. Мазон, отказываются в переписке от русского языка, дабы не смущать органы советской цензуры, ответственные за перлюстрацию. Избранные в 1928 г. иностранными членами АН СССР, они переходят в том же году на немецкий язык (Фасмер в переписке с Карским и Ляпуновым) и французский (Мазон с Ляпуновым).

Для многих ученых, покинувших родину, чувство ностальгии служило очевидной мотивировкой в желании наладить контакты со своими коллегами. Но более важной причиной поддерживать связи с отечественной наукой было, на наш взгляд, положение оставшихся на родине представителей славистической академической элиты как наиболее авторитетных в своей области ученых. Естественный, но как нам представляется, во многом спровоцированный травлей Академии наук в прессе, уход из жизни виднейших русских славистов также послужил важным фактором в прекращении переписки.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 447. Л. 28.
2. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 13.
3. Там же. Л. 146.
4. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 5.
5. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 36.
6. Из письма академику А. А. Шахматову в июле 1920 г. (ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1764. Л. 3).
7. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 340.
8. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1764. Л. 3.
9. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 339. Л. 1–1 об. Письма Якобсона Сперанскому опубликованы: Досталь М.Ю., Робинсон М.А. Письма Р.О. Якобсона

\* Как всегда, случались и исключения. Так, переписка Б. М. Ляпунова и В. А. Францева продолжалась до 1938 г.

- М. Н. Сперанскому и Л. В. Щербе // *Известия Академии наук. Серия литературы и языка*. 1995. Т. 54. № 6. С. 63–71.
10. Ильинский Г. А. Письмо в редакцию // *Русский филологический вестник*. 1916. Т. 76. № 4. С. 336.
  11. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 339. Л. 1 об.
  12. Там же. Л. 2–2 об.
  13. Якобсон Р., Богатырев П. Славянская филология в России за годы войны и революции. Берлин, 1923.
  14. Трубачев О. Н. Предисловие ко второму изданию «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера // *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка*. М., 1986. Т. 1. С. 566.
  15. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 171. Л. 4–4 об.
  16. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 16 об. Письмо частично опубликовано: *Лаптева Л. П.* В. А. Францев. Биографический очерк и классификация трудов // *Slavia*. 1966. Roč. XXXV. Seš. 1. S. 84.
  17. См.: *Лаптева Л. П.* В. А. Францев. Биографический очерк... С. 84.
  18. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 176. Л. 41 об.
  19. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 11 об.
  20. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 5.
  21. См. подробнее: *Лаптева Л. П.* В. А. Францев. Биографический очерк... С. 83.
  22. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 177. Л. 6.
  23. Там же. Л. 1.
  24. Там же.
  25. Там же. Л. 7.
  26. Там же. Л. 3.
  27. Там же. Л. 3–4.
  28. Цит. по: *Лаптева Л. П.* В. А. Францев. Биографический очерк... С. 84. Ср.: ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 10.
  29. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 10.
  30. Там же. Д. 135. Л. 70.
  31. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 36 об.
  32. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 50.
  33. Вестник АН СССР. 1990. № 2. С. 155, 156.
  34. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 16 об.
  35. Там же. Л. 10.
  36. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 53–53 об.
  37. Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. А. Л. Петров и его научные славистические поездки... С. 99.
  38. Данное обстоятельство засвидетельствовал Н. Н. Дурново: «Это пособие получали главным образом русские профессора-эмигранты, как А. Л. Петров» (Робинсон М. А., Петровский Л. П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой... С. 79).

39. Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. А. Л. Петров и его научные славистические поездки... С. 113.
40. Там же. С. 112, 113.
41. Цит. по: Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. А. Л. Петров и его научные славистические поездки... С. 114–115.
42. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 12.
43. Там же. Л. 10.
44. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 338. Л. 1 об.
45. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 14.
46. Там же. Л. 9–10.
47. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 28 об.–29.
48. Там же. Л. 33.
49. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 62 об.
50. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 60.
51. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 64.
52. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 131. Л. 52.
53. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 54. Л. 5.
54. Там же. Л. 6.
55. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 55 об.
56. Робинсон М. А., Петровский Л. П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой... С. 79.
57. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 103–103 об.
58. Там же. Ф. 284. Оп. 3. Д. 190. Л. 4 об.
59. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 339. Л. 3–3 об.
60. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 329. Л. 5 об.–5 (нарушение пагинации).
61. Там же. Д. 117. Л. 103.
62. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 1. Карский был единственным представителем Советской России на съезде славянских географов и этнографов. См.: Досталь М. Ю. Е. Ф. Карский в годы «советизации».... С. 79.
63. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 1.
64. Там же. Л. 1–1 об.
65. Ср.: Лаптева Л. П. Организация славистических исследований в рамках Отделения русского языка и словесности... С. 341.
66. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 1 об.
67. РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Д. 331. Л. 26.
68. Там же. Л. 26 об.
69. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 1 об.
70. РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Д. 331. Л. 32.
71. Там же. Л. 32–32 об.
72. Карский Е. Ф. Русская диалектология. Л., 1924.

73. *Карский Е. Ф.* Белорусы. Варшава; М; Пг., 1903–1922. Т. 1–3. Третий том «Белорусов» вышел в трех выпусках; выпуск 1-й, упоминаемый Фасмером, появился в Москве в 1916 г., 2-й и 3-й увидели свет уже после революции в Петрограде в 1921 и 1922 гг. Как видно из письма, об этих последних выпусках Фасмер не знал.
74. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 2–2 об.
75. Там же. Л. 3–3 об.
76. Там же. Л. 5.
77. Там же. Л. 7 об.
78. Там же. Л. 6–6 об.
79. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 122. Л. 1.
80. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 308. Л. 14.
81. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 89. Л. 9–9 об.
82. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 5 об.
83. Там же. Л. 6 об.
84. Там же. Л. 7 об.
85. *Робинсон М. А., Сазонова Л. И.* О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы... С. 461.
86. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 67.
87. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 339. Л. 5 об.
88. Българо-руски научни връзки... С. 131–191.
89. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 118–118 об.
90. Българо-руски научни връзки... С. 132.
91. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 309. Л. 4.
92. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 11–11 об.
93. Там же. Л. 14. .
94. Там же. Л. 12 об.
95. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 88 об.
96. См. подробнее: *Досталь М. Ю.* Е. Ф. Карский в годы «советизации»... С. 79–81.
97. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 133.
98. Там же. Л. 62 об.
99. О том, как Фасмер умело использовал внешнеполитическую конъюнктуру для целей успешного развития славистики, см. подробнее: *Ботт М.-Л.* «Филология» или «изучение противника»? Славянский институт М. Фасмера в развитии славистики в Германии (1925–1932) // Славяноведение. 2002. № 4. С. 57–64.
100. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 59 об.
101. Там же. Л. 85–85 об.
102. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 32. Л. 42–43 об.
103. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 387. Л. 3.
104. Там же. Д. 161. Л. 65 об.

105. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 34.
106. Там же. Л. 44.
107. Там же. Л. 55 об.
108. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 101 об.
109. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 54. Л. 4.
110. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 57.
111. РГАЛИ. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
112. Там же. Л. 1–1 об.
113. *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 137
114. Об организации возвращения Дурново см. подробнее: *Робинсон М. А., Петровский Л. П.* Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой... С. 69–70.
115. РГАЛИ. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 29. Л. 1.
116. Там же. Д. 17. Л. 3.
117. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 336. Л. 72.
118. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 298. Л. 23.
119. *Платонов С. Ф., Крачковский И. Ю., Ольденбург С. Ф.* Записка об ученых трудах Ф. А. Брауна // Известия АН СССР. 1927. С. 1517–1520.
120. ПФА РАН. Ф. 284. Оп. 3. Д. 31. Л. 9–9 об.
121. Там же. Л. 9 об.
122. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 21.
123. *Zelenin D.* Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. Впервые на русском языке эта книга была издана через 64 года: *Зеленин Д. К.* Восточнославянская этнография. М., 1991.
124. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 20, 21.
125. Там же. Л. 16 об.
126. Там же. Л. 17.
127. Там же. Л. 19.
128. Там же. Л. 19 об.
129. РНБ. Ф. 326. Д. 18. С. 136.
130. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 329. Л. 8.
131. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. Л. 22.
132. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 215. Л. 1.
133. Там же. Ф. 284. Оп. 3. Д. 138. Л. 1–1 об.
134. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 89. Л. 11.
135. Българо-руски научни връзки... С. 138.
136. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 447. Л. 20.
137. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 215. Л. 2.
138. Там же. Ф. 284. Оп. 3. Д. 138. Л. 2–2 об.
139. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 202–202 об.

140. Там же. Л. 210–211.
141. См. подробнее о Перфецком: *Досталь М.Ю.* Российские слависты-эмигранты в Братиславе // Славяноведение. 1993. № 4. С. 50–54.
142. ПФА РАН. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 1.
143. Там же. Л. 2, 3.
144. *Робинсон М.А., Сазонова Л.И.* О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы... С. 462.
145. Эгеберг Э. Исключение норвежского слависта Олафа Брука из рядов АН СССР // *Veda a ideológia v dejinách slavistiky...* S. 136.
146. ПФА РАН. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 5, 6.
147. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 52 об.
148. *Перфецкий Е.Ю.* Общий источник древнейшего чешского и древнейшего польского летописания // Труды Института славяноведения. 1932. Т. 1. С. 207–237.
149. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 312. Л. 19.
150. Там же.
151. *Досталь М.Ю.* Е. Ф. Карский в годы «советизации»... С. 81.
152. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 208 об.
153. Там же. Д. 171. Л. 101.
154. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1929. Д. 253. Л. 4.
155. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 302. Л. 1.
156. Там же. Д. 338. Л. 1–1 об.
157. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 173 об.
158. Там же. Л. 276.
159. *Ляпунов Б.М.* Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи. СПб., 1889. Вып. 1.
160. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 277.
161. Там же. Л. 283.
162. *Менгес К.Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.

## ГЛАВА V

### В. Н. ПЕРЕТЦ И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА

Роль В. Н. Перетца как организатора науки широко известна. Нет ни одного специалиста по славяно-русским древностям, кто не слышал бы о его знаменитом Семинарии.

Материалы о деятельности этого научного сообщества публиковались самими его членами в период существования Семинарии<sup>1</sup>, присутствуют они и в статьях мемуарного характера<sup>2</sup>. Известны достижения учеников Перетца В. П. Адриановой-Перетц, Н. К. Гудзия, И. П. Еремина (а также уже и их учеников), благодаря научной и организационной деятельности которых изучение славянских средневековых литератур не пресеклось в годы наиболее откровенного идеологического и политического давления и смогло постепенно, по мере ослабления этого давления, освобождаться от навязывавшихся ему идеологических схем<sup>3</sup>. Однако за рамками научных хроник и исследований остается материал, характеризующий личные взаимоотношения учителя с учениками, те отношения, которые во многом формируют личность ученика и позволяют говорить не только о передаче собственно научных, но и о продолжении академических традиций в целом.

В связи с этим стоит обратить внимание на отношения самого В. Н. Перетца с его учителем А. И. Соболевским. Сохранилась более чем 30-летняя переписка ученых со времени окончания Перетцем Петербургского университета и до кончины Соболевского, переписка, охватывающая период с воцарения последнего русского императора и до начала сталинского «великого перелома», период нескольких войн и революций, крушения всего уклада жизни научной элиты, к которой, несомненно, относились оба академика Императорской Академии наук. За это время сам Перетц из «оставленного» Соболевским в 1893 г. при кафедре русского языка и словесности превратился в мэтра филологической науки.

Не получавший стипендии и вынужденный преподавать в школе<sup>4</sup>, Перетц, однако, не остался без внимания и поддержки своего учителя. Через два года, сдав магистерские экзамены, молодой учений, увлекавшийся в то время славянским фольклором, еще не мог определиться с темой своей магистерской диссертации. Этот период совпал с длительной командировкой его учителя в славянские земли, которая, однако, не прервала общения Перетца и Соболевского. Писем Перетца не сохранилось, но весьма обстоятельные ответы Соболевского дают нам достаточно полное представление о проблемах, беспокоив-

ших молодого ученого. Причем Соболевский интересовался заботами ученика и поощрял его к их обсуждению. Так, 9 декабря 1895 г. он писал Перетцу из Праги: «Вы напрасно думаете, что я очень занят. Главная цель моей поездки за границу — отдых, и я занимаюсь здесь всего по три-четыре часа в день, и то не подряд. [...] Ввиду этого я отнюдь не прочь поболтать о каких-нибудь пустяках, не только побеседовать о серьезных материалах, которыми интересуетесь Вы».

Соболевский выражал готовность помочь Перетцу в приобретении необходимой литературы. «Вы желаете, — писал он, — иметь сборники сказок. Постараюсь приобрести для вас, что есть новейшего<sup>5</sup>. Сообщал Соболевский ученику и о своих поисках и находках интересных рукописей во время своего пребывания во Львове и уже будучи в Праге делился соображениями об интересовавшем Перетца персонаже кукольного театра, Петрушке. Здесь же он информировал и о плане дальнейшего путешествия: «Последнее имеет быть по следующему маршруту (если не помешают политич[еские] события и если я сам не передумаю): Вена, Загреб, Белград, София, Филиппополь, Константинополь, отчество»<sup>6</sup>.

Перетц отправил в Прагу только что вышедшую свою работу о кукольном театре<sup>7</sup>. Соболевский сразу же откликнулся и дал краткую принципиальную и строгую оценку работы. В письме от 26 декабря 1895 г. он писал Перетцу: «Книгу Вашу прочитал. Составлена аккуратно и интересно, но имеет большой недостаток: нет личного знакомства. У Вас Петрушка лишь то, что у Ровинского (и еще что у Алферова в Р[усских] Вед[омостях]); но можно было бы сказать — право, в десять раз больше»<sup>8</sup>. Далее ученый делился своими соображениями о принципах постановки кукольных пьес в вертепах, рекомендовал Перетцу книги для рецензирования. «Мужайтесь и дерзайте!»<sup>9</sup> — подбадривал Соболевский ученика.

Как следует из дальнейшей переписки, Перетц посыпал свою работу учителю не просто для ознакомления. Он был озабочен поисками подходящей темы для магистерской диссертации, кроме того, его интересовали возможности получения приват-доцентства. Ответ Соболевского содержал, с одной стороны, весьма строгие и трезвые оценки достижений ученика, а с другой — был полон абсолютной уверенности в его научных возможностях. Так, уже 9 января 1896 г. ученый писал: «Отвечаю на Ваши вопросы. Из „Кук[ольного] т[еатра]“ можно сделать диссертацию, но лишь такую, которая может пройти тихо, но может и вызвать шум и встретить препятствия. Ведь материала у Вас немного и он весь чужой, а исследование не дает других выводов, кроме очень мелких»<sup>10</sup>. Здесь Перетц не только подчеркнул фразу в письме, но и сделал примечание на полях: «Верно!»

Соболевский не напрасно подчеркивал уже во втором письме необходимость для ученого заниматься самостоятельными поисками новых источников. Это принципиальное положение Перетц поставил во главу угла в работе своего Семинария. Оно было четко сформулировано от имени его учеников в книге, отмечавшей пятилетие существования Семинария: «Главное, чего мы стремимся избегать — тем, где можно отделаться компиляцией по готовым пособиям, не обращаясь к источникам. Каждый должен научиться работать над сырым материалом, на „черном дворе науки“, как говорят некоторые ученые-белоручки; ибо без „черного двора“ — нельзя попасть в блестящие чертоги подлинного, прочного знания»<sup>11</sup>.

Основным в письме Соболевского, однако, была не критика, а желание внушить ученику больше уверенности в своих силах: «А главное: Вы можете написать нечто гораздо лучшее: и более самостоятельное, и более скоро. Нужно лишь выбрать тему лучшее». Далее ученый не только разбирал предложения Перетца, но и предлагал наиболее перспективное, с его точки зрения, направление исследований. «Боюсь, — размышлял Соболевский, — что Ваша тема об отражениях Вел[икого] Зерц[ала] в нашей народной словесности с течением времени Вам самим покажется неудачной (трудно определить, что от Вел[икого] Зерц[ала], что от его источников и т. п.). Я бы вам посоветовал взять тему из той же области, но другую: о фацециях и вообще мелких повестях светск[ого] характера. Мы до сих пор не знаем, к[а]-к[ие] повести мы имеем, какова их история у нас, влияние на нар[одную] словесность и т. п. Эта область совершенно свежая, результаты, те или другие, будут интересны, Вы к ней имеете достаточно интереса и подготовки». Но ученый никак не навязывал ученику своего мнения. «Впрочем, — заключал он, — Вам самим лучше знать, что для Вас более подходяще»<sup>12</sup>.

Соболевский предлагал Перетцу форсировать процедуру, необходимую для получения приват-доцентства. «Немедленно, — рекомендовал он, — обратитесь к начальству (вер[оятно], к ректору) с просьбою о допущении Вас к пробн[ым] лекциям. Одна из них — на Вашу тему, другая — на тему факультета. Когда вы сбудете эту обузу и получите право прив[ат]-доцентуры, прочтите в одно ближайшее полугодие к[акой]-нибудь курсик (1 ч[ас] в неделю) и затем только числитесь в числе прив[ат]-доцентов». Последнюю рекомендацию Соболевский мотивировал следующим образом: «Дело в том, что чтение лекций, увы, вещь совсем нелегкая, и, занимаясь лекциями, Вы не имеете возможности, при других своих занятиях, работать над диссертацией. Иначе: что-ниб[удь] одно — работа над лекц[иями] или раб[ота] над диссертацией. [...] Само собой разумеется, против Ваших курсов я ре-

шительно ничего [не] имею. [...] Мне их высыпать не трудитесь; мы лучше поговорим при встрече. Вы, конечно, должны взять себе курс по народной словесности». Завершал Соболевский свое письмо следующим пожеланием: «Вот Вам мои советы. Насчет формальностей спрячьтесь у людей бывалых. Я был в разных университетах, и у меня часто путаются в голове их порядки (здесь что город, то норов)»<sup>13</sup>.

Судя по следующему письму Соболевского, Перетц выполнил его указание начать дело с оформлением приват-доцентства, но при этом продолжал проявлять нерешительность относительно предстоящих пробных лекций. Небыл он, по-видимому, и достаточно уверен в предложенной учителем диссертационной проблематике. Отвечая на вопросы ученика, Соболевский старался развеять его сомнения, поддержать и настроить на решительные действия. В небольшой открытке из Праги от 25 февраля 1896 г. Соболевский сумел ответить на все вопросы ученика. Прежде всего, ученый сообщал о том, что выполнил некоторые книжные заказы Перетца: «Как-ниб[удь] побеседую пообстоятельнее, а пока след[ующее]. Знайте, что я Вам закупил довольно много сказок и, мож[ет] б[ыть], закуплю еще у словаков, но имейте терпение: мне не хочется платить несколько рублей на почт[овую] пересылку Ваших книжек».

Далее, остановившись на проблемах Перетца с публикациями, Соболевский давал наставления ученику по тактике поведения при чтении пробной лекции. «Затем, — писал ученый, — не особ[енно] тоскуйте о „Библиографе“. Правда, окт[ябрь] близко. Р[усский] Фил[ологический] В[естник] может его заменить, он напечатает, что хотите, и собств[ено] статью, и заметку. Направляйтесь смело туда. Затем, Б[ули]ч на пр[обной] лекции быть не должен, есть Лам[анский]. А если будет, смело спорьте и не церемоньтесь: он знает очень мало, а думал еще меньше». И, наконец, Соболевский старался раскрыть перспективность рекомендуемой им темы для исследования: «Насчет фац[еций] не робейте: [нрэб.] ничего не опубликовал, а указал лишь №, и тема совершенно открыта. Сверх сборников фацец[ий], имеются отдельн[ые] повести, на них похожие, вроде повести о бражнике в раю, о Шем[якином] суде (о последней одной можно написать диссертаци[ю]). Если хотите, к ним можно присоедин[ить] мелк[ие] повести (отдельн[ые], вне сборник[ов]) не юмористич[еского] содерж[ания]». «Вообще, — завершал свои наставления Соболевский, — займитесь и увидите, что унывать нет нужды»<sup>14</sup>.

Соболевский просил Перетца выслать свою работу и некоторым чешским коллегам. Уже из Оломоуца он сообщал ученику: «Получил „Кук[ольный] театр“ и передал Зибруту, к[о]т[орый] принял с велик[ой] радостью и обязался в рецензии поместить библиог[а-

фические] указания на кук[ольный] театр у чехов (у них совсем не то, что у нас Петрушка)»<sup>15</sup>. Организуя Перетцу рецензии, Соболевский, однако, не скрывал от ученика и несколько скептическое отношение как к личным качествам Зибрта\*, так и к его работам, одну из которых он охарактеризовал как «чудовищное произведение чешской учености»<sup>16</sup>. И вновь учитель подбадривал ученика: «Мужайтесь и дерзайте!»<sup>17</sup>

Известие о первой пробной лекции Перетца застало Соболевского уже в Белграде. Судя по содержанию его ответного письма и по тем пометкам, которые сделал на письме Перетц («Утешил! Спасибо!»), последний пребывал в состоянии крайней неуверенности в успехе своей лекции. Дело в том, что после лекции произошло огорчившее Перетца критическое выступление, по-видимому, Ал. Н. Веселовского (брата известного академика А. Н. Веселовского), профессора Петербургского университета, занимавшегося, в частности, и историей «старинного» европейского театра. Соболевский прокомментировал это выступление, опираясь на сообщение Перетца, чрезвычайно резко и эмоционально: «Что до глупой сцены, которую перед Вами разыграл Веселовский, то она Вас нимало не касается и если кому не приносит чести, так это самому актеру»<sup>18</sup>.

В остальном ответ Соболевского должен был внушить ученику уверенность в полном успехе его лекции. «Все, что Вы сообщаете о своей пробной лекции, — писал Соболевский 12 марта, — свидетельствует лишь одно: что факультет относительно Вас не имеет никаких сомнений». Далее шло объяснение тех университетских традиций, которые могли быть неизвестны Перетцу: «Лекция выслушивается вся или почти вся, когда факультет колеблется, следует ли дать прив[ат]-доцентское звание или не следует. Она сводится к простой формальности, если факультет против дарования прив[ат]-доц[ентского] звания ничего не имеет. Итак, в этом отношении будьте спокойны»<sup>19</sup>. Кстати, волнения Перетца действительно были напрасны, в 1896 г. он получил желаемое звание приват-доцента и начал читать лекции в Петербургском университете<sup>20</sup>. Как всегда, Соболевский интересовался у Перетца о необходимых ему книгах, которые возможно приобрести в Белграде.

\* Соболевский передал работы Перетца чешским коллегам Й. Поливке и Ч. Зибрту, прося их послать в ответ свои работы. О слабой реализации этих договоренностей Перетц, по-видимому, сообщил учителю. На это Соболевский заметил: «Поливка — человек добрый; если теперь Вам мало выслал, вышлет потом, и Вы не будете в убытке. Но Зибрт — иного рода. Он мне так положительно утверждал, что Вам высылает — что Вам дождаться уже нечего» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 11 об.).

Уже в следующем письме от 27 марта ученый подробно сообщает о состоянии книжной торговли, ее репертуаре, сопровождая информацию своими рекомендациями. Так, Соболевский отмечал: «Книжная торговля в Белграде такого рода, что я никак не могу Вам обещать многоного. [...] Можно наверное найти одни белградские издания, из новых и особенно из правительственныех и академических; что до сараевских, новосадских, панчевских, то, пожалуй, кое-что, немногое, найдется; а загребских нет нигде, так же как и болгарских. Ввиду этого я могу Вам купить 3 (2–4) тома песен Вука и, помнится, 4 тома собрания сочинений Вука; только действительно ли желаете Вы иметь это последнее? Оно Вам едва ли особенно интересно в своем целом (спор об орфографии и т. п.)». «Впрочем, — продолжал Соболевский, — я еще осмотрю несколько магазинов»<sup>21</sup>.

Кроме собственно деловой информации, Соболевский дает очень колоритное описание этих магазинов и самого процесса книготорговли: «Если вы желаете представить себе белградский книжный магазин, зайдите на своем Екатерининском проспекте в какую-нибудь табачную лавочку и полюбуйтесь на нее. Впрочем, я уверен, что Ваша табачная лавочка лучше отделана и что в ней нет надобности торговаться как на толкучем рынке. Вообразите, что книгопродавец, „поставщик королевского двора“, один из лучших, запросил 12 динаров за то, что отдал за 3. Один книжный магазин особенно интересен. Это лавка с двумя дверями; над одной вывеска: колониальный магазин; над другой: книжный магазин. А лавка одна, колониальная, в которой одна стенка занята полками с книгами»<sup>22</sup>. Так же как обстановку в чешских научных кругах и слабое знакомство русской науки с чешской литературой<sup>23</sup>, Соболевский описывал и встречи с сербскими коллегами. И если относительно чехов ученый отмечал их активность, то сербы произвели на него противоположное впечатление. «Я спрашивал здешних знакомых, — замечал Соболевский, — о разных разностях, меня интересующих, но успех невелик. Сербские ученые — какие-то сонные, апатичные, и я не ручаюсь за результат расспросов о кукол[ьном] театре. Думаю, что статей у сербов никаких нет и в этом отношении Вам поживиться нечем»<sup>24</sup>. Поиски интересовавшей Перетца литературы в Белграде все же приносили некоторые плоды. «Нечто Вам закупил, — писал Соболевский 8 апреля, — и песен, и сказок, и осенью привезу. Ищу еще, но добыча вообще невелика»<sup>25</sup>.

Помогая своему ученику книгами, научными рекомендациями и практическими советами, Соболевский думал и о введении его в более широкий научный круг. В 1896 г. в Риге планировалось проведение 10-го Археологического съезда. Фактически Археологические съезды, начало проведения которых относится к 1869 г., представляли все гу-

манитарные науки и привлекали сотни участников. «Я думаю, что Вам съездить в Ригу небесполезно, — писал Соболевский, — людей посмотреть и — главное — себя показать. Было бы не худо, если б Вы запаслись одним-двумя рефератами». Ученый рекомендовал поподробнее разузнать о рижском съезде у кого-нибудь из членов Археологического общества<sup>26</sup>.

Перетц в выборе темы для диссертационной работы проявил самостоятельность, не вняв рекомендациям учителя, хотя изучение фасцей его очень привлекало<sup>\*</sup>. Во второй половине 90-х гг. он одновременно занимался разными темами, в частности переводной древнерусской литературой, апокрифами и легендами, и готовил несколько изданий. Но сосредоточился ученый на изучении истории украинской и русской виршевой и песенной поэзии XVI–XVIII вв. Результаты первого этапа исследований Перетц подготовил в виде издания<sup>27</sup> и магистерской диссертации, которую успешно защитил 5 ноября 1900 г.<sup>28</sup>. В следующем, 1901 г. выходит в свет второй выпуск «Материалов к истории апокрифов и легенд» («К истории Лунника»<sup>29</sup>), первый увидел в свет в 1899 г. («К истории Громника»<sup>30</sup>).

Окрыленный успехом, Перетц решил предложить эти работы в виде докторской диссертации. Здесь он не мог обойтись без совета учителя, и Соболевский выразил готовность поддержать смелое предложение ученика, сразу предвидя, однако, что дело будет непростым. В письме от 17 сентября 1901 г. <sup>\*\*</sup> он предупреждал ученика: «Я лично не пропустил дать Вам докторство за Гр[омника] и Лунн[ика] вместе, но, как Вы знаете сами, дело не во мне одном. Если бы Вы повидались с Шл[япкиным]<sup>\*\*\*</sup> и потолковали, и всего лучше по возможности скоро? Ответ его сообщите мне немедленно!<sup>31</sup> Судя по всему, обсуждение перспектив защиты Перетца продолжалось, и Соболевский, хорошо представлявший себе внутрифакультетский расклад сил, реально оценивал и пределы своих возможностей в поддержке ученика. Обо

\* О. А. Державина в своей работе о фасцей специально отмечала: «Проф. В. Н. Перетц посвятил фасцей много труда. В архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда и Киева им собран большой и очень ценный материал, где раскрываются источники сюжетов фасцей,дается описание одного из польских изданий, изучаются и сопоставляются русские списки. К сожалению, В. Н. Перетц не успел обработать собранный им материал, и широко задуманная работа осталась ненаписанной». Она также выражала благодарность В. П. Адриановой-Перетц за возможность ознакомиться с этими материалами и использовать их (Державина О. А. Фасции. Переводная новелла в русской литературе XII века. М., 1962. С. 6).

\*\* Письмо датировано только числом и месяцем и отнесено при архивном описании к 1900 г., что мы считаем ошибочным. Работа о Луннике еще не была опубликована.

\*\*\* У Соболевского были сложные отношения с И. А. Шляпкиным.

всем этом прямо и откровенно он писал Перетцу 31 октября 1901 г., дабы несколько остыть пыл ученика. Соболевский писал: «Я говорил Вам не раз и весьма ясно, что протащить Громн[ика] и Лунн[ика] через факультет возможно, хотя мой союзник Лавров сказал мне: я пойду за Вами, но уж Вы за все отвечайте. Но я никак не могу обеспечить Вам приличный диспут; здесь (помните диспут Погодина) всякий, не читавший диссертацию, может наговорить дерзостей диспутанту, благодаря выгоде своей позиции — безопасно, и пустить скверную молву; тем более Шляпкин, который кое-что смыслит и который может вздуть в громадный пузырь слабость исследования». «Итак, — спрашивал Соболевский, — есть риск. Есть ли надобность рисковать?» Соболевский пытался просчитать и дальнейшие перспективы научной карьеры ученика. Все свои соображения он излагал в том же письме: «Ваше желание — попасть в Киев. Но шансов у Вас мало, так как в Киеве уже имеется кандидат — Сперанский\*\*. [...] Итак, у Вас — Нежин. Туда берут свободно магистров. Стоит ли подвергаться опасностям скандала, когда для Неж[ина] докторство Вам не нужно?»<sup>32</sup>

Несмотря на все эти предостережения, Соболевский все же не настаивал на необходимости безоговорочно их учитывать и обещал свою поддержку в любом случае, оставляя окончательное принятие решения Перетцу. Он писал: «Вот мое рассуждение. Теперь: 1) если Вы желаете во что бы то ни стало рискнуть, представляйте Гр[омника] и Лунн[ика]; мой отзыв будет для Вас самый благожелательный; 2) если Вы хотите без скандала добиться скорого докторства, пишите в Юрьев Петухову; я к Вашему письму присоединю свою приписку или напишу свое письмо». Еще как один из вариантов действий Соболевский предлагал обращение в Министерство народного просвещения. Но этот путь он полагал сопряженным с обязательными для ученика сложностями. «Если Вы вообще хотите пытать счастья, не боясь неудач и мелких неприятностей; вот Вам мой совет, — писал Соболевский, — немедленно составьте прошение или докладную записку к Ванновскому и проситесь в Киев. Я имею нек[о]т[орый] опыт в писании деловых бумаг и готов Вам помочь; нужно кратко и ясно»<sup>33</sup>.

Столь явное предостережение не торопиться и подготовиться основательнее, а также напоминание о защите А. Л. Погодина, судя по письму Соболевского, сопровождавшейся неприятными эксцессами, по-видимому, подействовали на Перетца. Он не стал спешить, дождал-

\* Письмо датировано только числом и месяцем и отнесено при архивном описании к 1898 г., что мы считаем ошибочным. В письме упомянут П. С. Ванновский, ставший министром народного просвещения весной 1901 г.

\*\* М. Н. Сперанский оставался профессором в Нежине до 1906 г.

ся выхода в свет в 1902 г. третьего тома своих историко-литературных исследований и материалов, посвященных развитию русской поэзии в XVIII в.<sup>34</sup>, и уже его защитил как докторскую диссертацию.

Даже материал процитированных писем дает определенный материал для понимания взаимоотношений учителя и ученика. Соболевский готов добывать необходимые для ученика книги, даже путешествуя за границей, не скрывает предстоящих трудностей и, с одной стороны, призывает ученика при уверенности в своих силах смело отстаивать свои взгляды, а с другой — не давать повода оппонентам использовать малейшую слабость работы и не всегда спешить с реализацией некоторых своих планов. Откровенно Соболевский судит и о научных возможностях и поведении своих коллег, вводя ученика в курс непростых отношений внутри научного сообщества. Мы полагаем, что, создавая свою школу, Перетц не забыл и уроки, полученные от своего учителя.

Много позже, уже на вершине своего научного положения, академик Перетц размышлял о своем пути в науку и роли своего учителя Соболевского в письме 26 ноября 1928 г. П. К. Симони: «Вы, дорогой Павел Константинович, хотите знать, как сложился мой интерес к древней русской письменности. Это очень несложное дело. Я по образованию классик — не только потому, что учился в классической гимназии, но скорее потому, что имел блестящих преподавателей древних языков. Отсюда — интерес к филологии. Но учитель словесности в старших классах был у меня плохой (он позже перешел на службу в госконтроль, к вящей пользе для следующих за мною поколений учащихся). Стало быть, вполне понятно, что мой интерес к литературе прос, т[ак] сказать, „самотеком“. Уже к 16 годам я перечел всех крупных и второстепенных русских писателей и критиков, многих — западноевропейских и польских. Но когда, в связи с естественным, хотя и неосознаннымисканием мировоззрения, я увлекся народнической литературой, — меня потянуло к народной словесности. Записывание песен начал я с 17 лет, позже меня заинтересовали игры, поверья и пр. И только тогда, когда я усвоил себе эволюционное мировоззрение и заметил тесную связь устной традиции с письменностью, когда выдвинулась передо мною роль городской культуры, налагавшей всегда свою печать на сельскую; когда я увлекся марксизмом, вытеснившим народничество — а это было приблизительно в 1892–3 годах, я пришел к выводу, что прежде чем приступить к изучению сказки, эпоса, народной драмы, пантомими — следует приобрести знания в области письменной традиции. Так я стал постепенно переносить центр своего внимания на древнюю русскую письменность, не без влияния моего дорогого учителя А. И. Соболевского, который, чувствуя, что из меня

не выйдет языковеда как такового, все же желал сделать из меня хорошего филолога, при случае могущего справиться с необходимыми языковыми проблемами. С 1890-х годов интерес к др[евней] лит[ературе] во мне рос. Я написал несколько работ, часть которых осталась неоконченной (по литер[атуре] апокрифической), часть докладывалась в Общ[естве] Л[юбителей] Др[евней] Письм[енности] — этой колыбели многих русских филологов. С ростом знаний, с начитанностью в памятниках др[евней] письм[енности] — росла и любовь к этой отрасли творчества древней Руси. И теперь эта письменность — всех трех ветвей древней Руси — составляет для меня неиссякаемый источник научного интереса»<sup>35</sup>.

Интересно отметить, что почти в то же время и Б. М. Ляпунов вспоминал о роли учителя в своем научном становлении. Он писал 25 декабря 1927 г. Соболевскому: «Я по себе знаю, что значит устное изложение учителя, и помню, как студентом я был подавлен взгляда-ми Ягича. Но вспоминаю и то, как студентом 3-го курса я, получив от Ягича его труды о Мариинском Евангелии и прочтя там его теорию о происхождении славянского имперфекта, которая при всей увлекательности изложения страдала явными парадоксами, тотчас же после лекций обратился к нему с вопросом, как объяснить эти парадоксы, и получил ответ, что он будет ждать, что скажет критика. Но я находился в лучших условиях: Ягич, при всех своих пристрастиях и недостатках, о которых не буду говорить и ради которых он имел немало небрежелателей, мне кажется, был живее и разностороннее Миклошича, и это заставляло его направлять своих учеников к другим учителям, которые были глубже и сильнее его в известных специальностях. Благодаря ему я сумел оценить Потебню, Фортунатова и Вас. Уже студентом я приобрел Ваши „Исследования в области русской грамматики“ и скоро после отъезда Ягича в Вену с увлечением читал Вашу рецензию на Этимологический словарь Миклошича (в ЖМНП. 1886 г.). [...] Но, сумев приохотить меня к занятиям лингвистикой, Ягич не мог заставить меня изучать древние славянские памятники с точки зрения историко-литературной, хотя и советовал мне, остановившись в Москве, поучиться и у Н. С. Тихонравова; эта область была мне чужда, и в конце концов я, пробыв 1½ года в приятной и поучительной компании Фортунатова, Шахматова, Ф. Е. Корша и П. А. Лаврова, и В. Н. Щепкина, испугавшись Тихонравовской премудрости, сбежал в Харьков, где благополучно сдал магистерские экзамены у покойного А. Аф. Потебни и добрейшего и снисходительного М. С. Дринова»<sup>36</sup>.

В 1903 г. уже в качестве экстраординарного профессора университета св. Владимира Перетц переехал в Киев<sup>37</sup>. И если в 1901 г., еще до

защиты диссертации, ученый сам стремился в Киев, то после успешной защиты в Петербурге это уже его не радовало. Вскоре после обоснования на новом месте ученый остро ощущал отрыв от своего петербургского круга друзей и знакомых, к тому же обострилась, как он писал, его «чахотка». В самом начале октября 1903 г. Перетц жаловался А. И. Яцимирскому на то, что его забывают, что ни П. А. Лавров, ни Д. И. Абрамович не шлют так нужных ему книг. Он и старого друга просил: «Пособите и по части книг!» «Не удивляйтесь, — писал Перетц, — что я опять воссылаю Вам „слезное моление“ из этой окаянной дыры». Его теперешнее положение — «просто горе»<sup>38</sup>. Далее он подкреплял свое мнение отсылкой к авторитету: «Вижу, как прав был один из величайших русских славистов — В. И. Григорович, не без злой иронии говоривший о забытых судьбой, заброшенных в провинции ученых!»<sup>39</sup>

Однако внутренняя жизнь провинциального университета была достаточно бурной, и Перетц явно ощущал себя к ней причастным. Описывая выборы нового проректора, он отмечал: «Наш прогрессивный кандидат не прошел. Собрал из 60 всего голос[ов] 25. Но и черносотенный — около 12». Прошедшего кандидата он язвительно охарактеризовал — «ни богу свечка, ни черту кочерга». Заканчивал свое письмо Перетц весьма эмоционально: «Здоровье мое все хромает. Боюсь, что если не выберусь из Киева, то придется подыхать»<sup>40</sup>. Интересно, что именно в эти же дни А. А. Шахматов, осведомленный о настроениях Перетца, писал ему: «Не печалуйтесь по поводу отсутствия из П[етербур]га. Вы забываете, что киевский климат лучше для Вашего здоровья, чем здешний. Кроме того, у Вас теперь досуг для составления цельных систематических курсов. Ученники, наверное, найдутся со временем»<sup>41</sup>. Последнее предположение Шахматова оказалось удивительно точным: успехи Перетца, учителя и воспитателя нового поколения ученых, не заставили себя ждать.

Перетц, конечно, был не прав, полагая, что его стали в Петербурге забывать, прежде всего это относилось к его учителю. «Скучно без Вас», — писал ученому Яцимирский в ноябре того же года. И продолжал далее: «У Алексея Ивановича всегда вспоминаем о Вас и жалеем о Вашем отсутствии»<sup>42</sup>. Именно Соболевский подробно и с комментариями информировал Перетца о делах в Петербургском университете, которыми его ученик продолжал живо интересоваться. Уже в сентябре в ироничной и даже несколько язвительной манере ученый описывал Перетцу состояние научных дел у своих учеников: «Ваши знакомые все заняты. Яц[имирский] усиленно печатает Цамблака; неважен, как-то смахивает по манере на труды Сырку. Козмин только что принес мне свое произведение о Полевом; тоже не в моем вкусе. Сип[ов]

ский] печатает свои списки; не видел еще, хотя я — редактор, говорит, конец — скоро. Каринского и Васильева я толкаю в спины, чтобы не мямлили; как будто К[аринский] подается, впрочем, я как-ниб[удь] потолкую с его женой; она — особы рассудительная»<sup>43</sup>.

Продолжала учителя заботить и оценка научных успехов ученика Академией. Соболевский рекомендовал докторскую диссертацию Перетца на Ломоносовскую премию<sup>44</sup>. О двойном успехе своих начинаний и материальном его выражении ученый сообщал Перетцу в краткой открытке в ноябре 1903 г.: «Поздравляю с Ломоносовской премией в 500 и толстовской медалью в 250. Хотели было медаль побольше, но нашли, что довольно!»<sup>45</sup> В мае 1904 г. Соболевский вновь сообщал Перетцу об университетских делах: «Сегодня А. Л. Погодин получил докторскую. Прошло более благополучно, чем я ожидал. Лавров сказал пустяки. Бодуэн тоже, только в заключение обругал; затем обругал Булич, наконец, поговорил с похвалой Жаков. Сев в начале 2-го, встали почти в 5. Никто из оппонентов главного не заметил; возились с опечатками, описками, критических талантов нам не хватает. Остальное — по-старому». Далее Соболевский сетовал на подрастающее поколение: «Комиссионный экзамен меня огорчил до зела, было так много глупых, что пришлось спрашивать даже о смягчении гортанных, и тут пришлось почти половине поставить неудовлетворительно. По-видимому, и у других то же. Удивительно: куда-то исчезли у нас умные люди!»<sup>46</sup> Любопытно отметить, что Перец «с осени 1904 г. начал организацию специального семинария»<sup>47</sup>, успешно доказывая, что умные люди среди студенчества отнюдь не перевелись.

Первая русская революция и общественно-политические изменения в обществе, которые она вызвала, сильно повлияли и на научное сообщество. Многие из деятелей науки открыто проявили свои политические пристрастия, вступив в различные партии, спектр которых был весьма широк, от крайне правых до леволиберальных. Перец, еще со студенческой поры отличавшийся «неблагонадежностью»<sup>48</sup>, оказавшись в Киеве, увлекся украинофильством, отношение властей к которому колебалось от запретительного до умеренно разрешительного. Резко негативно украинофильство своих коллег воспринимали и ученыe право-националистических убеждений, к которым принадлежал и Соболевский.

Начало профессиональной деятельности Переца в Киевском университете, совпавшее с предреволюционными годами, вызвало пристальное внимание как местной, так и зарубежной прессы, за материалами которой по общественно-научной проблематике в Петербурге следил Соболевский. Ученый, проявив прекрасную осведомленность о состоянии дел с украинским вопросом, счел своим долгом

в мягкой форме пожурить своего ученика. В марте 1904 г. Соболевский писал Перетцу: «А тут еще что-то странное в газетах о Ваших лекциях по малорусской литературе древнего периода (или XI в., не помню). Slovanský Přehled в последнем № сообщает как о перемене направления в политике министерства внутр[енних] дел, об этом обстоятельстве, Галичанин полемизирует с кем-то (с Ділом) о значении этих ваших лекций. Полагаю, что Вы никакой малорусской литературы XI в. не нашли, что все старое остается пока по-старому, что Вы можете говорить о принадлежности Слова Илариона и т. п. малорусской литературе только как о гипотезе; зачем же писать об этом в заглавии лекций? Ведь достаточно бы было сказать где-нибудь в самих лекциях, во введении, в заключении, разве затем, чтобы подразнить Флоринского, попечителя и еще кого-нибудь из местных не-украинофилов?»<sup>49</sup>. В строках письма явно звучит даже не столько несогласие с постановкой вопроса Перетцем, сколько забота о нем, желание оградить его от возможных неприятностей по службе. Но уверения на Перетца не подействовали. Он остался верен выбранной общественно-политической позиции, приобретя, кстати, в лице Т. Д. Флоринского непримиримого противника.

Перетц видел в этом противостоянии моменты личной неприязни, что, однако, не мешало ему признавать за последним компетентность в научной области. Так, он спрашивал Яцимирского в письме от 30 июня 1905 г.: «Как Ваша дисс[ертация]? Удивляюсь, отчего Вы весною на всякий случай не сунули ее нашему Тимошке Флор[инскому]! У нас бы она прошла бы, т[ак] к[ак] личных мотивов — не встретила бы»<sup>50</sup>. Не помешали Перетцу стойкие неприязненные отношения и выразить впоследствии свое негодование по поводу расстрела Флоринского большевиками<sup>51</sup>.

Политика начала постепенно оказывать влияние и на внутреннюю жизнь научного сообщества. Активная политическая деятельность ученика могла послужить помехой его научной карьере, встречая неудовольствие не только властей, но и ученых коллег. И здесь Перетц и Флоринский, не ведая того, оказались конкурентами при выборах в Академию наук, правда не сталкиваясь при баллотировке. Научные успехи Перетца были столь очевидны, что мысль о возможности его избрания возникла уже в 1909 г. В июле этого года А. И. Яцимирский, петербургский товарищ ученого, писал ему: «Недавно я говорил с П. К. Симони о невозможности выборов Фл[оринского] в академики, и он сказал: „Вот Владимир Николаевич Перетц скорее может быть академиком. Почему ему не быть им? — Все данные“. В самом деле. Дай Бог!»<sup>52</sup>

К этому времени «Семинарий русской филологии», с 1907 г. пересший рамки «обычного университетского „спецсеминара“», превра-

тился в своеобразный научный кружок»<sup>53</sup>, уже готовился к ставшим знаменитыми выездам «за пределы Киева для занятий и в крупнейших собраниях Петербурга и Москвы», начавшимся в 1910 г.<sup>54</sup>. Одной из первоочередных задач Перетц полагал познакомить со своими учениками Соболевского. В последних числах февраля, перед началом Великого поста (первая экскурсия в Петербург проходила с 20 февраля по 6 марта<sup>55</sup>), он писал учителю: «Вот я уже со своими птенцами в Петербурге, они — в восторге от Петерб[урга]. Семеро сидят в Публ[ичной] б[иблиотеке], один в Синод[альном] Архиве. Прочие посещают музеи. Я все-таки в надежде, что Вы будете уже на первой неделе в Петербурге, и я смогу Вам представить мою молодежь. Я этого очень, очень хочу. И если Вам не очень трудно — исполните мою просьбу: сообщите то, когда позволите нагрянуть к Вам»<sup>56</sup>.

Еще в середине месяца Соболевский сообщал, что на первой неделе Великого поста он должен отправиться в Москву, там в Археологическом институте он «прочел небольшой курсик истории р[усской] литературы». На первую неделю планировалось провести экзамен, но приглашение запаздывало, и ученый находился «в недоумении»<sup>57</sup>. Письмо Перетца о приезде его Семинария в Петербург Соболевский получил уже в Москве. Дело с экзаменами передвинулось, и он отвечал: «...теперь просят остаться на первые дни 2-й недели. Сверх того, у меня есть и другие обязательства относительно 2-й недели и, между ними, публичная лекция для рабочих об славянской азбуке, в воскресенье 7 марта. Одним словом, при всем желании вырваться к текущим делам в Петербург на 1-й неделе, это мне, несомненно, не удастся. Итак, прошу о снисходительном извинении»<sup>58</sup>. В первое посещение Перетцу так и не удалось представить своих учеников Соболевскому, но состоявшиеся встречи с другими ведущими филологами, на которых его воспитанники демонстрировали свои достижения, добавили ему авторитета в ученом сообществе. В марте 1910 г. А. А. Шахматов счел долгом специально сообщить о своих впечатлениях Перетцу: «Все не успевал Вам написать несколько благодарственных строк по поводу того удовольствия, которое Вы доставили нам, познакомив нас с Вашими учениками. Честь Вам и слава! Некоторые из них, несомненно, станут скоро украшением которого-нибудь из наших университетов»<sup>59</sup>.

Второе посещение Петербурга Семинарием также состоялось в начале Великого поста с 13 февраля по 1 марта 1911 г.<sup>60</sup>. На этот раз Соболевский уже ждал встречи и с учеником, и с учениками ученика. Ученый в ожидании встречи 16 февраля с радостью писал: «С приездом! Я дома каждое утро до половины 12-го всегда и до 1 ч[аса] часто. Если Вам нельзя будет заглянуть ко мне завтра, в пятницу, пожалуйте

хотя бы в субботу вечером, часов в 10. Встретите старых знакомых. А на 1-й неделе я постараюсь выбрать удобный вечер и соорудить у себя маленькую вечеринку для Вас и Вашей компании»<sup>61</sup>. Для быстроты связи Соболевский указывал в письме и номер своего домашнего телефона. В этот раз воспитанники Перетца выступали не только в Обществе любителей древней письменности, но и в Неофилологическом обществе при Петербургском университете<sup>62</sup>.

Шахматов очень высоко оценил успехи Семинария. Своими впечатлениями он поделился 7 марта 1911 г. с Яцимирским: «Был здесь недели две тому назад В. Н. Перетц со своею молодежью; как в прошлом году, его ученики и ученицы прочли несколько рефератов в Неофил[ологическом] обществе и в Обществе д[ревней] п[исьменности]; впечатление они произвели великолепное»<sup>63</sup>. Яцимирский с явным удовольствием передал это мнение своему товарищу. В письме от 24 апреля 1911 г., кроме оценок Шахматова, приводится и оценка известного польского слависта А. Брюкнера. Итак, Яцимирский сообщал: «О Ваших учениках хорошо отзываются, и Шахматов хвалил их в письме мне за границу. Проф А. Брюкнер остроумный человек, он дал вашему семинарию кличку *fliegende Seminarium*<sup>\*</sup>. Ловко? Теперь пойдет гулять это определение»<sup>64</sup>. О высокой оценке в научных кругах выступления учеников Перетца свидетельствует и письмо Н. К. Никольского. «Поздравляю весь Ваш семинарий, — писал Никольский коллеге 4 мая 1911 г. — избранный почти *in согрое* в члены-корреспонденты ОЛДП»<sup>65</sup>. Конечно, это было некоторым преувеличением, в действительности в члены ОЛДП были избраны 8 постоянных и наиболее активных членов экскурсий Семинария<sup>66</sup>. Письмо Никольского от 15 февраля 1913 г. вновь подтверждало успешность избранной Перетцем формы демонстрации достижений своих учеников.

Коллеги уже ждали очередного появления в Петербурге Семинария. «Как Вам сообщил Владимир Владимирович, — писал Никольский, — члены комитета ОЛДП будут очень рады выслушать рефераты Ваши и Вашей академии. — Ваш приезд всегда вносит так много оживления в монотонную жизнь нашего болота, что известие об этом приезде уже приподняло здешнее настроение. Жду с нетерпением»<sup>67</sup>. В декабре того же года Никольский называл членов Семинария «сподвижниками»<sup>68</sup> Перетца.

Много позже, в 1926 г., когда исполнилось 30 лет профессорской деятельности Перетца, своими впечатлениями от Семинария поделился с ним П. Н. Сакулин. Кроме высокой оценки научных трудов, Сакулин специально отмечал: «В качестве организатора и руководи-

\* *fliegende Seminarium* — (нем.) летучий семинар.

теля научных исследований Вы не имеете соперников среди университетских преподавателей. Я живо помню, как много лет тому назад Вы приехали из Киева в Петербург с группой своих учеников и как все вы выступили с докладами в Обществе Л[юбителей] Др[евней] Письм[енности]. На меня эта „научная экскурсия“ произвела незабываемое впечатление. С тех пор я особенно внимательно стал следить за тем, как работает школа Перетца»<sup>69</sup>. Авторитет Семинария Перетца сохранялся и в дальнейшем, когда ученый после избрания академиком в 1914 г. переехал в Петербург. В марте 1916 г. Шахматов писал ему: «С удовольствием посещу Ваш семинарий, если окажусь свободным в указанные Вами дни»<sup>70</sup>.

В период столь успешного развертывания деятельности Семинария не прекращалась и переписка Перетца с Соболевским, касавшаяся самых разных научных и научно-организационных вопросов. Так, например, Соболевский сообщал Перетцу свое не всегда лестное мнение о разных ученых коллегах, делился соображениями по проблемам палеографии<sup>71</sup> и т. д. Между учителем и учеником оставались добрые и доверительные коллегиальные отношения в то время, когда их политические воззрения все радикализировались, причем в противоположных направлениях. В декабре 1909 г. Яцимирский, сам ученик Соболевского, человек весьма левых убеждений, сообщал Перетцу: «Как видите по адресу, я переехал, живу недалеко от Никол[аевского] вокзала, около Лиговского пер[еулка], близко от Соболевского, к которому боюсь пойти после того, как он обозвал всех приват-доцентов „сволочью“. Вообще, с правой компанией стараюсь – быть подальше. „Н[овое] Вр[емя]“ меня обвинило в сочувствии экспроприации (?) по поводу моей юбил[ейной] заметки о Кольцове, и теперь попечитель назначит следствие. Могут уволить со службы, хотя я дал, по-моему, убедительные объяснения. Но ведь времена-то теперь! А „Н[овое] Вр[емя]“, делая эту низость, думало помочь Соболевскому, и меня уверяют, что это так. Бог с ними!»<sup>72</sup>

Все большее вовлечение Соболевского в политику на крайне правом, националистическом фланге, вызывало у его учеников не осуждение его взглядов, а сожаление о том, что ученый может лишиться привычной для него среды общения. Уже в ноябре 1911 г. Яцимирский писал Перетцу: «Соболевский избран товарищем Дубровина по союзу, и мне до слез жаль его во всех отношениях. Публика у него по субботам бывает отчаянная, и людей, причастных к науке, становится меньше»<sup>73</sup>. И если официальные общественные институты вполне сочувственно относились к крайне правым, то быть заместителем председателя «Союза русского народа» А. И. Дубровина для либеральной научной интеллигенции было не лучшей рекомендацией.

Вполне можно допустить, что в такой тонкой процедуре, как выборы на ту или иную должность, связанную с научными достижениями кандидата, его политические взгляды могли иметь определенное значение. Именно их считал причиной своей неудачи в Киевском университете, например, Ю. А. Яворский. Он жаловался в ноябре 1910 г. М. Н. Сперанскому: «Вопрос о моей доцентуре в здешнем ун[иверсите]те, наконец, после почти двухгодичной канители, разрешился, и именно так, как можно было – по существующему в нашем факультете „соотношению“ партийных сил – предвидеть: кадето-„украинский“ блок, сober-украинцем Перетцом во главе, дружно провалил ее 7-ю голосами против 5-ти»<sup>74</sup>.

Отметим, что в научной среде подобные столкновения происходили и на самом высоком уровне. Так, в январе этого же 1910 г. одним из участников острейшего внутриакадемического конфликта стал Соболевский. Вопрос касался неизбрания в академики Т. Д. Флоринского. Шахматов подробнейшим образом описывал своей сестре Е. А. Масальской не только результаты собственно академической баллотировки, но и всю предысторию дела, связанного с определенными договоренностями между заинтересованными в разных кандидатах сторонами. Так, он сообщал: «Когда в декабре 1908 года был поднят вопрос об избрании Котляревского (Нестора Алекс[андровича]) в члены Отделения, Соболевский заявил мне, что согласится на его избрание только в том случае, если я положу направо Флоринскому, проф[ессору] Киевского университета, которого он желает предложить в академики. Скрепя сердце я согласился на это условие. В феврале 1909 года Соболевский и Кондаков с тревогой сообщили мне слух, что Флоринский принимает место цензора в Киеве. Кондаков просил меня написать Флоринскому и указать, что принятие им должности цензора может помешать нам провести его в академики (т. к., конечно, в Академию проходят только за ученые, а не за какие-либо другие заслуги). Флоринский ответил мне, что письмо мое запоздало, что он уже принял должность. Скоро я узнал, что Флоринский всецело отдался политике, стал во главе союза русского народа в Киеве. А в декабре мне сообщили об его записке генерал-губернатору, в которой он требует полного изгнания малор[усского] языка из печати. Конечно, я с тревогой думал о предстоящем избрании, тем более что ученые заслуги его вообще очень невелики; вот уже много лет, что он ничего основательного не издал. Тем не менее я не мог считать себя свободным от обязательства и решил класть Флоринскому направо; вместе с тем, однако, я счел необходимым, в случае он будет избран, уйти из председательствующих, так как предвидел, что Отделение превратится из ученого учреждения в политическое. Соболевский и Флоринский, один в Мо-

ске и П[етербур]ге, другой в Киеве, все время выступают в разных организациях крайне правых партий с речами, докладами и т. п. Сегодня происходили выборы, я положил направо вместе с четырьмя другими академиками, а налево было положено троими. А так как для избрания требуется  $\frac{2}{3}$  голосов, то Флоринский оказался неизбранным. Инцидент этим исчерпан, хотя, конечно, можно предвидеть и неприятности. Но совесть моя покойна. Сделать больше того, что я сделал, я не мог, т. е. не мог я против своей совести уговаривать Корша и Фортунатова класть Флоринскому направо, достаточно и того, что я клал сам не с ними, а с Соболевским. [...] Беспокоит меня мысль, не ушел бы Соболевский в виде протesta из Академии. Что-то скажет завтрашний день?»<sup>75</sup> Шахматов, по-видимому, зная характер Соболевского, не ошибся, предчувствуя осложнения с проведенными выборами. Эти осложнения проявились в виде официального протеста Соболевского и Кондакова на имя президента Академии К. К. Романова, опиравшегося на толкование процедуры выборов. «И все это, — как отмечал Шахматов в следующем письме сестре, — чтобы сделать неприятное не ему, а мне. И это несмотря на то, что я при протоколе приложил копию с Правил о выборах, где сказано, кто участвует в баллотировке»<sup>76</sup>. Протест, однако, последствий не имел, хотя разговоры о перспективах Флоринского продолжались еще и в начале 1912 г. О них Перетц писал Яцимирский: «Недавно Истрин серьезно говорил о возможности избрания Флоринского»<sup>77</sup>.

Но отнюдь не Флоринский стал кандидатом на ближайших выборах в ОРЯС, а Перетц. 21 марта 1913 г. Шахматов в конфиденциальном письме сообщал ученому: «Мне хочется поделиться с Вами своею радостью. Вполне уверен, что все то, что пишу, останется между нами. Во всяком случае, прошу Вас об этом. Сегодня после заседания Отделения мы (Фортунатов, Котляревский, Миллер и я) остались вчетвером и подняли вопрос о новых членах. Н. А. Котляревский назвал Вас и только Вас в качестве желательного кандидата. Миллер поддержал его. Горячо поддержал, конечно, и я. Вопрос поднимем в ближ[айшем] осеннем заседании. Весной мы уже не соберемся в полном составе. Итак, дело только за Истрином и Соболевским. Корш будет за Вас. Радуюсь возможности видеть осуществление того, что я давно желаю. Радуюсь и за Отделение, в которое Вы внесете, конечно, оживление». В post skriptum Шахматов специально отмечал: «Быть может, мне не следовало бы писать Вам это письмо. Но делаю это для того, чтобы Вы видели просвет — возможность вырваться из Киева, попасть в П[етербур]г»<sup>78</sup>.

Переговоры с остальными членами Отделения уже весной дали, по-видимому, положительный результат. Дело представлялось решен-

ным, и Яцимирский сразу же поздравил Перетца. «Я узнал об избрании вчера у А. И. Соболевского», — писал он в апреле 1913 г. В том же письме он напоминал Перетцу о своем разговоре с Симони, ситуацию, его вызвавшую, и те подробности, которые он в письме другу от 2 июля 1909 г. не упоминал, дабы не огорчать его. Итак, писал Яцимирский: «Вчера же я напомнил добрейшему Павлу Константиновичу разговор в моем присутствии. Некто гнусный, года четыре назад, когда речь шла о кандидате в академики, со злобой сказал, „что же, неужели выбирать Перетца?“ А П. К. спокойно ответил: „а почему и не Перетца?“ и прибавил хорошую характеристику. Мне очень понравились слова кроткого П. К.»<sup>79</sup>.

Стоит отметить, что обсуждение кандидатуры Перетца повлияло на деятельность его Семинария. Много лет спустя, в марте 1927 г., в период ожесточенного сопротивления ученого выдвижению в академики П. Н. Сакулина, Перетц писал Соболевскому: «Перед выборами он приехал в Питер, читал всюду доклады, забегал ко всем, кто мог быть полезен. Такой *ambitus* — не к лицу будущему академику. Я, по крайней мере, когда возникла идея моего избрания — нарочно отложил обычную экскурсию в Петр[оград], чтобы кто-ниб[удь] не подумал, что я нарочно лезу на глаза! Надо же иметь деликатность!»<sup>80</sup>

Состоявшееся осенью заседание ОРЯС подтвердило предварительное решение. По существовавшей традиции Шахматов обратился к Перетцу с официальным запросом: «Отделение русского языка и словесности Императорской Академии Наук поручило мне спросить Вас, согласны ли Вы подвергнуться баллотировке на одну из свободных вакансий ординарного академика по названному Отделению». Шахматов информировал ученого о процедуре избрания. «Ваш ответ, — писал он, — желательно получить возможно скорее, так как баллотировку в Отделении предположено назначить на 12 декабря. Окончательное же избрание (в Общем Собрании) последует не раньше начала февраля»<sup>81</sup>.

Научные достоинства Перетца были столь очевидны, что его кандидатура встретила всеобщую поддержку. В день, когда состоялись выборы, Шахматов поспешил обрадовать Перетца, дать ему несколько советов и наметить дальнейший план действий. Здесь же ученый упомянул и самую последнюю инстанцию в процессе выборов. Шахматов советовал, прежде всего, написать благодарность Котляревскому как инициатору его выдвижения, Истрину, который специально приехал проголосовать за него, и, конечно, Соболевскому. «Разумеется, — предупреждал Шахматов, — трения могут быть. Но надо подготовить Вашу кандидатуру в Общем собрании». Особо упоминал он о заявленной уже позиции К. К. Романова и возможной

реакции Николая II: «Не думаю, чтобы вышли затруднения при Высочайшем утверждении. Президент дал свое согласие»<sup>82</sup>. Тогда же, информируя Кондакова об успешных результатах баллотировки, Шахматов все же выражал беспокойство о возможных внеакадемических осложнениях у бесспорной, по его мнению, кандидатуры Перетца: «Сообщаю Вам, что выборы прошли хорошо 12 декабря. Единогласно избраны в Отделение и Иконников, и Перетц. Присутствовали: Истрин, Котляревский, Фортунатов, Соболевский и я. Оба кандидата заявили о своем согласии переехать в Петербург. Кандидатура Перетца вызывает на стороне много толков. Но, право, не знаю, кого мы могли бы ему предпочесть»<sup>83</sup>. А толки были, по-видимому, серьезные, откровенная оппозиционность Перетца сильно раздражала не только представителей власти, но и идейно близких к ней коллег ученого.

Эти настроения были хорошо известны и Яцимирскому, который, спеша в начале февраля 1914 г. «поздравить с окончательным избранием в академики» своего друга, писал: «Значит происки „некоторых“ успеха не имели, что, впрочем, я предвидел еще в Петербурге, когда говорили о Вашем избрании Отделением и возможной воркотне „недовольных“. В каком деле их не бывает? Мне особенно было приятно, что Вы не придавали значения их агитации, — и поступили правильно. Ибо знать себе цену — великое достоинство, которое, в конце концов, покоряет всякие препятствия». С особенным удовольствием Яцимирский отмечал полный провал идеальных противников Перетца, всячески осложнивших жизнь ученого в Киеве, и радовался столь блестательному его возвращению в Петербург. «Помните, — писал Яцимирский, — много раз эти десять лет нашей переписки Вы говорили о своей ссылке в Киев. Теперь многие позавидуют Вашему возвращению из „ссылки“ и, наверное, пожелали бы претерпеть временно и то, что преподносили Вам „враги света“ в Киеве, и затем въезжать триумфатором»<sup>84</sup>.

Но более опытные в делах Академии старшие коллеги не спешили считать дело выборов окончательно завершенным. Обсуждая с Перетцем возможности его профессуры в Петербургском университете, Шахматов писал 1 марта 1914 г.: «Я уверен, что все хорошо для Вас устроится; устроилось бы главное — Ваше утверждение. Меня сильно тревожит неизвестность. Неясны размеры кампании, ведущейся из Киева. Время мы переживаем тяжелое. Очень уж обнаглели те враги русского народа, которые присвоили себе преимущественно звание его друзей»<sup>85</sup>. Прямым подтверждением того, что для беспокойства Шахматова были основания и что фигура Перетца вызывала не просто раздражение, но и прямой интерес у органов правопорядка, явля-

ется то, что цитировавшееся письмо было перлюстрировано и отложилось в делах Департамента полиции. После февральской революции 1917 г. Перетц получил эту копию\*.

Своими опасениями Шахматов в том же марте делился и с В. М. Истринским: «Заботит меня вопрос о Перетце: ну, как его не утверждают!»<sup>86</sup> Но все обошлось, Перетц был утвержден в звании академика, хотя отношение властей к нему не улучшилось. Все тот же Шахматов в начале 1915 г. в письме филологу-востоковеду академику К. Г. Залеману, обращавшемуся по каким-то вопросам в Министерство просвещения, советовал: «В разговоре лучше, думаю, не ссылаться Вам на В. Н. Перетца, которого в Министерстве недолюбливают»<sup>87</sup>.

Все эти академические и политические перипетии не мешали активной деятельности Перетца и его Семинария. Кроме собственно научного руководства, для Перетца было очень важно в наибольшей степени облегчить своим ученикам исследовательскую работу, а также обеспечить материальные условия для возможности спокойно заниматься наукой. И здесь он широко использовал возможности ОРЯС и его председательствующего. Шахматов после благоприятного впечатления, которое оказали на него участники первого выезда Семинария в Петербург в 1910 г., охотно шел навстречу хлопотам Перетца о своих учениках и широко раскрыл двери академического книжного склада.

Уже весной 1911 г. последовали первые просьбы о помощи в получении книг. Как правило, обращения имели формулировки, схожие с той, которую мы находим в прошении «преподавательницы Вечерних Высших женских курсов в г. Киеве Варвары Павловны Адриановой»: «Живя в Киеве, городе крайне скучном книгами по истории древнерусской литературы, и имея весьма ограниченные средства, позволяю себе обратиться к Академии наук с ходатайством о бесплатной выдаче мне тех трудов ее, которые имеют наибольшее отношение к предметам моих занятий — истории русского языка и древнерусской литературы, преимущественно XI—XV и XVII вв.»<sup>88</sup>. Иногда на Перетца прямо ссылались как на инициатора обращения за помощью, как, например, в письме Н. К. Гудзия Шахматову: «По совету Вл[адимира] Ник[олаевича] Перетца, я, вслед за некоторыми другими членами его семинария, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой [...]. Решаюсь Вас беспокоить своей просьбой именно теперь, потому что просимые мной книги необходимы мне для подготовки к магистерскому экзамену и не могут быть в данное время

\* На обороте копии Перетц специально отметил: «NB из перлюстрации!» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 44 об.).

приобретены мной на собственный счет»<sup>89</sup>. А С. А. Бугославский в своем прошении подчеркивал: «Эти книги мне нужны для занятий по истории древнерусской литературы под руководством профессора В. Н. Перетца»<sup>90</sup>.

Той же весной с просьбой о бесплатном получении книг обратились С. А. Бугославский и А. А. Назаревский, они же уже осенью это сделали еще раз<sup>91</sup>, а Бугославский и в 1915 г.<sup>92</sup>. В 1911 г. книги просили также А. С. Грузинский, Н. К. Гудзий, С. А. Щеглова<sup>93</sup> и И. И. Огиненко. В последующие годы с такими же просьбами обращались, например, в 1912 г. С. И. Маслов, В. И. Маслов дважды, С. Ф. Шевченко, вновь Огиненко, Ф. П. Сушицкий, Б. А. Ларин<sup>94</sup>, в 1915 г. — Ларин, в 1916 — Гудзий и Е. А. Рыхлик. В 1917 г. книги просили Л. Т. Белецкий<sup>95</sup> и С. Д. Балухатый, причем просьбу и список книг за последнего написал сам Перетц<sup>96</sup>. Точно так же Перетц сам обращался в конце 1916 г. с просьбой выдать несколько книг Адриановой, Щегловой и Сушицкому<sup>97</sup>. Не было случая, чтобы все эти просьбы были не выполнены, единственной причиной невыдачи некоторых книг было их отсутствие на складе Академии. Только в 1911 г. члены Семинария получили по несколько десятков книг, изданных Академией наук: Щеглова — 12, Адрианова-Перетц — 24, Назаревский — 32. Список рассылаемых книг был весьма обширен, до сентября 1911 г. он включал в себя 46 названий, с октября — 70, к 1916 г. — 76 названий, начиная с середины XIX в. Прежде всего это были академические серии, такие как: Известия ОРЯС, сборники ОРЯС, многочисленные словари, начиная с И. И. Срезневского, отдельные труды и собрания сочинений как ученых (А. Х. Востоков, Я. К. Гrot, А. А. Шахматов, Ф. И. Буслаев, И. Н. Жданов, А. Н. Веселовский и др.), так и писателей (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, А. С. Пушкин и др.).

Кроме обеспечения своих учеников книгами, Перетц активно содействовал в получении ими всяческих академических пособий и стипендий, первыми в этом ряду стояли Адрианова и Щеглова. Документ от 7 марта 1913 г., подписанный Шахматовым, гласил: «М[илостивая] г[осударыня] Варвара Павловна. Имею честь уведомить Вас, что Отделение р[усского] яз[ыка] и слов[есности] в последнем заседании постановило высылать вам в течение настоящего года ежемесячно по 50 руб[лей], начиная с марта, на поддержание Вашей научной деятельности»<sup>98</sup>. Нам неизвестно, сама ли Адрианова обращалась в ОРЯС или за нее ходатайствовал Перетц. Возможно, обращение за стипендией было и вынужденной мерой в связи с невозможностью получить ее в университете. Активные хлопоты Перетца за предоставление стипендии Адриановой в Киевском университете произвели обратный эффект. Об этом писал ученому его коллега по

университету и работе в Семинарии А. М. Лобода<sup>\*</sup>. Он сообщал, что дело «относительно Варвары Павловны» переслано попечителю учебного округа, что, по его предположению, заключение по делу будет отрицательное. «Напрасно вы муссировали это дело, — писал Лобода, — Ваши письма [...], по-видимому, производили как раз нежелательное впечатление»<sup>99</sup>.

Безусловно, что некоей «особой», которая упоминается в ходатайстве Щегловой в Отделение как пострадавшая от ретроградных настроений начальства, была Адрианова. Итак, ученый счел своим долгом лично обратиться в Академию наук 2 ноября 1913 г. В развернутом ходатайстве-характеристике он писал: «Моя ученица, хорошо мне известная, Софья Алексеевна Щеглова по окончании гимназии с медалью обучалась на Высш[их] ж[енских] курсах в Киеве; преимущественно занимаясь историей др[евне]русской литературы в семинарии проф[ессора] Перетца, опубликовала несколько работ. В мае 1913 г. Историко-филологической испытательной комиссией при Университете св. Владимира удостоена диплома 1-й степени по отделению славяно-русской филологии и в заседании 30 мая 1913 г. представлена Истор[ико]-фил[ологическим] факультетом к оставлению при Университете по каф[едре] р[усского] яз[ыка] и слов[есности]; это представление одобрено Советом Университета; но если г[оспо]жа Щеглова и будет оставлена при Университете, то все же стипендии не получит, ибо попечитель учебного округа толкует § 135 Устава лишь в пользу студентов, успешно окончивших Университет, а не лиц женского пола, о чем гласит прецедент с другой особой, оставленной при Киев[ском] Университете. Г[оспо]жа Щеглова обнаруживает серьезные способности к занятиям историей литературы. [...] На основании всего вышеизложенного, прошу Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук оказать материальную поддержку г[оспо]же Щегловой на время подготовки ее к магистерскому экзамену, дабы она, вынужденная зарабатывать себе на существование уроками, — могла на указанное время быть отчасти свободной от преподавания в средних учебных заведениях»<sup>100</sup>. В прошении приводился и список работ Щегловой.

Перетц так активно отстаивал интересы своих учеников, что даже иногда ставил Шахматова в затруднительное положение. В декабре 1915 г. Шахматов сообщал Перетцу: «Насчет Бугосл[авского], Сушицкого, [...] Резанова у меня сомнений нет. Но в отношении В. П. Адриановой и С. А. Щегловой, если они получали уже два года, возмож-

<sup>\*</sup> Занятия Семинария в 1905–1906 гг. проводились на дому у Перетца и у Лободы (Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира... С. 9).

ны будут разговоры. Подумайте, не дать ли им работу, хорошо оплаченную. Но если это может помешать им в их занятиях, то я поддержу Ваше ходатайство»<sup>101</sup>. Бугославский, например, обратился к Шахматову за материальной поддержкой в сентябре 1915 г. «Снова, — писал он, — решаюсь обратиться к Вам с просьбой, беру на себя большую смелость подать в Отделение русск[ого] яз[ыка] прошение о стипендии (о ней я имею представление по рассказам В. П. Адриановой и А. С. Щегловой, бывших стипендиатками)»<sup>102</sup>.

Прошение было связано и с тем, что Киевский университет в связи с условиями военного времени был переведен в Саратов, а сам Бугославский по семейным обстоятельствам был вынужден обосноваться в Пензе. Но для продолжения работы «над окончанием исследования о произведениях на тему о Св. Борисе и Глебе» ему необходимо будет выезжать в Москву<sup>103</sup>. В следующем году Бугославский горячо благодарил Шахматова «за субсидию от Академии»<sup>104</sup>. В конце декабря 1915 г. за поддержкой обратился в ОРЯС Гудзий, и эта просьба также была мотивирована причинами, вызванными войной. В официальном прошении он писал: «Ввиду эвакуации из Киева университетской библиотеки и всех крупных книгохранилищ, я должен буду провести летние каникулы в столицах с тем, чтобы там заняться научной работой, главным образом, собиранием материалов для диссертации»<sup>105</sup>. В личном письме Шахматову Гудзий подчеркивал: «Не только для крупной по размерам работы, но и для небольшой статьи здесь не хватает материала и даже пособий»<sup>106</sup>. И на этом письме Шахматов сделал пометку: «Гуд[зиу] 200 р[ублей]». Уже 28 января 1916 г. Гудзию было направлено официальное уведомление в том, что ему выделено «двести рублей на поездку в столицы с ученою целью»<sup>107</sup>.

Несколько ранее, в мае 1915 г., в ОРЯС обратился А. В. Багрий с просьбой походатайствовать перед Министерством народного просвещения о продлении стипендии на второе полугодие. Он также просил Академию помочь получить ему «доступ в район военных действий». «Располагая свободным временем, — писал Багрий, — я намерен летом ехать в Галицию и мог бы быть полезен при охране древних памятников письма и печати, почему предлагаю свои услуги Академии наук, которая могла бы командировать меня в распоряжение профессора Шмурло»<sup>108</sup>. Шахматов сразу же в мае обратился от лица Отде-

\* Е. Ф. Шмурло был командирован в район военных действий для спасения памятников истории и искусства Академией наук. Первоначально предполагалось поручить эту миссию В. А. Францеву. Но, как писал 9 января 1915 г. Шахматов Яцимирскому: «Командировка В. А. Францева не состоялась. Он отказался. Командировку принял Е. Ф. Шмурло. На днях он отправляется в Галицию. Какие ужасы мы от него скоро узнаем!» (РГАЛИ. Ф. 584. Оп. 1. Д. 258. Л. 33 об.). В организации содействия Шмур-

ления в министерство, но никакого решения не последовало. Тогда к делу подключился Перетц, и 10 сентября было составлено новое обращение к министру, в котором сообщалось: «Академик В. Н. Перетц вошел в Отделение русского языка и словесности И[мператорской] Академии наук с прилагаемым при сем представлением об исходатайствовании бывшему стипendiату И[мператорского] Университета св. Владимира для приготовления к профессорскому званию магистранту А. В. Багрию пособия на второе полугодие 1915 г. для поддержания его научных занятий».<sup>109</sup>

Теперь положительное решение министерства последовало быстро, и уже 29 сентября в Отделение был направлен документ, в котором уведомлялось, что Багрию назначено «пособие в шестьсот рублей из сумм Министерства, каковые деньги будут переведены в Правление университета св. Владимира»<sup>110</sup>. Осенью следующего 1916 г. Назаревский обратился в Отделение и получил в конце года академическую стипендию<sup>111</sup>. Адрианова также не осталась без серьезной поддержки, последовавшей в конце 1916 г. «Имею честь уведомить Вас, — писал Шахматов, — что Отд[еление] р[усского] яз[ыка] и слов[есности] в заседании своем 12 сего декабря постановило выдать Вам 1000 р[ублей] на оплату расходов по печатанию Вашей диссертации о Житии Алексея человека Божия»<sup>112</sup>. Это решение не могло не порадовать Перетца, следившего и всячески способствовавшего публикации работ своих учеников. Так, например, еще в ноябре 1913 г. он обращался к Шахматову: «Посылаю Вам статью моего юноши Н. Гудзия — о любопытной переделке легенды о папе Григории — и прошу напечатать в Известиях. Юноша — плодовит, одна его статья лежит уже в ЖМНПр., другая — в РФВ, третья — в наших Несторовских „чтениях“. Самое интересное для меня я выбрал для Известий: примыкает к моим работам по истории стиля Петров[ской] эпохи»<sup>113</sup>.

Большинство учеников Перетца, участников его Семинария, остались связанными с Киевским университетом. Но это не мешало Перетцу из Петербурга внимательно следить за их успехами и быть в курсе их проблем. В этом ему помогали своего рода отчеты Лободы, который старался как можно подробнее и с комментариями сообщать о наиболее активных участниках семинария. В письме, полученном Перетцем, согласно его пометке, 1 декабря 1916 г.\*, Лобода на фоне

---

ло со стороны военных принимал участие Президент Академии К. К. Романов, действия которого инициировал Шахматов (*Соболев В. С. Августейший президент. Великий князь Константин Константинович во главе Императорской академии наук. 1889–1915 годы. СПб., 1993. С. 161.*)

\* Большинство писем Лободы не датированы.

общего состояния дел в Киевском университете после его возвращения из эвакуации в Саратов описывал и положение учеников Перетца. «Хуже всего, — сообщал Лобода, — конечно, приходится приват-доцентам; у некоторых из них курсы, пожалуй, не состоятся. Прочнее других братья Масловы, Назаревский, Гудзий; по-видимому, наладится дело у Сушицкого, благодаря его ретивости и ловкости».

Сообщал Лобода и о только начинающих карьеру преподавателях. Так, он отмечал: «Искренне жаль мне Сашу Грузинского: рвения у него много, но от бесполковости своей никак он не может избавиться и, например, даже к вступительной лекции не сумел он, как следует, подготовиться». В отличие от него: «Огиенко прочел пробные лекции, в общем, недурно». Писал Лобода и об успехах членов Семинарии, профессорских стипендиатов: «Начал держать экзамены Отроковский, русскую литературу сдал прекрасно; отчет тоже очень хорош»<sup>114</sup>. Особой заботой Лободы, занимавшего должность секретаря факультета, было продвижение в печать готовых работ учеников Перетца. Он подробно информировал ученого о возникавших проблемах: «Диссертацию Софьи Алексеевны (Щегловой. — M.P.) постараюсь провести в Ун[иверситетских] Известиях; и надо, чтобы текст ее был прислан; не ручаюсь только за скорость печатания: наборщиков очень мало осталось. Оттисков за счет Университета, можно не свыше 300. Особенно трудно с ц[ерковно]-славянским шрифтом: сейчас печатаются приложения Бугославского и сданы приложения С. Маслова, а шрифта в обрез». Тут же Лобода просил оказать помощь оставшемуся в Киеве ученику: «Дайте, Бога ради, экземпляр Ваших театральных текстов Рыхлику: он пришел к выводу, что Сумароков помимо Мольер[овских] комедий, пользовался тем театром, к[о]т[о]рый Вы издаете, и отделять Мольер[овские] черты можно, только учитя Ваши тексты»<sup>115</sup>.

Перетца, кроме общей информации, интересовали и конкретные вопросы, связанные с делами его воспитанников. Уже в следующем письме Лобода сообщал: «Хорошо, что Вы написали мне относительно Варвары Павловны. Дело в том, что прощения ее в канцелярии не оказалось вовсе: не дошло ли оно, затеряли его в канцелярии ректора — Господь ведает! Чтобы не было лишней волокиты, я написал соответствующее удостоверение от нашего факультета, Н. М. Бубнов подписал, и, вероятно, он будет в Петрограде вместе с этим письмом; послал его я на Ваше имя, так как адреса В. П. не знаю».

Специально Лобода останавливался и на продвижении работы с публикацией диссертации Щегловой, текст которой он уже получил, «в ближайшие дни пущу». «К сожалению, — продолжал он, — не ручаюсь за быстроту: нет наборщиков, универс[итетские] Известия обслуживаются только 2 лицами. Что можно, однако, все сделаю»<sup>116</sup>.

Далее описывались успехи других учеников Перетца: «Назаревский и Вас. Маслов получили практические занятия на курсах и начали их, дело, по-видимому, пойдет хорошо. Рыхлик закончил магистерские экзамены; на экзамене по русскому языку была сплошная чепуха – он и Грунский никак не могли приспособиться друг к другу: черт его знает, этого Грунского!» Но отнюдь не у всех членов Семинария дела обстояли благополучно. Некоторых отвлекала от науки необходимость поиска дополнительного заработка. «С. Ф. (Шевченко. – M. P.) глаз не кажет, – писал Лобода, – боюсь, что кооператив, куда он попал, окончательно подрежет его. Ведь он сдал только русскую литературу и далее ни с места»<sup>117</sup>.

Условия военного времени, безусловно, создавали трудности, нарушавшие привычный ритм научной и педагогической деятельности как ученых старшего поколения, так и их молодых учеников. Но наступавшая эпоха революций и Гражданской войны полностью сломала весь сложившийся уклад жизни научного сообщества. Начало 1917 г. еще не предвещало тех потрясений, которые обрушатся и на жизнь Соболевского, Перетца и его учеников. Соболевский был назначен 1 января 1917 г. распоряжением Николая II членом Государственного совета<sup>118</sup>.

Происходившие в стране перемены после Февральской революции 1917 г. открывали новые перспективы в сфере высшего образования. Ученики Перетца оказались вполне готовыми к либерализации высшего образования на Украине, связанной с допущением использования украинского языка в преподавании и с введением преподавания истории собственно украинской литературы и украинского языка. О том, «как обстоят у нас дела с украиноведением» в Киевском университете, и о новом положении учеников Перетца ученому сообщал Лобода. «Курсы по истории укр[айнской] нар[одной] слов[есности] и литературы выразил желание читать Сушицкий, – писал Лобода, – и факультет уже санкционировал это; вначале Сушицкий будет читать их на правах пр[иват]-доц[ента], так как кафедры еще не установлены официально, и штаты на них не проведены, но по установлении кафедр он же, вероятно, явится и первым кандидатом на каф[едру] литературы; с этой кандидатурой придется считаться тем серьезнее, что у Сушицкого почти готова диссертация и как раз из области укр[айской] литературы».

Далее Лобода отмечал и вненаучный, но важный общественно-политический аспект дела: «Наконец, в пользу Сушицкого и то, что его кандидатура наиболее желанна и с точки зрения местных укр[айских] кругов»<sup>119</sup>. Возможным сильным конкурентом Сушицкого мог бы, по мнению Лободы, оказаться другой ученик Перетца, С. И. Мас-

лов. Маслов собирался в тот момент перебраться или в Саратов или в Пермь, но, как отмечалось в письме, он «пошел бы лишь на место профессора, ибо доцентура ему обеспечена и в Киеве». «Если же С. И. Маслов останется в Киеве, — продолжал Лобода, — то, м[ожет] б[ыть], не откажется и от кафедры укр[аинской] литературы, а согласись он, никто другой с ним бы не мог конкурировать; настолько бесспорны шансы С. И. в факультете»<sup>120</sup>. Если эта часть письма касалась в основном планов членов Семинария, то далее шла информация и оценки уже их определенных достижений. «Украинский яз[ык], — писал Лобода, — за Огиенко, к[ото]рый, к слову сказать, вполне поладил с Грунским и теперь пользуется его полной поддержкой»<sup>121</sup>. Обсуждалась в письме и проблема успешного завершения публикации диссертации Щегловой. «Попросите ее, — обращался Лобода к Перетцу, — тщательнее проверить оригинал и по возможности избегать дополнений в корректурах или поправок, связанных с переверсткой»<sup>122</sup>. Он же делился с ученым слухами, связанными с Щегловой: «Говорили здесь, будто С. А. в октябре собирается вернуться в Киев: очень было бы хорошо в смысле печатания!» И завершал письмо Лобода, безусловно, приятным для Перетца мнением о работе его любимой ученицы, Адриановой: «Прочел диссертацию В[арвары] Павл[овны]<sup>123</sup> — на редкость хорошая работа, немного таких появляется»<sup>124</sup>.

В октябре 1917 г. Щеглова в Киев не вернулась, а страну потрясли события, разрушившие весь сложившийся уклад жизни научного сообщества, и Перетцу, и Соболевскому, и ученикам Перетца предстояли жизненные испытания, не шедшие ни в какое сравнение с прежними проблемами. В октябре же Перетц отправился в командировку от Академии наук для обследования и научного описания старопечатных книг и рукописей Заволжья<sup>125</sup>. Сам Перетц обстоятельства своего путешествия описывал в письме Истрину от 8 марта 1918 г. более прозаично: «Я закинут судьбою в Самару — к счастью, что не один. Здесь двое моих учеников, кроме В. П. Адриановой. Директор Педаг[огического] Инст[итута] Нечаев — мой университ[етский] товарищ — оказал мне великую услугу, вытащив в октябре из Петрогр[ада]. Я питалась нормально, а там бы пропал»<sup>126</sup>. Как мы видим, учений позаболтался перетянуть из начавшего голодать Петрограда и некоторых своих учеников, состав которых во время его пребывания в Самаре то пополнялся, то сокращался. В том же письме Перетц весьма эмоционально сообщал о неудаче, постигшей его рецензию<sup>\*</sup> на книгу-дис-

\* В конце концов, рецензия попала в том 26-й Известий ОРЯС, помеченный 1921 г. Реально она появилась еще позже. Тот же Истрин, отношения которого с Перетцем к этому времени уже основательно испортились, писал 6 января 1923 г. Сперанскому:

сертацию его ученицы Адриановой в Журнале министерства народного просвещения.

В Самаре Перетц занял должность помощника директора Педагогического института и активно включился в работу по доведению его уровня до университетского. «Кроме того, — сообщал ученый Истрину, — за квартиру — имею на плечах обязанности декана и вожусь по части учебной, и организую факультет. До сих пор мне удалось составить его не хуже, а даже гораздо лучше, чем в Перми и Саратове: у нас хорошо поставл[ены] классич[еская] филол[огия], философ[ия] и [нрзб.] и русская филология. Недурна и ср[авнительная] грамм[атика]. Подгугляло только историч[еское] отделение. Единств[енный] историк — известный Вам Е. И. Тарасов; теперь только выбираем по средней и нов[ой] истории. Слависта с 1 мая будем иметь из Киева, если его там не укошили в междуусобной брани»<sup>127</sup>. Уже в августе 1918 г. институт был преобразован в Самарский университет<sup>128</sup>, и с 1 сентября 1918 г. Перетц возглавил в нем историко-филологический факультет<sup>129</sup>.

К весне 1918 г. Перетц собрал вокруг себя уже четырех своих учеников. Так, в мае Шахматов просил ученого «кланяться В. П. Адриановой, А. В. Багрию, С. Д. Балухатому и С. А. Щегловой»<sup>130</sup>. Шахматов продолжал через ОРЯС оказывать, пока была такая возможность, посильную помощь в публикации их научных трудов. Щеглова писала Шахматову 6 декабря: «Благодарю Вас за ассигнованную мне сумму для напечатания моей работы, но добавлю, что денег я не получила. Счет из типографии привезет Владимир Николаевич Перетц, который едет в Петроград через полторы недели. Два экземпляра своей диссертации<sup>131</sup> я послала в начале сентября в Отделение рус[ского] яз[ыка] и сл[овесности] на соискание премии митр[ополита] Макария, но не знаю, получило ли отделение эти книги. Отзыв о моей работе согласен дать В. Н. Перетц, который и писал Вам об этом. Извините, что я не доставила Вам своей книги, но посылок из Киева в Петроград не принимали, переправлять же книги окольными путями, как это я сделала с 2 экземплярами, присланными в Отделение, очень трудно»<sup>132</sup>.

Перетц продолжал отдавать много сил организации нового университета и гордился успехами в этом деле. «Унив[ерситет] у нас „старого образца“, не нижегородского типа», — писал он Никольскому в июле 1919. Из этого же письма следует, что из 16 сотрудников Историко-филологического факультета пятеро были Перетц и его учени-

«Вышла книжка *Известий* — содержание интересное. Прочтайте рецензию Влад[имира] Ник[олаевича] на книгу своей супруги: вот страстное изъявление горячей любви. Я противился помещению такой рецензии, особенно введению и заключению ее. Называют иные это любовной рецензией» (ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 70 об.).

ники, причем из шести человек со степенью они составляли половину<sup>133</sup>. Живо заинтересовался новой деятельностью своего ученика и Соболевский и, оценив ее успешность, сразу же снабдил Перетца информацией о возможностях приобретения столь необходимых в Самаре книг. «Здешний „книжный центр“, — писал Соболевский 11 февраля 1920 г., — усиленно покупает книги „для новых ун[иверсите]тов“. Цены, в сущности, стоят дешевые. Рубль здесь упал в своей покупательной стоимости более чем в 10.000 раз. Но обаяние слова рубль сохраняется, и хотя 100 р[ублей] нынешними бумажками равносильны недавней медной копейке, тем не менее эта сумма считается отличною ценою; ниже 40 р[ублей], 60 р[ублей] — обычно. Итак, примите все возможные меры, чтобы притянуть в Самару побольше купленного „кн[ижным] центром“ добра. Ваш ун[иверсите]т — несомненный ун[иверситет], и если не может ожидать скорого расцвета, то существовать может не хуже ун[иверсите]тов сарат[овского] и воронежского. А другие ун[иверсите]ты наших дней имеют лишь название ун[иверсите]та, и доставленные им книги обречены на гибель»<sup>134</sup>.

Нарушение связей внутри научного сообщества и ставшая обыденным явлением высокая смертность среди интеллигенции часто рождали необоснованные слухи о кончине того или иного ученого. Так, 21 июля 1920 г. обеспокоенный Соболевский обращался к Истрину с вопросом: «Сегодня из Новгорода меня спрашивают: действительно умер в Самаре Перетц? Я из П[етро]гр[ада] до сих пор не имел на это никаких намеков»<sup>135</sup>. Но Перетц не только не собирался умирать, а, наоборот, активно использовал те возможности по расширению книжного фонда своего университета, о которых ему писал его учитель. И 22 августа 1920 г. Соболевский сообщал Ляпунову: «Лишь недавно уехал из М[осквы] студент Самарск[ого] ун[иверсите]та (где действует еще мой б[ывший] питомец ак[адемик] Перетц), бывший для покупки и вообще для созиания книг»<sup>136</sup>.

И в Самаре у Перетца начали появляться новые ученики среди студентов и начинающих ученых, одним из них стал будущий академик М. Н. Тихомиров. Именно его отправил Перетц в апреле 1921 г. к своему учителю с поручениями как личного, так и общественного характера. Он извещал Соболевского: «Сейчас едет наш ассистент по палеографии, (оконч[ивший] Моск[овский] Ун[иверситет] и немногого доучивавшийся у меня) Мих[аил] Ник[олаевич] Тихомиров. Он вручит Вам коробку с печеньем — изделие ученой женщины, Варвары Павловны. [...] Прошу от лица Археол[огического] Общ[ества] содействия по приобретению книг, главное Палеогр[афию] Щепкина, не ск[олько] экз[емпляров] и полн[ое] собр[ание] изданий Моск[овско]го Археол[огического] Института». В этом же письме Перетц упоминает

нал и о занятиях, хорошо знакомых и Соболевскому: «Я, впрочем, и здесь по утрам рублю дрова и колю, ибо дворников нет, а наемный труд доступен лишь комиссарам да спекулянтам»<sup>137</sup>.

О том, что Перетц скромно охарактеризовал как «доучивание», Тихомиров сохранил благодарные воспоминания на всю жизнь. Так, в своих мемуарах, называя Перетца своим учителем, Тихомиров на примере его деятельности создал образ идеального педагога. «Это был не просто крупный ученый, а преподаватель „Божьей Милостью“. Не все знают, — продолжает Тихомиров, — что такое воспитывать студенческие и вообще научные кадры. Большинству кажется это явление довольно простым и легким. На самом деле для этого надо обладать и своего рода способностями и, в первую очередь, определенной сердечностью к людям для того, чтобы видеть ростки их новых знаний, вовремя помочь. Ведь без помощи очень трудно бывает для всякого начинающего ученого. Тут и вопросы чисто бытового характера, и вопросы о том, где поместить ту или иную статью, к кому обратиться за помощью, и т. п. и т. д. В. Н. Перетц был очень строгим преподавателем и в то же время довольно любящим учителем. Для меня он на всю жизнь остался незабвенным учителем и другом»<sup>138</sup>.

Во времена своего пребывания в Самаре Перетц переживал многочисленные неприятности, связанные с идеологическим и политическим контролем властей, и даже опасался ареста из-за доносов на него, как он писал, «в „Чеку“»<sup>139</sup>. Только очень тяжелое положение в Петрограде удерживало ученого в Самаре, о чем он неоднократно писал своим коллегам.

К концу 1920 г. Перетц окончательно решил возвращаться в Петроград, а с начала января 1921 г. перевел это решение в практическую плоскость. Переезд Перетц планировал очень основательно, он не только хотел вывезти из Самары для передачи в Академию наук собранные им коллекции рукописей, старопечатных книг и икон медного литья<sup>140</sup>, но и старался заранее найти и для себя и для своих учеников работу в Петрограде. К этому времени ученый женился на своей первой ученице — Адриановой и считал своим важнейшим делом найти ей достойную работу в университете, но обращаться туда с просьбами ученый считал неудобным. «Мне самому, — писал он Истрину, — это очень трудно хотя бы потому, что, м[ожет] б[ыть], Вам еще не известно — соединился с В[арварой] П[авловной] „под обоими видами“, а за жену просить у малознакомых лиц, хотя бы и за полноправную (магистр, 5 или 6 лет преподав[ала] в высш[ей] школе) — все-таки неловко: интеллигентский предрассудок». Поэтому Перетц просил «через уважаемую Евгению Самсоновну (Истрину. — M. P.) справиться» о возможности Адриановой-Перетц «устроиться в Унив[ерситет] по языч-

ной части (истор[ия] литерат[урного] яз[ыка], ст[аро]славянского, исто[рия] рус[ского] актового яз[ыка])»<sup>141</sup>.

Но вопрос с устройством на работу оказался весьма непрост. Коллеги предупреждали, что возможные сложности могут ожидать и самого Перетца. Н. К. Никольский, поздравив 2 апреля 1921 г. его «и Варвару Павловну с началом новой жизни»<sup>142</sup>, подробнейшим образом описывал особенности нового порядка вещей в Петроградском университете. «На днях только, — сообщал Никольский, — я имел возможность повидать Е. Ф. Карского, который принял от меня обязанности председателя Предметной Комиссии, и сообщил ему о Ваших пожеланиях. Как выяснилось из переговоров с ним, для Вас найдется вакансия в Университе[т]. Надо полагать, что удастся удержать ее за Вами. В единогласном мнении всех членов Предметной Комиссии о желательности возвращения Вашего в Петроградский Университе[т] сомневаться, конечно, нельзя. Что же касается дальнейшего движения дела, то в настояще время — судя по недавним примерам, ручаться за несомненный успех едва ли возможно ввиду затруднений, которые приходится преодолевать. Лично я почти не сомневаюсь, что Вам удастся их осилить, и пишу о них не для того, чтобы разочаровать Вас, но потому, что нахожусь под свежим впечатлением недавних выборов на кафедру [...]. Впервые в этих выборах приняли участие представители от студенчества, это значительно осложнило процедуру замещения вакансии. Чем кончится или уже кончилось избрание, мне пока неизвестно, но, во всяком случае, оно показало, что в настояще время трудно предвидеть, встретит или и не встретит каких-либо неожиданных препятствий общее желание членов Предметной Комиссии снова видеть Вас в своей среде»<sup>143</sup>.

С переездом в Петроград оживилась переписка Перетца с Соболевским. Теперь ученый регулярно и весьма откровенно писал своему учителю и о своих научных планах, и о многочисленных проблемах, с которыми он столкнулся после трех с половиной лет отсутствия в Петрограде. Именно в Соболевском Перетц видел коллегу, у которого он всегда может рассчитывать на понимание и сочувствие, получит поддержку. Однако не все коллеги радушно встретили ученого, уже осенью у Перетца возникли трения, и из-за некоторых его начинаний в рамках ОРЯС, очень осложнял его жизнь нерешенный квартирный вопрос.

Обо всем этом ученый с грустью писал 21 октября Соболевскому: «Вообще вижу, что я что-то не ко двору в Питере — меня явно выживает наш уважаемый коллега. Конечно, я выяснил это достаточно — охотно до лучших времен уеду куда-нибудь. В Киев усиленно зовут. Даже прислали и мне, и Варваре Павловне бесплатные билеты на переезд... Неужели у Василия Михайловича (Истриня. — M. P.) нет

соображения, что своей политикой он может разогнать тех членов Отд[еления], которым приходится зависеть от его каприза? Много-много раз я жалел, что у нас в Отд[елении] председательствует не старший по обычайу\*. Ни при Ал[ексее] Ал[ександровиче] (Шахматове. — M. P.), ни при Вас, напр[имер], я уверен — не встретил бы такого своеобразного (скажу так) отношения к себе. В этих-то обстоятельствах, ожидая, что меня, и без того разоренного переездом, снова погонят куда-ниб[удь] — само собою и работа пока идет вяло. А хотелось бы многое сделать, пока время не ушло совсем»<sup>144</sup>. И питерская погода угнетала ученого: «Вообще в Питере — осень, слякоть и нет ничего отрадного. Мы совсем приуныли». Огорчала Перетца и возобновленная работа в университете: «Я начал лекции, слушат[елей] — много. Но все — зеленая молодежь, им еще гимназия нужна, начитанность = 0. Одно утешение — своя работа, но и ее-то делать не дает сознание полной необеспеченности! Напишите хоть два словечка, а то мы совсем тут закисаем: жена еще ничего, держится, а я — прямо в черную меланхолию впал»<sup>145</sup>. Тем не менее ученый восстановил «деятельность „Семинария русской филологии“, состав которого пополнился студенческой молодежью»<sup>146</sup>.

Главной же заботой Перетца в это время оставалось устройство его старших учеников, неудачи в этом деле вызывали у ученого нарекания, прежде всего на своих коллег. В марте 1922 г. он сообщал Соболевскому о рецидиве своей тяжелой болезни, «легочном кровотечении». «Это — история, — писал Перетц, — подобная той, кот[орую] я перенес в 1899 г., но тогда я был моложе и сильнее». Далее ученый повторял содержание письма, ранее им отправленного, но не полученного Соболевским. «В том письме, — не без сарказма отмечал Перетц, — я делился с Вами некоторыми огорчениями, которые и свалили меня окончательно: в Инст[итуте] им. Весел[овского] мои коллеги мудро забаллотировали всех моих учеников, не исключая и магистров; зато набрали в аспиранты разной шушеры. Вероятно — так надо для того, чтобы придать вес новому учреждению. От питерского шкурничества и интриганства я отвык и был очень огорчен поведением коллег — славистов и словесников». Собственное положение ученый считал более-менее приемлемым, «а вот кто помоложе — за тех досадно, что остались без поддержки»<sup>147</sup>.

Далее Перетц обрушивал гнев на главных, по его мнению, виновников неустройства Петроградского университета: «Г[оспода] „профес-

\* После А. А. Шахматова председательствующим в ОРЯС стал В. М. Истрин, избранный академиком в 1907 г., «старшим» в Отделении был Соболевский, ставший академиком в 1900 г.

сора“, вроде названного (Долобко. — M. P.), ропщут, что-де, мол, „большевики“ губят унив[ерситет]. Присмотревшись к Питеру, вижу, что главное зло — в недрах самого Университета. Будь люди почестней, люби науку, а не интриганство, живи в согласии — и „врата адова“ не одолели бы цитадели науки»<sup>148</sup>. В конце ноября того же года Перетц вновь писал Соболевскому и о делах Института, и о положении Этнолингвистического отделения, которое «ожидает реформы — опять!». «Говорят, — сообщал Перетц, — об устраниении старых проф[ессоров] и замене их молодыми силами — из недр „левой профессуры“. К сожалению — там по нашей части нет никого с какой-либо серьезной квалификацией, не говоря уже о талантах, которых и вообще-то встречается не много. Сейчас по яз[ыку] действует Карский, по литер[атуре] — я и Абрамович, но прочее — совсем мелко, прямо некем заменить и по доброй воле! А извне — хоть и есть люди — но не пустят сами же университетские деятели...»<sup>149</sup>. В последней фразе Перетц имел в виду, прежде всего, кандидатуры Адриановой-Перетц и Щегловой.

Ученый продолжал следить и за судьбой своих учеников, оказавшихся в других городах, был в курсе их дел и стремился оказать посильную помощь. В том же письме Перетц интересовался у Соболевского: «Кстати — не видели ли Вы моего Киевского питомца, Бугославского? Он переехал в Москву, но живется ему несладко: если бы не поддержали его музыканты (он и тут кое-что понимает), то хоть зузы на полку. Если что-нибудь подвернется — имейте в виду, способный малый. [...] Он обосновался еще в 1915 г. в Москве и был пр[иват]-доц[ентом]. Не думает ли О[бщество] И[стории] и Др[евностей] Р[оссийских] возрождаться? Если да, то имейте в виду Бугославского, у него великолепная работа о Бор[исе] и Гл[ебе] и еще есть кое-что. Вот другой мой ученик Гудзий — прилично устроился в Гос[ударственном] Изд[ательстве], а этому — не везет»<sup>150</sup>. Не оставлял Перетц без внимания и положение вернувшегося из Самары в Москву Тихомирова. В конце декабря 1923 г. он с благодарностью писал Сперанскому: «Спасибо, что приютили Мишу Тих[омирова]: его самоуверенность объясняется тем, что в Самаре два последн[их] года он был „сам себе голова“, — ну, а это кружит голову». В том же письме вспоминал и осевших в Москве учеников. «Жалею от всей души, — сетовал ученик, — что не могут работать под Вашим руководством мои киевляне: Гудзий и Бугославский: в погоне за куском хлеба зело „страстными житейскими подавляются“»<sup>151</sup>. Очевидно, что вскоре Перетц получил вполне удовлетворительные известия об успехах своего самарского ученика. Уже через месяц, 2 февраля 1924 г., он писал Сперанскому: «Радуюсь за М. Тихомирова: держите его в узде — и действительно выйдет хороший работник»<sup>152</sup>.

Появились у Перетца во вновь открытом Семинарии и перспективные ученики, и первым и любимым среди них стал И. П. Еремин. Когда в декабре 1922 г. Еремин направился в Москву для работы в архивах, Перетц просил своего учителя оказать начинающему ученому всяческую поддержку. «Пользуясь оказией, — писал он Соболевскому 17 декабря, — в Москву едет мой студентик Игорь Петр[ович] Еремин, который и принесет это письмо. Ежели нужно будет — поможете юноше советом, где и как найти ему то, что нужно. Он занимается Кирилл[ом] Тур[овским], написал — прямо скажу — хорошую работу о притче про хромца и слепца (лучше, чем гадания Франка и Сухомлинова), а это для меня хороший показатель. У него собрана и библиогр[афия] списков. Н. К. Никольский проверит ее, ежели не надует. Прошу Вас, помогите ему ориентироваться в местонахождении рукописей, потому что теперь произошла такая их мобилизация, что по старым описаниям и не найти. Вы же, как старый москвич, уже знаете, где что»<sup>153</sup>.

Но неожиданный приезд друга молодости побуждает Перетца уже на следующий день вновь писать Соболевскому: «Мой юноша еще не уехал, а тут подоспели именины Варв[ары] Павл[овны], приехал А. И. Яцим[ирский]. Много вспоминали о Вас и жалели, что Вас нет в Петрограде! Варв[ара] Павл[овна] и Соф[ья] Ал[ексеевна] Щегл[ова], кот[орая] живет у нас, посылают Вам образцы своих кулинарных, точнее кондитерских талантов, и просят принять их благосклонно». Перетц искренне сочувствовал другу, вынужденному преподавать в провинции, хотя в отношении к новым порядкам вообще и к делам в высшей школе их взгляды резко расходились\*. «Жаль Яц[имирского], — писал Перетц их общему учителю, — ведь славист знающий, а едва ли устроится в Питере, невзирая на его „марксизм“»<sup>154</sup>.

\* Перетц гордился, что Самарский университет задумывался как «старый», а деятельность Луначарского у него симпатий не вызывала. Яцимирский же, напротив, возлагал большие надежды на его приезд в Ростов-на-Дону, куда был ранее переведен Варшавский университет. Нарком благосклонно отнесся к преобразованию Археологического института, организатором и ректором которого был Яцимирский, в Институт культуры. Но отношение Луначарского к делам университета разочаровало Яцимирского, о чём он писал Перетцу в августе 1920 г.: «Реформа нашего ун[иверситета] идет вяло. Луначарский дал возможность сохранить все старое и сделал это напрасно, наш ун[иверситет] и без того склонен к „консервации“ во всех отношениях» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 72 об.). Кстати, в том же письме Яцимирский сетовал: «Завидую Вам, что есть ученики, а мне не везет. Единственный, оставленный мною, отставил факт[ультето]м за склонность к экономическому материализму и уважение к Марксу. Мерзавцы..., но я не борец с черной сотней и думаю, что так почему-л[иб]о лучше для оставленного мною. Юноша хороший и дальний» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 4 об.-5).

Кстати, не только образцами кондитерских успехов учениц Перетц радовал Соболевского. Оказывал он и более существенную помощь, стараясь приодеть учителя. Очень довольный Соболевский сообщал Перетцу 2 ноября 1924 г.: «Сейчас получил вашу посылку и спешу принести благодарность Вам и Варваре Павловне за хлопоты и труды. Теперь есть мне в чем щеголнуть»<sup>155</sup>. Очень скоро Перетцу удалось достать еще одну вещь, весьма необходимую почтенному ученому. «Спасибо за заботы о котелке, — писал Соболевский Перетцу 14 ноября. — Н. М. Каринский собирается в декабре в Петербург и обещает взять от Вас и привезти мне этот головной убор. Хотя перевозка и представляет неудобства, но надеюсь, Каринский с ним справится»<sup>156</sup>.

В начале февраля 1923 г. Перетц вновь отмечал успехи своего ученика. Он сообщал Соболевскому, что собирается предложить в «Сборник» Публичной библиотеки работы Адриановой-Перетц, свою «и моего малыша Еремина, кот[орый] вернулся из Москвы в восторге, хотя сильно позеленел и похудел»<sup>157</sup>. В том же феврале Перетц писал Соболевскому и об одной своей ученице, судьба которой в будущем доставит ему столько волнений: «У меня занимается сейчас студентка, дочь Б. В. Никольского, способная девушка. Вот бы радость отцу! Я вспомнил наши студ[ентеские] годы — ведь я был в Ун[иверситете] одновр[еменно] с ним, с ним же и [нрбр.] на 1-м курсе ... Но жизнь развела нас. И теперь вижу его дочь, унаследовавшую от него большие способности. Мы с В[арварой] Павл[овной] натаскиваем ее по русск[ой] и славянской части»<sup>158</sup>.

Следует отметить, что у Перетца были особые причины сообщать Соболевскому об успехах Никольской. Ее отец, профессор-классик, был не только однокашником Перетца, но и человеком близким Соболевскому по политическим убеждениям. Судя по всему, ученый высоко ценил и научные работы Никольского. Так, по его просьбе М. Фасмер выяснял судьбу трудов Б. В. Никольского в типографиях Юрьева (Тарту). В декабре 1920 г. об итогах этой работы тот информировал Соболевского и, в частности, сообщал, что обнаружил «рукопись „Памятник: Гораций — Державин — Пушкин“ — 217 стр. в 8<sup>0</sup>». «Эту рукопись, — писал Фасмер, — я взял из типографии себе на квартиру и переписал при первой возможности в Академию в Петербург»<sup>159</sup>. Необходимость заняться научным наследием Никольского была вызвана его трагической гибелью. З. Н. Гиппиус отмечала в своем дневнике летом 1919 г.: «Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь — 18 лет и сын 17-ти»<sup>160</sup>.

Перетц старался возродить традиционные для его Семинария научные экскурсии. В конце мая 1923 г. он обращался за содействием к Спе-

ранскому: «Между 12 июня и 10 июля я намерен с женою и 10-ю молодыми людьми, в числе коих две девицы, побывать в Москве [...] можно ли членам моей экспедиции надеяться, что мы сможем воспользоваться рукописями Исторического музея». Среди собиравшихся приехать были и Еремин с Никольской<sup>161</sup>. Но большой замысел по каким-то причинам осуществлен не был. И 10 июня того же года Перетц уже специально писал Сперанскому: «Мой ученик, Игорь Петрович Еремин, снова едет в Москву для занятий. Прошу оказать ему содействие. Он закончил свою первую работу — о хромце и слепце, и если Ваше Историко-литер[атурное] общество действует, он мог бы сообщить результаты своей работы, совершенно новые»<sup>162</sup>.

Если успехи новых учеников радовали Перетца, то и его положение в университете, и положение в нем его учеников старшего поколения продолжали огорчать и, более того, раздражать ученого. Сам Перетц не был утвержден «на штатную профессуру», хотя и имел на то формальное право. «Красные профессора», о профессиональном уровне которых ученый высказывался весьма нелестно, не обладали необходимыми учеными степенями. В результате, сообщал Перетц в начале лета 1925 г. Сперанскому: «Решили — оставить кафедру вакантной. При этом нарочно или случайно — забыли, что в составе Исслед[овательского] инст[итута], входящего в Унив[ерситет], — есть магистры — именно: Варв[ара] Павл[овна] и Соф[ья] Ал[ексеевна]. Тут не без „антифеминистич[еского]“ движения, которым отличались тут давно: один видный ун[иверситетский] деятель при рассмотрении заявления одной особы женского звания года два тому назад выразился: „Довольно с нас бабья“. Хорош стиль! А мужской пол у нас — весьма малограмматен»<sup>163</sup>. Но худшее еще ожидало Перетца: на фоне обострения его болезни («сердце порою очень беспокоит»), чему способствовали волнения, вызывавшиеся кампанией по уничтожению ОРЯС как самостоятельного второго Отделения Академии наук, стало очевидно, что и его деятельность в университете завершается не вполне добровольно. С горечью обо всем этом он писал 7 августа Соболевскому: «Из Унив[ерситета] я вылетел как по болезни, так и по воле начальства, не поручившего мне обяз[ательного] курса. Все это скверно. Но довольно об этом»<sup>164</sup>.

Создавшееся положение не мешало, однако, ученому продолжать хлопотать о научном и материальном положении своих учеников. Не без гордости Перетц сообщал Соболевскому в октябре 1920 г. о серьезной научной работе Ариановой-Перетц: «Варвара Павловна работает сейчас над большущей задачей: пишет о пародиях в др[евне]рус[ской] лит[ературе]. Не могу перетащить ее на более хлебное = новое!»<sup>165</sup> В это время Соболевский решил возродить Словарную комиссию Академии наук, о чем сообщал Перетцу, прося его содейст-

вия<sup>166</sup>. Сам Перетц готов был по мере сил поспособствовать этому делу, но привлекать к работе молодых сотрудников к неоплачиваемой работе не считал возможным<sup>167</sup>. Старался Перетц помогать и просто студентам, посещавшим его лекции, о чем свидетельствует его письмо А. Ф. Кони от 11 ноября 1925 г. В письме он просит «помочь добрым советом» «моему слушателю по Университету». «Он, — сообщал Перетц, — пострадал в одном деле — по-моему, незаслуженно. Но вследствие болезни сердца я лишен возможности лично быть ему полезным. К тому же я не обладаю сotoю долею того авторитета, который имеете Вы»<sup>168</sup>. Этим слушателем был М. К. Каргер, впоследствии известный археолог и искусствовед.

Несмотря на слабое здоровье, Перетц очень надеялся на продолжение активной педагогической деятельности. В июне 1926 г. он писал Соболевскому: «Меня просили вернуться в Университет]. Я поставил условием „приличный антураж“, и вот жду, пройдет мой „номер“ или нет...»<sup>169</sup> Но номер не прошел, в университет ученый уже не вернулся, что сузило работу его Семинария<sup>170</sup>. Кроме собственного здоровья, Перетца очень волновало здоровье жены. Все свои переживания ученый доверял учителю, который не только вникал в его проблемы, но и старался оказать посильную помощь. В конце декабря Перетц писал Соболевскому: «Варвара Павловна просит передать Вам ее искреннюю благодарность за книги, она последние дни хворает: возобновились сердечные припадки, беспокоившие ее летом [...] Судите сами, — да это видно и по моему писанию — в каком виде и мои нервы»<sup>171</sup>.

Не способствовали спокойствию ученого и беды, обрушившиеся на Никольскую. В этом же письме он сообщал: «У нас кончился по-гром аспирантов, почему-то называемый экзаменом. Выдержали из 40 чел[овек] едва 10. Но и те не уверены в судьбе; отметки не окончательны, их будут „обрабатывать“ в Москве в зависимости от посторонних веяний ... Так покровительствуют молодым ученым. Ваша „правнучка“ А. Никольская, ученица Варвары Павловны — прошла благополучно, на 4-ках, но ведь она — единственная аспир[антка] по ист[ории] др[евне]р[усской] лит[ературы]!! Не влечет к себе эта наука»<sup>172</sup>. Тревожные предчувствия Перетца вскоре оправдались. 30 марта 1927 г. ученый вновь сообщал о ее судьбе Соболевскому: «А вот с 3-м членом нашей семьи, с дочкой, доставшейся от † Бориса В[ладимировича] Никольского — совсем плохо. Так хорошо занималась, мы с Варварой Павловной ее поддерживали. А тут присланные хулиганы из Москвы производили „экзамен“ по марксизму: сначала ей поставили 4, а через неделю... эта четверка чудом (вот и говорите, что у материалистов чудес не бывает!) обратилась в... 2, что привело к лишению стипендии. Это страшно раздергало бедняжку, она захирела, а две нед[е-]

ли] тому назад заболела так, что пришлось поместить для клинического иссл[едования] в лечебницу [...] Я смотрю уныло на ее судьбу. Никогда я не думал, что придется нянчить дочку Б[ориса] Вл[адимира]овича], а еще меньше, — что наши заботы с В[арварой] П[авловной] и мои прервутся вторжением какой-то злой силы»<sup>173</sup>.

При этих обстоятельствах Соболевский старался морально поддержать Перетца. Через два дня, 2 апреля, Перетц благодарил своего учителя «за пожелание душевного спокойствия». «Его-то, — продолжал ученый, — мне и не хватает. А не хватает потому, что и дома все неладно, да и в Акад[емии] тоже. [...] Птенцы наши — тоже едва дышат: одного, безработного Еремина (что писал о Кир[илле] Тур[овском] в Изв[естиях] Отд[еления] недавно) я снабдил деньжатами и отправил в Москву заниматься в рукописн[ых] собраниях. Его приютит у себя Несторыч (Сперанский. — M.P.). А другое наше дитя совсем плохо: Никольскую 1) лишили степендии (80 р[ублей]) за то, что она, „хотя и формально ответила на все вопросы по марксизму правильно, но не чувствовалось, что она разделяет маркс[истскую] идеологию“: так было сказано одному из ее заступников, кот[орый] удивлялся, как из 4-х четверок — в итоге вывели двойку. 2) От всех этих неприятностей она захворала: у нее, как говорят врачи в лучшей из соврем[енных] лечебниц, обнаружилась язва желудка нервного происхождения. [...] вот уже 3-я неделя как в больнице [...] О работе надолго не может быть и речи: осталась одна тень»<sup>174</sup>.

Отправляя Еремина в Москву, Перетц и Сперанскому сообщал о тяжелом состоянии своей ученицы в письме от 4 апреля: «Пользуюсь случаем написать Вам несколько строк с Игорем (Петровичем, не Святославичем!). Большое Вам спасибо за то, что согласились принять его. Но другой наш птенец, которого я имел намерение подкинуть Вам в мае — Анечка Никольская. Совсем расхvorалась: лежит в лечебнице»<sup>175</sup>. Через три недели ученый вновь писал Сперанскому: «Я совершенно измотался с больными. Милая — Никольская — у нас почти при смерти. Добили окаянные налетчики из Москвы. А девочка так хорошо работала, со вкусом. Вот „жертва времени“ — и, вероятно, таких есть и будет еще немало. [...] Спасибо, что приютили парнишку. Вернулся в восторге»<sup>176</sup>. Перетц был так доволен успехами своего любимца, что уже через два дня, 26 апреля, сообщал Сперанскому: «Я уже Вам писал, с каким восторгом вернулся наш „молачек в штанах“ от Вас. Мы его сразу засадили протирать творог и мешать пасху, что он исполнил с такой же добросовестностью, что и поиски в рукописях. Жду от него детального отчета о работе»<sup>177</sup>. Перетц и далее старался оказывать своему ученику всевозможную поддержку. В августе 1927 г. он писал Сперанскому: «Игорь гостили лето у меня»<sup>178</sup>.

Похоже, что успешная работа Еремина была единственной радостью для Перетца в 1927 г. Этот год был знаменателен в жизни ученого двумя важными начинаниями, характеризующими его как учителя и ученика. В январе 1927 г. Соболевскому исполнилось 70 лет, и Перетц выступил инициатором подготовки юбилейного сборника. В том же году ученый посчитал возможным способствовать выдвижению своей ученицы и жены Адриановой-Перетц в члены-корреспонденты АН СССР. Оба эти начинания, особенно второе, вызывали у Перетца сильнейшие душевные переживания.

В начале ноября 1927 г. ученый писал Соболевскому: «Обращаясь к Вам по весьма деликатному делу. Мы беседовали с М. Н. Сперанским о том, чтобы предложить Варв[ару] Павл[овну] в члены-корр[еспонденты] по нашему Отделению. Вы сами понимаете, что я в этом деле не могу принимать участия. М. Н., как всем известно в Питере, — в дружественных со мною отношениях и ему не хотелось бы подчеркивать это, выступая „в первую голову“ с предложением. Мы оба обращаемся к Вам с просьбою, — если Вы не имеете серьезных возражений — взять инициативу на себя, т. е. первым подписать записку, которую составит М[ихаил] Нест[орович], у которого уже все для этого имеется. Я долго думал, прежде чем написать Вам об этом. Но М. Н. полагает, что лучше мне написать об этом Вам, так как давние наши отношения, м[ожет] б[ыть], позволят Вам — как бы Вы ни отнеслись к нашей просьбе — ответить на нее без всяких церемоний.

В. П. из-за болезни приходится оставить службу в Ак[адемической] библ[иотеке]. М[ожет] б[ыть] — придется со временем хлопотать тоже о пенсии, так как „служебная“, чиновничья ее работоспособность в зависимости от астмы значительно понизилась. Я же с каждым днем убеждаюсь, что мое сердце „сдает“, хотя я бодрюсь и виду не показываю, как мне порой трудно. Я был бы очень счастлив, если бы Ваш ответ был положительным. Но если Вы найдете, что работы В[арвары] П[авловны] ниже работ Абрамовича, [...] и др. — я в обиде не буду. Она содержания моего письма не знает и не узнает. Т[аким] обр[азом] все будет без огласки и огорчений»<sup>179</sup>. Соболевский поддержал предложение своего ученика. До голосования по кандидатуре Адриановой-Перетц, однако, дело не дошло вследствие процедурных нарушений, в которых было повинно руководство Отделения.

Перетц был чрезвычайно раздосадован таким исходом дела, в раздражении он весьма нелестно отзывался в письме Сперанскому о поведении своих коллег, не пожелавших исправить явную оплошность и довести дело до голосования (так, характеристика «идиот» была еще не самой суровой)<sup>180</sup>. Сложившейся ситуацией явно воспользовались недоброжелатели Перетца, о чем свидетельствует письмо Истрина

Сперанскому от 10 декабря. Оно в очень несимпатичном виде выставляет его автора, известного ученого, хотя сам Истрин старается представить свою позицию исключительно как высоконравственную. Итак, он писал: «Чрезвычайно дурное впечатление произвело на всех выступление москвичей в деле В. П. Адриановой-Перетц. Третье Отделение прямо-таки взъелось на [бывшее] второе, обвиняя нас, что мы занимаемся кумовством. А мы ни телом, ни душой не виноваты. Предложение москвичей для всех нас было полной неожиданностью. Хорошо, что кандидатура была снята по формальным основаниям, иначе был бы ей единогласный провал (кроме, разумеется, супружеского голоса). С педагогической стороны это было бы полезнее и поучительнее, но на бес tactного и назойливого Перетца это не подействовало бы, а для кандидатки это было бы неудобно и конфузно. Перетц, конечно, не уразумел бы, что кандидатура его супруги в действительности устранена не по формальным, а по моральным [причинам]. Ведь четыре года тому назад он обходил [нрзб.], прося представить В[арвару] П[авловну] в чл[ены]-корр[еспонденты], но получил отпор. С тех пор он молчал, дожидаясь удобного случая. Случай этот представился, и дело вышло так: Перетц устраивает Соболевскому честь в виде Сборника, а Соболевский как будто в оплату устраивает супруге Перетца честь в виде почетного звания. Получилось нечто скандальное. Ну, а Вы-то с Матв[еем] Ник[аноровичем] (Розановым. — M.P.) зачем впутались в эту историю?»<sup>181</sup> Как видно, Истрин вообще не интересует оценка научных достоинств работ Адриановой-Перетц, он во всем усматривает только хитроумную интригу ее мужа. Заметим, кстати, что отношения Истриной и Соболевского находились в это время на грани полного разрыва. Соболевский негативно относился к поддерживаемой Истриной кандидатуре П. Н. Сакулина в выборах в Академию.

По-видимому, только к концу декабря 1927 г. Перетц смог достаточно успокоиться, чтобы вновь взяться за перо, 29-го числа он очень коротко сообщал Сперанскому: “Варв[аре] П[авловне] лучше. О не приятности со стор[оны] Никольск[ого] и Карского — пока ничего не знает, и я молю бога, чтобы ког[да]-ниб[удь] об их гадости она не узнала”<sup>182</sup>. На следующий день он пишет письмо Соболевскому. Ученый подробно описывает ситуацию, пытается определить подлинные причины неудачности выдвижения. Поздравляя Соболевского с наступающим Новым годом, Перетц писал: «Вы, вероятно, слышали от М[ихаила] Нестор[овича], какую шутку устроили наши милые сочлены: придавшиеся к ротозейству и. о. секретаря Бартольда, отвели выборы В[арвары] П[авловны] в чл[ены]-корр[еспонденты]. Я, конечно, понимаю, в чем дело; свели со мною счеты за мою оппозицию при не-

удавшихся выборах Сакулина. Это все ужасно „благородно“. [...] У нас весь декабрь был лазарет. Со 2-го у Варвары Павловны до 18-го не было дня без припадка. Я измотался так, что пришлось взять сестру милосердия, кот[орая] пробыла у нас 12 дней. Я немного отдохнул. В. П. оч[ень] страдала. Сейчас — с 18 по сей день, не повторялись припадки. Она ползает по комнатам, а сегодня взялась даже за продолжение работы о „Кабацком празднике“. К счастью, она не знает ничего об наших академических хулиганах, и я стараюсь уберечь ее от всяких слухов, чтобы не растревожить ей снова сердца»<sup>183</sup>.

И все это происходило на фоне явного наступления на изучение национальных древностей. «У нас еще новость, — продолжал Перетц, — РАНИОН — есть такое учреждение, которому подведомственны Исследов[ательские] Институты — „выгнали“ из здешнего — меня, Софью Алексеевну, Бельченка, а если вычесть Дм[итрия] Ивановича [Абрамовича. — M. P.], находящегося за пределами достижимости\*, то древняя литература, т[о] е[сть] наша группа — оказалась упраздненою: Варвара Павловна подала заявление с просьбой освободить ее от звания сверхшт[атного] д[ействительного] члена, ибо в пустоте „коллективной“ работы вести нельзя. Вчера на юбилее Общ[ества] Древней Письменности Державин красноречиво ораторствовал о необходимости изучения др[евней] письменности, но он в РАНИОН'е, видимо, голоса не имеет и вопли его о разорении целой специальности — вотще. В остальном у нас все по-старому. Как-то Вы в Вашем домике? Боюсь, что очень забынете!»<sup>184</sup> Время показало, сколь не правы были коллеги Перетца, поставившие выше интересов науки свое желание досадить ученому за его общественную активность и принципиальность в вопросе пополнения рядов Академии в очень тяжелое для нее время. Во многом именно благодаря последующей деятельности члена-корреспондента АН СССР Адриановой-Перетц удалось сохранить и продолжить изучение древнерусской литературы.

Что же касается сборника статей, посвященного 70-летию Соболевского, то история его выхода в свет тоже была полна сложностей ненаучного характера. Накануне юбилея, еще в конце декабря 1926 г., Перетц писал Соболевскому: «Не сердитесь на меня за затею, кот[орая] явилась не столько плодом моей выдумки, сколько товарищеского кружка Ваших Петербургских учеников. Думаю, что ни один ученик нашего времени не собрал бы около себя столько лиц, как это вышло теперь с Вами. Это — оправдание нашей затеи»<sup>185</sup>. К этому времени весь труд был уже фактически собран, следует отметить стремительность, с какой было подготовлено это издание. Все статьи

\*Д. И. Абрамович находился в это время в заключении на Соловках.

сборника имеют даты завершения работы, первая — 20 ноября 1926, последняя 31 декабря 1926 г., всего же статей — 109. В этом же письме Перетц сообщал: «Ваши портреты дошли благополучно. Новый — великолепен; жаль только, что поля малы»<sup>186</sup>. Об уверенности Перетца в близком успехе предприятия Перетца 12 декабря Соболевскому писал и Каринский: «По сообщению Перетца дело со Сборником настолько продвинулось вперед, что близко начало реального осуществления»<sup>187</sup>. И в этом письме возникла тема фотографий для сборника. Каринский рекомендовал своему учителю мастерскую, где можно в Москве сделать хорошую фотографию. И далее он спрашивал: «Еще большая просьба: не найдется ли у Вас фотографической карточки до Киевского периода Вашей научной деятельности»<sup>188</sup>.

Некоторые коллеги обоих ученых предпочли, однако, в сборнике не участвовать, как, например, Истрин. Никольский же выступил автономно. «Написанная мною, — писал он Соболевскому 10 февраля 1927 г., — в ознаменование Вашего юбилея и прочитанная в Заседании Славянской Комиссии заметка о Кирилле-Философе как писателе, предназначена мною для Известий, так как объем ее превышает 4-5 страниц, удаленных для каждой статьи в сборнике, предпринятым В. Н. Перетцем»<sup>189</sup>.

Сам Перетц, по-видимому, считал излишним информировать Соболевского о сложностях подготовки сборника к печати. Но тот был в курсе дела благодаря письмам Д. К. Зеленина, который состоял с Соболевским в активной переписке. «Я сегодня был очень обрадован, — сообщал Зеленин 22 ноября 1926 г., — получив циркулярное письмо за подписями шести лиц: П. Н. Шеффера, В. Н. Перетца, А. И. Лященко, В. В. Сиповского, Н. К. Козмина и П. К. Симони\*. Из письма узнал, что наконец-то близка к осуществлению давняя мысль издать научный сборник Вашего имени». Однако тут же он не преминул посетовать на организаторов: «К сожалению, места дают мало — всего 4 страницы (10 тыс. знаков). Придется дать лишь резюме, так как для полного изложения потребовалось бы 2 листа»<sup>190</sup>.

Прошло немногим более трех недель, и Зеленин информировал Соболевского об очевидном успехе в заполнении сборника. Одновременно он и сочувствовал трудностям Перетца, но и полагал, что тот упускает возможность добиться большего объема для труда. «В. Н. Перетц получил очень много статей для Вашего сборника и требует сокращения у всех, — отмечал Зеленин, — кто вышел за пределы 4-х страниц, в частности у меня». «Впрочем, — писал он далее, — положение

\* Письмо о подготовке 70-летнего юбилея Соболевского, составленное от имени «бюро» из шести членов, сохранилось в архиве Н. К. Никольского (ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 70 об.).

редактора тут очень тяжелое. Но я не сомневаюсь, что при известной дипломатичности всегда можно выйти за пределы той нормы в 15 листов, которую ему дали. Обычно многие академические учреждения (хотя бы наш Музей, наша Словарная комиссия) не выполняют своей нормы, так что всегда бывают остатки. В. Н. Перетц и тут, как всегда, оказывается слишком прямолинейным. — Успех сборника даже пре-взошел ожидания. Статьи целого ряда моих харьковских учеников не попали за недостатком места»<sup>191</sup>.

Зеленин вскоре убедился в том, что явно недооценил организаторских способностей Перетца. Уже через неделю, 26 декабря, он писал Соболевскому: «Сейчас я беседовал с В. Н. Перетцем. Опасения мои оказались совершенно напрасными. И моя рукопись, и рукопись Бескровного сданы в типографию без всяких сокращений. В. Н. П. оказался тонким дипломатом; в марте выпустит книгу в 23 листа (вместо данных 15-ти). Все 70 статей — исследования; небывалый случай, ибо в подобных сборниках чаще всего видим информационные заметки. Несколько рукописей В. Н. П. вернул авторам, найдя их непригодными»<sup>192</sup>. Как показали дальнейшие события, подготовить сборник к весне 1927 г. оказалось невозможным, однако в окончательном виде он содержал уже не 70, а 109 статей, и объем его вырос до 38 листов.

Перетц придавал делу издания сборника большое значение, поэтому всячески старался ускорить дело. Уже в начале апреля 1927 г. он писал Сперанскому: «Сборник в честь А. И. Соболевского печатаю: уже 8 листов готово!»<sup>193</sup> Ему же — 10 августа: «Я подгоняю сборн[ик] Собол[евского], хочу его кончить в нач[але] сент[ября], чтобы потом отвезти лично ему»<sup>194</sup>. И вновь — 28 августа: «Сб[орник] Ал[ексея] Ив[ановича] движется: вчера прочел корр[ектуру], 83-и статьи из 109-ти»<sup>195</sup>.

Но тут в деле появились непредвиденные обстоятельства. Препятствием в деле выпуска издания в свет оказался Непременный секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург, сыгравший заметную роль в уничтожении самостоятельности ОРЯС. Неприязнь к нему объединяла практически всех академиков, бывших членов этого отделения. Чтобы преодолеть это сопротивление, Перетц пытался организовать сочувствующих делу академиков. «Сб[орник] Собол[евского], — писал он Сперанскому 16 ноября, — выйдет только тогда, когда на Ольденбурга будет давление: надо, чтобы Вы и М[атвей] Никанор[ович] порознь написали о необх[одимости] ускорить. А что Алексей Ив[анович]?»<sup>196</sup>

Перетца поддерживали, но, как писал Соболевскому Б. М. Ляпунов в конце декабря: «Очень сожалею, что сборник статей, посвященный Вам, до сих пор не выпущен цензурой. [...] Мы тщетно пристаем к Ольденбургу, добиваясь скорейшего выпуска, но он обещает лишь в январе 1928 г.»<sup>197</sup>. А 30 декабря, вместе с поздравлениями, уже сам

Перетц сетовал в письме Соболевскому: «Мне очень горько и обидно, что из-за какой-то нелепой дипломатии Ольденбург не выпускает Сборника, издаваемого в Вашу честь: уже 2 октября я подписал к печати последнюю корректуру и до с[ей] пор[ы] не могу добиться, чтобы его подписал к выпуску в свет наш диктатор»<sup>198</sup>. Ольденбург своих обещаний не выполнил, дело затягивалось. Удивлялись сложившейся ситуации и коллеги, жившие в провинции. Так, А. И. Томсон писал в марте 1928 г. Ляпунову: «Судьба Сбор[ника] Соболевскому меня поражает! Пропасть он не может, т. к. работа уже сделана, фактически расход произведен»<sup>199</sup>. В марте же, строя планы будущих поездок, очень надеялся на успешное разрешение дела сам Перетц. В письме Сперанскому от 18-го числа он предполагал: «Если бы Ольденбург подписал и выпустил Сб[орник] Собол[евского], я бы сам его повез Ал[ексею] Ив[ановичу] и заодно заглянул бы в Ист[орический] Муз[ей]»<sup>200</sup>. Но в апреле по Академии поползли нехорошие слухи, о которых Перетц тут же сообщил Сперанскому: «Слышал от Майковой, а она – от Платонова, что будто бы Ольденбург вообще не хочет выпускать в свет сборник Соболевского. Я не знаю, как бороться с этим самодурством. Теперь все бюджетные разговоры кончились и дипломатич[еские] причины отпали. А дело – стоит. Хоть бы кто-ниб[удь] извне подействовал на него! М[ожет] б[ыть], собрать петицию участников? Не знаю»<sup>201</sup>. Но летом \* дело разрешилось благополучно<sup>202</sup>, хотя и тут не обошлось без пренебрежительного отношения к организатору издания.

Так, 30 июня 1928 г. Перетц сообщал Соболевскому: «На днях только я узнал, что подарок Вам от Ваших учеников и почитателей готов и – с большим запозданием – все же рассыпается. Сделалось это даже без моего ведома как редактора; я хотел самолично привезти Вам сборник. Но наш Н[епременный] Секр[етарь] или его заместитель распорядились иначе, и я неожиданно узнал, что экземпляры уже пошли к авторам, в учреждения и – конечно, думать надлежит – и ви-новнику появления этой книги – которую я прошу Вас принять милостиво: каждый старался сообразно силам и способностям.

Многих авторов Вы не знаете – это молодежь, и меня радует, что среди молодежи есть еще интересующиеся тем, чему Вы – и я отчасти отдали свою жизнь. Варвара Павловна просит Вас принять ее наилучшие пожелания и долго еще вдохновлять на работу целый ряд представителей нового поколения»<sup>203</sup>. Соболевский сразу же, 2 августа, ответил Перетцу: «Вот уже десять дней, как я получил свой сборник в количестве 25 экз[емпляров]. Внешность – прекрасная, статьи –

\* На сборнике помечено: «Напечатано [...] июнь 1928».

не хуже, чем в других однородных сборниках. Спасибо Вам за хлопоты и еще большее спасибо за внимание к моей деятельности»<sup>204</sup>. Благодарил Соболевский и других участников сборника, но настроение у него было явно нерадостное. Он писал Ляпунову 1 октября: «Спасибо и за письмо, и за хлопоты об „моем“ сборнике, и за отиск Вашей из него статьи. Слава Богу, как-нибудь живем в нашей тревожной жизни, среди забот о хлебе, масле, сахаре, среди вестей о комиссиях и банкетах... Бедная русская наука! Так ее втягивают в политику, без всякого основания и без всякой надобности»<sup>205</sup>.

Выход сборника в честь Соболевского был, безусловно, заметным явлением в русской науке. Участие в чествовании такого количества ученых, филологов и историков, от академиков до аспирантов, было демонстрацией сил и потенциала академической науки. Отметим, что 51 том сборника ОРЯС появился, когда само отделение после длительного, но безуспешного сопротивления уже прекратило свое существование летом 1927 г.<sup>206</sup>. Сборник появился в период активного идеологического, политического и организационного наступления властей на Академию наук. В марте 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) уже утвердило под грифом «Совершенно секретно» свой список кандидатов в академики<sup>207</sup>. Особо поощрялись такие «марксистские» направления в науке, как социологическое и яфтизология (марризм)<sup>208</sup>. Возможно предположить, что сама идея подобного издания несла в себе и своеобразный вызов официальному руководству Академии наук, откровенно искавшему расположения властей. Да и само объединение ученых вокруг фигуры Соболевского с его политическим прошлым, с его нескрываемой неприязнью к новым властям не могло не вызывать раздражения руководства Академии.

Книга не поспела к юбилею ученого, но все-таки вышла на следующий год. Перетц относился к этому изданию с особым чувством, поэтому его до глубины души возмутил отзыв о нем Ольденбурга, оформленный к тому же с использованием погромной терминологии. «Ольд[енбург] явился из Кисловодска, — сообщал Перетц Сперанскому 9 августа 1928 г., — где лечился от дипломатической болезни. Вид прекрасный. А из Кислов[одска] писали мне еще в июне, что он и там был здоров, зублив и словоблудлив без меры. Передавали еще одну гнусность — будто бы он (в присутствии ряда лиц) выразился, что в Сб[орнике] Соб[олевскому] участвуют „контрревол[юционеры] и врачи народа“! Ведь за такую гадость прежде — к суду стоило привлечь, и суду чести, но — теперь он так запугал разных, даже почтенных людей, что с ним предпочитают не связываться»<sup>209</sup>. Такие характеристики могли скорее привести к суду, причем уголовному, над участниками сборника. Тем не менее книга увидела свет, ее авторами являлись

почти полтора десятка учеников Перетца, в разное время бывших членами его Семинария.

В этом году учений придавал особое значение успешному завершению работы Еремина над диссертацией, оказывая ему самую разнообразную помощь. Перетц и заказывал через Сперанского, и оплачивал изготовление копий материалов, необходимых Еремину<sup>210</sup>. Когда у Сперанского возникли планы издания древнерусских повестей, Перетц сразу же предложил кандидатуру своего ученика и его работу «Повесть о посаднике Щиле»<sup>211</sup>. Летом 1928 г., как и весной 1927 г., Еремин воспользовался протекцией учителя и останавливался в Москве у его друга. Так, 9 августа Перетц описывал Сперанскому состояние дел ученика: «Спасибо за то, что приютили Игоря. Он сделал оч[ень] много. Жаль, что из-за уроков должен засесть на зиму в Л[енинграде]»<sup>212</sup>.

Казалось, что дело благополучно шло к защите, но в обстановке нараставшей травли Академии наук и ее научных традиций со стороны властей и таких организаций, как «Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству» (ВАРНИТСО)<sup>213</sup>, непреодолимым препятствием стал отзыв на диссертацию известного приверженца социологического метода В. А. Келтуялы. Сложившаяся ситуация буквально вывела Перетца из себя. Для своего идеального и научного противника он не пожалел самых резких слов. В ноябре Перетц писал Сперанскому: «С Игорем — чепуха: Келтуяла, ровно ничего не нашедший сказать о его дисс[ертации] о Щиле — придирается к тому, что „мало марксизма“, и что вся работа сделана „по-буржуазному“. Вот дурак! И это — лицо стоящее во главе специальности в когда-то славном Л[е]н[инград]ском ун[иверситете]». Был недоволен Перетц и позицией своего ученика, но решил придерживаться тех принципов свободы выбора, которых придерживался его собственный учитель. «Если бы я был на месте автора дисс[ертации], — продолжал письмо Перетц, — я бы не стал колебаться и предпочел бы защитить ее в более приятном обществе. Но И[горь] — человек современный и с большою угнетенностью психики и потому намерен переделывать „ad usum delphini [нрзб.]“<sup>\*</sup> свою работу. Я хоть и предложил ему защищать в друг[ом] месте — сейчас никакого совета ему не даю. Чтобы не оказывать давления: пусть сам несет последствия своего решения, ибо честь была предложена. Боюсь только, что он будет наказан теми, к кому хочет прислужиться, ибо там „своим“ его не считают, и не будут считать, и ГУС не утвердит его защиты, если учесть отзыв Келтуялы»<sup>214</sup>. В результате защита диссертации была отодвинута почти на шесть лет.

\* ad usum delphini... — (лат.) изречение, характеризующее тексты, подвергшиеся цензуре.

Временная размолвка не могла нарушить отношений учителя и ученика. Еремин остался любимым из «младших» учеников Перетца, недаром, как вспоминала Адрианова-Перетц, ученый называл его именем младшего любимого сына библейского Иакова — «мой Вениамин»<sup>215</sup>. Еремин в наступавшие мрачные времена идеологической цензуры оставался рядом с учителем. Даже на заседаниях в Институте славяноведения в начале 1930-х гг. они, как правило, и присутствовали вместе, и выступали с сообщениями на одних и тех же заседаниях. Так, например, 8 мая 1932 г. Еремин докладывал о ходе работ по теме «Иван Вишенский и его деятельность»<sup>216</sup>. «В настоящий момент, — сообщал Еремин, — издание сочинен[ий] Вишенского уже полностью подготовлено к печати; работа полностью будет окончена к 1 января 1933 г. »<sup>217</sup>. На том же заседании Перетц делал сообщение о работе по теме «Сборники украинских пословиц XVII–XVIII вв. в марксистском освещении»<sup>218</sup>. Кстати, собственно работой по этой теме занималась Адрианова-Перетц, ее отчет об исследовании сборника пословиц иеромонаха Климентия (конец XVII в.) приложен к протоколу заседания<sup>219</sup>. В неосуществленных планах Института славяноведения «на вторую пятилетку» (1933–1937 гг.) Перетц вместе с Ереминым значатся исполнителями проекта с соответствовавшим наступившей эпохе названием: «Отражение классовой борьбы в украинской литературе XVI–XVII вв.»<sup>220</sup>.

Выборы и довыборы в Академию начала января 1929 г. проводились под сильным давлением властей, с ними фактически завершилась ее советизация. Вполне возможно, что эта гнетущая обстановка могла ускорить кончину А.И. Соболевского, последовавшую 24 мая 1929 г. Известие о смерти учителя стало для Перетца тяжелым ударом, 26 мая он писал Сперанскому: «Как громом поразило меня известие о смерти Ал. Ив. Соб[олевского], хотя, принимая во внимание его годы и утомление — этого можно было ожидать не сегодня — завтра. Но я так долго был связан с ним узами более чем уважения ученика к учителю, что очень тяжело переношу это несчастье. В сентябрьском засед[ании] 24-го, прочту в Ак[адемии] некролог — соотв[етствующую] характеристику его научной деят[ельности], чтобы наши [нрзб.] услышали об Ал[ексее] И[вановиче] то, чего не хотели знать, а академическая „молодежь“ — пусть поучится на этом примере — научной работе и изумительной любви к науке.

Это известие мне передал Карский. Если бы не взятый билет в Минск, где я должен сделать доклад в назнач[енном] для этого засед[ании] — я бы приехал на похороны. Но это дела „внешние“, погре-

<sup>215</sup> О осуществить это издание Еремину удалось только через двадцать лет (*Вишенский И. Сочинения / Подг. текста, статья и комм. И. П. Еремина. М.; Л., 1955*).

бут и без меня... А вот много ли найдется людей, кот[орые] наберутся смелости отдать дань покойному иным способом? Ведь А. И. — это целая эпоха в ист[ории] р[усской] науки. М[ожет] б[ыть], не все это сознают. Но и история скажет свое веское слово со временем...» Не мог Перетц не вспомнить те жизненные тяготы, которые переносил Соболевский в последнее десятилетие своей жизни. Он «был единственной силой дома. Из-за этого, может быть, и не выдержал... Дрова колол, воду носил — и это с больным сердцем!» Свежи были и воспоминания о поведении академического руководства, чуть не сорвавшего появления юбилейного сборника. «Не без чудаest был он, — писал Перетц, — но все ж — как горька доля русского ученого. Надеюсь, что теперь „смерть велит умолкнуть злобе“, и гг. Ольденбург и К° уже не будут злопыхательствовать по адресу почившего?»<sup>221</sup> Однако написание некролога оказалось для Перетца психологически непростым делом. Он сетовал 10 августа тому же Сперанскому: «К 10 сен-[тября] я должен составить некролог Ал. Ив. Соб[оловского], но до сих пор рука не поднимается на такое дело, а это — мое заветное желание и — если хотите — мой долг ученика»<sup>222</sup>.

Почти за десятилетие до кончины своего учителя Перетц так же остро реагировал на неожиданную смерть своего близкого друга и во многом единомышленника — А. А. Шахматова. Тогда, в начале сентября 1920 г., он писал Истрину: «Как безжалостна наша жизнь, наше время, как безумно расточительно оно, давая гибнуть таким ученым! ... И таким праведникам. Не потому говорю так, что был близок к покойному и любил его, а потому, что вряд ли кто-ниб[удь] встречал другого, кого можно было бы назвать более этим словом. Я всегда бесконечно изумлялся его удивительному дару делать жизнь всем, кто с ним со-прикасался, — легче и лучше»<sup>223</sup>.

Перетц свой долг ученика выполнил, и составленный им некролог был представлен «в заседании Отделения Гуманитарных наук 19 декабря 1929 года». Перетц, сам лидер целой научной школы, выросшей из его Семинария, отмечал у Соболевского в его отношении к ученикам те принципы, которые былиозвучны и его собственным убеждениям. «Ученики его, — писал Перетц, — не испытывали никогда никакого давления его авторитета; терпимость его была беспримерна и воспитывала в нас таковую же. Он требовал одного: любви к научной работе и истине и честного отношения к фактам, не насилия их во имя предвзятых теорий». И далее: «[...] его организующая сила большого ученого сказалась в том, с каким вниманием и уважением к его научным заветам ученики его и ученики этих учеников разрабатывают темы, выдвинутые им»<sup>224</sup>. Все сказанное можно с полной уверенностью отнести и к самому Перетцу.

Нам представляется вполне закономерным, что Тихомиров, характеризуя важнейшие качества своего учителя в письме Адриановой-Перетц, употребил те же самые слова, что и Перетц о Шахматове: «Теперь прошло много лет, — писал он в марте 1954 г., — и пора вспомнить о покойном со словами древнерусских памятников: „праведники во веки живут и строение им от Вышнего“. И хотя слово „праведник“ употребляется очень узко, я вспоминаю эти слова всякий раз, когда думаю о людях, заботившихся о других, потому что в этом и есть, вероятно, праведность»<sup>225</sup>.

Живую память об учителе сохранили ученики, что позволило, как только появилась возможность, освобождаясь постепенно от привнесенных в науку идеологических схем, возродить и развить традиции академической науки.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Семинарий русской филологии при императорском Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. Первое пятилетие. Киев, 1912; Семинарий русской филологии акад. В. Н. Перетца. Участники Семинария — своему руководителю. Л., 1929.
2. См., например: *Гудзий Н. Памяти учителя // Русская литература. 1965. № 4; Назаревский А. А. Из далекого и недавнего прошлого // Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии. М., 1968; Назаревский А. А. Из воспоминаний о молодых годах В. П. Адриановой-Перетц // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29; Колпакова Н. П. Двадцатые годы // Там же; Бялый Г. А. Варвара Павловна Адрианова-Перетц // Там же.*
3. Робинсон М. А. Влияние идеологии на изучение литературы русского средневековья... С. 122–135.
4. Адрианова-Перетц В. П. Владимир Николаевич Перетц (1870–1935) // Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. М.; Л., 1962. С. 212.
5. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 2.
6. Там же. Л. 2 об.
7. Перетц В. Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Сезон 1894–1895 г. 1895. Кн. 1. Приложение.
8. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 4.
9. Там же. Л. 4 об.
10. Там же. Л. 6.
11. Семинарий русской филологии при императорском Университете св. Владимира... С. 7.
12. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 6–6 об.

13. Там же. Л. 6 об.–6а.
14. Там же. Л. 69.
15. Там же. Л. 67.
16. Там же. Л. 2.
17. Там же. Л. 67.
18. Там же. Л. 8.
19. Там же.
20. *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц... С. 213.
21. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 11 об.–11а.
22. Там же. Л. 11.
23. Там же. 4 об.–5.
24. Там же. 11а об.
25. Там же. Л. 70.
26. Там же.
27. *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. Т. 1. Из истории русской песни. СПб., 1900. Ч. 1, 2.
28. *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц... С. 215, 216.
29. *Перетц В. Н.* Материалы к истории апокрифа и легенды, 2. К истории Лунника. Введение и славянские тексты. Дополнения к истории Громника и указатели к вып. I и II // ИОРЯС. 1901. Т. 6. Кн. 3, 4.
30. *Перетц В. Н.* Материалы к истории апокрифа и легенды, 1. К истории Громника. Введение. Славянские и еврейские тексты // Записки Историко-филологического факультета СПб. Университета. 1899. Т. LIV.
31. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 14.
32. Там же. Л. 12–12 об.
33. Там же. Л. 12 об.–13.
34. *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. Т. 3. Из истории развития русской поэзии. XVIII в. Ч. 1. СПб., 1902.
35. РНБ. Ф. 696. Д. 148. Л. 5–6. Благодарю за предоставленный текст письма А. Н. Горяинова.
36. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 28–28 об., 29–29 об.
37. *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц... С. 217.
38. РГАЛИ. Ф. 584. Оп. 1. Д. 184. Л. 4.
39. Там же. Л. 4 об.
40. Там же. Л. 4 об., 5.
41. Там же. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 4.
42. Там же. Д. 97. Л. 21 об.
43. Там же. Д. 78. Л. 18.
44. *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц... С. 217.

45. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 63.
46. Там же. Л. 25–25 об.
47. *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц... С. 218.
48. Там же. С. 213.
49. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 23–23 об.
50. Там же. Ф. 584. Оп. 1. Д. 184. Л. 2.
51. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 63 об.
52. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 34–34 об.
53. *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц... С. 218.
54. Там же. С. 220.
55. Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира... С. 13.
56. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 1–3.
57. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 38–38 об.
58. Там же. Л. 46–46 об.
59. Там же. Д. 91. Л. 7.
60. Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира... С. 13.
61. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 47.
62. Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира... С. 15.
63. РГАЛИ. Ф. 584. Оп. 1. Д. 258. Л. 21.
64. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 43 об.–44.
65. Там же. Д. 59. Л. 3.
66. Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира... С. 15.
67. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 59. Л. 6.
68. Там же. Л. 5 об.
69. Там же. Д. 75. Л. 7–8.
70. Там же. Д. 91. Л. 23.
71. Там же. Д. 78. Л. 15–17, 18, 22 об.
72. Там же. Д. 97. Л. 51–51 об.
73. Там же. Л. 46 об.
74. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 336. Л. 51–51 об.
75. Там же. Ф. 134. Оп. 4. Д. 57. Л. 66–67 об.
76. Там же. Л. 68 об.
77. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 47 об.
78. Там же. Д. 91. Л. 10–10 об.
79. Там же. Д. 97. Л. 53 об.–54.

80. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 82.
81. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 11 об.
82. Там же. Л. 12–12 об.
83. ПФА РАН. Ф. 115. Оп. 2. Д. 440. Л. 17.
84. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 55, 55 об.
85. Там же. Д. 91. Л. 13–13 об.
86. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 181. Л. 46 об.
87. Там же. Ф. 87. Оп. 3. Д. 380. Л. 12.
88. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 963. Л. 155.
89. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 436. Л. 1.
90. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 963. Л. 187.
91. Там же. Л. 95, 276; Л. 187, 381.
92. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 194. Л. 11.
93. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 963. Л. 92–93, 112–112 об., 143.
94. Там же. Д. 979. Л. 68, 69, 95, 88–89, 113–113 об., 180–180 об.
95. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 104. Л. 1.
96. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1062. Л. 2–2 об.
97. Там же. Д. 1045. Л. 269.
98. Там же. Д. 992. Л. 1.
99. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 7 об.–8.
100. ПФА РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 992. Л. 40–40 об.
101. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 20–20 об.
102. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 194. Л. 12.
103. Там же. Л. 13.
104. Там же. Л. 15.
105. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1.
106. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 436. Л. 3.
107. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1043. Л. 12.
108. Там же. Д. 1025. Л. 7.
109. Там же. Л. 5.
110. Там же. Л. 6.
111. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1027. Л. 8, 10.
112. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1043. Л. 54.
113. Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1140. Л. 196–196 об.
114. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 13–13 об.
115. Там же. Л. 14–14 об.
116. Там же. Л. 16–16 об.
117. Там же. Л. 16 об.–17.

118. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 42. Л. 2.
119. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 25–25 об.
120. Там же. Л. 25 об.–27.
121. Там же. Л. 27.
122. Там же. Л. 27 об.
123. Адрианова В. П. Житие Алексея человека Божия в Древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917.
124. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 27 об.
125. Лебедева Е. В. Общественная и научная деятельность академика В. Н. Перетца в Самарском государственном университете (1918–1921 гг.) // Самарский государственный университет. 1969–1999 гг. Самара, 1999. С. 24.
126. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 19–19 об.
127. Там же. Л. 19 об.–20.
128. Лебедева Е. В. Профессорско-преподавательский состав Самарского государственного университета... С. 225.
129. Лебедева Е. В. Общественная и научная деятельность академика В. Н. Перетца... С. 24–25.
130. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 33 об.
131. Щеглова С. А. Богогласник. Историко-литературное исследование. Киев, 1918.
132. ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1725. Л. 1–2.
133. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 62 об.–63.
134. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 59–59 об.
135. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 11.
136. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 13 об.
137. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 10 об., 12.
138. Цит. по: Шмидт С. О. Письма В. П. Адриановой-Перетц М. Н. Тихомирову // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 473.
139. Робинсон М. А. Русская академическая элита: советский опыт... С. 167.
140. Там же. С. 164–165.
141. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 48.
142. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 28.
143. Там же. Л. 27.
144. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 13–15.
145. Там же. Л. 15 об.
146. Адрианова-Перетц В. П. Владимир Николаевич Перетц... С. 229.
147. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 17–17 об.
148. Там же. Л. 17 об.
149. Там же. Л. 23.
150. Там же. Л. 23–23 об.

151. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 24 об.
152. Там же. Л. 28 об.
153. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 26.
154. Там же. Л. 21.
155. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 74.
156. Там же. Л. 51.
157. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 30–30 об.
158. Там же. Л. 33 об.
159. Там же. Д. 387. Л. 1–2 об.
160. Гиттиус З. Петербургские дневники. 1914–1919. Нью-Йорк; М., 1990. С. 265.  
Благодарю за указание на эту книгу А. И. Рудзицкого.
161. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 17 об.
162. Там же. Л. 21.
163. Там же. Л. 63 об.–64.
164. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 52. \*
165. Там же. Л. 56 об.
166. Робинсон М. А. Русская академическая элита: советский опыт... С. 179.
167. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 54 об.
168. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1284. Л. 1.
169. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 70.
170. Гудзий Н. Памяти учителя... С. 169.
171. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 71–71 об.
172. Там же. Л. 73 об.
173. Там же. Л. 86 об.–88 об.
174. Там же. Л. 89–89 об.
175. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 134.
176. Там же. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 140 об.–141.
177. Там же. Л. 142.
178. Там же. Л. 149 об.
179. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 93–95 об.
180. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 172–173.
181. Там же. Д. 135. Л. 119–120.
182. Там же. Д. 226. Л. 180 об.
183. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 96 об.–96 (нарушение пагинации).
184. Там же. Л. 96–98 об.
185. Там же. Л. 71 об.–73.
186. Там же. Л. 71.
187. Там же. Д. 182. Л. 54.

188. Там же. Л. 55–56.
189. Там же. Д. 267. Л. 13 об.
190. Там же. Д. 161. Л. 103, 104.
191. Там же. Л. 107–107 об.
192. Там же. Л. 109.
193. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 135 об.
194. Там же. Л. 148.
195. Там же. Л. 151 об.
196. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 165 об.
197. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 30.
198. Там же. Д. 290. Л. 96 об.
199. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 74–75 об.
200. Там же. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 188–188 об.
201. Там же. Л. 194.
202. Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского. Статьи по славянской филологии и русской словесности. Сборник ОРЯС. 1928. Т. 51. № 3. На сборнике помечено: «Напечатано [...] июнь 1928».
203. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 102–102 об.
204. Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 57.
205. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 27.
206. *Робинсон М. А.* Отделение русского языка и словесности... С. 259.
207. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 53–54.
208. См.: *Аллатов В. М.* История одного мифа...; *Робинсон М. А.* Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение... С. 111–134; *Он же.* Перелом в довоенном советском славяноведении... Р. 93–107.
209. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 207–207 об.
210. Там же. Л. 188.
211. Там же. Л. 197 об.
212. Там же. Л. 208 об.
213. См.: *Робинсон М. А.* Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение... С. 111–134; *Тугаринов И. А.* ВАРНИТСО и идеологизация науки // Философские исследования. Наука и тоталитарная власть. М., 1993. № 3. С. 131–153.
214. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 217–217 об.
215. *Бялый Г. А.* Варвара Павловна Адрианова-Перетц... С. 46.
216. ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 15. Л. 53 об.
217. Там же. Л. 51 об.
218. Там же. Л. 51.
219. Там же. Л. 52–52 об.

220. Там же. Д. 32. Л. 4 об.
221. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 232–233 об.
222. Там же. Л. 237 об.
223. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 32 об.–33.
224. Академик А. И. Соболевский. Некролог и очерки научной деятельности // Известия Академии наук СССР. Отделение гуманитарных наук. 1930. С. 23, 24.
225. Цит. по: Шмидт С. О. Письма В. П. Адриановой-Перетц М. Н. Тихомирову... С. 482.

## ГЛАВА VI

### К. Я. ГРОТ

### И ОТНОШЕНИЕ НОВОГО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ К ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ

**«Вообще странное отношение к нашему брату, старым ученым»**

Константин Яковлевич Гrot — известный русский славяновед, единственный из первого поколения учеников В. И. Ламанского, обучавшихся у патриарха русского славяноведения в 70-е гг. XIX в., дожил до установления в России советской власти. В год образования Советского Союза Гrot разменял восьмой десяток. В 1920-е и в начале 1930-х гг. ученый продолжал трудиться в основном как историк науки и русской культуры. Интересы ученого сконцентрировались в это время на теме, для него уже не новой. Гrot еще задолго до революции посвятил целый ряд специальных работ изучению наследия своего отца, Я. К. Гroта, известного ученого, исследователя русского языка, литературы и культуры, вице-президента Академии наук, многие годы возглавлявшего Отделение русского языка и словесности. Гrot не только издал библиографию его работ, собранные им материалы, переписку, но и, продолжая начинания отца, самостоятельно изучал деятелей русской культуры преимущественно первой половины XIX в.

После образования при ОРЯС в 1923 г. Славянской комиссии предпринимались шаги по привлечению к ее деятельности всех, для кого не была чужда проблематика славяноведения. Естественно, что возникла кандидатура одного из старейших славяноведов. При подготовке к первому заседанию комиссии обратились и к Гrotу. Ответ ученого звучал достаточно пессимистично. Он писал Лаврову 14 февраля 1925 г.: «Хоть я говорил Борису Михайловичу (Ляпунову. — M.P.), приглашавшему меня в Вашу акад[емическую] Славян[скую] Комиссию, что я решительно в наст[оящее] время уже не в состоянии быть чем-либо полезным в таком деле (по части славянск[ой] науки и ее успехов), отстав неизмеримо от ее движения и уйдя совсем в другую область, и потому прошу простить мое вынужденное уклонение от участия в этой деятельности, мне все же прислали приглашение в Ваше организационное собрание. Но участие одним своим присутствием в сознании, что к работе не годишься, очень тягостно»<sup>1</sup>. Продолжая письмо, Гrot сетовал на возраст и слабость здоровья: «Я бы мог явиться, лишь чтоб поблагодарить за оказанное мне лестное внимание, но, к сожалению, в понедельник не могу отлучиться вечером из

дому. Да и вообще по вечерам я почти не выхожу. Вы уж извините меня перед членами Комиссии и выражите мою душевную благодарность за память и приглашение<sup>2</sup>. Тем не менее 8 декабря 1925 г. ученый был избран членом Славянской научной комиссии<sup>3</sup>.

Гrot не мог совсем уйти от славянской проблематики, которой он посвятил так много сил. Продолжив свои биографические исследования, он обратился к описанию жизненного пути известных славистов прошлого. Интересуясь судьбой их архивного наследия, Гrot писал 23 апреля 1927 г. Е. В. Петухову: «А теперь позвольте Вас попросить осведомить меня вот о чем. Что стало с бумагами и рукописьми материалами умершего у Вас в Симф[ерополе] в кровавые годы революц[ионной] войны Арс. П. Кадлубовского? Не сохранились ли они в Вашем бывш[ем] Универ[ситетском] архиве или не знает что о их судьбе. Если нет, то не возможно ли, что они остались у дочерей его, и где находятся эти последние. Меня интересует главн[ым] обр[азом] то, не хранил ли у себя А. П. К[адлубовский] бумаг своего отца П. А. Лавровского и дяди Ник[олая] Ал[ексеевича] Лавровского? Ибо иначе куда бы девались рукописи, по крайней мере, Петра Ал[ексеевича]? Ведь тут могли быть интересн[ые] вещи, напр[имер], дневник, котор[ый] он, говорят, вел. Я часто задавал себе этот вопрос, а теперь — ввиду того, что собираюсь сделать в Слав[янской] Научн[ой] Комиссии доклад о их жизни и деятельности (обоих братьев по случаю 100 л[етней] годовщины рождения в минувш[ем] марте (31) Петра Ал[ексеевича], а с год тому назад (21/XI 1925) Ник[олая] Ал[ексеевича] — нельзя, по-моему, не помянуть этих замечательных людей и ученых! Не ради собственно доклада, а по существу дела меня интересует участь их бумаг. Если что знаете, не откажите сообщить<sup>4</sup>.

Не получив сразу ответа, Гrot решил проявить настойчивость. Он вновь обратился к Петухову 17 июня того же года: «Получили ли Вы мое письмо, отправленное из Лен[инграда] приблизительно в половине марта? (в Симф[ерополь], в Педагог[ический] Инст[итут], как — по сообщению одного из наших здешних академиков — переименован Ваш Университет). Неполучение ответа заставляет меня опасаться, не пропало ли оно». Гrot вновь объяснял причину своего интереса: «Занятый в то время докладом для Слав[янской] Научн[ой] Комиссии, [нрзб.] биограф[ическим] очерком и характеристикой покойных братьев П. А. и Н. А. Лавровских (которых лично близко знал) — по поводу недавно исполнившихся 100 летн[их] годовщин их рождения (П. А. 31 марта 1827 и Н. А. в нояб[ре] 1825), я интересовался участью некоторых их бумаг, которые имелись у † Арс. П. Кадлубовского (сына П. А.), и потому в этом письме к Вам спрашивал, между прочим, не осталось ли чего-ниб[удь] из бумаг А. П. в архиве или библиотеке б[ывшего]

Симфероп[ольского] университета? Хотя это и маловероятно ввиду условий и времени момента внезапной кончины А. П., я на всякий случай побеспокоил Вас этим вопросом»<sup>5</sup>.

По-видимому, Петухов не спешил с ответом потому, что не мог сообщить Гроту ничего конкретного. Наконец, после второго обращения он ответил. «Я получил на днях из Питера Ваше письмо от 20/VIII, — писал Грот Петухову 5 сентября, — и очень благодарю Вас за справку и сообщение того, что Вы узнали относительно бумаг А. П. Кадлубовского. Очевидно, в пережитые тяжелые годы, при частых переменах местожительства, ему не удалось сохранить свои рукописные материалы и бумаги, в том числе рукописное наследие его отца, если только он не успел его передать в какое-нибудь книгохранилище или архив. Но ведь он до конца состоял профессором и работал в Симфероп[ольском] Универс[итете]. Почему же после него „не осталось никаких бумаг“?»<sup>6</sup> С одной стороны, у Грота все-таки теплилась надежда, что пропавший архив, столь ценный для историка науки, может быть, где-нибудь и хранится. С другой стороны, ему оставалось только посетовать на переживаемую эпоху: «Во всяком случае, остается пожалеть, что гибнет у нас так много научного со смертью наших ученых (особенно в провинции)»<sup>7</sup>. Тем не менее, несмотря на тщетность поиска архива, задуманный им очерк о братьях П. А. и Н. А. Лавровских был Гротом успешно завершен и опубликован в 1929 г.<sup>8</sup>.

Грот искренне хотел быть полезным новому строю, он продолжал, несмотря на преклонный возраст, активно заниматься исследовательской работой и интересоваться научной жизнью, при этом пытался анализировать происходившие в стране события и определять свое отношение к ним. На основании размышлений, изложенных в 1930 г. в обширной записке «Мой взгляд на переживаемую эпоху», в которой, как писал ученый, ему «хочется для себя и своих близких в виде автобиографической заметки выразить свой взгляд и свое отношение к происшедшему перевороту в нашей истории, к пролетарской диктатуре, новому политическому и социальному строю и вообще к современному положению России в Европе и в отношении к капиталистическому миру»<sup>9</sup>, можно вполне определенно считать, что к этому времени Грот принял новый строй. Ученый отмечал «образовавшееся» у него «принципиальное положительное отношение к великому историческому перевороту» и особенно к «основной идее социализма, именно — безусловного равенства и братства людей и бессословности, так как такое мировоззрение вполне совпадало с моими христианскими религиозными воззрениями»<sup>10</sup>.

Эти строки писались в период, когда репрессии против научной интеллигенции приняли жесткие формы и уже не ограничивались

лишением только свободы творчества, но выражались и в лишении свободы вообще, когда некоторые коллеги Грота по Академии наук уже были осуждены и направлены в ссылку или лагеря. Дабы подобные размышления члена-корреспондента еще Императорской Академии наук не показались достаточно странными, необходимо остановиться на некоторых, имевших принципиальное значение, историософских воззрениях ученого.

Грот глубоко проникся четко сформулированными общетеоретическими концепциями своего учителя. Он не только разделял эти идеи, но и активно использовал их в своем научном творчестве. То, что Грот ортодоксально следовал схемам В. И. Ламанского, самостоятельно развивавшего определенные положения славянофильства, отмечалось еще рецензентами работ Грота. Так, Ф. Ф. Зигель, подробно анализируя переиздание в 1914 г. известного труда Грота о «карпато-дунайских» землях, прямо указывал: «Автор кладет в основание своего труда положение знаменитого нашего слави́ста В. И. Ламанского о противоположности и борьбе западно-германского и греко-славянского миров. Это блестящее обобщение было затем воспринято в выдающемся сочинении Данилевского „Европа и Россия“<sup>11</sup>. Кстати, отметим, что первое издание этой работы Грота было помещено в специальном сборнике, подготовленном в честь В. И. Ламанского его учениками<sup>12</sup>.

Ученый был склонен использовать эту схему в еще более радикальной форме, чем его учитель. Его труды предреволюционного двадцатилетия, как правило, острополемичны. Обширная рецензия, написанная Гротом на книгу А. Н. Ясинского, ставшую событием в изучении закономерности становления феодальных отношений в Чехии, была посвящена, прежде всего, доказательству чуждости феодализма «славянским началам». Его возникновение он объяснял исключительно вредным влиянием западноевропейских образцов, католического духовенства и «латинской образованности»<sup>13</sup>.

Грот в своем исследовании выразил ряд прямых упреков всему «русскому общественному мнению» в несамостоятельности, ему претило «безотчетное западничество и европеизм, фальшиво отождествляемый еще многими с всечеловечностью, наша порой рабская зависимость от идей и точек зрения западного, романо-германского мира»<sup>14</sup>. Ученый утверждал, что в целом и русская историческая наука продолжает «смотреть на себя и на весь мир глазами глубоко нам чуждого и враждебного европейского Запада, главным образом, германского»<sup>15</sup>. Именно с такими принципиальными убеждениями ученый встретил начало нового, социалистического этапа в истории России.

Формулируя свои взгляды в записке 1930 г., Грот отмечал, что он «примыкал к идеологии старой (московской), подлинной славянофиль-

ской школы», верил в самобытность исторического развития России, был увлечен идеей «федерации славянства под главенством России», мечтал «о народоправии, народном представительстве (в славянофильском духе)», о создании «своей, типично славянской культуры»<sup>16</sup>. Уверенность в вечном антагонизме России с враждебным Западом и чуждости для нее капитализма неожиданно совпала с его представлениями о государственной политике Советского Союза. Новая Россия, окруженная враждебными капиталистическими государствами, шла своим, ни на что не похожим путем, декларируя при этом самые благие цели и задачи.

Грот, безусловно, не кривил душой, когда писал: «Надо быть русскому человеку или очень ограниченным, тупым и недальновидным, или до слепоты предубежденным, до фанатизма реакционным и обскурантом, или, наконец, отъявленным приверженцем западных закоренелых начал социального неравенства, капитализма, империализма и прав сильного, чтоб не понимать великого и закономерного исторического переворота, который пережило наше отчество, и тупо и близоруко смотреть на совершившееся как на какой-то преходящий, случайный, катастрофический эпизод или каприз в нашей истории. А, к сожалению, такой взгляд еще не вполне изжит — несмотря на прошедшие 13 лет существования нового советского строя и на успехи социалистического строительства... Но еще прискорбнее то, что это несчастное воззрение поддерживается всячими житейскими невзгодами или лишениями и неизбежной при пережитой революции разрухой и дезорганизацией жизни, побуждая людей мечтать о восстановлении чего-то прежнего — в смысле [нрзб.] удобств и благополучия: они сами не дают себе отчета в том, чего собственно они желают, ибо для всякого сознательного человека ясно, никакого возврата к прежнему, к старому не может быть, и притом мечтать об этом не только непатриотически, но и предательски для своей родины, — обращая взоры на запад. Это уже является, быть может, у многих бессознательной, но преступной изменой своей родине, своему народу, не говоря уже об измене государству и правительству! Ибо нельзя же не понимать, что европейский запад в лице своих правительств, своих буржуазии, капиталистических, националистических и материалистических слоев, нам в корне (как было и всегда) глубоко враждебен и чужд, и только и думает о сокрушении, подавлении и даже всяческом разрушении нашей силы и мирового значения как государства и особого самобытного культурного организма. Потому русский человек, каких бы он ни был убеждений и направления, хотя бы он даже скептически смотрел на разные стороны современной государственной стройки, должен, прежде всего, быть верным сыном своего народа, своей родины и вер-

ным гражданином своего государства, и твердо, искренно — при всяких обстоятельствах и условиях — стоять и бороться за его целость, мощь, независимость и безопасность — от внешних на него покушений и козней врагов!»<sup>17</sup>.

Искренняя любовь к отечеству, вера в восстановление величия государства, и, наконец, открыто заявленный Россией отказ от социально-экономической системы ведущих держав мира и решительная борьба с ней во всемирном масштабе вновь и вновь приветствовались Гротом. «Что касается внешней политики советского государства, то я, — писал ученый, — как надеюсь и большинство русских людей, любящих свою родину и ставящих на первое место ее мощь, ее независимость и мировую роль, не могу не одобрять и всесело не сочувствовать ей, тем более что она высоко держит знамя мира и политического бескорыстия и мужественно борется с такими страшными и закоренелыми безнравственными явлениями и приобретшими мировое развитие и значение — страстиами самых дивилизованных национальных организмов западного человечества, какими являются — их ненасытный империализм и безгранично растущий и всепоглощающий капитализм»<sup>18</sup>. Высказав свое полное одобрение государственной политике Советского Союза, Грот счел необходимым еще раз подчеркнуть свою полную лояльность новому строю: «Итак, всего сказанного достаточно — чтоб установить мое общее [иэрз.] положительное отношение к революции, к совершившемуся социалистическому перевороту, к новому государственному строю и к советской власти»<sup>19</sup>. Но старый ученый не был бы ученым, если бы ограничился только подобной констатацией. Настоящий ученый, постоянно сталкивающийся с существованием разных мнений в сфере своих профессиональных интересов, не может не задумываться над проблемой свободы мысли в принципе. Заметим, что выдающегося ученого другого поколения, Н. Н. Дурново, в те же годы именно отсутствие свободомыслия отвращало от евразийства, теории тоталитарного типа, ориентированной в политической области на Советский Союз и фашистскую Италию как образцы «идеологического» устройства общества<sup>20</sup>. Н. Н. Дурново, уже испробовавший на себе силу советского тоталитаризма, находясь в августе 1934 г. в лагере на Соловках, прямо писал, что политическая программа евразийства «произвела на меня, как на ученого, дорожащего свободой мысли, жуткое впечатление»<sup>21</sup>. Эта же проблема свободы мысли, но в несколько ином плане волновала и Грота.

Признавая, что «правоверным социалистом или коммунистом» он вряд ли является, ученый высказывал суждения, свидетельствовавшие о его оторванности от реальной идеологической и политической жизни страны, о непонимании им тоталитарной природы новой вла-

сти. Гrot надеялся, что желания «быть законопослушным и лояльным гражданином Советской России» достаточно для оправдания разномыслия в обществе. Он, будучи прав по существу, наивно полагал, «что никогда никто принципиально не может допустить теории, чтоб все люди той же нации или народа, или все граждане какого-либо государства должны исповедовать только одну, хотя бы господствующую, определенную политическую или умозрительную (например, религиозную или антирелигиозную) веру или систему, или, иначе говоря — тождественно обо всем этом думать, судить и верить в одно и то же, безусловно, отрицая все остальные. Такого однообразия нет и не может быть в самой природе, как и в строении человеческого ума, характера, способа существования и душевной организации. Поэтому едва ли правы те, кто говорит: ты не разделяешь такой-то нашей теории, нашей политической веры или социальной — значит ты наш враг!»<sup>22</sup>.

Нельзя сказать, что Гrot совсем не чувствовал, что в обществе происходят процессы, не способствующие справедливому устроению человеческого общежития, что некоторые из них, столь привлекательные по форме, таят в себе угрозу. Прежде всего, его совершенно справедливо смущала модная кампания по «самокритике» и вскрытию всяческих недостатков. «Нельзя особенно не приветствовать, — писал Гrot, — той системы самокритики и общественного разоблачения всех отрицательных явлений в работе как социальных групп, так и единиц, какой держится правительство, хотя тут всегда есть сторона довольно рискованная и опасная — именно в сфере отдельных личных обличий и обвинений: при отрицательных свойствах человеческой природы — страстих и личной вражде, зависти, соперничестве и прочее — дается опасный простор для сведения личных счетов, злокозненного доносительства и клеветы, в чем всемерно необходимо разбираться»<sup>23</sup>.

Угнетало Гroта «крайне предубежденное, нетерпимое и суровое отношение к людям старших поколений вообще» и «второй и особенно большой момент в политике и системе правительства, впрочем вытекающий из первого и им определяемый, — это преследование и самое жестокое религии вообще, а не только церкви»<sup>24</sup>. «Кроме того, мне всегда казалось, — размышлял Гrot, — что мои демократические и народолюбивые социальные (бессословные) убеждения находят прямую поддержку в моральных и социальных (даже социалистических) положениях христианства — учения Христа-социалиста, и для меня является вопросом, почему вожди и проповедники начали современного социализма и проводят их в жизнь так безусловно, наравне с другими преследуют учение, в котором должен быть руководящим тот же социальный принцип, что и у них, ибо для меня очевидно, что и человек религиозный в вышеотмеченном смысле и в духе христианском

может быть самым верным и полезным подданным социалистического государства»<sup>25</sup>. Но для тоталитарной системы единомыслие — принципиальная черта, поэтому ожесточенная борьба в конце 20-х — начале 30-х гг. с религией вполне логична и закономерна для новой власти.

Уже вскоре после того, как Грот написал свои «размышления», он не мог не почувствовать ошибочности многих своих надежд и справедливости опасений, высказанных им в записке. Постепенно он обнаружил, что стала откладываться публикация его статей, часть из которых была прочитана в виде докладов и уже одобрена к печати. К началу 1932 г. их накопилось уже четыре<sup>26</sup>.

В феврале 1932 г. Н. С. Державин, незадолго до того ставший академиком и возглавивший Институт славяноведения, отвечая на просьбу Грота помочь опубликовать статью «В. И. Даля и Я. К. Грот: их отношения и переписка», с достаточной откровенностью давал понять, что стиль и манера изложения материала не очень соответствуют современной эпохе. Державин писал о статье Грота: «Остается подумать о том, нельзя ли будет использовать ее для Трудов Института славяноведения, сокративши не письма, а, возможно, комментарии. Редакторская работа, как Вы знаете, сейчас очень ответственна и требует самого строгого отношения к каждой фразе»<sup>27</sup>. Кстати, очень сходную оценку работе редактора давал А. И. Томсон, писавший Ляпунову в мае 1931 г.: «В методологическом отношении соблюдаются большие тонкости, так что не желал бы Вам быть где-л[ибо] редактором»<sup>28</sup>.

Перспектива такого «редактирования» не очень обрадовала Грота, и вскоре он с явным разочарованием писал академику Б. М. Ляпунову, которому ранее сообщал о том, что четыре его статьи никак не могут увидеть свет: «Что касается рукописи моей о Дале и Я. К. (Гроте. — M. P.), то она, как я узнал, находится в руках Н. С. Державина, которому передана из Издательства (ибо уже назначена к печатанию в свою очередь). Н. С. Д. имеет в виду, если окажется возможным, поместить ее — однако в сокращенном (и увы! вероятно, в искалеченном по нынешней редакционной чистке виде) в Трудах Славянского института, но я и в это мало верю»<sup>29</sup>. Грот просил содействия и у академика В. Н. Перетца, от которого в мае 1932 г. получил сведения, также не вселявшие в него особых надежд. Так, Перетц писал: «Я не принадлежал и теперь не принадлежу к числу „влиятельных“ академиков»<sup>30</sup>, что, надо отметить, вполне соответствовало действительности. Ученый уже многие годы не особенно скрывал свою оппозиционность руководству Академии наук, называя членов президиума «олигархами». Он еще в 1929 г. прямо писал своему ближайшему коллеге академику М. Н. Сперанскому: «...я у наших нотаблей не в чести»<sup>31</sup>. Кроме того, Перетц указывал на то, что работы, «имеющие отношение к русскому

языку и истории его изучения, как Вам правильно сообщили в Издательстве, находятся у председателя комиссии по русскому языку, академика Державина», что же касается самих исследований, то «работы должны быть (не знаю, в какой мере) написаны согласно требований марксистской методологии»<sup>32</sup>.

Попытки как-то сдвинуть дело с мертвой точки в 1932 г. явно не удались, но и 1933 г. принес только еще большие разочарования. Грот решил вновь обратиться за разъяснениями к одной из действительно влиятельных фигур в Академии наук, Державину. Летом 1933 г. Грот писал ему: «Очень горько мне было узнать о том, что два давно предназначенные для напечатания в академических изданиях историко-литературных доклада- очерка (об А. П. Буниной и поэте П. Н. Семенове) ныне не признаны достойными напечатания за отсутствием в них марксистского подхода и направления. Я, конечно, [передавая] их на суд Академии, сознавал этот их дефект, но я надеялся на то, что Академия в этом случае подойдет к работам (уже не новым) своего старого члена-корреспондента, кончающего свое научное поприще (накануне его 80-летия!), с несколько другой, более снискходительной меркой, тем более, что еще так недавно (1930–31) печатались в „Известиях“ АН его историко-литературные исследования (по творчеству Крылова и Державина)<sup>33</sup>, также написанные им без применения требуемой ныне марксистской точки зрения. Мне казалось, что то новое, что дают работы в смысле материала, фактов, их обработки, безотносительно заслуживают опубликования, но, очевидно, я ошибся»<sup>34</sup>.

Можно предположить, что Грот был особенно обижен еще и потому, что его очерки касались судеб не просто достаточно известной поэтессы первой трети XIX в. А. П. Буниной и поэта П. Н. Семенова. Оба персонажа приходились ученым родственниками. П. Н. Семенов был дедом Грота по матери, урожденной Н. П. Семеновой, а А. П. Бунина, в свою очередь, приходилась П. Н. Семенову теткой, она была сестрой его матери, урожденной М. П. Буниной. О родственных связях Буниных и Семеновых специально писал И. А. Бунин, ознакомившийся с мемуарами знаменитого русского географа П. П. Семенова-Тянь-Шанского; он замечал, что там много сведений «о нашем, бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и, в частности, об Анне Петровне Буниной»<sup>35</sup>.

Державин не удостоил старого ученого быстрым ответом, он сделал это почти через четыре месяца. Откликнуться, в конце концов, его вынудило, возможно, заступничество за Грота кого-либо из академиков, которым тот по-прежнему сетовал на свои злоключения. Так, 17 октября 1933 г. Грот писал Ляпунову: «Вы, может быть, слышали, что обе мои злополучные работы (доклада) забракованы как неподход-

дящие ныне к печатанию Академией. Но интереснее всего, что я не могу их получить обратно, т. к. они как-то исчезли, и Н. К. Пиксанов на мою просьбу отвечал, что никак не может их найти (они были у Державина)!.. Что Вы об этом думаете? Вообще странное отношение к нашему брату, старым ученым, все же связанным с Академией (еще пока не ликвидированным званием)!»<sup>36</sup>. Интересно отметить, что Державин пишет свой ответ на давнее письмо Грота на следующий же день — 18 октября. Мы считаем необходимым поместить его текст почти полностью, ибо этот документ характеризует не только личные качества человека, возглавлявшего в те годы советское славяноведение, но и атмосферу, царившую в научной и общественной жизни в целом. Державин быстро осознал полную победу принципа «партийности» в науке и вполне усвоил приемы критики, которые сводились к выявлению идеиной невыдержанности научной работы и ее неактуальности, толкуемой также и политически. Даже не следование новой научной методологии, основанной на усвоении марксизма, а прежде всего идеологическая чистота научной работы стала главным критерием в определении ее ценности. Об этом прямо и в очень резкой форме, явно выдававшей не только раздражение непонятливостью старого ученого, но, может быть, и боязнь за собственное положение, Державин и писал Гроту: «Но Ваша трактовка, Ваши комментарии, Ваше оформление этих материалов неудачны, и неудачны вовсе не потому, что в них нет марксизма (не в этом совсем дело, и никто от Вас не стал бы этого требовать!), а потому, что они насквозь пропитаны монархизмом, духом верноподданности царизму и его своре, что они написаны в верноподданническом стиле. То, что несчастная А. П. Бунинна путалась со всякою царственной сволочью, в том числе и с адмиралом Шишковым, есть ее минус, ее печальная, может быть, и вынужденная житейская ошибка. Вы же с особым удовольствием трактуете этот элемент как положительный элемент в ее биографии и ее карьере, не проявляя в данном случае никакого критического чутья, которое обязательно для современного писателя и ученого. Тот же тон и стиль господствует у Вас и во второй статье, где, если мне не изменяет память, у Вас фигурирует даже „добрейший“(!) Семеновский, или какой-то другой полк! Ведь это ужас, что такое! Как можно писать такие вещи? Разве Вы забыли, какую гнусную роль играли гвардейские полки в революции 1905 года, когда они с беспримерной зверской жестокостью расстреливали рабочих и крестьян за попытку их сбросить с себя иго царизма... Вот в чем дело, глубокоуважаемый Константин Яковлевич! А Ваш материал превосходен, замечателен! Его надо как-то спасти и опубликовать, но в совершенно иной, прямо обратной Вашей, обработке.

Что касается Вашей работы о Дале и пр., то она хранится у меня. Ее недостаток тот же, что и двух предыдущих работ. Вот почему я и говорю, весьма деликатно, что печатать ее в полном объеме нельзя, но переписку следует напечатать. А так как Вы стоите на своей прежней точке зрения и настаиваете на том, чтобы Вашу работу печатать полностью, чего никто не может сделать по указанным мною выше причинам, то я в ближайшие дни передам эту статью в Издательство для возвращения Вам. С другой стороны, ее трудно печатать в том виде, как Вы ее представили, и потому, что она слишком велика по объему, а тематика ее сейчас не так актуальна, чтобы при крайне ограниченном листаже следовало бы для нее жертвовать более актуальным материалом. Простите мне за откровенность, вынужденную Вашиими письмами, из которых я понял, что Вы совершенно не представляете себе, в чем дело...»<sup>37</sup>.

Грот действительно не мог понять степень политической конъюнктуры, захватившей гуманитарную науку, политианства и страха, овладевшего руководителями этой науки, их желания быть сверхложными и сверхбдительными. Несправедливый и агрессивный характер послания Державина заставил ученого ответить пространно и быстро, письмо было готово уже 22 октября. Он писал: «Позвольте же и мне столь же откровенно ответить, что Ваше суровое суждение о „духе“ моих работ не могло не удивить, не смутить и задеть меня очень сильно, т. к. для меня непонятно, как эти именно статьи (Подстрочное примечание автора: Они же не единственные в этой области моих историко-литературных этюдов. — M.P.) могут быть проникнуты таким, можно сказать, одиозным духом, иначе говоря, теми настроениями или чувствами, в которых я — по чистой совести — никогда и в былые времена не был грешен, что могли бы удостоверить все близко меня знавшие, и в которых, разумеется, я абсолютно не могу же быть заподозрен в ныне переживаемую нами великую революционную эпоху? Решительно недоумеваю, в чем именно Вы могли усмотреть подобный „дух“»<sup>38</sup>.

Отвергая обвинения в «монархизме», Грот пытался объяснить Державину свой подход к материалу в статье о Буниной: «...я не задавался целью критически изобразить политический и социальный характер ее эпохи, который достаточно известен и раскрыт историей. Объективно изображая благоприятное к ней отношение высших сфер, я только констатировал факты и недоумеваю, откуда Вы заключили, что я трактую этот элемент „с особым удовольствием“. Уж не знаю, что и сказать о таком упреке! Если Вы сказали, что недостаток моего очерка — отсутствие изображения эпохи с точки зрения политической и социальной, я бы не стал спорить. Но как я сказал, задача моя была более узкая: нравственный образ Буниной и ее творчество»<sup>39</sup>.

Грот также заступался и за П. Н. Семенова, по его словам, это была «свободолюбивая, просвещенная и гуманная личность на фоне политической незрелости общества, обскурантизма правительства и крепостнического быта». Очевидно, что ученого поразили рассуждения Державина о роли гвардейских полков в подавлении революции 1905 г., что служило доказательством политических просчетов Грота в статье о событиях первой половины XIX в. Ученый посчитал своим долгом лишь подчеркнуть, что «эпитет „добрейший“ мог относиться, разумеется, только к исключительной храбрости Измайловского полка у Бородина в 1812-м году»<sup>40</sup>.

Ответ Грота содержит много положений, которые почти дословно совпадают с высказываниями из его записи. Он вновь полностью подтверждал свою политическую лояльность новой власти, но при этом не проявлял ни малейшей склонности подстраиваться под пожелания Державина. Последняя фраза письма о «марксистском методе» явно наполнена тонким сарказмом. «В итоге сказанного, — писал Грот, — могу Вас уверить, что Вы напрасно усматриваете в моем [нрзб.] несколько устаревшем стиле и слоге какой-то „ужасный“ дух, совершенно несообразный и немыслимый у человека, относящегося всецело отрицательно к монархизму вообще и к нашему прошлому царизму, в частности, давно освободившемуся от некоторых старых предубеждений прошлого, глубоко убежденного в правде нашего социального строя и глубоко сочувствующего нынешнему великому социалистическому строительству новой жизни. Из Вашего письма я с огорчением вижу, что Вы мало знаете мое „credo“ и мою идеологию. Что я не сумел в мои годы овладеть новым марксистским методом разработки тем историко-литературных и биографических — в этом чистосердечно каюсь»<sup>41</sup>.

На этом переписка Грота и Державина прерывается. Ученый не мог и, очевидно, не желал воспринять новый «разоблачительный», насквозь политизированный стиль научной работы, который настойчиво рекомендовал ему Державин. Через два дня, 24 октября, он писал Ляпунову: «...сердечное Вам спасибо за открытку с подробным описанием розысков моих несчастных статей. Мне совестно, что Вы доставили себе такой неблагодарный труд, хоть дело остается довольно безнадежным [...]»<sup>42</sup>. В последнем предположении Грот оказался прав, его последние статьи так и остались неопубликованными.

Буквально в те же дни, когда произошел обмен столь резкими посланиями между Гротом и Державиным, состоялось еще одно событие в научной жизни, которое, безусловно, не могло не произвести тягостного впечатления на ученого. В Институте славяноведения В. Н. Краблевым был прочитан доклад «Славяноведение на службе самодержавия (Из деятельности академика В. И. Ламанского)»<sup>43</sup>. Как уже го-

ворилось, Грот во многом имел сходные с Ламанским воззрения, его политические взгляды можно отнести к либерально-консервативным, но ему отнюдь не были свойственны крайности многих эпигонах славянофильства с их идеями «насаждения среди всех славян православия, русского языка и т. п.»<sup>44</sup>. Ученый, которому 22 июня 1933 г. исполнилось 80 лет, всегда относился к учителю с огромным почтением, участвовал в сборниках работ, ему посвященных, откликнулся на смерть Ламанского некрологом.

**Ламанский — «на службе самодержавия»  
или крупнейший представитель  
«русской демократической общественности»?**

Отношение к личности и трудам В. И. Ламанского, одного из известнейших славяноведов XIX — начала XX в., воспитавшего не одно поколение русских славистов, к его «школе» может, на наш взгляд, являться одним из критериев оценки степени идеологизированности советского славяноведения на разных этапах его существования. Сразу следует отметить, что Ламанскому в историографии не повезло, наиболее значительные обзоры и исследования, содержащие прямо противоположные оценки его научной и общественной деятельности, его школы, остались неопубликованными.

Кораблев был не первым исследователем, кто уже в советскую эпоху обратился к столь знаковой фигуре, как Ламанский. В создававшемся в конце 1920-х гг. обширном исследовании В. П. Бузескула «Всеобщая история и ее исследователи в России в XIX и начале XX века. Часть III» (470 страниц машинописи)<sup>45</sup>, в специальном разделе «Изучение славянского мира во второй половине XIX и начале XX века»<sup>46</sup> большое место уделено Ламанскому<sup>47</sup>. Отметим, что вся работа ученого выполнена в традиционной академической манере. В целом Бузескул оценивал взгляды Ламанского как славянофильские, а его «политико-философский трактат» «Три мира Азиатско-Европейского материка»<sup>48</sup> предлагал отнести «к числу главных трудов». «Это, — писал Бузескул, — одно из самых оригинальных и характерных его произведений...»<sup>49</sup>. Рассматривая разные аспекты труда, Бузескул не только отмечал «сходные мысли» у Ламанского и Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа» относительно выделения особого «Среднего мира» и его границ, но и предлагал проследить связь взглядов ученого с евразийскими концепциями 20-х гг. нашего века — «сравни Евр-Азию, о которой теперь говорят (см., например, у Г. В. Вернадского)»<sup>50</sup>. Бузескул особое внимание обратил на размышления Ламанского о внутрисо-

сийских делах, и мы считаем необходимым привести большой фрагмент текста, который характеризует не только Ламанского, но и исследовательский подход историографа. Итак, Бузескул писал: «В. И. Ламанский говорит о наших ошибках, недостатках, „прорехах и изъянах“, с горечью, резко и для того времени смело критикует русскую политику, внутреннюю и внешнюю; он — против гонений и насилий, он — за уважение, за признание свободы мнений и мысли. Тут доходит он иногда до пафоса. Вообще книга написана с большим воодушевлением. Она кончается мыслью о том, что все наши благие намерения и старания о лучшем будущем могут быть неожиданно прерваны, все существование может подвергнуться страшным испытаниям и ударам. Он опасался войны ввиду „напряженного положения Европы и ее страшных вооружений“ и наступательных планов Германии и Австро-Венгрии, планов, в существовании которых он не сомневался. Но говорил он, если война должна уже быть, то пусть будет, как можно позже»<sup>51</sup>. В заключение Бузескул специально отмечал: «Мы остановились подробнее на этом трактате В. И. Ламанского ввиду того интереса, какой он представляет вообще и, в частности, для характеристики взглядов В. И. Ламанского, и того обстоятельства, что это произведение известно менее других его главных трудов»<sup>52</sup>. Последнее утверждение ученого, на наш взгляд, не потеряло своей актуальности и доныне. Монография Бузескула была завершена в 1929 г.\* Книга вызвала интерес у председателя академической Комиссии по истории знаний В. И. Вернадского, который, предвидя возможные проблемы с ее изданием, писал автору 20 октября 1929 г.: «...очень удачно иметь не два выпуска, а 3 выпуска. Ни в каком случае не следовало бы, мне кажется, сокращать Ваш труд — надо все усилия направить на то, чтобы издать все. С этой же точки зрения я рассматриваю и те ожидаемые затруднения, касающиеся истории славяноведения и византиноведения. Мне кажется, на них не надо обращать внимания, и надо добиваться полного издания. Конечно, придется считаться с обстоятельствами и, м[о]

\* Возможно, что побудительной причиной обращения ученого к истории славяноведения стала полученная им почти за тридцать лет до описываемых событий книга Грома «Об изучении славянства. Судьба славяноведения и желательная постановка его преподавания в университете и средней школе» (СПб., 1901). Допустимо предположение, что данный труд реально увидел свет еще в конце 1900 г., так как уже 2 декабря этого года Бузескул писал Грому: «Марин Степанович (Дринов. — M.P.) передал мне экземпляр Вашей книги об изучении Славянства, и я сердечно благодарю Вас за этот подарок, как за дорогой знак Вашей доброй памяти и внимания. Книгу я тотчас же прочел и прочел с величайшим интересом. Уже как историк, не могу не сочувствовать Вашим взглядам на преподавание славяноведения. А, кроме того, я признаюсь, пишу особенное влечение к истории наук, и потому Ваш очерк судьбы славяноведения для меня был вдвое интересен» (ПФА РАН. Ф. 281. Оп. 2. Д. 59. Л. 1–1 об.).

жет] б[ыть], какие-нибудь — думаю, мелочи — придется изменить — но в общем Академия не сможет существовать и давать то, что от нее ждут, если она сама будет ограничивать проявления своей мысли. Я готов самым решительным образом защищать это положение и надеюсь, что опасаться нечего. А если не удастся сразу, вернемся еще раз. Но я совсем не ожидаю ничего серьезного в этом отношении»<sup>53</sup>. К сожалению, Вернадский ошибался, дело затянулось. Прошло почти пять лет, и уже после кончины Бузескула (1.IV.1931) его друг и коллега С. А. Жебелев писал 7 июня 1934 г. в Редакционно-издательский совет АН: «В заседании группы историков, экономистов и социологов 25 апреля с[его] г[ода] мною доложено было заявление о желательности напечатания третьей и последней части труда покойного академика В. П. Бузескула „Всеобщая история и ее представители в России в XIX — начале XX века“. Группа постановила передать мое заявление в РИСО. Прилагаю ныне только что полученную мною рукопись означенной третьей части труда В. П. Бузескула»<sup>54</sup>. Ответ учений получил очень нескоро и уже из Издательства АН. И если письмо из Издательства АН было помечено 10 октября 1934 г., то сообщало оно о решениях, принятых за две недели до того дня, когда Жебелев переправил рукопись в РИСО. Решение Издательства опиралось на выписку из протокола заседания Отделения общественных наук АН, сделанную в тот же самый день, когда Жебелев писал свое письмо — 7 июня. Итак, Жебелева извещали:

«Слушали: отношение исторической комиссии АН от 26/V—34 г. о продолжении печатания трудов ак[адемика] В. П. Бузескула „Всеобщая история и ее представители в России“.

Постановили: Согласиться с мнением исторической комиссии и отклонить печатание»<sup>55</sup>.

Возможно, что на окончательное решение не печатать книгу Бузескула, где так много места было посвящено Ламанскому, оказали влияние несколько факторов, связанных как с именем патриарха русского славяноведения, так и с отношением властей к славяноведению в целом. В связи с этим вернемся к событиям и научным мероприятиям, связанным со 100-летием со дня рождения Ламанского — 8 июля 1933 г. Нельзя сказать, что об этой дате забыли, подготовка к этому событию намечалась, о чем свидетельствует запись в протоколе заседаний Института славяноведения от 22 июня 1933 г. Под пунктом пять значилось: «Отношение ИИНГ АН от 19.VI.33 за № 05.6. о программе заседания, имеющего быть осенью с. г. и посвященного ак[адемику] В. И. Ламанскому по поводу исполнившегося столетия со дня рождения». К мероприятию в качестве докладчиков предполагалось привлечь заметные фигуры: «ак[адемик] Державин — вступл[ение] в

области славяноведения; академик С. Ф. Ольденбург — о работах академика Ламанского в области этнографии и Т. А. Князева — о Ламанском в изучении истории АН»<sup>56</sup>. Этот план был поддержан Институтом.

Можно полагать, что и планы некоторых сотрудников Института составлялись с учетом приближавшейся даты. Так, в первом пункте собственноручно составленного еще 8 апреля плана на второй квартал 1933 г. Кораблев писал: «Намечены к ближайшей обработке архивные материалы на тему „История славяноведения в России“, и в частности, на подтему „Славяноведение на службе царского правительства“». В списке же намеченных для первоочередного обследования архивов на первом месте значился Ламанский<sup>57</sup>. А в составленном 16 июля 1933 г. «Производственном плане Инслава на 1934 г.», в разделе «История славяноведческих изучений» на четвертый квартал уже была поставлена монография Кораблева «Акад. В. И. Ламанский; его научная и литературная деятельность»<sup>58</sup>.

К осени 1933 г. явно что-то изменилось в отношении к славяноведению, никакого намечавшегося торжественного заседания с участием двух академиков не состоялось. Единственным событием, которое можно как-то связывать с юбилеем Ламанского, стал уже упоминавшийся доклад Кораблева, состоявшийся в Институте славяноведения 28 октября 1933 г. О том, что такое выступление готовится, было в кругах славистов известно. Очевидно, что некоторые ученые прямо связывали этот доклад с юбилейной датой и с нетерпением ожидали его. Среди них, безусловно, был и К. Я. Гrot. Он писал 24 октября 1933 г. Б. М. Ляпунову: «Очень благодарю Вас за извещение о докладах. Как ни хотелось бы мне прослушать доклад Кораблева о В. И. Л., боюсь, что не смогу попасть на него (и место, и время для меня небудобные). Сообщал ли В. Н. (Кораблев. — M.P.) о своем докладе Vere Vladimirovne Семеновой Т[янь]-Ш[анская], дочери В. И. Ламанского? Надо бы! (адрес: В[асильевский] О[стров], 3 линия, д. № 12) кв. Вениам[ина] Петр[овича] Семен[ова] Т[янь]-Ш[анская]. Не будете ли так любезны ему напомнить об этом?»<sup>59</sup>

Ученого несколько удивляла кулуарность проводившегося мероприятия. Он вновь писал Ляпунову 1 ноября: «...мне очень бы хотелось знать, состоялось ли в Институте славяноведения чтение В. Н. Кораблева о В. И. Ламанском, отчего не придали ему более публичности и почему из круга лиц, особо заинтересованных таким, хоть и скромным чествованием столетней годовщины его рождения, никто не был оповещен об этих поминках В. И. Конечно, все это очень странно, хоть и объяснимо. Простите, что утруждает Вас, но очень был бы Вам благодарен, если бы Вы сообщили впечатление от этой лекции или доклада, в каком она была духе и какого содержания»<sup>60</sup>. Возможно,

что почтенный ученый не знал точного заглавия доклада Кораблева, потому что и его содержание, и его дух легко просматриваются в многоизначительном названии «Славяноведение на службе самодержавия (Из деятельности академика В. И. Ламанского)»<sup>61</sup>. Это событие с еще более откровенным названием следующим образом отражено в Протоколе № 33 Института славяноведения:

«Слушали: доклад В. Н. Кораблева „Славяноведение на службе самодержавия: политическая деятельность В. И. Ламанского за период 1860 по 1897 год“ (по архивным материалам).

Постановили: Признать, что доклад В. Н. Кораблева по опубликованному впервые материалу представляет собою громадную ценность и является в высшей степени интересным. Доклад опубликовать в III томе Трудов Инслава»<sup>62</sup>.

Состоявшееся мероприятие вряд ли можно отнести к чествованием патриарха русского славяноведения. Отметим, что не только в названии, но и в содержании доклада нет никаких упоминаний о столетнем юбилее Ламанского, и вообще отсутствует дата его рождения. Кораблев, взяв на вооружение марксистские постулаты классового подхода, поставил своей задачей заклеймить сразу всех предшественников-славяноведов, ибо вообще вся наука XIX — начала XX в. «всегда служила интересам господствующих классов» и являлась «орудием классовой борьбы»<sup>63</sup> в их руках. Опираясь на данные о социальном происхождении, исследователь отмечал, что большинство дореволюционных профессоров-славяноведов ведущих русских университетов были тесно связаны с господствующими классами. Далее Кораблев, сам, кстати, ученик Ламанского, постепенно переходил к раскрытию собственно вредного влияния учителя на судьбы славяноведения. Он писал: «Сословные группировки этой категории ученых могут до известной степени говорить и об их классовой настроенности, проявившейся в их трудах и, в особенности, в их практической деятельности. При этом надо помнить, что в большинстве своем все это были либо прямые ученики академика В. И. Ламанского, либо ученики его учеников, т. е. люди, вышедшие из школы того же Ламанского и, таким образом, разделявшие или склонные разделять его идеологические установки, которые складывались и формировались у их учителя в течение 50 лет»<sup>64</sup>. Идеологические же и политические взгляды Ламанского Кораблев представил достаточно схематично и явно греша против истины: «Стоя на позициях эпигонов славянофильства, мечтавших об объединении всех славян под крыльями российского орла (панславизм, выливавшийся в формы панрусизма), Ламанский, несомненно, был убежденным сторонником правительенной точки зрения на славянство и желанным сотрудником для этого правительст-

ва»<sup>65</sup>. Укажем, однако, что Кораблев не говорит о собственно научных концепциях ученого. Он весьма вольно толкует, прежде всего, его политические и идеологические взгляды. Ламанский, безусловно, был человеком верноподданным и придерживался в целом консервативных воззрений, но при этом позволял себе достаточно резкую критику как внешней политики России, так и, в особенности, ее внутренних порядков и никогда не страдал политическим панславизмом и тем более панруссизмом. Он ясно сформулировал свои политические принципы в славянском вопросе в письме И. С. Аксакову: «Мы, русские, желая блага славянам, должны им желать того, что они сами себе желают»<sup>66</sup>.

У нас не вызывает также сомнений, что Кораблев, хорошо зная как научные, так и общественно-политические взгляды своего учителя, вполне сознательно стремился выполнить определенный социальный заказ. Именно его работа наглядно иллюстрирует возможность применения тезиса о науке как об «орудии классовой борьбы». Направлено же было это орудие на историю той науки, к которой принадлежал и сам Кораблев. Выступление ученого встретило самую благожелательную оценку директора Института славяноведения академика Н. С. Державина. В своем отзыве он подчеркивал, прежде всего, политico-идеологические аспекты работы, именно «освещение политической деятельности Ламанского представляет несомненный интерес с точки зрения иллюстрации классового характера науки и ее роли на службе царского самодержавия». По мнению академика, Кораблеву удалось показать «политическую деятельность Ламанского как агента, посредника и проводника мероприятий царского правительства по отношению к славянским странам»<sup>67</sup>. Кстати, в том же духе Державиным был написан и отзыв на работу Кораблева, посвященную 100-летию А. Ф. Гильфердинга. Рекомендая ее в печать, он писал 2 февраля 1932 г.: «Автор дал сжатый, но исчерпывающий очерк научных трудов Гильфердинга, вскрыв с достаточной полнотой и реальностью лежавшие в их основе реакционные настроения автора как типичного представителя в науке политической системы николаевщины и идеологии феодально-крепостнических верхов русской общественности первой половины XIX в.»<sup>68</sup>. Отзыв о работе в честь юбилея известного слависта достаточно ярко характеризует как его автора, так и автора исследования. Стоит напомнить здесь характеристику, данную Кораблеву Ильинским в 1932 г. Ученый полагал, что быстро перестроившийся от ультрамонархиста до чуть ли не «стопроцентного марксиста» может только «насиловать науку».

Информация о подготовленной Кораблевым книге о Ламанском, причем в данном случае уже в связи со столетием ученого, приводилась в «Трудах» Института славяноведения: «Институт выпускает о

нем в 1934 г. специальную монографию»<sup>69</sup>. Но никакой речи об издании книги после 3 января 1934 г., когда Кораблев был арестован по «Делу славистов»<sup>70</sup>, быть не могло. Подготовка данного «Дела» совпала с подготовкой к юбилею Ламанского, в числе первых арестованных 17 сентября 1933 г. оказался уже один из сотрудников Института славяноведения<sup>71</sup>. Само «Дело» активно раскручивалось в первой половине 1934 г., возможно, это стало основной причиной и в отказе публикации упоминавшегося труда Бузескула, посвященного именно истории славяноведения.

Ко второй половине 30-х гг. относится не опубликованная тогда статья Ю. В. Готье «Славяноведение в России и СССР». И если автор не клеймит все славяноведение в целом, как Кораблев, то для Ламанского и его школы он не находит ни одного доброго слова. «Ламанский и его многочисленные ученики, — писал Готье, — были представителями воинствующего национализма и панславизма в русской славистике. [...] Всегда реакционно выступавшего во внутренних вопросах и агрессивного в вопросах отношений со славянами зарубежными, Ламанского можно считать вождем целого направления в среде русских славистов, идеологом самодержавия и сторонником захватнических стремлений русского националистического шовинизма»<sup>72</sup>. Готье признает, что «Ламанский и его школа оказали длительное влияние на русских славистов»<sup>73</sup>, что была эпоха «безусловного преобладания в России школы Ламанского»<sup>74</sup>, и в результате всего ее приверженцы, «будучи в своей исторической деятельности представителями реакционных течений, оказали очень отрицательное влияние на судьбы русского славяноведения вообще»<sup>75</sup>. Одним из решительных противников этого направления Готье называл А. Н. Пыпина, который «отчетливо выступил против официальных славянофильских, отдававших панславизму воззрений»<sup>76</sup>. Весьма негативно отзывался Готье о знаменитом историософском труде Ламанского: «Славяночество В. И. Ламанского нашло синтетическое выражение в книге: „Три мира Азиатско-Европейского материка“ (СПб., 1892; 2-е изд. Петроград, 1916). [...] В критических отзывах даже ставился вопрос, можно ли считать эту работу исследованием»<sup>77</sup>. Готье не принадлежал к ученикам Ламанского, его становление как ученого происходило под влиянием научной школы, близкой к позитивизму, но тем не менее мы считаем, что категоричность его оценок скорее восходит к элементам обязательной для советской науки того времени политico-идеологической риторики. Вряд ли ученый, успевший на личном опыте узнать, что такое преследования за несоответствие идеологическим канонам социалистической науки, так уж искренне полагал, что Ламанский и его школа в основном принесли славяноведению только вред.

Очень близкую Готье оценку получил Ламанский и в известной статье В. И. Пичеты «К истории славяноведения в СССР»: «„Патриарх русского славяноведения“ был идеологом самодержавия, его захватнической балканской политики и великорусского националистического шовинизма»<sup>78</sup>. На почти текстуальное совпадение оценок Готье и Пичеты исследователи уже обратили внимание. А. Е. Москаленко прямо указал на то, что «со статьей Ю. В. Готье был знаком В. И. Пичета, который, судя по отдельным местам, использовал ее в своем опубликованном обзоре...; в этом нет ничего удивительного, т. к. оба ученых были большими друзьями и обменивались друг с другом своими мыслями»<sup>79</sup>. Статья Пичеты была очень важным явлением в истории славяноведения, она появилась в период его оживления после периода критики, гонений и репрессий (Кораблев погиб в лагерях, и Готье, и сам Пичета также познакомились с ГУЛАГом). Перед войной славяноведение было директивно извлечено из почти полного забвения и ориентировано на идеологические задачи момента.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла очень важные корректизы в возможности ученых оценивать прошлое своей науки. Влияние новой ситуации уже сказалось в работе Пичеты 1942 г., в которой он, с одной стороны, вновь повторил свои нелестные оценки, выразив их несколько странной по смыслу фразой о том, что Ламанский, «которого можно считать главою целой исторической школы славистов, имел весьма ограниченное количество учеников, так как выступал с ярко выраженной великодержавной шовинистической идеологией». Кроме того, по утверждению Пичеты: «Научные и общественно-политические выступления Ламанского отталкивали от сближения с Россией славянских буржуазных ученых и политических деятелей. В этом отношении деятельность Ламанского содействовала не сближению славян с русским народом, а скорее их разъединению»<sup>80</sup>. Но, с другой стороны, только этими оценками Пичета уже не ограничился, он отметил, что «целый ряд учеников Ламанского выпустили прекрасные исследования по средневековой истории южных славян»<sup>81</sup>, и, что особенно важно, обнаружил и у Ламанского некоторые положительные черты. Так, он считал, «что заслугой Ламанского было то, что он постоянно в своих работах и статьях обращал внимание на враждебное отношение немецко-буржуазной науки к славянству, что недостаточно оценивалось русскими либерально-буржуазными учеными»<sup>82</sup>.

Минуло еще два года войны, и в научной жизни происходит явление, совершенно немыслимое несколькими годами ранее: Державин готовится выступить на октябрьской сессии Отделения литературы и языка АН СССР с докладом: «Академик Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) в истории русского славяноведения и наша совре-

менность. К 30-летней годовщине со дня смерти». Этот доклад вполне можно отнести к жанру панегирика. Выступление не было опубликовано, но его 40-страничный машинописный текст хранится в архиве Державина. В обычной обстановке столь некруглая дата вряд ли могла послужить поводом для торжественного доклада. Мы полагаем, что Державин, внимательно следивший за состоянием идеологической атмосферы, почувствовал, что с вступлением советских войск на территорию славянских государств и их освобождением грядут серьезные политico-идеологические перемены, связанные с перспективами установления с ними союзнических отношений. У славяноведения могут появиться неплохие шансы для активного развития.

Кроме того, возвеличивая фигуру патриарха русского дореволюционного славяноведения, Державин как бы напоминал, что именно он вполне может претендовать на роль «патриарха» послереволюционного советского славяноведения. Это напоминание могло прозвучать не без пользы для Державина, ибо проект воссоздания в той или иной форме Института славяноведения приобретал реальные перспективы<sup>83</sup>.

Нетрудно вспомнить, что десятью годами ранее Державин был полностью солидарен с разоблачительными для Ламанского заявлениями Кораблева. Сколь несправедлив был Державин тогда, столь же неумерен он был в восхвалении Ламанского сейчас. Итак, он, дабы не оставалось никаких сомнений в характере его выступления, сразу же констатировал: «Владимир Иванович Ламанский, знаменитый русский ученый-гуманист, филолог, историк и этнограф, славяновед, разносторонняя ученая и общественная деятельность которого образует целую эпоху в развитии русского славяноведения и одну из выдающихся страниц в истории русско-славянских международных отношений»<sup>84</sup>. Для придания весомости своей оценке труда «Три мира» как классического, исследователь ссылался на восторженный отклик одного из современников Ламанского, утверждавшего, что работа «имеет мало себе равных в мировой литературе». Славянофильство как течение общественной и политической мысли все еще оставалось в ряду идеологически чуждых и реакционных, поэтому Державину с оценкой Ламанского пришлось преодолеть определенные трудности, ведь тот относил себя именно к славянофилам. Державин, однако, решительно заявил, что «патриарх» русского славяноведения «с традиционным славянофильством... не только никогда не имел ничего общего, но по своим взглядам на историческое прошлое и настоящее России... сходился во взглядах с передовой частью тогдашней русской общественности». Державин, вразрез с традиционными оценками, писал о том, что Ламанский был «чужд всякой племенной или национальной исключительности»<sup>85</sup>.

Стараясь найти в ученом как можно больше черт, приемлемых, с точки зрения официальной идеологии, Державин не очень стремился быть объективным. Он подобрал Ламанскому вполне достойное место в общественно-политической жизни XIX в. «По своему мировоззрению, — утверждал Державин, — это был представитель в науке либеральной демократической общественности 60–70-х годов»<sup>86</sup>. И, наконец, как вершина положительной оценки, Ламанский ставился рядом с А. Н. Пыпином, они — «два крупнейших представителя русской демократической общественности»<sup>87</sup>. Державин стремился предельно актуализировать значение всей деятельности Ламанского. Он подчеркивал, что «труды академика Ламанского и отдельные его высказывания по основным вопросам нашей международной жизни ценные для нас своею созвучностью с нашою современностью, когда на долю славянских народов во главе с русским народом выпали жесточайшие испытания в борьбе за свое национальное самосохранение и государственную независимость»<sup>88</sup>.

Не обошел своим вниманием Ламанского Державин в своей так и незавершенной монографии, хранящейся в архиве под названием «Русское славяноведение (введение в славянскую филологию, ч. I) и очерк истории славяноведных изучений в России». По-видимому, написание фрагментов, относящихся к характеристике Ламанского, также относится к периоду войны. Здесь Державин не изменил своего последнего мнения о Ламанском, «разносторонняя деятельность которого образует собою целую эпоху в развитии русского славяноведения и одну из выдающихся страниц в истории русско-славянских международных отношений»<sup>89</sup>. Особой заслугой ученый считал его профессорскую деятельность. «Большую заслугу Вл. Ив. Ламанского составляет и то, — писал Державин, — что он вырастил в своей аудитории целую плеяду учеников, сделавшихся впоследствии выдающимися русскими учеными-славяноведами, а некоторые из них и мировыми учеными. [...] Все эти ученые образуют в нашей науке „школу“ Ламанского»<sup>90</sup>. И, естественно, исследователь не мог упустить и политический момент: «Будучи ученым мирового масштаба, Вл. Ив. Ламанский был вместе с тем выдающимся русским общественным деятелем»<sup>91</sup>.

В 1950-е гг. оценки Ламанского, его главного труда, его школы вновь приблизились к классовому подходу 1930-х гг. Вновь последователи и коллеги Ламанского были объединены в «славянофильско-панславистскую школу». Их критика велась теперь, так сказать, с позиций методологических, утверждалось, что «русские славяноведы совсем почти не занимались общими, философскими вопросами истории. Все, что делалось в этом направлении, представляло старую погудку на новый

лад, вроде книги Ламанского („Три мира“), или являлось одной из разновидностей буржуазных попыток „уничтожения марксизма“<sup>92</sup>. Заметим, что известный иуважаемый ученый С. А. Никитин, которому принадлежат эти строки, в свое время, на рубеже 1920-х – 1930-х гг., сам испытал, что такое сомневаться в верности марксистского метода. Он так же, как писавшие о Ламанском Кораблев и Готье, с ГУЛАГом был знаком не понаслышке. Мы полагаем, что столь яркое описание работы Ламанского вряд ли можно отнести к принципиальным научным воззрениям Никитина, скорее это все та же дань эпохе, строго следившей теперь уже за марксистской чистотой научных оценок. Только в ряде более поздних публикаций проявилось более взвешенное и объективное отношение к научному наследию известного ученого<sup>93</sup>.

К. Я. Грот являлся в начале 1930-х гг. не только старейшим, но и нетипичным представителем старшего поколения славяноведов. Ученый и в дореволюционный период демонстрировал сильную зависимость своих научных исследований от воспринятого им от своего учителя Ламанского варианта славянофильской концепции. По-видимому, эта особая склонность Грота к идеологическим конструкциям сказалась и на особой позиции ученого после 1917 г. И его переписка, и особенно его записка демонстрируют искреннее желание и понять, и принять новый строй. Можно полагать, что ученый вполне искренне хотел найти параллели и соотнесения своих славянофильских взглядов с постулатами коммунистической идеологии и социалистическими принципами в общественной жизни. За внешними формами сходства славянофильских концепций с постулатами социализма он не разглядел сущности тоталитарного государства, проявил доверчивость к советской пропаганде, ему даже не приходило в голову усомниться в виновности «вредителей».

Грота ожидало разочарование, он не находил понимания у славяноведов новой формации. И его собственная судьба, а также колебания в оценке наследия виднейшего славяноведа Ламанского, лидера целой школы прошлого, свидетельствуют о высокой степени влияния классовой идеологии на отечественное славяноведение советского периода. Дух отрицания и разоблачения политических прегрешений славяноведов прошлого был особенно свойственен 1930-м гг.

Ведущие представители нового славяноведения, особенно такие, как академик Державин, исходили в оценке научной работы не из ее собственно научных достоинств, а прежде всего из соображений политической конъюнктуры. Именно она заставляла Державина изменить свои оценки Ламанского на противоположные в течение одного десятилетия. Под пером Державина «патриарх» русского славяноведения то являл образец ученого «на службе царского самодержавия»,

то вдруг превращался в деятеля, не просто близкого передовой русской общественности, но и ее «крупнейшего представителя».

Конец 1933 и начало 1934 гг. ознаменовались волной арестов среди ученых, органы ОГПУ готовили «Дело славистов». Пострадали и люди, с которыми переписывался или которых упоминал в письмах Гrot. В. Н. Перетц оказался в ссылке, а В. Н. Кораблев, бывший важным «свидетелем» обвинения против академика, также попал в тюрьму. Их судьбу разделили еще несколько десятков ученых. Можно предположить, что для человека весьма преклонных лет это жестокое столкновение с действительностью, общая обстановка морального угнетения оказались губительны, и 29 сентября 1934 г. К. Я. Гrot умер.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПФА РАН. Ф. 284. Оп. 3. Д. 64. Л. 8 об.–9.
2. Там же. Л. 9–9 об.
3. Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1150. Л. 12.
4. ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 287. Л. 28 об.–29 об.
5. Там же. Л. 30–30 об.
6. Там же. Л. 31–31 об.
7. Там же. Л. 31 об.
8. Гrot К. Я. Братья П. А. и Н. А. Лавровские как деятели науки и просвещения // Известия по русскому языку и словесности АН. 1929. Т. 2. Кн. 2.
9. ПФА РАН. Ф. 281. Оп. 1. Д. 142. Л. 6 об.
10. Там же. Л. 2.
11. Зигель Ф. Ф. [Рец. на кн.:] К. Я. Гrot. Австро-Венгрия или карпато-дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях. Pg., 1914 // ЖМНП. 1915. № 4. С. 360.
12. Гrot К. Я. Карпато-дунайские земли в судьбах славянства и русских исторических изучениях // Новый сборник статей по славяноведению (сост. и изд. учениками В. И. Ламанского). СПб., 1905.
13. Гrot К. Я. [Рец. на кн.:] А. Н. Ясинский. Падение земского строя в Чешском государстве (Х–XIII вв.). Киев, 1895. СПб., 1899. С. 39. Подробно об этой дискуссии см.: Робинсон М. А. Основные идеино-научные направления в отечественном славяноведении конца XIX – начала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990. С. 216–224.
14. Гrot К. Я. Карпато-дунайские земли в судьбах славянства... С. 69.
15. Там же. С. 70.
16. ПФА РАН. Ф. 281. Оп. 1. Д. 142. Л. 3.

17. Там же. Л. 5–6.
18. Там же. Л. 8.
19. Там же.
20. Робинсон М.А., Петровский Л.П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой... С. 80.
21. Там же.
22. ПФА РАН. Ф. 281. Оп. 1. Д. 142. Л. 8 об.
23. Там же. Л. 10.
24. Там же. Л. 11.
25. Там же. Л. 12.
26. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 67. Л. 20.
27. Там же. Ф. 281. Оп. 2. Д. 139. Л. 7.
28. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 32. Л. 90 (письмо ошибочно помещено в письма П. А. Бузука Б. М. Ляпунову).
29. Там же. Д. 67. Л. 23 об.
30. Там же. Ф. 281. Оп. 2. Д. 381. Л. 1 об.
31. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 237.
32. Там же. Ф. 281. Оп. 2. Д. 381. Л. 1–1 об.
33. См., например: Гром К.Я. Кто автор сатиры на первых министров Александра I // Известия АН. Отделение общественных наук. Сер. 7. 1931. № 1. С. 53–81.
34. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 4. Д. 153. Л. 45–46.
35. Бунин И.А. Семеновы и Бунины // Собр. соч. М., 1967. Т. 9. С. 409.
36. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 67. Л. 25 об.
37. Там же. Ф. 281. Оп. 2. Д. 139. Л. 11–11 об.
38. Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 153. Л. 48–48 об.
39. Там же. Л. 49.
40. Там же. Л. 49 об.
41. Там же. Л. 49.
42. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319 Л. 164 об. (письмо ошибочно помещено в письма А. И. Томсона Б. М. Ляпунову)
43. Там же. Ф. 827. Оп. 5. Д. 74. Л. 1–24.
44. Лаптева Л. П. Преподавание славистических дисциплин в университетах. Подготовка кадров // Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 215.
45. ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 1. Д. 19.
46. Там же. Л. 88–153.
47. Там же. Л. 108–111.
48. Ламанский В.И. Три мира Азиатско-Европейского материка. СПб., 1892.
49. ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 1. Д. 19. Л. 108.

50. Там же. Л. 109.
51. Там же. Л. 111.
52. Там же.
53. Там же. Оп. 2. Д. 33. Л. 5 об.
54. Там же. Оп. 1. Д. 19. Л. II.
55. Там же. Л. III.
56. Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 29. Л. 32 об.
57. Там же. Д. 23. Л. 8.
58. Там же. Д. 32. Л. 1.
59. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319 Л. 164 об. (письмо ошибочно помещено в письма А. И. Томсона Б. М. Ляпунову).
60. Там же. Д. 67. Л. 26, 26 об.
61. Там же. Ф. 827. Оп. 5. Д. 74. Л. 1–24.
62. Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 29. Л. 54 об.
63. Там же. Ф. 827. Оп. 5. Д. 74. Л. 1. \*
64. Там же. Л. 4.
65. Там же. Л. 6.
66. Переписка двух славянофилов (сообщила О. В. Покровская-Ламанская) // Русская мысль. 1916. Кн. 9. Отд. 10. С. 5.
67. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1021. Л. 1–2.
68. Там же. Л. 5.
69. Труды Института славяноведения АН СССР. Л., 1934. Т. 2. С. 506.
70. Ашинин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»... С. 34.
71. Там же. С. 7.
72. Готье Ю. В. Славяноведение в России и СССР // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983. С. 153.
73. Там же. С. 154.
74. Там же. С. 155.
75. Там же. С. 154.
76. Там же. С. 155.
77. Там же. С. 153.
78. Пичета В. И. К истории славяноведения в СССР // Историк-марксист. 1941. № 3. С. 46.
79. Готье Ю. В. Славяноведение в России... С. 146 (предисловие А. Е. Москленко).
80. Пичета В. И., Шустер У. А. Славяноведение в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. С. 224.
81. Там же. С. 224.
82. Там же.

83. О претензиях Державина за руководство будущим Институтом славяноведения см.: *Досталь М.Ю.* Неизвестные документы по истории создания Института славяноведения АН СССР // Славяноведение. 1996. № 6.
84. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 790. Л. 1.
85. Там же. Л. 5, 6, 7.
86. Там же. Л. 17.
87. Там же. Л. 25.
88. Там же. Л. 12.
89. Там же. Д. 47. Л. 404.
90. Там же. Л. 412.
91. Там же.
92. Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 501.
93. *Лаптева Л.П.* Ламанский Владимир Иванович // Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979; *Робинсон М.А.* Методологические вопросы в трудах русских славяноведов конца XIX – начала XX в. (В.И. Ламанский, П.А. Кулаковский, К.Я. Грот) // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986; *Он же.* Основные идеино-научные направления в отечественном славяноведении конца XIX – начала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990; *Он же.* В.И. Ламанский и его историософский трактат «Три мира Азиатско-Европейского материка» // Славянский альманах 1996. М., 1997; *Лаптева Л.П.* В.И. Ламанский (1833–1914) и его историческая школа // Российские университеты в XVIII–XX веках. Сборник научных статей. Воронеж, 2002. Вып. 6.

## ГЛАВА VII

### РЕФОРМИРОВАНИЕ «ОТДЕЛЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА»

Отделение русского языка и словесности или II Отделение Академии наук с момента своего возникновения в 1841 г. находилось внутри Академии в особом положении, оно имело, кроме общеакадемического, еще и свой собственный устав<sup>1</sup>. Своеобразие его положения на протяжении первых десятилетий после его образования выражалось в его неравноправности<sup>\*</sup> с I физико-математическим и III историко-филологическим отделениями. Начало расцвета научной и научно-организационной деятельности Отделения связывается с его ролью в праздновании 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина в 1899 г. и с организацией в связи с ним при ОРЯС Разряда изящной словесности<sup>2</sup>. Следует добавить, что в достижении Отделением ведущих позиций в русской филологической науке огромна роль А. А. Шахматова, возглавлявшего его в 1906–1920 гг.

Революция и Гражданская война серьезно дезорганизовали деятельность как всей Академии наук, так и ОРЯС. Тяжелейшие материальные условия заставили некоторых членов Отделения покидать Петроград. В. М. Истрин одно время проживал в Серпухове, В. Н. Перетц несколько лет провел в Самаре, а Н. П. Кондаков оказался отрезанным войной на юге России. А. И. Соболевский навсегда покинул свою петрографскую квартиру и обосновался в Москве, лишь изредка выезжая на академические мероприятия. И тем не менее даже в таких условиях Шахматов и его ближайшие коллеги думали не только о выживании и спасении Академии от необдуманных «реформ» со стороны властей<sup>\*\*</sup>, но и действительно необходимом ее реформировании, об организации ее жизни на общедемократических началах.

Предложения Академии были отвергнуты властями летом 1919 г. «ввиду несоответствия духу времени»<sup>3</sup>. Именно к этому времени относятся три письма Шахматова Перетцу. В них ученый описывал

\* Члены только этого Отделения, после его образования, «не получали ни жалованья, ни пенсий» (Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию... С. 49). Жалованье пяти членам Отделения было установлено только в 1869 г. (Соболева Е. В. Организация науки в преобразованной России. Л., 1983. С. 91.)

\*\* В начале 1918 г. в Наркомпросе, которому подчинялась Академия, возник проект такой реформы, которая заменила бы Академию ассоциацией научных учреждений. Но этот проект не нашел поддержки со стороны высшего политического руководства страны (Академия наук СССР... С. 260).

как процедурные вопросы избрания новых академиков, так и намечал те отрасли знания, за счет которых необходимо было бы расширить круг интересов Отделения. О том, как все эти вопросы интересовали Шахматова, говорит то, что обозначенные проблемы с разной степенью подробности затрагиваются в письмах, написанных в течение трех недель августа 1919 г. Так, 4-го числа он сообщал Перетцу: «Между прочим, расширяем в проекте состав. Наше Отделение намечает пополнение себя представителями народной словесности (двумя), южнослав[яских] языков и литер[атур], западнослав[янских] языков и литер[атур]; русских древностей, этнографии (русской, и укр[айнско]-белор[усской]), малор[оссийского] языка и литературы. Конечно, вопросы не ставятся персонально, ибо самое избрание будет принадлежать не нам, а собраниям представителей соответствующих специальностей»<sup>4</sup>. В письме от 17-го числа Шахматов вновь возвращался к вопросу о новых членах Отделения, перечисляя их научную специализацию: «На очередь поставлена реформа Академии; мы поставили вопрос о расширении Отделения (слав[янские] языки, укр[айинский] язык и литер[атура], этнография, древности, византиноведение)»<sup>5</sup>.

Более подробно предлагаемую процедуру выборов Шахматов описывал в письме от 26 августа: «Как я вам писал, нам приходится думать о реформах. Реформа выборов, нами предложенная, состоит в том, что Академия намечает кандидата или кандидатов. Эти кандидаты баллотируются в избир[ательном] собрании, в состав которого входят представители университетов и других высших учебных учреждений и учебных заведений по соответствующей специальности. Такая система, б[ыть] м[ожет], лучше теперешней обеспечит интересы науки»<sup>6</sup>. Как мы видим, предлагавшиеся новшества принципиально меняли сложившуюся практику выборов новых академиков только членами Академии. Можно предположить, что такой демократизм не мог устроить власти, так как был ориентирован, прежде всего, на членов научного сообщества и никак не учитывал реалий нового политического устройства. А реальное положение академической жизни было довольно печально. В том же письме Шахматов кратко, но очень выразительно описывал положение дел в Отделении: «Вы спрашиваете, кто здесь у нас налицо из членов р[усского] отделения? Истрин, Котляревский, Никольский, Пальмов. Все мы пока здоровы. Собираемся редко»<sup>7</sup>.

В письме А. Ф. Кони от 22 августа 1919 г., ученый, не соглашаясь с нападками властей на Отделение физико-математических наук, по его мнению, активно работавшее, с горечью писал: «Не могу не признать, что большевики в значительной мере правы, и mea culpa, mea maxima

сулра<sup>\*</sup>: русское отделение стало безжизненным, бесплодным. Признаю, что меня оставила энергия<sup>8</sup>.

Следующий 1920 г. стал для дальнейшей истории Отделения поистине переломным. В августе умирает председательствующий в Отделении А. А. Шахматов. Дальнейшие события показали, что смерть ученого сильно ослабила положение Отделения внутри Академии наук. «Отделение осиротело, — писал Перетц 6 сентября Истрину. — Кто будет его председателем? Исторически — старейший по избранию. Но согласится ли А[лексей] Ив[анович] (Соболевский. — M. P.)? Он вряд ли покинет Москву. Тогда — Вы?»<sup>9</sup>

Вслед за Шахматовым умирает И. С. Пальмов, в Отделении создается положение, которое в декабре 1920 г. Перетц в письме из Самары Истрину, заменившему Шахматова на посту председательствующего, характеризует как «безделье», предлагая активнее начать работу по подысканию и выбору в Отделение новых членов. В этом деле Перетц предполагал трудности самого разного плана: «Конечно, — писал он, — самым ценным кандидатом был бы все же М. Н. Спер[анский], но ведь он не поедет ... да и к Акад[емии] относится довольно холодно. Но он был бы хорошим приобретением. Жаль, что славист-язычник, Кульбакин — за пределами досягаемости<sup>1</sup>. Он был бы вполне подходящим ... Подумайте»<sup>10</sup>. Если Перетц забеспокоился об ослаблении Отделения после кончины двух академиков, то его учитель как будто предчувствовал возможность таких потерь. Буквально накануне смерти Шахматова Соболевский писал Истрину 21 июля 1920 г.: «Кандидатов на места в Ак[адемию] Н[аук] у меня сколько угодно: Лихачев, Ант. Ясинский, Францев; моск[вичи] Розанов, Щепкин, Сперанский, п[етро]гр[адцы] Евсеев, Дмитриевский, Бычков; каз[анец] В. А. Богородицкий; киев[лянин] Голубев;

в члены-корреспонденты моск[вичи] А. А. Покровский, А. В. Орешников; хар[ьковец] Зеленин (много поработавший на Отделение); п[етро]гр[адец] Д. Абрамович;

в изящн[ые] ак[адемики] каз[анец] (Дух[овная] Ак[адемия]) В. А. Керенский;

в поч[етные] члены — мит[рополит] новг[ородский] Арсений.

Первые трое — по моему мнению — очень подходящие люди»<sup>11</sup>.

Кандидатура М. Н. Сперанского оказалась бесспорной, и 9 апреля 1921 г. Истрин обратился к ученому с письмом, в котором сообщал: «Отделение русского языка и словесности АН выразило желание иметь Вас в своей среде и поручило мне спросить у Вас, согласны ли

\* mea culpa, mea maxima culpa — (лат.) моя вина, моя самая большая вина.

\*\* С. М. Кульбакин эмигрировал в 1920 г. в Югославию.

Вы подвергнутесь баллотировке на должность академика. Отделение выражает надежду, что вы найдете возможность переехать в Петроград и там принять непосредственное участие в делах Отделения. [...] Было бы хорошо, если бы вы своим ответом не замедлили. Теперь процедура избрания в академики очень длинная, и даже первая инстанция может быть к лету выполнена лишь при условии ускорения»<sup>12</sup>. Не прошло и месяца, как 4 мая Истрин уже поздравил Сперанского «с окончательным избранием в академики»<sup>13</sup>, тогда же в академики был избран М. Н. Розанов. Оба вновь избранных члена Отделения так и не переехали в Петроград, составив вместе с Соболевским группу академиков «москвичей».

Состояние Отделения привлекало внимание не только его членов, но и людей, мечтавших когда-либо в него попасть, как, например, Н. С. Державина. Поздравляя 21 мая Сперанского, он отмечал: «Ваше вступление в среду академиков как нельзя более своевременно. Истрин – болен, Перетц, оставшийся без квартиры, собирается обратно в Самару. После смерти незабвенного Алексея Александровича Шахматова 2-ое отд[еление] замерло. Бодрится несколько Карский. Кажется, окончательно порвал с Петроградом и Ал. Ив. Соболевский»<sup>14</sup>.

Еще одним новым членом Отделения стал В. А. Францев, чье окончательное утверждение, в отличие от Сперанского, прошло не вполне гладко. Как сообщал Соболевский в ноябре 1921 г. Б. М. Ляпунову, жившему в Одессе: «Ак[адемии] Н[аук] был предложен В. А. Францев. Забаллотирован в Общ[ем] собрании. Потом стали просить предложить его опять, вышло-де недоразумение. Предложили, и он теперь прошел»<sup>15</sup>. В декабре Отделение пополнилось и новыми членами-корреспондентами, о чем Истрин сообщал Сперанскому: «В последнем заседании в члены-корр[еспонденты] выбраны – Орлов, Сиповский, Каринский, Абрамович, Ильинский (славист в Саратове) и Симони»<sup>16</sup>. Заочные же выборы Францева, выехавшего в 1921 г. в Чехословакию, для пополнения Отделения оказались неудачными. Ученый, по-видимому, искренне надеялся в начале своей эмиграции на возможность возвращения на родину, о чем он сообщал в письме, направленном непременному секретарю Академии в феврале 1922 г.<sup>17</sup>. Но надежды ученого вернуться и неоднократные попытки руководства Отделения вплоть до «ультиматума» вернуть Францева, продолжавшиеся еще почти два года, закончились ничем. В конце концов, Францев отказался от звания академика.

Информация о деятельности и состоянии Отделения, распространявшаяся за пределами Петрограда и Москвы, была столь скучной, что коллега Сперанского, профессор из Нежина В. И. Резанов даже в начале января 1922 г. спрашивал его: «Кто председательствует во II отд[елении]?»<sup>18</sup>

В сложившихся условиях Отделение не было способно выйти по составу на тот уровень, который намечал Шахматов, оно с трудом могло лишь возмещать понесенные потери. К тому же стало очевидно, что Академия в целом не представляется властям чем-то очень ценным и необходимым, а гуманитарная ее часть и в особенности ОРЯС как основной центр изучения национальной и славянской культуры — тем более. Даже предпринимались попытки материально ущемить положение членов II Отделения. В мае 1922 г. Карский писал в Москву Соболевскому: «Живем довольно удовлетворительно, хотя по золотому обеспечению нас поставили разрядом ниже, нежели I и III Отделения (мы в IV разряде)»<sup>19</sup>. Удивительным образом вновь появившееся неравенство напоминало положение членов ОРЯС в середине XIX в. И именно в мае 1922 г. на Академию наук обратило внимание Политбюро ЦК РКП(б).

Вопрос об Академии был поднят Л. Б. Каменевым, который ознакомился с докладом вице-президента РАН В. А. Стеклова «Современное состояние научного дела Российской академии наук»<sup>20</sup>, рисовавшим бедственное положение Академии. Было принято решение, содержащее как указание «хотя бы в минимальной степени» обеспечить Академию, с весьма странным добавлением — «с тем, однако, чтобы их низшие просветительные ячейки не были уничтожены, но чтобы сокращение пало, главным образом, на театр, искусство и пр.»<sup>21</sup>. Это добавление дает основание утверждать, что «политическое руководство страны еще не отдавало себе отчета в значимости доставшегося ей в наследство научного учреждения России»<sup>22</sup>. Летом того же года был создан Особый временный комитет науки, в который вошли такие партийно-государственные функционеры, как, например, А.И. Рыков, Ф.Э. Дзержинский, М.Н. Покровский, Академию представляли В.А. Стеклов, П.П. Лазарев и А.Е. Ферсман<sup>23</sup>. Обратим внимание на то, что в академической группе не оказалось ни одного гуманитария. Летом же было принято правительственное решение: «Признать в принципе необходимым отпуск средств Академии Наук» и «Все расходы по содержанию учреждений и штатов Академии Наук выделить в смете Наркомпроса в особые латера»<sup>24</sup>.

Если «принципиальное» решение правительства никак не могло моментально отразиться на улучшении материального положения Академии и ее членов, то вообще проявленный властями интерес к делам Академии мог вызывать определенное беспокойство. Свидетельством той тревоги, которую испытывало руководство Академии в это время, служит обращение к новоизбранному члену ОРЯС Сперанскому от Истр이나. Председательствующий в ОРЯС с некоторым неудовольствием описывал визит и разговор, который состоялся у него с президентом и непременным секретарем Академии в 20-х числах

ноября 1922 г.: «На днях заявились ко мне Ольденбург и Карпинский и „конфиденциально“ просили помочь в том важном деле, говоря, что без моей помощи им будто бы трудно найти выход. А дело будто бы в следующем. Под Академию начинают подкапываться, и подкоп прет из Москвы, где появляются гадостные статьи против Академии и даже брошюры, как, напр[имер], молодого Тимирязева, доказывающего, что Академия не нужна. Это – во-первых. Во-вторых – в декабре ожидается ревизия Академии, и ревизовать будет-де сам Луначарский. А потому акад[емический] акт 29 дек[абря] надо обставить так, чтобы всем было ясно, что Академия нужна. Одно из средств – это произнести соответствую[щую] речь, но для этого дела годится речь только по естественным наукам, по физике или по химии, а никак не по наукам гуманитарным. Они бы так и хотели сделать, но их смущает-де то, как же они обратятся к новому члену Ак[адемии], т[о] е[сть] к Вам с предложением поступиться своею речью в пользу, напр[имер], химика, и вот в этом-то они и просят моего посредничества. На такое посредничество я ответил согласием и откровенно скажу, что при настоящих условиях надо уступить. Я думаю, – и высказал это, – что если хотят Академию уничтожить, то такие уступки ее не спасут, но, конечно, можно опасаться, что такая речь, как Ваша, по своему содержанию может дать материал для нападок. Такого же мнения держится и Отделение, которому я докладывал все это дело. Речь ваша может быть напечатана, напр[имер], в наших Известиях.

Хотелось бы, чтобы Вы согласились с приведенными доводами и сообщили бы нам свой взгляд. Общее мнение таково: приходится мириться с обстоятельствами»<sup>25</sup>.

Нарастание беспокойства внутри Академии способствовало началу обострения отношений и внутри ОРЯС, тем более что фактически действующих в Петрограде его членов оставалось всего четверо. В складывающейся непростой ситуации они по-разному видели перспективы дальнейшего существования Отделения. В связи с этим обозначились первые признаки будущего серьезного конфликта между Перетцем и Истрином. Интересно отметить, что в тот же день, 23 ноября 1922 г., когда Истрин писал Сперанскому, Перетц написал письмо Соболевскому. В частности, он сообщал о том, что «от непр[еменного] секр[етаря] идет слух, что Академии угрожает тяжелое испытание, а м[ожет] б[ыть] даже закрытие. Пост[упил] слух о том, что будто бы Академики – отжили свой век»<sup>26</sup>. Поэтому основным содержанием письма стали размышления о принципиальных способах усиления позиций Академии в научном сообществе всей страны и конкретные предложения по расширению влияния ОРЯС путем увеличения количества его членов-корреспондентов.

Перетц с определенной долей раздражения писал: «И вот на фоне таких унылых вестей, вместо того, чтобы всем ученым сплотиться и поддерживать друг друга морально, — вижу такую мелочность и интригантство, что тошно смотреть. Не знаю, согласитесь ли Вы со мною, но мне думалось, что именно теперь мы должны были бы связаться с широкими кругами ученого мира, не брезгуя провинцией: ведь число вакансий чл[енов]-корр[еспондентов] очень велико. Но Вас[илий] Мих[айлович] по капризу заявил сначала, что никого не надо выбирать, довольно, мол, и наличных. Потом, после увещевания Карского — уступил, но весьма своеобразно».

Далее ученый, не скучаясь на весьма резкие оценки поведения своих коллег, обрисовал ситуацию, возникшую с его предложением о возможной кандидатуре. «Не знаю, — писал Перетц, — какого Вы мнения о Лободе, но мы с Евф[имием] Фед[оровичем] предложили его в чл[ены]-корр[еспонденты] на своб[одное] место Сумцова (по нар[одной] слов[есности]); думая, что Л[обода] — хоть п[исал] немногого, но свое дело знает и школа у него хорошая: Даши[евич] и Флор[инский]. И что же: Истр[ин] на дыбы, заnim, по доверию (ибо сам заявил, что ничего из трудов Л[обода] не знает!) Никольский; баллотировка — и голоса пополам, т. е. результат отрицательный. Ведь за отъездом Котл[яревского] за границу — нас всего четверо. И я, как Катон, повторяю: Ваше присутствие по многим причинам было бы полезно для Отд[еления], потому что В. М. (Истрин. — M. P.) — человек сварливый и совершенно не общественный — не объединяет, а разъединяет людей, работающих у одного дела. Благополучно выбрали все-таки Михайлова А. В. и Д. К. Петрова. [...] Мне очень хотелось бы знать Ваше мнение о Лоб[оде]: хуже он, чем Ильинский, Михайлов и др., которых мы выбрали в [нрзб.] и прошл[ом] году?»<sup>27</sup>

Перетцу еще не раз пришлось дополнительно информировать Соболевского о своем кандидате, причем важным моментом были не только его чисто научные достоинства, но общественно-политическое лицо. В декабре того же года ученый сообщал: «Насчет Лободы — скажу, что „дрянь“, т. е. ректор Киевского ИНО (Институт общественных наук. — M. P.) — не сын Лободы, а лишь однофамилец, чем доставляет моему протеже не мало неприятных минут»<sup>28</sup>. Что имелось в виду под определением «дрянь», становится понятно из письма Перетца, продолжавшего хлопотать о своем кандидате и осенью следующего, 1923 г. Ученый писал 18 октября Соболевскому: «У меня к Вам есть просьба: если будете писать Вас[илию] Мих[айловичу] (Истрину. — M. P.) и если это не противно Вашим убеждениям и симпатиям, — предложите в чл[ены]-корр[еспонденты] Андр[ея] Митр[офановича] Лободу, ведь у нас не так много людей, чтобы не ценить ученого, работавшего 30 лет (в 1924 г. — 30-летие!) и ничего дурного не сделавшего. Записка у меня

готова, но, боюсь, опять подведет Никольский (он и Вас. Мих. воображают, что Лоб[ода] — „большевик“) Н. В. В Киеве есть Лобода Н. И. такой марки, но он даже не родственник проф[ессора] А. М.!»<sup>29</sup>.

Перетцу удалось убедить своих коллег в непричастности члена Украинской Академии наук, ее вице-президента, к господствующей партии, и Лобода был избран в 1924 г. членом-корреспондентом Российской Академии наук. Эти выборы надолго запомнились ученому, и в августе 1925 г. он вспоминал в письме Сперанскому: «Лободу я с трудом провел в чл[ены]-корр[еспонденты]»<sup>30</sup>. Острые дискуссии по поводу избрания тех или иных кандидатов не являлись чем-либо необычным и новым внутри Отделения. Следует, однако, отметить, что новые условия политической жизни страны и попытки реагировать на них зачастую приводили к тому, что обсуждения превращались в ожесточенные споры. Но споры вокруг кандидатуры Лободы не идут ни в какое сравнение с теми баталиями, которые предстояли в ближайшем будущем в связи с выдвижением в академики П. Н. Сакулина.

Литературовед, профессор Сакулин сразу после революции встал не только на путь сотрудничества с новыми властями, но и, вероятно, искренне пытался освоить и применить в научной работе новую марксистскую методологию. Благодаря своей советской ориентации Сакулин не только избегал тех увольнений, которым подвергались его коллеги, но и входил, а иногда фактически возглавлял руководство некоторых научных комитетов. Еще весной 1921 г. Н. Н. Дурново, описывая Истрину свои трудности с устройством на работу в Москве, сообщал: «В Университете по кафедре русской литературы уволены все профессора с ученой степенью, кроме полубольшевика Сакулина (Сперанский, Михайлов, Шамбинар, Орлов) [...] Понятно, что мне в таком Университете места не нашлось»<sup>31</sup>. Уже в 1922 г. Сакулин опубликовал труд с характерным названием, привлекший внимание научной общественности — «Русская литература и социализм».

Однако общей проблемой для всех членов Отделения стала перспектива его возможной ликвидации в рамках предстоящей реформы Академии. Причем ощущение, что ОРЯС непременно окажется под ударом, было как бы само собой разумеющимся. Об этом 17 декабря 1922 г. Перетц писал Соболевскому: «Мы живем в ожидании реформы Академии наук, о чем привез слух Ферсман. Говорят, что у Вас там под Академию подкапывается Лазарев, пользующийся большой популярностью на кухне. Не знаю, куда нас, 2-е отделение, денут при этих реформах. Хорошо еще, если бросят в объятия Ольденбурга; там впрочем, мы будем в большинстве, если не расколемся, а, увы — я эту тенденцию замечаю; В. М. (Истрин. — M. P.) ставит себе целью противоречить из принципа — что делать!»<sup>32</sup>

Под объятиями Ольденбурга Перетц подразумевал включение ОРЯС в состав III отделения, к которому в это время ученый относился как к наименьшему из зол. Само по себе стремление соединить II и III Отделения не было чем-то абсолютно новым для Академии. Еще в XIX веке предпринимались, правда безуспешно, попытки реформировать Академию, и наряду с другими возникала и упомянутая идея. В 1856–1857 гг. вопросами подготовки нового устава занималось несколько специальных комиссий, в их недрах возникали разные предложения, например, уничтожить должность председательствующего в ОРЯС<sup>33</sup>. Специально был поставлен на обсуждение вопрос об объединении II и III отделений, но решено было оставить их в прежнем виде<sup>34</sup>. Новые опыты по реформированию Академии, также неудачные, были продолжены в 1864 г. Сделанные Комиссией предложения заставили многих академиков выступить со своими замечаниями, одним из которых было «не допустить присоединения ОРЯС в виде разряда к Историко-филологическому отделению»<sup>35</sup>. Все перечисленные попытки так или иначе ликвидировать ОРЯС ни к чему не привели, наоборот, с конца XIX в. оно заняло в Академии настолько прочные позиции, что ни у кого даже не возникало мысли о его упразднении.

Возрождение в новых условиях сходных идей и возможность подобного решения станет основной угрозой для самостоятельного существования Отделения и будет в дальнейшем вызывать бурные переживания как у самого Перетца, так и у его коллег. Причем действия руководства Академии абсолютно не пользовались у академиков ОРЯС доверием, и именно оно, а не власти, было главным объектом критики и недовольства. Вполне обоснованными были подозрения, что некоторые инициативы по ущемлению прав Отделения исходят не столько от властей, сколько от собственного академического руководства, опавшегося за судьбу Академии и поэтому заранее готового на уступки, предугадывающие желание властей. О таком отношении ярко свидетельствует письмо Истрину, описывавшего сложившуюся ситуацию в письме Сперанскому от 6 января 1923 г.: «С нашим уставом вышла какая-то заминка. Наши заправила повезли его в Москву, но, возвратившись оттуда, упорно молчат. Злые языки говорят, что когда они заявились с уставом, то будто бы им сказали: „А кто Вас просил лезть с уставом? И ступайте Вы к чертовой матери! Не до Вас и не до вашего устава теперь!“ Правда ли или нет, не знаю, но только они ни гу-гу»<sup>36</sup>.

В этом же письме Истрин делился со Сперанским планами по выбору новых членов Отделения, и впервые в таком качестве появляется фамилия Сакулина. Следует отметить, что в данном случае он не воспринимается еще Истрином как реальный кандидат, достойный обсуждения. Председательствующего в ОРЯС гораздо больше волнова-

ла проблема с находившимся в Болгарии Н. А. Котляревским и возможным пополнением Отделения коллегами, специалистами по славяно-византийским древностям, профессионально близкими и ему, и Сперанскому. Истрин опасался, что Котляревский не послушается призывов вернуться на родину. В этом случае, как писал ученый: «То-то возрадуется Сакулин, которого в академики особенно усиленно подстегивает ... Пиксанов. Уже не мечтает ли он и сам через Павла Никит[ича] попасть в академики? Теперь у нас идет речь о Лихачеве. Вероятно, и Ал[ексей] Ив[анович] (Соболевский. – *M. P.*) будет доволен. Предвидится возражение со стороны Ольденб[урга], но мы его не спросим и на него не посмотрим. Как относится Ал[ексей] Ив[анович] к выборам Лаврова и Ляпунова»<sup>37</sup>.

Практически тех же вопросов, связанных с пополнением Отделения, кроме перспектив Сакулина, о которых Перетц еще явно не знал, ученый касался и в своем письме Соболевскому от 23 апреля 1923 г. Из письма следует, что Котляревский к этому времени еще не отреагировал на призывы Отделения. Предложения о возможности избрания, отправленные Кульбакину в Сербию, пока остались без ответа, а Францев возвращаться не собирается. Специально останавливался в письме своему учителю Перетц и на разворачивании работы внутри Академии по подготовке выдвижения Н. П. Лихачева, кандидатуры небесспорной для академического руководства, как было видно из письма Истринга Сперанскому. Ученый с явным удовлетворением сообщал о том, что удалось заручиться поддержкой влиятельного члена III отделения: «Еще новость: сам С. Ф. Платонов подговаривается, что, мол, если наше Отд[еление] выдвинет кандидатуру Лихачева, то и он поддержит ... Давно ли это настроение у него? Конечно, Ник[олай] Петр[ович] этого едва ли ожидает»<sup>38</sup>.

О возможной кандидатуре Сакулина Перетц узнал только осенью и сразу же высказал свое мнение в письме Соболевскому. «Из [Москвы] мне пишут знакомые, – сообщал Перетц, – в литер[атурно]-ученых кругах будто бы называют в качестве будущего академика – Сакулина. Я ничего не знаю – м[ожет] б[ыть], Истр[ин] с другими коллегами решили это „в частном совещании“, но меня это весьма удивляет; ведь у С[акулина] нет багажа, кроме его Одоевского, довольно посредственной диссертации. Впрочем, на свете все возможно»<sup>39</sup>. Ученый не только не изменил своего мнения о научных достоинствах работ Сакулина, но с выходом новых работ этого исследователя только укрепился в нем. Но основное внимание ученого было привлечено к слухам, связанным с проектом нового Устава Академии. События вокруг него стали приобретать характер скандальной интриги.

Судьба устава так волновала ученых потому, что подвергалось сомнению само право на существование ОРЯС как самостоятельной

единицы. Очень остро реагировал на складывающуюся ситуацию Перетц, причем его возмущение вызывала активизация именно деятельности собственно академического руководства, и прежде всего Ольденбурга. 18 октября 1923 г. Перетц подробнейшим образом передавал Соболевскому свой разговор с видным членом III отделения, индологом Ф. И. Щербатским о заседании, состоявшемся в этом отделении. Все, что узнал Перетц, заставило его обратиться к Соболевскому с настоятельным призывом: «А Вам — и не только Вам, а всем Московским академикам следует быть здесь». Из письма следует, что два академика очень обстоятельно обсудили как саму возможность, так и перспективы «объединения» II и III отделений Академии наук. Итак, Перетц писал: «Вот какой пассаж сегодня произошел. Иду по Невскому в Публичную [Библиотеку] — встречаю Ф. И. Щербатского — знаете? Он остановил меня и стал рассказывать, что-де вчера (среда 17) в их 3-м отделении обсуждали, правда, без занесения в протокол, — вопрос о присоединении 2-го отд[еления] к ним! Я сразу заявил, что это совершенно бес tactно — в стиле „modern“. Надо сначала спросить, желает ли II отд[еление] „присоединяться“; во всяком случае инициатива должна идти от нас, а не извне. Он согласился, но сослался на то, что-де „слухи идут из Москвы“ о желании Правительст[ва] закрыть 2-е отд[еление], и эта мера — присоединение — придумана для спасения личн[ого] состава. Я объяснил ему, кто это присоединение задумал — еще в 1914 г. — и ведет интригу. Он — живя 2 года за границей — ничего не знал. Когда я ему указал на историческое и практическое значение автономии 2 отд[еления], то он согласился со мною и признал, что действительно, 3-е — преимущественно (я сказал — исключит[ельно]) восточное, а 2-е — славянское, и как таковое имеет свое значение. Я указал, что при таком соединении окончат[ельно] погибнут Изв[естия] 2 отд[еления], Сборн[ик] — во всяком случае, как „инородное тело“ в 3-м отд[елении] они совсем захиреют и нам, и без того не имеющим возможн[ости] печататься, будут закрыты последние двери на воздух. Но у них, видимо, ведется деятельная агитация — в связи с пересмотром Устава Академии, о котором шла речь на 2-м (окт[ябрьском]) Общ[ем] Собр[ании]; сверху предлагают выработать новый Устав, а наши деятели „забегают“, стараясь понравиться».

В некоторых замечаниях Перетца можно увидеть определенный упрек московским коллегам. Так, он отмечал, что «3 академика нашего отделения живут в Москве, а мы должны питаться слухами из канцелярии непрем[енного] секретаря — и слухами, без сомнения, злопыхательскими и провокационными. Я сказал Щербатскому: как Истр[ин], Карский, Никольский хотят — пусть так и решают, но я — останусь при особом мнении в вопросе о присоединении. И кроме того — я

буду требовать, чтобы мне показали документальное подтверждение давления сверху, а не ссылались на „слухи“, особ[енно] если они фабрикуются в канцелярии бывшего министра, старающегося реабилитироваться перед новыми властями». Особо ученый просил Соболевского ознакомить с текстом письма Сперанского и Розанова: «Пусть все будут предупреждены на случай „запроса“ о мнении. Хотя нынче, пожалуй, обойдутся и без таких галантностей»<sup>40</sup>.

Надо отметить, что на этот раз Перетц напрасно сомневался в настроении как своих петроградских коллег, так и перспектив «запроса». Уже через четыре дня после разговора Перетца с Щербатским, 22 октября, в ОРЯС поступил следующий документ с грифом «Весьма срочно» и за подписью и. о. непременного секретаря Ферсмана: «Ввиду необходимости срочного составления нового устава Российской Академии Наук и возникшего в связи с этим вопроса о соединении Отделения Рус[ского] Яз[ыка] и слов[есности] с Отделением исторических наук и Филологии в одно Отделение „Исторических и филологических Наук“, о чем среди членов Отделения Исторических Наук и Филологии имелось уже предварительное суждение, признавшее такое соединение принципиально желательным, прошу Вас на основании постановления Президиума Российской академии Наук образовать в спешном порядке Комиссию из членов Отделения русского языка и словесности и Отделения Исторических Наук и Филологии для срочного разрешения означенного вопроса». Истрин доложил содержание запроса 24 октября на заседании ОРЯС и вместе с текстом постановления 30 октября направил, в частности, и Соболевскому. Решение, принятное на заседании, было весьма кратко: «Постановлено ввиду важности вопроса о слиянии, могущем иметь большие следствия для всей будущей деятельности Отделения, запросить о том мнения всех отсутствующих членов Отделения»<sup>41</sup>. Судя по этой краткости, вопрос никаких разногласий у членов отделения не вызвал, их мнение было единодушно отрицательным.

В столь напряженной обстановке руководство и некоторые члены Отделения, пополняя его ряды, попробовали учесть определенные конъюнктурные моменты. Истрин в середине 14 ноября 1923 г. информировал Сперанского: «Мы решили избрать в члены-корр[еспонденты] Резанова, Лободу и Сакулина, последнего отчасти по „политическим“ соображениям». Очевидно, они, привлекая Сакулина хотя бы в таком качестве, надеялись на его возможную поддержку в решении дел академических в сферах неакадемических.

А дело приобретало все более неопределенный характер. В том же письме Истрин писал: «Идет жесточайшая борьба за II Отд[еление]. В Общ[ем] собр[ании] мы победили, но ... в результате оно, по-види-

мому, все-таки исчезнет»<sup>42</sup>. Через месяц, 18 ноября, он вновь писал Сперанскому: «Наши кандидаты в Общ[ем] собр[ании] прошли благополучно: П. А. (Лавров. — *M. P.*) — 22 и 3, Б. М. (Ляпунов. — *M. P.*) — 23 и 2. П. А. уже заседает. Посылаю Вам для ознакомления новый устав, который в таком виде поехал в Москву. После жесточайшей борьбы удалось на бумаге отстоять II Отдел[ение], но останется ли оно в действительности — еще неизвестно. Но должность Председ[ательствующего] отстоять не удалось. Вся беда в нашей малочисленности». Далее Истрин не преминул попенять своим коллегам за их нерешительность в противостоянии с академическим начальством: «А к тому же Н. К. Ник[ольский] сыграл постыдную роль, при всех голосованиях воздерживаясь от подачи своего мнения, а Евф[имий] Фео[дорович] (Карский. — *M. P.*) ... слишком бережет свое здоровье»<sup>43</sup>. В тот же день Истрин отправил Сперанскому еще коротенькое письмо, в котором сообщал, что предложенные Отделением члены-корреспонденты также утверждены, а «наши Стеклов с Ольд[енбургом] теперь в Москве; вероятно, исправно проваливают 2-е Отделение. Член-корр[еспонденты] наши утверждены»<sup>44</sup>. Среди новых членов-корреспондентов был и Сакулин, реакция которого на избрание несколько удивила Сперанского, писавшего в декабре 1923 г. Истрину: «В газеты про никло известие об избрании П. Н. Сакулина, который сам мне о том на днях сообщил с довольно кислым видом: видимо, не особенно доволен, ждал, будто, чего-то иного, ссылаясь на Ольденбурга»<sup>45</sup>. Совершенно очевидно, что Сакулин ожидал избрания в академики, но подобная возможность тогда казалась Сперанскому невероятной.

Шаткое положение ОРЯС очень беспокоило и новоизбранного его члена, Б. М. Ляпунова. Свое письмо Истрину из Одессы он посвятил не столько благодарности за извещение об избрании, сколько безрадостным размышлением о судьбе славистики, науки вообще и своей роли в ней. «Очень сожалею, — писал Ляпунов, — если Отделение русск[ого] языка будет лишено самостоятельности и сольется с III-им, так как можно опасаться в таком случае прекращения научных изданий, посвященных исследованию славянских языков. Вследствие этого я сомневаюсь, смогу ли я быть полезным высокому научному учреждению, в члены которого проводит меня пока еще существующее русское Отделение ... Позволят ли нам работать не про себя только, но и для обогащения избранной нами специальности? Все это вопросы, которые очень смущают меня, ибо, принимая на себя почетное звание академика, я желал бы носить его по заслугам и работать в избранной мною области более энергично, чем я имел возможность в последние годы»<sup>46</sup>.

Первые впечатления другого новоизбранного академика, П. А. Лаврова, от методов реформирования Академии были также весьма удру-

чающими. Они подвигли ученого и к обобщениям политического характера. Лавров весьма откровенно делился своими соображениями со Сперанским: «Очень меня огорчило то заседание, в котором я в первый раз присутствовал. Оно касалось нового устава. Попспешность, с которой он составлялся, и дух его — угоджение большевикам — все это очень печально. Наше отделение висит на волоске, хотя В. М. (Истрину. — *M. P.*) удалось его отстоять, и проект идет с тремя отделениями. Какое национальное унижение мы переносим. Ведь хотят уменьшить силу того отделения, которое свои труды посвящает родному языку, родной литературе и ближайшему славянству, которое в последнее время так широко развернуло свою деятельность. И, конечно, главным виновником этого является Ольденбург с своими ближайшими единомышленниками. В то время как везде национальные интересы берегаются, у нас они приносятся в жертву чуждым духу народа заправилам, захватившим власть»<sup>47</sup>.

Из процитированных писем новоизбранных членов ОРЯС видно, что Отделение пополнилось явными сторонниками его самостоятельности, выражавшими, однако, свои взгляды в зависимости от своего общественного темперамента. Все это, безусловно, поддерживало Истрина в действиях, направленных на борьбу за сохранение прежнего положения ОРЯС.

В 1924 г. картина нажима на ОРЯС со стороны руководства Академии не изменилась, хотя в начале года казалось, что блеснул луч надежды. 10 января Перетц в свойственной ему язвительной манере и с радостью писал Соболевскому «о блистательном провале „блудного кадета“: когда только пронеслась молва о желании властей закрыть 2-е Отд[еление], С. Ф. Плат[онов] сообщил нам свое мнение: это не власти хотят, а корень идеи — в недрах Академии. Так и вышло: и разоблачил нашего обернтригана не кто иной, как неукротимый его сосед по отделению: когда Ольд[енбург] в комиссии по пересмотру устава начал — вернувшись из М[осквы] — снова „напирать“ на московские желания — Mapp отрезал: „совершенный вздор! в М[оскве] сказали: нужно установить — число должностей и перечень наук, а распределение по отделениям — ваше внутреннее дело!“ Ольд[енбург] поперхнулся ... и дело присохло»<sup>48</sup>. Тут же Перетц с удовлетворением отмечал: «Выборы новых акад[емиков] прошли гладко: Лавров получил — 3 черняка, Ляпунов — только 2, хотя...».

Ученый предлагал развить наметившиеся успехи выбором новых членов и возобновить начатое за год до этого обсуждение кандидатуры Лихачева. «Теперь, — писал он, — после долгих моих приставаний, вытащил из-под спуда Вашу записку о Н. П. Лихачеве и решил двинуть эту во всех отношениях почтенную кандидатуру. Карск[ий], Ни-

кольск[ий] и, м[ожет] б[ыть], я освежим несколько записку (добавим по нынешнему времени необходимые комплименты и подчеркнем громадное значение работ Н. П.) и в след[ующем] засед[ании] Отдел[ения] выберем Н. П[етрови]ча, чтобы к 1-му февр[аля] представить дело в Общ[ее] Собр[ание]. Иначе 3-е или 1-е отд[еления] захватят вакансию: это теперь водится, по-настоящему это надо было сделать сразу, по получению известия о кончине бедного Вл[адимира] Ст[епана-новича] Иконн[икова]»<sup>49</sup>.

Но эта надежда просуществовала недолго, уже 20 марта Истрин отмечал в письме Сперанскому, что сторонники лишения ОРЯС самостоятельности вице-президент и непременный секретарь Академии явно воспрянули духом и своей затеи не оставили. «Наши заправила, — писал ученый, — Стекл[ов] и Ольденб[ург] вернулись из Москвы, с торжеством и цинизмом утверждают, что II Отд[еление] будет уничтожено. На ближайшей неделе они опять едут в М[оскву] докладывать в Коллегии об Академии и об утверждении устава. Значит, своего добились, что и ожидалось». Как уже отмечалось выше, Истрин прилагал отчаянные усилия в попытках отстоять интересы Отделения. В этом же письме он передавал Сперанскому специальную записку, выражавшую несогласие с планами упразднения ОРЯС. Она заслушивалась на заседании Отделения «больше для очищения совести». Сам Истрин, правда, не верил в действенность этого протеста и поэтому резюмировал свою акцию следующим образом: «Показывайте ее кому угодно, толку все равно никакого не будет. Вы увидите, как неприятно теперь иметь дело с такими хулиганами, которые разъярены против II Отд[еления] отчаянно». После таких оценок неудивительно содержание постскриптума письма, в котором один академик сообщал другому академику следующий образец студенческого фольклора: «В универс[итете] на дверях библиотеки висит такое двустишие:

Академик Ольденград  
Большевистский лижет зад»<sup>50</sup>.

Именовали Ольденбурга «Ольденградом» не только студенты, точно так же его неоднократно называл в письмах Сперанскому и Соловьевскому Перетц<sup>51</sup>. О том, что это прозвище закрепилось за Ольденбургом в академических кругах, свидетельствует и письмо Ильинского М. Г. Попруженко<sup>52</sup>.

Не только Лавров, но и другие ученые усматривали в желании упразднить II отделение отражение политики всеобщего насаждения интернационализма, выражавшегося прежде всего в неуважении ко все-

\* Академик В. С. Иконников умер в Киеве 26 ноября 1923 г.

му национальному. Так, Перетц, интересуясь результатом интриг академического начальства, 21 августа 1924 г. спрашивал Истрина: «Горю нетерпением узнать, что нам вчера поднес наш непр[еменный] секретарь, так долго таивший московский проект. Живы ли еще мы — вообще как академики и как члены 2 Отд[еления] — „р[усского] я[зыка] и сл[овесности]“»<sup>53</sup>. Специальное выделение Перетцем кавычками названия Отделения, безусловно, не было случайно. О жестоком походе «на русскую культуру» писал Ильинский Ляпунову 30 декабря того же года, выражая соболезнования по поводу кончины его брата, известного композитора С. М. Ляпунова<sup>54</sup>.

Временно активные действия по составлению нового устава Академии затихли, инициативы, исходившие от самой Академии, пока не удостаивались особого внимания. Не имея сведений о каких-либо радикальных изменениях в жизни Академии, Сперанский писал Истрину 4 октября 1924 г.: «По-видимому, „реформа“ Академии еще не прошла в сферах, и мы пока доживаем еще в качестве ОРЯС; потому я пока, руководствуясь прежним расписанием заседаний, собираюсь в Питер в 20-х числах октября, чтобы 28 попасть на наше заседание и 1 ноября — на общее»<sup>55</sup>.

Наступивший 1925 г. был для Академии наук годом особым, предстояло отметить ее 200-летие, и внимание научной общественности было привлечено прежде всего к этому событию. Предстоящий юбилей вызвал и самое пристальное внимание высших властей, на него обратило внимание Политбюро ЦК РКП(б). В начале года была создана специальная комиссия по проведению торжеств под председательством А. И. Рыкова. В июне Рыков доложил свои соображения в Политбюро, в которых, в частности, отмечалось: «Ввиду того, что дата празднования юбилея (первые числа сентября) приближается — крайне неудобно оставить Академию Наук без Устава»<sup>56</sup>. Для составления проекта Устава была создана специальная Комиссия под председательством В. П. Миллютина, а также принято решение переименовать Российскую Академию наук в АН СССР, о чем было сообщено в печати 28 июля. С этого момента разработка Академией нового Устава превратилась в директивное задание.

Все эти новшества не очень радовали членов ОРЯС, не ожидавших от совместной деятельности руководства Академии и властей ничего хорошего. Так, Перетц 7 августа сообщал Соболевскому не только сведения о пополнении ОРЯС, которые могли особенно его порадовать, но писал и о грядущих в ближайшее время неприятностях. «Поздравляю Вас, — писал ученый, — с новым коллегой по Академии: 1 августа выбран наконец Н. П. Лихачев в экстренном Общем Собрании». Но, «главное, — продолжал Перетц, — сердце порою очень бес-

покоит — когда, например, думаю о наших академических дрязгах и их авторах, гг. Ленинграде и Стеклове. [...] Вопрос о слиянии отделений II и III решен. Не знаю, будем ли мы еще собираться отдельно до юбилея, но после его — видимо, наша самостоятельность окончательно будет утрачена»<sup>57</sup>. Думается, что Перетц вполне сознательно переименовал Ольденбурга (Ольденграда) в господина Ленинграда. Тем же вопросам было посвящено и письмо Бузескула Ляпунову от 8 августа. «Душевно рад, — писал ученый, — что избрание Н. П. Лихачева прошло хорошо. Меня упрекает совесть, что я не мог приехать к общему собранию». При этом он не мог не удивляться позиции руководства Академии. «Странно, — продолжал Бузескул, — почему Президиум Академии, особенно вице-президент (В. А. Стеклов. — *M. P.*), так относится к Вашему Отделению»<sup>58</sup>.

Юбилей сопровождался не только торжественными заседаниями научной общественности и встречами коллег. Осеню предстояли новые выборы в Академию, и у многих это вызывало тревогу. Сперанский писал Истрину: «Ходят у нас зловещие слухи о предстоящем внедрении в число академиков по случаю юбилея: Луначарского, Покровского и... П. Н. Сакулина!!»<sup>59</sup> Операция по «внедрению» Луначарского и Покровского была отложена властями на четыре года, а первая попытка продвижения Сакулина оказалась неудачной. Об этом с комментариями Сперанскому писал Перетц в конце ноября: «...а у Сакулина — и мало работ, а которые есть — один Одоевский хороши»<sup>60</sup>. Тогда же, 18 ноября, свое мнение о трудах Сакулина Перетц сообщил и Соболевскому, полагая, что его «новые „социологические“ и „социалистические“ методы и книги таковы, что вызывают к себе отрицательную критику с обеих сторон — и со стороны марксистов и с нашей, ибо между двумя стульями сидеть нельзя, а его подлаживание к духу времени — незаметно только для слепых»<sup>61</sup>.

Очень болезненно воспринял эти слухи Соболевский, поэтому его реакция была чрезвычайно резкой и эмоциональной. Ученый писал 21 ноября 1925 г. Истрину: «Позволяю себе откликнуться на Ваш призыв и высказать свое мнение о кандидатах в качестве старшего по возрасту и избранию. Сакулин, Пиксанов (!!! Господи !!!), Сиповский настолько себя скомпрометировали по части элементарной порядочности, что об введении их в Академию Наук не может быть речи. Академии Наук нужны члены не только ученые, но и приличные, не подлецы. О Пиксанове, сверх того, я могу сказать, что ничего похожего на ученость у него нет и об науке он понятия не имеет, это — наглый и глупый прихвостень Сакулина. Относительно Модзалевского скажу: по моим сведениям он был и есть человек близкий к Ольденбургу, следовательно, связанный с продавшейся кликой наших академ-

миков и потому для Академии Наук вообще и для нашего Отделения опасный»<sup>62</sup>.

Соболевский не ограничился только отрицательной оценкой нежелательных кандидатов. Со своей стороны он предлагал: «Я могу указать на двух вполне приличн[ых] во всех отношениях ученых — на Александра Ив[ановича] Томсона, языковеда, что в Одессе, и на Николая Леонидовича Туницкого, родом полтавского малорусса, находящегося теперь в Москве. Первый — постарше, имеет много работ, второй — помоложе, бесспорно талантливый человек, также обладающий значительным фондом». В конце письма, несколько смягчив тон, ученый все же призывал Истрину ответственно отнестись к выборам: «Извините за резкие высказывания: пожалейте Академию Наук и ее 2-е отделение и подумайте о будущем возмездии за грехи против этики и науки. [...] Интересно знать, кто выставил кандидатуры Пиксанова и Сакулина»<sup>63</sup>.

По-видимому, Истрин сразу ответил Соболевскому (письмо не сохранилось) и поинтересовался источником непроверенной информации о кандидатах, так встревожившей ученого. Письмо Соболевского Истрину от 12 декабря начиналось так: «Отвечаю. Слухи о Пикс[анове] пошли в М[оскве] давно. Стар[ая] акад[емическая] наука должна дать место Сак[улину] и П[иксанову], представителям новой науки. Если их старики не выберут, их к ним посадят. Реформа стар[ой] Ак[адемии] необходима». Далее ученый вновь интересовался: «Теперь позвольте Вас спросить: кто в Отд[елении] выставил Сак[улина]? Те же, что выст[авил] — Сип[овского]?; оба ведут себя глупо и себя компрометир[уют]!»<sup>64</sup>

Почти весь 1926 год прошел у членов ОРЯС под знаком сопротивления уничтожению его самостоятельности и начавшегося внутри отделения спора вокруг кандидатуры Сакулина, у которого в 1925 г. вышли две книги: «Социологический метод в литературоведении» и «Синтетическое построение истории литературы». В отличие от большинства своих коллег, склонившихся все-таки к этому времени к идеям избрания Сакулина, Перетц остался самым бескомпромиссным ее противником. Отдавая должное прежним работам Сакулина, он абсолютно не принимал его современного творчества.

В письме Сперанскому от 13 января Перетц весьма резко высказывался на этот счет: «От Сакулина я получил его новый елаборат (опус. — M.P): цитаты и цитаты из книг не только плохо переваренных, но порою даже просто непонятых». И труд этот «на бирже учености — не создаст Павлу Никитичу ни славы, ни дивидендов»<sup>65</sup>. Возмущение Перетца «после последних „богословских“ работ по методологии» было столь велико, что 26 января ученый вновь вернулся к

этой теме. «И зачем он, — писал ученый, — в сущности, сведущий человек, печатает такую дрянь, да еще написанную наспех. Я немало изумился, прочтя изложение своих мыслей: так не понять — даже студенту неловко»<sup>66</sup>. Тем не менее Сперанский явно дал Истрину уговорить себя и исполнил его просьбу, о чем и сообщал 7 февраля: «Посылаю Вам отзыв о П. Н. Сакулине, подписанный и М. Н. Розановым; не знаю, насколько он Вас удовлетворит: составлялся наспех. [...] Что выйдет из всей нашей затеи, сказать трудно; Вам виднее; вероятно, 15 заседание будет очень тяжелое; сужу так потому, что получил письмо от В. Н. Перетца очень суровое и недовольное; вероятно, будет разговор и о В. В. Сиповском. Ну, будь, что будет»<sup>67</sup>.

Непростая обстановка сложилась в Отделении в начале года, когда в силу обстоятельств в зависимость от выдвигаемых кандидатур ставился и авторитет ОРЯС, и самой Академии наук. Об этой ситуации, не называя фамилий претендентов, писал 10 февраля Соболевскому Лихачев. Как видно из этого письма, страсти закипели еще до назначенного на 15 февраля официального заседания Отделения. Итак, Лихачев сообщал: «По новому уставу академиков будет 50. Дано было понять, что уступят местечка два второму отделению, но персонально, если кандидаты будут подходящие.

И Карский и Истрин торопились, чтобы не прозевать места. Я заранее заявил, что, не будучи компетентным, присоединяюсь к большинству, как оно выяснится. В частном совещании стали обсуждать. Наша оппозиция столкнулась на двух С. (Сакулин и Сиповский. — *M. P.*), и наговорили такого, что пришлось их снять. Ваш южный кандидат по науке вызвал полное одобрение, но, оказалось, что он неприемлем. Было какое-то столкновение. А мне случайно попался среди брошюр ответ его Марру, такой, что не прощается.

Выплыл М[одзалевский], человек порядочный, охаяли его жестоко, но большинство склонилось к нему — на безрыбье и рак рыба. Почему-то Истрин особенно стал за него стараться, а оппозиция заявила о внесении контротзыва на общем собрании. Из президиума же было получено предупреждение, что в случае выбора, выбранный будет забаллотирован и 2 Отделение явится в роли понижателя достоинства высокого звания академика и самой Академии, только что поставленной на высоту. Мое мнение, что М[одзалевского], нельзя выбирать [...]. Существование 2 Отделения более чем непросто, по самому наименованию, и нежелательно, чтобы могли сказать, что само Отделение дало толчок к своему уничтожению». В этом же письме Лихачев особо отмечал: «Надо отдать справедливость, большой Истрин отстаивает интересы отделения энергично и силен в административной переписке»<sup>68</sup>.

Сообщаемые Лихачевым новости лишь дополняли картину начавшихся еще в ноябре 1925 г. дискуссий между членами отделения, о чем Соболевского информировал Перетц: «У нас в Отделении начинается опять „движение“ („и начат бесъ подвижен бывати“)»<sup>69</sup>. Уже тогда развернулся спор вокруг Сакулина и Сиповского, которого предлагал Перетц. «Я отстаивал его кандидатуру, — писал ученый, — не как абсолютную (напр[имер], таковой абсолютной была кандидатура Лихачева), но как лучшую из возможных»<sup>70</sup>. Тогда же возникла и кандидатура Б. Л. Модзалевского, крайнее неприятие которого очень резко выразил в своем письме Перетц. Он удивлялся, как впоследствии и Лихачев, настойчивости Истрине: «Вас[илий] Мих[айлович] одержим манией во что бы то ни стало всадить на место Нест[ора] Ал[ександрови]ча (Котляревского. — M.P.) Модзалевского; при этом в обмене мнений ссылается, как на лиц, поддерживающих эту кандидатуру, — на М. Н. Розанова и на Вас. Неужели это правда?»<sup>71</sup>

Острота прений сказалась и в том раздражении, с которым Перетц отзывался не только об Истрине, но и о своих коллегах. Он был уверен, что Соболевский разделяет его взгляды и позицию, и поэтому не стремился скрывать своих чувств: «Все носит характер какой-то лавочки. Наши же блаженные — подают голоса, как скажет председатель, и я теперь скажу откровенно, что жалею о своем отказе председательствовать, когда Вас[илий] Мих[айлович] заявил о том, что по болезни более не может. Мы его уговорили, имея в виду возможные финанс[овые] потери. А теперь он уже впрямь хочет неограниченно командовать»<sup>72</sup>. Новым в письме Лихачева было сообщение о благосклонном отношении Отделения к предложенной Соболевским кандидатуре «южного кандидата», А. И. Томсона, обосновавшегося после революции в Одессе.

Работа над продвижением Сакулина после бурных дебатов начала года отнюдь не прекратилась. Вопрос был лишь отложен, тем более что в 1926 г. выборы в Академии не проводились. Все внимание членов Отделения было направлено на выявление какой-либо информации о перспективах ОРЯС. А информация циркулировала в основном в виде слухов и была неясна и противоречива. Уже 21 февраля, когда праздновался юбилей президента Академии Карпинского, Лихачев со всей определенностью сообщал Соболевскому: «В этот день как раз получены были самые грустные новости. Наше отделение с новым уставом, который будет готов к Пасхе, уничтожается. Слово „русский“ в уставе не фигурирует, и где оно было, там наименование изменено. Академиков будет 50, по 25 на двух отделениях: „физико-математическом“ и „гуманитарном“. Кафедры уничтожаются, выбираются „способные“». Далее Лихачев описывал предполагавшиеся правила вы-

движения и выборов в академики и с грустью призывал Соболевского: «Приезжайте весной непременно на первое заседание после ломки Академии»<sup>73</sup>. В тот же день Ляпунов сообщал также как абсолютно точные сведения Сперанскому: «Я слышал, что все москвичи нашего Отделения собирались сюда на Пасхе, но вчера узнал от Е. Ф. Карского, что наше Отд[еление] уже решено в Москве слить с З-м в одно. Я думаю все-таки, что не мешало бы всем членам рус[ского] Отд[еления] еще раз съехаться»<sup>74</sup>. Через неделю с небольшим, 2 марта, уже Перетц сообщал Сперанскому: «Устав готов – 2 отделения, и т[аким] обр[азом] нас „сливают“ с азиатами. Хорошо, еще, что не выгоняют вон за ненадобностью». Так же, как и другие его коллеги, ученый усматривал антинациональную направленность подобного реформирования. «И это в то время, – писал Перетц, – когда Европа и Америка особенно интересуются наукой о России. Но – нам теперь важнее негр Айша (см. у Еренбурга \*) с его идолами»<sup>75</sup>.

Далее Перетц сообщал, что ему удалось узнать о процедуре выдвижения новых членов Академии. Ученый специально подчеркивал: «Все это слухи, потому что, хоть мы и клялись, что не будет „тайной дипломатии“, но президиум усвоил себе сквернейшие черты бюрократического строя и мы, т. е. plebs, Общ[ее] собр[ание] – узнаем обо всем после всех. Т[аким] обр[азом], и вышеизложенное – только, повторяю, слух»<sup>76</sup>. Действительно, утвержденного официального текста проекта нового устава еще не существовало. Только 6 апреля специальная Комиссия передала текст на рассмотрение Политбюро и после этого закончила свое существование. Комиссия в своих предложениях рекомендовала: «Выработанный проект Устава Академии Наук передать на рассмотрение и утверждение СНК СССР»<sup>77</sup>. Из документов Политбюро следует, что проект «постановлением 16 апреля 1926 г. направлен на рассмотрение и утверждение Совета Народных Комиссаров Союза»<sup>78</sup>, но далее никаких решений принято не было.

Своими опасениями в связи с идеей ликвидации ОРЯС Ильинский летом делился с Попруженко. «Слияние 2-го Отд[елени]я с И-Ф. А. Н., – писал он 23 июня, – по-видимому, свершилось или свершится в ближайшем будущем. Это, вероятно, окончательно убьет его издательскую деятельность»<sup>79</sup>. Затем до глубокой осени внутриакадемическая жизнь затихла. Только 12 ноября Никольский сообщал Сперанскому: «У нас здесь – начинается большое оживление. Прибыл С. Ф. (Ольденбург. – М. Р.) из-за границы. Идет предвыборная кампания – по вопросу об избрании вице-президента и обсуждается проект Устава...»<sup>80</sup>

\* Имеется в виду роман И. Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...».

Но, судя по всему, это обсуждение касалось проекта устава, вырабатывавшегося в самой Академии, а не проекта, создававшегося специальной комиссией Миллютина. Об этом свидетельствует письмо Зеленина Соболевскому от 17 ноября 1926 г., в котором, кстати, отразилось то тотальное недоверие, которое испытывали многие ученые к академическому руководству. «На днях, — сообщал Зеленин, — я встретился в одном собрании с С. Ф. Ольденбургом, который тогда только что вернулся из Москвы. Все ждали, что он привезет оттуда новый устав Академии, а он привез только новые штаты, и то — на один ближайший год. За отсутствием иных тем для разговора, я спросил его о новом уставе Академии. Ответ: еще не утвержден. — Спрашиваю: второе Отделение сольется с третьим? — Ответ: нет, по всей вероятности, останется самостоятельным. — Для меня этот ответ был столь неожиданным, что я не придал ему тогда никакого значения. Усомниться в искренности Ольденбурга всегда не только можно, но и должно. Теперь, когда я узнал из Вашего письма о чашке чая для членов второго Отделения, мне стало ясно. То соображение, которое заставило открывать в Москве славянский факультет\*, теперь заставляет сохранить второе отделение. Прежде я не предполагал, что славистику в Питере будут усиливать по этой линии. Все говорили, что новый устав Академии уже утвержден»<sup>81</sup>.

Действительно, президент Академии Карпинский приглашал Соболевского для обсуждения внутриакадемических проблем, таких как Устав Академии и выборы вице-президента Академии. «По моему глубокому убеждению, — писал президент, — оба эти вопроса, прежде официального их рассмотрения в Конференции, требуют подробного и всестороннего обсуждения в нашей товарищеской среде, при участии всех действительных членов Академии». Для этого Карпинский просил «не отказать принять участие в указанном обсуждении и пожаловать [...] на чашку чая, в понедельник 15 сего ноября в 7 час[ов] веч[ера]»<sup>82</sup>. Заметим, что это приглашение было не только для членов ОРЯС, как представлял себе Зеленин, и собственно не давало еще никаких надежд на окончательное и положительное решение вопроса о самостоятельности Отделения. С другой стороны, Ольденбург не погрешил против истины, сказав, что устав еще не утвержден.

С самого начала 1927 г. в ОРЯС оживилось обсуждение кандидатур новых претендентов на академическое звание, и фигура Сакулина

\* Зеленину, как, впрочем, и другим ученым, хотелось надеяться на улучшение положения науки вообще и на восстановление славистических дисциплин в высшей школе. Поэтому им хотелось видеть большие перемены, чем они были на самом деле. В сентябре 1926 г. специальность «славяноведение» была лишь введена на этнографическом факультете Московского университета, см.: Горянин А. Н. Славяноведение в Московском университете (1917–1927)... С. 57–59.

возникла уже как практически поддержанная большинством членов Отделения. Перетц, фактически оставшись единственным противником этого избрания, стал еще решительнее и бескомпромисснее. Он с 1 января возобновил критику работ кандидата, убеждая Сперанского: «Мне как-то не верится, что за одну в сущности дисс[ертацию] — можно (невзирая на ряд плохих компиляций, вроде „Соц[иализм] в р[усской] лит[ературе]“ и пресловутой „Методологии“) — получить звание академика»<sup>83</sup>. Можно отметить, что в письмах к Сперанскому, подготовившему по согласованию с Истриным рекомендацию Сакулину, Перетц был еще достаточно сдержан.

В те же первые месяцы 1927 г. он неоднократно описывал сложившуюся ситуацию Соболевскому. Так, Перетца чрезвычайно возмутило письмо, в котором Сакулин «ответил, по словам В. М. (Истрина. — *M. P.*), ибо письмо полностью не читалось, что он согласен на предложение и отрицается от социализма и своего предшеств[ующего] поведения. По совести скажу — я стал после этого — еще меньше уважать его: человек готов подлаживаться ко всякому течению во имя матер[иальных] интересов!» Перетц называл Сакулина «флюгером» и писал, что большинство его сочинений «жалкая компиляция, вызванная не особенно чистоплотными мотивами»<sup>84</sup>. Он не преминул жестко покритиковать отзыв Сперанского, который «вообще очень строгий в суждении о науч[ых] достоинствах людей науки», но в данном случае им была сочинена «записка о „трудах“ Сакулина, где малочисленность и ничтожество его работ скрашены теплыми словами об „общественности П[авла] Н[икитича]“». По его же мнению, труды Сакулина «сплошная, как говорят теперь — халтура!»<sup>85</sup>

Ученый продолжал очень остро переживать выборную кампанию и усматривал в избрании Сакулина далеко идущие планы властей. «Что касается „старого есера“, — писал Перетц Соболевскому 1 марта, — то это его прошлое — не повышает — увы, его научной квалификации. Как был златоуст для первокурсников, так и остался. А его покаянное письмо Истрину, где он обещался отрясти прах от увлечений молодости — не только меня не тронуло, но лишило последнего уважения к нему: я уважаю всякое убеждение, но когда его бросают из-за куска хлеба или из-за „славы“ — дело плохо. Сомневаюсь, чтобы его сажали в Ак[адемию] и для дальнейшего наказания! Это пускают щуку — в реку, по Крылову. А насчет оскорблений и заушений — ведь он сам все время лез на них, подлаживаясь к современности и не умея „потрафить“ господам, — попал в калошу»<sup>86</sup>.

Если члены Отделения русского языка и словесности живо обсуждали перспективы своего существования в рамках Академии, темпераментно спорили о достоинствах тех или иных кандидатов, то пред-

ставители нового славяноведения смотрели на дело иначе. Державин, возобновляя после долгого перерыва переписку с В. Златарским, с большим пренебрежением писал о центре славяноведения в Академии наук. Даже сообщая Златарскому 10 января о юбилее Лаврова, он не смог скрыть своего отношения: «Лавров очень стар и еще более устал; на днях мы чествовали его 70-тилетие со дня рождения и 40-тие научной деятельности». Далее досталось и ОРЯС: «2-е отд[еление] Акад[емии] наук совершенно захирело и превратилось в богадельню для инвалидов. Истрин (председ[атель]) постепенно, но медленно умирает, уже не ходит вследствие паралича; Перетц — пережил два удара, Сперанский и Соболевский безвыездно живут в Москве. Н. А. Котляревский скончался в 1925 году. Остается более или менее работоспособным только Карский». О перспективах реформ Державин писал без каких-либо эмоций: «Предполагается слияние 2-го отд[еления] с Отделением исторических и филологических наук»<sup>87</sup>.

Ситуация очень обостряла отношения внутри Отделения, с этого момента они уже навсегда испортились у Перетца и Истрина. Последний так излагал в письме Сперанскому от 16 февраля 1927 г. прошедшие события: «Выборы прошли действительно со „скандалом“, Перетц пытался сорвать заседание, но это ему не удалось; пытался подвергнуть обсуждению Ваш отзыв, но в этом ему было отказано. Рассердившись, он ушел из заседания, что для нас оказалось лучше, ибо без него С[акулин] выбран был единогласно»<sup>88</sup>.

Перетц стремился найти сочувствие у Никольского, которому писал 10 марта: «Я не был в засед[ании] Отд[еления], не был и в О[бщем] собр[ании]. Знаю от Крачковского, что мое заявление было принято в О[бщем] с[обрании] и направлено в Отд[еление] с особым моим мнением, и выборы отложены. Т[аким] о[разом], отзыв, сост[авленный] Спер[анским], не читался. Я не знаю, убедит ли кого-либо мое ос[обое] мнение в Отд[елении]; хотя я добавил к нему приложение, в котором отчасти детализировал те общие положения, кот[орые] изложены в ос[обом] мнении. Чем больше я вникаю в дело, тем более укрепляюсь в своем убеждении, что в лице С[акулина] — имеем популяризатора — тенденциозного притом, а не исследователя. Его работа о Пушкине и Радищеве — насмешка над здравым смыслом»<sup>89</sup>.

Не могли остановить Перетца уверения и сочувствовавших ему, но более осторожных коллег. Эта чрезмерная осторожность была столь странной для него, что он счел необходимым специально остановиться на этом сюжете в письме Соболевскому от 13 апреля: «NB: после засед[ания] Никольский, советовавший мне в засед[ании] взять мое мнение обратно, — спросил: неужели я не боюсь нажить себе в С[акулине] не врага (?!). Я ответил, что ничего не боюсь»<sup>90</sup>. В конце концов Перетцу

удалось добиться того, что после фактического избрания Сакулина ОРЯС это решение в марте было отложено Общим собранием Академии и возвращено в Отделение. В тот день, когда Отделение вновь избрало Сакулина, 19 апреля, о положении дел Соболевского информировал уже Никольский. В его интерпретации история с выборами выглядела следующим образом: «Кандидатура С[акулина], выдвинутая И[стриным], имеет, по-видимому, одну цель — доставить неприятность П[еретцу]». О своем участии в этой истории ученый сообщал коротко: «По болезни, в выборах С[акулина] не участвовал». О проблемах другого кандидата, несомненно, больше интересовавшего Соболевского, Никольский писал: «Вероятно, в угоду ему (Марпу. — М.Р.) отложены и выборы Т[омсона], под предлогом мнимого несоблюдения формальностей, но, по-видимому, потому, что Т[омсон] не принадлежит к числу ученых шарлатанов»<sup>91</sup>.

Сакулин в результате столь тяжелой избирательной кампании выражал свое неудовольствие действиями Истрина и искренне признавался Сперанскому: «Вместо чести получается бесчестье. Если 3 мая положение вещей ни в чем не изменится, то, может быть, лучше совсем снять мою кандидатуру. Никогда еще мои репутация и самолюбие не подвергались такому испытанию, как во время этих выборов»<sup>92</sup>. Но утверждение в 1927 г. так и не состоялось вначале из-за принятия нового устава, потом из-за начала общей реорганизации Академии. В конце концов, Сакулин был избран академиком, но это случилось уже в радикально изменившейся обстановке 1929 г.

Как уже упоминалось, в Академии шла работа над своим собственным проектом, и в ней активное участие принял Никольский, которому особого удовлетворения оно не принесло. Тем не менее он был одним из немногих, кто обладал достоверной информацией хотя бы об одном из проектов. Уже 10 февраля Никольский информировал Соболевского: «Ваше письмо я получил уже после того, как мои собеседования закончились, и мои оппоненты отбыли в Москву, увозя с собою проект нового Устава Академии». Ученый недаром назвал своих коллег по комиссии оппонентами, ибо окончательный вариант проекта его явно не удовлетворил. Никольский следующим образом охарактеризовал свою работу и сам проект: «Участие в Комиссии по пересмотру Устава Академии меня значительно утомило, но не оправдало моих ожиданий. В общем, новая редакция проекта его мало отличается от той, которая вызвала мои замечания. Слабая сторона обеих — это — зависимость научной деятельности Академии от административно-распорядительных ее органов, напоминающая собою схему управления Академией в эпоху знаменитого Шумахера и угрожающая науке такими же печальными последствиями, какие испытала

Академия в XVIII веке. Мне остается неизвестным, кто был составителем этого Проекта, который пересматривался Комиссией, но меня изумляет, что он совершенно не соответствует общеизвестной директиве: „коренная ломка Академии недопустима“...»<sup>93</sup> Однако «из подробностей новой редакции Проекта» для всех членов ОРЯС было чрезвычайно важно то, что «по Проекту, в академии остаются три Отделения с прежними их наименованиями, но во II-ом Отделении вместо должности Председателя учреждается должность Секретаря»<sup>94</sup>.

Эта информация, однако, не внесла успокоения в ряды членов отделения, тем более, что руководство Академии вновь приглашало академиков на частное совещание. Так, Перетц сообщал Соболевскому в Москву: «У нас, кажется, много шума и тревоги из-за Устава. Завтра все приглашаются „на чашку чая“ к Президенту поговорить „по-товарищески“ об академических делах. Если буду в силах – поеду, посмотрю, послушаю и если что-нибудь интересное услышу, сообщу»<sup>95</sup>. Ученого чрезвычайно интересовало, не знает ли Соболевский чего-либо об обсуждении устава в правительственные сферах, и он, делясь своими опасениями, спрашивал: «Что в Москве? Насчет Устава: пожалуй, будет „переборка“ членов. Что об этом слышно?»<sup>96</sup> Но Соболевский сам получал информацию о делах с Уставом из Ленинграда от того же Никольского. Тот с большим запозданием из-за длительной болезни сообщал коллеге 19 апреля: «Но в окончательной своей редакции он (проект Устава. – M.P.) не был заслушан ни в Комиссии, ни в О[бщем] С[обрании], и мне не удалось получить его экземпляра. Какая дальнейшая судьба постигла „наш“ „богооткровенный“ проект (происхождение которого можно объяснить только чудом), выяснить также не посчастливилось»<sup>97</sup>.

Дело с принятием Устава явно затягивалось из-за позиции высших властей. Еще 28 апреля вопрос об Академии был поставлен на Политбюро, решение было кратким: «Отложить». Далее последовательно вопрос уже со специальной формулировкой «Об уставе Академии Наук» поднимался 30 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая. Решением, как правило, было: «Отложить до следующего раза»<sup>98</sup>. Наконец, 26 мая Политбюро рассмотрело записку Рыкова от 11 апреля с приложенными проектами устава, выработанными комиссией Миллютина и Академией наук. В своей записке Рыков приводил основные положения комиссии Миллютина, с указанием реакции Академии на предлагаемые положения нового устава. Подавляющее количество положений имеет помету: «Согласовано с Академией», изредка: «Академия Наук предлагает...». И только *единственное* положение вызвало сопротивление Академии, это пункт 4: «Академия разделяется на 2 отделения – Физико-Математических Наук и отделение Гуманитарных Наук (история, филология, экономика, социология и т. п.).

Академия — против этого пункта возражает и настаивает на 3-х отделениях: отделение Физико-Математических Наук, отделение Русского Языка и Словесности и отделение Исторических Наук и Филологии»<sup>99</sup>. Из этого следует, что активное и многолетнее сопротивление членов ОРЯС и сочувствующих им членов III и I отделений, приверженных академическим традициям, было не бесполезно. Только в вопросе о сохранении самостоятельности ОРЯС удалось преодолеть и сопротивление одного из влиятельных инициаторов его упразднения непременного секретаря Академии Ольденбурга, а также ряда других членов Президиума Академии, «олигархов», как их называл Перетц<sup>100</sup>. Таким образом, внутри Академии удалось достичь всего, что было максимально возможно в обстановке того времени.

Неизвестно, обсуждалось ли это возражение Академии, во всяком случае, в списке поправок и дополнений, предложенных Политбюро, это не отражено, скорее всего, его посчитали не достойным внимания и просто отмахнулись. Сам Рыков в своих предложениях рекомендовал: «В основу положить проект, выработанный комиссией т. Милотина»<sup>101</sup>.

Информация о правительственном решении распространилась быстро еще до ее официального оглашения. В первых числах июня последовал обмен мнениями между членами ОРЯС и близкими ему учеными. Уже 3 июня Зеленин сообщал Соболевскому: «Большая новость здесь — утверждение нового устава Академии Наук. Ваше, русское, отделение похоронили. (Этим, вероятно, и объясняется отсрочка выборов Томсона и Сакулина?). Число академиков доводится до 70-ти. [...] — Вопрос о научных учреждениях остается пока открытым: они не вошли в устав, а будут утверждены декретами. — Но едва ли не самое главное то, что рекомендовать кандидатов в академики получили теперь право многие учреждения»<sup>102</sup>. Находившийся вдали от эпицентра событий Томсон смотрел и на случившееся с его кандидатурой, и на ликвидацию ОРЯС несколько отстраненно. «Большое спасибо за обстоятельное письмо, — писал он Ляпунову 5 июня. Во всей этой истории меня беспокоит только то, что был невольной причиной стольких неприятностей самых поченных представителей науки и, в частности, друзей. В особенности мне совестно по отношению к Вам, т. к. знаю, как близко к сердцу Вы принимаете все это. От старости ли, но я становлюсь так равнодушен ко всем мирским делам, что, кажется, уподоблюсь индийским отшельникам»<sup>103</sup>. И далее: «Я думаю, что Вам слияния с III отд[елением] нечего бояться. Восточники там, как прежние классики на филол[огическом] фак[ультете], а научная школа их слабее»<sup>104</sup>.

В отличие от Томсона, Перетц очень живо отреагировал на сведения об уставе, полученные из уст академического руководства. Он писал Сперанскому 7 июня, что его письмо получил одновременно «с га-

зетой, где Ольд[енбург] дает интервью о нов[ом] Уставе Акад[емии]. Мнение ученого об уставе было весьма нелестным: «Как Вам нравится нов[ый] Устав, по которому все в руках Президиума, и Презид[иум] – в руках непременного, т[о] е[сть] несменяемого секретаря?» Но больше всего Перетца занимала уже перспектива дальнейшего существования бывших членов ОРЯС внутри нового отделения. «Я думаю, – размышлял ученый, – что все-таки – нам с восточниками не подарок, и если Вы будете осенью в Л[енинграде], попробуем поднять вопрос об организ[ации] разряда слав[яно]-русс[кой] филол[огии]. Это тем более удобно, что ведь и в З-м Отд[елении] есть „разряды“ (очень немногочисленные). [...] Но интересно, во что же обратится член Презид[иума] Карский, если Отд[еление], представителем которого он является, будет упразднено? Интересно, сохраним ли мы все наши места в Гуманит[арном] Отд[елении]? Я-то – в крайнем случае – переберусь в Киев»<sup>105</sup>.

Таким образом, вопрос о ликвидации самостоятельности ОРЯС был решен окончательно. И уже «18 июля 1927 г. Совнарком СССР утвердил первый советский устав Академии наук СССР»<sup>106</sup>.

Принимая Устав Академии наук в собственной редакции, государственная власть продемонстрировала научному сообществу, что его мнение ее не особенно интересует. Росчерком пера была ликвидирована устоявшаяся десятилетиями структура Академии. Произошло не просто объединение ОРЯС с Историко-филологическим отделением, а его поглощение и подчинение последнему. Второе отделение в отличие от Третьего представляло собой объединение академиков, близких по области научных интересов, что и было отражено в самом названии Отделения. Третье отделение было достаточно разнородно по своему составу, больше половины его членов были востоковеды, состояли в нем специалисты по истории античности и Византии, по русской истории. Никакой логики с точки зрения улучшения использования научных сил в данном решении не было. Интриги части руководства Академии оказались созвучны чисто политическим соображениям властей, для которых существование «русского» отделения с его исследованиями по языку, литературе и культуре русско-славянского средневековья, могло представляться очагом русского шовинизма и пропаганды религии.

Все руководство нового отделения Гуманитарных наук (ОГН) состояло из членов бывшего Историко-филологического отделения, востоковедов. Академиком-секретарем Отделения стал И. Ю. Крачковский. В его отсутствие исполняющим обязанности был В. В. Бартольд. Только выборы весны 1927 г., пополнившие Третье отделение двумя новыми членами, Е. В. Тарле и С. А. Жебелевым, привели к тому, что

оно достигло 11 человек. Вопрос о выборах Томсона и Сакулина был отложен, и во Втором отделении оставалось 10 человек, иначе оно и по количественному составу было бы больше Третьего. Члены ОРЯС оказались в одном отделении с их общим недругом и антагонистом во внутриакадемических делах — Ольденбургом. Среди своих новых коллег им могли быть близки только С. Ф. Платонов и М. М. Богословский как специалисты по истории восточных славян и византинист Ф. И. Успенский.

Но самым угнетающим, как мы полагаем, для всей этой группы ученых было оказаться под непосредственным руководством Марра. Внутри ОГН была создана Группа по языковедению и литературе (ГЯЛ), подавляющее большинство которой составили члены бывшего ОРЯС. Марр возглавил ГЯЛ и оставался ее председателем до избрания академиком Сакулина, которому он передал официальное руководство\*. Группой в конце 1929 г.<sup>107</sup>. Академики-слависты опасались и, как показало будущее, не без оснований, что с ликвидацией их Отделения как структурной части Академии наук уменьшатся их и без того недостаточные издательские возможности\*\*. Издание «Известий ОРЯС» после выхода XXXII тома было вынуждено сменить название. Неопределенной представлялась судьба серийного издания «Сборник ОРЯС».

Ликвидацию самостоятельности Отделения русского языка и словесности можно считать первым шагом на пути советизации Академии наук. Но власти не просто подчинили его прежнему Историко-филологическому отделению. В новом уставе Академии был радикально расширен список наук, входящих в компетенцию отделения Гуманитарных наук. Кроме традиционных наук, к Отделению относились экономика, социология, плюс многозначительное «т. п.». Таким образом, открывался широкий путь к пополнению Отделения партийно-государственными функционерами и уже марксистско-ориентированными учеными.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине XIX века. Л., 1971. С. 46.
2. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. М., 1974. С. 212, 216.
3. Академия наук СССР... С. 260.

\* Сакулин замещал Марра на его посту во время командировки последнего во Францию с марта по июль 1929 г. (ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1—1929. Д. 253. Л. 43).

\*\* Издательские предложения всех членов бывшего ОРЯС не были включены «в смету на 1927/8 год» (РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 267. Л. 28 об.).

4. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 39.
5. Там же. Л. 34.
6. Там же. Л. 37–37а.
7. Там же. Л. 37.
8. ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 236.
9. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 32 об.
10. Там же. Л. 46 об.
11. Там же. Д. 151. Л. 11–11 об.
12. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 20.
13. Там же. Л. 23.
14. Там же. Д. 101. Л. 75 об.–76.
15. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 17 об.
16. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 37 об.
17. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 177. Л. 6.
18. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 257. Л. 200.
19. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 187. Л. 5.
20. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 10.
21. Там же. С. 27.
22. Там же. С. 11.
23. Там же.
24. Там же. С. 35.
25. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 47–47 об.
26. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 22–22 об.
27. Там же. Л. 22 об.–25–25 об. (нарушение пагинации).
28. Там же. Л. 26 об.
29. Там же. Л. 44–44 об.
30. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 68 об.
31. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 54. Л. 1–1 об.
32. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 26–26 об.
33. Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию... С. 127.
34. Там же. С. 136.
35. Соболева Е. В. Организация науки в постсоветской России... С. 85.
36. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 70.
37. Там же. Л. 70–70 об.
38. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 36 об.
39. Там же. Л. 43 об.–44.
40. Там же. Л. 40 об.–42–42 об. (нарушение пагинации).
41. Там же. Д. 176. Л. 18–18 об.

42. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 65.
43. Там же. Л. 67–67 об.
44. Там же. Л. 68.
45. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 55–55 об.
46. Там же. Д. 95. Л. 48–48 об.
47. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 166. Л. 63–63 об.
48. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 45.
49. Там же. Л. 45–45 об.
50. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 79–79 об.
51. Там же. Д. 226. Л. 68 об.; РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 65.
52. Българо-руски научни връзки... С.139.
53. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 64.
54. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 109.
55. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 65.
56. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 38.
57. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 51.
58. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 31. Л. 41 об., 42.
59. Там же. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 68 об.
60. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 73 об.–74.
61. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Оп. 290. Л. 61.
62. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 59–59 об.
63. Там же. Л. 59 об.–60.
64. Там же. Л. 62–62 об.
65. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 85–85 об.
66. Там же. Л. 93 об.–94.
67. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 153. Л. 70.
68. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 230. Л. 10–10 об.–12 (нарушение пагинации).
69. Там же. Д. 290. Л. 60.
70. Там же. Л. 61 об.
71. Там же. Л. 60 об.
72. Там же. Л. 63–63 об.
73. Там же. Д. 230. Л. 13–13 об.
74. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 177. Л. 19.
75. Там же. Д. 226. Л. 96–96 об.
76. Там же. Л. 96 об.–97.
77. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 46.
78. Там же. С. 48.
79. Българо-руски научни връзки... С.132.

- 
80. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 210. Л. 22 об.
  81. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 100–101.
  82. Там же. Д. 184. Л. 3.
  83. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 128–128 об.
  84. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 74, 76.
  85. Там же. Л. 77–77 об., 79.
  86. Там же. Л. 80 об.–82 (нарушение пагинации).
  87. Българо-руски научни връзки... С. 108.
  88. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 113.
  89. Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 77–77 об.
  90. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 92.
  91. Там же. Д. 267. Л. 3 об.
  92. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 268. Л. 20–21.
  93. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 267. Л. 11–11 об.–13 (нарушение пагинации).
  94. Там же. Л. 13.
  95. Там же. Д. 290. Л. 86.
  96. Там же. Л. 88 об.
  97. Там же. Д. 267. Л. 1.
  98. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 46–47.
  99. Там же. С. 49.
  100. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 67.
  101. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 51.
  102. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 132–132 об.
  103. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 51
  104. Там же. Л. 52.
  105. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 145, 146–146 об.
  106. Академия наук СССР ... С. 284.
  107. ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 2–1929. Д. 31. Л. 43.

## ГЛАВА VIII

### НАЧАЛО КОНЦА «СТАРОЙ» АКАДЕМИИ

Тенденции к полному подчинению Академии наук государству проявились еще до наступления эпохи «великого перелома». Свое влияние власти стремились осуществлять через лояльное им руководство Академии. Кампания по постепенной ликвидации ОРЯС велась при сочувствии и даже поддержке руководства Академии. Уступчивость большей части руководителей Академии, таких, например, как ее непременный секретарь С. Ф. Ольденбург, внешнему давлению сближала их позицию с идеологическим союзником властей Н. Я. Марром. Этот союз вполне осознавался многими сторонниками сохранения независимости Академии наук и свободы научного творчества, разоблачить его пытались некоторые академики, стремившиеся легально воспрепятствовать диктату руководства.

Известный индолог Ф. И. Щербатской призывал М. Н. Сперанского в письме от 21 ноября 1926 г. обязательно приехать на общее собрание Академии 4 декабря, когда «предстоят выборы вице-президента, партия Ольденбурга, Марра и т. п. выдвигает Ферсмана». «Если Вы ознакомитесь с запиской Никольского, — писал Щербатской, — то подача голоса на этих выборах единственное право, которое еще у нас осталось». «Наш кандидат, — продолжал ученый, — Ипатьев. Я его немногого знаю по совместной жизни в Лондоне. Это, во всяком случае, человек благожелательный и достойный. Его выбор пробьет брешь в стене того ига, под которым скрутил нас наш президиум»<sup>1</sup>. Кандидатура явно не устраивала руководство Академии, хотя В. Н. Ипатьев был у советской власти на хорошем счету, активно работал в химической промышленности, а в следующем 1927 г. даже был удостоен премии им. В. И. Ленина<sup>2</sup>.

А. Е. Ферсман представлялся еще более лояльной к властям кандидатурой. А пока, как информировал Щербатской Сперанского: «На предварительном совещании голоса разделились почти поровну, имейте в виду, что со стороны Ольденбурга применена всяческая агитация, клевета на Ипатьева, и даже подкуп, ибо в его руках находится распределение командировочных сумм, которыми он орудует в свою пользу»<sup>3</sup>. Щербатской и в дальнейшем отмечал в письмах Сперанскому необычайную активность в академических делах «яфетической партии», в случае успехов которой «нам грозит позор»<sup>4</sup>. Организовать сопротивление не удалось, избран был Ферсман. Но, как не без злорадства информировал Д. К. Зеленин А. И. Соболевского в июне 1927:

«Ферсмана не утвердили вице-президентом (хотя он и женился на племяннице Горбунова, партийной) в связи с тем, что его правая рука Линденер растратил 33 тысячи казенных денег»<sup>5</sup>.

В прессе стали все чаще появляться погромные статьи, направленные против Академии и ее отдельных «неактуальных» и чуждых времени учреждений. Одной из первых под ударами оказалась во время проведения «финансовой ревизии из Москвы» Библейская комиссия, возглавляемая Соболевским. Анализ одного такого выступления в прессе для Соболевского сделал Зеленин. Он писал 5 июня 1927 г.: «В „Ленинградской правде“<sup>6</sup> от 15 мая (№ 109) был напечатан фельетон „Академический ковчег“, подписанный псевдонимом: М. Горин (здесь понимают его так: ГПУ). Фельетон этот произвел большое впечатление в академических кругах. Между прочим, первое, что здесь поставлено в вину Академии, это Ваша Комиссия по изданию славянской библии: „Нам приходилось слышать недоуменные вопросы, напр., о том, почему в числе учреждений Академии десять октябрьских лет существует и тратит средства комиссия [Ваша]?“ Главное же внимание уделено личному составу. (Ваша фамилия нигде не названа). Названы: камер-юнкер Молас, Г. Соколовский, прокуроры Нищенко и Степанов, губернатор Шидловский, сановник А. С. Путилов; бароны Штакельберги, княжна Пилкина. Вывод: классовый подбор». Одной из причин внимания к выявлению чуждых элементов среди сотрудников Академии Зеленин видел в доносительстве. «Известно, — писал он, — что младший персонал академических учреждений кишит агентами: многим хочется занять должности повыше». Все же действия направлены были, по мнению Зеленина, к одному: «Следствие же ясное: сметы академии будут сокращены»<sup>7</sup>.

Направление движения Академии к «советизации» старались задать сами ее руководители, очевидно, чувствуя эту неизбежность и стараясь предугадать пожелания властей. Тот же Зеленин 16 июня писал Соболевскому: «Ольденбург уже высказывался в президиуме о желательности избрания в Академию партийцев». Однако самостоятельные действия Ольденбурга, без явного внешнего нажима, особого успеха не имели. Предложение подготовить избрание в Академию М. Н. Покровского сочувствия не встретило. «О кандидатуре Покровского, — сообщал Зеленин, — академики заявили, что некому написать отзыв о [Покровском], как о научном историке, можно лишь — как о бытописателе, что было бы мало»<sup>8</sup>.

1927 г. был ознаменован принятием нового Устава АН СССР, утверждением новой структуры академических отделений. ОРЯС лишилось самостоятельности, были отложены выборы по кандидатурам, предложенными и уже проголосованным этим отделением. Оба кандидата

несколько по-разному реагировали на сложившуюся ситуацию. П. Н. Сакулин рассчитывал, что после преодоления сопротивления В. Н. Перетца в ОРЯС дальнейшая процедура будет не слишком сложной. Своими раздумьями Сакулин делился 7 августа в письме В. М. Истрину: «Разумеется, для меня, как и для всякого другого, избрание — высокая честь. Академия в этом случае не может не быть строгой. Но мне казалось, что строгость эта во всей своей силе будет проявляться на предварительных совещаниях, при выборе кандидатов, отчасти, конечно, при голосовании в Отделении, но что дальнейшая процедура будет протекать в спокойных тонах. Ведь чем выше честь, тем острее сознается малейшее „бесчестье“. Как ни держи в секрете подобные дела, всегда они подают повод ко всевозможным слухам и толкам. А если твоя кандидатура становится предметом борьбы, исход которой не всегда возможно представить, — то невольно задумаешься». И хотя, по мнению Сакулина, «положение весьма осложнилось», он надеялся на лучшее будущее и писал: «Осенью, надеюсь, горизонт прояснится»<sup>9</sup>.

Совсем в другом тоне было выдержано письмо А. И. Томсона Истрину, также написанное летом 1927. Его, собственно, не очень волновало будет ли он избран или нет. «Я не почувствую себя обиженным, — писал он, — т. к. избранием в Отд[елени]и вполне удовлетворен и польщен. Если бы у меня не было там дружественных связей с единомышленниками по науке, то я при данных условиях попросту отказался бы». Ученый с трудом представлял возможность «полностью переселиться» в Ленинград. Намучившись с бытовыми условиями в Одессе, он считал необходимым для жизни в Ленинграде трехкомнатную квартиру. «Но такая квартира, — полагал Томсон, — нашлась бы только в акад[емическом] здании, а ими распоряжается Оль[денбург]; сиречь l'Academie — c'est moi. С этим обстоятельством считайтесь, в случае, если начнете снова дело о моем избрании. Если же предпочтете совсем откинуть мою кандидатуру, то это обстоятельство пусть послужит предлогом к тому». Так что, предвидя всевозможные сложности, он полностью полагался на решение коллег: «Мое избрание стало уже общим делом бывшего II отделения, и потому поступайте, как лучше в интересах Ваших»<sup>10</sup>.

Члены ОРЯС пребывали в состоянии неопределенности. Надо было приспосабливаться к новым условиям. Перетц призывал 10 августа Сперанского к академической солидарности. «Я не знаю, — писал он, — что будет З сен[тября], но Карский (офиц[иальный] теперешний „глава“ умирающего Отделения) писал, что в конце авг[уста] мы соберемся обсудить некот[орые] организац[ионные] вопросы в связи с переходом на новый устав. И хоть у нас ранее чувствовалась тенденция обходиться без „московских акад[емиков]“, все же думаю,

что для дела (если таковое будет) — их присутствие было бы полезно»<sup>11</sup>. О том же, но уже по поручению Е. Ф. Карского писал Сперанскому и Б. М. Ляпунов 22 августа: «Спешу Вас известить, что по новому уставу присутствие в засед[ании] Общего собрания без уважительных причин обязательно для всех членов конференции, и потому Е. Ф. Карский просил меня написать П. А. Лаврову и Вам о желательности Вашего прибытия не позже 31 августа, чтобы быть в курсе дела». Академики явно не хотели попасть в новом для них отделении в зависимое положение от старожилов Историко-филологического отделения. «Конечно, возможно, — рассуждал Ляпунов, — что октябрьское заседание Общего Собрания будет еще важнее, но я думаю, что важно возможно большее число присутствующих членов бывшего 2-го отделения в заседании соединенного 2-го Отделения в особенности, если будет намечаться кандидат в секретари Нового 2-го Отделения»<sup>12</sup>.

Новый Устав Академии не мог не вызывать раздражения у сторонников либеральных академических традиций. Весьма нелестное мнение о нем сразу же выразил Перетц в письме Сперанскому от 7 июня 1927 г. Менее чем через два месяца, 28 августа, ученый вновь писал Сперанскому о том же: «Ну, получили мы „Устав“! Как Вам он нравится? Я удивлен дилетантским характером его: функции научно-административные и хозяйственно-административные свести в одном органе: в Президиуме [...] не секретарь исполняет распоряжения Президиума и Вице-президента, а ... сам диктует им свою волю». «Вообще, — продолжал Перетц, — наши гении намудрили, пользуясь своей „авторитетностью“, и устроили все в пользу нынешнего состава Президиума, т[о] е[сть] считаясь только „сегодня“, не думая о том, что будет „завтра“, когда их сменят другие лица»<sup>13</sup>. Отмеченные Перетцем стороны устава отнюдь не были вызваны дилетантизмом, просто они больше отвечали современным требованиям «советской» организации науки, концентрации всех рычагов воздействия в одних руках. К тому же эти руки гораздо легче было контролировать властям.

Начались финансовые проблемы у подвергшихся критике в печати академических комиссий, существовавших при ОРЯС. «В истекшие годы Словарн[ая] и Библейск[ая] Комиссии получали пособие (25 и 20 р[ублей]) из общего аванса Отделения. Теперь Отделения нет и нет аванса, — писал Истрин Соболевскому 16 октября 1927 г. — Нет также лица, которое бы заботилось о [нрзб.] Комиссиях. Я у Непр[еменного] Секр[етаря] в опале и мое вмешательство может только напортить. При стремлении Президиума и его коновода Ольденбурга уничтожить все, что пахнет прежним Отд[елением] Рус[ского] Яз[ыка], Ваши Комиссии рисуют остаться без авансов. Хотя весной Отдел[ение] внесло в смету двойные требования — для Словаря 600 р[ублей] и для

Библейской 480 р[ублей]». Все, что мог посоветовать Истрин Соболевскому, это действовать самостоятельно: «Рекомендую, поэтому, Вам, как председателю Комиссий обратиться в Президиум с требованием назначить для этой и другой комиссий авансы. М[ожет] б[ыть] что-нибудь и выйдет»<sup>14</sup>.

Возникали трудности и с другими комиссиями. Перетц сразу же с присущим ему темпераментом вступил в борьбу за отстаивание их интересов, используя при этом самые разнообразные аргументы. Об итогах своих действий ученый сообщал 16 ноября Сперанскому: «И ... намереваясь учредить Тюркологич[еский] институт и т. п. — забыли о Комиссии по ист[ории] др[евне]р[усских] памятников. Я горячо говорил. И удалось мне отстоять ее с 3-мя штатными сотр[удниками], сказавшись на то, что если мы не возьмемся — то мне придется в Укр[аинской] АН организовать это дело. Своеобразный патриотизм подействовал — собрание согласилось с моими доводами. Никольский рад». Так же решительно Перетц был настроен и при выборах руководства Отделения. Если уж не было возможности выбрать кого-либо из членов бывшего ОРЯС, то ученый предпочитал наиболее достойную кандидатуру из востоковедов. «Через две нед[ели], — продолжал он письмо, — опять собр[ание]: будем выбирать Секрет[аря] Отд[еления]. Крачковск[ий] отказывается: не хочет быть на побегушках у Ольд[енбурга]. Но мы его выберем»<sup>15</sup>.

Академию начали сотрясать проверки, инициированные властями. Проверяющие выдвигали предложения, которые не могли не раздражать большинства академиков. Но не меньше раздражала некоторых из них сверхуступчивость собственного руководства. Перетц не жалел красок и при описании «проверяющих», и при анализе предлагавшихся ими мер, и при оценке позиции руководства Академии. Он писал 16 ноября 1927 Сперанскому: «Иоф[фе] и Ольден[бург] доложили отзыв комиссии „ученых“ ревизоров Академии: это [нрзб.], Волгин и Вершинин. Последние в науке неизвестны, но зато оч[ень] развязны. Наукой Ак[адемия] н[аук] занимается, по их мнению, и недостаточно, и неудачно, нет плана, „увязки“ и т. п. — в style moderne... И этакие по-росията едва грамотные — берутся учить выдающихся ученых, из коих некоторые — мировой известности — учить, как надо работать! Требуют заранее „планов“, как будто можно заранее предсказать, когда какая идея явится в процессе работы. Но Ольд[енбург] и К° оч[ень] напуганы этими благоглупостями, боятся за свое „положение и влияние“. А сказать смело, что неучам нельзя доверять суждение о таком научном Левиафане как Академия — боятся, не решаются»<sup>16</sup>.

Получив новый устав и структуру, Академия озабочилась пополнением своих рядов, и тут в гуманитарной области уже ожидалась по-

пытка проникновения в ее состав если и не партийных кандидатов, то представителей из «сочувствующих». В декабре и Ляпунов и Перетц информировали академиков-москвичей о работе Отделения гуманистических наук по отбору кандидатур, интересовались их мнением и делились своими соображениями. Ляпунов 25 декабря сообщал Соболевскому: «В субботу 11/24 дек[абря] у нас состоялось частное совещание по вопросу о кандидатах в новые члены А[кадемии] Н[аук] по отд[елению] гуманит[арных] наук. Члены нашего бывшего отделения русского языка и словесности решили отстаивать наших прошлогодних кандидатов. Вл. Н. Перетц предложил еще второго по русской литературе — Сиповского. В наших обсуждениях дополнительных кандидатур по русскому языку называли также Дурново и Каринского. Как относитесь Вы к этому вопросу?»<sup>17</sup> Через два дня, 27 декабря, Перетц писал Сперанскому о том же мероприятии: «У нас предварительное совещание Отд[еления], неофициальное с намечанием возможных кандидатов на новые вакансии. Наметили, т[о] е[сть] назвали (ведь должны представить организации; причем мы тут — кто знает?) Айналова, Бенешевича, М. М. Покровского (и рядом Малейна), Грушевского, Багалия, Томсона, Сакулина, Сиповского, Петрушевского и еще кого-то, не помню сейчас; восточники — Владимира, Алексеева и еще кого-то. И это на 10 мест, будет опять склоки. Добавьте — еще экономистов и философов! Ничего хорошего не жду: мы ведь большие индивидуалисты!»<sup>18</sup>. Уже через два дня Перетц вновь делился своими впечатлениями об избирательной кампании со Сперанским, которого он активно и с некоторым укором призывал принять в ней участие: «Очень полезно было бы присутствие москвичей. Вон Бузескул — тот даже из Харькова ездит»<sup>19</sup>.

Перетца раньше очень волновало внедрение коммунистической идеологии в высшую школу и безграмотность ее носителей, представителей «красной» профессуры. Теперь наступала очередь Академии наук. Ученый ожидал от проникновения в ряды академиков «однобоких» тех же последствий, падения профессионального уровня Академии. Он не без оснований предполагал в том же письме: «На совещ[ании] будут перебирать гл[авным] обр[азом] философов и экономистов. Последних у нас (не считая „однобоких“) — только двое, Солнцев (Москва) и Воблый (Киев), и философы Сабов и Ивановский, но боюсь, что высунутся Деборины и К° — публицисты на философском фундам[енте], а не философы»<sup>20</sup>.

Подобное развитие дел в Академии не могло не удручать ее ветеранов, вызывая у них даже желание отгородиться от нее. Так, Соболевский прямо писал Перетцу 4 января 1928 г.: «Мои занятия идут своим порядком; об АН стараюсь не вспоминать, и не вспоминал бы,

если бы почти ежедневно почта не доставляла мне повесток, приглашений на чашку чая или на дружескую беседу, разнообразных книг, для меня неинтересных, и пр[очее] и пр[очее]»<sup>21</sup>. Если у некоторых академиков-славистов и были какие-то иллюзии относительно возможности каких-то положительных изменений во внутриакадемической жизни, то они очень быстро начали таять.

Уже 16 января Н. К. Никольский сетовал Соболевскому: «Наша академическая жизнь течет по старому руслу. Новый устав академии, как оказывается, был писан не для нас. По-прежнему руководящим органом научной деятельности ее остаются Издательство и Президиум, проникнутые антисемитизмом к бывшему Отделению р[усского] языка и слов[есности]<sup>22</sup>. Проблема невозможности полноценной реализации своих научных сочинений в печати была очень болезненной для ученых в этот период. Улучшения ситуации именно в этой области ожидали многие от реформирования Академии, но эти надежды не оправдались.

«Оказалось, — продолжал свое письмо Никольский, — что академики не имеют права печатать, а только могут печатать в зависимости от усмотрения Издательства и т. п. Для чего же был писан Устав? — Вопрос о праве академиков печатать свои труды предпочтительно перед другими будет, вероятно, обсуждаться на Общем Собрании, но едва ли будет разрешен в их пользу...»<sup>23</sup>. На это письмо Никольский получил ответ Соболевского. Ученый дал в своем письме от 23 января очень краткую и ёмкую формулировку сложившейся ситуации, явно не способствующей науке. Соболевский подчеркивал: «И я, по привычке, вожусь с наукой, невзирая на то, что у нас наука совсем скушана политикой и лишилась угла даже в своем доме — в Академии Наук»<sup>24</sup>.

Совнарком принял 3 апреля 1928 г. важное решение, по которому было почти вдвое увеличено число академиков — с 45 до 85<sup>25</sup>. Задача такого увеличения была вполне очевидна — положить конец существованию Академии наук в ее прежнем виде, полностью ликвидировать даже жалкие остатки ее самостоятельности. О том, что скрывалось за подобным увеличением, Перетц догадался легко. Об этом он писал Соболевскому 14 апреля: «К сожалению, из-за гриппа я не мог быть на экстр[енном] засед[ании] Академии, где докладывалось, что 1) число академиков увеличивается до 85, из коих на наше отделение — 40(!), 2) — что утвержден список вакантных кафедр, причем на историю — целых 6 вакансий — и, думаю, не без умысла. Теперь будем ждать „женихов“». Не мог Перетц обойтись и без замечания о новой работе ученого, в борьбе за неизбрание которого в ОРЯС он положил столько сил. «Видели ли Вы, — спрашивал ученый, — последнюю компиляцию Сакул[ина]? Это на живую нитку сметанная — история др[ев-

не]р[усской] литературы] вполне определяет его физиономию, и хоть он мне говорит комплименты, хотя я ими не избалован — все же не считаю работу удачной»<sup>26</sup>.

Вся подготовка к выборам шла на фоне непрекращавшихся выпадов прессы против Академии. Томсон уговаривал своего старого коллегу и друга не обращать на это особого внимания. «Травля не новость: помнится, — писал он 30 апреля Ляпунову, — как досталось АН при провале Менделеева»<sup>27</sup>. А так как коллеги Томсона продолжали держаться за его кандидатуру, ученый также продолжал колебаться, отказаться ли ему решительно от процедуры выборов или все-таки пройти ее. Несколько раз в мае ученый касался вопроса выборов в письмах Ляпунову. Так, в открытке, которую он начал писать 10 мая, а закончил 13, Томсон решительно заявлял: «На выборы в АН при помохи газетчиков не согласен, мою кандидатуру снимите, а Ваша записка пригодится со временем для некрологов. Клички акад[емика] и проф[ессора] меня не интересуют; я сам по себе просто языковед»<sup>28</sup>. На следующий день ученый вновь подтверждал свое желание: «Я уже писал Вам в открытке, что прошу снять мою кандидатуру. Нельзя сказать, чтобы и раньше руководились только научной оценкою кандидатов, а теперь очевидно главный голос будет у газетчиков»<sup>29</sup>. Но Ляпунов, по-видимому, не оставил Томсона уговорами, и тот 28 мая вернулся к позиции, высказанной еще в письме Истрину: «О кандидатуре меня в сущности нечего спрашивать; это старое дело [бывшего] отделения. Пусть поступят по своему усмотрению»<sup>30</sup>.

Уговоры все-таки действовали на Томсона, что видно из его письма Истрину 2 июля 1928 г. «После разговора с Вами, — писал ученый, — перспектива быть акад[емиком] стала для меня заманчивой в том отношении, что она дала бы мне повод и возможность проводить сентябрь, январь, по обстоятельствам и недельку весною в старой среде минувшей лучшей поры жизни, не подвергаясь новым квартирным испытаниям, т. к. комната для временной остановки нашлась бы; а потом видно будет, как быть»<sup>31</sup>. Томсона пытались выдвинуть в Академию и научные общества, что не вызывало у него никакого восторга. Об одном таком предложении он сообщал Ляпунову, включенному в одну из специальных выборных комиссий Академии наук. «Вчера, — писал Томсон 9 июля 1928 г. — получил из Харькова такую телеграмму: „Ассоциация Востоковедения выдвинула Вашу кандидатуру Академию Наук Союза вышлите курикулум вите непременному секретарю Академии — Правление Ассоциации“. Курикулум я, конечно, не пошлю. Какая, однако, предстоит Вашей комиссии работа по производству академиков!»<sup>32</sup>

Г. А. Ильинский не мог не отреагировать на начавшуюся кампанию по покорению Академии наук. И для него, так же как для Перетца, ос-

новная причина столь радикальных шагов была очевидна. «У нас злоба дня, — писал он 2 июня 1928 г. М. Г. Попруженко, — выборы в Академию наук. На днях должен появиться список кандидатов в академики, намеченных разными организациями и учреждениями. Из них громадное большинство марксисты или примыкающие к ним»<sup>33</sup>. И менее чем через две недели: «У нас злоба дня выборы новых 40 академиков, т. н. общественные организации выставляют преимущественно коммунистов и марксистов»<sup>34</sup>. Все это производило на ученого одновременно и удручающее, и отталкивающее впечатление.

В письме Попруженко 18 июля Ильинский подытожил этап выдвижения: «Сначала болото нашей жизни встряхнула кампания выборов новых академиков, но и она выродилась очень скоро в „небожественную комедию“»<sup>35</sup>. Что имел в виду под этим Ильинский, ясно из письма Перетца Сперанскому от 25 июля, в котором ученый сообщал о том, что избирательные комиссии АН начнут свою работу 21 сентября. «Видели Вы список „[ираб.] движения воды“? Особенно забавно — для мыслящих людей у нас и за границей — головотяпское извращение идеи выборов: историков и философов — рекомендуют инженеры, химики и т. п. Вот суды в вопросе о „первостепенных научных трудах“ — по чужой специальности! Удивляюсь бесцеремонности и ... порою подхалимству, против которого тщетно вели, как видно, кампанию наши газеты»<sup>36</sup>.

В связи с оценкой выборной кампании и оценкой выдвигаемых кандидатов представляет интерес письмо представителя научного направления, активно занимавшегося поисками новых методов в науке, но не официозного. В отличие от Перетца, В. М. Жирмунский вполне благосклонно относился к кандидатуре Сакулина, но достаточно жестко оценивал другие кандидатуры. Ученый сожалел в письме Сакулину от 28 июля, что руководство института, где он работал, «решило вообще воздержаться от рекомендации кандидатов». «Очень жалею, — писал Жирмунский, — что инициаторы не догадались представить его от „группы ученых“ — способ, который, как видно из списков, опубликованных в „Известиях“, практиковался неоднократно».

Именно эти «группы ученых», а также общественные организации, наименее ответственно относились к выдвижению кандидатов. Как мы видели, подобные действия особенно раздражали сторонников академических традиций. Поэтому нет ничего странного, что опубликованные списки вызвали у известного ученого такое удивление. Как писал он Сакулину: «Должен сказать, что списки эти, по целому ряду специальностей гуманитарного Отделения, производят очень тяжелое впечатление. Так, в частности — по европейским языкам и литературам (если не считать Вас и Вл. Фед. Шишмарева) — Державин, Малеин, Петухов, Козмин и т. д. — какие блестящие имена для „обновленной“ литера-

турной науки! Самое грустное — не в официальном „нажиме“, а в понижении наших собственных требований к званию академика!»<sup>37</sup> Заметим, что никто из критикуемых Жирмунским ученых в ближайшие выборы в Академию не прошел. Поэтому несколько оторванными от жизни кажутся пожелания, высказанные представителем старого славяноведения К. Я. Гротом еще 5 сентября 1927 г. в письме своему старому знакомому Е. В. Петухову: «Ведь что-ниб[удь] да обещает новый Устав Академии Н[аук] в смысле значительного пополнения ее состава, хотя увы! Русское Отделение и приказало долго жить ... Но пополнение должно же коснуться и русско-словесной части»<sup>38</sup>.

Наконец комиссии приступили к работе. Самое деятельное участие в работе одной из них принял Б. М. Ляпунов. О работе комиссии и о проблемах, возникших у него, ученый делился с Соболевским, ища его поддержки. «Спешу поделиться с Вами, — писал Ляпунов 14 октября 1928 г., — впечатлением нашего первого заседания выборной комиссии „языков и литератур европейских народов“ и просить Вас, если можно, своим личным присутствием или по крайней мере присылкой Вашего мнения письменно к следующему заседанию комиссии в пятницу 19 октября (12 ч[асов] дня) помочь нам выйти из затруднительного положения».

Как и следовало ожидать, сложности начались с решительным противником марризма Томсоном. «Дело в том, — разъяснял Ляпунов, — что в борьбе за кандидатуру А. И. Томсона на кафедру сравнительного языкознания я не нахожу авторитетной поддержки при отсутствии Вас и В. М. Истриня, и Ваше авторитетное мнение имело бы большое значение». Ученый решил последовательно и подробно изложить ход событий. «Расскажу, — писал он, — что произошло в заседании 12.Х. Когда собирались мы в числе 9 и 8 посторонних делегатов, назначенный председателем Н. Я. Марр еще до обсуждения всех кандидатов в алфавитном порядке позволил себе высказать резкое осуждение А. И. Томсона, ограничиваясь, впрочем, вышедшими 40 лет тому назад работами Томсона по армянскому языку. Только после этого он приступил к обсуждению всех предложенных кандидатов в алфавитном порядке, как они напечатаны в Изв[естиях] ЦИК № 168 от 21.VII 1928». Такое выступление Марра, показавшее еще раз его злопамятность, удивило Ляпунова.

Как отмечал он в своем письме, в комиссии, кроме девяти представителей Академии, было еще восемь «посторонних». Сама же Академия создала собственную комиссию, и список предложенных на ее заседании 2 июля кандидатов огласил Е. Ф. Карский. Как отмечал Ляпунов, на том заседании присутствовал и Марр, «и без единого возражения с его стороны были оглашены с краткими мотивировками кандидаты комиссии — Сакулин (по русской литературе), А. И. Томсон

(по сравнительному языковедению), М. М. Покровский (по латинской филологии) и запасной В. А. Шишмарев (по романским литературам)».

Стараясь всеми способами отклонить кандидатуру безусловно крупного слависта-лингвиста Томсона, Марр хлопотал о пропагандистах своих взглядов, не особенно заботясь об их научном весе. «В порядке обсуждения всех названных в газете 14 кандидатов, отстранились те из них, — подчеркивал Ляпунов, — которые не подходили для замещения трех вакантных кафедр. Хотя председатель старался навязать нам Н. С. Державина на кафедру языковедения, указав на его важные для славистов труды по албанскому языку] (где они напечатаны?)». Члены бывшего ОРЯС постарались, конечно, воспротивиться и такому нажиму, и этой кандидатуре. Был найден формальный и поэтому очень эффективный предлог: «Д[ержавин] был отстранен на основании заявления Е. Ф. Карского, что у нас уже два академика слависта, а Державин — славист — был бы третий». По формальной же причине был отклонен и очень достойный кандидат. Как писал об этом Ляпунов: «О Д. К. Зеленине было сказано, что он был бы очень почтенным кандидатом на кафедру этнографии, об учреждении которой еще нужно ходатайствовать». К сожалению, у Зеленина так больше и не представилось шанса быть избранным в академики.

Дальнейшие дискуссии продемонстрировали, что в других вопросах у представителей от бывшего Второго отделения Академии наук единства не было. Оно возникло только при отклонении всех, «хотя и почтенных, представителей древней русской литературы», так как соответствующая кафедра была «достаточно замещенной». В дальнейшем все стали предлагать и отстаивать своих личных кандидатов, как отмечал Ляпунов, «у нас не было полного согласия». Иногда от них исходили и достаточно странные инициативы. Так, «С. А. Жебелев энергично рекомендовал двух классиков (латиниста М. М. Покровского и грекиста Церетели), М. Н. Розанов — не только ученого исследователя В. Ф. Шишмарева, но и ученого популяризатора Фриче (при одобрении ком[мунистических] делегатов), Н. К. Никольский просил в следующем заседании рядом с Сакулиным поставить на обсуждение и Н. К. Козмина. Мне, конечно, мало интересно, какой из представителей истории русской или зап[адно] европейской литературы попадет к нам. Но я опасаюсь, что мы не получим хорошего лингвиста, потеряв и Томсона и Покровского в пользу Фриче, Переверзева и т. п.».

Ляпунов все-таки позволил себе спорить с Марром в надежде на поддержку бывших сочленов по отделению. Но был разочарован их поведением, о чем и сообщал Соболевскому, вновь уговаривая его принять участие в делах комиссии. «Дело в том, — сетовал ученый, — что после моего ответа Н. Я. Марру и сделанной мною характеристики

ученых трудов Томсона никто (ни Жебелев, ни Карский, ни Никольский) меня не поддержали (П. А. Лавров сказал лишь, что нам необходимо заместить кафедру языковедения в области индоевропейской), так что мне стоило больших усилий настоять, чтобы обсуждение его кандидатуры было продолжено в следующем заседании комиссии 19 октября. Вот при каких обстоятельствах Вы видите, как была бы ценна Ваша поддержка»<sup>39</sup>.

Безусловно, Ляпунов информировал своего одесского друга, хотя вряд ли столь подробно, о решениях, принимаемых комиссией. Томсон, отвечая на очередную открытку Ляпунова, засвидетельствовал свое полное равнодушие к деятельности этого академического органа. «О занятиях „выборных комиссий“ АН, — писал ученый 6 ноября, — я ничего не читал и всей этой махинацией не интересовался; и не понимаю, почему теперь опять и у нас в разных учреждениях снова „поддерживают“ кандидатов и в газетах промывают им косточки и пр[очее]». Томсон еще раз подтвердил, что ко всякой избирательной шумихе относится равнодушно-иронически. «Меня, кажется, — сообщал ученый, — оставляют в покое в газетах, но почему-то тот, то другой при встрече поздравляет и считают кандидатом от Одессы. Я только смеюсь и отвечаю: старая история, о которой говорить не стану, и этим выражают совершенно искренне свое отношение к этой ерунде».

Что действительно интересовало Томсона, так это положение в Академии той отрасли знания, в которой он считал себя специалистом. «Из Вашей открытки заключаю, — констатировал Томсон, — что кафедры сп[равнительного] яз[ыковедения] не будет при вашем отд[елении]. Самое интересное при этом то, что А. И. С[оболевский], по-видимому, поддерживал ее». Последнее замечание говорит о том, что Соболевский взял уговорам Ляпунова и попытался поддержать и кандидатуру Томсона, и ту академическую кафедру, само существование которой не могло не раздражать Марра. В конце письма Томсон достаточно ясно определил свои жизненные установки. «Я лично не нуждаюсь, — объявлял он, — ни в каких Академиях или учреждениях, а лишь в здоровье и книгах, особенно журналах. Горе величайшее, что запрещают такое невинное удовольствие, как видно. После этого, что помогут все блага мира!»<sup>40</sup>

### «Finis Akademiae!»

О результатах деятельности гуманитарных выборных комиссий В. Н. Перетц сообщал М. Н. Сперанскому 15 ноября 1928 г. Не скрывал Перетц своего негодования по поводу способов, к которым прибегали власти для проведения угодных им кандидатов. «Я изумлен, — писал ученый, —

как Комиссии могли пойти на выставление только одного канд[идата] по каждой спец[иальности]. Ведь теперь в сущности „выбора“ не будет!» Перетц в своем письме оценивал научный уровень и шансы различных кандидатов и возможность их избрания. «Из прочитанных — лучше всего были написаны отзывы о Мотовском Богословского и об экономистах — некоего, мне неизвестного, Пашуканиса, — писал он, — дельно, по существу и главное без вранья, которого зато было немало в отзыве Керженцева (впервые встречаю это имя среди спец[иалистов] по зап[адно]европейской литературе?!) о Фриче. Это сплошные „андроны“\*. Тут Перетц не мог удержаться от едких характеристик „однобоких“ по его терминологии кандидатов. При этом ученый проявил осведомленность о дискуссиях, происходивших внутри научно-литературных группировок, близких властям. «О Деборине — такая гипербола, — возмущался Перетц, — что заинтересованный в деле философ[ии] краснел бы, слушая о себе такой акафист. Ну, а Фр[иче] не покраснеет, он для этого слишком и без того красен. А я помню, как его за этот его „марксизм“, также за вульгаризацию марксизма терзали в прежние годы. А сейчас — хвалят! Это, верно, и есть своеобразная „диалектика“ в теперешнем понимании».

О низком профессиональном же уровне партийных кандидатов\* Перетц высказывался без всякого стеснения. «Да и ставить рядом того же Фр[иче] с [М. Н.] Покровским и др[угими] нельзя: то ученые, а это стыдно сказать что!» Ученый с учетом сложившейся ситуации выделил ряд, по его мнению, бесспорных кандидатур. «Я думаю, — писал он Сперанскому, что бесспорно пройдут оба Покровских, Грушевский (хоть и интриган — спец[иалист] по „деструкции“), Рязанов, Петрушевский, оба экономиста — Маслов и Солнцев, хоть и трудно их отнести к „мировым светилам“. Но все это народ солидный»<sup>41</sup>. Перетц оказался прав в своих прогнозах, все названные им кандидаты прошли выборы с первого раза.

О завершении предварительной стадии выборов нового, сильно расширенного состава гуманитарной части Академии 2 декабря 1928 г. Г. А. Ильинский писал М. Г. Попруженко. Он очень точно охарактеризовал итоги выборов как конец Академии. «Недавно состоялись выборы новых членов в А[кадемию] наук по гуманит[арному] отдел[у] в пред-

\* «Подпускать андрона — рязанское врать, лгать, хвастать. Андроны едут — тульское, говорится, коли кто некстати важничает и дуется» (*Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 17.*)

\*\* М. Н. Покровский и В. М. Фриче в секретном приложении к «Постановлению Комиссии ПБ по выборам академиков» входили в безусловно привилегированную первую группу «Члены ВКП(б)» под номерами 3 и 7 (Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 53).

последней стадии. А. И. Томсон не прошел, но зато под давлением съыше проведены Бухарин, Лукин, Лузин *et tutti quanti. Finis Akademiae!*<sup>42</sup> А 4 декабря Ляпунов получил письмо от Томсона. «Меня огорчает не исход дела, — писал ученый, — но те беспокойства, труды, огорчения и волнения, которые я невольно причинил, прежде всего, и больше всего Вам, а также в равной степени остальным членам, поддерживавшим мою кандидатуру». Томсон подчеркивал, что для него важнее всего высокая собственно научная оценка его трудов и признание ближайших коллег. «Мое прошлогоднее избрание в отд[елении] р[усского] яз[ыка], — продолжал ученый, — несомненно делает мне больше чести, чем могло бы оказаться нынешнее полное избрание». Томсона вполне удовлетворила позиция несправедливо не признанного ученого, чему примеры в истории Академии встречались и ранее. «Быть в компании с Менделеевым и пр[очими], — считал ученый, — не так уж плохо. Притом быть под дирижерской палкой Ольд[енбурга] мне все равно было бы немоготу»<sup>43</sup>. Таким образом завершилось тянувшееся с начала 1926 г. дело, когда ОРЯС единодушно поддержало кандидатуру Томсона.

В январе 1929 г. выборы, проведенные отделениями Академии в декабре 1928 г. под сильным давлением властей, были утверждены Общим собранием Академии. С ними фактически завершилась ее советизация, властям удалось сразу же провести почти всех своих выдвиженцев. Однако одиозность некоторых кандидатур привела вначале к скандалу, а затем к их провалу на выборах, три кандидата-коммуниста были забаллотированы. Откровенный нажим власти, добивавшейся проведения «своих» кандидатур, вызвал отпор со стороны группы академиков, возглавленной В. И. Ворнадским с участием И. П. Павлова. В прессе была развернута травля Академии передовой «общественностью», раздавались неприкрытые угрозы и со стороны властей<sup>44</sup>. Слабая попытка сопротивления Академии привела к проведению в феврале 1929 г. повторных и успешных выборов для забаллотированных: А. И. Деборин, В. М. Фриче и Н. М. Лукин стали академиками<sup>45</sup>. В советское время одним из главных успехов проведенной реформы признавалось избрание в число академиков восьми коммунистов<sup>46</sup>.

О событиях между выборами и довыборами Ильинский 14 февраля 1929 г. делился своими впечатлениями с Б. М. Ляпуновым: «На меня крайне удручающе подействовала травля Академии наук, — только за то, что часть ее наиболее достойных членов позволила себе в совершенно законных рамках „сметь свое суждение иметь“. Вчера мы здесь торжественно отпраздновали 100-летие смерти Грибоедова, но имели ли мы на это нравственное право, когда производство Фамусовых и Молчалиных достигло у нас фабричных размеров и когда даже Академия наук лишина права свободно высказывать свои мнения?»<sup>47</sup>.

Но этой организационной победы над старой Академией наук властям, по-видимому, было мало. Новые усилия были направлены на вытравливание духа Академии, уничтожение академических традиций. На первое место в дискуссиях, а также в решениях многих государственно-организованных конференций научной общественности был выдвинут тезис о необходимости соответствия научных исследований классовым интересам пролетариата. Н. Я. Марр, выступая в 1929 г. на открытии III Всесоюзного съезда научных работников и рассуждая о перспективах науки в стране, саркастически замечал, что в настоящее время «еще менее можем мы останавливаться на таких пустяках или недомыслиях, как утверждение, что надо сохранить независимость научной работы в целомудрии от святотатственного и гибельного со-прикосновения с общественностью», и «теперь нет ни старых, ни новых путей, а есть один советский путь»<sup>48</sup>. По мнению Марра, «советская общественность не имеет более права относиться к научным работникам... без учета их советски проделанной работы», важнейшей целью общества провозглашалось создание «соответственно нового типа научного работника»<sup>49</sup>.

Резолюция съезда провозглашала, что «идеологический нейтралитет, как и нейтралитет политический, совершенно недопустим в условиях борьбы за строительство социализма»<sup>50</sup>. Пропагандисты решений съезда утверждали, что существует некая группа ученых, которая «воплотила и сконцентрировала в себе все традиции старой капиталистической школы, весь быт и уклад капиталистического строя. Группа эта количественно мала, но идеологически вредна своим влиянием», и необходимо «разоблачение ее реакционной сущности, скрывающейся иногда за нейтралитетом и даже лояльностью»<sup>51</sup>.

Этот же съезд научных работников выдвинул как основной тезис -- «прежде всего, необходимо перед научными работниками поставить задачу овладения методомialectического материализма и применения его к самым различным отраслям научного знания»<sup>52</sup>. Вопрос о какой-либо соревновательности собственно научных методологических концепций не стоял. Утверждалось, что «широкое развертывание идеологической борьбы на всех участках научной работы будет способствовать оформлению и укреплению научно-марксистских материалистических сил, развитию научной марксистской критики и внедрению материалистически dialectического мировоззрения»<sup>53</sup>. Перенесение идеи «обострения классовой борьбы» на почву науки было также зафиксировано в резолюции съезда, в ней признавалось необходимым усиление борьбы «за новый научный метод, за насыщение науки классовой идеологией пролетариата и дальнейшего изгнания из нее идеализма, мистицизма, шовинизма и т. п.»<sup>54</sup>.

Идеологическая борьба требовала обнаружить явных или скрытых противников, и таковые достаточно точно указывались. Удар нацеливался на Академию наук, некоторые представители которой в публикациях за рубежом сетовали на сложности в положении отечественной науки. Их единичные высказывания намеренно раздувались и оценивались как «носящие политico-демонстративный характер»<sup>55</sup>.

Организующую роль в привитии всем исследователям материалистического марксистского мировоззрения должна была играть Коммунистическая академия, созданная еще в 1918 г. С самого начала она была предназначена противостоять Академии наук. Как писал известный марксистский литературовед И. К. Луппл: «...каждый из этих полюсов был центром со своими „полюсами тяготения“, эти „поля тяготения“ далеко не были равновелики. Марксизм завоевывал высшие учебные заведения и научные учреждения медленно, постепенно, но упорно»<sup>56</sup>. В том же 1929 г. участники пленума Коммунистической академии заклеймили «мирное сотрудничество» с учеными «немарксистами и единодушно решили положить этому конец»<sup>57</sup>.

Робкие попытки Академии наук ослабить идеологический натиск вызывали прямые упреки ее в «мракобесии». Так было охарактеризовано «выступление аспирантуры Академии наук против необходимости изучения для них марксистского минимума и необходимости (не взамен ли или в противовес марксизму?) тщательного изучения... также и традиций Академии наук»<sup>58</sup>. Традиции Академии наук прямо противопоставлялись марксизму — это было уже политическим обвинением самой Академии.

Вскоре, 27 мая, было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О научных кадрах ВКП(б)», в котором, в частности, требовалось «активное участие общественных организаций в выдвижении новых аспирантов и устранении личного усмотрения профессуры; соблюдение классового принципа в подборе аспирантов, стажеров и проч.». «В числе выдвиженцев необходимо соблюдать не менее 60 процентов членов партии, выдвигая в первую очередь выходцев из рабочих и крестьян»<sup>59</sup>. Это активное давление на Академию наук и высшую школу квалифицировалось как наступление на «фронт науки», означающее «не что иное, как наступление революционного марксизма-ленинизма»<sup>60</sup>. В решениях ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) также отмечалось, что «партия должна сосредоточить все свои силы на разрешении проблемы кадров», в том числе и на подготовке «научно-исследовательских и педагогических кадров»<sup>61</sup>.

На самом деле у только что избранных партийных академиков были еще более далеки идущие планы. В Политбюро поступил 1 ноября 1929 г. «Отчет председателя фракции Академии Наук СССР о сес-

сии Академии 28–30 октября 1929 года» М. Н. Покровского. Отчет был в основном посвящен обсуждению всевозможных планов по смене руководства Академии. Все это должно было служить одной цели, уничтожению академических традиций. Как писал Покровский: «С осуществлением этой реформы из жизни нашей страны исчезнут последние остатки ученой касты и возникнет новый, можно надеяться, весьма мощный научный коллектив такого типа, какие нам нужны для осуществления задач, стоящих перед нашей страной»<sup>62</sup>.

Академия наук в своем новом состоянии не могла не откликнуться на указания партии. Еще накануне ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б), в октябре, Общее собрание Академии утвердило «Положение об аспирантах при Академии наук СССР». В нем нашли отражение все высказанные правящей партией пожелания<sup>63</sup>. Н. С. Державин не преминул также отреагировать на «Положение» «Открытым письмом молодым научным работникам». «Действительно, — вещал ученый, — Советскому Союзу нужна научная „смена“, но смена не в возрастном смысле или, вернее говоря, не только в возрастном смысле, но прежде всего и после всего в смысле идеологическом. Нам нужны не только молодые талантливые ученые, но молодые ученые, способные внести дух рабочей революции в науку, т. е. революционизировать науку и новым содержанием, и новыми устремлениями, и новыми методами, и новой рабочей идеологией». Далее он в духе времени еще более детально конкретизировал требования к молодым ученым. «Мало быть только ученым и даже талантливым ученым, — утверждал Державин, — надо стать ученым-рабочим, т. е. ученым, проникнутым идеологией рабочего класса, его порывом и его настроением, непреклонным в своей воле пред стоящими внешними и внутренними трудностями, чтобы быть способным оработать и свою науку»<sup>64</sup>.

В такой обстановке стали готовиться новые выборы на освободившиеся вакансии. Об этом думали и власти и члены академии. Так, Политбюро ЦК ВКП(б) 8 июля 1929 г. предлагало провести, например, «по литературе А. В. Луначарского — кандидатура которого тоже сравнительно академична, но „с более общественным, чем у Волгина, уклоном“, — по выражению ак. Марра, который всецело ее поддерживает»<sup>65</sup>.

Результатом подобного предложения стало официальное решение Отделения гуманитарных наук, зафиксированное в протоколе № 1 от 30 января 1930 г. На кафедру, освободившуюся после смерти А. И. Соболевского, был предложен А. В. Луначарский, после М. М. Богословского — Волгин. Что характерно, необходимые в таком случае отзывы о научных заслугах претендентов были подготовлены новыми академиками — соответственно П. Н. Сакулиным и Н. М. Лукиным<sup>66</sup>.

Фактически Политбюро управляло делами Академии наук через образовавшуюся в ней фракцию членов ВКП(б). Интересно прояснить, каковы были взгляды «академичного» Луначарского. Через три недели после его официального выдвижения 23 февраля 1930 г., он уже вместе с новым академиком Н. И. Бухарином направили обращение в Политбюро о необходимости реорганизации Академии наук. Оба деятеля отдавали явное предпочтение в научных делах Комакадемии, поэтому пункт «б» их проекта выглядел следующим образом: «сохраняя на ближайший период гуманитарное отделение, вести линию на постепенную его ликвидацию и передачу в перспективе его институтов Комакадемии». Тут же утверждалось, что теперь «академики должны удовлетворять не только требованиям научной квалификации, но и политическим требованиям»<sup>67</sup>. Эти предложения носили, безусловно, политический характер, не имеющий никакого отношения к вопросам «научной квалификации».

Через пять лет власти приняли прямо противоположное решение: весной 1936 г. была ликвидирована Комакадемия. К этому периоду относится откровенное письмо К. Радека И. В. Сталину от 2 февраля 1936 г., с выводами которого Stalin согласился. В этом письме есть специальный пассаж, сопоставляющий научную квалификацию академиков двух Академий. Радек писал: «Как мне говорили, вливание Комакадемии в Академию Наук сопровождается переводом ряда комакадемиков в „настоящих“ академиков. За малым исключением, наши комакадемики очень мало знают. Понятно, что они хотят въехать на белом коне. Но это не выйдет. Если они хотят действовать на стариков, сидящих в Академии Наук, то им надо подучиться. Подготовить конкретные доклады, а не щеголять только тем, что Маркс и Ленин были умнее всех буржуазных ученых. Это также говорит за то, чтобы подождать и подготовиться, а не спешить и людей насмешить»<sup>68</sup>. Но подобные трезвые размышления прозвучат не скоро, а пока у победившей стороны превалировало желание добить, несмотря даже на серьезное вливание академиков-коммунистов, гуманитарную часть Академии.

Члены бывшего ОРЯС также готовились к выборам. Они предложили на место Соболевского своего кандидата. В письме, направленном непременному секретарю АН СССР 21 сентября 1929 г. Е. Ф. Карским и Ляпуновым, отмечалось: «На освободившуюся по смерти академика А. И. Соболевского кафедру в разряде языков и литератур европейских народов Отделения Гуманитарных Наук было бы желательно рекомендовать специалиста в той области знаний, которая была главным предметом исследований покойного академика, т. е. в области языков русского и ближайше родственных с ним и культурно связанных языков восточной Европы»<sup>69</sup>. И таким кандидатом они считали

Н. Н. Дурново. Предлагали они его, «чувствуя недостаток в специалисте по русскому языку во всем его временном и пространственном разнообразии», причем свой выбор они производили «из числа видных специалистов в этой области (Н. Н. Дурново, Н. М. Каринского, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова)»<sup>70</sup>. В тот же день Карский вместе с профессорами С. П. Обнорским и М. Г. Долобко подписал аналогичное письмо с рекомендацией Дурново<sup>71</sup>. Достойным избрания считал ученого и А. И. Томсон, писавший 30 декабря 1929 г. Ляпунову: «Надеюсь, что Дурново все-таки пройдет. Он дальний ученый и нужный для Вас»<sup>72</sup>.

В данном контексте, интересно отметить, что в письме Дурново от 17 ноября 1927 г. еще во время пребывания того в Чехословакии, Ильинский писал: «Но Вы не падайте духом. Наверное, Ваши заслуги в области изучения русс[кого] яз[ыка] в конце концов найдут достойную оценку если не в Москве, то в Академии Наук»<sup>73</sup>. С еще большей определенностью ученый подтвердил свое мнение в письме от 5 мая 1928 г.: «Ваши научные заслуги всеми признаются, и я едва ли выскажу только свое мнение, если напишу Вам, что Вы являетесь естественным преемником Соболевского в Акад[емии] Наук, если, по какой-либо причине, там невозможен Ваш симбиоз с ним в данный момент»<sup>74</sup>. Но перспективы выборов Дурново быстро развеялись после его исключения в том же 1929 г. из состава Белорусской академии наук.

Кстати, коллеги-филологи высоко ценили научные заслуги и самого Ильинского. В августе 1929 г. Перетц, рассуждая в письме к Сперанскому о трех возможных кандидатурах на академическое звание среди филологов, отдавал предпочтение Ильинскому: «Карин[ский] — оч[ень] соврем[енный] кандидат, если играть на „понижение“ академич[еского] ценза и авторитета. Поэтому он имеет, вероятно, шансы. Дурн[ово] крупнее — самостоятельнее; а Гриша (Ильинский. — M.P.) — хоть чудак, но звезда, затмевающая их обоих по части изобретательности»<sup>75</sup>.

К осени 1929 г. голос «научной общественности» был услышан. К мерам организационно-идеологическим были добавлены и массовые репрессии по отношению к ученым, в основном гуманитариям. Органами ОГПУ был спровоцирован кризис в Академии наук, дело касалось так называемого «обнаружения» хранившихся в академических библиотеках и архивах документов «большого политического значения» — в основном документов дореволюционных партий, в том числе и РСДРП. Последовало отстранение от должностей ряда академиков, и вскоре начались аресты, было сфабриковано «дело» академика С. Ф. Платонова<sup>76</sup> или «Академическое»<sup>77</sup>. Пострадали сотни научных работников всех рангов, в том числе много славистов старшего и среднего поколения.

Нужные показания органы добывали с необычайной быстротой. В Политбюро 9 января была направлена докладная записка, одним из

авторов которой был зампред ОГПУ Г. Г. Ягода. В записке авторитетно заявлялось — «подтверждается существование в Академии Наук монархической группировки, в которую входят академики: ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, ИСТРИН Василий Михайлович, ПЕРЕТЦ Владимир Николаевич, РОЗАНОВ Матвей Никанорович, ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ Франц Юльевич, КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович, ЩЕРБАТСКОЙ Федор Ипполитович и недавно умершие СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Иванович и ЛАВРОВ Петр Алексеевич»<sup>78</sup>. Из девяти упомянутых академиков пятеро, включая двух покойных, при надлежали к ликвидированному Отделению русского языка и словесности. Вывод записи был однозначен — «по обстоятельствам дела ОГПУ считает необходимым немедленный арест академика Сергея Федоровича ПЛАТОНОВА и в случае необходимости допрос академиков: ПЕРЕТЦА, КРАЧКОВСКОГО, НИКОЛЬСКОГО и КРЫЛОВА А. Н. с правом последующего ареста, в случае подтверждения имеющихся на них компрометирующих материалов или обнаружения новых»<sup>79</sup>. Но для ареста Перетца время еще не наступило. Только в 1934 г. он был «поставлен» во главе другого сфабрикованного ОГПУ заговора.

Несмотря на это академики-слависты продолжали предпринимать попытки избрать в состав Академии ученых, имевших несомненные заслуги. И недаром фамилия Ильинского уже возникала в письме Перетца. В марте 1930 г. коллеги решили в перспективе выборов уже 1931 г. придать делу выдвижения Ильинского в академики соответствующее оформление. Организацию этого дела взял на себя Ляпунов, что следует из письма Ильинского. Ученый писал 19 марта Ляпунову: «Ваше письмо от 15.III. 1930 повергло меня в величайшее смущение. С одной стороны, устрашающий пример судьбы кандидатуры Н. Н. Дурново, а, с другой стороны, предстоящие хлопоты о пенсии (которая даже научным работникам выдается теперь с большим разбором), бросали меня в хаос самых противоречивых желаний и ощущений. В конце концов, посоветовавшись с М. Н. Сперанским, я решил не отказываться от Вашего в высшей степени лестного предложения и потому считаю своим первым долгом принести Вам мою горячую и сердечную благодарность, что Вы остановили Ваш выбор на мне».

Ильинский принял предложение, не питая, однако, особых надежд. Абсурдность ситуации заключалась в том, что ученый был вынужден всерьез думать о составе списка своих научных работ, учитывая при этом идеологические пристрастия партийных надзирателей над наукой. Он писал: «При сем прилагаю список работ. Но не хочу скрывать от Вас моих опасений, — не повредит ли он мне? Когда то в [арици] коммунисты увидят в нем всякие Евангелия, апостолы, служебные минеи, Афоны и пр[очее], то, пожалуй, они придут в ужас и

вообразят во мне пропагандиста религии. Поэтому я ничего не буду иметь против, если Вы сократите этот список по Вашему личному усмотрению. Мы, конечно, не откажемся вновь переписать его, если потребуется. Я, конечно, заранее знаю, что Марр скорее нагромоздит Пелион на Осиз, чем допустит мою кандидатуру. Но, быть может, его влияние не будет всемогуще»<sup>80</sup>.

Подготавливая соответствующую записку о научных трудах Ильинского, Ляпунов заручился согласием на ее подписание и ближайшего коллеги. Так, уже 30 марта Ильинский писал Карскому: «Третьего дня я получил письмо от Б. М. Ляпунова, в котором он мне сообщил, что Вы дали свою подпись под его запиской о моей научной деятельности. Хотя я смотрю на вещи трезво и прекрасно понимаю, что моя кандидатура в [действительные] члены АН, при сложившихся условиях, имеет весьма слабые шансы на успех, все же Ваша поддержка имеет для меня огромное моральное значение, и вот почему я спешу принести Вам мою сердечную благодарность за то, что Вы нашли возможность украсить „Записку“ Вашим славным именем!»<sup>81</sup> В тот же день Ильинский писал и Ляпунову, еще более пессимистически определяя свои шансы, но при этом проявляя твердую решимость идти на выборы. «Конечно, я знаю, — утверждал ученый, — что предстоящие выборы представляют лотерею, где 99% билетов — черные, но мне все равно нечего терять»<sup>82</sup>.

Как представителя академических традиций, Ильинского не могли не раздражать новые советские атрибуты избирательной кампании. «Что касается моих перспектив в А[кадемии] Н[аук], — писал ученый 29 апреля 1930 г. Ляпунову, — то я, конечно, сам смотрю на создавшуюся ситуацию трезво и нисколько не самообольщаюсь напрасными надеждами [...] Но меня удивляет одно: если при выборе [действительных] членов в Акад[емию] обществ[енная] деятельность кандидатов играет большую роль, чем научные заслуги, то почему не переименуют Академию наук в „Академию обществ[енной] деятельности“? Это было бы последовательнее и ... честнее»<sup>83</sup>. К подписям Ляпунова и Карского под «Запиской об ученых трудах проф. Гр. А. Ильинского» присоединились еще Перетц и В. М. Истрин. Академики, рекомендую Ильинского, в первых же строках «Записки» указывали: «Открывшаяся со смертью П. А. Лаврова вакансия действительного члена Академии Наук СССР налагает на нас обязанность для замещения ее остановиться на ученом мирового значения, наиболее поработавшем в этой области гуманитарно-общественных наук, представителем которой был покойный академик, т. е. в области Славянской филологии»<sup>84</sup>.

В 1930 г. скоропостижно скончался П. Н. Сакулин. Его похороны дали возможность Ильинскому сделать неутешительные наблюдения

над моральными качествами представителей победившего научного направления. Он писал 14 сентября Ляпунову: «И мы крайне поражены и удручены внезапной кончиной П. Н. Сакулина. [...] Похороны были очень многолюдны, и многих поразило, что совершенно отсутствовали представители той „общественности“, перед которыми покойный так много делал реверансов...»<sup>85</sup>

В Академии постепенно стали утверждаться новые внутренние отношения, безусловно, тон задавали выдвиженцы последних лет. Академиков с дореволюционным стажем или избранных в первые послереволюционные годы остались считанные единицы. Обстановка, складывавшаяся вокруг выборов в Академию, все больше подталкивала ученого к выходу из этой игры. Ильинский писал в том же письме Ляпунову: «Я твердо решил еще до конца этого месяца отказаться (письменно) от своей кандидатуры в А[кадемию] Н[аук], только не знаю, на чье имя я должен послать свое отречение, на имя ли Волгина или избир[ательной] комиссии. Конечно, очень грустно открывать дорогу таким беспардонным карьеристам, как Державин, но что делать! В наше время только таким людям честь и место! А мне добиваться этой чести, это значит „преть (так. — *M.P.*) против рожна“»<sup>86</sup>.

Ляпунову удалось уговорить Ильинского повременить, его уверенность хотя и не убедила ученого, но произвела на него сильное впечатление. Уже 29 сентября Ильинский отвечал: «Я до глубины души тронут, дорогой Борис Михайлович, что Вы все еще не отказываетесь от явно безнадежного дела провести меня в Академию. Ведь нет никакого сомнения, что у меня являются сильнейшие противники не только в самой Академии, во и вне ее, и что последние только ждут случая, чтобы начать травлю против меня. Начало ее уже положил один из здешних марровских „молодцов“ „кавказовед“ Н. Ф. Яковлев, который еще в августе напечатал в газете „За коммунистическое просвещение“ возмутительную статью, призывая сторонников марксизма и яфетизма сплотиться против индоевропейстов и начать персональную атаку на них, как „подкулачников“ (!!). В частности, он задел в этой статье М. Петерсона, Д. Бубриха и особенно меня»<sup>87</sup>.

Ильинский оказался прав в своих предчувствиях. В конце года в Москве состоялось обсуждение кандидатур в академики, о чем Ильинский писал Ляпунову 10 января 1931 г.: «Дней десять тому назад здешний Ранимкирх обсуждал кандидатуры славистов в д[ействительные] чл[ены] АН. Щербу отвели как не слависта без обсуждения его других заслуг, как и следовало ожидать, отвели и меня, как „ярого индоевропеиста“, „игнорирующего социологический метод“ и „не желающего перестроиться на новые рельсы“ [...] После этого судилища мне стало окончательно ясно, что выборы новых академиков будут

представлять одну недостойную комедию. Если я не снимал до сих пор своей кандидатуры, то лишь потому, что у меня была надежда, что Волгин сохранил еще искру совести и не будет мне, по крайней мере, мешать. Но после Вашей последней открытки я и здесь убедился в своей наивности. Поэтому третьего дня я послал на имя В. П. В[олгина] официальное заявление об отказе от своей кандидатуры. Согласитесь, настаивать теперь на своих правах значило бы только „прать (так. — M. P.) против рожна“ и причинять лишние неприятности и себе, и тем, которые имели великодушные выдвинуть меня в число кандидатов».

Единственное, что удивило и стало неожиданностью для Ильинского, это то, «что Ранимкирх отклонил — и притом единогласно — и Державина, ввиду слабого значения его научных работ»<sup>88</sup>. Что касается своих конкурентов на выборах, то ученый был как всегда резок в суждениях. Он воспринимал их как явных соглашателей, незаинтересованных идти на какие-либо конфликты с Марром. «Так как новые академики (и Подхализины от науки) Каринский, Державин и Орлов, — писал Ильинский, — не станут ратовать за Прасл[авянскую] гр[аммати]ку, то мне придется в ближайшее время вытребовать ее обратно»<sup>89</sup>.

На следующий день, 11 января 1931 г., Ильинский отправил письмо Карскому, также хлопотавшему за его кандидатуру: «Пользуюсь случаем, чтобы сообщить Вам, что несколько дней тому назад я послал на имя В. П. Волгина официальное заявление о своем отказе баллотироваться в члены АН. Мне недавно стало окончательно ясно, что выборы представляют простую фикцию, и что избрание моего счастливого со-перника предрешено. Я ему уступаю позицию без битвы, хотя и не могу понять, почему бывший директор одной из Санкт-Петербургских гимназий, проводивший там политику похожую на все что угодно, только не на коммунизм, оказался вдруг столь ценным „строителем социализма“»<sup>90</sup>. Отметим, что Н. С. Державин, а именно его имел в виду Ильинский, шел на выборы, даже не являясь членом-корреспондентом.

Информация о том, как проходило обсуждение кандидатур в выборной комиссии, и о том обсуждении в Москве, которое Ильинский описывал Ляпунову, появилась в «Литературной газете». Ученый писал Ляпунову 21 января: «Пользуюсь случаем, чтобы доставить Вам вырезку из здешней Литер[атурной] Газеты. Хотя отзыв о Державине весьма смягчен, все же не мешало бы огласить его при обсуждении кандидатуры его в Отделении. Впрочем, многие здесь думают, что „обсуждение“ фактически не будет допущено, и что избрание этого политического и научного спекулянта предрешено»<sup>91</sup>.

Начиналась статья в газете с отчета о заседании выборной комиссии, председателем которой был избранный академиком за год до этого Луначарский. Итак, сообщалось в газете, «после обсуждения науч-

ных заслуг выдвинутых кандидатов в действительные члены Академии комиссия признала достойными избрания проф. Орлова А. С. (единогласно) и проф. Н. С. Державина (при одном голосе против и одном воздержавшемся). А далее следовала следующая информация под заголовком «Отвод кандидатура (так! — *M. P.*) профессоров: Щербы, Державина, Ильинского в Академию Наук СССР». Обсуждение проводил «Лингвистический разряд Института языка и литературы РАНИМХИРК», который «заявил отвод против кандидатур профессоров Щербы, Державина и Ильинского в члены Академии наук СССР по кафедре славистики».

Что касается кандидатуры Ильинского, то ее характеристика была четко разделена на две части. В первой — признавались безусловные заслуги ученого в области славистики: «Многочисленные труды Г. А. Ильинского относятся к изучению славянской письменности, к славянским этимологиям и к исследованию отдельных языковых явлений. Богатая эрудиция, тщательность в обозрении истории изучения данного вопроса — основные черты трудов Ильинского». В другой — следовало объяснение, почему Ильинский не достоин избрания: «Однако лингвистический разряд РАНИМХИРК отмечает, что профессор Ильинский до сих пор занимает совершенно неприемлемую позицию, стоя на базе индоевропейской теории, без попыток перестроиться, и таким образом, также не может удовлетворить требованиям, предъявляемым к кандидату в члены Академии наук СССР»<sup>92</sup>. Таким образом, оценка полностью строилась по формуле Бухарина–Луначарского: «академики должны удовлетворять не только требованиям научной квалификации, но и политическим требованиям». Отсутствие «попыток перестроиться» в той ситуации уже характеристика политическая.

Характеристика оппонента Ильинского на академическое кресло была с точки зрения профессиональной науки убийственной: «В трудах профессора Н. С. Державина нет ни полноты материала, ни тщательной обработки его, они изобилуют ошибками в изложении фактов славянского языкознания и их объяснении». И с точки зрения теоретико-идеологической к Державину также имелись претензии: «Одна из последних работ профессора Державина — о Перуне — написана в свете яфетической теории; но и эта работа грешит в отношении языковых фактов и недостаточно выражает методологию применяемой теории»<sup>93</sup>.

Следует отметить, что существовали научные сообщества, ценившие прежде всего научные достижения ученых, но они в основном располагались за границами СССР. Поэтому кандидат, «непроходной» на родине, Ильинский был отмечен ими. Еще 21 октября 1930 г. ученый сообщал Карскому: «На днях совершенно неожиданно я получил уведомление от Крак[овской] Академии Наук об избрании ме-

ня ее чл[еном]-корреспондентом]. (Весной я получил аналогичное сообщение от болгарской)»<sup>94</sup>.

Отделение гуманитарных наук подразделялось на несколько профильных групп, и пока у каждой из них еще оставались свои отличия. Странными нравами особенно отличалась «Группа академиков востоковедов». Там практически руководили даже не академики, а «представители» от «научных работников». Так, на заседании Группы 21 декабря 1930 г., на котором присутствовали академики С. Ф. Ольденбург, А. Н. Самойлович, В. М. Алексеев, Б. Я. Владимиров, И. Ю. Крачковский, Ф. И. Щербатской, «представитель от научных работников И[нститута] в[остоковедения]» «тов. Таланов» объяснял академикам, что «собирание рукописей дело важное, но не единственное и даже не главное в экспедиционной работе А[кадемии] н[аук]». «Экспедиция к калмыкам, — поучал докладчик, — только в том случае оправдает себя, если выяснит задерживающее влияние и контрреволюционную роль в жизни калмыцкого народа ламаистких монастырей, монахов и т. д. и наметит пути борьбы с ними и т. д. Организовать „нейтральные“, вне политики стоящие „строго научные“ экспедиции, значит идти вразрез с политикой советской власти»<sup>95</sup>.

Далее на заседании началось обсуждение, более напоминающее скандал. Академик В. М. Алексеев, выдающийся китаевед, заявил, что снимает из издания Института востоковедения статью «Реформа китайского поэтического языка», мотивируя тем, что «теперь, когда Институт востоковедения своей установкой признает только марксистский метод, эта статья неприемлема для Института востоковедения и тем, что к нам относятся резко отрицательно»<sup>96</sup>. Академик А. Н. Самойлович высказал предположение: «Очевидно, В. М. берет статью для переделки ее на новых основах марксистской методологии». На это Алексеев жестко ответил: «Нет. Эта статья не ученическая. Я на китаеведном горизонте — знаток». Затем последовало долгое и демагогическое выступление «тов. Мухарджи» о чрезвычайно внимательном отношении, «которое проявляется к старому востоковедению марксистская и коммунистическая часть научных работников» и т. д. Алексеев еще раз повторил: «Я считаю статью немарксистской. Я имею право взять ее обратно». Но, в конце концов, отмечается в протоколе, Алексеев подает записку секретарю Группы: «Статья моя берется обратно, может быть, и для переделки»<sup>97</sup>.

Подобные же приемы выкручивания рук применялись и при выдвижении в Академию. Подтверждением того, что основополагающую роль при выборе новых академиков носили не столько научные критерии, сколько методологические, идеологические или откровенно политические, служат сообщения об обсуждениях тех или иных кандидатур, содержащиеся в переписке ученых. Так, довольно подробно

С.А.Жебелев информировал В.П.Бузескула об итогах январской сессии Академии. Ученый сообщал в основном о том, от каких кандидатур и по каким причинам пришлось отказаться. Так, речь шла об известном английском византинисте. «О Миннзе было заявлено, — писал Жебелев 1 февраля 1931 г., — что, несомненно, он состоит в сношении с русскими зарубежными учеными». «Я это подтвердил, — продолжал ученый, — [иhrзб.] без длинного разговора указал, что снимаю его кандидатуру»<sup>98</sup>.

Далее Жебелев рассказывал о судьбе других, поддержанных им кандидатурах как иностранных, так и отечественных ученых: «Так как я подписался вместе с Д. М. Петрушевским под кандидатурой Допша, то Волгин заметил мне, что и эта кандидатура вызывает протест, так как Допш явно настроен против марксизма. На что я сказал, что тут первое слово за Д. М., но если Допшу грозит провал, то я предпочел бы лучше его не баллотировать. Волгин сказал, что он также и против кандидатуры Ясинского ввиду того, что его работы имеют слишком узкий интерес».

Далее Жебелев комментировал представление главных претендентов на звание академиков: «Читали отзывы о кандидатурах в действительные члены: Марра о Державине (хвалебный), Никольский (отсутствовал) об Орлове (средний) [...] При чтении отзыва Марра о Державине нужно иметь в виду, что тот пассаж, где имеются ссылки на Шахматова, изложен не в соответствии с действительностью»<sup>99</sup>. И вновь академическое начальство вернулось к кандидатам иностранцам. Теперь к кандидатуре Допша была добавлена кандидатура члена Венской академии А. Вильгельма. «Снова, — писал Жебелев, — Волгин предложил мне снять кандидатуру Вильгельма, и так как доводов не приводили, я снова отказывал. Длинный разговор о Допше. Волгин откровенно говорил, что часть членов будет голосовать против Допша. Лукин характеризует Допша как яркого антимарксиста. Марр заявил, что если мы будем выбирать Допша, то в чем же [иhrзб.] перестройка Академии»<sup>100</sup>.

Коллегам все-таки не удалось снять с обсуждения кандидатуру профессора Венского университета А. Допша, специалиста по раннему средневековью, но до окончательной баллотировки дело не дошло. Как зафиксировано в протоколе заседания Отделения общественных наук № 1 от 30 января 1930 г.: «Заслушан отзыв об Альфонсе Допше ак[адемика] Д. М. Петрушевского. Постановлено: После произведенного голосования — кандидатуру Альфонса Допша снять»<sup>101</sup>.

О произведенной баллотировке в отделении Жебелев сообщал: «Державин 13+ 5-, Орлов 14+ 4-, (член. коры) Обнорский 15+ 3-, Ржига 10+ 8-, Младенов 13+ 5-, Пиксанов 12+ 6-, Чернышев 12+ 6-, [...] Ясинский 10+ 8- (NB. Все провалившиеся получили одинаково по 8— каждый)»<sup>102</sup>. Не очень уверенное прохождение Державина в Отделении породило даже сожаление по упущенными его противниками возможно-

стям. Ильинский сетовал на неоправданную пассивность тех коллег, которых он считал единомышленниками. Он писал 15 февраля 1931 г. Ляпунову: «М. Н. Сперанский почти при каждой встрече со мной утверждал, что кандидатура Державина обеспечена. А между тем, если бы не поленились приехать на выборы М. М. Покровский и М. С. Грушевский, то Державин наверное не прошел бы в Отделении, и кресло осталось бы свободным — не для меня, конечно, а для какого-нибудь другого вполне достойного кандидата, например, А. М. Селищева...»<sup>103</sup>

Если показатели Державина и А. С. Орлова отличались при голосовании незначительно, то данные голосования на Общем собрании Академии, состоявшемся 1 февраля, были весьма различны: «Державин 32+ 11-, Орлов 40+ 3-»<sup>104</sup>. Столь ощущимое недоверие даже сильно преобразованного научного сообщества к научным достижениям Державина — разительно.

Образование под руководством Н. С. Державина Института славяноведения не улучшило положения в области славянской филологии, традиционно составлявшей основу этой отрасли гуманитарного знания. Заметим, кстати, что при специальном обсуждении в Институте славяноведения 18 ноября 1931 г. вопроса «о приглашении к сотрудничеству в Инславе русских славяноведов Селищева и Ильинского» было принято решение: «От приглашения к сотрудничеству в Инславе и его трудах славяноведов Селищева и Ильинского воздержаться»<sup>105</sup>.

А на заседании «Группы литературы» Отделения общественных наук от 28 ноября 1931, проходившем под председательством Державина, состоялось достаточно знаковое обсуждение. Причем следует отметить, что предметом обсуждения становилось зачастую не столько содержание тех или иных докладов, сколько их методологическое направление. Так, один из участников обсуждения доклада Перетца «Мысли о задачах современного изучения украинской литературы эпохи феодализма», только что избранный академиком А. С. Орлов «обращает внимание как на бесспорное достижение доклада — на устремление докладчика в сторону диалектического материализма и марксизма»<sup>106</sup>. Полагаем, что это было явным преувеличением, но приписать докладчику именно такое, а не какое-либо иное чуждое «устремление», уже считалось хорошим тоном<sup>\*</sup>.

В Академии прочно закрепились новые внутренние отношения, безусловный тон задавали выдвиженцы последних лет. Академиков-славистов с дореволюционным стажем или избранных в первые послереволюционные годы остались считанные единицы, а такие новые достойные кандидаты как, например, Томсон, Дурново, Ильинский не смогли пройти в Академию по политico-идеологическим причинам. И по этим же причинам академиком был избран Державин.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 335. Л. 1–2.
2. Соловьев Ю. И. Почему академик В. Н. Ипатьев не стал нобелевским лауреатом... С. 630.
3. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 335. Л. 2.
4. Там же. Л. 6.
5. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 138 об.
6. О цикле погромных статей, направленных против Академии наук и появившихся в этой газете в следующем 1928 г., см.: Горяинов А. Н. «Ленинградская правда» — коллективный организатор «великого перелома» в Академии наук... С. 107–114.
7. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 135 об.–136.
8. Там же. Л. 139.
9. ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 145. Л. 18–19.
10. Там же. Д. 160. Л. 39–40.
11. Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 148.
12. Там же. Д. 177. Л. 21.
13. Там же. Д. 226. Л. 151, 151 об.–152.
14. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 176. Л. 23–23 об.
15. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 165 об.
16. Там же. Л. 165–165 об.
17. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 30–30 об.
18. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 177 об.
19. Там же. Л. 179–179 об.
20. Там же. Л. 180–180 об.
21. РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 77.
22. Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 267. Л. 28.
23. Там же. Л. 28–28 об.
24. ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 649. Л. 21.
25. Академия наук СССР... С. 287.
26. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 99–99 об.
27. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 83 об.
28. Там же. Л. 84 об.
29. Там же. Л. 86.
30. Там же. Л. 93 об.
31. Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 160. Л. 42–42 об.
32. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 98–98 об.
33. Българо-руски научни връзки... С. 138.

34. Там же. С.139.
35. Там же. С. 140
36. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 201 об.
37. РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Д. 331. Л. 67 об.–68.
38. ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 287. Л. 32.
39. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 36–38 об.
40. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 110–110 об.
41. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 221–222.
42. Българо-руски научни връзки... С. 143
43. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 112.
44. *Тугаринов И.А. ВАРНИТСО и идеологизация науки...* С. 144–146.
45. *Брачев В. С. Укрощение строптивой...* С. 121, 122, 124.
46. Академия наук СССР... С. 288.
47. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 197.
48. Научный работник. 1929. № 4. С. 19–20.
49. Там же. С. 19, 17.
50. Там же. С. 49.
51. Там же. С. 35.
52. Там же. С. 24.
53. Там же. С. 35.
54. Там же. С. 54.
55. Там же. С. 24.
56. Там же. № 11. С. 4.
57. Там же. № 5–6. С. 92.
58. Там же. № 7–8. С. 6.
59. Там же. № 9. С. 126.
60. Там же. № 11. С. 4.
61. Цит. по: Академия наук СССР... С. 290.
62. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 79.
63. См.: Академия наук СССР... С. 290–291.
64. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 839. Л. 2–3.
65. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 66.
66. ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1–1930. Д. 256. Л. 6.
67. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 92.
68. Там же. С. 226–227.
69. ПФА РАН. Ф. 292. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
70. Там же. Л. 4.
71. Там же. Л. 1–3.

72. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 127 об.
73. РГАЛИ. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 17. Л. 1 об.–2
74. Там же. Л. 4.
75. ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 237.
76. Брачев В. С. Дело академика СФ. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 117–129.
77. Горяинов А. Н. Еще раз об «Академической истории»... С. 180–181; Академическое дело 1929–1931 гг.
78. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 88.
79. Там же. С. 90.
80. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 258–259.
81. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 56. Л. 5.
82. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 260.
83. Там же. Л. 267 об.
84. Цит. по: Баранкова Г. С. К истории создания второго издания «Праславянской грамматики»... С. 244–245.
85. ПФА РАН. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 282 об.–283.
86. Там же. Л. 283–283 об
87. Там же. ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 285 об.
88. Там же. Л. 295–296 об.
89. Там же. Л. 296 об.
90. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 56. Л. 14–14 об.
91. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 298–299.
92. Там же. Л. 300.
93. Там же.
94. Там же. Ф. 292. Оп. 2. Д. 56. Л. 9.
95. Там же. Ф. 1. Оп. 2–1930. Д. 3. Л. 126 об., 127.
96. Там же. Л. 128.
97. Там же. Л. 128–128 об.
98. Там же. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 47–47 об.
99. Там же. Л. 47 об.
100. Там же. Л. 48.
101. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1931. Д. 259. Л. 2 об.
102. Там же. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 48.
103. Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 301–301 об.
104. Там же. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 48.
105. Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 7. Л. 17 об.
106. Там же. Ф. 1. Оп. 1–1931. Д. 259. Л. 107.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ:**

**Из опыта отечественной славистики  
(1917 – начало 1930-х гг.)**

Период 1917 — начала 1930-х гг. стал временем столкновения традиционного филологического славяноведения и его ведущих представителей, составлявших элиту Академии наук, с проблемами, никогда ранее не встречавшимися не только в истории развития отечественной науки, но и в обыденной жизни ученых.

Радужные надежды либерально настроенного научного сообщества, вызванные Февральской революцией, довольно быстро развеялись и сменились шоком после революции Октябрьской. Академическая элита, в том числе ее славистическая часть, в рядах которой придерживавшихся традиционно консервативных взглядов было не меньше, чем либералов, встретила приход к власти большевиков в основном враждебно. На какое-то время лейтмотивом писем ученых друг к другу становится мысль о неизбежной гибели России.

Ученые, имевшие до революции высокий социальный статус, превратились в новой для них политической обстановке и социальной среде в элементы чуждые и потому подозрительные. С точки зрения новой власти, они в лучшем случае занимались делом, для общества бесполезным, а в худшем — вредным и даже опасным.

Испытания Гражданской войны в полной мере отразились и на жизни научной элиты страны. Только такой источник, как письма, может свидетельствовать, с одной стороны, о той мере отчаяния, а с другой — о неистребимом оптимизме, которые соседствовали в умонастроениях научного сообщества. Отчаяния было гораздо больше: мучительны поиски пропитания, отсутствие дров зимой и вечный холод в квартирах и вызванные всем этим преждевременные кончины многих коллег, аресты профессуры и расстрелы заложников — темы, вышедшие в переписке на первый план. Однако и эпоха нэпа с характерной для нее стабилизацией не принесла принципиального улучшения в жизнь ученых — одни трудности сменились другими. Начало эпохи «великого перелома» живо напомнило уже когда-то пережитые трудности, «возвращение к предыдущему», как философски обобщил это А. И. Соболевский, «ничто под луною не ново».

И все же огромные бытовые трудности на протяжении всего постоктябрьского пятнадцатилетия не могли отвратить ученых от исследовательской и преподавательской работы. Более того, именно в

самозабвенном служении науке многие из них искали спасения от постоянных жизненных невзгод и состояния моральной подавленности, продолжая развивать традиционную для славяноведения проблематику, приоритетными темами которой являлись славянские древности в самом широком смысле, старославянский язык, кирилло-мефодиана, средневековая литература, этнография и т. д. Несмотря на объективные трудности с реализацией своих научных исследований как объективного характера — нехватка у государства средств и бумаги, так и субъективных — «неактуальность» или несоответствие исследований господствующей методологии, ученым все же удавалось печатать свои сочинения. Приведем лишь отдельные примеры.

Так, В. М. Истрин издал в 1920-е гг. три тома «Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе». Е. Ф. Карский завершил второй и третий выпуски третьего тома капитального труда «Белорусы» (1921, 1922), в 1928 г. увидела свет его «Славянская кирилловская палеография». П. А. Лавров издал на Украине в 1928 г. исследование «Кирило та Методій в давньослов'янській письменності», а «Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности» вышли уже после смерти ученого в 1930 г. Д. К. Зеленин смог опубликовать свою известную работу «Russische (Ostslavische) Volkskunde» только в Германии в 1927 г. Русское издание под названием «Восточнославянская этнография» появилось лишь в 1991 г.

М. Н. Сперанский выпустил в 1920-е гг. значительное число статей, среди них: «К истории взаимоотношений русской и юgosлавянских литератур (Русские памятники письменности на юге славянства)» и «Славянская письменность XI–XIV вв. на Синае и в Палестине». Его «Тайнопись в югославянских и русских памятниках письма», опубликованная в 1929 г., оказалась последней книгой в серии «Энциклопедия славянской филологии».

В. Н. Перетц издал в 1922 г. «Краткий очерк методологии истории русской литературы», после нескольких лет безуспешных попыток найти издателя опубликовал свой труд «„Слово о полку Ігоревім“. Памятка феодальної України — Руси XII віку» на Украине в 1926 г. Он смог частично издать цикл сборников своих статей «Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв.» (1928, 1929), следующий сборник был подготовлен к печати<sup>1</sup>, но из-за ареста и осуждения ученого появился только в 1962 г.

Следует отметить, что для многих славистов-лингвистов вопрос о возможности реализации их трудов стоял очень остро. Значительную, а иногда и большую часть своих работ они вынуждены были печатать за границей. Н. Н. Дурново опубликовал свое «Введение в историю

русского языка» в 1927 г. в Чехословакии, там же вышли его статьи «Мысли и предположения о происхождении старославянского языка» (1929) и «Славянское правописание X–XII вв. (1933). Цикл «Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка» (1924, 1925, 1926) был напечатан в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. За 10 лет с 1925 по 1934 гг. ученый опубликовал на родине 23 работы, за границей – 89. С 1931 г. соответственно – 3 и 37.

А. М. Селищевым в 1928 г. издано исследование «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)». Однако большинство его работ увидело свет в Болгарии. В 1929 г. вышла монография «Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии». В 1925 г. он подготовил к изданию работу «Введение в изучение славянских языков» объемом 45 печатных листов, которую первоначально предполагал издать также в Болгарии. Она частично была опубликована в 1941 г. под названием «Славянское языкознание. Т. 1. Западнославянские языки». За 10 лет с 1925 по 1934 гг. опубликовал на родине 21 работу, за границей – 42. С 1931 г. соответственно – 3 и 20.

Г. А. Ильинский долгие годы работал над капитальным трудом «Праславянская грамматика», который впоследствии был запрещен к изданию и пропал. Свой «Опыт систематизации кирилло-мефодиевской библиографии» он опубликовал в Болгарии в 1934 г. За 10 лет с 1925 по 1934 гг. им издано на родине 15 работ, за границей – 50. С 1931 г. соответственно – 1 и 10.

Письма позволяют услышать голос уходившего со сцены поколения ученых – носителя академических традиций – и увидеть детали их судьбы, которые являются неотъемлемой частью коренного преобразования отечественной гуманитарной науки.

С утверждением тоталитарного государства с присущим ему господством одной определенной идеологии во всех сферах жизни страны, в том числе и в науке, для славистики наступили тяжелые времена. Новая государственная идеология имела своими приоритетами не национальные, а интернациональные и классовые ориентиры. Власти строили свое отношение к науке и высшему образованию, исходя из целого комплекса принципов, прежде всего политических, идеологических, а также теоретико-методологических. Поэтому наука, для которой этническое родство славянских народов является аксиомой, которая сама развивалась на почве идеи славянской взаимности, оказалась совершенно не нужной новой власти. С точки зрения как внешней, так и внутренней политики, в довоенный период указанная идея была признана вредной, ибо она, с одной стороны, представлялась

большевистской эlite пережитком «реакционного панславизма», а с другой — возможным обоснованием единения новых славянских государств, занявших антисоветскую позицию. Славяноведение в целом и славянская филология как его основа, традиционно сложившееся ядро, остались без какой-либо поддержки в сфере идеологии и политики, крайне важной в условиях тоталитарного режима.

Кроме того, и собственно на научной ниве у славистики появился принципиальный противник — «новое учение о языке», причем противник, имевший как раз самую активную поддержку со стороны носителей и выразителей новой «передовой» идеологии. Теоретические постулаты марризма не оставляли для славистики места в науке. После окончательного превращения «нового учения о языке» в «марксистское языкознание» и методологический фундамент всей филологической науки славяноведение было обречено на уничтожение.

Многие ученые-гуманитарии не выдержали тяжелых жизненных испытаний периода Гражданской войны. Столкнувшись с карательными органами новой власти, побывав в тюрьмах и концентрационных лагерях, они предпочли покинуть родину. Выехали ученые, которые являлись представителями научной элиты или могли составить ее в перспективе. Но, безусловно, основные силы русского славяноведения остались на родине. И письма эмигрировавших подтверждают статус отечественных ученых-славистов как наиболее авторитетных в своей области. Слависты-эмигранты старались привлечь к совместной научной деятельности русскую академическую элиту, которая со своей стороны охотно откликалась на эти предложения. Добившись определенного положения в науке, славянских и западноевропейских стран, ученые-эмigrанты направляли в СССР своих учеников, которые со временем заняли в славистике своих стран ведущие позиции (Р. Ягодич, К. Менгес, М. Вольтнер и др.). Таким образом, и сами эмигранты, и их ученики переносили в мировую славистику академические традиции русской науки. Эпоха «великого перелома» пресекла налаживавшиеся контакты обеих частей русского славяноведения.

Но и среди представителей старшего поколения встречались ученые, искренне стремившиеся принять новую власть, особенно если в ее политике они обнаруживали созвучие своим взглядам. В этом отношении характерны рассуждения К. Я. Грота, считавшего себя сторонником «старой (московской) подлинной славянофильской школы», «демократом и народником». Многие постулаты советской власти, особенно ее «антибуржуазность» и «антиимпериализм», представлялись ученому воплощением славянофильской идеи противостояния романо-германскому Западу. Грот находил в коммунистическом учении черты, сближавшие его с христианством, поэтому он совершенно

искренне не мог понять, почему советская власть ожесточенно преследует не только церковь как организацию, но христианство как учение.

Новой государственной системе были абсолютно чужды академические традиции и принципы организации жизни научного сообщества. Оценив значение Академии как средоточия высших достижений научного знания страны, власти взяли курс на ее переустройство. Ликвидация самостоятельности Отделения русского языка и словесности явилась первым серьезным шагом по ослаблению «старой» Академии наук в целом. Таким образом, первой жертвой перестройки академической жизни оказалось Отделение, долгие годы возглавлявшееся А. А. Шахматовым. Именно этого ученого, пользовавшегося несомненным моральным авторитетом у коллег, можно считать образцом высокого служения академическим традициям. Подчеркнем, что речь идет о лучших традициях академической науки, том идеале поведения в науке, который сформировался еще в дореволюционное время и получил свое воплощение в жизни и деятельности лучших представителей научной элиты.

Шахматов умел гасить внутриакадемические конфликты, ходатайствовал перед властями за коллег как до, так и после революции, резко выступал против вмешательства властей в академические дела, но ради спасения науки и ее учреждений мог идти и на компромиссы.

Ученый и в дореволюционное время добивался того, чтобы политические взгляды коллег не влияли на отношения внутри Отделения, а их политическая активность проявлялась только за стенами Академии наук. В рамках академической традиции стремление не смешивать науку и политику было объединяющим моментом, политические взгляды никогда не мешали по достоинству оценивать научные достижения коллег. Сам Шахматов показывал тому пример. Так, С. Ф. Ольденбургу, который свое отрицание научных достижений А. И. Томсона хотел подкрепить критикой реакционности его политических взглядов, Шахматов отвечал: «Не симпатичен он мне в сильной степени и по своему „глупому“ черносотенству, но отрицать его научных заслуг я бы не мог»<sup>2</sup>. Точно так же В. Н. Перетц, при всей его нелюбви к советской системе, высоко ценил как «знающего слависта» А. И. Яцимирского, несмотря на увлечение последнего марксизмом<sup>3</sup>, или был готов найти оправдание увлечению В. В. Сиповского «актуальной» тематикой. Соболевский поддержал избрание в академики Перетца, хотя к этому моменту учитель и ученик превратились в политических антагонистов: Соболевский – ультраконсерватор и русский националист, Перетц – леволиберал и украинофил.

В традициях Академии было и стремление оградить науку в целом от вмешательства в нее политики. Так, Шахматов прямо заявлял, что

покинет свой пост, если «Отделение превратится из ученого учреждения в политическое». Предлагая к избранию новых сочленов в ОРЯС, академики как до, так и после революции не особенно обращали внимание на неблагоприятное мнение о кандидатах государственных властей или высокого академического руководства. Таковыми были выборы Перетца в 1914 г. и Н. П. Лихачева в 1925 г. Подобные принципы, безусловно, не устраивали государственную власть. Для начала она продемонстрировала свои намерения, утвердив в 1927 г. новый устав Академии. Была изменена структура Академии, существовавшая почти 90 лет, введены новые принципы выдвижения и выборов академиков. Результат этих новшеств очень точно оценил Соболевский, констатировавший, что «у нас наука совсем скушана политикой». Новую систему выборов, когда «историков и философов — рекомендуют инженеры, химики и т. п.», Перетц характеризовал как «извращение».

Выборы 1929 г. в корне изменили состав Академии, руководство ею фактически перешло к созданной внутри нее «комячайке». Широким фронтом было развернуто наступление на уцелевшие академические традиции. Верные сподвижники властей в деле перестройки Академии, вроде Н. Я. Марра, объявляли такие фундаментальные академические ценности, как «независимость научной работы», пустяком и недомыслием. Резолюции съездов научных работников призывали к поголовному овладению «методом диалектического материализма» и применению теории «обострения классовой борьбы» в реформированной жизни научного сообщества, требовали изгнания из нее всех теорий, чуждых «идеологии пролетариата». На самом высоком государственно-политическом уровне рассматривались призывы обязать академиков соответствовать «политическим требованиям». Наконец, весной 1930 г. был принят новый устав Академии, в котором в полной мере отразились перечисленные выше новации, прежде всего связанные с процедурой выборов. Условием выдвижения в академики и члены-корреспонденты стало, кроме научных достижений, активное участие «в социалистическом строительстве»<sup>4</sup>. Таким образом, было покончено с принципом, который ясно сформулировал Шахматов: «В Академию проходят только за ученые, а не за какие-либо другие заслуги». Как полагал Г. А. Ильинский, властям следовало бы переименовать Академию наук в «Академию общественной деятельности».

В традиции научной жизни входило не только толерантное отношение к общественно-политическим взглядам ученых, но и уважительные отношения между представителями различных научных школ, придерживавшихся как различных методологических взглядов, так иногда и очень несхожих взглядов по конкретным научным вопросам. Выше всего ценился профессионализм исследователя. Об этом мно-

гократно говорится в переписке Ильинского, Ляпунова, Дурново, Перетца и др. Сторонники же таких идеологизированных направлений, как марризм и социологизм, отличались нетерпимостью к иным направлениям, ратуя за их полное уничтожение. Если социологизм страдал чрезмерной односторонностью, то марризм, или «новое учение о языке», являл образец чрезвычайно агрессивной антинаучной теории. В неприятии учения Н. Я. Марра объединилось большинство представителей научного сообщества, способного профессионально оценить эту теорию.

Забота о преемственности научных традиций всегда входила в круг академических традиций. О решающей роли своих руководителей в собственном научном становлении вспоминали, уже став академиками, и Перетц — о Соболевском, и Ляпунов — о Яиче. Существовали различные способы привить интерес молодежи к научной работе. Так, Шахматов стал инициатором бесплатного снабжения молодых ученых изданиями Академии наук, материального поощрения их занятий и финансирования подготовленных ими к печати трудов.

Важнейшим фактором в создании школы всегда являлось общение учителя с учеником. Образцом такого общения могут служить отношения Соболевского с Перетцем, которым не мешали народнические и даже социалистические увлечения ученика. В советскую эпоху их особенно сблизили проблемы, выпавшие на долю ОРЯС.

Высшим типом организации научной школы мы считаем ее институциональную оформленность в виде особого кружка. Такой школой, безусловно, являлся существовавший два десятилетия Семинар Перетца, в котором получили первоклассную профессиональную подготовку многие будущие специалисты в самых разных областях филологической науки, прежде всего в области изучения средневековой русской и других славянских литератур. Перетц принимал самое живое и разноплановое участие в судьбе своих учеников по Семинарию и тех молодых ученых, кто формально в него не входил. Так, М. Н. Тихомиров, общавшийся с Перетцем около двух лет в его самарский период, всю жизнь считал ученого своим учителем.

Новые власти подобные традиции не устраивали — на самом высоком уровне было принято принципиальное решение, направленное к прямому уничтожению института научных школ. Началось с обвинения в «мракобесии» по поводу попыток аспирантуры Академии отказаться от обязательного изучения марксизма, и напротив, усилить изучение «традиций Академии наук». Делая следующий шаг, ЦК ВКП(б) в мае 1929 г. принял специальное решение, в котором оговаривалось устранение «личного усмотрения профессуры» в выборе аспирантов, а также «соблюдение классового принципа» и т. п. Ноябрьский 1929 г.

Пленум ЦК ВКП(б) утвердил новую линию партии в вопросе подготовки научных кадров. Академия наук после своего разгрома послушно откликнулась новым положением о приеме в аспирантуру. Свой восторг по этому поводу выразил Н. С. Державин, призывавший молодежь «орабочить» науку.

К счастью для развития славяноведения, столь радикальные меры по уничтожению научных традиций не имели полного успеха. Живую память об учителях сохранили ученики, что позволило, как только появилась возможность, возродить и продолжить академические традиции. Прямыми продолжателями школы В. Н. Перетца, разработавшего многие методологические подходы и идеи в науке о средневековых славянских литературах, не утратившие своего значения и поныне, были в Ленинграде его ученики В. П. Адрианова-Перетц и И. П. Еремин, а в Москве – Н. К. Гудзий. Благодаря их деятельности и собственным ученикам изучение древнерусской литературы, а также средневековых славянских литератур не прекратилось в пору самых жестких гонений, понеся как научное направление наименьшие потери, и при ослаблении идеологического давления достигло заметных научных результатов.

Лучшим представителям академических традиций были присущи такие качества, как принципиальность, порядочность, чувство долга. Высокую принципиальность продемонстрировал Ильинский, отказавшийся от избрания во Всеукраинскую Академию наук, полагая, что его научные взгляды не совпадают с общей атмосферой выдвигающей его кандидатуру Академии. По тем же соображениям он отказался и от выборов в члены-корреспонденты Белорусской Академии наук.

Академическое сообщество, особенно его гуманитарная часть, в том числе члены Отделения русского языка и словесности и группировавшиеся вокруг него ученые, внутренне не принимали новых советских порядков, составляя молчаливую оппозицию. На этой почве произошло объединение людей самых разных научных взглядов и общественно-политических убеждений. Неуважение новых властей к национальной культуре, к науке и ее традициям, идеологический диктат, поддержка псевдонаучных теорий, открывавших дорогу в научный мир беспринципным карьеристам, вызывали иногда и открытое сопротивление.

Крайнее раздражение всех членов Отделения вызывала политика руководства Академии наук. Ее «олигархи» и «натабли», по определению Перетца, стремясь к мирному сосуществованию с властями, шли на всевозможные уступки. Некоторые из них, возможно, искренне надеялись, что подобная тактика сможет уберечь Академию от грозивших ей гонений, другие же больше заботились об укреплении собственных номенклатурных позиций. Вначале такая линия поведения приносила определенные позитивные для науки результаты, но это

объясняется не столько плодотворностью компромиссов, сколько тем, что у власти были другие, более важные для нее задачи. Когда же очередь дошла до Академии наук, диктат властей превратил готовность Академии к компромиссам в беспринципный конформизм. Все это угнетало многих ученых старшего поколения, справедливо усматривавших, кроме чисто политических и административных устремлений коллег, вступивших в союз с властями, предательство академических идеалов свободы науки, которое вело к уничтожению Академии.

В определенный момент и прежние заслуги по нормализации отношений Академии с властью перестали приниматься последней во внимание. Легко и без сожалений удалили с поста непременного секретаря Академии С. Ф. Ольденбурга, всегда чутко реагировавшего на политическую конъюнктуру и даже стремившегося предугадать желание властей, как это было в истории с ликвидацией ОРЯС – недаром он получил прозвище «Ольденград».

Впрочем, общее недовольство не часто переходило в открытый протест, и отнюдь не все готовы были вступать в конфронтацию с руководством Академии и тем более с политическими властями. Большинство членов ОРЯС были уже немолоды, пережитые трудности и лишения, пример коллег, оказавшихся в лагерях и ссылках, крайне нестабильное материальное положение не способствовали решительным действиям. Кроме того, бороться открыто позволяли себе только такие сильные натурь, как Перетц и Ильинский. Казавшиеся некоторым членам академического сообщества незначительными отступления от академических традиций, уступки, вызванные «политическими соображениями», как правило, только разобщали научную среду перед лицом общей опасности, примером чему может служить эпизод с борьбой В. М. Истрина за выборы П. Н. Сакулина в академики.

Допускавшиеся учеными уступки не были должным образом оценены властями, а члены Отделения в глазах своих коллег, склонных к лояльному сосуществованию с режимом, имели репутацию людей, проявляющих «крайнюю нетерпимость по отношению к советской власти», что усматривалось, в частности, «в борьбе [...] с обязательностью испытаний по марксизму для аспирантов и в борьбе против кандидатов-коммунистов во время последних выборов»<sup>5</sup>. Такую характеристику товарищам по цеху дал в своих показаниях в день своего ареста, 13 января 1930 г., С. Ф. Платонов. Тогда же он объединил в «неблагоразумно реакционную» «группу Истрина» Лаврова, Ляпунова, Соболевского, Никольского и Перетца<sup>6</sup>. Не исключено, что частично эти показания были и вложены в уста Платонова следователями ОГПУ. Тогда подобная аттестация только подтверждает сложившееся у властей мнение о «реакционности» Отделения русского языка и словесности.

На рубеже 1920–1930-х гг. последовало изгнание многих носителей академических традиций из науки и высшей школы, сопровождавшееся открытой травлей в печати, безусловно, ускорившей уход поколения дореволюционных ученых из жизни. Закрылась и возможность избрания крупнейших представителей славянской филологии в Академию наук. Руководящую роль в науке начинают играть академики нового типа, вроде Н. С. Державина, переписка которого наглядно демонстрирует ангажированность приверженца марксизма в лингвистике и социологии в литературоведении, а также чуткость к политической и идеологической конъюнктуре, поставившей в прямую зависимость и отношение ученого к столпам дореволюционного славяноведения, в частности, к «патриарху» В. И. Ламанскому. Вместе с тем Державину следует отдать должное за организацию Института славяноведения и привлечение к его работе В. Н. Перетца, М. Н. Сперанского и Б. М. Ляпунова. Относительно недолгое существование Института явилось важным исключением из сложившегося в то время общего отношения к славяноведению.

Закрытие Института вполне логично совпало с волной арестов славистов, многие из них оказались выключенными из общественной жизни страны, некоторые пережили тюремное заключение, ссылку или были физически уничтожены. Академики Перетц и Сперанский по воле ОГПУ стали «руководителями» «Русской национальной партии»<sup>7</sup>. Оба академика удостоились «чести» попасть в решение Политбюро от 17 июня 1934 г., гласившее: «Принять предложение ОГПУ об исключении обвиняемых по делу к-р фашистской организации академиков Сперанского и Перетца из состава Академии Наук СССР и о высылке их на три года»<sup>8</sup>. Полагаем, что именно арестом ученых можно объяснить отсутствие их переписки за 1929–1934 гг., очевидно, изъятой органами, – есть прямые свидетельства о том, что она продолжалась в 1933 г.<sup>9</sup>. Эта репрессивная акция ОГПУ известна больше как «Дело славистов»<sup>10</sup>. По нему были арестованы и осуждены Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, Н. Л. Туницкий и другие ученые. Перетц умер в ссылке в 1935 г., Сперанский, осужденный условно, скончался, находясь под надзором органов, в 1938 г., Туницкий не пережил следствия и погиб в 1934 г., Дурново и Ильинский расстреляны в 1937 г. Все осужденные были лишены званий академиков и членов-корреспондентов и восстановлены в них полностью только в 1990 г. Кроме того, в 1936 г. умер Н. К. Никольский, в 1937 г. – В. М. Истрин. Лишившись своих ведущих представителей, традиционное славяноведение фактически было ликвидировано.

Оживление отечественного славяноведения в конце 1930-х гг. во многом связано с тогдашней международной ситуацией, надвигаю-

щимся столкновением СССР и Германии, с тем, что на арену общественной и политической жизни вновь выходит идея славянской взаимности. Возрождение славяноведения при неизменности господствующих идеологически-методологических доктрин могло произойти только на иной основе. И такой основой в конце 1930-х годов стала историческая наука. Лишь постепенное ослабление марксизма, уже не подкрепленного во властных и академических структурах огромным личным влиянием его создателя, привело к началу возрождения славянской филологии. В 1943 г. в Московском университете вновь открывается кафедра, призванная заниматься славянскими языками и литературой, причем инициатором ее образования выступает осужденный в 1934 г. по «Делу славистов» и вернувшийся из заключения в 1937 г. Селищев<sup>11</sup>, которому, однако, до открытия кафедры дожить не довелось. Таким образом, присутствие или отсутствие в политической и общественно-научной жизни Советского Союза идеи славянской взаимности оказывало весьма существенное и зачастую определяющее влияние на состояние и развитие славяноведения как науки.

С течением времени необходимость продолжения традиции классического славяноведения становилась все более очевидной для очень немногочисленных активно действовавших представителей славянской филологии. Так, ученик Селищева С. Б. Бернштейн записал в своем дневнике 2 апреля 1946 г.: «Нужно постепенно возрождать те разделы славяноведения, которые прежде занимали в нем господствующее положение, а позже исчезли. Последними их представителями были еще в советское время П. А. Лавров, М. Н. Сперанский, В. К. Никольский, А. В. Михайлов, Г. А. Ильинский и др. Речь идет об изучении славянской письменности, ее языка, деятельности Кирилла, Мефодия и их учеников, об издании древних текстов и т. п.»<sup>12</sup>. И действительно отечественное славяноведение в его филологической части не только возродилось, но и достигло больших успехов.

Рассмотренный в книге период в истории отечественного славяноведения предоставляет богатый материал для размышлений о путях науки и превратностях судеб научной элиты. Стремление ее представителей следовать в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах, высоким академическим традициям является поучительный пример нравственного служения науке.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 32. Л. 25.
2. Там же. Ф. 208. Оп. 3. Д. 652. Л. 56.

3. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 21.
4. Академия наук СССР... С. 286, 287.
5. Академическое дело 1929–1931 гг. С. 25.
6. Там же. С. 24.
7. Робинсон М. А., Петровский Л. П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой... С. 73.
8. Академия наук в решениях Политбюро ЦК ВКП(б)... С. 147.
9. ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 17.
10. Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»...
11. «Решаюсь представить в ЦК ВКП(б)...» Три письма члена-корреспондента АН СССР А. М. Селищева / Публ. Ф. Д. Ашнина и М. В. Алпатова // Вестник Академии наук СССР. М., 1990. № 10. С. 122.
12. Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти... С.78.

# Приложения



***К. Я. Гром***

**МОЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРЕЖИВАЕМУЮ ЭПОХУ**

**Начало ноября 1930 г. кон[чен]о около 20 ч[исла]**

В переживаемое трудное время проверки, переоценки, новой установки мировоззрений и идеологии — для людей старшего поколения из так на[зывающейся] интеллигенции, потребность самоопределения и более точного оформления своего «credo» сознается особенно живо, когда видишь, сколько неясность в этой области, мнимость окружающих порождает недоразумений, прискорбных ошибок и даже страданий.

Вот почему мне хочется для себя и своих близких в виде автобиографической заметки кратко высказать свой взгляд и свое отношение к происшедшему великому перевороту в нашей истории, к пролетарской диктатуре, новому политическому и социальному строю и вообще к современному положению России в Европе и в отношении к капиталистическому миру.

В былые годы я (не без связи и влияния своей прежней специальности славистики) примыкал к идеологии старой (московской) подлинной славянофильской школы — главн[ым] обр[азом] в ее национальных и демократических воззрениях. Я стоял за племенное славянское самосознание, как источник западн[ого] и южного славянства и вековой борьбы его за свое существование и культуру против завоевательного натиска Запада, собственно германизма, уже успевшего поглотить значительн[ые] части славянских народностей. Меня увлекала идея федерации славянства под главенством России и создания своей, типично-славянской культуры. По части государственно-политической я в своих убеждениях был всегда демократом и народником, мечтая о народоправлении, народном представительстве (в славянофильском духе), но как примирить это начало с идеей монархизма (с его централизмом и бюрократизмом) — было для меня вопросом загадочным и неясным. А самое главное, что меня мучило и приводило в тупик — это печальное состояние нашего народа, нашей крестьянской массы, их дикость, невежество, забитость и безнадежная пассивность и отсталость во всем. При тех воззрениях, которые господствовали в правительстве и отчасти обществе на крестьянство, и при таком застое в деле народного образования — чего же можно было ждать, и что в состоянии было поднять народную массу на более высокую ступень

культурности и сознательности или хотя бы грамотности? Неужели, думал я, русскому народу придется оставаться на десятки лет и гораздо далее, м[ожет] б[ыть] до сотни, в таком инертном состоянии? Этот вопрос приводил меня в грустный тупик, и я не видел выхода. Но лично, быть может по своему характеру, но особенно по воспитанию и традициям — я искал выхода и решения задачи лишь на путях эволюционных, ибо революция у нас (снизу) меня страшила и ужасала, да и казалась просто невозможной... Ее постоянная подготовка и подпольное созревание у нас и в загранич[ной] russk[ой] эмиграции, и в некоторых слоях рабочего класса — было скрыто от общественных глаз, а патриотический подъем в период мировой войны и увлечение борьбой за высшие интересы России с ее традиционными врагами еще более ослепили всех, и только наше поражение, полный провал нашего монархического начала и государств[енного] строя, ничтожество и разращенность нашей власти смогли нам, людям непредубежденным, открыть глаза.

Для человека, любящего свою родину, не потерявшего тогда еще вполне веры в ее нерушимую мощь (оказавшуюся в корне прогнившей) и в стойкость и патриотизм правительенной власти, все, что творилось у нас в продолжение войны и особенно в последний период перед катастрофой, приводило людей сознательных и здравомыслящих в ужас и негодование: с одной стороны — несостоятельность, [нрзб.] борьба за власть и личные интересы [в] высших органах управления, с другой — три полных ничтожества и беспомощность верховной власти — невероятно болезненная, извращенная атмосфера и нравственная распущенность вокруг престола — было от чего прийти в отчаяние и окончательно разочароваться в, очевидно, совсем прогнивших устоях и элементах нашего государственного строя! Но вот грянула революция — с торжеством большевиков (во главе с Лениным), пролетариата, подъема рабочих масс, Красной армии, с гражданской войной и иностранной интервенцией и всем, что последовало за эти революционные годы — вплоть до нынешней полной реконструкции государственной машины, социальных отношений, роста коммунизма, социализации быта, индустрии, переворота в сельском хозяйстве и деревне, и проч[ее] и прочее.

Надо быть русскому человеку или очень ограниченным, тупым и недальновидным, или до слепоты предубежденным, до фанатизма реакционным и обскурантом, или, наконец, отъявленным приверженцем западных закоренелых начал социального неравенства, капитализма, империализма и прав сильного, чтоб не понимать великого и закономерного исторического переворота, который пережило наше отчество, и тупо и близоруко смотреть на совершившееся как на какой-то

преходящий, случайный, катастрофический эпизод или каприз в нашей истории. А, к сожалению, такой взгляд еще не вполне изжит — несмотря на протекшие 13 лет существования нового советского строя и на успехи социалистического строительства... Но еще прискорбнее то, что это несчастное воззрение поддерживается всячими житейскими невзгодами или лишениями и неизбежной при пережитой революции разрухой и дезорганизацией жизни, побуждая людей мечтать о восстановлении чего-то прежнего — в смысле [нрэз.] удобств и благополучия: они сами не дают себе отчета в том, чего собственно они желают, ибо для всякого сознательного человека ясно, никакого возврата к прежнему, к старому не может быть, и притом мечтать об этом не только непатриотически, но и предательски для своей родины, — обращая взоры на запад. Это уже является, быть может, у многих бессознательной, но преступной изменой своей родине, своему народу, не говоря уже об измене государству и правительству! Ибо нельзя же не понимать, что европейский запад в лице своих правительств, своих буржуазии, капиталистических, националистических и материалистических слоев, нам в корне (как было и всегда) глубоко враждебен и чужд и только и думает о сокрушении, подавлении и даже всяческом разрушении нашей силы и мирового значения как государства и особого самобытного культурного организма. Потому русский человек, каких бы он ни был убеждений и направления, хотя бы он даже скептически смотрел на разные стороны современной государственной стройки, должен, прежде всего, быть верным сыном своего народа, своей родины и верным гражданином своего государства, и твердо, искренно — при всяких обстоятельствах и условиях — стоять и бороться за его целость, мощь, независимость и безопасность — от внешних на него покушений и козней врагов!

Все сказанное, равно как и моя прежняя дореволюционная идеология, мечтавшая об образовательном и культурном подъеме народа на степень сознательного участия и роли в государственной жизни России, уже в известной мере освещала образовавшееся у меня скоро принципиальное положительное отношение к великому историческому перевороту, вызванному революцией, к пролетарской диктатуре, к утверждению значения и решающей роли в государственном управлении народных масс — в лице рабочих и крестьянства, а затем и к основной идее социализма, именно: безусловного равенства и братства людей и бессословности, — так как такое мировоззрение вполне совпадало с моими христианскими религиозными воззрениями или, вернее, с моими нравственными принципами в понимании религии не в смысле той или другой церковности или исповедания, а в смысле веры в какое-то высшее, непостижимое человеческому уму начало.

Как человек и научный работник старого типа и [нрзб.] (мне 78-ой год) я — признаюсь — уже не в состоянии перестроиться и переделать себя (в своей научной работе) на новый лад. Я даже довольно плохо еще разбираюсь в теоретических вопросах научного марксизма. Да думаю, что в мои годы (на самом закате жизни) это простительно. Но это не мешает мне (относиться. — *M.P.*) с уважением к работе новых поколений — твердо уповать на будущий расцвет и мощь русской науки. Как в этой научной сфере, так и в других — по народному проповеданию, по изучению и обнаружению богатств и ресурсов Сов[етской] России, по изучению неведомых до сих пор окраин и краев нашего отечества, по делу индустриализации и земледелия, по всяким достижениям техническим и изобретательным — вдогонку и пегонку Запада, не говоря уже о всем, что делается для обороны государства и его военного укрепления — я могу только радоваться и удивляться — энергии, настойчивости и предприимчивости советской власти. Если меня теперь спросят, как я на деле и в вопросах не только теории, но и практики относился с самого начала и отношусь теперь к происходящему государственному строительству, к существующему режиму и к методам и проведению в жизнь начал советской идеологии, то я должен сказать, что — после первого периода ошеломления, страха, недоумения и скептицизма, постепенно мои взгляды на плоды революции — под воздействием моих основных принципов и настроений (о которых сказано выше) — не могли не эволюционировать, и, не говоря уже о том, что я принял всецело революцию — верю в восстановление мощи и мировое значение нового русского государства, я не могу не приветствовать успехов социалистического строительства и в особенности высоко ценить происшедший социальный сдвиг и решительный, могучий подъем народных масс к социальной жизни, к проповеданию и культурному быту. Что касается внешней политики советского государства, то я, как надеюсь и большинство русских людей, любящих свою родину и ставящих на первое место ее мощь, ее независимость и мировую роль, не могу не одобрять и всецело не сочувствовать ей, тем более что она высоко держит знамя мира и политического бескорыстия и мужественно борется с такими страшными и зажоренелыми безнравственными явлениями и приобретшими мировое развитие и значение — страстями самых цивилизованных национальных организмов западного человечества, какими являются — их ненасытный империализм и безгранично растущий и всепоглощающий капитализм.

Итак, всего сказанного достаточно — чтобы установить мое общее [нрзб.] положительное отношение к революции, к совершившемуся социалистическому перевороту, к новому государственному строю

и к советской власти, хоть я и не могу все же теоретически признать себя сколько-нибудь убежденным или надеющимся таковыми стать правоверным социалистом или коммунистом. Да мне сдается, что никогда никто принципиально не может допустить теории, чтоб все люди той же нации или народа, или все граждане какого-либо государства должны исповедовать только одну, хотя бы господствующую, определенную политическую или умозрительную (напр[имер], религиозную или антирелигиозную) веру или систему, или, иначе говоря — тождественно обо всем этом думать, судить и верить в одно и то же, безусловно, отрицая все остальные. Такого однообразия нет и не может быть в самой природе, как и в строении человеческого ума, характера, способа существования и душевной организации. Поэтому едва ли правы те, кто говорит: ты не разделяешь такой-то нашей теории, нашей политической веры или социальной — значит ты наш враг! Разные взгляды и даже оттенки взглядов разделяют людей на группы или партии, но задачи и цели у них должны быть одни и те же — именно благо, преуспление и мощь своего государства и народа и борьба с его врагами. Можно в нашем случае не быть социалистом или коммунистом, но все же быть законопослушным и лояльным гражданином Сов[етской] России и искренне сочувствовать и содействовать задачам и достижениям советского правительства, направленным к укреплению моши, экономического развития, благосостояния и мирового значения СССР. Вот почему так необходимо в переживаемое время [нрзб.] строго и осторожно разбираться в оценке людей старшего поколения, которые работают и служат честно и самоотверженно в интересах и на пользу государства, но не виноваты в том, что родились и воспитывались в другую эпоху, в ином быту — с глубоко сложившимися у них более идеалистическими [нрзб.] устарелыми взглядами, которые не позволяют им совсем переродиться в людей нового века. В этом отношении, действуя слишком прямолинейно и нетерпимо, власть может впадать в жестокие ошибки и несправедливости. Само собой разумеется, что, с другой стороны, нужны и величайшая бдительность и осторожность, чтоб избежать ошибок противоположных — в смысле легкомысленной доверчивости и попустительства, как это доказывают последние разоблачения предательских действий тайных вредителей и врагов сов[етской] власти.

Остается сказать об отношении своем к житейской, практической стороне, к частным явлениям, приемам и методам проведения в жизнь идей и начал социалистического миропонимания и [нрзб.] нового быта и культуры.

В этой области общего [нрзб.] практических средств и путей достижения задач революционных и реорганизационных, как известно,

есть разномыслие не только в безусловно преданных пролетарской диктатуре и социализму советских деятелях, но даже и в самой коммунистической партии. Причина того — в неимоверных трудностях, встречающихся главным образом в сфере экономической, финансовой и житейско-практической (продовольственной или снабженческой), с которыми встречается и которые должно преодолевать правительство в тяжелейших условиях своей обособленности, своей экономической замкнутости и своем враждебном окружении. Все население государства переживает этот кризис, эти продолжительные нужды и лишения в своем обиходе и пропитании, и огромные массы людей относятся к этому малосознательно, без достаточной оценки причин и условий такого положения, а потому создается атмосфера жалоб, недовольства и поверхностной критики, которая захватывает и часть прежней мелкой буржуазии и даже... интеллигенции. С этим приходится считаться как с явлением объективно понятным в такой трудный, критический период реконструкции жизни.

Что касается меня лично, то я не могу принадлежать к этой категории граждан, суждая обо всем, об успехах и прочности достижений социалистического строительства на основании переживаемых нужд населения и неизбежных лишений в житейском обиходе, и вижу результаты положительные того огромного напряжения сил и энергии, того неослабевающего, а, напротив, все повышающегося темпа и [нрэб.] в работе, которые не могут не одолеть препятствий как объективных, так и создаваемых нашими российскими свойствами характера и недостатком культурных навыков и сознательности масс. Нельзя особенно не приветствовать той системы самокритики и общественного разоблачения всех отрицательных явлений в работе как социальных групп, так и единиц, какой держится правительство, хотя тут всегда есть сторона довольно рискованная и опасная — именно в сфере отдельных личных обличий и обвинений: при отрицательных свойствах человеческой природы — страстих и личной вражде, зависти, соперничестве и проч[ее] — дается опасный простор для сведения личных счетов, злокозненного доносительства и клеветы, в чем всемерно необходимо разбираться.

Теперь могут спросить меня, как я отношусь к тем особенно тяжелым, крайне болезненным и глубоко чувствительным и важным моментам и действиям советского правительства, столь волнующим и общество, и даже верные ему и лояльные массы населения, к действиям, которые с самого начала вошли в план, режим и систему революционной власти и преемственно как наследие первых шагов революции продолжаются и ныне, представляя собой наиболее суровую и жестокую сторону советской внутренней политики, всего болезненнее

отражаясь в личной жизни граждан. Я разумею [нрэб.] (о чём упомянуто выше) крайне предубежденное, нетерпимое и суровое отношение к людям старших поколений вообще, притом принципиальное, не считаясь с их прошлым и с тем естественным, слишком понятным фактом, что люди в возрасте своих 40 и 80 лет — со всеми свойственными эпохе их рождения, воспитания, их прошлой деятельности — личной и общественной, убеждениями и мировоззрением не могут сразу «по приказу» переродиться и перевоплотиться в новый человеческий тип с новой идеологией — умственной и нравственно-душевной... Как будто не хотят допустить того, что и это поколение людей, несомненно, в состоянии и, любя свое отчество, может честно продолжать свою работу на пользу родины и нового строя...

Второй и особенно большой момент в политике и системе правительства, впрочем вытекающий из первого и им определяемый, — это преследование и самое жестокое религии вообще, а не только церкви. Я не могу не считать эту непомерно смелую и грандиозную задачу — в интересах самой же революции и всех других советских задач и строительства — важной ошибкой, т[о] е[сть], конечно, не ошибкой теоретической самого марксистского и ленинского мировоззрения, а тактической ошибкой режима в смысле метода и жестокости проведения в жизнь этого, безусловно, отрицательного отношения к религиозным воззрениям вообще, которые отнюдь нельзя же огульно смешивать с вероисповедными и церковными формами и воплощениями, в которых действительно проявляется и суеверие и всяческое мракобесие и изуверство, безусловно, требующее преследования. Понятие религии в широком смысле не заключает в себе понятие церковности или вероисповедности, то есть человеческого житейского и исторического оформления религиозного воззрения или культа. Непризнание церкви в той или другой организации в связи со всеми приставшими к ней суеверными злоупотреблениями и обрядностью — вовсе не идентично с безбожеством и полным отрицанием религиозности даже в высшем философском умозрительном смысле, так безапелляционно пропагандируемом в настоящее время. Я понимаю, что сама революция уже неизбежно создает и носит в себе элементы жестокости, суровости, беспощадности и нетерпимости, что когда «лес рубят», то неизбежно «щепки летят...», но не может не быть известного предела во времени и напряжении проявления этих элементов. И мне кажется, что советская власть, оставаясь, разумеется, беспощадной к предательству, измене и всяческому вредительству, должна бы в собственных интересах проявлять более терпимости, и справедливости, и снисхождения к вполне законопослушным, лояльным и честно, часто самоотверженно, работающим на пользу родины и в интересах нового строительства —

к людям старших поколений, оставляя за ними естественную свободу внутренней душевной и нравственной идеологии и не пытаясь так или иначе проникнуть в эту не могущую быть доступною, заветную область человеческой совести. Ведь эта область, ее внутреннее содержание не может не стремиться и не обнаруживаться во всем поведении и действиях человека, и только по этим последним можно судить о человеке, его оценивать и так или иначе к нему относиться — в меру его заслуг. — Таков мой принципиальный взгляд на вопрос. Лично я был всегда — насколько помню себя уже сознательным-религиозным [нрзб.] нравственному учению христианства, но никогда не был церковником и приверженцем внешних служебных и узкообрядовых форм церковности. Я признавал церковь, посещал ее (хотя, надо сказать, и редко и неправильно) как место и соединение благотворных условий (поэтических, музыкальных впечатлений и атмосферы тишины и таинственности) для самоуглубления и самокритики — на собственном большинству людей, часто уже смолоду, а иногда и наступающем с годами стремлении и пути к нравственному совершенствованию, и только в этом свете я могу признавать ее, то есть церкви роль, как равно и значение внутреннего душевного религии для человечества. Кроме того, мне всегда казалось, что мои демократические и народолюбивые социальные (бессословные) убеждения находят прямую поддержку в моральных и социальных (даже социалистических) положениях христианства — учения Христа-социалиста, и для меня является вопросом, почему вожди и проповедники начал современного социализма и проводят их в жизнь так безусловно, наравне с другими преследуют учение, в котором должен быть руководящим тот же социальный принцип, что и у них, ибо для меня очевидно, что и человек религиозный в вышеотмеченном смысле и в духе христианском может быть самым верным и полезным подданным социалистического государства. Следует признать полезной, логической и естественной со стороны приверженцев материалистич[еского] марксизма борьбу с церковью как социаль[ым] или государств[енным] установлением и со всеми теми отрицательными и темными явлениями, сторонами, к которым ведут извращение и недостаточная организация и утиривание обрядности, а тем более понятна и необходима борьба с мракобесием и издевательством; но борьба с религиозностью в отвлеченном ее смысле, в идейной, умозрительной, связанной со всем миропониманием, и в моральной ее сущности — в душевной жизни человека — неблагодарна и в конце концов бесплодна, ибо это тщетная борьба с человеческой природой, с врожденным инстинктом и естественным неодолимым стремлением человека в самые высшие сферы миропознания, природоведения и психического самоанализа и самопознания. Это —

тоже безнадежное вторжение во внутреннюю душевную жизнь человека, в сферу его этического credo, его совести. Вот почему безусловное преследование религии вообще, а не именно церковности с ее извращениями, есть явная ошибка, невольно смущающая не только церковно-религиозных людей, но и тех, кто отрицательно относится к церкви, но имеет свою внутреннюю отвлеченно-умозрительную этическую религию как опору человека в жизни. Эту истину я сознаю, чувствую и проверяю на самом себе. Я сознаю себя, оставаясь верным своей внутренней религии, самым убежденным и решительным врагом контрреволюции, старого отжившего государственного строя и режима, врагом капитализма, отъявленным врагом наших хищных европейских и вообще западных врагов, и при всех частных и идейных выше затронутых отличиях моей, может быть, на взгляд новых поколений, несколько старомодной и устаревшей идеологии от взглядов и идеологии настоящих приверженцев марксизма или коммунизма, я сознаю себя верным патриотом советской федеративной Российской республики, искренне приветствующим все успехи социалистического строительства будущей могучей и культурной, проповедующей международный мир, братство и социальное равенство, новой великой России.

Рукопись записки К. Я. Грома «Мой взгляд на переживаемую эпоху» хранится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (Ф. 281. Оп. 1. Д. 142. Л. 1–13).

*В. Н. Кораблев*

**СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖБЕ САМОДЕРЖАВИЯ**

(Из деятельности академика В. И. Ламанского)<sup>1</sup>

Наука в царской России всегда служила интересам господствующих классов, являясь в их руках орудием классовой борьбы. Самые кадры русских ученых в течение всего XIX столетия пополнялись почти исключительно представителями верхушки господствующего класса, в котором сильны и живучи были инстинкты классового самосохранения: русские ученые независимо от того, какую отрасль науки они представляли, все свои знания, весь свой научный опыт приспособляли к политике правящего класса и в лучшем случае к политике русской либеральной буржуазии.

Характерен в этом отношении сословный состав основного ядра русских ученых (академиков, ординарных и экстраординарных профессоров) до Октябрьской революции. Произведенный нами впервые по официальным материалам тщательный анализ этого ядра ученых дает следующую любопытную картину: в 35 высших учебных заведениях и научных учреждениях, разбросанных по 10 городам царской России, Октябрьская революция застала 1010 ученых высшей категории<sup>2</sup>: среди них дворяне составляли 350 человек или 34,65%. К этой группе следует отнести, по нашему мнению, также ученых, вышедших из военной среды (дети военных не ниже штаб- и оберофицерских чинов); таких было 93 чел[овека], что с дворянами составит 443 чел. или 43,86%. Примыкавшие к дворянству и военщине социальные элементы были представлены в таких цифрах: ученых из духовной среды, по преимуществу наиболее зажиточной, было 155 чел[овек] или 15,34%, из зажиточных слоев купечества — 50 чел[овек] или 4,95%, из чиновничьей среды — 139 чел[овек] или 13,76%, из мещан — 156 чел[овек] или 15,45%. Весьма скромное место в количественном отношении занимали остальные общественные группы: выходцы из крестьян среди ученых составляли 40 чел[овек] или 3,96%, причем большинство из них падало на высшие учебные заведения так называемого Прибалтийского края (Юрьев, Рига); лица свободных профессий (художники, адвокаты, писатели) давали науке 25 чел[овек] или 2,47%, и, наконец, дети ремесленников составляли всего лишь 2 чел[овека] или 0,19%. Таким обра-

<sup>1</sup> Должено в пленарном заседании Института славяноведения 28 октября 1933 г.

<sup>2</sup> О среднем и младшем научном персонале официальные материалы никаких сведений не дают.

зом, буржуазия в лице выходцев из феодально-дворянского класса и военного сословия занимала среди ученых первое место. Еще любопытнее то обстоятельство, что из 350 ученых-дворян 72 чел[овека] (20%) были дворянами-помещиками, владевшими земельной собственностью от 1000 до 60000 десятин. Особенно характерную картину представлял собою состав высшего ученого учреждения царской России — «императорской» Академии Наук, собирающей в своих стенах цвет науки, «соль земли»: из 36 действительных членов Академии (мы не включаем сюда академиков из иностранцев — таких, как Радлов, Ягич, Куник и т. д.) дворянне составляли 22 чел[овека] или 61% (из них крупных помещиков было 4 чел[овека] и домовладельцев 2 чел[овека]), военные из штаб- и оберофицерских детей — 8 чел[овек] или 22%, лиц духовного происхождения — 2 чел[овека] или 6%; остальные общественные группы (купцы, чиновники, крестьяне, свободные профессии) давали по одному на каждую группу или 11% в общей сложности.

Совершенно не приходится поэтому говорить о какой-то бесклассности науки в старой России, о ее «аполитичности». Когда задолго до Октябрьской революции российское царское правительство в 1905 г. одной рукой «даровало народу конституцию», а другой разгромило высшую школу в крупнейших университетских центрах России, в тогдашнем Петербурге возник так назыв[аемый] «Академический союз», объединивший сначала на чисто профессиональной почве, а затем и на буржуазно-либеральной платформе всех научных работников «императорской России» и в конце концов выдвинувший принцип «академической автономии». Профессора-автономисты или вернее профессора-«аристократы» уже в 1906 г. на делегатском съезде Академического союза резко протестовали против допущения в советы вузов младших преподавателей (доцентов и ассистентов). Профессор б[ывших] Высших женских курсов (Бестужевских) В. А. Фаусек открыто заявил тогда на этом съезде: «Такая демократизация науки едва ли принесет ей пользу: доступ к науке надо заслужить. При теперешних условиях наука аристократична». Другие делегаты съезда так же откровенно заявляли, что «демократизация университетов может в корень уничтожить науку»<sup>3</sup>. На повторном делегатском съезде уже в 1919 г. собравшиеся ученые решили «до победного конца» бороться за автономию высшей школы и ни при каких условиях своих позиций не сдавать. Естественно, что профессора-«аристократы» активно выступили в 1922 г. против нового тогда Положения о высшей школе в

<sup>3</sup> Цитируем по материалам съезда в издании «Третий делегатский съезд Академического союза (14–17 января 1906 г.). СПб., 1906. Типография Стасюлевича». Оговариваемся при этом, что не все ученые стояли на позициях проф. Фаусека и что в провинциальных университетах Академический союз объединял наиболее передовую (либеральную) часть профессуры.

Республике; естественно также, что они недружелюбно отнеслись в 1929 г. и к последующей реформе высшей школы — к проведению в жизнь принципа единонаучания, нанесшего окончательный удар академической автономии.

Едва ли можно, повторяем, серьезно говорить после этого о какой-то «внеклассовой», «аполитичной» или «чистой» науке. С уверенностью можно сказать, что наука в царской России всегда носила определенную политическую окраску, всегда была сугубо политична, служа интересам господствующих классов и целям правительства.

До революции кафедры славяноведения имелись в восьми университетах России: Петербургском, Московском, Киевском, Харьковском, Одесском, Казанском, Варшавском и Юрьевском. В этих университетах в 1917 г. славянские кафедры занимали 21 профессор (ордин[арных] и экстраордин[арных]). Из них 12 чел. (57%) принадлежало к дворянскому сословию, 4 чел[овека] (19%) происходили из духовного звания, 2 чел[овека] — из военной среды, 2 чел[овека] — из чиновной среды и один из мещан. Сословные группировки этой категории ученых могут до известной степени говорить и об их классовой настроенности, проявлявшейся в их трудах и, в особенности, в их практической деятельности. При этом надо помнить, что в большинстве своем все это были либо прямые ученики акад. В. И. Ламанского, либо ученики его учеников, т. е. люди, вышедшие из школы того же Ламанского и, таким образом, разделявшие или склонные разделять его идеологические установки, которые складывались и формировались у их учителя в течение 50 лет. Поэтому целесообразно прежде всего проследить, чем была в руках самого Ламанского наука и чьим интересам по существу она служила. В дальнейшем мы пока не станем анализировать ученых трудов акад. Ламанского (они будут предметом специального нашего исследования), а остановимся исключительно на тех интимных сторонах его деятельности, которые до сих пор, по совершенно понятным причинам, не были достоянием истории и которые вскрыты нами в процессе изучения личной переписки акад[емика] Ламанского с его учениками, с славянскими деятелями за границей, а также с государственными учреждениями и официальными лицами в самой России.

В. И. Ламанский происходил из дворянской помещичьей семьи, занесенной с начала XIX ст. в III часть родословной книги СПб. губернии<sup>4</sup>. Отец Ламанского был сенатором, старший брат Евгений Иванович, известный финансист, окончил Александровский лицей, куда принимались не все дворяне, а только дети лиц, принадлежавших к вер-

<sup>4</sup> В родословные губернские книги вносились потомственные дворяне, владевшие недвижимой собственностью в данной губернии, а в III родословных книг вписывались дворяне, получившие это звание «по гражданским чинам и орденам».

хушке дворянского сословия. На одном из писем к В. И. Ламанскому министра народного просвещения графа Д. А. Толстого (16.VII.1867 г.) имеется интересная автобиографическая приписка Ламанского: «Он (Толстой) познакомился со мной еще в 1859 г. таким образом: выходя из унив[ерситетского] зала после моего магист[ерского] диспута, я был остановлен незнакомым мне человеком со словами: „Позвольте мне с Вами познакомиться; я читал Вашу книгу; я товарищ Вашего брата по Лицею Евгения“. Назвался (Толстой). После этого покойный мой отец по пятницам за обедом редко, редко не передавал мне поклона Толстого. У Толстого сердечной доброты не было ни малейшей. Он был со мной всегда необыкновенно любезен, но не потому, что я ему нравился, а потому, что он хотел на деле показать, как несправедливы были к нему лицеисты следующего за ним выпуска, а именно: брат Евгений, Гаевский (Викт[ор] Павл[ович])<sup>5</sup>, Кутузов, друзья Евгения – близкие знакомые нашей семьи, нашего дома»<sup>6</sup>.

Происхождение, окружающая общественная среда, семья и, наконец, школа должны были оказать влияние на идеологию будущего ученого.

До начала своей профессорской деятельности (1865 г.) В. И. Ламанский сумел побывать в славянских землях и на месте познакомиться с славянским миром. Первую поездку туда он осуществил в апреле 1862 г. и пробыл за границей по ноябрь 1864 г., побывав в Праге, Загребе, Любляне, Горице; с апреля 1868 г. по июль 1869 г. он работал в итальянских архивах, собирая материалы для своего капитального труда, (далее пропуск в тексте. – М.Р.) и в то же время вторично посетил славянские страны; в 1878 г. он провел несколько месяцев в Вене и в Праге, в 1884 г. побывал в Румынии и провел лето в имении румынского посла в Петербурге – Крецулеску. Следовательно, в хорошем знакомстве со славянами Ламанскому ни в коем случае нельзя отказаться. Стоя на позициях эпигонов славянофильства, мечтавших об объединении всех славян под крыльями российского орла (панславизм, выливавшийся в формы панрусизма), Ламанский, несомненно, был убежденным сторонником правительственной точки зрения на славянство и желанным сотрудником для этого правительства. Русское правительство в XIX ст. никогда открыто не выступало в качестве «помощника и покровителя славян» (разумеется, кроме войны 1877–78 г.). На это, между прочим, указывает и коротенькое письмо к Ламанскому военного министра графа Д. А. Милютина от 6.II.1867 г.

«Совершенно согласен с Вашим мнением, что правительству нашему тут (дело касалось помочи галичанам) вовсе вмешиваться не

<sup>5</sup> Виктор Павлович Гаевский (1826–1888) – писатель.

<sup>6</sup> Архив Академии Наук, ф. 35, оп. 1, № 1417.

следует; если потребуется денежная помощь, то по временам можно будет повторить то же самое, что делалось доселе. «Необходимо также для успеха дела, чтобы тщательно устраниТЬ всякую мысль о каком-либо политическом влиянии России на славянские племена; надобно беспрестанно и неупустительно поддерживать направление чисто нравственное и литературное»<sup>7</sup>.

В. И. Ламанский относительно рано добровольно предлагает себя в распоряжение императорского правительства по части информации о делах славянских. По крайней мере об этом можно заключить из следующего ответного письма к Ламанскому военного министра графа Милотина.

«Ваше предложение об оказании правительству содействия в изучении направления жизни соседних или родственных нам народов, проявляющеся в малодоступных нам органах печати, по моему мнению, могло бы принести значительную пользу. Но по многим причинам Военное министерство не может принять на себя почин в этом деле; оно может только в известной мере содействовать ему денежно, предоставляя главную роль в его осуществлении Министерству иностранных дел. В этом смысле я счелся уже о Николаем Карловичем Гирсом<sup>8</sup>, сообщив ему и извлечение из Вашего письма. По всей вероятности он не преминет воспользоваться Вашими просвещенными трудами и указаниями» (29.III.1878 г., № 135, секретно)<sup>9</sup>.

Однако Министерство иностранных дел посмотрело на этот вопрос несколько иначе. Граф Милотин сообщал Ламанскому 2.V.1878 г. следующее: «На сделанное мною по письму Вашему от 21 февраля с. г. тов[ариш] мин[истра] ин[остранных] дел<sup>10</sup> отзвался, что государственный канцлер<sup>11</sup>, одобряя в принципе Ваше предложение, затрудняется, однако, привести его в исполнение, как потому, что доставляемые заграничными агентами сведения о положении дел в среде соседственных или родственных нам народностей удовлетворяют нуждам Министерства иностранных дел, так и потому, что недостаток сметных средств сего Министерства лишает его возможностиказать какую-либо поддержку Вашему предприятию»<sup>12</sup>.

Само Военное министерство, тем не менее, неоднократно затем прибегало к услугам официального представителя славяноведения в СПб.

<sup>7</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 945.

<sup>8</sup> Н. К. Гирс (1820–1895) – с 1875 г. товарищ министра иностранных дел и управляющий Азиатским департаментом, а с 1882 г. – министр иностр[анных] дел.

<sup>9</sup> Архив А. Н., ф. 35 оп. 1, № 945.

<sup>10</sup> Н. К. Гирс.

<sup>11</sup> Князь Горчаков – министр иностр[анных] дел.

<sup>12</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1. № 945.

университете. Так, напр[имер], в том же 1878 г. оно имело случай воспользоваться услугами В. И. Ламанского. Чиновник военно-учебного комитета П. О. Щербов-Нефедович писал Ламанскому 5.VI.1878 г.:

«Управляющий делами. Военно-учебного комитета Н. Н. Обручев поручил мне обратиться к Вашему содействию по поводу следующего обстоятельства. В[оенно]-уч[ебным] Комитетом предпринято издание русско-мадьярского словаря с обозначением венгерских слов русскими буквами. Словарь этот уже составлен г. Молчиным, и листы первой корректуры напечатаны, но не могут быть проверены за болезнью составителя. Не будете ли Вы столь обязательны рекомендовать кого-либо для держания корректуры названного словаря, скорейшее издание которого было бы весьма желательно»<sup>13</sup>.

Несколько позже, 24.VI.1878 г., генерал Н. Н. Обручев дает Ламанскому новое поручение: «Настоящие политические отношения вызывают необходимость тщательно следить за всеми военными приготовлениями, делаемыми против нас австро-мадьярским правительством, собирая сведения об этом всевозможными путями и не ограничиваясь лишь сообщениями военного агентства в Вене. Сбор как этих сведений, так и всех других, имеющих военную важность, — топографических, этнографических, политических данных об Австро-Венгрии возложен специально на генерального штаба полковника Беневского. При особенной скрытности означенных приготовлений, вынужденном молчании в этом отношении издающихся в Австрии газет, неизбежной в такое время осторожности нашей военной агентуры в Вене, — трудная задача полковника Беневского может быть выполнена только при участии и содействии друзей наших среди славянских народностей Австро-Венгрии и через посредство наших просвещенных ревнителей славянского дела. Рекомендую полк Беневского с лучшей стороны, убедительнейше прошу не отказать ему в Вашей просвещенной помощи и совете по роду его задачи»<sup>14</sup>.

В распоряжении военного министра, по-видимому, находился особый фонд, из которого расходовались средства на поддержку литературных и иных предприятий в славянских землях, — главным образом, в пределах австро-венгерской монархии. Постоянным консультантом Военного министерства по вопросу о том, кому и сколько давать, был опять-таки Ламанский. По крайней мере ряд официальных писем к Ламанскому с запросами по указанным делам свидетельствует об этом. Управляющий делами военно-учебного комитета Ф. А. Фельдман 19.II.1882 г. запрашивал Ламанского: «В ноябре прошлого года по вопросу о выдаче субсидии газете „Слово“ Вы заявили, что справедливо было бы задержать пособие на

<sup>13</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1. № 1601.

<sup>14</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 1028.

текущий год до разрешения вопроса о слиянии газеты „Слово“ и „Пролом“. Так как главному штабу не известно, состоялось ли слияние помянутых журналов, и ныне возникло предположение выдать издателю „Слова“ взамен 6000 гульд[енов] – 3000, а остальные 3000 гульд[енов] газете „Пролом“, – то обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой сообщить мне, признаете ли Вы такое распределение субсидий соответствующим нашим интересам и притом своевременным»<sup>15</sup>.

Во втором письме от 22.IX.1883 г. тот же Фельдман фактически представляет Ламанскому на утверждение распределение субсидий военного министерства:

«В 1881 и 1882 г. субсидию от нашего правительства получали „Народные Новины“ – 4000 р[ублей], „Слово“ – 4000 р[ублей], „Пролом“ – 2000 р[ублей]. Ввиду приближающегося срока выдачи новых субсидий ген[ерал]-ад[ъютант] Обручев поручил мне просить заключения Вашего по сему предмету для распределения субсидий за (пропуск в тексте. – *M. P.*) 1883 год. Следя за славянской литературой, Вы лучше всех определите, следует ли сохранить прежний порядок или, напр., назначить „Слову“ и „Пролому“ по 3000 р[ублей] ввиду того, что последняя газета увеличилась в объеме и выпускает прибавление „Новое Вече“»<sup>16</sup>.

В Галиции в это время ратоборствовали две партии – старорусская и младорусская по тогдашней терминологии. Первая из них, более удачно называвшаяся «московофильской партией», отстаивала в литературном языке этимологическое правописание с употреблением диакритических знаков (пропуск в тексте. – *M. P.*) и (пропуск в тексте. – *M. P.*) применение слов и оборотов, свойственных общерусскому литературному языку, тем самым стремясь к литературному и (пропуск в тексте. – *M. P.*) племенному сближению с великороссами. Старорусская партия издавала во Львове газету «Слово» под редакцией В. М. Площанского; в 1887 г. издание этой газеты прекратилось, когда против Площанского было возбуждено судебное преследование. С 1881 по 1882 г. там же во Львове выходила вторая газета того же толка – «Пролом» под редакцией О. А. Маркова, который с 1883 г. переименовал эту газету в «Новый Пролом» с приложением «Вече» (или «Новое Вече» – 1883 г.). «Новый Пролом» сменила газета «Червонная Русь», существовавшая до 1891 г., затем «Галицкая Русь», запрещенная австро-венгерским правительством в конце 1892 г., и, наконец, газета «Галичанин», просуществовавшая до распада Австро-Венгрии.

Младорусская или «украинофильская» партия показывалась в литературном языке так называемой «кулишовской» и культивировала

<sup>15</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 1458.

<sup>16</sup> Текст сноски отсутствует. – *M. P.*

самобытный «малорусский» или украинский язык. Главными органами этой партии были газеты «Правда» (1867–1880) и затем в последующие годы «Діло». В этих изданиях принимали участие также украинофилы из России.

Русскому правительству в чисто политических целях (ослабление украинского движения в самой России) выгодно было поддерживать старорусскую или «московофильтскую» партию. Этим объясняется и отмеченный нами факт постоянного и систематического субсидирования московофильтских газет российским правительством из своих секретных фондов, пользуясь в этом случае советами и указаниями представителей академической науки и, в частности, тогдашнего профессора СПб университета В. И. Ламанского.

Другие славяне, входившие в состав австро-венгерской монархии, зная, каким авторитетом пользовался Ламанский в правительственные сферах, направляли непосредственно к нему свои просьбы о пособиях. С такой просьбой обратился к Ламанскому, например, словацкий деятель Иван Францици значительно раньше (18.VII.1877 г.). Письмо Францици, написанное своеобразным русским языком, интересно и в другом отношении: оно является любопытным показанием современника о положении дел в те годы у словаков, фактически входивших в состав собственно Венгрии. «Почтеннейший Владимир Иванович, — писал Францици Ламанскому, — Вам лучше всех русских известно, в каких отношениях живем мы — словаки. Вам также понятно, что положение наше в течение последних годов стало значительно хуже. Нам закрыли три гимназии и Матицу и забрали их фонды и все имение... Народных заведений у нас теперь двое: акционная типография в Турчанском Мартине, которой я директором, и наши газеты: Народные Новины, Народный Гласник — редактор Николай Ференчик, Орел — редактор Андрей Трухлый и юмор.-сатир.-политический Чернокняжник — редактор Андрей Чернянский. Эти газеты нам все нужны, но особенно Народные Новины, которые теперь пользуются большою участью (пропуск в тексте. — M.P.) читателей, чем до сих пор. Их редактором — Амвросий Пиентор, сотрудниками же Николай Ференчик и Самуил Захей, самые заслуженные личности... В последнем времени мы получили известия из достоверного источника, что некоторые жупаны словенских комитатов<sup>17</sup> настоятельно требуют от правительства запретить Народные Новины. Мы приготовлены к этому в том смысле, что против нас мадьярам и ренегатам все удается и все свободно; но мы совсем не приготовлены относительно начатия выдавать новую политическую газету. У нас по закону политические газе-

<sup>17</sup> Мадьярские начальники словацких уездов.

ты, издаваемые не в Пештбудине<sup>18</sup> — хотя только два раза в месяц, должны положить в казенные руки 5250 гульденов кавции, ежедневно издаваемые газеты должны положить вдвое столько, — и, если прекращается издание газеты из-(за) какой-либо причины, кавцая остается два года от прекращения в руках правительства... В этом почти отчаянном положении я решился послать Вам с доверием и откровенностью эти известия и покорнейше попросить Вас, чтобы Вы благоволили у Славянского благотворительного общества исходатайствовать для вышеозначенных потребностей наших денежное пособие в сумме, какую Вы благоразумно определить изволите... Но позвольте мне решительно просить Вас, чтобы ни об этом моем прошении, ни об отпущении какой-либо суммы для словаков публично ни спомена сделано не было, ибо лучше нам не получить ничего, чем переносить последствия узнания через мадьяр поддерживания нас русскими. Ив. Францисци»<sup>19</sup>.

Эта переписка нашла себе отражение и в протоколах СПб. Славянского благ[отворительного] общества. В заседании совета общества 10.XI.1877 г. рассматривалось «письменное предложение В. И. Ламанского об оказании на одно ученко-литературное предприятие в Австрии денежного пособия в размере 5250 гульденов». — «Деньги, как говорилось в протоколе, следует послать нашему священнику в Вене М. Ф. Раевскому». Таким образом, просьба словацкого деятеля Ив. Францисци, видимо, была удовлетворена полностью. В декабре того же года в протоколах Славянского общества имеется такая запись от 7.XII.1877 г. «Слушали; предложение В. И. Ламанского о назначении пособия в количестве 5000 руб. на поддержку Народных Новин, издающихся у словаков. Постановили: послать через отца-протоиерея Раевского в пособие на издание названного журнала ныне же 3000 р[ублей] из расходного капитала; остальную же сумму (2000 р[ублей]) из того же источника при первой возможности». М. Ф. Раевский, постоянный и верный заграничный агент правительства и славянского общества, 22.II.1878 г.

<sup>18</sup> В Будапеште, где были сосредоточены все издания национальных меньшинств Венгрии.

<sup>19</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 1475. Иван или (пропуск в тексте. — *M. P.*) (1822–1905) – известный словацкий деятель (будиль) и писатель (псевдоним (пропуск в тексте. — *M. P.*) или (пропуск в тексте. — *M. P.*)), младший современник Людовита Штура. В революцию 1848 г. Францисци служил в мадьярской армии, но отказался идти против восставших сербов и хорватов. За это вместе с другими своими товарищами он был присужден к виселице; затем смертная казнь была заменена ему тюремным заключением на 30 лет. Занятие Будапешта Виндишгрецем освободило заключенных из мадьярской тюрьмы, в том числе и Францисци. В 1861–63 г. Францисци издавал (пропуск в тексте. — *M. P.*), участвовал в организации словацкой Матицы и состоял ее почетным и пожизненным вице-председателем. Ему принадлежит сборник словацких сказок ((пропуск в тексте. — *M. P.*) 1848 г.), сборник лирических стихотворений ((пропуск в тексте. — *M. P.*) 1892 г.) и ряд других произведений.

уведомил совет Славянского общества об исполнении возложенного на него поручения, а затем через несколько лет (15.V.1881г.) совет общества снова рассматривал заявление Ив. Францисци «об исходатайствовании ему (Францисци) правительственной субсидии для издания Народных Новин и других современных изданий». Совет общества постановил «просить А. А. Киреева принять на себя труд ходатайствовать по настоящему делу»<sup>20</sup>. Из приведенных выше документальных данных видно, что благодаря настоимням В. И. Ламанского словацкие Народные Новины с 1881г. были действительно переведены на правительстvenную субсидию по Военному министерству, о чем была речь выше.

Что касается галицких москофильских изданий, то и в отношении их в рукописных протоколах СПб. Славянского общества имеется интересное указание; совет Общества в заседании 29.IV.1887 г. заслушал уведомление Министерства внутренних дел «об ассигновании В. М. Площанскому (издателю газеты „Слово“) денег, имеющих быть отправленными через русское посольство в Вене». Совет Славянского общества признал в данном случае более удобным «просить князя П. П. Вяземского<sup>21</sup> передать эти деньги Славянскому обществу для отсылки прямо г. Площанскому», чтобы не компрометировать официальный правительственный орган.

Услуги В. И. Ламанского не ограничивались этими мелочами. Когда в конце 80-х годов XIX ст[олетия] в правительстvenных кругах возникла мысль организовать в Константинополе в целях исключительно политических, лишь завуалированных научными задачами, Археологический институт, российский посол при Оттоманской Порте А. И. Нелидов в первую голову обращается за советом к проф. В. И. Ламанскому.

«В связи с стремлением к упрочению нашего нравственного влияния на Востоке, — писал А. И. Нелидов проф. Ламанскому 12.XI 1887 г., — в императорском посольстве возникла мысль об основании в Константинополе русского ученого учреждения, посвященного собиранию и разработке научного материала на всем протяжении христианского и мусульманского Востока в этнографическом, историческом, археологическом, художественном и богословском отношениях. Считаю излишним распространяться в настоящем письме о пользе, которой можно ожидать от трудов подобного учреждения для нашей политической работы; они способствовали бы, несомненно, с одной стороны, выяснению для нас самих исторических условий почвы, на которой нам приходится

<sup>20</sup> Цитируем по неопубликованным (рукописным) протоколам СПб. Славянского благ[отворительного] общества за 1877–1878 и 1881–1883 г.

<sup>21</sup> Павел Петрович Вяземский (1820–1888) — писатель; с 1881–1883 г. он занимал пост начальника Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел.

действовать — с другой — развитию самосознания среди наших единоверцев и единомышленников серьезной и независимой разработкой начал их истории, в правильном понимании коих заключается залог их единения с Россией. Прежде, однако, чем дать официальный ход делу, я полагал бы необходимым всестороннее, по возможности, освещение этой мысли и позволяю себе поэтому обратиться к Вам, многоуважаемый Владимир Иванович, с покорнейшей просьбой не отказать в своем содействии ее разработке сообщением своего взгляда на условия деятельности и устройства такого учреждения и на наиболее практический способ осуществления этого предположения. Я не сомневаюсь в Вашем сочувствии делу, которое имело бы серьезное значение для нашей собственной науки, помимо упомянутой политической цели. Императорское посольство с благодарностью воспользуется для общего дела теми сведениями и мнениями, которые Вы сочли бы возможным мне доставить в приблизительно двухмесячный срок по вопросу, выходящему в научной своей части за пределы моей компетентности»<sup>22</sup>.

В. И. Ламанский принял очень деятельное участие в организации Русского Археологического института в Константинополе, созывал, как видно из его бумаг, неоднократно совещания специалистов, в деталях разработал программу научной и политической деятельности Института и, наконец, выдвинул на пост его руководителя своего раннего ученика Ф. И. Успенского, который пробыл на этом посту с 1894 по 1914 год. Он всецело оправдал возложенное на него и его учителем и правительством доверие: глубокий и разносторонний ученый и тонкий дипломат акад. Ф. И. Успенский за двадцать лет существования Русского Археологического института в Константинополе, несомненно, оказал российскому правительству неоценимые услуги, дав в то же время институту возможность оставить видный след и в науке.

Принимал участие В. И. Ламанский по поручению правительства еще в одном крупном деле. Русификаторская политика царского правительства в Польше не ограничивалась одними административными мерами: особо серьезное внимание было обращено на постановку школьного дела в [бывшем] Царстве Польском. Решено было снабдить школы в «польских губерниях», как выражалась тогдашняя официальная терминология, кадрами преданных правительству учителей, вербую их из галичан москвофильского толка и из словаков — протестантов (не католиков). По этому поводу брат военного министра графа Милитина — Николай Алексеевич Милитин — секретно сообщал Ламанскому 12.IV.1866 г. следующий план вербовки и «воспитания» этих учителей:

---

<sup>22</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 1003.

«При личных наших объяснениях о пользе учреждения, частным образом — нескольких стипендий при столичных университетах для галицких и венгерских русских и словаков для приготовления учителей в учебные заведения в Царстве Польском, Вы изъвили готовность, в случае осуществления сей меры, принять на себя труд собрать сведения о лицах, которые могли бы быть избраны в стипендиаты, и входить, с кем представится надобность, в сношения о самом приглашении их в Россию... Предположение об учреждении означенных стипендий удостоено высочайшего утверждения, при чем предоставлены и нужные денежные средства с тем, чтобы об этом не было оглашено официально.

Всего назначено принять в оба столичных университета (Петербургский и Московский) до 20 стипендиатов из русских и словаков (преимущественно протестантов), окончивших курс в заграничных университетах, с тем, чтобы они прослушали у нас (в течение одного или двух лет) лекции русского языка и словесности, русской истории, славянской филологии и истории русского законодательства и чтобы обязались прослушить затем, по назначению учебного в Царстве Польском начальства, не менее двух лет за один год стипендии... Выбор стипендиатов предоставлен частному соглашению между учебным в Царстве Польском начальством и мною, по совещанию с преподавателями славянских наречий в СПб. университете. Уведомляя о сем Вас, долгом считаю покорнейше просить Вас оказать мне в настоящем деле обязательное содействие, входя, в случае надобности, в личное совещание с И. И. Срезневским. Указанные Вами первоначально молодые люди, по соглашению моему с г. главным директором народного просвещения, приняты в число стипендиатов, а потому не благоугодно ли будет пригласить их приехать сюда в скорейшем, по возможности, времени с тем, чтобы они прибыли через Варшаву, представились там лично Ф. Ф. Витте<sup>23</sup>. К сему считаю долгом присовокупить, что я просил Ф. Ф. Витте собрать с своей стороны через доверенных лиц сведения о словаках и русских, кои могут быть определены на учреждаемые стипендии, сообщать мне о тех из них, которые будут им избираемы»<sup>24</sup>.

Наряду с этим, правительством принимались меры к распространению в Галиции и венгерской Словачине русского языка. Об этом свидетельствует следующее письмо того же Н. А. Милотина на имя Ламанского от 12.IV.1866 г.:

«Из личных мною объяснений Вам известно о предположении оказать негласным путем возможное содействие к распространению между русским населением Галиции и Венгрии общерусского литературного языка и об ассигновании с этой целью особых денежных средств на по-

<sup>23</sup> Главный директор народного просвещения в Царстве Польском.

<sup>24</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 946.

купку и доставление туда произведений нашей печати. Во всем этом деле, как само собою разумеется, положено действовать совершенно частным образом, предоставив лицам, которые будут для сего избраны, выбор и пересылку книг и периодических изданий от их собственного имени или же от имени ученых обществ, обращаясь, в случае нужды, к посредству начальника Холмской учебной дирекции Ф. Г. Лебединцева, который имеет постоянное сношение с заграницными русскими деятелями и принял на себя передачу книг. Так как вам угодно было изъявить согласие участвовать также в настоящем деле, то обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой сообщить мне по совещании с теми, с кем Вы признаете нужным, какие следовало бы приобрести на первый раз книги, и кого из наших южных согражданников надлежало бы снабдить ими для достижения с наибольшей пользой предположенной цели»<sup>25</sup>.

Намечался затем и первоочередной список правительственные стипендиатов, в число которых вошли галичане Грабарь, Гринчак, Семенович и Трусевич... Этот список Н. А. Милютин снабдил таким примечанием: «К сему считаю нужным присовокупить, что я вошел в сношение с министром народного просвещения об оказании содействия к допущению избранных нами стипендиатов слушать университетские лекции без взноса определенной платы и с дозволением им в свое время подвергнуться испытанию по тем предметам, которые они сами изберут»<sup>26</sup>.

В апреле 1866 г. избранные стипендиаты благополучно прибыли в Петербург. «Пожалуйста, — просит 8.IV.1866 г. Н. А. Милютин Ламанского, — направьте и научите их. Познакомиться с ними я еще не успел, но прошу к себе в воскресенье во 2-м часу. Не посетите ли также для общих совещаний?»

В июле (7.VII.) 1867 г. военный министр граф Д. А. Милютин конфиденциально сообщал Ламанскому: «Государь император по всеподданнейшему моему докладу в 4-ый день сего июля высочайше повелеть соизволил возложенные на меня, по случаю болезни моего брата, дела о галицких стипендиатах и распространении в Галиции полезных сочинений передать для дальнейшего неофициального производства на тех же основаниях министру нар[одного] просв[ещения] графу Дмитрию Андреевичу Толстому»<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Текст сноски отсутствует. — M. P.

<sup>26</sup> Текст сноски отсутствует. — M. P.

<sup>27</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 945. Семья Милютиных дала в свое время двух крупных политических деятелей. Старший брат Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912), как известно, был одним из ближайших сотрудников Александра II. В течение 20 лет он занимал пост военного министра и уже в 1878 г. (за свою заслугу) был возведен в графское достоинство. Умер глубоким стариком (на 97 году от рождения) незадолго перед войной. Младший брат Николай Алексеевич Милютин (1818–1872) в 60-ые и в начале 70-х годов

Роль, какую сыграл Ламанский в деле русификации населения Польши, нашла себе резкое осуждение в последующую эпоху со стороны ученого слависта И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. С обычной для него резкой прямолинейностью Бодуэн в письме к Ламанскому из Казани от 18.IV.1881 г. бросил своему другу и покровителю такое обвинение: «Вы ведь в свое время тоже довольно сильно способствовали возникновению и укреплению русификаторского направления в Царстве Польском... На счет этого вопроса мы, вероятно, и теперь совершенно расходимся»<sup>28</sup>.

В бытность свою студентом СПб. университета (1893–97 г.) мы застали В. И. Ламанского уже на исходе его научной и научно-учебной деятельности, — в преклонном возрасте, облеченнего чином тайного советника, обеспеченного званием заслуженного профессора, а с 1900 г. и высоким званием действительного члена Академии Наук, в достаточной степени либерального, как это в ту эпоху и полагалось всякому высокому сановнику, но всегда при этом чувствовалось, что Ламанский не отошел и не мог идеологически отойти от тех правительственные сфер, которым он в качестве компетентного представителя науки убежденно служил всю свою жизнь. Классовые инстинкты настолько были в нем живучи и сильны, что даже в мелочах он не в силах был отступить от них. После пресловутого «крушения на ст[анции] Борки в 1888 г. В. И. Ламанский получил от начинавшего тогда входить в силу помощника обер-прокурора «святейшего синода» В. К. Саблера такую записочку без даты: «Граф Н. П. Игнатьев просит Вас принять участие в начертании адреса государю по случаю 17 окт[ября]. Прошу Вас сообщить мне то, что Вам благорассудится внести в адрес. Было бы, конечно, всего лучше, если бы Вы потрудились составить этот адрес. Искренно преданный Вам В. Саблер»<sup>29</sup>.

Под этим импульсом Ламанский тут же на записке Саблера мелким нервным почерком набрасывает черновик предполагаемого все-подданнейшего адреса. Воспроизводим этот любопытный черновой набросок без всяких изменений: «Беспримерное в летописях несчастье с царским е. и. в. поездом и чудесное спасение Ваше, государь, и всего вашего семейства (зачеркнуто „раскрыли“) обличили воочию позорные (зачеркнуто „закоренелые“) грехи (зачеркнуто „наши и все-

XIX ст[олетия] занимал пост статс-секретаря по делам Польши. Это автор проектов о крестьянской реформе в [бывшем] Царстве Польском и инициатор расторжения конкордата с Ватиканом (1866 г.) — «честный кузнец-гражданин», как назвал его Некрасов в одном из своих стихотворений. Он сравнительно рано выбыл из строя: в 1866 г. с ним случился нервный удар, и он протянул еще шесть лет, совершенно отстранившись от дел.

<sup>28</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 145.

<sup>29</sup> Архив А. Н., ф. 35, оп. 1, № 1252.

благую милость божию“) русской жизни и твое, царь, мужественное сердце (зачеркнуто „и нежную любовь“), полное любви к несчастным и обиженным, и всеблагую милость, божию. Благодарим царя вседержителя за проявленную нам в твоем и всех твоих близких спасении милость и просим бога, да дарует он тебе сил и твоему мужественному сердцу»... (далее неразборчиво).

Характерны в данном случае в устах либерального профессора слова по адресу Николая II<sup>\*</sup> Романова: «Мужественное сердце, полное любви к несчастным и обиженным»...

Было бы ошибочно думать, что помощь Ламанского правительству и проведение определенной политики в отношении славян, в особенности в отношении тех из них, которые входили в состав австро-венгерской монархии, ограничивались только приведенными нами случаями: мы взяли самое характерное и наиболее показательное. Не следует забывать, что В. И. Ламанский в течение многих лет был товарищем председателя СПб. Славянского благ[отворительного] общества, его секретарем, членом совета и т. д., что он мог (и делал это) влиять своим авторитетом на ход работы этого общества. Официальные министерства — военное, внутренних дел, народного просвещения — не всегда непосредственно входили в связи с славянами на местах: они в большинстве случаев предпочитали действовать через других лиц («совершенно частным образом») и через общественные организации, какой в то время было СПб. Славянское общество, а сами оставались за кулисами. Они отпускали и отдельным лицам («просвещенным ревнителям славянского дела») и организациям («ученым обществам») значительные суммы из своих секретных фондов, давали свои директивы, контролировали, а непосредственно действовали другие по их указаниям. Для правительства важно было прикрывать свои действия крупными авторитетами науки и тем самым не только усиливать свое политическое влияние, но и поднимать культурный престиж России среди славян, греков, румын и турок на Балканском полуострове и среди славян в Юго-Восточной Европе. Практическая деятельность таких, напр., славяноведов, как профессора А. С. Будилович, П. А. Кулаковский, Т. Д. Флоринский, свидетельствует, что у царского правительства в деле использования научных сил «ко благу политики» была определенная и строго выдержанная система, всегда дававшая, с точки зрения авторитетной информации и правильного для целей правительства понимания так назыв[аемого] «славянского вопроса», благоприятные результаты. Только Министерство иностранных дел практиковало несколько иные приемы: в его распоряжении

---

\* Должно быть: Александра III.

был свой специальный, «Секретный фонд на поддержание славян». Нам удалось с достаточной полнотой и достоверностью установить и происхождение этого фонда.

По упразднении в 1879 г. императорского комиссариата по оккупации Болгарии образовались весьма крупные остатки из сумм Оккупационного Правления, отпущенных ему в свое время российским Военным министерством. Остатки эти, достигавшие 2.540.000 франков в золоте, были переведены в распоряжение Министерства иностранных дел для основания «Секретного фонда на поддержание южных славян».

Из этого фонда славянам выдавались пособия и стипендии на получение общего и специального образования в России; из того же фонда отпускались через Первый [бывший] Азиатский департамент крупные суммы на культурные, просветительные и иные цели в славянских землях (и не только у южных славян), причем отчеты Секретного фонда опубликованию не подлежали.

Распоряжаясь бесконтрольно суммами Секретного фонда, Министерство иностранных дел в то же время держало в поле своего зрения и работу тех «ученых обществ», которые так или иначе интересовались славянскими делами. Мы, например, установили, что начальник отделения [бывшего] Азиатского департамента — некто Лисовский, ведавший делами Секретного фонда, был вместе с тем в 80-ые годы прошлого столетия и официальным цензором повременника СПб. Славянского общества — его «Известий», выходивших непрерывно с 1883 по 1889 год включительно под редакцией Н. Н. Страхова, К. Н. Бестужева-Рюмина, В. И. Ламанского и В. Е. Комарова (последовательно и преемственно). Он, Лисовский, требовал для предварительного просмотра те материалы, которые предназначались к печатанию в «Известиях» общества, и были случаи, когда статьи даже таких крупных и таких «надежных» авторов, как В. И. Ламанский и К. Н. Бестужев-Рюмин, строгим цензором Азиатского департамента не допускались к напечатанию.

Машинописная копия доклада В. Н. Кораблева «Славяноведение на службе самодержавия (Из деятельности академика В. И. Ламанского)» хранится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (Ф. 827. Оп. 5. Д. 74. Л. 1–24).

Текст латиницей остался невписаным, на его месте — пропуски.

Обозначению в тексте «Архив Академии Наук» соответствует в настоящее время — Санкт-Петербургский филиал архива РАН.

## Список архивных фондов

СОКРАЩЕНИЯ:

- АРАН — Архив РАН  
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН  
ПФА РАН — С.-Петербургский филиал архива РАН  
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства  
РГБ — Российская государственная библиотека  
РНБ — Российская национальная библиотека  
ЦГА СПб. — Центральный государственный архив С.-Петербурга

| Место хранения | № фонда | Наименование фонда  |
|----------------|---------|---|
| АРАН           | 502     | Ушаков Д. Н.  |
|                | 518     | Вернадский В. И.  |
| ИРЛИ           | 62      | Вейнберг В. И.  |
|                | 134     | Кони А. Ф.  |
|                | 141     | Бобровников Н. А.   |
|                | 226     | Петровская Ю. В.  |
|                | 359     | Арсеньев К. К.  |
|                | 669     | Петухов Е. В.   |
| ПФА РАН        | 1       | Конференция Академии наук   |
|                | 9       | Канцелярия Второго отделения Академии наук – Отделения русского языка и словесности |
|                | 87      | Залеман К. Г.   |
|                | 115     | Кондаков Н. П.  |
|                | 134     | Шахматов А. А.  |
|                | 172     | Сперанский М. Н.  |
|                | 208     | Ольденбург С. Ф.  |
|                | 220     | Институт славяноведения   |
|                | 247     | Никольский Н. К.  |
|                | 281     | Грот К. Я.  |
|                | 284     | Лавров П. А.  |
|                | 292     | Карский Е. Ф.   |
|                | 332     | Истрин В. М.  |
|                | 752     | Ляпунов Б. М.   |
|                | 825     | Бузескул В. П.  |
|                | 827     | Державин Н. С.  |
|                | 849     | Зеленин Д. К.   |

| Место хранения | № фонда | Наименование фонда        |
|----------------|---------|---------------------------|
| РГАЛИ          | 318     | Шахматов А. А.            |
|                | 436     | Срезневские И. И. и В. И. |
|                | 444     | Сакулин П. Н.             |
|                | 449     | Соболевский А. И.         |
|                | 584     | Яцимицкий А. И.           |
|                | 1277    | Перетц В. Н.              |
|                | 2231    | Селищев А. М.             |
| РГБ            | 2297    | Дурново Н. Н.             |
|                | 369     | Бонч-Бруевич В. Д.        |
| РНБ            | 326     | Казанович Е. П.           |
|                | 696     | Симони П. К.              |
| ЦГА СПб.       | 7240    |                           |

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамович Дмитрий Иванович (1873–1955), литературовед-славист. Член-корр. (1921) 37, 130, 239, 262, 268, 315, 316
- Аввакум (1620 (или 1621) – 1682), протопоп, один из основателей старообрядчества 92
- Адрианова-Перетц Варвара Павловна (1888–1972), литературовед-славист. Член-корр. (1943) 25, 33, 83, 91, 182, 229, 235, 249, 250–253, 256, 257, 259–270, 272, 273, 276, 278–280, 282, 284, 382
- Айналов Дмитрий Васильевич (1862–1939), историк искусства. Член-корр. (1914) 350
- Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист-славянофил, поэт.
- Аксенова Елена Петровна 15, 16, 17, 63, 185, 188, 189, 190
- Акулов Иван Алексеевич (1888–1937), Генеральный прокурор СССР 201
- Александр II (1818–1881), российский император 410
- Александр III (1845–1894), российский император 412
- Алексеев Василий Михайлович (1881–1951), филолог-китаевед. Член-корр. (1923), акад. (1929) 350, 369
- Аллатов Владимир Михайлович 16, 149, 175, 185–189, 190, 284, 311, 386
- Алферов 230
- Анфимов, медик 72
- Анциферов, профессор культуролог и историк 191
- Аптекарь Валериан Борисович (1899–1937), лингвист-маририст 161
- Армашевский Петр Яковлевич (1851–1919), минералог и геолог 29
- Аросев Александр Яковлевич (1890–1938), полпред в Чехословакии 197
- Арсений, митрополит новгородский 315
- Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), публицист, критик. Почетный акад. (1900) 24
- Асмолов А. И. 96
- Ашинин Федор Дмитриевич 16, 169, 311, 386
- Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932), историк России и Украины. Акад. АН УССР 50
- Багрий Александр Владимирович (1891–1949), литературовед 252, 253, 257
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт 177
- Балухатый Сергей Дмитриевич (1892–1945), литературовед. Член-корр. (1943) 75, 250, 257
- Баранкова Г. С. 17, 186–188, 374
- Бартольд, Василий Владимирович (1869–1930) – востоковед. Акад. (1913) 269, 340
- Белецкий Леонид Тимофеевич, литературовед 218, 219, 250
- Белич Александр (1876–1960), сербский лингвист. Иностранный член АН СССР 203
- Бельченко 270
- Беневский, полковник генерального штаба 403
- Бенешевич Владимир Николаевич (1874–1938), византинист, историк канонического права, славист. Член-корр. (1925) 350
- Бернекер Эрих (1874–1937), лингвист-славист. Иност. член АН (1929) 203
- Бернштейн Самуил Борисович (1911–1997), лингвист-славист 11, 16, 17, 66, 185, 211, 227, 385, 386
- Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (14.V.1829 – 2.I.1897), историк России. Акад. (1890) 413
- Бобринников Н. А. 73
- Богаева Наталья Андреевна 15
- Богатырев Петр Григорьевич (1893–1971), фольклорист-славист, этнограф 193, 202, 224
- Богородицкий Василий Алексеевич (1857–1941), лингвист. Член-корр. (1915) 315
- Богословский Михаил Михайлович (1867–1929), историк России. Акад. (1921) 341, 357, 361
- Бодузан-де-Куртенэ Иван Александрович (1845–1929), лингвист-славист. Член-корр. (1897) 37, 97, 98, 175, 240, 411
- Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), гос. деятель, историк, литератор 27–28, 31, 101, 102
- Бородин Иван Парfenьевич (1847–1930), ботаник. Акад. (1902) 104
- Ботт Мария-Луиза 226

- Брандт Роман Федорович (1853–1920) — филолог-славист. Член-корр. (1904) 96
- Браун Федор Александрович (1862–1942), филолог-германист, славист. Иност. член (1927) АН СССР 194, 213, 227
- Брачев В. С. 373, 374
- Брок Олаф (Иванович) (1867–1961), норвежский славист. Член-корр. (1916) 18, 37, 220, 228
- Брюкнер Александр (1856–1939),польский филолог-славист. Член-корр. (1889) 206, 243
- Бубнов Н. М. 254
- Бубрик Дмитрий Владимирович (1890–1949), лингвист, финно-угровед. Член-корр. (1946) 366
- Бугославский Сергей Алексеевич (1888–1945), литературовед, музыковед 250–252, 254, 262
- Будилович Антон Семенович (1846–1908), филолог-славист. Член-корр. (1882) 412
- Бузескул Владислав Петрович (1858–1931), историк античности. Акад. (1922) 49, 50, 53, 112, 131, 132, 147, 298, 300, 304, 329, 350, 370
- Бузук Петр Афанасьевич (1891–1938), лингвист-славист 51, 113, 161, 188, 212, 310
- Булич Сергей Константинович (1859–1921), лингвист-славист 30, 45, 97, 232, 240
- Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель 294, 310
- Бунина Анна Петровна (1774–1829), поэтесса 294–296
- Бунина М. П. 294
- Буслаев Федор Иванович (1818–1897), филолог, искусствовед. Акад. (1860) 250
- Бухарин Николай Иванович (1888–1938), гос. и полит. деятель. Акад. (1929) 55, 358, 362, 368
- Бычков Иван Афанасьевич (1858–1944), археограф. Член-корр. (1903) 95, 315
- Бялый Григорий Абрамович (1905–1987) — литературовед 278, 284, 285
- Вальтер, проф.** 29
- Ванновский Петр Семенович (1822–1904), военный министр (1881–1898), министр народного просвещения (1901–1902) 236
- Васильев, ученик А. И. Соболевского 240
- Введенский, проф. 95
- Вейнберг Петр Исаевич (1831–1908), поэт, переводчик. Почетный акад. (1905) 27
- Вейнгарт Милош (1890–1939), чешский лингвист 218
- Вейс, зав. Самарским отделом народного образования 46
- Вениамин, библ. 275
- Вернадский Владимир Иванович (1863–1945), геохимик. Акад. (1912) 95, 130
- Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973), историк 119, 298–300, 358
- Вершинин 349
- Веселовский Александр Николаевич (1838–1906), литературовед, фольклорист, этнограф. Акад. (1881) 180, 233, 250
- Веселовский Алексей Николаевич (1843–1918), литературовед, историк театра. Почетный акад. (1906) 233
- Вилинский С. Г. 29, 58
- Вильгельм А., член Венской академии 370
- Виндишгрец Альфред (1787–1862), австрийский фельдмаршал 406
- Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969), лингвист-славист. Акад. (1946) 60, 180, 363
- Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954), историк. Акад. (1943) 103
- Витберг Федор Александрович (1846–1919) — педагог, библиограф 95
- Витте Ф. Ф., главный директор народного просвещения в Царстве Польском 409
- Владимиров Борис Яковлевич (1884–1931), востоковед. Член-корр. (1923), акад. (1929) 350, 369
- Владиславлев (Гульбинский) Игнатий Владиславович (1880–1962), библиограф 128
- Воблы́й Константин Григорьевич (1875–1947), экономист. Акад. АН УССР (1919) 350
- Вознесенский, проф. 48
- Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962), историк и общественный деятель. Акад. (1930) 164, 167, 349, 361, 366, 367, 370
- Волков Николай Владимирович (ум. 1919), филолог 95
- Вольтнер Маргарете (1897–1985), немецкий лингвист-славист 221, 378
- Вольфсон Семен Яковлевич (1894–1941), философ. Акад. (1928) АН БССР 144
- Вондрак Вацлав (1859–1925), чешский филолог-славист 193

- Воронский Александр Константинович (1884–1943), писатель, критик 128
- Воронцов Василий Павлович («В. В.») (1847–1918), экономист, социолог 94
- Востоков Александр Христофорович (1781–1864), филолог-славист. Акад. (1841) 250
- Вотчел Евгений Филиппович (1864–1937), ботаник. Акад. (1921) АН УССР 42
- Вяземский Павел Петрович (1820–1888), историк литературы, археограф. Начальник Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел (1881–1883) 407
- Вязгин А. С., профессор 29, 72, 97
- Гаевский Виктор Павлович (1826–1888), критик, историк литературы 401
- Герштейн Александра Васильевна (1850–1937), близкий друг семьи В. И. Вернадского 119
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт 178
- Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), историк, этнограф, лингвист 302
- Гинцбург – зав. Городским музеем Самары 33
- Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, критик 264, 283
- Гирс Николай Карлович (1820–1895), дипломат, министр иностранных дел (1882–1895) 402
- Гивенко Иван Иванович (1868–1931), литературовед 41
- Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937), профессор богословия 200
- Гнесин Михаил Фабианович (1883–1957), композитор 124
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель 180
- Голубев Степан Тимофеевич (1848–1920), историк церкви 97, 315
- Горак Йиржи, чешский фольклорист и литературовед 218
- Горбачев Евгений Ефимович (1897–1942), критик, литературовед 189
- Горбунов Николай Петрович (1892–1937), гос. деятель, химик. Акад. (1935) 28, 346
- Горизонтов Леонид Ефремович 16
- Горин М., автор фельетона «Академический ковчег» 346
- Горленко М. М., жандармский полковник 27
- Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – князь, дипломат, министр иностранных дел (1856–1882) 402
- Горький Алексей Максимович (1868–1936), писатель 30, 31
- Горянин Андрей Николаевич 15, 16, 17, 18, 138, 198, 207, 224, 279, 334, 372, 374
- Готье Юрий Владимирович (1873–1943), историк России. Член-корр. (1922), акад. (1939) 113, 304, 305, 308, 311
- Гофман Модест Людвигович (1887–1959), литературовед 182
- Грабарь, галичанин, правительственный стипендиант 410
- Грабарь Владимир Эммануилович (1865–1956), юрист и историк 139, 140
- Греков Иван Иванович (1867–1934), хирург 99
- Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929), книгоиздатель 31
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), писатель 358
- Григорович Виктор Иванович (1815–1876), славист, филолог и историк 239
- Гримм Давид Давидович (1864–1941), правовед 30, 32
- Гринберг З. Г. (1887 – после 1948), публицист 30
- Гринчак, галичанин, правительственный стипендиант 410
- Грот Константин Яковлевич (1853–1934), историк-славист. Член-корр. (1911) 17, 126, 131, 286–298, 301, 308–310, 312, 378, 389, 397
- Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог. Акад. (1858) 250, 286
- Груздев, проф. 29
- Грузинский А. С., лингвист 41, 250, 293
- Грулин, лектор чешского языка 57
- Грунский Николай Кузьмич (1872–1951), лингвист 255, 256
- Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934), историк, литературовед. Акад. (1929) 21, 254, 255, 350, 357, 371
- Гудзий Николай Каллиникович (1887–1965), литературовед. Акад. АН УССР (1945) 229, 249, 250, 252 254, 262, 279, 283, 382

- Гульбинский Борис, поэт 128  
 Гупер, чешский филолог 218
- Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф 178, 293, 296  
 Данилов Георгий Константинович (1896–1937), лингвист 161  
 Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), философ, публицист 289, 298  
 Дашкевич Николай Павлович (1852–1908), славист, литературовед, историк, фольклорист. Акад. (1907) 319  
 Деборин Абрам Моисеевич (1881–1963), философ. Акад. (1929) 349, 350, 357, 358  
 Денисов, профессор 30, 97  
 Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт 250, 294  
 Державин Николай Севостьянович (1877–1953), литературовед-славист. Акад. (1931) 16, 46, 47, 53, 131, 147, 149–153, 155, 161, 165, 167, 168, 173, 179–183, 185, 189, 316, 270, 293, 294, 296, 297, 300, 305–307, 312, 316, 336, 353, 355, 366–368, 370, 371, 382, 384  
 Державина Ольга Александровна (1901–1985), литературовед 235  
 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), гос. деятель 317  
 Дмитриевский 315  
 Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939), историк, палеограф. Член-корр. (1929) 31  
 Добропольский, лектор сербского языка 57  
 Добровский Йосеф (1753–1829), чешский филолог-славист 220  
 Доброклонский Александр Павлович (1856–1937), историк церкви 29, 57, 73, 200  
 Долобко Милий Герасимович (1884–1935), лингвист-славист 44, 262, 363  
 Допши Альфонс (1868–1953), австрийский историк-медиевист 370  
 Дорошевский Витольд Ян (1899–1976), польский лингвист-славист 175  
 Досталь Марина Юрьевна 15, 16, 17, 198, 223, 224, 225, 226, 228, 312  
 Дринов Марин Стоянов (Степанович) (1838–1906), историк-славист. Член-корр. (1898) 238, 299  
 Дубровин Александр Иванович (1855–1918), один из лидеров «Союза русского народа» 244  
 Дурново Андрей Николаевич (1910–1938), сын Н. Н. Дурново 128
- Дурново Николай Николаевич (1876–1937), лингвист-славист. Член-корр. (1924) 16, 41, 46, 107, 118, 128, 129, 132, 148, 158, 159, 176, 192, 200, 201, 202, 210, 211, 212, 224, 225, 227, 291, 310, 320, 350, 363, 364, 371, 376, 381, 384, 386  
 Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995), историк-славист 10, 15, 16  
 Дьяконов Михаил Александрович (1855–1919), историк средневековой Руси. Акад. (1912) 96
- Евсеев Иван Евсеевич (1868–1921), филолог-славист. Член-корр. (1914) 28, 39, 69, 74, 76, 77, 80, 81, 85, 86, 88, 101, 105, 106, 107, 315  
 Егоров Дмитрий Николаевич (1878–1931) – историк. Член-корр. (1928) 16  
 Емельянов, филолог 48  
 Енукидзе Аветъ Сафонович (1877–1937), гос. деятель 128  
 Еремин Игорь Петрович (1904–1963), литературовед-славист 229, 263, 267, 268, 275, 276, 282
- Ж**аков 240  
 Жданов Иван Николаевич (1846–1901), литературовед, фольклорист. Акад. (1899) 250  
 Жебелев Сергей Александрович (1867–1941), историк античности. Акад. (1927) 31, 53, 147, 300, 340, 355, 356, 370  
 Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), филолог. Член-корр. (1939), акад. (1966) 179, 180, 182, 204, 205, 353, 354  
 Жукович Марья Никодимовна, жена П. Н. Жуковича 96  
 Жукович Платон Николаевич (1857–1919), историк-славист. Член-корр. (1918) 95, 96, 97  
 Журавлев Владимир Константинович 186, 187
- Залеман Карл Германович (1849–1916), востоковед. Акад. (1895) 169, 249  
 Заозерский Александр Иванович (1874–1941), историк России 203  
 Захей Самуил – сотрудник газеты «Народные новинки» 405  
 Зеленин Дмитрий Константинович (1878–1954), этнограф, фольклорист. Член-корр. (1925) 29, 33, 42, 51, 53, 55,

- 70, 72, 73, 78–80, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 107, 110, 112, 113, 117, 124, 125, 127, 147, 149, 169, 191 204, 208, 209, 210, 214, 227, 271, 272, 315, 334, 338, 345, 346, 355, 376
- Зенгер Григорий Эдуардович (1853–1919), филолог-классик. Министр народного просвещения (1902–1904) 93, 95
- Зибр Ченек (1864–1932), чешский литературовед. Член-корр. (1912) 232, 233
- Зигель Федор Федорович (1845–1921), историк-славист, правовед 289, 303
- Зиновьев Григорий Ефимович (1883–1936), гос. деятель 98
- Златарский Васил Николаев (1866–1935), болгарский историк. Член-корр. (1911) 208, 336
- Зубатый Йозеф (1855–1931), чешский языковед. Член-корр. (1924) 192
- Зубовский М. И., чиновник особого совещания 27
- Иаков, библ.** 275
- Иванов Вячеслав Всеvolодович 186
- Ивановский, философ 350
- Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф, дипломат, министр внутренних дел (1881–1882) 411
- Иконников Владимир Степанович (1841–1923), историк России. Акад. (1914) 248, 327
- Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), историк, публицист 94
- Ильинский Григорий Андреевич (1876–1937) – лингвист-славист. Член-корр. (1921) 17, 38, 44, 45, 47, 51, 55–58, 117, 124, 128 131, 132, 145, 154, 155, 156, 157–170, 172–175, 182, 185–187, 192, 202, 203, 207, 208, 211, 212, 216, 217, 221, 222, 224, 316, 319, 327, 328, 333, 352, 357, 358, 363–368, 371, 377, 380–385
- Иоффе 349
- Ипатьев Владимир Николаевич (1867–1952), химик. Акад. (1915) 119, 143, 346, 372
- Иречек Константин (1854–1918), чешский филолог-славист 192
- Истрин Василий Михайлович (1865–1937), филолог-славист. Акад. (1907) 22, 25, 26, 28, 30, 33, 39–41, 43, 44, 46, 65, 77, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 93, 97–100, 103–105, 107, 111, 113–117, 119, 122, 124, 125, 126, 131, 161, 183, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 206, 211, 217, 246–249, 256–260, 268, 269, 271, 277, 313–325, 384
- Истрина Евгения Самсоновна (1888–1957), лингвист. Член-корр. (1943) 94, 259
- Каганович Борис Семенович** 143
- Кадлубовский Арсений Петрович (1867–?), литературовед 287, 288
- Казанович Евдalia Павловна (1885–1941/1942), библиотекарь Пушкинского Дома 30–32, 45, 98, 100–103, 140, 180, 181, 215, 216
- Каменев Лев Борисович (1883–1936), гос. деятель 317
- Караджич Вук Стефанович (1787–1864), сербский филолог, историк, фольклорист. Член-корр. (1851) 234
- Каргер Михаил Константинович (1903–1976), археолог, искусствовед 266
- Каринский Николай Михайлович (1873–1935), лингвист-лингвист. Член-корр. (1921) 20, 21, 41, 68, 69, 70, 71, 89, 93, 97, 100, 108, 113, 116, 161, 216, 240, 264, 271, 316, 317, 318, 350, 363, 367
- Карпинский Александр Петрович (1846/1847–1936), геолог. Акад. (1896), президент АН (1917–1936) 32, 34, 44, 104, 332, 334
- Карский Евфимий Федорович (1860/1861–1931), филолог-славист, этнограф. Акад. (1916) 17, 33, 34, 42, 48, 52, 87, 131, 132, 156, 158, 160, 161, 166, 182, 195, 201, 202, 203–210, 214, 216, 220, 221, 223, 225, 226–228, 260, 262, 269, 276, 316, 319, 323, 325, 326, 331, 333, 336, 340, 347, 348, 355, 356, 362, 363, 367, 368, 378
- Кассо Лев Аристидович (1865–1914), министр народного просвещения (1910–1914) 19
- Катанов Николай Федорович (1862–1922), востоковед 114
- Катон Старший Марк Порций (234–149 до н. э.), римский писатель и гос. деятель 319
- Келтуяла Василий Афанасьевич (1867–1942), литературовед 178, 275
- Керенский Александр Федорович (1881–1970), гос. деятель 22
- Керенский Владимир Александрович (1968–?), профессор Казанской Духовной Академии 114, 315

- Керженцев Платон Михайлович (1881–1940), публицист, гос. деятель 357
- Киеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк России 103
- Киреев Александр Алексеевич (1833–1910), публицист, генерал 407
- Кирилл (Константин) — первоучитель славянства 217, 218
- Кишкун Николай Михайлович (1864–1930), министр Временного правительства 28
- Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк. Акад. (1900) 84
- Князев Т. А., директор Архива АН СССР в Ленинграде 301
- Ковалев Сергей Иванович (1886–1960), историк античности 150
- Козьмин Николай Кирович (1873–1942), литературовед. Член-корр. (1925) 239, 271, 353, 355
- Колесов Владимир Викторович 186
- Колесса Александр (1867–1945), украинский литературовед 218, 219
- Колинкоева Марта Гергиевна (1886–1938), болгарская политэмигрантка. Преподавала болгарский язык в МГУ (1928–1931) 57
- Колпакова Наталия Павловна (1902–?), фольклорист 278
- Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 244
- Кольцов Михаил Ефимович (1998–1942), журналист 209
- Комаров В. Е. 413
- Кондаков Никодим Павлович (1844–1925), историк искусства, археолог. Акад. (1898) 29, 53, 57, 65, 66, 74, 75, 82, 93, 94, 191, 196, 245, 246, 248, 313
- Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист. Почетный акад. (1900) 21, 23, 24, 33, 68–70, 79, 83, 266, 314
- Кораблев Василий Николаевич (1873–1936), — критик, историк славистики 49, 297, 298, 301–304, 306, 308, 309, 398, 413
- Корнилов Александр Александрович (1862–1925), историк 61
- Корш Федор Евгеньевич (1843–1915), лингвист. Акад. (1900) 238, 246
- Коршун Юр., естественник 72
- Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), литературовед. Акад. (1909) 197, 203, 245–248, 314, 319, 322, 333, 336
- Красин Леонид Борисович (1870–1926) — гос. деятель 119
- Крачковский Игнатий Юлианович (1883–1951), арабист. Акад. (1921) 168, 227, 336, 340, 349, 364, 369
- Крецулецку, румынский посол в Петербурге 401
- Кристи Михаил Петрович (1875–1956), уполномоченный Главнауки в Петрограде (1918–1926) 198
- Критский Ю. М. 18
- Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец 294, 335
- Крылов Алексей Николаевич (1863–1945), математик, кораблестроитель. Акад. (1916) 264
- Крымский Агафонгел Ефимович (1871–1942), филолог. Акад. Украинской АН (1919) 30
- \*Кузнецов Петр Саввич (1999–1968), лингвист 171
- Кулаковский Платон Андреевич (1848–1913), историк-славист, публицист 312, 412
- Кулаковский Сергей Юлианович, литературовед 138
- Кульбакин Степан Михайлович (1873–1941), лингвист-славист. Член-корр. (1919) 191, 197, 198, 203, 315, 322
- Куник Арист Аристович (Эрнст Эдуард) (1814–1899), историк-славист, филолог. Экстраорд. акад (1850) 399
- Курлов П. Г., товарищ министра внутренних дел 27
- Кутузов, друг Е. И. Ламанского 401
- Лавров Петр Алексеевич (1856–1929), филолог-славист. Акад. (1923) 26, 39, 44, 46, 51, 54, 55, 112, 116, 122, 130, 191, 206, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 236, 238, 239, 240, 286, 325 327, 336, 348, 356, 364, 365, 376, 383, 385
- Лавровский Николай Алексеевич (1825–1899), филолог-славист. Акад. (1890) 287, 288, 309
- Лавровский Петр Алексеевича (1827–1886), филолог-славист. Член-корр. (1856) 287, 288, 309
- Лазарев Петр Петрович (1878–1942), физик. Акад. (1917) 317, 320
- Ламанский Владимир Иванович (1833–1914), славист, историк и филолог. Акад.

- (1900) 17, 232, 286, 289, 297–310, 312, 384, 398, 400–413
- Ламанский Евгений Иванович** (1825–1902), экономист. Член-корр. (1850) 400, 401
- Ламанский**, сенатор, отец В. И. Ламанского 400
- Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич** (1863–1919), историк России. Акад. (1899) 94, 95
- Лаптева Людмила Павловна** 18, 143, 224, 225, 310, 312
- Ларин Борис Александрович** (1893–1964), лингвист 250
- Ларцев Василий Григорьевич** (1925–1989), историк науки 169
- Латышев Василий Васильевич** (1855–1921), филолог-классик. Акад. (1893) 93–95
- Лебедева Е. В.** 144, 282
- Лебединцев Феофан Гаврилович** (1828–1888) – историк 410
- Левашев** (ум. 1919), проф. 29
- Левинсон-Лессинг Франц Юльевич** (1861–1939), геолог, петрограф. Акад. (1925) 364
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич** (1970–1924), гос. деятель 28, 41, 102, 103, 119, 362
- Линднер** 346
- Линниченко Иван Андреевич** (1857–1926), историк-славист. Член-корр. (1900) 29, 66, 73
- Лисовский** 413
- Лихачев Николай Петрович** (1862–1936), историк и искусствовед. Акад. (1925) 22, 24, 82, 122, 315, 322, 326–329, 331, 332, 380
- Лобода Андрей Митрофанович** (1871–1931), литературовед. Член-корр. (1924), акад. (1922) АН УССР 251, 253–256, 319, 320, 324
- Лобода Н. И.**, ректор Киевского Института общественных наук 319, 320
- Логачев Константин Иванович** 15, 65
- Ломоносов Михаил Васильевич** (1711–1765), ученый, поэт 250
- Лопатин Герман Александрович** (1845–1918), переводчик «Капитала» К. Маркса 94
- Лопатин Лев Михайлович** (1855–1920), философ и психолог 96
- Лузин Николай Николаевич** (1883–1950), математик. Акад. (1929) 358
- Лукин, студент** 94
- Лукин Николай Михайлович** (1885–1940), историк. Акад. (1929) 358, 361, 370
- Луначарский Анатолий Васильевич** (1875–1933), гос. деятель, публицист. Акад. (1930) 26, 46, 162, 163, 269, 318, 329, 361, 362, 367, 368
- Луппол Иван Капитонович** (1896–1943), литературовед. Акад. (1939) 360
- Львов-Рогачевский Василий Львович** (1873/1874–1930), критик 128
- Ляпунов Борис Михайлович** (1862–1943), лингвист-славист. Акад. (1923) 33, 38, 42, 43, 45, 47–49, 51, 52, 55–58, 67, 80–82, 84, 87, 89, 96, 97, 100, 101, 103, 105, 109–115, 117, 120, 122–126, 128, 130–134, 148, 149, 153–178, 183, 184, 186, 188, 200, 202, 203, 208, 210, 216, 221, 222, 223, 228, 238, 258, 272, 274, 286, 293, 294, 297, 301, 310, 311, 316, 325, 326, 328, 329, 333, 339, 348, 350, 351, 354–356, 358, 362, 365–367, 371, 381, 383, 384
- Ляпунов Сергей Михайлович** (1859–1954), композитор, брат Б. М. Ляпунова 52, 328
- Ляцкий Евгений Александрович** (1868–1942), литературовед 219
- Лищенко Аркадий Иоакимович** (1871–1931), литературовед 271
- Мазон Андре** (1881–1967), французский филолог-славист. Иностранный член АН (1928) 182, 223
- Макаров В. И.** 62, 140
- Малейн**, филолог 350, 353
- Малов Сергей Ефимович** (1879/1880–1957), тюрколог. Член-корр. (1939) 48, 114
- Мальцев А. С.**, лингвист, преподаватель Саратовского университета 51
- Мануйлов Александр Аполлонович** (1861–1929), экономист. Министр народного просвещения Временного правительства (1917) 19
- Марков О. А.**, редактор газеты «Пролом» во Львове 404
- Маркс Карл** (1818–1883), философ, теоретик коммунизма 50, 161, 263, 362
- Марр Николай Яковлевич** (1864/1865–1934), востоковед. Акад. (1909) 146–156, 159, 161–163, 165–167, 169, 170, 171–173, 175, 176, 177, 179, 183, 185, 188, 326,

- 331, 337, 341, 345, 354–356, 359, 361, 365, 367, 370, 380, 381  
**Мартиновская А. И.** 62  
**Масальская Евгения Алексеевна**, сестра А. А. Шахматова 79, 245  
**Маслов Петр Павлович** (1867–1946), экономист. Акад. (1929) 357  
**Маслов Василий Иванович** (1884–1959), литературовед 30, 250, 254, 255  
**Маслов Сергей Иванович** (1880–1957), литературовед. Член-корр. (1939) АН УССР 250, 254, 255  
**Машкин – помощник комиссара народного просвещения Украины** 116  
**Мелихов, преподаватель университета** 29  
**Менгес Карл Генрих** (1908–?), немецкий славист и тюрколог 222, 228  
**Менделеев Дмитрий Иванович** (1834–1907), химик. Член-корр. (1876) 177, 351, 358  
**Мензбир Михаил Александрович** (1855–1935) – зоолог. Акад. (1929) 19  
**Мефодий, первоучитель славянства** 217, 218  
**Мещанинов Иван Иванович** (1883–1967), лингвист. Акад. (1932) 153, 155, 159, 175–177  
**Миклошич Франц** (1813–1891), австрийский и словенский филолог-славист. Иностранный член (1856) АН 43, 238  
**Миллер Всеволод Федорович** (1848–1913), фольклорист, лингвист. Акад. (1911) 169, 246  
**Миллер М.** 176  
**Милюков Павел Николаевич** (1859–1943), историк, политический деятель 19  
**Милютин Владимир Павлович** (1884–1938), гос. деятель, литератор 328, 334, 338, 339  
**Милютин Дмитрий Алексеевич** (1816–1912), граф, военный министр (1861–1881) 401, 402, 408, 410  
**Милютин Николай Алексеевич** (1818–1872), гос. деятель 408–410  
**Миннз, английский византинист** 370  
**Миронов, историк искусства** 48  
**Михайлов Александр Васильевич** (1859–1927), филолог-славист. Член-корр. (1922) 46, 319, 320, 385  
**Михайловский Стоян** (1856–1927), болгарский писатель 45  
**Младенов Стефан Стоянов** (1880–1963), болгарский лингвист-славист 203, 370  
**Модзалевский Борис Львович** (1874–1928), литературовед. Член-корр. (1918) 329, 331, 332  
**Молас Б. Н.** – зав. Секретариатом АН СССР до июля 1929 г. 346  
**Молчин, составитель русско-венгерского словаря** 403  
**Москаленко Анатолий Евсеевич** (1909–1984) – историк-славист 305, 311  
**Мотовский, историк** 357  
**Мыльников Александр Сергеевич** (1929–2003) – историк-славист 18  
**Мурко Матия** (1861–1952) – чешско-словенский филолог-славист 37, 52, 132, 193, 202, 207, 218  
**Мукерджи (Мухарджи) Абони Троилович** (1891–1937), индолог-политолог 369  
**Мюленс, немецкий бактериолог** 109  
**Назаревский Александр Адрианович** (1887–?), литературовед 250, 253–255, 278  
**Назаренко Яков Антонович** (1893–?), литературовед 51, 55  
**Назаров, товарищ наркома просвещения** 72  
**Некрасов Николай Алексеевич** (1821–1878), поэт 411  
**Некрасов Николай Виссарионович** (1879–1940), министр Временного правительства 22  
**Нелидов Александр Иванович** (1835–1910), дипломат 407  
**Нечаев, директор Педагогического института в Самаре** 256  
**Нидерле Любомир** (1865–1944), чешский историк-славист 209  
**Никитин Сергей Александрович** (1901–1979), историк-славист 308  
**Николай II** (1868–1918), российский император 20, 248, 255, 412  
**Никольская Анна Борисовна** (1899–1977), писательница, переводчица 265, 266  
**Никольский Борис Владимирович** (1870–1919), юрист, литератор 264  
**Никольский Николай Константинович** (1863–1936), историк-славист, археограф. Акад. (1916) 26, 29, 71, 75, 92, 95, 99, 129, 149, 179, 191, 216, 217, 243, 257, 260, 264,

- 266, 269, 271, 314, 319, 320, 323, 325–327, 333, 336–338, 346, 349, 351, 355, 356, 364, 370, 383–385  
 Нищенко, прокурор 346
- Обнорский Сергей Петрович** (1888–1962), лингвист. Акад. (1939) 168, 169, 363, 370
- Обручев Николай Николаевич** (1830–1904) – генерал, гос. деятель. Почетный акад. (1888) 403, 404
- Овчинников, проф. политэконом** 200
- Огиенко Иван Иванович** (Илларион, митрополит) (1882–1972), литературовед-славист 216, 217, 250, 254, 256
- Одоевский Владимир Федорович** (1803–1869), писатель, музыкальный критик 322, 329
- Ольденбург Сергей Федорович** (1863–1934), востоковед. Акад. (1900) 27, 28, 30–32, 35, 37, 53, 57, 67, 74, 102, 103, 118, 123, 159, 164, 169, 194, 195, 201, 209, 227, 272–275, 277, 301, 318, 320, 321, 323, 325–327, 329, 333, 334, 339, 340, 341, 345, 346–349, 358, 368, 369, 379, 383
- Оппель, врач, хирург** 98
- Орбели Иосиф Абгарович** (1887–1961), востоковед. Акад. (1935) 147
- Орешников Алексей Васильевич** (1855–1933), нумизмат. Член-корр. (1928) 315
- Орлов Александр Сергеевич** (1871–1947), литературовед. Акад. (1931) 46, 113, 161, 170, 173, 316, 320, 367, 368, 370, 371
- Отроковский Владимир Михайлович**, член Семинария В. Н. Перетца 254
- Павлов Иван Петрович** (1849–1936), физиолог. Акад. (1907) 358
- Павлович Андрей Иванович** (1889–1985), литературовед-славист, лингвист 57, 198
- Пальмов Иван Саввич** (1856–1920), историк церкви. Акад. (1916) 85, 95, 97, 314, 315
- Папушки (Папоушки), семья чешского дипломата Ярослава Папоушки (1890–1945)** 212
- Пастрнек Франтишек** (1853–1940), чешский филолог-славист 193
- Пашуканис Евгений Браниславович**, правовед 357
- Пергамент Михаил Яковлевич** (1866–1931), юрист 30
- Переверзев Валериан Федорович** (1882–1968), литературовед 177, 355
- Перетц Владимир Николаевич** (1870–1935), литературовед-славист. Акад. (1914) 17, 19–21, 25, 26, 29, 30, 34, 37–40, 44, 46, 47, 50, 53–55, 62, 69–71, 75–79, 82, 83, 85, 87–97, 99–101, 104, 105, 115–121, 123, 124, 147, 148, 167, 179, 181–183, 191, 195, 197, 206, 207, 217, 218, 219, 229–237, 239–251, 253–275, 277–280, 282, 283, 293, 309, 313–316, 318–324, 326–333, 335–340, 347–353, 356, 357, 363–365, 371, 375, 379–384
- Перикл** (ок. 490 – 429 до н. э.), древнегреческий политический деятель 49
- Перфекций Евгений Юлианович** (1888–1947), историк-славист 219, 220, 228
- Петerson Михаил Николаевич** (1885–1962), лингвист 366
- Петров Алексей Леонидович** (1859–1932), историк-славист 17, 198, 199, 224
- Петров Дмитрий Константинович** (1872–1925), литературовед-романист. Член-корр. (1922) 147
- Петровская Ю. В.** 66
- Петровский Леонид Петрович** 16, 224, 225, 227, 310, 386
- Петрушевский Дмитрий Моисеевич** (1863–1942), историк-медиевист. Акад. (1929) 103, 350, 357, 370
- Петухов Евгений Вячеславович** (1863–1948), литературовед-славист. Член-корр. (1916) 54, 122, 126, 143, 236, 287, 288, 353, 354
- Пешковский Александр Матвеевич** (1878–1933), лингвист 58
- Пиентор Амвросий**, редактор газеты «Народные новинки» 405
- Пиксанов Николай Кирьякович** (1878–1969), литературовед. Член-корр. (1931) 83, 235, 322, 329, 330, 370
- Пилкина, княжна** 34
- Пичета Владимир Иванович** (1878–1947), историк-славист. Акад. (1946), акад. (1928) АН БССР 35, 212, 305, 311
- Платон** (427–348 до н. э.), древнегреческий философ 55
- Платонов Сергей Федорович** (1860–1933), историк. Акад. (1920) 98, 132, 194, 209, 227, 273, 322, 326, 341, 363, 364, 383

- Площанский Венедикт Михайлович (ум. 1902), писатель, публицист 404, 407
- Погодин Александр Львович (1872–1947), филолог-славист и историк 72, 73, 191, 213, 236, 240
- Погорелов Валерий Александрович (1872–1955), филолог-славист 191
- Покровская-Ламанская О. В., дочь В. И. Ламанского 311
- Покровский А. А. 315
- Покровский Иван Михайлович 114
- Покровский Михаил Михайлович (1868/1869–1942), филолог-классик. Акад. (1929) 103, 162, 163, 350, 355, 357, 371
- Покровский Михаил Николаевич – (1868–1932), историк, гос. деятель. Акад. (1929) 8, 46, 80, 122, 153, 162, 186, 317, 329, 346, 357, 361
- Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867), критик, журналист 239
- Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938), лингвист-востоковед 151, 154, 155, 160, 169, 170
- Поливка Йиржи (1858–1933) – чешский фольклорист, филолог 37, 192, 193, 202, 207, 218, 219, 238
- Полонский Вячеслав Павлович (1886–1932), критик, журналист 127
- Попов Павел Николаевич (1890–1971), литературовед, фольклорист. Член-корр. (1939) АН УССР 39
- Попруженко Михаил Георгиевич (1866–1943), филолог-славист 45, 95, 154, 159, 160, 165, 207, 208, 327, 333, 353, 357
- Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), филолог-славист. Член-корр. (1877) 176
- Прессман А. П., участник Семинария В. Н. Перетца в Самаре 92
- Пресняков Александр Евгеньевич (1870–1929), историк России. Член-корр. (1920) 203, 238
- Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941), историк России, источниковед 203
- Путилов (Путилов-Янович) Алексей Сергеевич (1876–1937?) – сановник 346
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 178, 180, 250, 313, 336
- Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), славист, историк культуры, литературовед. Акад. (1898) 304, 397
- Радек Карл Бернгардович (1885–1939), политический деятель 362
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – писатель 335
- Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (1837–1918), востоковед. Акад. (1884) 93, 101, 399
- Раевский Михаил Федорович (1811–1884) – священник церквей при русских посольствах 406
- Ратобыльская Анна Всеволодовна 16
- Резанов Владимир Иванович (1867–1936) – литературовед. Член-корр. (1923) 179, 251, 316, 324
- Рененкампф, проф. 29
- Ржига Вячеслав Федорович (1883–1960), литературовед 55, 213, 370
- Ровинский Павел Апполонович (1831–1916), историк-славист, этнограф, филолог 230
- Рождественский А. П., протоиерей 200
- Розанов, химик из Воронежского сельскохоз. института 125
- Розанов Матвей Никанорович (1858–1936), литературовед. Акад. (1921) 19, 34, 35, 113, 269, 272, 315, 316, 324, 331, 333, 355, 364
- Розенталь, лектор польского языка 57
- Романов Константин Константинович (К. Р.) (1858–1915), великий князь, поэт. Президент АН (1889–1915) 247, 253
- Рудзицкий А. И. 283
- Рыкачев Михаил Александрович (1840/41–1919), геофизик. Акад. (1896) 94
- Рыков Алексей Иванович (1881–1938), гос. деятель 37, 317, 328, 338, 339
- Рыхлик Евгений Антонович (1888–1939), литературовед-славист 91
- Рязанов Давид Борисович (1870–1938), гос. деятель, историк. Акад. (1929) 250, 254, 255, 357
- Саблер Владимир Карлович (1847–1929), обер-прокурора Синода (1911–1915) 411
- Сабов 350
- Сажин В. Н. 140
- Сазонова Лидия Ивановна 17, 60, 226, 228
- Сакулин Павел Никитич (1868–1930), литературовед. Акад. (1929) 19, 23, 41, 42, 46, 57, 103, 161, 162, 179, 181, 183, 204, 205, 243, 247, 269, 270, 320–322, 324, 326,

- 325, 329–332, 334–337, 339, 341, 347, 350, 351, 353–355, 361, 365, 366, 383  
**Самойлович Александр Николаевич** (1880–1938), востоковед. Акад. (1929) 162  
**Свешников Петр Петрович** (1895–1943), филолог-славист, этнограф 57  
**Сейфуллина Лидия Николаевна** (1889–1954), писательница 189  
**Селищев Афанасий Матвеевич** (1886–1942) — филолог-славист. Член-корр. (1929) 42, 43, 45, 57, 182–184, 190, 211, 212, 221, 371, 377, 384–386  
**Семенов П. Н.** 294, 297  
**Семенова Н. П.** 294  
**Семенов Тянь-Шанский Вениамин Петрович** (1870–1942), географ 300  
**Семенова Тянь-Шанская Вера Владимировна** — жена В. П. Семенова-Тянь-Шанского 301  
**Семенович, галичанин**, правительственный стипендиант 410  
**Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович** (1827–1914), географ. Почетный акад. (1873) 294, 301  
**Серафимов Владимир Александрович** — студент 93  
**Сергеев А. 142**  
**Симони Павел Константинович** (1859–1939), филолог-славист, книговед. Член-корр. (1921) 82, 101, 237, 241, 247, 271, 316  
**Синцов, естественник** 72  
**Сиповский Василий Васильевич** (1872–1930), литературовед. Член-корр. (1921) 54, 179, 239, 240, 271, 229, 316, 330–332, 350, 379  
**Скафтымов Александр Павлович** (1890–1968), литературовед 212  
**Смирнов Яков Иванович** (1869–1918), археолог, историк искусства 92  
**Соболев Владимир Семенович** 137, 140, 141, 253  
**Соболева Елена Владимировна** 313, 341, 342  
**Соболевский Алексей Иванович** (1856/1857–1929), филолог-славист. Акад. (1900) 20, 21, 25, 26, 28, 29, 33–38, 40, 42–44, 47–49, 51, 53–55, 65, 66, 68–74, 76, 77, 79–93, 95–98, 100, 101, 103–111, 113–117, 119–125, 127, 129, 130, 138, 143, 147, 149, 156, 157, 169, 181, 182, 191, 194, 197, 199–201, 206, 208, 209, 210, 213, 229–248, 255, 256, 258, 260–264, 266–277, 284, 285, 313, 315–320, 322–324, 326–339, 345, 346, 349–351, 354–356, 361–364, 375, 380, 381, 383  
**Соболевский Сергей Иванович** (1864–1963), филолог- античник. Член-корр. (1928) 28  
**Соколов Борис Матвеевич** (1889–1930), фольклорист, литературовед 33, 83, 221  
**Соколов Юрий Матвеевич** (1889–1941), фольклорист, литературовед 33, 211, 221  
**Соколовский Г.** 346  
**Солнцев Сергей Иванович** (1872–1936), экономист. Акад. (1929) 350, 357  
**Соловьев Ю. И.** 141  
**Сорокина М. Ю.** 61  
**Сперанский Михаил Несторович** (1863–1938), литературовед-славист. Акад. (1921) 17, 19, 34, 35, 37, 38, 42–44, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 148, 156, 158, 161–163, 165, 168, 169, 179, 182, 183, 192–194, 196–201, 202, 203, 206, 207, 212, 213, 216–218, 220, 221, 223, 224, 236, 249, 256, 262, 264, 265, 267–270, 272, 274–277, 293, 315–318, 320–322, 324–331, 333, 335–337, 339, 345, 347–350, 353, 356, 363, 364, 371, 376, 384, 384  
**Срезневский Всеволод Измайлович** (1867–1938), археограф, литературовед. Член-корр. (1906) 22, 24, 101, 102, 250  
**Срезневский Измаил Иванович** (1812–1880), филолог-славист. Акад. (1851) 43, 409  
**Сталин Иосиф Виссарионович** (1859–1953), гос. деятель 362  
**Стеклов Владимир Андреевич** (1863/1864–1926), математик. Акад. (1912), вице-президент РАН 37, 103, 317, 325, 327, 329  
**Степанов, прокурор** 346  
**Стратонов, историк** 199, 200  
**Страхов Николай Николаевич** (1828–1896) — публицист, философ. Член-корр. (1889) 413  
**Струве Людвиг Оттович** (1858–1929) — астроном 72  
**Сумцов Михаил Федорович** (1854–1922), фольклорист, этнограф. Акад. Украинской АН (1919) 319  
**Сумароков Александр Петрович** (1717–1777), поэт, драматург 254  
**Сухомлинов Михаил Иванович** (1828–1901), филолог. Акад. (1872) 263

Сушицкий Феоктист Петрович (1883–1920), историк литературы 250, 251, 254, 255  
Сырку Полихроний Агапиевич (1855–1905), литературовед-славист 239

Тайлер Уот (?–1381), вождь крестьянского восстания в Англии 49  
Таланов Николай Георгиевич (1897 или 1895) – 1938), тюроколог 369  
Тарабрин Иван Мелентьевич, литературовед 55, 118  
Тарасов Е. И., историк 257  
Тарле Евгений Викторович (1875–1955), историк. Акад. (1927) 93, 95, 139, 140, 340

Тимирязев – 318

Тимченко Евгений Константинович (1866–1948), лингвист 44

Тихомиров Михаил Николаевич (1893–1965), историк России. Акад. (1953) 258, 259, 262, 278, 282, 285, 381

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), литературовед. Акад. (1890) 238

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, министр народного просвещения (1866–1880) 401, 410

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – писатель 49

Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед 179, 180, 182, 205

Томсон Александр Иванович (1860–1935), лингвист-славист. Член-корр. (1910) 43, 48, 51, 115, 116, 120, 121, 125, 126, 127, 130–134, 149, 153, 155, 159, 160, 169, 170–178, 273, 293, 310, 311, 330, 332, 337, 339, 341, 347, 350, 351, 354–356, 358, 363, 371, 379

Топоров Владимир Николаевич 14, 18

Трошин, психиатр 200

Трубачев Олег Николаевич (1930–2002) – лингвист-славист. Акад. (1992) 194, 224

Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938), лингвист, публицист 14, 16, 18, 148, 149, 162, 175, 202, 211, 221, 224, 225, 227, 310, 386

Трусович, галичанин, правительственный стипендиант 410

Трушлый Андрей, редактор газеты «Орел» 405

Тугаринов И. А. 284, 285, 373

Тунецкий Николай Леонидович (1878–1934), филолог-славист 43, 117, 202, 208, 330, 384

Тураев Борис Александрович (1868–1920), востоковед. Акад. (1918) 95, 101  
Тюлин Иван – генерал, профессор 127  
Тюрин А. 142

Успенский Федор Иванович (1845–1928), историк-византинист, славист. Акад. (1900) 154, 341, 408

Устинов Д. 189

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942), лингвист. Член-корр. (1939) 41, 42, 68, 77, 161, 192, 211

Фаминцин Андрей Сергеевич (1835–1918), физиолог растений. Акад. (1884) 94

Фармаковский Борис Владимирович (1870–1928), археолог. Член-корр. (1914) 47, 147

Фасмер Максимилиан Романович (Макс Юлиус) (1886–1962) – филолог-славист. Иностранный член АН (1928) 193, 194, 202–210, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 226, 226, 264

Фаусек Виктор Андреевич (1861–1910), зоолог 399

Федоров Евграф Степанович (1853–1919), минералог. Акад. (1919) 93

Фельдман Ф. А., управляющий делами военно-учебного комитета 403, 404

Ференчик Николай, редактор газеты «Народный Гласник» 405

Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), минералог. Акад. (1919) 37, 55, 103, 317, 320, 324, 345, 346

Флоринская В. И., вдова Т. Д. Флоринского 28

Флоринский Тимофей Дмитриевич (1854–1919), историк-славист, филолог 29, 30, 241, 245, 246, 319, 412

Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914), лингвист, славист. Акад. (1898) 157, 158, 163, 169, 177, 178, 238, 246, 248

Франк 263

Францев Владимир Андреевич (1867–1942), филолог-славист, историк. Акад. (1921) 57, 132, 191, 194–199, 202, 208, 220, 223, 224, 252, 315, 316, 322

Франциши Иван (1822–1905) – известный словацкий деятель (будитель) и писатель 405, 406, 407

Фриче Владимир Максимович (1870–1929), литературовед. Акад. (1929) 154, 155, 178, 355, 357, 358

- Харлампович Константин Васильевич** (1870–1932), историк культуры. Член-корр. РАН, акад. (1919) АН УССР 20, 25, 29, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 47–49, 65, 69, 96, 97, 109, 110, 113, 114, 116, 119, 120, 129, 130, 199, 224
- Хельчицкий Петр** (ок. 1390 – ок. 1460), идеолог умеренных тaborитов 49
- Хюбшман Генрих Иоган** (1848–1908), немецкий лингвист 170
- Цамблак Григорий** (1364 – ок. 1419), болгарский писатель 239
- Цветаев Д. В.** 96
- Церетели Григорий Филимонович** (1870–1938) – филолог-эллинист. Член-корр. (1917) 355
- Цыхун Геннадий** 18
- Чернышев Василий Ильич** (1867–1949), лингвист. Член-корр. (1931) 370
- Чернышевский Николай Гаврилович** (1828–1889), писатель 185
- Чернянский Андрей**, редактор газеты «Чернокнижник» 405
- Чуич Георгий Трифонович**, заместитель декана Педфака Воронежского университета 210
- Чуковский Корней Иванович** (1882–1969), писатель, литературовед 31
- Шавельский Георгий Иванов** (1871–?), протопресвитер 199
- Шамбинаго Сергей Константинович** (1871–1948), литературовед 46, 112, 320
- Шафарик Павел Йозеф** (1795–1861), чешский историк, филолог-славист 193,
- Шахматов Алексей Александрович** (1864–1920), филолог-славист. Акад. (1897) 17, 21, 22–29, 31–33, 39, 59–62, 65–71, 73–79, 82, 83, 85, 90–102, 135, 139, 157, 178, 181, 192, 215, 216, 223, 238, 239, 242–245, 247–253, 257, 261, 277, 313–317, 379, 380, 381
- Шахматова Наталья Александровна** (1870–?), жена А. А. Шахматова 98
- Шахматова Ольга Алексеевна**, сестра А. А. Шахматова 79
- Шевченко Савва Филиппович**, литературовед-славист 250, 255
- Шеффер Петр Николаевич** (1868–?), литературовед 271
- Шидловский**, бывший губернатор 346
- Широков А. (иеромонах Иоанн)** 119
- Шишков Александр Семенович** (1754–1841), гос. деятель, адмирал 294
- Шишмарев Владимир Федорович** (1875–1957), филолог-романист. Акад. (1946) 353, 355
- Шкловский Виктор Борисович** (1893–1984), писатель, литературовед 180
- Шляпкин Илья Александрович** (1858–1918), литературовед, археограф. Член-корр. (1907) 235, 236
- Шмидт Сигурд Оттович** 282, 285
- Шмит Федор Иванович** (1877–1937), археолог 148
- Шимурло Евгений Францевич** (1854–1934), историк 252
- Штакельберги, бароны** 346
- Штур Людовит** (1815–1856), идеолог словацкого национального движения, поэт, филолог 406
- Шумахер И. Д.** – глава канцелярии Академии наук 337
- Шустер Ура Абрамович** (1907–1997), историк-полонист 311
- Щеглова Софья Алексеевна** (1886–1965), литературовед 83, 250–252, 254, 256, 257, 262, 263, 265, 270, 282
- Щегловитов Иван Григорьевич** (1861–1918), министр юстиции (1906–1915), председатель Государственного совета России 20, 95
- Щеголов Павел Елисеевич** (1877–1931), литературовед, историк 20
- Щепкин Вячеслав Николаевич** (1863–1920), лингвист-славист, палеограф. Член-корр. (1913) АН 57, 97, 238, 259, 315
- Щепкин Евгений Николаевич** (1860–1920), историк, профессор 72
- Щерба Лев Владимирович** (1880–1944), лингвист-славист. Член-корр. (1924), акад. (1943) АН 17, 31, 175, 224, 366, 368
- Щербатской Федор Ипполитович** (1866–1942), индолог. Акад. (1918) 323, 324, 345, 364, 369
- Щербов-Нефедович Павел Осипович**, чиновник военно-учебного комитета 403
- Эгеберг Эрик** 18, 228
- Эйхенбаум Борис Михайлович** (1886–1959), литературовед 181, 182

- Энгельс Фридрих (1820–1895), немецкий философ, общественный деятель 50
- Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель 333
- Я**ворский Юлиан Андреевич (1873–1937), литературовед 212, 213, 245
- Ягич Ватрослав (Игнатий Викентьевич) (1838–1923), славист, филолог, историк, этнограф. Акад. (1881) 9, 67, 199, 204, 206, 381, 399
- Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938), гос. деятель, руководитель ОГПУ 364
- Ягодич Рудольф (1892–?), австрийский литературовед-славист 221, 238, 378
- Якобсон Роман Осипович (1896–1982), русско-американский филолог 17, 148, 149, 162, 176, 192, 193, 201, 202, 207, 211, 212, 223, 224
- Яковлев Михаил Александрович (1876–?), писатель, журналист 189
- Яковлев Николай Феофанович (1892–1974), лингвист, кавказовед 366
- Якубинский Лев Петрович (1892–1945), филолог 49
- Ясинский Антон Никитич (1864–1933), историк-славист. Акад. (1929) АН БССР 54, 122, 123, 289, 309, 315, 370
- Ястребов Николай Владимирович (1869–1923), историк-славист 192, 193
- Яцимирский Александр Иванович (1873–1925), филолог-славист, археограф 40, 53, 87, 88, 101, 191, 195, 239, 241, 243, 244, 246–248, 263, 379
- B**rogli Bercoff G. 18
- H**einze, секретарь Саксонской академии 207
- L**e Blanc, секретарь Саксонской Академии 207
- N**aumann, профессор 214
- P**eeters P., профессор 149
- S**cöld H. (1886–1930), шведский тюрколог 160, 187
- T**rautman, профессор 203

## SUMMARY

This monograph analyzes the history of Slavic studies and its elite representatives during the sovietization of academic life, a time when totalitarian controls were being put into place (1917 to the early 1930's). Based on the extensive correspondence of such scholars as V. P. Buzeskul, K. Ja. Grot, N. S. Derzhavin, N. N. Durnovo, D. K. Zelenin, G. A. Il'inskii, V. M. Istrin, N. M. Karinskii, E. F. Karskii, N. P. Kondakov, P. A. Lavrov, N. P. Likhachev, V. M. Liapunov, N. K. Nikol'skii, V. N. Peretts, A. M. Selishchev, M. N. Speranskii, A. I. Sobolevskii, A. I. Tomson, M. R. Fasmer, V. A. Frantsev, K. V. Kharlampovich, A. A. Shakhmatov, R. O. Jakobson, as well as their close colleagues and students, the monograph is able to offer a representative picture of the fate of leading Slavic academics during this critical period. Examining their epistolary legacy helps to clarify the academic elite's actual relationship to political power; to the changes taking place in the country; to newly imposed ideological methods in Slavistics and in the humanities (e.g., "Marrism," sociologism); and its attitudes toward the situation within the academy as a whole and the Academy of Sciences in particular, especially the curtailing of the independence of the Section (Otdelenie) of Russian Language and Literature. It also reveals their economic position (their adaptation to new material conditions), and attitudes toward emigration and the problem of contacts with émigré colleagues. Furthermore, the personal correspondence allows us to understand the moral and psychological state of these outstanding Slavic scholars; to trace the struggle to uphold academic traditions; and to examine the problem of scholarly and moral resistance, compromise, and conformism within the academic community.

**Научное издание**

**Михаил Андреевич Робинсон**  
**СУДЬБЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ:**  
**ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ**  
**(1917 – начало 1930-х годов)**

Утверждено к печати  
Ученым Советом Института славяноведения РАН

Корректор *Т. И. Томашевская*  
Оригинал-макет *Л. Е. Коритысская*

**Издательство «Индрик»**

**INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other INDRIK publications may be ordered by**  
e-mail: [nina\\_dom@mtu-net.ru](mailto:nina_dom@mtu-net.ru)  
or by tel./fax: +7 095-959-21-03

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.  
Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура «Петербург»  
27 п. л. Тираж 500 экз. Заказ № 10958

Отпечатано с оригинал-макета  
в ППП «Типография „Наука“».  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

СУДЬБЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

М.А.РОБИНСОН



Издательство  
«ИНДРИК»